

Владимир Николаевич КОКОВЦОВ

В·Н·КОКОВЦОВ

ИЗ МОЕГО  
ПРОШЛОГО

Воспоминания  
1903-1919 гг.

Книга 1



Wm. L. G. Stanley

**Графъ В. Н. Коковцовъ**

---

# **ИЗЪ МОЕГО ПРОШЛАГО**

**Воспоминанія  
1903—1919**

„Дѣла давно минувшихъ  
дней“.

Пушкинъ

**Томъ I**

**ИЗДАНИЕ ЖУРНАЛА  
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ  
РОССІЯ**

ПАРИЖЪ 1933

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Владимир Николаевич  
**КОКОВЦОВ**

---

---

**ИЗ МОЕГО  
ПРОШЛОГО**

**Воспоминания  
1903-1919 гг.**

---

---

Книга 1



МОСКВА-”НАУКА”

1992

ББК 63.3  
К 55

Вступительная статья д.и.н. В.И. БАВЫКИНА

Примечания к.и.н. А.К. СОРОКИНА

**Коковцов В.Н.**

К 55 Из моего прошлого. Воспоминания. 1903–1919 гг. В 2-х книгах.  
Книга первая. – М.: Наука, 1992. – 447 с.

ISBN 5-02-012126-6

ISBN 5-02-012127-4, кн. 1

Впервые у нас в стране издается двухтомник воспоминаний видного государственного деятеля начала века В.Н. Коковцова. Автор принадлежал к старинному дворянскому роду, окончил Александровский лицей, служил в Министерстве юстиции. Был товарищем министра С.Ю. Витте. С 1904 по 1914 г. – министр финансов. После убийства П.А. Столыпина с сентября 1911 по январь 1914 г. – председатель Совета министров, сторонник столыпинского курса. Во время первой мировой войны – крупный банковский деятель. С ноября 1918 г. жил во Франции. В 1933 г. в Париже вышел двухтомник его воспоминаний. Другого такого издания на русском языке нет. Воспоминания представляют огромный интерес для всех, кто интересуется историей и развитием экономики России.

Для широкого круга читателей.

К 0603000000-081  
042(02)-92 130 – II полугодие 1992

ББК 63.3

ISBN 5-02-012126-6

© ВО "Наука", 1992

ISBN 5-02-012127-4, кн. 1

© Российская академия наук

## ВВЕДЕНИЕ

Какой была старая Россия? Еще несколько лет тому назад этот вопрос не вызывал особого интереса. Сейчас, когда наше общество мучительно пытается осмыслить путь, пройденный после Октября 1917 г., он интересует многих. Предлагаемые читателю воспоминания графа В.Н. Коковцова, министра финансов и председателя Совета министров России кануна первой мировой войны, дают возможность получить ответ на этот вопрос у человека, который, будучи одной из центральных фигур тогдашнего политического режима, прекрасно знал его внутренние движущие пружины и закулисные стороны.

Первое и единственное издание этих воспоминаний на русском языке увидело свет в Париже в 1933 г.<sup>1</sup> Через год вышел из печати их сокращенный английский перевод<sup>2</sup>. В отличие от подобных заграничных публикаций 20-х годов, многие из которых, в частности мемуары С.Ю. Витте, были переизданы у нас и благодаря этому стали широко известны, воспоминания В.Н. Коковцова оказались доступны лишь ограниченному числу историков-исследователей. Их парижское издание, имеющееся всего в нескольких научных библиотеках нашей страны, до последнего времени находилось там на спецхранении.

Своим воспоминаниям В.Н. Коковцов предпослал эпитаф: "Дела давно минувших дней". Но когда их читаешь, порой кажется, будто речь идет о днях нынешних: так много ассоциаций с тем, что наблюдаем мы сегодня, вызывают описываемые В.Н. Коковцовым проблемы, коллизии и нравы правящих верхов старой России. Вот почему эти воспоминания могут помочь нам не только узнать прошлое, но и понять настоящее.

По признанию В.Н. Коковцова, решение написать воспоминания было им принято еще в январе 1914 г., в момент его отставки. Однако этот замысел он осуществил лишь много лет спустя, находясь в эмиграции во Франции. Судя по ссылкам на издания, использованные в воспоминаниях, они были написаны во второй половине 20-х – начале 30-х годов, когда их автору шел уже восьмой десяток.

Воспоминаниям представителей российской послеоктябрьской эмиграции присущи некоторые особенности, обусловленные, в частности, тем, что мемуаристы, покидавшие Родину в экстремальных условиях, не мог-

---

<sup>1</sup> Коковцов В.Н., граф. Из моего прошлого. Воспоминания 1903–1919. Т. I–II. Париж, 1933.

<sup>2</sup> Out of my past. The memoirs of Count Kokovtsov. Stanford. London, 1935.

ли взять с собой личные архивы. Не было у них также возможности обратиться к материалам государственных архивов нашей страны. В результате оставленные ими воспоминания в большей мере, чем это свойственно мемуарам вообще, страдают неточностями в датировке событий и смещениями в последовательности их изложения.

Такого рода неточности и смещения встречаются и в воспоминаниях В.Н. Коковцова. Однако в их основу положена достаточно добротная фактическая канва. Ею послужили сохранившиеся у В.Н. Коковцова повседневные "короткие заметки", которые он делал "в свою пору", оставляя "в последовательном порядке" след о "почти всех событиях", привлечших его внимание. "Эти записи, — сообщает В.Н. Коковцов, — послужили для меня тем источником, из которого я мог почерпнуть воспоминания почти день за днем о том, что я видел, что пережил" (Т. I, С. 5).

Вместе с тем, как явствует из текста воспоминаний, В.Н. Коковцову удалось захватить с собой при его бегстве из России (или получить позднее через своих близких), кроме упомянутых "заметок", также ряд документов из личного архива.

Кстати, если не весь этот архив, то по меньшей мере его часть хранится сейчас в Центральном государственном историческом архиве СССР в Ленинграде, образуя личный фонд В.Н. Коковцова (Ф.966). Его начальная история не ясна. Очевидно лишь то, что бумаги, оставшиеся в квартире В.Н. Коковцова после его отъезда за границу, в той или иной их части были переданы в начале 20-х годов в формировавшийся тогда Единый государственный архивный фонд и в конечном итоге оказались в ЦГИА СССР. Среди них есть и документы, упоминаемые в воспоминаниях, в том числе телеграмма германского канцлера Т. Бетмана-Гольвега, присланная В.Н. Коковцову в связи с его отставкой.

Кроме того, своеобразным документальным каркасом воспоминаний В.Н. Коковцова послужили приводимые им многочисленные выдержки из стенограмм заседаний Государственной Думы и Государственного Совета, а также из советских документальных публикаций.

Коль скоро речь зашла об этих публикациях, уместно будет отметить необоснованность неоднократных сетований В.Н. Коковцова на то, что "большевики" якобы публиковали не те архивные материалы, какие следовало, отбирая среди них лишь документы, порочившие его деятельность. Пожалуй, В.Н. Коковцов должен быть благодарен советским историкам за их документальные публикации. В том, что в этих публикациях его деятельность получила особенно полное и разностороннее освещение, не было какого-либо умысла. Причина заключалась в ключевом положении В.Н. Коковцова в правящей верхушке, его причастности к решению многих вопросов истории России начала XX в. Разумеется, первые советские издания архивных документов преследовали прежде всего политическую цель: разоблачения внутренней и внешней политики царизма. Но

обычно они представляли собой публикацию обнаруженных в архивах естественных документальных комплексов<sup>3</sup>.

К тому времени, когда престарелый граф взялся писать свои воспоминания, его деятельность оказалась отражена во многих советских документальных публикациях<sup>4</sup>. Вероятно, не все из них стали известны В.Н. Коковцову. Но те, с которыми ему удалось познакомиться, несомненно способствовали его работе над воспоминаниями.

Воспоминания В.Н. Коковцова оказали заметное влияние на последующую историческую литературу. Примечательно, что содержащиеся там сведения широко использовал в своих мемуарах один из основных политических противников В.Н. Коковцова, бывший лидер кадетской партии П.Н. Миллюков<sup>5</sup>. На воспоминания В.Н. Коковцова, несмотря на отмечавшиеся выше затруднения доступа к ним, часто ссылаются и советские историки, авторы специальных исследований, посвященных истории России начала XX в.<sup>6</sup>. Все это свидетельствует о ценности этих воспоминаний, как исторического источника, и достоверности многих содержащихся там сведений.

---

<sup>3</sup> Именно такой характер носили публикации, изданные в виде тематических сборников: *Материалы по истории франко-русских отношений за 1910—1914 гг.* М., 1922; *Рабочий вопрос в комиссии В.Н. Коковцова в 1905 г.* М., 1926; *Русские финансы и еврейская биржа в 1904—1906 гг.* М.—Л., 1926. Разумеется, журнальные публикации в силу ограниченности их размера представляли собой извлечения из естественных документальных комплексов.

<sup>4</sup> В дополнение к упомянутым выше отдельным изданиям документов можно назвать также журнальные публикации: *Переписка В.Н. Коковцова с Эд. Нециным* // *Красный архив.* 1923. Т. 4; *Портсмут* // *Красный архив.* 1924. Т. 6—7; *К переговорам Коковцова о займе в 1905—1906 гг.* // *Красный архив.* 1925. Т. 3(10).

<sup>5</sup> *Миллюков П.Н. Воспоминания.* М., 1991.

<sup>6</sup> См.: *Аверех А.А. Столыпин и Третья Дума.* М., 1968; *он же. Царизм и IV Дума: 1912—1914 гг.* М., 1981; *Ананьич Б.В. Россия и международный капитал 1897—1914: Очерки истории финансовых отношений.* Л., 1970; *Астафьев И.И. Русско-германские дипломатические отношения 1905—1911 гг.: От Портсмутского мира до Потсдамского соглашения.* М., 1972; *Бестужев И.В. Борьба в России по вопросам внешней политики: 1906—1910.* М., 1961; *Дякин В.С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907—1911 гг.* Л., 1978; *он же. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911—1914 гг.: Разложение третьеиюньской системы.* Л., 1988; *Королева Н.Г. Первая российская революция и царизм: Совет министров России в 1905—1907 гг.* М., 1982; *Романов Б.А. Очерки дипломатической истории русско-японской войны: 1895—1907.* Изд. 2-е. М.—Л., 1955; *Сидельников С.М. Образование и деятельность Первой Государственной думы.* М., 1962; *Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в 1907—1914 гг.* Л., 1990; *Старцев В.И. Русская буржуазия и самодержавие в 1905—1917 гг.: Борьба вокруг "ответственного министерства" и "правительства доверия".* Л., 1977; *Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм в первой русской революции.* Изд. 2-е. М., 1970; *Щацлло К.Ф. Русский империализм и развитие флота накануне первой мировой войны: 1906—1914 гг.* М., 1968; *Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия в 1904—1914 гг.: Проблемы торгово-промышленной политики.* Л., 1987.



Вместе с тем следует иметь в виду, что в этих воспоминаниях есть и такие места, которые явно противоречат общеизвестным, документально установленным фактам. К их числу относится попытка В.Н. Коковцова создать у читателя впечатление будто ему не было ничего известно о назревании событий 9 января 1905 г. "До вечера 8 января, — пишет он, — я не имел никакого понятия о том, что замышлялось в этом отношении. Не имел я понятия и о личности священника Гапона..." (Т.1. С. 52). Между тем, как видно из опубликованного еще в 1925 г. в журнале "Красный архив" доклада В.Н. Коковцова Николаю II от 5 января 1905 г., он был хорошо информирован о характере и размахе забастовки, охватившей петербургские заводы и фабрики, зная, что "она находится в непосредственной связи с действиями общества "Собрание русских фабрично-заводских рабочих города С.-Петербурга", руководимого священником Гапоном, состоящим при церкви С.-Петербургской пересыльной тюрьмы", и, высказывая "серьезные опасения" за ее исход, призывал царя принять необходимые меры<sup>7</sup>. А описываемое в воспоминаниях совещание вечером 8 января у министра внутренних дел князя П.Д. Святополка-Мирского, на котором, по словам В.Н. Коковцова, ни у кого "не было и мысли о том, что придется останавливать движение рабочих силой" (Т.1. С.53), на самом деле имело целью обсудить именно вопрос о применении силы против предстоящего шествия рабочих<sup>8</sup>.

Другой характерный пример: освещение В.Н. Коковцовым истории предания суду членов социал-демократической фракции Второй Думы. Юридическая несостоятельность обвинения 55 депутатов в военном заговоре лишь на основании их принадлежности к социал-демократической фракции и его связь с подготовкой царскими властями разгона Второй Думы были очевидны еще в момент предъявления этого обвинения 1 июня 1907 г. Как обнаружилось позднее, единственную "улику", служившую доказательством существования заговора, сфабриковала сама полиция. Тем не менее В.Н. Коковцов повторяет версию охранки о заговоре.

Способность мемуаристов не замечать или даже отрицать бесспорные факты, когда они стремятся снять с себя ответственность за допущенные ошибки или свести счеты со своими политическими противниками, хорошо известна историкам. В мемуарной литературе содержится немало случаев вполне умышленной фальсификации истории. Но далеко не всегда встречающиеся там искажения фактов и ложные их толкования носят вполне осознанный характер. Ведь каждый человек воспринимает окружающую действительность и воссоздает образ пережитого им через призму присущих ему врожденных и приобретенных качеств, усвоенной им системы ценностей и жизненного опыта, его общественного поло-

<sup>7</sup>Красный архив. 1925. Т. 4—5 (11—12). С. 3—4; Начало первой русской революции. Январь—март 1905 года. М., 1955. С. 16—18.

<sup>8</sup>См. подробнее: Кризис самодержавия в России: 1895—1917. Л., 1984. С. 173.

жения и личных интересов. Вот почему, знакомясь с произведениями мемуарного жанра, так важно иметь представление о личности автора.

\* \* \*

Выходец из небогатого, но старого дворянского рода В.Н. Коковцов, получив образование в Александровском (бывшем Царскосельском) лицее, в 19 лет поступил на государственную службу и прошел путь от кандидата на штатные должности до председателя Совета Министров. Какие качества обеспечили его неспешное, но неуклонное восхождение наверх?

В нашей исторической литературе бытуют иронично-уничжительные характеристики государственных и общественных деятелей России конца XIX – начала XX в. До последнего времени исключение делалось лишь для С.Ю. Витте. Сейчас некоторые публицисты и государственные деятели поднимают на щит П.А. Столыпина, вопреки оценкам его деятельности в научных исследованиях. Что касается В.Н. Коковцова, то поскольку он в отличие от С.Ю. Витте и П.А. Столыпина не прославил себя крупными реформами, его имя редко упоминается в общих трудах, научно-популярных очерках и учебных пособиях по отечественной истории. А авторы специальных работ, говоря о нем, ограничиваются обычно констатацией того, что он был опытным бюрократом и убежденным консерватором. С такой характеристикой трудно не согласиться, но она не объясняет продвижения В.Н. Коковцова, поскольку то же можно сказать о подавляющем большинстве российских чиновников. Гораздо более богатую пищу для размышлений дают оценки В.Н. Коковцова его современниками.

Не будем принимать во внимание те из них, которые были сделаны в пылу полемики с думской трибуны или на газетных страницах. Ограничимся лишь оценками, представляющими собой как бы итог неоднократных наблюдений, причем лиц, хорошо знавших В.Н. Коковцова. К их числу бесспорно относился А.П. Извольский, министр иностранных дел России в 1906–1910 гг., а затем российский посол в Париже. Характеризуя кабинет И.Л. Горемыкина, образованный в апреле 1906 г. после увольнения в отставку с поста председателя Совета министров С.Ю. Витте, он пишет: "Наиболее достойным представителем в этом кабинете был, несомненно, министр финансов Коковцов. Он стал председателем Совета министров после убийства Столыпина. Одаренный исключительными способностями и всесторонне образованный он прошел по всем ступеням чиновничьей иерархии и приобрел большой опыт не только в финансовых делах, но и в различных областях административной деятельности. Он принимал участие в парижских переговорах о заключении большого займа, которые велись графом Витте, и вел это деликатное дело с полным успехом. В отличие от большинства своих коллег он не питал враждебной предубежденности к Думе и показал себя склонным к искреннему сотрудничеству с этим учреждением... Коковцов обладал громадным даром красноречия. Продолжительные речи, которые он произносил в Думе, ха

рактизовались не только обширной эрудицией, но также и блестящей формой, выслушивались с величайшим вниманием и, как правило, благосклонно принимались депутатами”<sup>9</sup>.

Из воспоминаний В.Н. Коковцова видно, что между ним и А.П. Извольским в годы их непосредственного сотрудничества в Совете министров не было особой близости. Скорее наоборот. Следовательно, в личном плане оценку А.П. Извольского можно считать достаточно объективной.

В отличие от А.П. Извольского, разделявшего основные политические ориентиры В.Н. Коковцова, П.Н. Милюков был его постоянным оппонентом. Конечно, в конце 30-х годов, когда он взялся писать мемуары, их былые словесные баталии отошли в прошлое. Тем не менее расхождения во взглядах остались. Для П.Н. Милюкова В.Н. Коковцов был представителем другого, враждебного политического лагеря, ”верным служителем неограниченной монархии”<sup>10</sup>. Однако в этой преданности В.Н. Коковцова самодержавию П.Н. Милюков видел проявление свойственного ему чувства долга и ответственности за выполняемое дело. ”В характере Коковцова, — писал он, — была черта внутреннего самоуважения и требования признания его от других, которая давала основание шутить над его суетностью и тщеславием”. Между тем, по мнению П.Н. Милюкова, ”то обстоятельство, что Коковцов шел на явный неуспех, оставаясь верен себе и своей роли, не могло не вызвать уважения к нему”<sup>11</sup>. П.Н. Милюков привел несколько таких случаев. Это — и распоряжение В.Н. Коковцова о мерах по предотвращению еврейских погромов в связи с покушением на П.А. Столыпина в Киеве, стоившее ему репутации ”друга евреев”, и его нежелание поддерживать Распутина, вызвавшее резкое изменение отношения к нему в Царском селе. О том же свидетельствуют и некоторые другие эпизоды, рассказанные самим В.Н. Коковцовым. Среди них, пожалуй, наиболее показателен его отказ в исполнении ”повеления” императрицы об удовлетворении просьбы протезируемого ею лейтенанта Мочульского (см. Т. II. С. 185–188). Речь шла об уступке ему на льготных условиях 300 десятин земли из покупаемого Крестьянским банком имения. Дело было в сущности пустяковое. Но, с точки зрения В.Н. Коковцова, удовлетворение такой просьбы являлось бы не только беззаконием, но и вопиющей несправедливостью. Он просто не в состоянии был пойти на это, хотя ясно отдавал себе отчет в том, что отказ вызовет ”неудовольствие императрицы” и тем самым еще более подорвет его пошатнувшееся к тому времени положение.

Хотя П.Н. Милюков признавал, что эта черта В.Н. Коковцова достойна уважения, он, будучи проруженным политиком, воспринимал ее как признак ограниченности. В его отзыве о В.Н. Коковцове звучит ирония: ”Это

<sup>9</sup>Извольский А.П. Воспоминания. М., 1989. С. 64–65.

<sup>10</sup>Милюков П.Н. Воспоминания. С. 250.

<sup>11</sup>Там же. С. 344.

был странный человек, этот министр финансов, попавший потом в премьеры за то же свое качество: аккуратность и добросовестность в рамках принятого на себя служения. Там он охранял казенный сундук от посторонних покушений, в том числе и царских. И все мы соглашались с его репутацией "честного бухгалтера". Здесь он охранял от покушений вверенные ему интересы патрона, не считая и сам себя ни в коей мере "политиком", а только верным слугой престола"<sup>12</sup>. По мнению П.Н. Милюкова, В.Н. Коковцов во время пребывания на посту председателя Совета министров был чужд "большой политике" и чувствовал себя уверенно лишь в своем финансовом ведомстве<sup>13</sup>. Вместе с тем П.Н. Милюков подтверждал, что В.Н. Коковцов "по калибру – считался неизбежным заместителем Столыпина"<sup>14</sup>.

Никто из мемуаристов, знавших В.Н. Коковцова, не уделил ему так много внимания, как С.Ю. Витте. И никто не знал его столь близко. Именно С.Ю. Витте в бытность министра финансов пригласил В.Н. Коковцова на должность своего товарища. На этой должности под начальством С.Ю. Витте В.Н. Коковцов находился с 1896 по 1902 г. В дальнейшем их пути разошлись, но пересекались много раз.

Дошедшие до нас воспоминания С.Ю. Витте были записаны или продиктованы им в 1907–1912 г. Вынужденный уйти в апреле 1906 г. в отставку с поста председателя Совета министров, он тяжело переживал свое отстранение от активной государственной деятельности и, характеризуя своих бывших сподвижников, продолжавших служебную карьеру, явно не мог простить им этого. Особенно досталось В.Н. Коковцову. Его имя С.Ю. Витте упоминает множество раз, обычно не стесняясь при этом в выражениях. "Мелкий человек", "бесцветный чиновник", "пузырь, наполненный петербургским чиновничьим самолюбием и самообольщением", – эти и другие эпитеты, которыми С.Ю. Витте награждал В.Н. Коковцова в своих воспоминаниях<sup>15</sup>, свидетельствуют о его пристрастности. Тем более примечательны некоторые содержащиеся там признания. С.Ю. Витте подтвердил, в частности, что в 1904 г. после его ухода из Министерства финансов В.Н. Коковцов имел "гораздо больше права на место министра финансов, нежели Плеске"<sup>16</sup>. Когда в апреле 1906 г. В.Н. Коковцов вновь оказался назначен министром финансов, "это было, – по словам С.Ю. Витте, – вполне соответствующее назначение, так как В.Н. Коковцов, несомненно, являлся одним из наиболее подходящих кандидатов"<sup>17</sup>. Наконец, говоря о претендентах на пост председателя Со-

<sup>12</sup> Там же. С. 250.

<sup>13</sup> Там же. С. 335, 378.

<sup>14</sup> Там же. С. 335.

<sup>15</sup> Витте С.Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. 2. С. 84, 400, 545, 548; Т. 3, С. 67 и др.

<sup>16</sup> Там же. Т. 2. С. 246–247.

<sup>17</sup> Там же. Т. 3. С. 348.

вета министров после убийства П.А. Столыпина, С.Ю. Витте признал, что Коковцов "из этих трех кандидатов является как деятель более серьезным". По его мнению, В.Н. Коковцов был "более благоразумным, умным и знающим сравнительно со Столыпиным"<sup>18</sup>.

Работая над своими воспоминаниями, В.Н. Коковцов не прибегал, как теперь принято, к услугам литобработчиков. Он писал их сам. Поэтому воспоминания В.Н. Коковцова позволяют составить представление о нем на тот момент, когда они писались.

В них мы не находим того блестящего стиля и остроумия, которыми некогда славились выступления В.Н. Коковцова в Думе. А свойственная им обстоятельность нередко превращается, как заметил еще П.Н. Милюков, в "тягучесть"<sup>19</sup>. Вероятно, в этом сказался возраст графа. Но его убеждения с течением времени не изменились. В отличие от некоторых своих единомышленников и соратников, которые, оказавшись в эмиграции, попытались найти причины краха самодержавия в нем самом, В.Н. Коковцов остался на позициях верного слуги престола и сторонника самодержавного политического режима. С этих позиций как бы из окна своего бывшего служебного кабинета он смотрит на ушедшую жизнь, на события, ставшие историей.

\* \* \*

Полтора десятилетия, которым посвящены воспоминания В.Н. Коковцова, уместили в себе две войны и три революции. В истории нашей страны это было время величайших социальных потрясений, кардинальных экономических и культурных сдвигов, роста самосознания и политической организации общества. Воспоминания В.Н. Коковцова далеко не охватывают всей панорамы событий этого периода. Их автор специально предупредил читателя: "Я не пишу историю моего времени. Я говорю только о том, что было при мне и при моем непосредственном участии" (Т. I. С. 6). Но поскольку он является не рядовым обывателем, а одним из руководителей государства, сам выбор тем, которым оказалось уделено внимание в воспоминаниях, говорит о многом, давая представление о системе приоритетов, определявшей основные направления деятельности высших властей.

В этом смысле поражает почти полное отсутствие внимания к массовым движениям, в частности к рабочему движению в России. В данном случае В.Н. Коковцов никак не может сослаться на свою непричастность. В 1904–1905 гг., будучи министром финансов, он ведал промышленностью<sup>20</sup>. Фабричная инспекция (о которой В.Н. Коковцов упоминает, расска-

<sup>18</sup> Там же. Т. 3. С. 569, 571.

<sup>19</sup> Милюков П.Н. Воспоминания. С. 253.

<sup>20</sup> В октябре 1905 г. учреждения Министерства финансов, ведавшие промышленностью, были переданы вновь созданному Министерству торговли и промышленности.

зывая о своем конфликте с министром внутренних дел В.К. Плеве) регулярно информировала его о стачках рабочих, их требованиях и т.д. После событий 9 января 1905 г. под председательством В.Н. Коковцова была создана междуправительственная комиссия, призванная выработать предложения о рабочей политике правительства<sup>21</sup>. Но и о ней в воспоминаниях ничего не говорится.

Когда читаешь главы воспоминаний В.Н. Коковцова, посвященные периоду революции 1905–1907 гг., создается впечатление, что правящие верхи не сознавали всей серьезности положения. Действия их были явно неадекватны реальной ситуации. Изредка это признает и сам В.Н. Коковцов. Умолчав о собственной комиссии, но вспомнив про комиссию Н.В. Шидловского, он мельком заметил: "Революционное движение росло, стачки множилось и развивались, быстро нарастала революция второй половины 1905 года, и не бумажной анкетой было потушить разгоревшийся пожар" (Т. I. С. 58).

Характерно, что революционное движение вызывало озабоченность у В.Н. Коковцова не само по себе, а тем, что оно вело к уменьшению доходов казны, падению стоимости российских ценных бумаг за рубежом и тем самым подрывало финансовое положение государства. В этом, разумеется, сказывалось своеобразие видения событий из окна Министерства финансов. Но лишь отчасти, ибо подобное восприятие революции, пожалуй, преобладало в верхах. В свете этого понятно, почему "финансовый манифест" петербургского Совета рабочих депутатов, его призыв бойкотировать бумажные денежные знаки и принимать в уплату только золото, был воспринят в верхах как реальная угроза самодержавию и подтолкнул их на принятие решительных карательных мер.

Пребывание В.Н. Коковцова на посту председателя Совета министров совпало с нарастанием новой волны рабочего движения в России. Но в его воспоминаниях читатель найдет упоминание только о "беспорядках" на Ленских золотых приисках. Не увидит он и других проявлений общественного недовольства и обострения социальных противоречий в стране. В нашей исторической литературе имеет хождение версия, будто бы царизм хотел дать реформы, но не мог из страха перед угрозой революции<sup>22</sup>. Воспоминания В.Н. Коковцова показывают, что царизм вообще не видел такой угрозы. Не было у него и желания "давать" какие-либо новые реформы сверх уже осуществлявшейся аграрной.

В воспоминаниях нарисована впечатляющая картина отчуждения высшей власти от общества. Взаимное недоверие определяло отношения между ними. Правительственная политика вырабатывалась келейно в узком кругу деятелей, представлявших высшие сферы. Руководители ве-

<sup>21</sup>См.: Рабочий вопрос в комиссии В.Н. Коковцова в 1905 г. М., 1926.

<sup>22</sup>См.: Аверех А.Я. Столыпин и Третья дума. М., 1968.

домств, влиятельные члены Государственного Совета и, наконец, лица, которые составляли царскую камарилью, — таков был до 1906 г. тот треугольник власти, который решал судьбы страны. С учреждением Государственной Думы он превратился в четырехугольник. Через Думу в затхлую атмосферу верхов стали проникать свежие веяния улицы.

Учреждение Государственной Думы было важнейшей из тех уступок обществу, на которые в октябре 1905 г. пошел Николай II под влиянием некоторых высокопоставленных государственных деятелей, прежде всего С.Ю. Витте, предложившего бросить "кость" недовольным, чтобы внести раскол в их ряды. Манифест 17 октября в какой-то мере выполнил эту функцию. После поражения Декабрьского вооруженного восстания произошел спад революционного движения. К тому времени, когда в апреле 1906 г. Дума должна была собраться на свою первую сессию, в верхах стало преобладать мнение, что сделанные уступки были чрезмерными. В результате главному "виновнику" манифеста С.Ю. Витте пришлось уступить место председателю Совета министров И.Л. Горемыкину, олицетворявшему курс на конфронтацию с Думой. Между тем и оппозиционные партии не собирались уступать, поскольку весной 1906 г. рабочее и крестьянское движение вновь пошло на подъем. В ответ на позицию, занятую правительством, думское большинство, возглавляемое кадетами, предприняло то, что В.Н. Коковцов называет "штурмом власти". Центральным пунктом этого штурма стало требование принудительного отчуждения (на тех или иных условиях) помещичьих земель.

Правящие верхи реагировали на это требование привычным образом: они разогнали Первую Думу. П.А. Столыпин, сменивший в июле 1906 г. И.Л. Горемыкина на посту председателя Совета министров, получил от царя полномочия на осуществление предложенных им реформ, которые преследовали целью решение аграрного вопроса без принудительного отчуждения помещичьих земель за счет разрушения общины, переселения крестьян на окраины и продажи им имений помещиков через Крестьянский поземельный банк. Было и другое направление столыпинской программы "умиротворения" России, которое не получило отражения на страницах "Воспоминаний" В.Н. Коковцова: активизация карательной политики. В августе 1906 г. Совет министров ввел военно-полевые суды и запретил лицам, находящимся на государственной службе, вступать в политические партии и союзы. 9/10 территории страны были им объявлены на военном или чрезвычайном положении.

Обосновывая Николаю II необходимость разгона Первой Думы, П.А. Столыпин отмечал, что самым крупным недостатком действующей избирательной системы являлось стремление облегчить доступ в Государственную Думу представителям крестьянства, основанное на ошибочном представлении о крестьянах, как наиболее надежном оплоте существ-

вующего политического строя”<sup>23</sup>. Он, однако, надеялся на то, что принятые им меры по ”умиротворению” страны сыграют свою роль. Но собравшаяся 20 февраля 1907 г. Вторая Дума оказалась еще левее, чем Первая. Тогда, разогнав 3 июня 1907 г. и эту Думу, царь издал новый избирательный закон, резко ограничивший возможности избрания представителей неимущих слоев населения. В результате в Третьей Думе царское правительство получило, наконец, опору, функции которой выполняло либо право-октябристское, либо октябристско-кадетское большинство. Тем самым завершилось создание чрезвычайно сложной и противоречивой системы власти, выражавшей собой сложившееся в стране равновесие сил правящих классов – поместного дворянства и торгово-промышленной буржуазии. Она получила название Третьеиюньской монархии.

Согласно Основным законам 1906 г. в России продолжало существовать самодержавие, однако власть царя уже не являлась неограниченной, поскольку в области законодательства она частично была передана представительным учреждениям – Государственной Думе и Государственному совету. Важнейшим из полученных ими прав являлось право утверждения бюджета. Оно позволяло им при рассмотрении смет отдельных ведомств вторгаться даже в такие сферы, которые находились вне их компетенции: внешняя политика, военные дела и др. Не удивительно, что в воспоминаниях В.Н. Коковцова так много места заняла Дума: ведь ему, как министру финансов, приходилось ежегодно проводить через нее государственную роспись доходов и расходов. Следует лишь отметить, что, описывая бюджетные прения и свои стычки с оппозицией, В.Н. Коковцов несколько драматизирует действительную ситуацию. Как справедливо констатировал советский историк А.Я. Аврех, досконально изучивший работу Третьей и Четвертой Дум, там ”стихийно и довольно скоро сложился более или менее постоянный сценарий думского бюджетного действия”: ”Общие прения по бюджету затрагивали массу вопросов, крупных и мелких, общероссийских и региональных, изобиловали огромным количеством цифр, но практически не давали никаких результатов: министр финансов пункт за пунктом опровергал и объявлял несостоятельными все критические замечания и претензии к экономической политике правительства”<sup>24</sup>.

В условиях, когда правительство могло, как правило, рассчитывать в Думе на поддержку либо право-октябристского, либо октябристско-кадетского большинства, а, кроме того, на страже его политического курса стоял Государственный совет, половина членов которого назначалась царем, критика правительства с думской трибуны левой или правой оппо-

<sup>23</sup>См.: Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм в первой русской революции. Изд. 2-е. М., 1970. С. 338.

<sup>24</sup>Аврех А.Я. Царизм и IV Дума. 1912–1914 гг. М., 1981. С. 68.



зией, не имея в большинстве случаев шансов достичь каких-либо реальных результатов, носила по преимуществу демонстративный характер. Не следует недооценивать ее роль: разоблачая пороки царского самодержавия, она подрывала его устои. Однако привычка к такого рода демонстративной критике, сложившаяся в годы Третьеиюньской монархии, дорого стоила российской буржуазной и мелкобуржуазной оппозиции: придя в 1917 г. к власти, ее лидеры продолжали произносить речи, когда требовалось принимать решения.

Дума и Государственный совет были важными, но не главными властными структурами Третьеиюньской монархии. Она определяла лишь некоторые общие условия ее функционирования. Реальная власть осуществлялась госаппаратом и царской камарильей. Механизм их взаимодействия – почти не поддается изучению, так как большую роль в нем играли личные отношения, не фиксировавшиеся в документах. В этом отношении воспоминания В.Н. Коковцова особенно интересны.

В системе Третьеиюньской монархии исполнительная власть не была подотчетна представительным учреждениям. Последние получили лишь право обращаться с запросами к министрам и главноуправляющим центральных ведомств, но только по поводу их незаконных действий. Причем министры и главноуправляющие могли не отвечать на обращенные к ним запросы. А признание Думой ответа на запрос неудовлетворительным не влекло за собой никаких последствий.

С момента учреждения в России министерств в 1802 г. министры и главноуправляющие назначались царем и были ответственны только перед ним. Одновременно с первыми министерствами был создан Комитет министров – совещательный орган для рассмотрения дел, требующих "общего соображения и содействия", превышающих пределы власти министра или тех, по которым он встречал "сомнения". Однако этот Комитет не осуществлял координацию деятельности ведомств. Между тем в условиях революционной ситуации конца 50-х – начала 60-х годов потребность в такой координации резко возросла. Поэтому в 1857–1861 гг. был создан новый правительственный орган – Совет министров под председательством царя. В отличие от Комитета министров, в ведении которого остались текущие административные дела, Совет министров рассматривал мероприятия общегосударственного значения. Через него прошли проекты ряда буржуазных реформ 60-х годов. По мере их осуществления значение Совета министров стало падать. В 70-е годы его заседания происходили редко, а с конца 1882 г. прекратились вообще. Но официально Совет министров не был упразднен.

Что касается Комитета министров, то в начале 900-х годов он представлял собой, по словам С.Ю. Витте, учреждение, куда "вносилась масса административного хлама – все, что не было более или менее точно определено законами, а также важные законодательные акты, которые рискованно

ли встретить систематическое и упорное сопротивление со стороны Государственного Совета. Таким образом через Комитет министров прошли почти все временные законы, ограничивающие права евреев, поляков, армян и иностранцев, различные полицейские меры о всевозможных охранах, всякие опеки различным лицам, протезируемым свыше, коль скоро давались льготы вне закона, и тому подобные дела"<sup>25</sup>. Иначе говоря, Комитет министров, как и раньше, не занимался координацией исполнительной деятельности министров. Эту функцию российские монархи предпочитали оставлять за собой. Министры действовали под непосредственным их руководством независимо друг от друга. Прямое подчинение министров царю как бы символизировалось предоставленным им правом персонального "всеподданнейшего доклада". Но когда в 1905 г. в России началась революция, Николай II был вынужден задуматься о необходимости объединения усилий различных ведомств в борьбе с революционным движением.

В феврале 1905 г. работа Совета министров была возобновлена. Председателем Совета министров номинально оставался царь. Но он поручил вести заседания председателю Государственного Совета графу Д.М. Сольскому. Одновременно было создано под председательством С.Ю. Витте Особое совещание для обсуждения "Соображений об объединении в Совете министров высшего государственного управления". Хотя В.Н. Кокцов ничего не пишет об этом в своих воспоминаниях, он принимал активное участие в работе упомянутого Особого совещания. Более того, подготовленная им записка "Об объединении деятельности министров" была в конечном счете принята за основу разрабатываемого совещанием проекта. В центре его обсуждения стояли два тесно взаимосвязанных вопроса: о роли председателя "объединенного правительства" и характере отношений министров с царем. Вследствие явной неспособности Николая II руководить "объединенным правительством" и необходимости передачи этих функций специально уполномоченному главе правительства участникам Особого совещания требовалось решить вопрос о том, будет ли последний выполнять роль представителя кабинета министров перед царем, как в конституционных монархиях западно-европейского типа, или роль уполномоченного царя перед министрами, наподобие восточных визирей.

И в том, и в другом случае вставал вопрос о замене традиционных личных "всеподданнейших докладов" министров той или иной формой коллективной отчетности кабинета перед царем. Первый вариант, означавший очевидное ущемление царского самодержавия, участники Особого совещания не решились даже рассматривать. С.Ю. Витте склонялся ко второму варианту. Но предлагавшаяся им форма визирата неизбежно ве-

---

<sup>25</sup> Витте С.Ю. Воспоминания. Т. 2. С. 258.

ла к фактической передаче царем всей полноты власти всецельному главе правительства. Идея В.Н. Коковцова состояла в том, чтобы, оставив в неприкосновенности царские прерогативы, ограничиться лишь некоторым упорядочением деятельности существующих высших совещательных органов – Совета министров и Комитета министров. Он предложил сохранить председательствование царя в Совете министров и непосредственное подчинение ему министров, а координационные функции возложить на Комитет министров. Но даже такой вариант, видимо, вызвал опасения у Николая II. 16 апреля он повелел прекратить работу Особого совещания. Однако события заставили его вернуться к рассмотрению предложений о создании "объединенного правительства". 27 августа Д.М. Сольскому, назначенному председателем Особого совещания для рассмотрения положения о выборах в Государственную ("Булыгинскую") думу, была препровождена Николаем II анонимная записка с его пометой: "В ней очень много верного и полезного". Автор записки предупреждал, что без сильного и единого правительства крушение режима неизбежно.

С конца августа разработка реформы Совета министров вступила в свой заключительный этап. Именно о нем ведет речь В.Н. Коковцов (Т. I. С. 89–92), которого С.Ю. Витте в своих мемуарах обвинил в том, что он "всячески старался похоронить проект об единстве министерства"<sup>26</sup>. Оба мемуариста пытаются объяснить их расхождения в данном вопросе ухудшением отношений между ними. Между тем эти расхождения проявились, как отмечалось выше, еще на первом этапе обсуждения реформы Совета министров в февралье – апреле 1905 г. Предлагаемые разные варианты ремонта застопорившегося механизма царского самодержавия, С.Ю. Витте и В.Н. Коковцов были едины в стремлении продлить его дальнейшее существование. В.Н. Коковцов полагает, что инициатива предложения нового проекта "объединения деятельности отдельных министерств", "принадлежала, разумеется гр[афу] Витте" (Т. I. С. 89). Возможно, он ошибается, так как еще 5 июля С.Ю. Витте отбыл в США для ведения переговоров о заключении мирного договора с Японией<sup>27</sup>. Но, вернувшись 15 сентября в Россию, он активно включился в работу совещания Д.М. Сольского.

Острые споры опять разгорелись по вопросам о роли председателя Совета министров и о праве министров на "всеподданнейшие доклады". С.Ю. Витте, ратуя за создание "сильного правительства", настаивал на том, чтобы министры назначались царем лишь по представлению предсе-

<sup>26</sup>Витте С.Ю. Воспоминания. Т. 2. С. 545.

<sup>27</sup>В литературе высказывалось предположение, что автором анонимной записки, препровожденной Николаем II Д.М. Сольскому, был А.В. Кривошеин (См.: Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм в первой русской революции. Изд. 2-е. М., 1970. С. 135; Кризис самодержавия в России: 1895–1917. Л., 1984. С. 217).

дателя Совета министров из лиц, придерживавшихся его программы, а их личные "всеподданнейшие доклады" царю были бы заменены на общие доклады кабинета или поставлены под контроль его главы. В.Н. Коковцов выступил против создания "объединенного кабинета министров" во главе с премьер-министром, наделенным столь широкими полномочиями. В этом мнении он оказался не одинок. Один из участников Особого совещания А.А. Половцов 4 октября записал в своем дневнике: "Многие восстают против первого министра, т.к. он будет визирем, ограничивающим самодержавие"<sup>28</sup>. Октябрьская политическая стачка ускорила завершение разработки реформы Совета министров. На второй день после опубликования манифеста 17 октября царем был издан указ "О мерах к укреплению единства в деятельности министерств и главных управлений"<sup>29</sup>.

Первая его статья гласила: "На Совет министров возлагается направление и объединение действий главных начальников ведомств по предметам законодательства и высшего государственного управления". В соответствии с этим предписывалось, что "никакая имеющая общее значение мера управления не может быть принята главными начальниками ведомств помимо Совета министров". Исключение составляли "дела, относящиеся до ведомства императорского двора и уделов, государственной обороны и внешней политики", которые могли вноситься в Совет министров лишь "когда последует на то высочайшее повеление, или когда начальники подлежащих ведомств признают сие необходимым или же когда упомянутые дела касаются других ведомств...". Не была подчинена Совету министров и ревизионная деятельность государственного контролера.

Но даже в этих пределах, за исключением второстепенных дел, "разрешаемых собственной властью Совета министров", его постановления подлежали утверждению царем, оставившим за собой право окончательного решения основных вопросов, обсуждавшихся Советом министров.

В Совет входили все министры, главноуправляющий землеустройством и земледелием, обер-прокурор Святейшего Синода и государственный контролер. В случае необходимости в его заседаниях могли участвовать и другие ответственные представители государственного аппарата. Совет действовал "под председательством одного из министров по избранию императора или особого, призываемого к тому монаршим доверием лица". Мог председательствовать в Совете и сам царь. Указ 19 октября 1905 г. определял роль председателя Совета министров как его представителя перед "верховой властью" и "законодательными учреждениями

<sup>28</sup>Половцов А.А. Дневник // Красный архив. 1923. Т. 4. С. 74.

<sup>29</sup>История разработки реформы Совета министров в 1905 г. подробно освещена в специальных исследованиях: Королева Н.Г. Первая российская революция и царизм: Совет министров России в 1905–1907 гг. М., 1982. С. 27–44; Кризис самодержавия. С. 179–188, 217–240.

ми". Он получил возможность контролировать деятельность министров в рамках предоставленной Совету компетенции: министры были обязаны сообщать ему "безотлагательно сведения о всех выдающихся, происходящих в государственной жизни событиях, принятых мерах и распоряжениях". Вместе с тем за министрами было сохранено право личных "всеподданнейших докладов", хотя им предписывалось согласовывать их с председателем Совета<sup>30</sup>.

Таким образом, Совет министров представлял собой коллегиальный совещательный орган при монархе. Он лишь вырабатывал политику. Решающее слово оставалось за "высшей властью", т.е. царем и царской камарильей. Причем из ведения Совета министров оказались изъяты вопросы реализации важнейших функций государства: внешней политики и обороны. Царь решал их, минуя Совет министров, с глазу на глаз с соответствующими министрами, хотя последние входили в состав Совета. Между тем решение военных и внешнеполитических вопросов, как хорошо видно из воспоминаний В.Н. Коковцова, нередко затрагивало интересы других ведомств. Что касается остальных министров, то, будучи обязаны регулярно докладывать непосредственно царю дела, входящие в их компетенцию, они находились как бы в двойном подчинении. Все это отнюдь не способствовало объединению правительства, создавало почву для конфликтов, подсиживания министрами друг друга и различных интриг. В этих условиях крайне сложными и деликатными были функции председателя. Он не имел необходимых правовых и административных рычагов для обеспечения единства возглавляемого им кабинета. Его положение и вес зависели главным образом от благорасположения к нему "верховой власти".

Здесь мы подошли к самому трудному для изучения и понимания элементу Третьеиюньской системы. Что представлял собой последний российский император, олицетворявший "верховную власть"? Был ли он в состоянии выполнять ревниво оберегаемые им функции самодержца России, вершителя судеб огромной страны? Подавляющее большинство мемуаристов и историков, пытавшихся охарактеризовать Николая II, негативно оценивают его и как человека, и как государственного деятеля. В отличие от них В.Н. Коковцов, оставшийся до конца своих дней убежденным сторонником самодержавия, рисует портрет Николая II не только с благоговением, но и с симпатией. Однако этот портрет, помимо воли его автора, особенно убедительно и наглядно показывает неспособность царя

<sup>30</sup>Компетенция Совета министров, определенная первоначально указом 19 октября 1905 г., была дополнена указом 23 апреля 1906 г. об упразднении Комитета министров: ПСЗ. III. Т. 25. № 26820; Т. 26. № 27804. Подробнее см.: *Ерошкин Н.П.* Совет министров царской России в 1905–1907 гг.: Исторический очерк // *Особые журналы Совета министров царской России: 1906 г. М., 1982. С. 1011–1017; Королева Н.Г.* Указ. соч. С. 37–43.

и окружавших его "темных сил", обладавших огромной властью, руководить страной, обеспечить ее прогрессивное развитие. Как справедливо заметил П.Н. Милюков, воспоминания В.Н. Коковцова "по отношению к царю и его ближайшему окружению могли бы служить настоящим обвинительным актом"<sup>31</sup>.

Что же побуждало В.Н. Коковцова, не раз убеждавшегося в неспособности царя принимать компетентные решения и видевшего дурное влияние на него "темных сил", верно служить ему? Почему он терпеливо сносил оскорбительное отношение со стороны царицы, которую в сущности презирал, вполне отдавая отчет о пагубном ее воздействии на государственные дела? Вряд ли все это объясняется только соображениями карьеры. Вероятно, главную роль здесь все же играла формировавшаяся веками в дворянской среде психология царского слуги. Иначе трудно объяснить то неподдельное волнение, с которым В.Н. Коковцов, спустя два десятилетия, вспоминает об оказанном ему "явном невнимании", когда на приеме в Ливадии Александра Федоровна, чуть было не пройдя мимо него, так быстро отвела поданную ему руку, что он "едва успел поцеловать ее" (Т. II. С. 66). С тех пор прошло много лет. Давно ликвидировано в нашей стране царское самодержавие и искоренено служилое дворянство. Но у пришедших на смену царям некоронованных самодержцев, невежественных, но властолюбивых, не было, как мы знаем, недостатка в слугах, хотя и не таких верных.

Свойственное Третьеиюньской системе отчуждение властных структур от общества и такое их построение, при котором решающие функции были сосредоточены у некомпетентной и безответственной "вышей власти", не желавшей больше ничего менять, делали ее неспособной к самореформированию в соответствии с объективно происходящими экономическими и социальными процессами развития. Этот урок, к сожалению, не был усвоен последующими поколениями руководителей нашей страны.

*В.И. Бовыкин*

---

<sup>31</sup> Милюков П.Н. Воспоминания. С. 250.

## ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В декабре 1872 года, имея от роду 19 лет, я окончил курс Императорского Александровского лицея.

По настоянию трех известных профессоров юридической специальности того времени: А.Д. Градовского, Н.С. Таганцева и С.В. Пахмана — я хотел посвятить себя ученой карьере и избрать для себя специальностью государственное право. Для этой цели я задумал поступить в С.-Петербургский университет, по юридическому факультету, пройти насколько окажется возможным быстро полный его курс и затем попытаться выдержать магистерский и докторский экзамены и добиться соответствующих ученых степеней. В этом моем желании меня горячо поддержал мой отец, сказавший мне, что он обеспечивает мне безбедное существование на все время моих научных занятий и настаивает на том, чтобы я не стремился зарабатывать непривычным трудом средства к жизни, отнимая время от научной работы.

Судьба решила, однако, иное. Прошло всего два месяца с того дня, когда прямо с лицейского выпускного акта я отвез в университет мой лицейский диплом и состоявшееся особое обо мне постановление, как скончался скоростижно мой отец, и вся наша многочисленная семья оказалась в очень трудном материальном положении. Мне пришлось отказаться от моего желания и пойти по обычной для того времени, для всех окончивших курс лицея, дороге, — искать поступления на государственную службу.

10 марта 1873 года я поступил кандидатом на штатные должности в Департамент Министерства юстиции, сначала по статистическому, затем по законодательному и потом — по уголовному отделениям, и в течение ровно 44 лет до марта 1917 года без всякого перерыва я оставался на государственной службе.

Февральская революция 1917 года положила конец этой моей службе.

Временное правительство, сменившее царское, простым декретом прекратило существование Государственного Совета, к составу которого я принадлежал более 12 лет. Я разделил поэтому общую участь — оказался просто выброшенным за борт, недоумевая, как и все, на что решился, что предпринять. Шесть месяцев спустя, подчиняясь также общему уделу, я лишился всех моих скромных сбережений и всего моего имущества и год спустя, в ноябре 1918 года, спасая жизнь жены и свою, я покинул родину без всякой надежды когда-либо увидеть ее.

За 44 года моей службы мне пришлось пройти довольно разнообразный путь.

После шести лет службы в Министерстве юстиции одиннадцать лет моей жизни, в самые молодые мои годы – с 1879 по 1890 год, я отдал работе в должности старшего инспектора и помощника начальника Главного тюремного управления, в период коренного переустройства этой отрасли управления на началах, выработанных выдающимся государственным человеком того времени – статс-секретарем К.К. Гротом.

Я вспоминаю эту пору моей деятельности с величайшею благодарностью. Она дала мне возможность приобрести самые разнообразные познания в нашей административной службе, и им я обязан тем, что во многих случаях моей последующей работы я оказался более подготовленным, нежели многие из моих сослуживцев.

Шесть лет, с 1890 по 1896 год, я принадлежал к составу Государственной канцелярии, занимая в ней должности помощника статс-секретаря, статс-секретаря и товарища государственного секретаря. Эти годы дали мне возможность близко изучить вопросы бюджета и государственного хозяйства и подготовили меня к следующим шести годам, с 1896 по 1902 год, которые я провел в должности товарища министра финансов, в бытность министром графа Витте.

После короткого промежутка в два года, с 1902 по 1904 год, когда я занимал должность государственного секретаря, я снова вернулся в Министерство финансов, чтобы оставаться в течение 10 лет на посту министра, который я совмещал почти три года, с 1911 по 1914 год, с должностью председателя Совета министров.

В ту минуту, когда мне пришлось покинуть мой двойной пост в конце января 1914 года, я сказал себе, что за последнюю пору моей жизни судьба поставила меня свидетелем и даже деятельным участником немалого количества событий и на мне лежит, до известной степени, моральный долг оставить в виде моих Воспоминаний след тому, что я видел, в чем участвовал и что я делал среди этих событий.

К тому же эти последние годы моей активной деятельности, с 1903 по 1918 год, вообще мало освещены. Воспоминаний, дающих правдивый и обоснованный пересказ того, что было в эту пору, вообще немного. Большая часть очевидцев и деятелей этого времени умерли, не опубликовавши своих воспоминаний и даже, вероятно, не оставивши их. Таким образом, целая эпоха, которая во всяком случае достойна быть освещена, может просто не оставить следа, если не будет сделано попытки сказать про нее правдивое слово.

Поэтому, мне казалось, что на мне лежит именно этот долг сохранить от забвения и уберечь от неправды то, что проходило передо мною, хотя бы по тому одному, что у меня еще хорошая память обо всем, что было, а еще более потому, что я случайно сохранил также все, что мне удалось



записать в свою пору, в виде коротких заметок, хотя и не сопровождаемых подробными записями, но зато не последовательном порядке оставших след почти всем событиям, на которых останавливалось мое внимание. Эти записи послужили для меня тем источником, из которого я мог почерпнуть воспоминания почти день за днем о том, что я видел, что пережил и что сейчас напоминает мне все мое прошлое и не дает печальной действительности затушевать его, а тем более уничтожить его.

Я даю себе ясный отчет в том, что условия моей жизни после 1914 года мало благоприятствовали тому, чтобы придать моим Воспоминаниям тот объем и тот характер, который мне хотелось дать им в ту минуту, когда я начинал приводить в порядок мои записи и отметки.

Сначала война, потом революция и, наконец, уход в изгнание – все это отняло от меня то спокойствие духа, а может быть даже и возможность вполне объективно сосредоточиться на прошлом, без которых самый пересказ то том, что пережито и испытано, может показаться недостаточно уравновешенным, а отчасти даже и недостаточно интересным по сравнению с теми событиями, которые пришли ему на смену.

Я решил поэтому сузить объем моих воспоминаний, ограничив их только последнюю порою моей жизни и деятельности на родине, так как за эту пору я был не только свидетелем, но и деятелем моего времени и несу за него известную ответственность.

Я не пишу истории моего времени. Я говорю только о том, что было при мне и при моем непосредственном участии. Я составляю, так сказать, путевой журнал пройденного мною пути, и в нем я останавливаюсь перед отдельными явлениями, встреченными мною на моей жизненной дороге, и даю им фотографический снимок, без ретуши и тем более без всякой попытки осветить их искусственным светом.

Я старался избегать всякого рода обобщений и широких выводов. Единственное, от чего я не хотел отойти в моем рассказе ни на минуту, это – от того, чтобы всегда говорить правду, одну правду, но за то и – всю правду. Отсюда, по необходимости, все мои Воспоминания окрашены чисто личным освещением. В этом их большой недостаток, но зато, быть может, и некоторое достоинство.

*Часть первая*

НА ПОСТУ  
МИНИСТРА ФИНАНСОВ  
ДО МОЕГО ПЕРВОГО  
УВОЛЬНЕНИЯ

1903—1905 [годы]

## ГЛАВА I

*Отставка С.Ю. Витте и назначение управляющим Министерством финансов Э.Д. Плеске. — Обстоятельства, при коих состоялась неожиданная для Витте его отставка. — Болезнь Э.Д. Плеске и мое участие в бюджетной работе 1903 года. — Первые слухи о порче отношений с Японией. — Нападение на Порт-Артур и начало войны. — Мое назначение управляющим Министерством финансов*



Лето 1903 года, как и лето предыдущего года, когда я только что был назначен на должность государственного секретаря, мы проводили у себя в деревне близ ст. Веребье Николаевской железной дороги. Я собирался в начале августа поехать в Гамбург, куда должна была приехать к концу моего там пребывания жена, и мы должны были вместе съездить на две недели в Париж перед тем, чтобы окончательно вернуться в город на зиму. Время шло в деревне, как всегда, мирно, беззаботно. Государственный совет был закрыт и ничто не нарушало того идеального покоя, который был так дорог после 6 трудных лет моей службы не должности товарища министра финансов.

Готовясь к отъезду за границу, я приехал на несколько часов в город и зашел в Государственный банк к моему другу Э.Д. Плеске, чтобы узнать от него, не могу ли я навестить в тот же вечер на даче в Парголово его и его семью, с которою я был также дружен и даже, пожалуй, еще более близок, чем с ним самим. Мы условились, с каким поездом мне лучше всего поехать, но сам он не мог поехать одновременно со мною, так как был позван на обед к министру финансов С.Ю. Витте.

Я собирался было уже ехать на Финляндский вокзал около 5 часов, как раздался телефонный звонок с дачи Витте, и м[ада]м Витте от имени мужа и своего просила меня непременно обедать у них, сказавши, что мужу очень хочется видеть меня, и он обрадовался, узнавши от Э.Д. [Плеске] о моем приезде из деревни.

Зачем именно понадобилось позвать меня на обед, я так и не понял, потому что никаких особых разговоров со мною не было, и я уехал отсюда довольно рано, одновременно с Плеске, торопившимся к себе на дачу, и очень сожалел о том, что я не попал в Парголово, так как на следующий день в три часа я выехал обратно в деревню. Если я упоминаю об этом обеде у Витте, то только потому, что все разговоры за столом вертелись исключительно около намеченной Витте поездки его с семьею в половине августа на Черноморское побережье на его дачу около Сочи, и он не раз

упрекал меня за то, что я не имею дачи на побережье, так как там, по его словам, настоящий рай, — не то что ”в Вашей любимой загранице”, как выражался он, утверждая, что терпеть не может поездок на Запад. Затем не раз Витте касался всевозможных вопросов, застрявших в Государственном совете, просил меня помочь двинуть их в самом начале сессии, намекал на его постоянные трения с министром внутренних дел Плеве, и решительно ничто не говорило за то, что он собирается покинуть министерство.

На утро Э.Д. Плесске позвонил ко мне по телефону, чтобы передать сожаление его семьи по поводу того, что я не был у них вчера, и прибавил: ”Смотри, как бы тебя не вытащили из твоего прекрасного далека”. На вопрос мой, что это значит, но мне сказал только: ”У нас много говорят о том, что будет скоро большая перемена, и кому же, как не тебе, возвращаться на старое пепелище”. Я не придумал этому никакого значения, вернулся в деревню, просидел там еще около трех недель и в самом начале августа выехал в Гамбург, без остановки в Берлине. В половине августа, 16 или 17 числа нашего стиля, подхожу я к источнику пить воду, навстречу ко мне идет Столпаков и показывает 3 прибавление к Франкфуртской газете, в котором напечатано известие из Петербурга о назначении Витте председателем Комитета министров и о замещении его в должности министра финансов Э.Д. Плесске.

Прямо от источника, не заходя домой, я прошел на телеграф и послал горячую приветственную телеграмму моему другу и товарищу детства, желая ему самым искренним образом успеха на трудном посту. Прошло два дня и ответной телеграммы от него не было. Только ночью второго дня, когда все спало мирным сном в тихом и уютном Гамбурге, я проснулся от сильнейшего стука в калитку виллы Фелль, в которой я занимал комнату в нижнем этаже с выходом прямо в сад. Никто не выходил на стук, я встал, надел халат и вышел в сад. Оказалось, что давно уже напрасно добивается открытия калитки посланный с телеграфной станции для передачи именно мне двух депеш — одной простой, другой срочной, которая и оправдывала, собственно говоря, ночную доставку, так как по правилам того времени, телеграммы доставлялись на дом только до 9 часов вечера. Первая депеша была от Плесске с выражением самой теплой благодарности за приветствие и надежды на помощь в трудную минуту, а вторая — от моего товарища по должности государственного секретаря барона Иксуля с извещением, что с председателем Государственного совета Великим Князем Михаилом Николаевичем случился удар, что его жизнь в опасности и что, по совету многих близких мне людей (я понял, что дело идет о гр[афе] Сольском), мне необходимо немедленно приехать в Петербург и получить от кого следует (то есть Государя) соответствующие указания.

Вечером того же дня я выехал в обратный путь, предварительно попросивши того же бар[она] Иксуля предвратить жену и моем приезде.

Помню хорошо, что я приехал домой в воскресенье; в то же утро несколькими часами раньше меня приехала жена из деревни, и мы сидели дома, когда около трех часов к нам приехал в мундире и ленте Э.Д. Плеске, делавший в этот день официальные визиты. День был очень жаркий и душный. Когда он вошел ко мне в кабинет, мы оба с женою не могли удержаться от вопроса, что с ним, настолько нас поразило его внешний вид: бледный с бескровным лицом, покрытый потом, он едва держался на ногах и с трудом опустился в кресло, ища какого-то положения, при котором он меньше бы страдал. Он ответил нам, что устал от разъездов по городу и его окрестностям, но что это только минутное утомление, которое, вероятно, скоро пройдет. Тут же он рассказал нам, как состоялось его назначение, которого он никак не ожидал, как не ожидал своего увольнения Витте, несмотря на то что разговоры об этом уже ходили в городе. До меня они не дошли. Я помню хорошо этот рассказ и воспроизвожу его со всею точностью, так как он представляется во всех отношениях весьма характерным. Вот как передал мне покойный Плеске этот инцидент.

В конце июля он доложил своему министру, что никогда не бывал в Сибири и находил крайне полезным для дела побывать там и направить работу отделений Государственного банка, в которых замечалось чрезвычайно резкое повышение всех активных операций под влиянием большого оживления всей экономической жизни края. В особенности его заботил личный состав отделений, мало приспособленный к новой обстановке. Жаловался также торговый класс на то, что Государственный банк мало реагирует на требования жизни и на то, что частные банки пользуются этими недостатками и жмут торговлю своими тяжелыми условиями.

Витте отнесся к этому предположению очень сочувственно и поставил только два условия: чтобы поездка произошла одновременно с его собственным отъездом на юг и не заняла более одного месяца, так как к началу хлебной кампании он желал бы, чтобы Плеске вернулся из поездки. Предложение это было доложено им Государю, не встретило никаких с его стороны возражений, и Плеске стал готовиться к отъезду около 15 августа. Все было уже приготовлено, найден удобный салонный вагон, подобраны спутники из состава ближайших сотрудников по Государственному банку, испрошены путевые пособия и оставалось только выждать отъезда министра и отправиться в путь следом за ним.

Поздно ночью 14 августа, когда все на парголовской даче Плеске спало уже мирным сном, раздался стук в двери, и появился курьер министра Жуковский с запискою Витте, набросанной карандашом: "Сейчас получил приказание Государя привезти Вас завтра с собою на доклад. Будьте на Петергофской пристани к 9 часам". Пришлось разбудить прислугу, послать в город за мундиром и только под утро удалось все наладить, так как передвижение между Парголовым и городом на лошадях потребова-

ло немало времени. Во время совместной с Витте поездки на пароходе Плеске ничего не узнал, так как Витте сказал ему только, что вероятно Государь желает видеть его перед его отъездом в Сибирь, так как всегда интересуется Сибирью, тем более что и сам Государь собирается через несколько дней выехать в Крым. Тут же Витте повторил Плеске, что просит его постоянно сноситься с ним по телеграфу шифром и сказал, что Путилову (директору Общей канцелярии) передано уже распоряжение о снабжении его новым шифром. Во время доклада Витте Государю Плеске сидел в маленькой приемной с дежурным флигель-адъютантом и вел самый обыкновенный разговор. Доклад длился очень долго, и собеседник Плеске заметил даже: "Как бы не задержал Ваш министр Государя с завтраком, этого здесь не любят". Витте вышел из кабинета Государя с весьма смущенным лицом, подал Плеске руку и сказал ему только: "Я подожду Вас на пароходе". Когда Плеске вошел в кабинет, Государь посадил его против себя к окну и без всякого вступления, самым простым тоном сказал ему: "Сергей Юлиевич принял пост председателя Комитета министров, за что я ему очень благодарен, и я решил назначить Вас управляющим Министерством финансов". Смущенный такой неожиданностью, Плеске несколько времени молчал, а затем сказал, что он не имеет достаточно слов, чтобы выразить свою благодарность за оказываемое доверие, но очень опасается, что не сумеет его оправдать, так как здоровье его очень неважно, да он и не обладает многими свойствами, без которых пост министра ему будет не под силу. На это Государь сказал ему: "Но Вы обладаете тем преимуществом, которым не обладают другие, — моим полным к Вам доверием и моим обещанием во всем помогать Вам. Я думал сначала дать Вам возможность побывать в Сибири и назначить Вас уже после Вашего возвращения, но так будет лучше, Вы успеете съездить в Сибирь и в качестве министра, когда сами выберете подходящий момент".

Никаких разговоров больше не было, и Государь простился со словами: "До будущей пятницы, после чего я сам скоро уеду на отдых в Крым".

На пароходной пристани Плеске застал Витте мирно беседовавшим с кем-то их моряков, но когда они вошли на яхту и сели в каюту, Витте не удерживался более и резвился нисколько не скрываемым неудовольствием. Плеске не передал мне отдельных слов и выражений, но я хорошо помню из его рассказа, что Витте и не подозревал об увольнении его от должности министра и совершенно не был к этому готов. Он сказал Плеске, что весь его очередной доклад был выслушан с полнейшим вниманием, все одобрено и утверждено. Витте закончил все очередные вопросы испрошением указаний решительно обо всем и представил Государю отдельный экземпляр шифра для сношения с ним во время пребывания его в Ливадии, просил разрешения телеграфировать по всем срочным вопро-

сам и уже собирался встать и откланяться, как Государь в самой спокойной и сдержанной форме сказал ему: "Вы не раз говорили мне, что чувствуете себя очень утомленным, да и немудрено устать за 13 лет. Я очень рад, что имею теперь возможность предоставить Вам самое высокое назначение и сделал уже распоряжение о назначении Вас председателем Комитета министров. Таким образом, мы останемся с Вами в постоянных и самых близких отношениях по всем важнейшим вопросам. Кроме того, я хочу показать всем мое доверие к Вашему управлению финансами тем, что назначаю Вашим преемником Плеске. Надеюсь, что это доставит Вам только удовольствие, так как я хорошо помню, как часто Вы говорили о нем в самых сочувственных выражениях, да и со всех сторон я слышу о нем только одно хорошее. Его очень любит и моя матушка".

— Вы понимаете, — сказал Витте, — что меня просто спустили. Я надоел, от меня отделались, и мне следует просто подать в отставку, что я, конечно, и сделаю, но не хочу сразу делать скандала.

В конце сентября или в самых первых числах октября того же года, под конец нашего пребывания в Париже, мы с женою собирались уже в обратный путь домой. За день или за два до отъезда — мы жили тогда в Отель д'Альбани на рю де Риволи — к нам зашел покойный Я.И. Утин и сказал, что только что встретил на улице Витте, который, узнавши, что я здесь, сказал ему, что очень хотел бы меня видеть. Я отправился по указанному мне адресу, в Отель Вестминстер на rue de la Paix, где жил и Утин, и спросил консьержа, дома ли Витте. Тот ответил мне, что никакого Витте у них нет, но есть господин Еттив (те же буквы, читаемые с конца. [— Авт.]), — "что, впрочем, — прибавил он, — одно и то же". Я застал его дома, так же как и его жену, и его беседа носила характер прямого обвинения Государя в неискренности и самого раздраженного отношения к увольнению его с поста министра финансов. На мой вопрос, когда думает он вернуться обратно, он сказал мне, что не принял еще никакого решения, так как ждет некоторых разъяснений о своем увольнении, ибо, — прибавил он, — "до меня доходят слухи о возможности моего ареста по требованию Плеве, благодаря проискам которого я и уволен". Я старался обратить весь разговор в шутку, в него вмешалась М.М. Витте и сказала между прочим: "Как Вы должны благодарить судьбу за то, что не попали в министры финансов и остались на таком прекрасном, спокойном месте, как должность государственного секретаря". Витте прибавил к этому: "Если бы я только предполагал, что меня уволят, — я, конечно, указал бы Государю на Вас, как на единственного подходящего кандидата, так как Плеске не справится и ему все равно сломят шею, да к тому же он тяжело болен и не сможет оставаться на этой должности". Я нимало не сомневаюсь, что он поступил бы как раз наоборот и ни в каком случае не сказал бы ни одного слова в мою пользу, как не говорил, вероятно, ничего доброго про меня, когда я занимал пост министра финансов. Мы рас-

стались на том, что я сказал, что чувствую себя прекрасно на своем месте, никуда не стремлюсь и буду рад помочь Плеске во всем, в чем это окажется для меня возможным, — по Государственному совету.

Я пробыл в Петербурге только четыре дня, видел за это время Государя, получил от него приказание составить Указ о назначении графа Сольского временным заместителем председателя Государственного совета, впредь до выздоровления Великого Князя, и вместе с женою выехал за границу следом за уехавшим в Крым Государем. Вернулись мы около 6—7 октября и первым моим шагом было навестить Плеске, который оказался мне сильно похудевшим, даже против того, как он был при нашем отъезде. Тут же я узнал от него и от моих близких, что в нем очевидно таится какая-то тяжелая болезнь, но какая именно, никто не говорит, и только вскользь кто-то упомянул, что у него по-видимому внутренняя опухоль, которую называли "саркомой". Так потом и оказалось. Рассказывали при этом, что уже с начала лета он жаловался на какую-то неловкость в левой стороне, избегал ходить, почти отказался от любимой игры с детьми в теннис и как-то в начале августа, еще до назначения его на новую должность, поехал к своему двоюродному брату на дачу в Знаменку и возвращался оттуда в Новый Петергоф на железную дорогу на его одиночке. Лошадь чего-то испугалась в парке, понесла, и он и жена его, воспользовались удобною минутою, выпрыгнули из экипажа, Сам Эдуард Дмитриевич прыгнул прямо на ноги и тут же почувствовал жгучую боль во всей левой тазовой полости, и с той минуты эта боль уже не проходила и усиливалась день ото дня. Он переносил ее со стоическим спокойствием, не показывая близким своих страданий. Знала об них, по-видимому, только его прелестная старшая дочь, Нина, не оставлявшая своего отца ни на минуту и в уходе за ним потерявшая окончательно свое хрупкое здоровье. Под влиянием страданий, пережитых ею у постели нежно любимого отца, у нее развилась чахотка и через три года после кончины отца не стало и ее.

С возобновлением сессии Государственного Совета, 1 ноября, Э.Д. Плеске стал было появляться в его заседаниях, но не надолго. Было очевидно, что всякое движение ему просто не под силу. Он не мог подняться по лестнице даже во второй этаж в зал заседаний и пользовался лифтом, которым не пользовался никто, кроме не владевшего ногами гр[афа] Сольского. Скоро начались сметные заседания по четвергам, ему видимо хотелось бывать во всех их, но силы не позволяли ему высиживать почти без перерыва с часу до 5-ти и иногда даже до 6-ти и после одного из них меня кто-то из семьи попросил заехать вечером, хотя мы с женою заходили часто в Государственный Банк, — где Плеске все еще оставался, так как квартира для него в здании министерства была далеко не готова, да так он в нее и не переехал.

Это мое посещение оставило во мне глубокое впечатление. Я прошел



прямо в его спальню. Он попросил свою милую старшую дочь, его бес-  
сменную сиделку, выйти на минуту, и сказал мне, что просит меня дать  
ему дружеский совет, как ему поступить. Он сказал, что чувствует край-  
нюю необходимость бывать во всех сметных заседаниях, что положитель-  
но не видит к тому никакой возможности, так как его здоровье не улуч-  
шается, и доктор требует полного отдыха, запрещая вообще какие-либо  
выезды. У него явилась поэтому мысль написать об этом откровенно Го-  
сударю, высказать, что без личного участия министра нельзя вообще со-  
ставить бюджета, и потому он вынужден просить освободить его от долж-  
ности, которую он не может добросовестно занимать и позволить себе да-  
же высказать откровенно, что в моем лице Государь имеет человека го-  
раздо более подготовленного, чем он.

Я просил его не делать этого и во всяком случае не упоминать обо мне.  
"Два месяца тому назад, — сказал я, — у Государя была возможность вы-  
бора лица по его непосредственному усмотрению, и он остановил свой  
выбор на нем, а не на мне. — Очевидно, под влиянием временного недо-  
могания — я не знал еще, что болезнь его безнадежна, — Государь не со-  
гласится отпустить человека, к которому от питает доверие, и нельзя ста-  
вить Государя в тяжелое положение, в особенности когда он только что  
приехал на отдых". Я предложил ему поэтому, пока ничего не делать, пе-  
рестать ездить в Совет, написавши об этом только гр. Сольскому, которо-  
го я обещал расположить в пользу такого решения и — располагать мною  
во всем, в чем я могу быть полезен ему для сметных заседаний, так как  
его товарищ Романов действительно не годится для проведения бюджет-  
ных заседаний. Что происходило в душе этого скрытного, но утонченно  
благородного человека, — я конечно не знаю, но думаю, что он уже и то-  
гда чувствовал безнадежность своего положения и только не показывал  
окружающим. Он обнял меня, благодарил за совет и за готовность по-  
мочь, обещал подумать, прося меня ничего пока не говорить гр[афу]  
Сольскому.

Несколько времени спустя я узнал в разговоре с женою Э.Д., что он по-  
лучил от Государя крайне милостивое письмо с выражением ему полного  
своего доверия, с просьбою беречь себя для будущей работы и отнюдь не  
обременять себя никакими второстепенными делами. Было ли это письмо  
ответом на обращение самого Плеске или же самостоятельным порывом  
Государя под влиянием дошедших до него слухов о болезни, — я не  
знаю, — но уже гораздо позже, как то спросивши Государя к подошедше-  
му слову, — писал ли ему Плеске о своей болезни и просил ли он освобо-  
дить его от непосильной работы, Государь сказал мне, что он ему писал  
еще в Ливадию, а на вопрос указывал ли он на желательность заместить  
его мною, Государь также ясно и категорически ответил мне, что этого  
положительно не было и обещал даже поискать письмо Плеске, "которое  
вероятно сохранилось у меня" — сказал он, прибавивши, что "я помню

как расстрогало это письмо меня и Императрицу своею удивительною теплотою и благородством, сквозившим в каждом слове”.

По мере того, как подвигалась сметная работа в Департаменте экономии, мне пришлось принимать все большее и большее участие в ней. Вышло это как-то само собою. Между мною и гр[афом] Сольским существовали самые близкие отношения. Он просил меня, не стесняясь формальными условиями прохождения смет по Департаменту экономии, помочь Романову, которого просто забывают представители министерств: и припомнить ”доброе старое время, когда вы защищали финансовое ведомство”, и я стал просто во всем помогать Романову. Не проходило заседания, чтобы он не благодарил меня за помощь, хотя она фактически была оказываема больше гр[афом] Сольским, чем мною, ибо последний пользовался огромным авторитетом среди всего чиновничьего мира и мои справки и объяснения принимались только потому, что он их всегда поддерживал. Часто, почти каждый день, я заходил к Плеске, и он всякий раз горячо благодарил меня, а как-то раз, уже в начале декабря, сказал при покойном И.И. Кабате: ”Мне придется испросить разрешение Государя предоставить государственному секретарю давать за меня объяснения и в Общем Собрании по бюджету, так как он составлен и проведен им одним”.

Все время до конца января прошло как-то серо и незаметно. Поговаривали смутно о том, что начинают портиться отношения с Японией; в так называемых кулуарах Государственного Совета все чаще и чаще слышались разговоры о Ялу, о концессии Безобразова<sup>1</sup>, о чем я ничего не знал, но жизнь шла своим обычным ходом и ничто не предвещало близкой грозы. Среди всяких пересуд господствовало презрительное отношение к Японии и японцам, и наиболее самоуверенные речи приходилось слышать от военного министра Куропаткина, который, ссылаясь на свою недавнюю поездку в Японию, постоянно твердил одно: ”Разве они посмеют, ведь у них ничего нет, и они просто задирают нас, предполагая, что все им поверят и испугаются”. Столица жила своею обыкновенною жизнью и даже веселилась больше обыкновенного. В Эрмитаже дан был даже, после большого перерыва, придворный спектакль, на котором присутствовал весь дипломатический корпус, не исключая и японцев, явившихся как всегда в полном составе. Правда, что с появлением их как-то стали больше переговариваться втихомолку, а во время театрального перебива в залах стали собираться группы и из их среды раздавались голоса о том, что из Владивостока пришли какие-то известия о каком-то морском столкновении в Порт-Артуре<sup>2</sup>, но никто ничего толком не говорил и все разъехались в самом благодушном настроении.

На утро получилось, однако, совсем иное. Газеты сообщили открыто, что на рейде Порт-Артур без всякого предупреждения совершено нападение японскими миноносцами на нашу эскадру и два броненосца ”Палла-

да” и ”Ретвизан” выведены из строя. Война между Россией и Японией началась без объявления ее. Общее настроение было, конечно, полно возмущения от такого явного нарушения обычаев всего света, но никакой тревоги не было. Все смотрели на это как на эпизод, никто не придавал ему никакого значения и презрительные слова ”макаки” по отношению к японцам, приправленные полнейшею уверенностью в быстром окончании ”авантюры”, не сходили с уст. Стали, однако, тотчас же принимать нужные меры.

Я не знал в первую минуту, что делалось по Военному ведомству, но в тот же день – 28 или 29 января – гр[аф] Сольский пригласил меня к себе и решил созвать чрезвычайное заседание департаментов Государственного Совета для решения вопроса о пересмотре только что утвержденного бюджета. Работа пошла энергично, и в несколько дней последовали сокращения по всем ведомствам. В этой работе мне пришлось принять уже совершенно открытое участие. С этим фактом, хотя и выходящим из пределов законных рамок и обычаев, все примирились. Министерство финансов не возражало и оказывало мне всякую помощь, поворчал только государственный контролер Лобко, но и его убедил его товарищ Философов в необходимости помочь Романову, которому не справиться с этой работой. Впрочем, через неделю с небольшим все дело приняло нормальный и законный ход с моим назначением на должность управляющего Министерством финансов.

Это назначение состоялось 5 февраля. Ему предшествовал следующий эпизод.

Тотчас после начала военных действий гр[аф] Сольский, как председатель Финансового комитета, собрал у себя на дому заседание комитета. В нем участвовал и Витте, который после увольнения от должности министра, был назначен членом Финансового комитета. При открытии заседания гр[аф] Сольский заявил, что Финансовому комитету следовало бы принять решение: каким порядком следует утверждать расходы, связанные с начавшейся войною, но ему неизвестно, выработаны ли какие-то предположения Финансовым ведомством и готов ли товарищ министра Романов представить их комитету от имени министра.

Романов ответил, что война возникла столь неожиданно, что министерство не могло приготовить никакого своего плана, в особенности при ежедневно ухудшавшемся здоровье министра, которого он положительно стесняется тревожить таким вопросом. Весь Комитет, не исключая и Витте, согласился с тем, что необходимо обождать представления соображений ведомства, тем более что, очевидно, изменившиеся обстоятельства потребуют быстрого решения вопроса о том, не последует ли какой-либо перемены в самом управлении ведомством при тяжелой болезни Э.Д. Плеске.

Финансовый комитет в этом заседании решил только просить Государя

усилить состав комитета двумя новыми членами, для того чтобы ближе следить за ходом дел в связи с войною. В кандидаты предложили меня и Шванебаха. Участники этого заседания, как передавал мне потом гр[аф] Сольский, обменялись под конец некоторыми их взглядами, но все были того мнения, что вопрос о способах покрытия расходов войны не представляется еще особенно спешным, потому что военные действия будут несомненно развиваться медленно, на первое же время имеются, хотя и небольшие, ресурсы, в сокращениях, произведенных в бюджете. Общий тон разговоров был совершенно спокойный, так как большинство участников заседания разделяло общее настроение о том, что война не может принять слишком значительного объема. Назначение новых членов Финансового комитета состоялось 3 февраля. Помню хорошо этот день. Это был вторник. Плева позвонил ко мне по телефону и спросил, что обозначает такое назначение? Я объяснил ему только то, что знал от Сольского, и в шутку прибавил: "Как бы эти броненосцы Финансового комитета не подверглись той же участи, какая постигла наши суда в Порт-Артурской бухте. Не знаю, какую пользу принесут они делу".

На другой день, в среду вечером, Плева опять позвонил ко мне и сказал, что "из двух броненосцев "Паллады" и "Ретвизана" – один, не знаю уж который, взорван, ибо ему предстоит занять пост не особенно приятный в настоящую минуту. Сердечно желаю ему успеха, но скорблю о том труде, который выпадает на его долю". Расспрашивать его по телефону я не мог, да и по характеру моего собеседника знал, что больших подробностей от него не услышу, тем более что для меня было ясно, что идет речь именно о моем, а не Шванебаха назначении, так как Плева, конечно, не сказал бы мне ни слова, если бы дело касалось Шванебаха. Ясно было также и то, что решение стало известно Плева из первоисточника, так как потом, уже в конце этого дня стало известно, что он был в Зимнем Дворце у Государя, в е очереди. Во весь вечер и даже утром следующего дня я не получил никаких подтверждений этого сообщения и после завтрака, около половины первого, пошел, по обыкновению, пешком в Государственный Совет для участия в очередном заседании Департамента экономии. Не успел я войти в заседание, как ко мне подошел камер-лакей и сказал, что меня вызывают по спешному делу из дома по телефону. Я пришел к себе в кабинет, у телефона была жена, которая передала мне, что из Зимнего Дворца дежурный камердинер при комнатах Государя передает, что мне приказано быть у Государя в два часа с четвертью. Я попросил немедленно прислать мне кучера в санях с лентою и белым галстуком, и ровно в 2 1/4 я был в приемной Государя, где никогда до того не бывал.

## ГЛАВА II

*Прием у Государя и Императрицы. — Обстоятельства, при которых состоялось мое назначение. — Встреча с Витте. — Необходимость быстро принять решение о том, каково должно быть направление нашей финансовой политики в связи с войной. — Мое решение было принято в тот же день и встретило полное сочувствие. — Первые мои действия по изысканию средств на ведение войны. — Чрезмерные требования кредитов со стороны главнокомандующего ген[ерала] Куропаткина. — Моя беседа с ген[ералом] Куропаткиным до отъезда его на театр военных действий. — Ликвидация лесопромышленных предприятий на Ялу. — Приспособление Китайской железной дороги к требованиям военного времени. — Мой конфликт с В.К. Плеве по поводу его проекта передачи фабричной инспекции в ведение Департамента полиции*



Государь принял меня немедленно следующими словами: "В другое время я должен был бы спросить Вас, не хотите ли Вы доставить мне большое удовольствие принять вместо Вашего покойного места место более неприятное — министра финансов, а теперь я просто скажу Вам, что я уже распорядился о назначении Вас управляющим министерством на место бедного Плеске, который давно просил меня освободить его от непосильной ему работы, но теперь, конечно, не может оставаться номинальным министром, когда нас постигла такая неожиданная беда. Я знаю Вас давно и не допускаю, конечно, ни на одну минуту и мысли о том, что Вы откажетесь в такую пору, и потому хотел только, чтобы вы узнали о моем решении от меня, а не из указа, который будет мною сейчас подписан". При этом Государь перекрестил меня, обнял и поцеловал, прибавив: "Я понимаю как трудно быть министром финансов всегда, а во время войны в особенности, но я уверен, что мы скоро покончим войну полною победою над нашим врагом, и я обещаю Вам помогать Вам во всем и поддерживать Вас в вашем труде. Повидайте сейчас же Императрицу. Она очень хочет познакомиться с Вами и очень рада, что мой выбор пал на Вас, так мы часто говорили с нею о Вас".

Я ответил Государю, что повинуюсь его воле, так как хорошо понимаю, что в таких условиях никто не имеет права уклоняться от исполнения своего долга, и просил только о помощи и поддержке, так как знаю по давнему опыту, что самое трудное для министра финансов — это домогательства всех ведомств о новых средствах, а во время войны нужно думать только о том, как добыть средства на войну, не расстраивая всего будущего страны. Мы расстались на том, что Государь предложил мне осмотреться в течение недели и приехать с первым докладом в следующую пятницу.

Императрица вышла ко мне в гостиную, рядом с Малахитовым залом, поздравила с назначением, сказавши (разговор шел по-французски), что

она была вполне уверена в том, что я не откажу Государю в помощи в такую трудную минуту, и прибавила: "Мне уже говорили раньше, что Вы фактически заменяете министра финансов более трех месяцев и Вам нет ничего нового в Вашей новой работе. Я хотела Вас видеть только для того, чтобы сказать Вам, что Государь и я, мы просим Вас всегда быть с нами совершенно откровенным и говорить нам правду, не опасаясь, что она иногда нам будет неприятна. Поверьте, что если даже это минутно неприятно, то потом мы же будем благодарны Вам за это".

Я обещал неуклонно следовать такому справедливому желанию и сказал, что меня всегда считали скупым и не уступчивым, когда я был еще товарищем министра финансов, и только потому, что я всегда одинаково отстаивал интересы государства в спорах как с сильными, так и со слабыми ведомствами, а теперь должен быть еще более неуступчив, потому что война не шутка, и потому я прошу Ее Величество оказать мне доверие и дать мне возможность правдиво отвечать на жалобы и на неудовольствия на меня, когда они будут, — в чем я не мало не сомневаюсь, — доходить до Государя или до нее самой. Императрица меня также благословила, обещала не верить никаким слухам, а если ей будут жаловаться на меня, то тотчас же вызвать меня и разъяснить всякое недоразумение.

Кто содействовал моему назначению?

Государь мало знал меня лично и никогда не имел случая входить до того в прямые со мною отношения. Он помнил меня в лицо потому, что бытность его наследником престола он аккуратно приезжал в Общие собрания Государственного Совета по понедельникам и, сидя рядом с председателем, видел меня постоянно перед собою читающим журналы предыдущих заседаний, иногда весьма длинные, а уходя из заседания, не раз спрашивал меня из любезности: "Вы не очень устали от такого чтения? Я бы его просто не вынес".

Не подлежит никакому сомнению, что, вернувшись еще в декабре из Крыма и узнавши, что болезнь Э.Д. Плеске не поддается лечению, он говорил с гр[афом] Сольским, что его очень озабочивает вопрос о его заместителе и ему крайне прискорбно, что рассчитывать на симпатичного ему человека ему не приходится. На вопрос, заданный гр[афом] Сольскому, как смотрит он на замещение должности министра финансов, Сольский горячо рекомендовал ему меня, но Государь медлил с разрешением этого вопроса и, вероятно, еще долго оставался бы в нерешительности, если бы начавшаяся война с Японией не заставила его принять то или иное решение. Гр[аф] Сольский был вызван к Государю тотчас после нападения Японии на Порт-Артур, и вопрос о замещении поста министра финансов снова был ему задан Государем, и опять гр[аф] Сольский повторил ему то, что было уже сказано им еще в конце декабря. Об этой вторичной беседе гр[аф] Сольский сказал мне уже после моего назначе-

ния, прибавивши, что Государь просил его никому не говорить о происшедшем между ними разговоре, хотя у него осталось впечатление, что Государь вполне склонился на его совет. Прошло, однако, еще несколько дней, а назначения все-таки не было.

Во вторник, 3 февраля, был с очередным докладом у Государя государственный контролер Лобко и в тот же день говорил своим близким, в том числе и своему товарищу Д.А. Философову, что он поддерживал самым горячим и убежденным образом кандидатуру последнего, не скрывая и того, что Государь упомянул ему, что он останавливается также и на моем имени, но Лобко не советовал этого делать, говоря — как потом он повторил и лично мне уже после моего назначения, — что я буду очень тяжел для всех министров, так как хорошо знаю бюджет, буду очень резать новые расходы и стану вообще очень настойчиво проводить мои взгляды.

В среду, 4-го числа, был вызван в Зимний дворец министр внутренних дел В.К. Плеве, о чем в тот же день говорили в министерствах и эту поездку потом связывали с моим назначением, приписывая Плеве окончательное устранение колебаний Государя с замещением должности министра финансов. Так ли это было на самом деле или нет, — я не могу точно сказать, но сам Плеве не отвергал этого ни при первом моем визите к нему, ни при той размолвке, которая вскоре произошла между нами. — Я думаю, однако, что решающее значение в моем назначении имел все-таки гр[аф] Сольский, который пользовался уважением Государя и считался наиболее компонентным в финансовых вопросах, отношение же его ко мне было с давних пор самое сердечное. По крайней мере, когда я приехал к нему, первому, чтобы сказать о моем назначении, и выразил ему, что не сомневаюсь в том, что его поддержка моей кандидатуры имела решающее значение, — он отвергал, конечно, свое влияние, но сказал, не обинуясь, что Государь спрашивал его мнение, и он сказал только по совести, как смотрит на меня, и считает, что уже в ту минуту решение Государя состоялось, и Государь только проверял разговором с ним, как и с другими, правильность его, не давая никому возможности заблаговременно узнать его решение.

Плеве, принимая меня непосредственно после моего визита к Сольскому, на замечание мое, что мне известно его посещение Зимнего дворца накануне моего вызова, и что я полагаю, что он склонил окончательно Государя остановиться на мне, — не только не отвергал этого, но даже сказал прямо, что он не мог по совести не возражать против мнения государственного контролера о назначении его товарища Философова, считая последнего, при всех его способностях, совершенно неподготовленным для такой ответственной минуты и неимеющим никакого авторитета среди министров. Помню хорошо его слова по этом поводу: "Конечно, если бы назначение министра финансов зависело от плебисцита среди

господ министров, то они подали бы голос за кого угодно, кроме как за Вас. Я хорошо помню, как в бытность Вашу товарищем министра у Витте, они терпеть не могли участвовать в заседаниях Департамента экономии при Вашем участии и предпочитали иметь дело с Витте, который разозлится в начале, а потом уступит в конце, когда ему скажут несколько лживых слов”.

Встреча моя с Витте в тот же день имела совершенно особенный характер. Объятиям и поцелуям не было конца. Излияния в дружбе, преданности и самой высокой оценки моих знаний, характера, твердости убеждений, моей прямоты лились рекою, приправленные уверениями в том, что я могу во всем рассчитывать на его поддержку, не только в Комитете министров и в Финансовом комитете, но решительно везде, где только я желаю, чтобы его голос был услышан в моих интересах. ”Вот видите, — сказал он, — нужна была война с Японией, чтобы посадили в министры финансов единственного настоящего человека, а без этого брали людей не по тому, чего они стоят, а потому, что у них приятные формы и готовность быть приятными наверху”. ”Пройдет война и Вас спихнут так же, как спихнули меня, а то, что Вы сделаете, сейчас же забудется и Вас не будут даже вспоминать”.

Мою явкою к Государю и Императрице в среду 4 февраля и посещением в тот же день гр[афа] Сольского, Плеве и Витте окончилась вся так называемая церемониальная часть, и уже вечером того же дня, не дожидаясь опубликования указа о моем назначении, я пригласил к себе товарища министра финансов Романова, директора Кредитной канцелярии Малешевского, его вице-директора Вышнеградского и управляющего Государственным банком Тимашева и предложил им обсудить тут же возникшее у меня предложение о том, какого направления следует нам держаться в вопросе о способах покрытия расходов войны. Я просил припомнить наше недавнее время совместной службы, во время которого, даже и на должности товарища министра финансов, я никогда не стеснял никого высказывать открыто свое мнение, всегда относился к нему с полным уважением и просил особенно следовать этому правилу теперь, так как мне пришлось взять в мои руки ответственное дело в чрезвычайно трудных условиях. Я должен сказать, что это первое сотрудничество мое с моими сотрудниками по Министерству финансов оставило во мне самое отрадное впечатление. Оно не изменилось ни на один день за все десять лет нашей совместной работы и дало мне возможность выполнить мой долг сравнительно легко, несмотря на то что условия нашей общей работы не всегда были легки. Никто из них не уклонился открыто и с сознанием важности минуты высказать свое мнение, и наше первое совещание, длившееся почти три часа, привело нас всех к единогласному решению, которое мне было тем легче выполнить потому, что оно встретило такое же единогласное одобрение, как во всем Финан-



совом комитете, так и среди членов Государственного Совета по Департаменту экономии, близко соприкасавшихся с вопросами нашего денежного обращения, — несмотря на весьма существенные разногласия между ними по другим частям нашей финансовой администрации. Я изложил моим новым сотрудникам, что то, что я намерен предложить на их суд, созрело у меня не сегодня, под влиянием последовавшего неожиданно для меня назначения на должность управляющего Министерством финансов. Еще с первого дня, как мы оказались в войне с Японией, следя за нашей, а также и французской печатью и прислушиваясь ко всем суждениям, которые доходили до меня, в особенности среди членов Государственного Совета, — я слышал одно и то же суждение, неизменно повторявшееся всеми, кто высказал свое мнение о характере нашего вооруженного столкновения. А именно, что война для нас неопасна, что наши силы несоизмеримы с силами Японии, хотя бы она была больше нас готова к войне, так как мы к ней не готовились, — что наше внутреннее положение совершенно устойчиво и не может быть потрясено начавшейся войной, слишком удаленной от наших центров. Словом, что мы вынесем сравнительно легко это бедствие и завершим столкновение победным концом. Это же мнение разделяется и Государем, определенно высказавшим мне его.

Если же это так, то очевидно, что в выборе способов относительно покрытия расходов войны или, другими словами, в нашем решении относительно нашей финансовой политики на время ведения войны мы должны руководствоваться тем принципом, чтобы не нарушить основных устоев нашего финансового положения, введенных нами с таким огромным трудом и после длительных приготовлений. Другими словами, мне казалось, что мы не должны отказываться от нашего денежного обращения, основанного на золотом размене бумажного рубля по закону 1897 года<sup>3</sup> и принять соответствующие этому принципу меры, то есть подкреплять наш золотой запас всеми доступными способами, не разрушая нашего строгого эмиссионного закона. Я не привожу здесь тех доводов, которыми я оправдывал мой взгляд, но придавал исключительное среди них значение тому, что только в этом случае мы сохраним устойчивость нашего финансового положения на мировом рынке, устраним колебания наших фондов на этом рынке и быстро исправим все невзгоды войны, тогда как, прекративши наш золотой размен, мы легко можем вовсе не вернуться к нему в течение длинного промежутка времени.

Я встретил среди моих сотрудников полнейшую солидарность. Не поднялось ни одного голоса против такого принципиального взгляда и целый ряд соображений практического свойства высказан был участниками совещания относительно способов и порядка проведения его в жизнь. Даже наиболее осторожный из всех и, пожалуй, лучше всех нас знавший Японию — П.М. Романов не поднял своего голоса против нашего общего

заклучения и только настаивал на одном, чтобы во всей Сибири, начиная от Урала и по всей Манчжурии, мы решительно отказались от фактического выпуска золота из казначейств в виду близости Китая и легкости ухода золота туда и производили все расплаты исключительно бумажным рублем. Так и было принято, и никаких затруднений в этом отношении не произошло во все время бедения нами войны, до самого начала революционного движения во второй половине 1905 года.

В тот же вечер мы условились о составлении подробно мотивированного представления в Финансовый комитет, которое было в течение самого короткого времени прекрасно выполнено начальником отделения Никифоровым и внесено мною на рассмотрение комитета. С его содержанием я тотчас же ознакомил гр[афа] Сольского и Витте. Оба они отнеслись к нему с нескрываемым сочувствием, и весь комитет проявил полнейшую солидарность, предоставивши мне принять те меры, которые вытекали из принятого решения. Сущность этих мер была совершенно очевидна и распадалась на две части:

на изыскание способов заключить внешние займы, подкрепляющие наш золотой запас и, следовательно, увеличивающие наше право на выпуск бумажных рублей, и

извлечение излишних бумажных денег из внутреннего обращения путем заключения внутренних займов, выручка которых обращалась бы на покрытие военных расходов.

В этой мере заключался так сказать первый пункт русской финансовой программы по ведению войны.

Если подсчитать, какую сумму получила Россия от этих кредитных операций военного времени, внешних и внутренних, и присоединить к ней обращенные на ту же надобность бюджетные остатки от сокращения государственной росписи на 1904 год и выручку от ликвидационного займа 1906 года<sup>4</sup>, заключенного во Франции в апреле этого года, то и получится тот общий итог расходов на ведение войны с Японией, в сумме двух с четвертью миллиардов рублей, который и был покрыт путем осуществления этого первого пункта финансовой политики военного времени.

Вторым основанием, усвоенным мною и проведенным в жизнь, было соблюдение всеми доступными мерами нашего бюджетного равновесия, то есть сокращение внутренних расходов за время войны до соответствия их действительному поступлению доходов. Новые налоги были введены в самом ничтожном размере.

Первые полтора года войны дали в отношении поступления доходов вполне благоприятные результаты.

До начала революционного движения 1905 года поступление их было вполне нормальное и давало даже превышение против сметных ожиданий; в население поступило больше денег и часть из вернулась через

приходные кассы. Только со второй половины того же года начались затруднения в этом отношении, но они относятся уже к причинам иного порядка и их нельзя относить к обстоятельствам военного времени.

В расходной части вне военного бюджета мое положение было облегчено поддержкою, оказанною мне Государем, и в этой области я не испытывал сколько-нибудь ощутительных затруднений.

Вспоминая потом пережитое мною время военной невзгоды, я должен сказать, что по сравнению с последующими годами, когда не было внешнего осложнения, мое личное положение было сравнительно более легким, нежели после окончания войны.

Как это ни странно, но это первое время моей работы среди условий военного времени было, пожалуй, самое легкое и даже приятное из всего 10-тилетия моей работы на посту министра финансов. Меня поддерживали решительно все. Финансовый комитет принял мой проект сохранения золотого обращения и мер, направленных к этой цели, не только без всяких возражений, но составил свое заключение в таких лестных для меня выражениях, что резолюция Государя дала мне глубокое удовлетворение. Он написал: "Дай Бог Вам сил выполнить этот прекрасный план, который поможет нам выйти с честью из тяжелой войны и довести ее до победного конца". Но и мое представление и журналы Финансового комитета, которые я хранил долгие годы, погибли с теми немногими бумагами, которые я хранил у себя до самой минуты моего ареста и обыска в моей квартире 30 июня 1918 года. Что стало с ними потом, я не знаю. Большевики этого доклада тоже не напечатали<sup>5</sup>. Очевидно он был не выгоден для их целей, — развенчивать все, что было в прошлом. — а может быть он просто погиб в делах Кредитной канцелярии, когда начался разгром всего после Октябрьской революции.

Со стороны всех без исключения министров я видел одну готовность помогать мне, и отступление от этого исключительного отношения ко мне появилось с той стороны, с которой я его всего менее ждал.

Столь же удачны были и первые мои действия по изысканию средств на ведение войны.

Никто не знал, конечно, сколько времени продолжится война и каких жертв она потребует. Не было, да и не могло быть составлено общего плана, и было ясно только одно, что средств потребуется много, что сокращать требования кредитов на ведение военных действий из Петербурга не будет никакой возможности и нужно готовить средства как дома, так и за границей. Дома — для того, чтобы не слишком обременять себя иностранными финансовыми операциями и не вызывать нареканий на то, что мы не трогаем внутреннего кредита; за границей — для того, чтобы обеспечить себя беспрепятственным покрытием наших долговых обязательств без уменьшения полученного мною от моего предшественника золотого запаса и усилить последний за границею.

Я начал с заграничного займа.

Париж верил в нашу победу над Японией, и мое обращение к французскому рынку было встречено чрезвычайно сочувственно. В какие-нибудь две недели без особых с моей стороны усилий мне удалось заключить пятипроцентный заем в 300 000 000 рублей, или 800 000 000 франков<sup>6</sup> в форме краткосрочных обязательств, подлежащих выкупу по истечении пяти лет, то есть в 1909 году, причем группу заключивших этот заем банков было выдано полуофициальное обязательство совершить на том же рынке к сроку погашения займа новый заем для консолидации этого займа. Успех займа превзошел все наши ожидания, и все приветствовали меня с таких успехов. Должен сказать по совести, что моих заслуг в этом никаких не было, а результат займа зависел только от того, что все верили во Францию, что мы быстро справимся с нашим противником.

Тем глубже было потом разочарование, и тем труднее пришлось мне потом.

Внутренние займы<sup>7</sup> прошли также вполне гладко, и в течение первого года я не испытывал никаких затруднений к покрытию всех военных расходов, а последние были велики и испрашивались самым бестолковым образом. Порядок разрешения военных расходов в то время был весьма простой и не вызывал ни сложных предварительных манипуляций, ни больших прений в Особом совещании под председательством председателя Департамента Государственной экономии гр[афа] Сольского, авторитет которого среди министров, входивших в состав совещания, стоял необычайно высоко и облегчал мою задачу до последней степени. Не проходило ни одного заседания, чтобы все министры, не исключая и генерал-адъютанта Сахарова, заменившего генерала Куропаткина, назначенного главнокомандующим, не убеждались воочию, что кредиты требуются без всякого обоснования, а иногда и просто вопреки здравого смысла, но приходилось отпускать их беспрекословно, принимая меры только к тому, чтобы их не расходовали при изменении к худшему военных обстоятельств. Я думаю, что если бы удалось разыскать теперь журналы заседаний Особого совещания, то едва ли нашлось бы среди них много таких, в которых министр финансов не заявлял бы о явной несообразности предъявленных требований, но после критики их и в ответ на настояния военного министра, не заявлял, что он согласен на отпуск средств, дабы не давать главнокомандующему повода заявить, что неуспех военных операций зависит от недостаточного отпуска денежных средств.

Из этой области моя память удерживает в особенности один характерный случай.

Перед тем, что наша армия, потерпевшая поражение под Лаояном<sup>8-9</sup>, начала отступать к северу, главнокомандующий генерал Куропаткин настаивал перед Особым совещанием, разумеется по телеграфу, о необ-

ходимости начать постройку ответвления от Китайской восточной дороги к юго-востоку, чтобы вести наступление по двум направлениям – одному прямо с севера на юг вдоль главной линии, другому в обход правого фланга японцев. Деньги, конечно, были отпущены, но к расходованию их не было даже и приступлено, как началось наше быстрое отступление от Лаояна и начальный пункт главной дороги, от которого предполагалось вести боковую линию, оказался в руках нашего противника. При следующем очередном отпуске кредитов я предложил принять эту оставшуюся неизрасходованную сумму к зачету в счет новых кредитов, и мое предложение казалось таким простым и естественным, что никто против него не сделал ни малейшего возражения и даже государственный контролер Лобко, всегда поддерживавший все требования главнокомандующего более энергично, нежели даже военный министр Сахаров, допускавший иногда критику весьма поверхностных требований с места, – нашел такую меру вполне логичною. Решение совещания немедленно было сообщено главнокомандующему по телеграфу. Каково же было удивление всего совещания, когда от главнокомандующего был тотчас же получен по телеграфу протест против решения совещания и требование немедленно ассигновать новый кредит, так как он ожидает скорое наступление, при котором к постройке дороги будет несомненно приступлено и кредит потребуется по его прямому назначению. Даже мягкий по своему характеру и всегда искавший примирительного решения граф Сольский предложил ответить главнокомандующему, что нельзя хранить денег по отдельным мешочкам и следует испрашивать кредит тогда, когда имеется возможность израсходовать и с пользой для дела, и предложил сначала взять неизрасходованные суммы на то, на что они нужны, а уже потом просить полномочий на производство новых расходов, когда обстоятельства будут отвечать новым потребностям.

Помнится мне и другой характерный для главнокомандующего генерала Куропаткина случай. Это было всего несколько дней спустя после моего назначения. Я жил еще на Литейной в квартире государственного секретаря, так как квартира министра финансов была еще в полном беспорядке. Генерал Куропаткин только что получил назначение. Печать встретила его назначение с величайшим восторгом. Сам он был полон радужных надежд и говорил открыто, что ему нужно только время собрать армию, а в победе над "макаками" не может быть сомнения. В один из первых дней после своего назначения он приехал ко мне на Литейную и сказал, что хочет переговорить на чистоту по личному вопросу и просит меня дать указание моим представителям в подготовительной комиссии для внесения дел в Особое совещание, чтобы они не резали кредитов и "не ставили его в смешное положение отстаивать в совещании кредит, касающийся его личного положения". Не знаю, о чем идет, собственно говоря, вопрос, я просил его сказать мне, в чем именно

проявляют представители министерства ненужную скупость. Он объяснил мне, что накануне в комиссии рассматривался вопрос о размере содержания его как главнокомандующего. Военное министерство полагает по примеру того, что было назначено в 1878 году главнокомандующему в турецкую войну на европейском фронте В[еликому] К[нязю] Николаю Николаевичу старшему, определить новому главнокомандующему содержание в размере 100.000 рублей в месяц и, кроме того, выдавать ему фуражные деньги на 12 верховых и на 18 подъемных лошадей. Представители же Министерства финансов предлагали назначить личное содержание по 50.000 рублей в месяц, так как у генерала Куропаткина не может быть тех расходов на представительство, которые нес Великий Князь, а против выдачи фуражных денег возражали вообще, заявляя, что едва ли придется пользоваться лошадьми, так как следует полагать, что военные действия будут сосредоточены на линии железной дороги и главнокомандующему, если и предстоит отлучиться в сторону, то не на такое продолжительное время, чтобы можно было иметь постоянных верховых, а тем более вьючных лошадей. Долго мы говорили на эту тему, я старался всячески доказывать, что для личного положения генерала важно показать всем его окружающим умеренность в окладе содержания, так как по его содержанию будут определяться оклады и других военачальников, и в особенности просил его не настаивать на таком большом количестве лошадей для его личного пользования, так как их в действительности или вовсе не будет, или число их будет значительно меньше, а выводить в расход "фуражные" на несуществующих лошадей тоже нехорошо, так как это будет служить только соблазном для его же подчиненных. Мои аргументы не привели к цели, генерал продолжал настаивать и заявил, что внесет свою точку зрения в Особое совещание, что он на самом деле и сделал, и совещание решило вопрос согласно его желанию. Так и получал он все время эти спорные "фуражные", не имея на самом деле ни одной подъемной лошади и всего одну верховую, поднесенную ему кажется Москвою при его назначении. Жил же он все время в поездках Китайской восточной железной дороги, не отходя вовсе от линии этой дороги.

Но всего характернее при этом была последняя часть нашей первой беседы.

Когда мы исчерпали предмет нашего спора, и каждый остался при своем мнении, генерал Куропаткин стал меня просить вообще поддерживать его в трудном положении, говоря, что со своим отъездом вдаль он остается без всякой поддержки, а между тем чувствует, что может в ней очень нуждаться, в особенности в первое время своего вынужденного отступления и тяжелого приготовительного периода. При этом он взял с моего стола лист чистой бумаги, провел на нем горизонтальную черту и в левом углу поставил довольно высоко над чертою звездочку, прося,

чтобы я следил за его изображением. ”Вот — говорил он, — это звездочка над горизонтом, это я в данную минуту. Меня носят на руках, подводят мне боевых коней, подносят всякие дары, говорят приветственные речи, считают чуть ли не спасителем отечества, и так будет продолжаться и дальше до самого моего прибытия к войскам, моя звезда будет все возвышаться и возвышаться. А когда я приеду на место и отдам приказ отходить к северу и стану стягивать силы, поджидая подхода войск из России, те же газеты, которые меня славословят, станут недоумевать, почему же я не бью ”макак”, и я начну все понижаться и понижаться в оценке, а потом, когда меня станут постигать небольшие, неизбежные неудачи, моя звезда станет все ниже и ниже спускаться к горизонту и затем зайдет совсем за горизонтальную черту. Вот тут-то Вы меня и поддержите, потому что тут я начну переходить в наступление, стану нещадно бить японцев, моя звезда снова перейдет за горизонт, пойдет все выше и выше, и где и чем я кончу, — этого я и сам не знаю. Вашей поддержки я никогда не забуду”. Этот рисунок долго сохранялся у меня и пропал вместе со всеми моими бумагами, когда нам пришлось покинуть наш дом и родину. Не дожил бедный Куропаткин до восхождения его звезды, а за горизонт он успел сойти, пережил всеобщее забвение, когда последствия японской войны быстро загладились, дожил и до великой войны, сначала долго был не у дел, затем, в самый последний, бесславный период, получил назначение, не успел, да вероятно и не мог ничего сделать, участвовал в каких-то военных операциях в Туркестане уже во время большевизма и умер в нищете в деревне, близ своей усадьбы в Псковской губернии, занимая должность волостного писаря.

В первые же дни после моего назначения министром финансов ко мне приехал адмирал Абаза, с которым мне пришлось вскоре ближе познакомиться по другому поводу, о чем речь впереди, и заявил, что имеет повеление Государя переговорить со мною о ликвидации лесопромышленного предприятия на Ялу. Я слышал о нем только мельком, решительно ничего не знал ни об его организации, ни о том, кто участвует в нем, чьи деньги вложены в него и ограничился в эту первую беседу тем, что просто слушал адмирала и не дал ему никакого положительного ответа, пока сам не буду в курсе этого предприятия.

Доклад мне адмирала Абазы носил какой-то детский сумбурный характер, в котором было просто трудно разобраться. Видно было только, что при несомненности нашей победы над Японией нельзя расстраивать этого ”великого” предприятия и нужно только ”свернуть” его временно, до возможности дать ему окончательное развитие, когда мы ”твердо станем на Ялу, по окончании войны”, вывезти вглубь Сибири то, что свезено туда, найти подходящую работу всем, кого мы поставили на это дело, и принять пока на средства казны то, что частные лица затратили на это дело, ”следуя желаниям Государя”.

Я не получил даже ответа на вопрос о том, сколько же на это потребуется и кто эти частные лица, которые вложили свои средства в дело. Мне было сказано в ответ: "Мы подсчитаем, но вероятно несколько тысяч рублей будет достаточно на первое время, а потом все вернется из огромных прибылей операции". Я обещал испросить указаний Государя после того, что сам соберу сведения и подготовлюсь к неожиданному для меня вопросу. Я стал изучать дело. В Департаменте казначейства я не нашел никаких следов, и начальник бухгалтерского отделения Дементьев сказал мне только, что было предположение выдать какую-то сумму из 10-миллионного фонда, но потом от этой мысли отказались и выдач никаких из казны произведено не было. По Государственному банку мне было показано только распоряжение управляющего министерством Романова с ссылкой на высочайшее повеление о выдаче ссуды в 200 000 рублей статс-секретарю Безобразову, "на известное Его Величеству назначение", но потом это распоряжение было также отменено, ссуда выдана не была и было сведение даже о том, что выдача была произведена из особого Фонда Кредитной канцелярии, то есть из прибылей иностранного ее отделения. Но и этому я также не нашел никакого следа. Я обратился к статс-секретарю Витте и просил его сказать мне, что ему известно, и получил от него целый рассказ о том, как он боролся против концессии, как убеждал он Государя не допускать этой, по его словам, "авантюры", как убежден он, что наша политика в Корее, занятие Порт-Артура с постройкой южной ветки Китайской восточной железной дороги и, наконец, концессия на Ялу и были истинною причиною войны с Японией. Он советовал мне не входить вовсе в это дело и придумать какой-либо способ передать его кому-либо вне Министерства финансов, чтобы меня не запутали в него, так как, прибавил он, "деньги Вы все равно залопотите, но лучше пусть делает это кто-либо другой, а не Вы".

Витте припомнил мне при этом, как в бытность мою у него товарищем министра, он говорил мне о разногласиях его с бывшим министром иностранных дел гр[афом] Муравьевым по вопросу о занятии нами Порт-Артура, как его "топил" при этом Куропаткин и поддержал только Тыртов и как Государь решил вопрос против него и морского министра. Я в свою очередь припомнил ему, как в ту пору я говорил ему, что ему следовало тогда довести дело до конца и просить Государя уволить его от должности министра, и как он тогда ответил мне, что министры не имеют права ставить Государя в трудное положение, разве что они могут своей отставкой предотвратить большую беду. После этого моего посещения Витте меня навестил еще мой лицейский товарищ В.М. Вонлярлярский, прося о том же, о чем говорил мне и адмирал Абаза, и тут я впервые узнал, что и он участник дела на Ялу и вложил в него свои, по его словам, значительные средства и принимает даже в нем самое активное участие по его близким отношениям к своему бывшему однополчанину



по кавалергардскому полку статс-секретарю А.М. Безобразову, "этому гениальному человеку", как прибавил он. Он советовал мне непременно познакомиться с ним поближе при первой возможности.

Этому совету мне не привелось последовать, и я увидел впервые и всего один раз, гораздо позже, А.М. Безобразова уже во вторую половину войны, когда он изобрел особый метательный диск, который должен был произвести полный переворот в артиллерийском деле. Он приглашал меня даже присутствовать на опытах его изобретения, но время мне не позволило, и с тех пор я его нигде не встречал, как не имел с ним никаких переговоров по делу о Ялу. Ни разу не встретился с ним и в эмиграции, хотя он проживал последние годы своей жизни в Париже и умер в полной нищете в 1931 г.

Я не могу по совести сказать, был ли он душою этого несчастного дела или пристегнулся к нему случайно, в силу своих личных отношений к другим участникам этого предприятия.

От Вонлярлярского я узнал также, но тоже как-то вскользь и скороговоркою, что Государь дал некоторую сумму денег из своих личных средств на концессию на Ялу, что дал их и В[еликий] К[нязь] Александр Михайлович, так же как гр[аф] Алексей Павлович Игнатьев, но сколько именно было дано каждым из упомянутых лиц, мне осталось совершенно неизвестно, как не было мне суждено вообще ближе подойти к этому делу, и оно как-то сошло на нет совершенно помимо меня. Уже много лет спустя, в Париже, в беженстве, в 1926 году, Вонлярлярский предложил было мне познакомиться с его подробною запискою по этому делу в связи со всей нашей дальне-восточной политикой, но потом на другой день взял у меня записку, обещал прислать снова ее, но так и не прислал.

На ближайшем моем всеподданнейшем докладе после визита ко мне адмирала Абазы Государь сам не заговорил со мною по этому вопросу, и мне пришлось начать самому доклад мой о посещении Абазы. Я воспользовался крайней неясностью для меня всего дела и высказал совершенно открыто, что мне, поглощенному заботами о войне и о сохранении нашего финансового положения, крайне трудно отдать достаточно времени на изучение дела и на его ликвидацию. Я высказал Государю, что был бы крайне благодарен, если бы он нашел возможным поручить разработку всего вопроса о ликвидации кому-либо менее занятому, нежели я, а мне предоставил бы потом, уже после составления плана ликвидации, высказать мое мнение и принять меры к тому, чтобы расходы на этот предмет были сколь возможны скромны.

Государь чрезвычайно охотно и милостиво принял мое предложение и сказал даже в самом шутиливом тоне, что это очень хороший исход, так как никто не будет жаловаться на мою скупость, да и сам я буду более свободен критиковать чужую работу, нежели быть и расходчиком и казначеем.

На другой день Государь прислал мне записку, что поручает это дело гр[афу] Игнатьеву, а меня просит помочь ему. Гр[аф] Игнатьев тотчас же собрал у себя небольшое совещание, на котором присутствовал и я, но всего один раз. Кроме меня, был еще в качестве представителя Государственного контроля В.П. Череванский, но затем как-то незаметно сам гр[аф] Игнатьев совершенно стушевался и испросил разрешение Государя передать все дело Череванскому, который и закончил его довольно быстро и совершенно спокойно, с затратой из казны сравнительно небольшой суммы. Я не припоминаю теперь в точности, во что именно обошлась эта ликвидация, и можно только пожалеть, что большевики, опустошающие государственные архивы и предающие гласности все, что служит к посрамлению, по их мнению, прошлого, до сих пор не предали гласности этого печального эпизода нашего недавнего прошлого<sup>10</sup>.

Первое время моего управления Министерством финансов самая напряженная работа, кроме изыскания средств на войну и поддержания нашего кредита, ушла у меня на приспособление Китайской железной дороги<sup>11</sup> к неожиданным потребностям военного времени и спешным массовым перевозкам войск, и в этой работе я нашел огромное нравственное удовлетворение, которое и было главной причиной того горячего участия, которое я принял в судьбе этого грандиозного предприятия.

Об этой работе я хочу рассказать в моих воспоминаниях несколько подробнее, хотя бы для того, чтобы отдать особую дань уважения тем, кто работал на этом деле и заслужил по всей справедливости благодарную память не с моей одной стороны.

Китайская дорога была официально окончена постройкою и сдана в эксплуатацию в июне 1903 года, еще при Витте. Но фактически она была далеко не кончена и одни так называемые "недоделы", то есть работы, неисполненные к моменту передачи дороги в эксплуатацию, составляли сумму свыше 40 миллионов рублей. Одна эта цифра достаточно красноречиво говорит о том, что дорога не только не была готова к усиленной работе, но даже и ее ограниченное рабочее задание, рассчитанное на скромное движение поездов на первое время, не было обеспечено фактической готовностью дороги. С июля 1903 года и до января 1904 года постройка дороги эксплуатационным управлением подвигалась энергично вперед, тем не менее к началу войны по ней могли ходить едва четыре пары поездов, считая в числе их и так называемое рабочее движение, которое не могло не быть сравнительно значительным, если только принять во внимание, что на исполнение "недоделов" требовалось немалое количество вагонов и поездов.

Неудивительно, поэтому, что тотчас после неожиданного начала военных действий – кстати начатых Японией в самое невыгодное для нас время, когда Амур замерз и не мог служить способом передвижения грузов и войск, а дорога едва начинала свою жизнь, – на усиление

пропускной и провозной способности дороги было сразу же обращено самое большое внимание. Как водится у нас, забота об этом приняла довольно своеобразное направление. Два ведомства – военное и путей сообщения – одновременно возбудили вопрос об изъятии дороги из рук Министерства финансов и передачи ее либо одному, либо другому ведомству. Мне сразу же пришлось принять непримиримое положение и возражать против такого непрактического и незаконного предположения. Непрактического – потому, что ни то ни другое из этих ведомств не были подготовлены к такой передаче и не знали решительно ничего о дороге. Незаконного – потому, что по договору с Китаем дорога принадлежала компетенции ведомства финансов и всякая передача, куда бы то ни было, противоречила и ее уставу и заключенному с Китаем договору.

В медовый месяц моего управления Министерством финансов и при несомненном благоволении ко мне Государя мне удалось сравнительно легко отбить эту первую атаку и предложить выработанный правлением дороги план ускорения работ по приспособлению дороги к массовым перевозкам, который я считал возможным гарантировать точным исполнением, если только мне не будут мешать и дадут моим сотрудникам на месте необходимую свободу действий. Министерство путей сообщения охотно взяло свое предположение назад, признавши мои соображения и правильными и практическими. Зато военное Министерство решительно возражало, требуя себе управление дорогою, и в виду особых настояний генерала Куропаткина пришлось пойти на компромиссное решение – на принятие моего плана к временному исполнению с тем, чтобы на место был спешно командирован генерал Петров, как большой авторитет по всем вопросам железнодорожного строительства, проверил этот план на месте и высказал свое заключение по основному вопросу – о том, кому вестись дорогой.

Генерал Петров выехал с твердым намерением поддержать мою точку зрения и после первых же дней своего пребывания на линии телеграфировал Государю, военному министру и мне, что единственная возможность обеспечить порядок на дороге, достигнуть усиления ее в техническом отношении и обеспечить подвоз войск и грузов заключается в оставлении дороги в руках Министерства финансов, в предоставлении ему полной свободы действий и в возложении на него же ответственности за исполнение строительного плана в те сроки, которые будут для того назначены. Государь потребовал совместного доклада моего и военного министра, сказал нам сразу, что одобряет взгляд генерала Петрова и спросил мнение каждого из нас. Военный министр Сахаров не возражал, я же просил только, чтобы требования, предъявляемые к дороге, как в отношении усиления ее провозной способности, так и сроков для исполнения работ, были установлены по соглашению с управлением дорогою и при участии генерала Петрова, и таким образом этому трудному делу

было положено твердое основание, которое впоследствии не раз послужило на его пользу.

Как справилось Министерство финансов с этой задачей, несмотря на всевозможные трудности, проистекавшие не столько из сложной обстановки военного времени и работы на театре военных действий, сколько из обычных ведомственных трений и интриг, — об этом можно бы написать целую книгу, но в этом нет теперь даже и исторической пользы. Одно, что можно сказать по этому поводу, это то, что через пять месяцев дорога перешла с 4-поездного графика на 8-поездной, через 8 месяцев — на 14-поездной, а в октябре 1905 года по ней ходила уже 21 пара поездов, то есть максимум того, что допускает однопутная дорога. Незадолго до своего смещения с должности главнокомандующего генерал Куропаткин, считавший себя выдающимся знатоком железнодорожного дела, требовал, однако, для обеспечения победы над Японией довести дорогу до 48-ми пар поездов, и тогда тот же генерал Петров, при всей своей сдержанности, написал Государю, что предъявить такое требование к дороге в один путь возможно только, не давая себе отчета в том, что во всем мире не было еще случая, чтобы однопутная дорога могла пропустить более 20 пар поездов. Впрочем, справедливость требует сказать, что до самого моего выхода с активной работы, уже после заключения Портсмутского договора, генерал Куропаткин не перестал поддерживать Китайскую дорогу, а когда летом 1905 года появился отчет князя Львова, как уполномоченного Земской организации по оказанию помощи раненым, с целым рядом инсинуаций на дорогу, подхваченных оппозиционной печатью, Куропаткин прислал телеграмму, не только опровергавшую помещенные в отчете сведения, но и открыто заявлявшую, что работа дороги и преданность своему долгу всех ее служащих, от управляющего до последнего составителя поездов, — выше всяких похвал и нет достаточного поощрения, которое шло бы в уровень с оказанною дорогою помощью делу ведения военных операций.

Впоследствии, уже после моего вторичного вступления в управление Министерством финансов, когда мне пришлось сблизиться с японским послом бароном Мотоно, я не раз слышал от него, что в Японии работа Китайской дороги за время войны всегда приводится в пример, как доказательство небывалых успехов, которые были достигнуты в технике перевозок при таких исключительных условиях. А затем еще позже, уже перед самым моим увольнением от должности председателя Совета и министра финансов, я представил составленную правлением Китайской дороги работу о том, что и как было сделано дорогой во время войны, какие трения встречала она на своем пути и чего следовало бы избежать в будущем в случае военных столкновений, если мы не желаем встретиться в железнодорожном транспорте с величайшими затруднениями, которые могут привести к роковым последствиям.

Эта работа была представлена мной Государю с просьбой разрешить мне разослать ее для сведения во все министерства и сделать ее доступной членам Государственного Совета и Думы. Разрешение было мне дано, но я уверен, что никто этой работы не прочитал, так как очень многое из пережитого во время Японской войны повторилось и в великую войну, но не оставило следа в действительных событиях того времени.

Эта работа, как и все, что я сохранил после моего ухода, конечно, пропала и никогда не увидит Божьего света, и мне крайне обидно, что я лишен возможности привести здесь хоть несколько наиболее характерных штрихов из жизни Китайской дороги за 1904–1905 год.

До половины апреля моя работа, сложная и напряженная, протекала, как я уже сказал, в сравнительно спокойных условиях. На каждом шагу чувствовалось доверие ко мне Государя, и окружающие не мешали мне ни в чем. Напротив того, я был окружен атмосферой, какого-то небывалого согласия и военные события отодвигали на задний план явления внутренней жизни и наши обычные разнокалиберные внутренние, незримые течения.

Первое нападение на меня и на мое ведомство появилось отсюда, откуда я его всего менее ждал в условиях переживаемой поры, — от Министерства внутренних дел.

За одним из очередных заседаний Комитета министров ко мне подошел В.К. Плеве и сказал, что ему хотелось бы переговорить со мной по одному вопросу, который озабочивает его. Я предложил приехать к нему и на другой день был у него. Начавши по обыкновению издали, Плеве передал мне, что революционное движение начинает усиливаться, движение среди рабочих принимает грозное направление и ему приходится думать о принятии решительных мер, которые должны коснуться между прочим и некоторого перераспределения функций между Министерствами внутренних дел и финансов. Он находил, что фабричная инспекция<sup>12</sup> действует крайне односторонне, поддерживая исключительно интересы рабочих против интересов хозяев, и вовсе не следит за настроением рабочих, совершенно не зная того, что происходит в их среде, какие подпольные влияния разъедают эту среду, и не оказывает никакой помощи органам жандармского надзора. У Плеве созрела поэтому мысль о том, что фабричную инспекцию следует передать в заведывание Министерства внутренних дел, по Департаменту полиции, и подчинить ее надзору Жандармских полицейских управлений, что он докладывал уже об этом проекте Государю, который отнесся вполне сочувственно к этой мысли, и он думал бы провести эту меру временно, через Комитет министров, как меру опытного характера, с тем чтобы после некоторого срока, например 6-ти месячного, внести ее на законодательное решение. На такое направление дела Государь будто бы также согласен и поручил ему переговорить со мною, будучи уверен в том, что я не стану возражать,

так как у меня и без того слишком много дела, и он понимает, насколько много труда и хлопот дает мне фабричный вопрос. От себя Плеве прибавил, что он рассчитывает на мою дружбу и уверен, что я не поставлю его в трудное положение и не вызову разногласий в Комитете, так как в этом случае он неуверен в том, что все дело пройдет вполне гладко, а главное, что было бы крайне нежелательно заставлять Государя принимать на себя решение по такому щекотливому вопросу.

Мне пришлось долго и упорно возражать Плеве и по существу и в отношении порядка проведения этого дела. По существу я старался доказать ему, что вовсе не дело фабричной инспекции следить за настроением рабочих и ставить о нем в известность жандармский надзор, что у нее нет на это никаких средств и способов, что ее дело предупреждать столкновение интересов рабочих и нанимателей, следить за применением на практике фабрично-заводского законодательства, примирять неудовольствия в таком трудном и сложном деле, как заводское, и уметь приобрести доверие рабочих, которое одно в состоянии мирно улаживать возникающие конфликты. Я напомнил министру внутренних дел хорошо известный ему случай весенних забастовок в Московском районе в 1898 году, когда я в качестве товарища министра финансов, был командирован разбирать столкновения между жандармским надзором и фабричной инспекцией, причем выяснилась печальная картина этих столкновений и несправедливое и опасное обвинение инспекции жандармами, едва не имевшее крайне печальных последствий.

Подробно развивал я и совершенную для меня как министра финансов невозможность согласиться на передачу инспекции в руки жандармов, так как эта мера будет иметь самые губительные последствия для всей нашей промышленности, и я не могу взять на себя ответственность за такой результат и должен возражать всеми доступными мне способами, а не соглашаться на миролюбивое разрешение вопроса, за который на меня же падает вся тяжесть неизбежных последствий, и закончил мои возражения тем, что в виду одобрения такой меры Государем мне не остается ничего иного, как доложить мои возражения ему и просить его во всяком случае поручить министру внутренних дел внести такое предположение от своего имени в Государственный Совет, а мне дать право, принадлежащее всякому министру, возражать против предположений другого министра, затрагивающих в корне интересы моего ведомства. Мы расстались более чем холодно, причем Плеве, расставаясь со мной, произнес фразу, которая намекала на условия моего назначения два месяца тому назад. "Я не думал, В[ладимир] Н[иколаевич], — сказал он, — что, помогая Вам стать во главе финансового ведомства, я должен буду скоро убедиться в Вашей несговорчивости, о которой многие предостерегали меня, и что с Вашей стороны я не встречу той помощи, на которую я так надеялся, постоянно поддерживая Вас". С этой минуты и до самых

последних дней, предшествовавших его убийству, наши отношения почти порвались. Мы встречались еженедельно в Комитете министров, изредка в Государственном Совете, но он ко мне более не подходил, ни о чем не заговаривал и всем было ясно, что недавняя наша близость исчезла. Вскоре, впрочем, наш конфликт сделался известен, так как Департамент полиции об этом не молчал, и я могу по совести сказать, что общее сочувствие было на моей стороне, не говоря уже о Витте, который громко возмущался возникшему у В.К. Плеве проекту, хотя злые языки говорили, что он же обещал Плеве поддержать его в Комитете министров, если бы я согласился внести туда это предложение. Через неделю я представил Государю письменный доклад, изложивши в нем все наиболее существенные доводы против такой меры. На словах я развил их, и Государь оставил доклад у себя, обещавши мне спокойно и внимательно перечитать его и переговорить с министром внутренних дел.

Что было им сделано по этому поводу, и как поступил окончательно Плеве, я не знаю, но ко мне мой доклад больше не возвращался. Плеве со мною более не разговаривал, в Комитет министров этого вопроса не вносил, а с его смертью этот вопрос канул в вечность и больше не возникал до самого моего ухода с должности министра финансов в октябре 1905 года, когда следом за моим выходом Витте, уже пожалованный в графское достоинство, провел всеподданнейшим докладом образование Министерства торговли<sup>13</sup>, в которое отошла и фабричная инспекция.

До половины лета 1904 года моя память не удерживает никаких событий, которые мне хотелось бы отметить. Мои доклады у Государя носили чрезвычайно спокойный и крайне доверчивый ко мне характер. Не проходило ни одного из них, чтобы Государь, видя мои заботы об изыскании средств на войну и на охранение нашего кредита, не старался ободрять и успокаивать меня. Он неизменно говорил о несомненной нашей победе над нашим противником, который "вместе со своими союзниками заплатит нам, все что мы издержали". Это была его постоянная и любимая фраза, выражавшая твердую его веру в нашу победу, и эта вера не оставляла его и гораздо позже, когда уже было ясно, что нашим надеждам не суждено осуществиться.

### ГЛАВА III

*Разрешение конфликта с В.К. Плеве. — Убийство Плеве. — Легенда о бумагах, находившихся в портфеле Плеве в момент его убийства. — Новый министр внутренних дел князь П.Д. Святополк-Мирский и его связь с С.Ю. Витте. — Указ 12 декабря 1904 года. — Д.Ф. Трепов и рабочий вопрос. — Гапоновское движение. — Демонстрация 9 января 1905 г. — Мои возражения, сделанные Государю по поводу проекта Третьякова о личном воздействии Государя на рабочих. — Прием Государем делегации рабочих Петроградского района. — Неудавшаяся попытка обследования положения рабочих Петроградского района*



В первой половине июля я находился однажды у себя в кабинете на Мойке и собирался уезжать на дачу на Елагин остров. Раздался телефонный звонок, и я услышал, к моему удивлению, голос Плеве, почти два месяца не входившего со мною ни в какое общение. Он сказал мне, что хотел бы повидаться со мной, так как есть надобность поговорить по одному личному вопросу, и спрашивает меня, когда может он приехать ко мне, не помешавши в работе. Я ответил ему, что через несколько минут собираюсь ехать к себе на дачу и охотно заеду к нему на Аптекарский остров, если только не помешаю ему. Он поблагодарил меня и сказал, что будет ждать меня.

Как только я приехал, меня немедленно пригласили в кабинет; в приемной не было никого, и даже обычных дежурных чиновников я не встретил в помещении. Плеве вышел ко мне навстречу наружно совершенно спокойно и, как только я сел против него, протянул мне руку и сказал: "Вы сердитесь на меня за происшедшую между нами размолвку". Я ответил ему, что мне сердиться не приходится, но мне очень грустно, что в результате нашего спора наши отношения совершенно порвались, что он едва отвечает мне на приветствия при встречах и все видят, что между нами установились совсем необычные отношения. Я не чувствую за собой никакой вины перед ним и все жду, когда он поставит наше разногласие на суд Государственного Совета, так как и теперь уверен в своей правоте. Рассказал я ему, что я представил Государю, как предупредил его, мой доклад, после чего ни разу не возбуждал того же вопроса в личных беседах, и не знаю, какая участь постигла этот доклад. "Этот доклад был у меня", — сказал мне Плеве, "и я его вернул Его Величеству, прося не давать ему пока никакого хода, а теперь я просто не хочу поднимать снова этот вопрос. Кто из нас прав, — Бог знает, — но в чем я не прав, — этот в том, что я переменял мои отношения к вам, и в чем я раскаиваюсь и прошу Вас забыть происшедшее, так как Вы поступили совершенно открыто и на Вашем месте и я вероятно поступил бы точно также. Но теперь не такое время, чтобы мы отходили друг от друга. Я Вас всегда ставил очень высоко и теперь прошу Вас дружески, забудьте то, что было,



и станем по-прежнему относиться друг к другу, как было до этого случая. Бог знает, долго ли еще придется нам работать вместе. Вы многого не знаете, да и я, пожалуй, очень многого не знаю из того, что происходит кругом нас”.

Это были его последние слова. Он обнял меня, крепко поцеловал, опять спросил, не сержусь ли я на него, и совершенно весело довел меня до передней и уже на пороге опять сказал: ”Ну, значит, все по-старому”.

Мы больше с Плеве не виделись. Через три дня, хорошо помню число, — это было 14 июля, мы встретились на Совещании под председательством Государя в Александрии<sup>14</sup> по сокращению сметы чрезвычайных расходов на 1904 год. Плеве решительно поддерживал меня против министра путей сообщения и даже государственного контролера в смысле необходимости сократить до самой скромной цифры все расходы на постройку новых железных дорог и на портовые работы. Совещание кончилось очень быстро, мы вышли вместе на подъезд и, так как нам долго не подавали экипажей, то все стояли под дождем, и разговор шел самый непринужденный, причем Плеве все время трунил над генералом Лобко, уверяя его, что полиция доносит ему, что он слишком долго засиживается в Сельскохозяйственном клубе и задерживает наряд чинов полиции, охраняющий его.

На утро в 10 часу 15 июля его не стало. Его убила бомба Сазонова<sup>15</sup> в ту минуту, когда он был уже близок к Балтийскому вокзалу, направляясь в четверг с своим очередным всеподданнейшим докладом.

Подробности этого рокового события всем известны. Мне хочется только, к слову, рассеять одну, связанную с этим событием легенду, пущенную в ход, думается мне, графом Витте, о том, что будто бы в портфеле своем Плеве вез всеподданнейший доклад о высылке за границу Витте в виду имеющихся доказательств близкого участия его в революционном движении, особенно усилившемся в то время.

На самом деле ничего подобного не было. Портфель Плеве найден был в полной сохранности в карете и доставлен в министерство, где и был вскоре вскрыт вместе во всем, что оставалось в его столе, по повелению Государя генерал-адъютантом Гессе при участии директора Департамента полиции Лопухина, сына покойного Н.В. Плеве, и еще кого-то из Министерства внутренних дел. В портфеле не было найдено ни одной строчки, посвященной гр[афу] Витте, а в письменном стсле был найден короткий всеподданнейший доклад, или, вернее, препроводительная записка, при которой Государю были представлены две выписки из так называемой ”перлюстрации”, то есть из вскрытой частной переписки, причем ни авторы писем, ни их адресаты не были указаны. В одном из писем говорилось, что Витте состоит в самом тесном общении с русскими и заграничными революционными кругами и чуть ли не руководит ими, в другом же неизвестный корреспондент выражает своему адресату прямое удивление, каким образом правительство не знает об отношении человека, занимающего

высший административный пост, к личности царя, проникнутого самой нескрываемой враждебностью, и даже близкого к заведомым врагам существующего государственного строя, и терпит такое явное безобразие. Обе эти выписки, несомненно прочитанные Государем, были им возвращены Плевэ без всякой резолюции и с простым знаком, удостоверяющим факт их прочтения.

Затем во всех рассмотренных бумагах не было найдено ни малейшего следа, указывающего на то, чтобы Плевэ представлял Государю какие бы то ни было данные, а тем более заключение о подпольной деятельности Витте или его интригах против Государя.

Не подлежит, однако никакому сомнению, что Плевэ отлично знал, как отзывается Витте о Государе, какие питает к нему чувства и насколько не стеснялся он входить в общение с несомненно враждебно настроенными к Государю общественными кругами<sup>16</sup>, но, вероятно, в его распоряжении не было неопровержимых доказательств его действий явно тенденциозного характера, так как нельзя допустить, чтобы при всем известном враждебном отношении Плевэ к Витте он не воспользовался своим влиятельным положением для того, чтобы обезвредить Витте или по крайней мере раскрыть Государю глаза не него, тем более что он знал лучше всех, как велико было нерасположение и Государя к Витте.

Преемником Плевэ, как известно, был избран князь Петр Дмитриевич Святополк-Мирский, — близкий Витте человек. Имел ли Витте какое-либо участие в выборе преемника Плевэ, я не знаю, но хорошо помню, что как только стало известно, на кого выпал жребий заменить убитого Плевэ, Витте, находившийся в то лето безотлучно в Петербурге, тотчас же написал мне, что он радуется этому назначению и поздравляет меня с ним, так как я найду в кн[язь] Святополке-Мирском человека, неспособного ни в чем затруднить моего положения.

Характер нового министра внутренних дел стал известен сразу по приему, оказанному им представителям виленской прессы, явившимся к нему поздравить его с высоким назначением и выразить ему сожаление по поводу оставления им управления северо-западным краем.

Сославшись на установившиеся между ним и печатью добрые отношения с первых дней вступления его в должность генерал-губернатора, кн[язь] Святополк-Мирский заявил, что лозунгом его деятельности должно быть откровенное доверие к общественным силам, что на те же силы он предполагает опираться и в своей новой деятельности ждет от них такого же ясного доверия и помощи, какое он готов проявить по отношению к ним, и не закрывать глаз на то, что правительство, не опиравшееся на общественные силы, будет всегда изолированно и слабо.

Петербургские салоны и бюрократические круги встретили это заявление недружелюбно. Начались, как всегда, пересуды. Вспомнили так называемую весну и диктатуру сердца времени Лорис-Меликова, и можно бе-

зошибочно сказать, что если печать встретила это назначение дружелюбно, то в правительственных, придворных и бюрократических кругах вообще преобладало недоверчивое отношение и вскоре ироническое ожидание того, чем ознаменуется новый курс.

Отрицательное отношение к кн[язю] Святополк-Мирскому шло в особенности из самого Министерства внутренних дел, где его знали по прежней деятельности в Вильне, считали его человеком чрезвычайно слабым, частью в силу его плохого здоровья, не обладающим никаким административным опытом, безвольным, легко поддающимся под всевозможные влияния, нерешительным и совершенно непригодным на борьбу с оппозиционными силами, которые к тому времени стали заметно поднимать голову и вскоре перешли на всем известный путь открытой борьбы с правительством, незаметно перешедшей затем в вооруженное восстание половины 1905 года.

С.Ю. Витте, напротив того, открыто ликовал, встал на защиту нового министра, везде и всюду противопоставлял его покойному Плеве, как образец просвещенности, государственного ума и той новой складки представителя власти, которая должна сменить ушедший со сцены тип полицейского администратора, чуждого пониманию необходимости примирить власть с обществом и приготовить переход к новым приемам управления.

Из этого появления отношения Витте к новому человеку и в особенности из того, в какие формы вылились их взаимные отношения, какое внимание оказывал он ему при первых его шагах в управлении министерством, какими льстивыми, подчас совершенно ненужными проявлениями покровительства в заседаниях Комитета министров окружал он его, петербургские правительственные круги, а за ними и придворные очень быстро сделали свои специфические выводы, сразу же оказавшиеся крайне невыгодными для Святополк-Мирского. "Ставленник" Витте, покорный слуга его велениям и т.д., все эти пересуды сделали то, что очень быстро ожидавшееся обаяние от личности нового министра сменилось недоверчивым к нему отношением, а когда стало известно, что не прошло дня, чтобы не было свиданий этих двух людей между собой, и в Министерстве внутренних дел стали появляться наброски каких-то новых актов в духе "доверия к общественным силам", никто не придавал веры тому, что это дело рук министра внутренних дел, а все стали говорить в один голос, что фактическим министром является теперь никто другой, как тот же С.Ю. Витте, хотя никто не знал хорошенько, в какую форму выльются новые веяния. Разгадка наступила лишь 12 декабря, когда был опубликован Указ, повелевавший рассмотреть в спешном порядке выработанные председателем Комитета министров основные положения о мерах к укреплению законности в государстве. При этом необходимо помнить, что в ту пору никакого объединения среди министров не было и

каждое министерство представляло собой замкнутое, самодовлеющее целое, которое само ведало делами своего ведомства, внося в высшие установления – Государственный Совет и Комитет министров – свои предположения по заключению лишь тех ведомств, которые затрагивались тем или иным предположением. Никаких предварительных совещаний или обсуждений не было, за исключением случаев, когда между отдельными министрами существовали личные близкие отношения, которые и использовались главным образом для того, чтобы провести ведомственную точку зрения или одолеть несговорчивого министра, возражавшего против той или другой меры.

Поэтому, никто хорошенько не знал о том, что готовилось в тайниках того или другого ведомства, и лично я, несмотря на то, что виделся с С.Ю. Витте часто и постоянно находился в общении с гр[афом] Сольским, занимавшим в Комитете министров исключительно влиятельное положение, – решительно ничего не знал о подготовке Указа 12 декабря и встретился с ним только тогда, когда он был разослан перед заседанием комитета. Кто его готовил и какая доля участия в нем принадлежала Святополк-Мирскому, – я положительно не знал. Об этом указе так много было писано, что не стоит повторять подробностей рассмотрения его, да и значение его, которое так возвеличивал в свою пору Витте, было совершенно ничтожно и окончательно заслонило последующими событиями. Об них мне также приходится говорить лишь очень поверхностно и вскользь, потому, что мне не было суждено играть в них никакой активной роли, как не играли в них и другие министры, являвшиеся более или менее случайными участниками в обсуждении мер, которых они ни предупредить, ни отворотить не могли.

Мои личные отношения к Святополк-Мирскому были по их внешности очень хорошие. Сразу после своего приезда из Вильны он был у меня и сказал, что совершенно не разделяет мысли покойного Плеве о передаче фабричной инспекции в свое ведомство, доложил уже об этом Государю, который выразил большое удовольствие по поводу того, что этот конфликт с Министерством финансов устранен, просил меня считать этот вопрос исчерпанным и заявил даже, что он поручил Департаменту полиции сообщать мне все донесения Жандармской полиции по фабричному вопросу, предложил прекратить всякие ведомственные препирательства и обещал всяческую помощь своего ведомства в этом трудном деле.

Я позвал к себе товарища министра по Отделу торговли и промышленности – Тимирязева, условился с ним, что мы от себя сообщим все, что так обостряло наши отношения при Плеве, и в этих ведомственных трениях наступило временное затишье. Правда, что оно было очень кратко-временным.

Назначенный в это время товарищем министра внутренних дел заведующим Корпусом жандармов Д.Ф. Трепов, вскоре затем переименован-

ный в Петербургские генерал-губернаторы, только по внешности шел по пути, указанному ему его министром. На самом деле, пользуясь неясностью полномочий своих по управлению столицей, но начал все более и более вмешиваться в столкновения между рабочими и заводоуправлениями, и его влияние стало постепенно преобладающим.

В его распоряжениях была оригинальная смесь чисто зубатовского, самого беззастенчивого заигрывания с рабочими и полицейского нажима на них<sup>17</sup>, угроз по адресу фабрикантов за недостаточную заботливость о нуждах рабочих и предъявление к ним таких требований, которые не только опирались на закон, но были явно неисполнимы, — и в то же время самое недвусмысленное запугивание рабочих и требование беспрекословного исполнения требований министерства в деле забастовок и разрешения длящихся конфликтов. После гапоновского выступления — 9 января — эта двойственность приняла еще более резкие формы и вмещала даже Государя в тревожное состояние, охватившее Петербургский район.

Результат всех этих попыток тоже хорошо известен и говорить о нем теперь не приходится. Конец 1904 года ушел именно на попытки устранить осложнения среди рабочих, и нужно откровенно сказать, что все усилия в этом отношении ни к чему не привели, да и не могли привести.

Власть в центре была невероятно ослаблена. Слабый и безвольный министр внутренних дел буквально не знал, что делать. Вите толкал его все время на какие-то эксперименты, сам не давая себе отчета в том, куда он желает идти. Товарищ министра Трепов метался из стороны в сторону, то припоминая московскую зубатовщину, когда он открыто стоял на ее стороне и всячески влиял в том же смысле на Великого Князя Сергея Александровича, питавшего к нему слепое доверие, то одновременно с этим внушал мысли о необходимости проявления сильной власти для подавления всяких беспорядков. Его выражение "патронов не жалеть"<sup>18</sup> непонятно мирилось с самыми демагогическими обращениями к рабочим. При этом необходимо помнить, что в ту пору не было никаких общих совещаний представителей отдельных ведомств между собой. Все министры действовали разрозненно, каждый по своей области, а Вите как председатель Комитета министров не считал даже себя вправе направлять действия отдельных министров и вел переговоры только с отдельными, более близкими к нему по личным отношениям министрами. Со мной, в частности, он разговаривал исключительно по финансовым операциям того времени и то с той целью, чтобы быть ближе осведомленными о них перед внесением их на рассмотрение Финансового комитета. По рабочему вопросу, составлявшему в конце 1904 года бесспорную ось всего внутреннего положения России, он ни разу со мною не разговаривал, несмотря на то что мне была подчинена фабричная инспекция и к нему поступали от меня, по его же просьбе, все наиболее существенные донесения фабричных инспекторов.

Но вне сношений со мной он бесспорно был в самых тесных сношениях как с оппозиционными кругами, так и с самыми разнообразными негласными представителями влиятельных кругов самого рабочего класса. Последующие события начала 1906 года и скандальный эпизод с отпуском 30 000 рублей при участии Тимирязева в распоряжение некоего Матюшинского для влияния на рабочее движение, бесспорно подтверждает мое уверение.

Какую цель преследовал Витте в этом случае, было ли это гроявление какого-либо широко задуманного плана или, как я думаю, скорее всего случайного влияния на него всевозможных советчиков, кичившихся близкими их сношениями с оппозиционными и даже революционными кругами, — этого я в точности сказать не могу. Думаю, однако, что подтверждением моей догадки служит лучше всего самая подготовка сопротивления Министерства внутренних дел гапоновскому движению на Зимний Дворец.

До вечера 8 января 1905 года я не имел никакого понятия о том, что замышлялось в этом отношении. Не имел я понятия и о личности священника Гапона и уже гораздо позже слышал, что, будучи священником женской тюрьмы, он являлся к министру Юстиции или начальнику Главного тюремного управления Курлову и говорил, что, имея влияние на рабочую среду, он может сломить забастовочное движение в Петербургском районе.

Впервые, вечером 8 января<sup>9</sup>, меня пригласил министр внутренних дел [язь] Святополк-Мирский к себе, сказавши мне по телефону, что он желал бы поговорить по некоторым частностям рабочего движения. Это было около 9—9 1/2 часов вечера. Я застал в приемной министра: градоначальника генерала Фулона, товарища министра Трепова, начальника штаба войск гвардии и Петербургского округа генерала Мешетича, поджидали еще В.И. Ковалевского как директора Департамента торговли и мануфактуры, но его не оказалось дома, и он не участвовал в совещании. Да и совещание то было чрезвычайно коротким и имело своим предметом только выслушать заявление генералов Фулона и Мешетича о тех распоряжениях, которые сделаны в отношении воинских нарядов для разных частей города с целью помешать движению рабочих из заречных частей города и с Шлиссельбургского тракта по направлению к Зимнему Дворцу. Тут впервые я узнал, что среди рабочих ведет чрезвычайно сильную агитацию священник Гапон и имеет большой успех в том, чтобы склонить рабочих на непосредственное обращение со своими нуждами к Государю и поставить себя под его личную защиту, так как надежда на мирное разрешение тех вопросов, которые были причинами большого брожения среди рабочих петербургских заводов, заключается в личном участии Государя в этом деле, потому что правительство слишком открыто будто бы держит сторону хозяев и пренебрегает интересами рабочих.

Все совещание носило совершенно спокойный характер. Среди представителей Министерства внутренних дел и в объяснениях начальника штаба не было ни малейшей тревоги. На мой вопрос, почему же мы собрались так поздно, что я даже не могу осветить дела данными фабричной инспекции, кн[язь] Святополк-Мирский ответил мне, что он думал первоначально совсем не "тревожить" меня, так как дело вовсе не имеет серьезного характера, тем более что еще в четверг на его всеподданнейшем докладе было решено, что Государь не проведет этого дня в городе, а выедет в Гатчину, полиция сообщит об этом заблаговременно рабочим, и, конечно, все движение будет остановлено и никакого скопления на площади Зимнего Дворца не произойдет. Ни у кого из участников совещания не было и мысли о том, что придется останавливать движения рабочих силой, и еще менее о том, что произойдет кровопролитие. Витте не мог не знать о всех приготовлениях, так как кн[язь] Святополк-Мирский советовался с ним буквально о каждом своем шаге. Кроме того, вечером того же 8-го или, точнее, ночью к нему приезжали члены назначенного уже в то время Временного правительства с адвокатом Кедриним, членом городской Управы во главе<sup>20</sup>, уговаривая его взять все дело в свои руки и отменить распоряжение Министерства внутренних дел о воспрепятствовании силою движению на Зимний Дворец. Витте категорически сказал им, что не имеет обо всем этом никакого понятия и не может вмешиваться в чужое дело. Едва ли это было так на самом деле, потому что у С.Ю. Витте, несомненно, была чрезвычайно развитая агентура, освещавшая ему положение среди рабочих. Через день, в понедельник, уже после всего происшедшего, он подтвердил мне, что не имел никакого понятия о готовившейся демонстрации и о принятых против нее мерах, резко осуждал распоряжения министра внутренних дел и не раз произнес фразу: "Расстреливать беззащитных людей, идущих к своему царю с его портретами и образами в руках, — просто возмутительно, и кн[язю] Святополк-Мирскому необходимо уйти, так как он дискредитирован в глазах всех". На мое замечание, что князь состоит с ним в самых близких отношениях и неужели же он не говорил с ним о готовившемся событии, так же как он не говорил ранее и со мною, — Витте ответил мне, обращаясь ко всем присутствовавшим при нашем разговоре, что он не виделся с министром внутренних дел более недели перед событием и решительно не знал ничего. Говорил ли он правду или, по обыкновению, желал просто сложить с себя ответственность за печальный результат, я сказать не могу.

Утро 9 января, — это было воскресенье, — я сидел за бумагами у себя в кабинете, как около 10 часов послышались залпы выстрелов около Полицейского моста и мимо окон по другой стороне Мойки побежала толпа от Невского к Волынкину переулку. Я хотел было выйти из дому, узнать в чем дело, но подъезд мой оказался запертым, и швейцар сказал мне, что только что была полиция и просила никого не выходить из дома, говоря,

что необходимо обождать, пока рассеется скопление народа на Дворцовой площади и удастся оттеснить толпу из этого района. Выстрелы продолжали слышаться все время, и после каждого залпа толпа отбегала в сторону Волынкина переулка и затем снова подвигалась к Полицейскому мосту. К 12 часам стрельба стихла, и после завтрака я вышел на Мойку, обошел кругом по Морской, Дворцовой площади и Мойке, все было уже пусто, и только на Певческом мосту стояли кавалергарды, да в разных местах Дворцовой площади расставлены были пехотные части, и полиция не разрешала скапливаться. Экипажей видно не было. Из разговоров на улице и из рассказа знакомого мне полицейского офицера я узнал только, что часть толпы, направлявшейся на Дворцовую площадь со стороны Конногвардейских казарм, прорвалась сквозь воинскую и полицейскую охрану и в нее стреляли. Сколько народа было убито и ранено, нельзя было узнать, но все говорили в один голос, что число пострадавших было невелико<sup>21</sup>.

Из эпизодов этого утра один небольшой, но совершенно неожиданный врезался в мою память. В то время как стрельба с Невского, у Полицейского моста, раздавалась особенно часто, мы с женой стояли у окна и следили за движением толпы по набережной Мойки, из Волынкина переулка, как раз против окон министерства, в промежуток между двумя залпами появился извозчик, повернувший в сторону Певческого моста, и мы увидели двух наших знакомых дам — Е.В. Герман и ее сестру А.В. Жигалковскую, — направлявшихся к нам. Через несколько минут они пришли к нам и рассказали, что выйдя в 11 часов на Троицкую, где они жили в то время они услышали, что толпа будто бы громит Министерства иностранных дел и финансов, и решили узнать, в чем дело. По Невскому их спокойно пропустили до Конюшенной, но дальше они проехать не могли, так как в толпу стреляли вдоль Невского от Полицейского моста, на котором стояла рота Преображенского полка, и они свернули на Конюшенную и Волынкин переулок и чуть не попали под выстрелы вдоль Мойки.

Они пробыли у нас до 4 часов, а когда все стихло, то спокойно вернулись к себе по Невскому. В этот день мы были приглашены к обеду к генералу Мартынову, жившему на улице Гоголя. Приехали мы туда в карете к 8 часам, нас не хотели было пропускать с Невского на улицу Гоголя, но узнавши, кто мы, — пропустили, и я попросил, чтобы снова дали проехать моему экипажу, когда он станет возвращаться домой, а затем, около 10-ти приедет за нами. Долго не подавали обеда, так как все ждали западавшего моего бывшего начальника по Главному тюремному управлению — Галкина-Враского. Он приехал только к 9 часам и рассказал, что по Невскому двигается компактная толпа, весьма беспокойная, что в его карету бросали камнями и все стекла разбиты вдребезги. Около 11 часов мы выехали с улицы Гоголя и решили проехать на Троицкую узнать, как добирались наши знакомые дамы домой днем. Путь — туда и обратно —



был свободен, никто нас не задержал, только около Гостиного двора была небольшая толпа в стороне Большой Садовой и по адресу нашей кареты раздавались недобрые крики.

Подробности этого рокового дня насколько всем известны, что пересказывать их теперь снова просто нет охоты.

Для меня этот день имел особое значение в двойном отношении. Он произвел огромное впечатление за границей, а как раз в эту пору я вел переговоры о заключении одновременно двух, независимых друг от друга, займов в Париже и в Берлине. С другой стороны, для ослабления влияния этого дня на среду заводских рабочих в Петербургском районе, а через него и во всей России Министерство внутренних дел и, в частности, генерал Трепов как Петербургский генерал-губернатор выдвинул и стал энергично проводить в жизнь мысль о необходимости личного воздействия Государя на рабочих с целью внести успокоение в их среду путем прямого заявления Государя о том, что он принимает их интересы близко к сердцу и берет их под свою личную защиту. Окончательно подавленный событиями 9 января, решившийся выйти в отставку кн[язь] Святополк-Мирский не принимал в этом вопросе никакого личного участия, представив все дело Трепову, который не раз докладывал об этом лично Государю и передавал мне высочайшие повеления о том, в чем они относились до ведомства Министерства финансов, а затем вскоре Святополк-Мирский и вышел в отставку, уступив свое место Булыгину.

Революционная печать приписала эту мысль вовлечь Государя — мне, но это совершенно неверно, так как я ее не разделял и не шел дальше объявления именем Государя, что рабочий вопрос близок его сердцу, и он повелел правительству принять в спешном порядке все меры к разрешению справедливых нужд рабочих. Но на моих всеподданнейших докладах Государь не раз выражал определенное свое сочувствие мысли Трепова предполагая, что ему следует лично попытаться внести успокоение в рабочую среду, и с этой целью вызвать к себе представителей рабочих столичных фабрик и заводов. Я высказал Государю, что не вижу пользы от такой меры, потому что устроить выборы с таким расчетом, чтобы представительство от рабочих хотя бы одного столичного района носило характер свободного выражения их мнений, нет никакой возможности, потому что закон не дает никаких указаний на возможность организации выборов и нельзя ограничивать представительство от одного Петербургского района, не вызывая справедливого нарекания на то, что остальные районы обойдены выборами, да и настроение рабочих не таково, чтобы можно было рассчитывать на глубокое влияние на них личным обращением Государя, когда рядом идет несомненная революционная пропаганда, которая воспользуется этим случаем, чтобы дискредитировать выборов в глазах рабочей массы, как представителей искусственного подбора в угоду власти.

Мои возражения не нравились Государю. Он был, очевидно, под влиянием противоположных мне доводов Трепова и не раз выражал мне, хотя и в очень деликатной форме, что надеется все-таки иметь хорошее влияние на представителей от рабочих, если только удастся выбрать разумных людей. Моя мысль о том, что, в таком случае, следует дать и фабрикантам возможность увидеть Государя и услышать от него его желания, тем более что я не раз удостоверял Государя в том, что отношение фабрикантов к рабочим проникнуто полной готовностью идти широко навстречу разумным пожеланиям рабочих, но встречает в них самое предвзятое и враждебное к себе отношение под влиянием революционных вожаков, — успеха не имела, и Государь отвечал мне всегда, что он вполне этому верит и предоставляет мне объяснить фабрикантам, что он никогда не сомневался в их готовности идти на встречу интересов рабочих.

Началась подготовка выборов представителей от рабочих для представления их Государю. Она велась почти целиком генералом Треповым и носила, конечно, совершенно искусственный характер. От каждого завода Петербургского района было назначено определенное количество уполномоченных в избирательное собрание, которое должно было из своей среды выбрать 30 человек депутатов для представления Государю. Никакого интереса к выборам рабочие не проявляли, а все заботы фабричной инспекции сводились только к одному, чтобы в число депутатов не попали крайние элементы и весь прием не носил в себе демонстративного характера. Крайние элементы и не проявили никакого участия в выборах. В агитационных листках того времени, крайне многочисленных и почти ежедневно доходивших через фабричную инспекцию как до моего сведения, так и до сведения Министерства внутренних дел (они открыто расклеивались на стенах, на заводах), отношение к приему Государем депутации было совершенно отрицательное, чтобы не сказать ироническое. Трепов это отлично знал, как это знала хорошо и вся жандармская полиция. Докладывал я о них и Государю, но он неизменно отвечал одно: "Если это так, то никто не может упрекнуть меня в том, что я безучастен к нуждам рабочих, и они сами будут виноваты в том, что не хотят с доверием подойти ко мне".

Прием рабочих состоялся в Царском Селе в конце февраля или в самых первых числах марта и носил совершенно бледный характер. Государь прочитал небольшую, заранее заготовленную им речь, в которой высказал ряд очень добрых к рабочим мыслей, просил их верить его участию, мирно работать на общую пользу и прибавил, что он уже приказал кому следует назначить особую комиссию для обследования положения рабочих северного района, которая вникнет во все нужды рабочих и представит непосредственно ему заключение о том, что должно быть сделано для того, чтобы положение рабочих было улучшено. Рабочие никаких своих пожеланий не высказали. Государь очень ласково поговорил

почти с каждым из них, задавая им вопросы, откуда кто родом, чем занимался до поступления на завод и каково семейное положение каждого. Угостили всех делегатов чаем и сэндвичами, и все разъехались по домам. Трепов был доволен аудиенцией, открыто заявляя, что она сошла блестяще и не может не оставить глубокого следа. Присутствовавший при приеме старший фабричный инспектор был рад, что обошлось без "инцидента", но каждый, — вероятно за исключением Трепова, — думал про себя, что никакого следа эта попытка не оставит и все пойдет тем ходом, который определяется военными неудачами и нарастающим оппозиционным настроением в обществе, постепенно переходившим в прямое революционное движение.

Печать не обмолвилась ни одним словом о приеме рабочих, и даже Новое Время зарегистрировало только один факт приема.

Витте молчал и ни в какие разговоры со мной по этому поводу не вступал. Зато когда началось выполнение указаний Государя о производстве полного обследования положения рабочих на первых порах в Петербургском районе и возник вопрос о том, как производить это обследование и кому его поручить, — Витте выступил с своим предположением поручить это дело члену Государственного Совета Н.В. Шидловскому. Худшего выбора сделать было невозможно. Необычайно высокого о себе мнения, не знавший административной жизни, способный только на глубокомысленную критику всех и вся, никогда не стоявший около какого бы то ни было живого, практического дела и помешанный на одних тонкостях редакционного искусства по его многолетней и исключительной службе в Государственной канцелярии, — он буквально не знал, что делать, с какого конца приступить к делу, советовался со всеми, с кем только встречался, окружил себя самыми сомнительными элементами фабричной инспекции и сразу поддал влиянию очень способного, но склонного к всевозможным широким замыслам деятеля также фабричной инспекции, — Литвинова-Фалинского, старавшегося раздуть это дело в какое-то грандиозное предприятие, с предварительным составлением и внесением в Комитет министров сложной программы. Шидловский все время только сомневался и недоумевал, как приступить к делу, давал длинные интервью в печати, да так и кончил, не начавши своего обследования и дотянул его до лета, а затем уехал к себе в деревню в Воронежскую губернию<sup>22</sup>. По правде сказать, ничего иного он и сделать не мог. Революционное движение росло, стачки множились и развивались, быстро нарастала революция второй половины 1905 года, и не бумажной анкетой было потушить разгоравшийся пожар.

## ГЛАВА IV

*Влияние событий 9 января на переговоры о внешних займах. — Переговоры с домом Мендельсона и заключение в Германии 4 1/2-процентного займа. — Переговоры о займе во Франции. — Приезд в Петербург главы русского синдиката в Париже г. Нетцлина. — Выставленные им требования. — Прием г. Нетцлина Государем. — Два респирта на имя нового министра внутренних дел Булыгина. — Подготовительное обсуждение проекта Думы законосовещательного характера. С.Е. Крыжановский и А.И. Путилов. — Моя беседа с адм[иралом] Рождественским перед отплытием эскадры. — Проект А.М. Абазы о приобретении военных судов в Чили и в Бразилии. — Первые известия о поражении при Цусиме. — Рассмотрение проекта учреждения Государственной Думы совещательного характера в совещании под председательством гр[афа] Сольского*



Влияние события 9 января на второй вопрос, уже прямо затронувший меня как министра финансов, — на ход моих переговоров по заключению внешних займов для получения средств на ведение войны и на поддержание нашего денежного обращения — было гораздо более реально.

Оно прошло почти бесследно для заключения займа в Германии, так как операция с заключением 4 1/2-процентного займа не удалась<sup>23</sup>, — но имело самые глубокие последствия на ход переговоров во Франции.

Начало моих сношений с Германией в лице банкирского дома Мендельсон и К° относится еще к концу 1904 года, и сейчас, столько лет спустя после этой поры, я не могу не вспомнить с чувством величайшей признательности того, как быстро, согласно и легко для меня шли эти переговоры. Их не нарушило ни падение Порт-Артура, ни постепенно ухудшавшееся наше военное положение; со стороны этого дома я встретил такую предупредительность и готовность помочь мне, какой не встречал ни разу впоследствии до самого выхода моего в отставку с поста министра финансов в январе 1914 года.

Сначала глава дома, — Эрнст фон-Мендельсон Бартольди, затем его правая рука и самый умный из всех финансистов, которых я когда-либо встречал, — Фишель, старались всеми средствами облегчить мое положение, не только тогда, когда они верили еще в нашу победу, но и потом, когда для всех было ясно, что нам не кончить войны победой.

Переговоры о займе 1905 года были закончены вскоре после январских событий, и заем был заключен во второй половине февраля и выпущен на германском рынке в самом начале марта, несмотря на все грозные предзнаменования той поры и на открытое выступление разных общественных и в особенности ученых организаций с резкими протестами против деятельности правительства. Все основные условия займа были выработаны подробными предварительными сношениями с Берлином.

Припоминаю по этому поводу одну характерную особенность в выработке условий этого займа.

Предупредивши меня по телеграфу о дне своего приезда, Фишель пришел ко мне около 10 часов утра с редактированными им окончательными условиями о займе и просил меня утвердить их непременно в тот же день, так как по условиям берлинского рынка он находил необходимым спешить с выпуском займа и предполагал на следующее утро выехать в обратный путь.

Этот день у меня был очень занятой, я не мог дать ему достаточно времени в дневные часы и просил его приехать ко мне обедать, с тем чтобы тотчас после обеда посвятить весь вечер на рассмотрение проекта контракта. Я пояснил ему, в чем именно заключаются мои несогласия и просил его еще раз обдумать спорные пункты. Мы кончили обедать около половины 10-го и принялись за дело. Мы спорили долго и упорно. Фишель делал все возможное, чтобы удовлетворить моим желаниям, но были частности, в которых он затруднялся уступить мне. Я предложил ему отвести проект контракта в двух редакциях моей и его, в Берлин к его патронам, с тем чтобы в случае их согласия я мог бы просто утвердить договор телеграммой, а при их несогласии — отложить все дело до лучших дней, так как я не мог принять окончательно его точку зрения на спорные части договора и сказал ему откровенно, что не внесу их в Финансовый комитет, несмотря на то что Витте передал мне по телефону, что, переговоривши с ним (Фишелем), он предпочитает уступить ему, нежели откладывать совершение займа на условиях, которые ему кажутся весьма выгодными для России. Наш спор сводился к размеру банкирской комиссии, порядочно поднятой Мендельсонами против прежних займов, и разница в наших взглядах выражалась в сумме не менее 500.000 рублей. Фишель сильно волновался, не желая уехать с пустыми руками, и, видимо, очень желал угодить мне, но вероятно имел определенные инструкции от своих хозяев. Страдая пороком сердца, он не раз за весь вечер уходил в мой соседний кабинет и принимал различные медикаменты. В одну из его отлучек, продолжавшуюся, как мне показалось, слишком долго, я застал его на диване в полуобморочном состоянии и настаивал на том, чтобы он уехал в гостиницу и вернулся на утро, отложивши на день свой выезд из Петербурга, но он попросил дать ему еще несколько минут на размышление и скоро вышел ко мне и сказал, что он берет на себя всю ответственность перед Берлинским синдикатом, переделал тут же соответствующий пункт контракта, мы подписали его и простились теми же друзьями, какими встретились утром. На следующий день, перед поездом он еще раз заехал ко мне, просил не сердиться на его настойчивость и сказал только, что уступил мне потому, что хотел доставить мне личное удовольствие, и берется уладить все дело с участниками синдиката, а в случае их неудовольствия попросить меня только удостовериться, что он настаивал до сердечного припадка включительно. В ближайшем заседании Финансового комитета, когда я доложил о результатах переговоров с Фишелем,

Витте сказал, что он находит совершенно напрасным то, что я так "прижал", по его словам, Мендельсона и что выторгованные мною 500.000 рублей все равно уйдут бесследно среди бестолковых военных расходов. Его мнение не встретило, однако, никакого сочувствия, и даже всегда поддерживавший его и крайне умеренный в своих взглядах гр[аф] Сольский отнесся особенно сочувственно к моей настойчивости и благодарил меня за нее.

Совсем иначе шло дело о заключении займа во Франции. В самом начале февраля, без всякого предупреждения меня, приехал в Петербург глава русского синдиката в Париже, представитель Парижско-Нидерландского банка Э.Л. Нетцлин и заявил мне, что внутренние события в России, неудачи на войне и в особенности то, что произошло 9 января и происходит в фабричных районах, производит самое невыгодное впечатление на французском рынке; наши бумаги падают, поддерживать их от катастрофического падения нет возможности и необходимо решиться на двоякого рода меру:

1) значительно увеличить кредит на поддержку прессы<sup>24</sup> и не требовать, чтобы затраты на это шли на счет банкиров, то есть другими словами, взять этот расход исключительно на средства русской казны, и

2) найти какой-либо способ внести успокоение в денежную французскую публику, если только мы не отказываемся на долгий срок от заключения во Франции государственных займов. Последнее заявление его мне было крайне неясно, и я просил его выразить его мысль в более конкретной форме. Тогда Нетцлин совершенно открыто заявил мне, что приехал с ведома французского правительства, хотя и не сказал мне, что именно из правительства уполномочил его говорить со мной от его имени, — что он виделся перед отъездом с нашим послом А.И. Нелидовым, который предполагал писать мне (никакого письма от Нелидова я не получал), и что французское правительство чрезвычайно встревожено ходом наших дел, видит в них величайшую опасность и находит, что правительство наше бессильно бороться с поднимающимся революционным настроением в стране и ему приходилось уже подмечать в широких кругах политических деятелей Франции сомнение в том, удастся ли русскому правительству овладеть положением и не будет ли оно вынуждено — и на каких именно основаниях — уступить общественному движению и пойти навстречу его желаний, вставши на путь конституционного образа правления. Он оговорил при этом, конечно, что передает мне голос общественных кругов Франции, не имея сам определенного мнения об этом. Я посоветовал ему повидать председателя Комитета министров Витте, тем более что я знал, что он и без моего совета будет видеться с ним, и тут же в присутствии Нетцлина спросил его по телефону, когда именно может он принять только что приехавшего г. Нетцлина. Витте ответил мне, что он знал уже об этом приезде и примет приехавшего в

тот же день. Нетцлин не удовольствовался, однако, этим визитом и просил меня устроить ему аудиенцию у Государя, так как ему чрезвычайно важно иметь возможность доложить по возвращении в Париж о том, что он исчерпал все средства для того, чтобы осветить истинное положение дел в России и вместе с тем выяснить там настроение французского общественного мнения и правительственных кругов.

Я снесся по телефону с министром иностранных дел гр[афом] Ламсдорфом, прося его взять на себя испрошение аудиенции Нетцлину как иностранцу, но он уклонился от этого, говоря, что не имеет ни одного слова от нашего посла в Париже и думает, что это всего лучше сделать мне, тем более что и просьба обращена ко мне. В тот же день я написал об этом Государю, но получил от Него ответ, что он хочет раньше переговорить со мной, тем более что мой доклад приходился как раз через день.

Я повторил изустно то, что писал, развивши лишь подробности моей беседы с Нетцлином и высказанные им соображения, и прибавил, что отказ в приеме Нетцлина будет скорее всего невыгоден для нас, как проявление нашего нежелания даже выслушать то, что нам приносят от имени союзной страны. Государь отнесся к этой просьбе совершенно спокойно и сразу же согласился на нее, сказавши мне, что в мысли о необходимости быть ближе к общественному настроению он видит много справедливого и сам находит, что при охватившей общество тревоги, быть может было бы полезно подумать о том, что могло бы быть принято в этом отношении. Прием Нетцлину был назначен на другой день. Прямо из Царского Села Нетцлин приехал ко мне в самом радужном настроении и сказал, что Государь был с ним исключительно милостив, поручил ему передать, кому он признает нужным, что революционное движение в стране гораздо менее глубоко, нежели предполагают в Париже, что мы справимся с ним, что он, Государь, ждет резкого поворота в нашу пользу в военных действиях с прибытием на Восток нашего флота и что сам он серьезно думает о таких реформах, которые дадут большее удовлетворение общественному настроению. Общий вывод Нетцлина от приема в Царском Селе был самый радужный, и он простился со мной, сказавши, что тотчас по своем возвращении предпримет самые решительные шаги к возобновлению переговоров о новом займе. Он не скрыл от меня, что наш успех в переговорах с Мендельсоном будет служить для него поводом влиять на своих коллег по русскому синдикату. Весть о приеме Государем Нетцлина попала в газеты вероятно через Витте, так как, кроме меня, Нетцлин говорил только с ним, а я никому ничего не рассказывал, и в газетных сообщениях на самые разнообразные лады развивалась мысль о сочувствии Государя идее преобразований в духе общественного доверия. Но тут же, как раз на другой день — 18 февраля, и притом совершенно неожиданно прозвучал резким диссонансом к этой мысли рескрипт на имя нового министра внутренних дел Булыгина, сменившего

ки[язя] Святополк-Мирского. В нем указывалось на распространяющееся в стране забастовочное движение, на вред, наносимый им делу вооруженной борьбы с внешним врагом, и на необходимость решительной борьбы с ним всеми доступными власти способами и ни одним словом не упоминалось о доверии к обществу и не возвещалось никаких реформ. Витте был крайне смущен тоном рескрипта, поехал в Царское Село и говорил об этом. Говорил и я на моем докладе, указавши на то, что в Париже просто не поймут этого после приема Нетцлина. Государь не дал прямого ответа, обещал подумать, и через некоторое время – я не припоминаю теперь в точности этого промежутка времени – появился новый рескрипт на имя Булыгина с повелением приступить к разработке предположений о привлечении населения к более "деятельному и постоянному участию в делах законодательства"<sup>25</sup>. Как известно, этот рескрипт положил начало выработке проекта о созыве Государственной Думы законосовещательного характера, который получил утверждение 6 августа после длительного и мучительного процесса подготовительной стадии, в котором самое деятельное участие приняли: со стороны Министерства внутренних дел – С.Е. Крыжановский, со стороны Министерства финансов – директор общей канцелярии А.И. Путилов, стяжавший впоследствии известность в качестве председателя правления Русско-Азиатского банка, в особенности в пору нашего общего беженства. Оба эти лица вели прямо противоположную политику в их предварительной работе. Крыжановский тянул вправо, тогда как Путилов явно шел влево, и не проходило дня, чтобы мне не приходилось встречаться с сетованиями Булыгина на то, что работа не подвигается вперед из-за нескончаемых споров с моим представителем. Булыгин, совершенно несклонный к захвату власти и поддерживавший со мной самые дружеские отношения еще со времени прежней нашей совместной службы в Главном тюремном управлении в начале 80-х годов, приехал даже однажды ко мне и показал свой письменный всеподданнейший доклад с изложением целого ряда спорных пунктов по разногласию между Крыжановским и Путиловым, с отметками Государя в смысле полного несогласия его с взглядами Путилова. В результате этого мне пришлось дать Путилову прямые указания идти в согласии с указаниями Государя, у нас произошло крупное объяснение, и Путилов должен был подчиниться, а потом указывал постоянно, что если бы его послушали, то все дело приняло бы совсем иной оборот и не потребовалось бы ни Манифеста 17 октября<sup>26</sup>, ни усмирения московского вооруженного восстания. Не стоит развивать полной несостоятельности этого взгляда, так как по настроению того времени, никакие либеральные новшества не имели уже влияния на разбушевавшиеся страсти, и последние улеглись только под влиянием решительного подавления московского восстания.

Весна 1905 года прошла в самом тревожном настроении. Дела на



фронте шли все хуже и хуже. Спешные приготовления к отправке эскадры Рождественского и ее путь кругом мыса Доброй Надежды держали всех нас в каком-то оцепенении, мало кто давал себе отчет в шансах на успех задуманного небывалого предприятия. Всем страстно хотелось верить в чудо, большинство же просто закрывало себе глаза на невероятную рискованность замысла. Да мало кто и знал техническую сторону предприятия. Морское министерство просто скрывало, что суда были перегружены углем под влиянием опасения не получить его по пути. Правительство не было осведомлено о подробностях. Публика же просто верила слепо в успех, и кажется один Рождественский давал себе отчет в том, что может уготовить ему судьба в его бесконечном странствовании кругом Африки по пути к нашему дальнему востоку. По крайней мере, когда нам пришлось еще в 1904 году как-то встретиться на Невском заводе на осмотре двух легких крейсеров,готавливаемых для его эскадры, и мы разговорились с ним, возвращаясь обратно на пароходе в город, он сказал мне на пожелания мои об успехе его трудного дела: "Какой может быть у меня успех? Не следовало бы начинать этого безнадежного дела, да разве я могу отказаться исполнять приказание, когда все верят в успех". Зима и весна тянулись бесконечно томительно и долго. Вести с пути эскадры были тревожны, а после известного инцидента на Доггербанке<sup>27</sup>, везде чуялись японские шпионы, которых в действительности, конечно, вовсе не было, так как японцам нечего было пускаться в напрасный дальний путь, и они просто сторожили нашу эскадру у своих вод. Но планов, и притом самого разнообразного типа, в морском ведомстве было великое множество, и все они имели часто фантастический характер. Один из этих планов дал и мне немало хлопот.

Состоявший при генерал-адмирале, Великом Князе Алексее Александровиче<sup>28</sup>, адмирал А.М. Абаза, тот самый, который вместе со статс-секретарем Безобразовым и Вонлярлярским был душою предприятия на Ялу, — все время после падения Порт-Артура в декабре 1904 года носился с идеей усилить нашу владивостокскую эскадру путем приобретения судов за границей. Немало всяких дельцов и авантюристов обивало в это время пороги морского и военного министерств со всевозможными предложениями услуг по самым разнообразным военным поставкам. В числе этих господ находился между прочим некий американец — Чарльз Флинт, который подал мысль о том, что Чили и Бразилия имеют прекрасные боевые суда — броненосцы и крейсера, — которые можно купить сравнительно недорого, снабдить их русской командой и перевести во Владивосток с таким расчетом, что с остатком нашей там эскадры получится грозная сила, способная бороться с японцами и повернуть все военное положение в нашу пользу. Слух об этой затее долгое время доходил до меня только в самой осторожной форме, но не выливался в реальную форму.

Но в конце зимы 1904–1905 года меня пригласили на совещание к Великому Князю Алексею Александровичу вместе с генералом Лобко, государственным контролером, и этот вопрос встал на официальную почву. Докладчиком по вопросу был адмирал Абаза, и он с величайшей авторитетностью и апломбом доказывал, что все продающиеся суда должны быть куплены во что бы то ни стало и не справляясь с ценою их. Государственный контролер поддерживал его самым решительным образом, морской министр был более сдержан и указывал на целый ряд чисто практических затруднений к снабжению судов нашим командным составом и к возможности провести их во Владивосток независимо от того, удастся ли приобрести их или нет.

Мне пришлось сосредоточить мои возражения на чисто финансовой стороне вопроса. Я заявил, что принципиально не буду возражать против расхода на покупку судов, если мне будет объяснено, какие суда продаются, кем именно, за какую цену и как смотрит морское министерство на осуществление предположения о посадке наших команд на суда, где именно и какая может быть найдена гарантия в том, что помогающая Япония Англия не захватит суда по пути. Министерство иностранных дел в совещании не участвовало. Генерал-адмирал вел себя чрезвычайно корректно и не раз поддерживал меня в моих требованиях, чтобы деньги за суда были выплачены не ранее сдачи нам судов продавцами и занятия их нашей командой. Совещание разошлось на том, что весь вопрос будет рассмотрен под личным председательством Государя, никакого протокола составлено не было, и я просил Великого Князя доложить Государю мою точку зрения, пояснивши еще раз, что против отпуска денег спорить не стану, но буду настаивать на всевозможных мерах предосторожности против напрасной уплаты денег каким-либо авантюристам, которые успели уже развить около этого дела самые волчьи аппетиты, и о них открыто говорят во всех модных ресторанах, обещая направо и налево огромные комиссии, в то время как совещание решило даже не составлять протокола из опасения огласки.

Совещание у Государя в Царском Селе состоялось несколько дней спустя. Это было в конце марта. Генерал-адмирал очень корректно и толково изложил все, что было говорено на совещании у него, и Государь предложил всем приглашенным высказаться совершенно откровенно. Абаза был по примеру прошлого раза настойчив и упорен, назвавши все мои аргументы придирадками, которые могут только испортить дело, сведя к нулю самое простое и ясное предположение. Государь остановил его словами: "Нельзя называть придирадками совершенно естественные требования министра финансов устранить злоупотребления всяких авантюристов-посредников и нужно сначала знать, что именно мы покупаем, за какую цену и не может ли случиться, что деньги будут уплочены, а судов мы не получим". Между прочим в этом совещании произошел

небольшой инцидент, оставивший, видимо, в Государе немалое впечатление. Адмирал Абаза заявил, что суда продаются вполне вооруженные и с полным комплектом снарядов на все орудия. На мое заявление, известно ли ему, какие это орудия и имеются ли у нас снаряды, пригодные для пополнения израсходованных запасов, так как может случиться, что мы израсходуем снаряды и не будет возможности пополнить их из Петербурга, — я не получил никакого ответа, но морской министр сказал, что это очень важное замечание и вероятно придется в случае покупки судов начать сразу же готовить новые снаряды, что потребует, конечно, много времени, так как раньше изучений орудий, очевидно, нельзя знать, какие готовить снаряды. Совещание кончилось на том, что Государь повелел повести это дальше, но предоставил мне принять все меры к ограждению казны от всяких попыток выманить деньги без передачи судов в наше фактическое распоряжение.

Долго тянулось это дело. Немало крови испортило оно мне, но кончилось почти анекдотически. После нескончаемых разговоров и встреч решено было купить четыре Чилийские броненосца, известны были и их имена, продажная цена за них была установлена в 58 миллионов рублей, подлежащих выплате в Париже через дом Ротшильда, но не иначе, как в момент получения телеграммы и принятия судов под нашу команду. Адмирал Абаза получил приказание выехать в Париж, вести там переговоры, но денежная часть ему поручена не была. Я выговорил, что она остается в моих руках, и был командирован туда же А.И. Вышнеградский, занимавший в то время должность вице-директора Кредитной канцелярии. Абаза принял самый конспиративный вид, обрил свою классическую длинную бороду и появился в Париже в неузнаваемой внешности. Не прошло, однако, и трех дней, как в бульварных газетах появилось фотографическое изображение адмирала в двух видах: в адмиральской форме с его классической бородой и в штатском одеянии, в мягкой дорожной шляпе и с гладко выбритым лицом. Под этими изображениями помещен короткий текст, объясняющий причину прибытия адмирала в Париж, и, кстати, приведен и адрес гостиницы, в которой он поселился. Долго ждал адмирал своих посредников и комиссионеров, да так и не дождался. Напрасно просидел и Вышнеградский для производства расплаты, и оба они вернулись ни с чем. Были ли вообще эти чилийские броненосцы в действительности или же, — как я думаю, — их вовсе не было никогда. Чилийское правительство и не помышляло продавать их нам, а все хитро задуманное предприятие существовало лишь в воображении всевозможных посредников, рассчитывавших на легкомыслие наших представителей. Как бы то ни было, мне удалось спасти деньги, но адмирал Абаза не раз утверждал после, что броненосцы были, и если бы ему дали свободу действий, то все было бы сделано, а благодаря моим спорам японцы все узнали и пригрозили чилийскому прави-

тельству войной, если только оно вздумает продать нам свои суда. Все это, конечно, чистейший вздор, и Государь не раз говорил мне, что он вполне уверен в том, что все это было задумано с целью получить наши деньги, не давши нам никаких судов. Я должен отдать справедливость покойному Вышнеградскому, оказавшему мне в этом деле очень большую помощь.

По мере того, что время шло к весне и поступали вести о движении нашей эскадры, Государь все чаще и чаще говорил со мной о ней на моих докладах, а когда накануне одного из них получилось известие, что эскадра адмирала Небогатова соединилась с эскадрой Рождественского, Государь встретил меня радостный, веселый, словами: "Ну что же и теперь Вы не разгладите Вашей морщины на лбу и все будете по прежнему мрачно смотреть на судьбу нашего флота?" Недолго продолжалось это радостное настроение. В субботу 15 мая под вечер я получил из Берлина телеграмму от Мендельсона с сообщением, что утром этого дня в Цусимском проливе наш флот вступил в бой со всем японским флотом и погиб почти весь, так как лишь одно или два судна успели прорваться на север. Я тотчас позвонил к морскому министру, и спросил его, известно ли ему что-либо. Он ничего не знал, но сказал, что тотчас сообщит Государю по телефону, с ссылкой на то, что известие получено мной. Поздно вечером, уже около 12 часов, морской министр позвонил ко мне и сообщил, что такое же известие передано ему как нашим берлинским послан, так и морским агентом.

Государя я не видал целую неделю, а когда я пришел в следующую пятницу с очередным докладом, то застал его глубоко расстроенным и в первый раз, по-видимому, отрешившимся от своих обычных надежд на скорое и славное для России окончание войны. О самой катастрофе он совсем не говорил и сказал только, что не видит теперь надежды на скорую победу и думает только о том, что нужно тянуть войну, доводить японцев до истощения и заставить их просить почетного для нас мира. На внутренние беспорядки Государь смотрел, скорее, безучастно, не придавая им особого значения, и все говорил о том, что они охватывают только небольшую часть страны и не могут иметь большого значения.

Тем временем Булыгин внес выработанный им проект учреждения Государственной Думы совещательного характера, и с начала лета началось предварительное рассмотрение его в совещании под председательством гр[афа] Сольского, а затем после небольших исправлений первоначальной редакции дело перешло и на окончательное рассмотрение его под председательством самого Государя. В состав последнего совещания был включен целый ряд лиц, обычно не принимавших участия в таких собраниях: гр[аф] А.П. Игнатьев, Победоносцев, А.А. Половцов, профессор Ключевский, Стишинский и много других, имена которых не удерживает моя память. Преобладающий характер приглашенных были

лица с большим служебным прошлым. Прения носили по преимуществу совершенно спокойный характер, никаких принципиальных вопросов затронуто почти не было, и рассмотрение всего проекта заняло всего четыре или пять заседаний, но некоторые частности дали место к довольно любопытным прениям. Помню, как между мной и Стишинским возник спор о том, каким условиям должны отвечать лица, подлежащие выборам в Государственную Думу. Стишинский настаивал на том, что даже простая грамотность не должна быть обязательна, так как, по его мнению, самый надежный элемент представляет собой, как он выразился "истовые крестьяне, более солидного возраста", а в их среде много совершенно неграмотных людей, но это отнюдь не мешает им хорошо знать местную жизнь, уметь разбираться в самых сложных вопросах сельского обихода, земских нуждах и всего того, что составляет самую сущность будущей деятельности Государственной Думы. Я возражал против такого предложения, доказывая, что никакая "истовость" не принесет никакой пользы, если будущий законодатель, хотя бы имеющий лишь совещательный голос, не сможет прочитать того, что ему будет предложено рассмотреть. Кое-кто из участников совещания поддерживал мою точку зрения, но Государь встал на точку зрения Стишинского, и статья законопроекта была отредактирована в этом смысле.

Во всем ходе дела по рассмотрению проекта в совещании гр[афа] Сольского, Витте как председатель Комитета министров принимал самое деятельное участие. Он ни разу не возбудил вопроса о том, что совещательный характер Думы никого не удовлетворит. Зато он очень энергично возражал против заключенного в проект воспрещения избирать евреев в члены Думы. Я решительно поддерживал его, вопрос занял два заседания и не был окончен до выезде Витте в Америку. Перед своим отъездом он особенно просил меня телеграфировать ему в Вашингтон, чем разрешится этот спор, так как он справедливо придавал ему большое принципиальное значение, а резкая оппозиция правых элементов вызвала в нем опасение за судьбу вопроса. Большинство участников совещания встало, однако, на нашу общую с ним точку зрения, и дело разрешилось вполне благополучно. Телеграмма в Портсмут была мной отправлена, и я получил даже на нее ответ с выражением благодарности, который не получал потом ни за одну из многочисленных последующих моих депеш.

## ГЛАВА V

*Мирная конференция в Портсмуте. — А.И. Нелидов и Н.В. Муравьев — первые кандидаты на должность главного уполномоченного. — Назначение С.Ю. Витте и его отъезд в Портсмут. — Мои осведомительные телеграммы. — Направление, данное переговорам Государем. — Всеподданнейший доклад графа Ламсдорфа по основным вопросам возможного соглашения. — Резолюция Государя на этом докладе. — Составленное мной, по приказанию Государя, письменное мнение о допустимых уступках Японии. — Решительная депеша Государя о недопустимости контрибуции. — Возвращение Витте. — Резкая перемена в его отношении ко мне*



В половине июля 1905 года, как известно, президент Северо-Американских Соединенных Штатов — Рузвельт предложил нам и Японии свое посредничество в созыве мирной конференции для прекращения войны<sup>29</sup>. Согласие воюющих последовало, и мы стали спешно готовиться к конференции. Первым кандидатом на должность главного уполномоченного был предложен Министерством иностранных дел и охотно принят Государем — наш парижский посол А.И. Нелидов, но он отказался, ссылаясь на свое слабое здоровье (он действительно в это время был болен), а также на незнание им английского языка. За его отказом этот пост был предложен нашему послу в Риме Н.В. Муравьеву, который был вызван и спешно прибыл в Петербург; прямо от министра иностранных дел он приехал ко мне на дачу, на Елагином, и, не возбуждая никаких вопросов по существу возложенной на него задачи, просил меня только “не урезывать тех кредитов, которые он намерен испросить для себя и своих слутников”, ссылаясь на то, что жизнь в Америке безумно дорога, а у него самого совсем нет средств, и он не знает даже, как может он продолжать свою службу в Риме. Мы условились, что завтра же он придет ко мне и привезет подсчет его расходов. Просил он меня также дать ему в помощь кого-либо из моих сотрудников, если он, — как и сам думает об этом, — не ограничится составом чинов Министерства иностранных дел. Прямо от меня Муравьев поехал на том же Елагином к Витте, а на утро получил вызов в Петербург к Государю. Что произошло между Витте и Муравьевым и что именно сказал последний Государю, — я совершенно не знаю, но на следующий день около 4 часов, когда я принимал доклады по министерству, Муравьев приехал ко мне и сказал, что, передумавши всю ночь, он не решился принять на себя эту задачу, считая себя совершенно не в состоянии выполнить ее с успехом, высказав это откровенно Государю, который чрезвычайно милостиво отнесся к его словам, разрешил ему немедленно вернуться в Рим, и когда на прощанье, Государь сказал ему, что он крайне затруднен выбором кандидата, то Муравьев будто бы сказал, что, по его мнению, есть вполне готовый и подходящий человек — Витте. В тот же день Витте был вызван в Петер-

гоф, позвонив по возвращении ко мне по телефону, спросил, не могу ли я придти к нему, и когда я пришел, — сказал мне, что Государь "заставил" его ехать в Америку. Он прибавил: "Когда нужно чистить каналы, так посылают Витте, а когда предстоит работа почище или полегче, то всегда находятся другие охотники". Едва ли мы узнаем когда-либо истину о том, как состоялось это назначение. Много разных рассказов ходило об этом потом по городу, но повторять их просто не хочется. Да и к чему! Как бы ни относиться к Витте, справедливость требует сказать, что он вышел с величайшей честью из трудного положения, хотя мало кто знает, какая доля в сравнительно выгодных для России условиях Портсмутского договора принадлежит лично Государю. Но об этом речь впереди.

Витте собрался в дорогу очень скоро. Всего через день или через два после его назначения он приехал ко мне в министерство, долго пробыл у меня и в тоне величайшего дружелюбия просил меня помочь ему установлением постоянной связи с тем, что будет делаться в России. "С той минуты, — говорил он, — как я сяду на пароход, я буду совершенно оторван от России, а между тем знать, что делается здесь, следить за всем и учитывать происходящее для меня крайне необходимо. Мне будут врать, рассказывая всякие небылицы про Россию, а я должен знать больше чем кто-либо другой, чтобы парировать выдумки и, если только люди увидят, что я осведомлен лучше их, то мой авторитет будет выше в глазах всех".

Я дал ему самое широкое обещание и выполнил его свято. Не было ни одного обстоятельства в жизни России за это время, о котором я бы не осведомлял бы его, и немало казенных денег извел я на депеши, но, кроме упомянутой телеграммы о евреях, ни на одну мою депешу я не получил ответа. Когда он вернулся, я даже спросил его, все ли дошло до него, что я ему телеграфировал, и получил в ответ только "кажется, все". И больше не было им сказано ни одного слова, как не обмолвился он даже простой благодарностью за все, что он получил от меня. Спутник Витте, бывший после моего ухода короткое время министром финансов — Шипов, напротив того, сказал мне, что моих депеш они всегда ждали с величайшим нетерпением и после первой же недели пребывания в Портсмуте Витте разрешил ему сообщать все, что было в них интересного иностранным корреспондентам, которые не раз спрашивали его, какие газеты информируют русскую делегацию так точно и быстро обо всем. После этого посещения мы больше не виделись с Витте до самого его выезда и расстались с ним еще в самых теплых, чисто дружеских отношениях. Он обещал мне в случае заключения мира остановиться на обратном пути в Париже и попытаться подготовить почву для нового займа, который не состоялся весной, и даже сказал мне на прощанье: "Приезжайте ко мне сами в Париж к моему возвращению, если кончится все благополучно, и мы тут же сделаем все нужное". Я ответил шутливо, что до октября—ноября Париж — пусть и не будет же он сидеть так долго

в Америке. Я нарочно упоминаю обо всем этом, так как решительно не знаю, что именно произошло во время пребывания Витте в Америке и возвращения его домой, так как он вернулся в самом дружелюбном настроении по отношению ко мне, и с первых же дней после его приезда между нами установились совершенно небывалые отношения, которые и разразились отставкой моей в конце октября.

Не стану говорить о том, что я знаю относительно подробностей заключения Портсмутского договора. Все детали отлично известны всем, и я могу и даже должен коснуться только того, что известно лично мне и о чем мало кто осведомлен помимо меня и чему до сих пор в широких кругах общестственности просто не верят. Советская власть, опустошая архивы Министерства иностранных дел и вынося наружу то, что она считает нужным в своих целях, почему то до сих пор не опубликовала ни одной депеши, ни одного письма, относящегося ко времени переговоров в Портсмуте, которые выясняют то, какие инструкции получал Витте из Петербурга, что предлагал он, и что ему отвечали, и кому обязаны мы тем, что Россия так мало уступила Японии<sup>30</sup>. В архиве должно было бы находиться и мое последнее письмо к министру иностранных дел гр[аф] Ламсдорфу в ответ на его сообщение мне о повелении Государя о том, чтобы я высказал мое мнение по поводу депеши Витте, излагающей необходимость уступок Японии<sup>31</sup>. Письмо это я хранил в копии у себя до самого моего побега из России и глубоко сожалею о том, что его более нет в моем распоряжении и я не могу привести его здесь. Опубликование его внесло бы немалое изменение в пересказ гр[аф] Витте о том, как был заключен мирный договор, да и И.Я. Коростовец, написавший очень интересную монографию о том, чему он был свидетелем и даже участником, должен был бы также внести большие поправки в свое изложение<sup>32</sup>. Не имея же под руками этого документа, я по необходимости должен воспроизвести его по памяти, но, думаю, что, несмотря на все протекшие года, моя память удержала все оттенки.

Я пропускаю, поэтому, все, что касается переговоров в Портсмуте<sup>33</sup>; скажу коротко то, что было перед самым отъездом Витте в Америку, и перейду затем прямо к концу этой эпопеи.

Как только был решен в принципе вопрос о согласии участвовать в мирных переговорах, осторожный и привыкший облекать каждый свой шаг в письменную форму министр иностранных дел гр[аф] Ламсдорф представил Государю доклад, испрашивая в нем прямых указаний по основным вопросам, по которым следует ожидать особых настояний со стороны Японии. Проект этого доклада, как и все, что касалось вопросов войны, отношения к Японии, Китаю и Персии, — он прислал мне и просил высказать и мое мнение. Причина этого заключалась не только в том, что, привыкши постоянно иметь самые близкие отношения к Витте в бытность его министром финансов, гр[аф] Ламсдорф перенес часть этой



близости на меня, как на его преемника, – но главным образом в том, что все вопросы финансовые, экономические и промышленные, сосредоточивались по Китаю, Японии и Персии в Министерстве финансов и трудно даже сказать, какое ведомство имело наибольшее влияние на дела этих трех стран: дипломатическое ли или финансовое. За время же войны не было ни одного вопроса, по которому Министерство финансов не было привлечено к самому деятельному и широкому участию, не говоря уже вовсе о делах Китайской восточной железной дороги, которые лежали целиком на мне. В этом докладе гр[аф] Ламсдорф остановился главным образом на следующих вопросах, которые не могли не быть возбуждены Японией, о чем, как он писал, можно уже теперь судить по статьям английской прессы:

1) вопрос о Корее, послуживший внешним поводом вооруженного столкновения нашего с Японией.

Гр[аф] Ламсдорф говорил, не обвиняя, что нам придется отступить от нашей точки зрения и отказаться от всякого влияния на Корею, если только мы предпочитаем кончить дело миром;

2) вопрос о контрибуции, который выдвинут прессой на первый план, и следует ожидать, что кредиторы Японии выставят его с собой настойчивостью, ибо финансовое положение Японии не может не озабочивать их в первую голову. Заключение своего по этому вопросу гр[аф] Ламсдорф не высказывал;

3) вопрос об ограничении наших вооруженных и в особенности морских сил на нашем дальнем Востоке не может не остановить также особого внимания Японии, в виду преимуществ, достигнутых ею над нами, и, вероятно, стремления ее уменьшить опасность нового вооруженного с нами столкновения. По этому вопросу я также не помню, чтобы министр иностранных дел выразил определенное свое мнение и, во всяком случае, удостоверю, что положительной схемы его разрешения он не предложил.

Доклад гр[афа] Ламсдорфа вернулся к нему со следующими надписями Государя, которые резко запечатлелись в моей памяти и не изгладились из нее под влиянием пережитых впечатлений.

Наверху доклада Государь написал: "Я готов кончить миром не мною начатую войну, если только предложенные условия будут отвечать достоинству России. Я не считаю нас побежденными, наши войска целы и я верю в них".

Против вопроса о Корее Государь написал: "В этом вопросе я согласен на уступки, – это не русская земля".

Против вопроса о контрибуции Государь написал: "Россия никогда не платила контрибуции, и я на это никогда не соглашусь", причем слово "никогда" было три раза подчеркнуто.

Против вопроса об ограничении наших вооруженных сил на Востоке

отметка Государя была: "Это не допустимо, мы не разбиты, можем продолжать войну, если нас вынудят к тому неприемлемыми условиями".

Этот доклад и отметки Государя, разумеется, были сообщены гр[афом] Ламсдорфом Витте, если не до выезда его из России, то, во всяком случае, были ему пересланы в Америку, и можно только пожалеть о том, что никто из его спутников или он сам не упомянули об этом в оставленных ими записях. Впрочем, справедливость заставляет сказать, что почти никто из спутников Витте или не оставил своих записок, как Шипов, проф[ессор] Мартенс, или же их записки, и, в частности, записки бар[она] Розена<sup>34</sup>, не дошли до меня. И.Я. Коростовец записал только, чему он был свидетелем и участников в Портсмуте. Сам же Витте оставил в своих записках столько неточностей, что нечему удивляться, что в них не нашлось места слову справедливости в пользу Государя, а все приписано себе, хотя и, отдавая справедливость покойному Государю, немало осталось бы заслуг гр[афа] Витте в деле заключения Портсмутского договора.

Много раз за время переговоров мне приходилось докладывать о ходе переговоров Государю. Еще чаще говорили мы с министром иностранных дел, и потому, когда подошел решительный момент и Витте спросил, что именно может он принять как последнюю уступку с тем, чтобы в случае отклонения его предложения японцами он был уполномочен прервать переговоры и уехать, придав гласности причину разрыва, — я имел возможность высказать мой взгляд совершенно определенно, не внося никаких оговорок в мой ответ. В этом последнем фазисе я был привлечен выразить мое мнение на письме.

Помню хорошо, что это было в субботу в первой половине августа. Я кончил мои занятия и собирался уехать в деревню. Жена ждала меня, готовая к отъезду. Мне подали письмо от министра иностранных дел, при котором я нашел копию последней телеграммы Витте на имя Государя, с копией на имя министра иностранных дел. В своем письме гр[аф] Ламсдорф сообщал мне, что Государь желает иметь во вторник утром доклад его по телеграмме Витте и поручает ему представить письменное как свое, так и мое заключение, которое он, гр[аф] Ламсдорф, представит в подлиннике.

Я взял это письмо с собой в деревню, по дороге в вагоне написал черновик моего ответа, на другой день, в воскресенье, привел его в порядок, перебелил собственноручно и в тот же вечер выехал обратно в город, чтобы в понедельник утром успеть переписать его и вовремя отправить министру иностранных дел. Помню ясно все построение моего письма.

В телеграмме Витте была фраза, что если нам необходим мир, то его нельзя достигнуть иначе, как уступками Японии по некоторым ее требованиям. Я начал поэтому и мое письмо с того, что мир нам, по моему

крайнему убеждению, совершенно необходим, но о степени необходимости идти на уступки может судить только тот, кто знает положение дел на фронте. Хотя я этого не знаю, тем не менее я не могу высказаться и за то, чтобы запросить об этом главнокомандующего генерала Линевица, так как это может надолго затянуть дело, да и едва ли главнокомандующий в состоянии обнять всю обстановку нашего положения. Поэтому я считаю, что мир нам необходим как по нашему финансовому, так и в особенности по нашему внутреннему положению, и высказываюсь открыто за необходимость уступить в том, что не нарушает нашего достоинства. С этой последней точки зрения я особенно решительно возражал против возможности уплатить какую-либо контрибуцию. Россия никогда еще не платила контрибуций, и она не лежит еще окончательно побежденная под пятою врага. Вместо контрибуции я высказался за возможность уступить южную часть Сахалина и указал, что Япония может найти некоторую материальную для себя выгоду в вознаграждении за содержание наших военнопленных.

В тот же день вечером министр иностранных дел позвонил ко мне и сказал, что мое письмо соответствует тому, что не раз говорил Государь, и что он думает, что эту точку зрения будет не трудно обосновать, тем более, что он и сам будет говорить в полном соответствии с этими мыслями. Во вторник днем, снова по телефону, министр иностранных дел сообщил мне, что телеграмма Витте отправлена в этом именно смысле, причем тон депеши был переделан Государем лично настолько решительно в смысле недопустимости контрибуции, что он не сомневается в том, что Витте нельзя более вернуться к этому вопросу. Как известно, через два дня соглашение было достигнуто и я считаю делом моей совести сказать, что соглашение это состоялось главным образом потому, что Государь проявил величайшую настойчивость, которой ему не мог внушить гр[аф] Ламсдорф, не способный на решительное сопротивление вообще. Не было тут никакой заслуги и с моей стороны, так как я не видел Государя в последнюю минуту, а письменное изложение тех или иных мыслей никогда не производило на него решающего действия. Я вполне уверен в том, что он ни в каком случае не отступил бы от недопустимости контрибуции и продолжал бы войну, если бы японцы не уступили. К чему бы привело это в конечном результате, — это другой вопрос, но справедливость все-таки побуждает сказать, что мы не уплатили контрибуцию только потому, что Витте понял, что Государь, действительно, на нее не согласится.

В пятницу на докладе Государь был в самом радостном настроении и сказал мне, что он счастлив тому, как кончилось все дело, и что "Витте очевидно понял", — подлинные его слова, — "что контрибуции я ни в каком случае не уплачу, хотя бы мне пришлось воевать еще два года".

Незадолго до того, что переговоры в Портсмуте привели к окончательному выяснению коренного разногласия между русскими и японскими уполномоченными и наш главный уполномоченный С.Ю. Витте должен был представить их по телеграфу на разрешения Государя, испрашивая его последних указаний, — министр иностранных дел гр[аф] Ламсдорф и гр[аф] Сольский получили от С.Ю. Витте тождественные телеграммы, в которых он высказал свое опасение, что упорство Японии может вынудить нас или сделать тяжелые для нас уступки, или даже прервать переговоры и продолжать приостановленные военные действия.

Такое решение, чреватое своими последствиями, принятое к тому же одним правительством без всякого участия общественного мнения, естественным образом обратит весь одиум осуждения непосредственно на верховную власть. Для того чтобы избежать этого, С.Ю. Витте высказал, что было бы крайне желательно созвать в специальном порядке совещание из наиболее видных общественных деятелей — представителей земств, городов и дворянства, — которому и предоставить высказать его мнение по поводу намечаемых оснований мирного договора, ранее нежели они поступят на утверждение Государя.

Я узнал об этой телеграмме от гр[афа] Сольского, когда он пригласил меня, как он сказал по телефону, прибыть немедленно по очень спешному делу.

Я застал у него министра иностранных дел, который успел уже до моего приезда высказаться совершенно отрицательно по поводу предложения С.Ю. Витте, выражая свое недоумение, каким образом можно созвать такое Совещание и как согласовать его заключение с пределами власти Государя. Он особенно настаивал на том, что положение Государя может быть даже гораздо хуже, если, получив заключение совещания, он примет решение, не согласное с ним.

Мнение гр[афа] Сольского было тождественно по существу, но шло еще гораздо дальше с точки зрения простой невыполнимости намеченного предположения. По его словам, переговоры в Портсмуте и без того настолько затянулись, что еще на днях была получена телеграмма от нашего главного уполномоченного с извещением, что президент Рузвельт начинает терять терпение. Созыв совещания, даже если бы он мог быть допущен и осуществлен, настолько замедлил бы ответ России, что вся ответственность за неразрешение вопроса падала бы неизбежно на нее, и это одно делает мысль С.Ю. Витте неприемлемой. Еще более неосуществимым окажется самый выбор участников совещания и выработка каких-либо справедливых и приемлемых для общественного мнения оснований для участия в таком небывалом совещании.

Особенно подробно останавливался гр[аф] Сольский на соображениях об особой щекотливости применения такого приема в данном случае и

решительно поддержал гр[афа] Ламсдорфа в его резко отрицательном отношении к поднятому вопросу. Он просил нас обоих составить совместно краткое изложение высказанных мнений и представить его в письменной форме не далее как завтра утром непосредственно Государю с тем, чтобы он имел возможность обдумать все высказанное и принять свое решение.

Вечером того же дня содержание телеграммы С.Ю. Витте и мнение высказанное нами тремя по ее содержанию было передано гр[афу] Сольскому и отвезено за общими нашими подписями в Петергоф.

В тот же день около двух часов пополудни министр гр[аф] Ламсдорф сообщал мне, что Государь без малейших колебаний утвердил представленное ему заключение и высказал целый ряд соображений, не затронутых в нашем письменном заключении, но вполне совпадавших с сущностью непосредственного между нами обмена мнений.

Телеграмма об этом была послана Витте в тот же день; спустя два или три дня пришла от него и депеша, излагающая последний фазис переговоров, послуживший к описанному уже выше окончательному решению, принятому Государем.

\* \* \*

В правительственной среде, да и в общественном мнении заключение мира прошло как-то мало заметно. Война велась слишком далеко от всех нас, ее отражение на повседневной жизни было слишком мало, и все жило под влиянием тех непосредственных впечатлений, которые чувствовались на каждом шагу, тем более что эти впечатления становились все более и более грозными и никто не давал себе ясного представления о том, к чему все это приведет. Забастовочное движение на фабриках росло и ширилось. Движение по железным дорогам становилось все более неправильным, и остановки в пути стали повторяться часто. Балтийский край был весь в самом тревожном состоянии, и, так сказать, под боком у Петербурга нападения на полицию и воинские части делались все более и более частыми. Курляндия<sup>35</sup> шла в этом отношении впереди своих соседок и вызвала необходимость карательных экспедиций, возложенных на гвардейские части. Я уверен, что многие помнят до сих пор дикую расправу, учиненную над драгунским отрядом в Газенпоте. Заживо сожженные солдаты не могли не вызвать отпора со стороны военной силы, посланной на усмирение восстания, а сплошные грабежи в имениях с разорением замков ясно указывали на то, какое направление принимают эти провозвестники событий 17 и 18 годов. Все эти события наложили особый отпечаток на ту область, которая была мне особенно близка. Государственные доходы стали поступать туго, и в классовом отношении стали замечаться явления, которых вовсе не знали полтора года войны. Думать о возможности найти необходимые средства помощью внутрен-

него займа не приходилось, и мне оставалось только ждать возвращения Витте, тем более что на посланное мной ему приветствие по поводу заключения мира я получил от него очень любезную телеграмму, в которой он напоминал мне, что хорошо помнит о данном мне обещании и остановится нарочно в Париже с этой целью, будучи твердо уверен в том, что легко достигнет успеха, так как отпало теперь главное препятствие. Затем из Парижа я получил от него новую телеграмму с сообщением, что несмотря на то что многих из нужных мне людей он не нашел на месте, он имеет самые положительные обещания и рассчитывает на скорый благоприятный их результат.

Что произошло в короткий промежуток времени между пребыванием Витте в Париже и возвращением его в Петербург, я положительно не знаю. Во всяком случае очевидно, что произошло нечто необычное, вызвавшее к тому же и неожиданные для меня последствия. Вскружил ли ему голову успех в Портсмуте, пришла ли ему после свидания с германским Императором в Роминтене<sup>36</sup> и оказанного ему там приема мысль о том, что он спас Россию и призван быть теперь единственным вершителем всех ее судеб, укрепился ли он в той же мысли после приема у Государя и возведения его в графское достоинство, захотел ли он под влиянием всех этих успехов просто отделаться от меня, так как считал меня всегда недостаточно покорным его воле, — я этого не знаю, но должен отметить, что после первой же нашей встречи по его возвращении Витте стал проявлять на глазах у всех совершенно небывалую резкость по отношению ко мне и просто недопустимую нетерпимость к каждому выраженному мной мнению.

Я поехал к нему поздравить его в день его приезда, не застал его дома и оставил ему несколько слов горячего привета. Он посетил меня на следующий день, пробыл всего несколько минут, не сел даже на предложенное кресло и все ходил по моему кабинету как-то вяло, точно неохотно, отвечая на мои вопросы. Он не обмолвился ни одним словом о том, что я держал его почти ежедневно в курсе всех событий за время его отсутствия, как будто бы я не послал ему ни одной телеграммы. На мою попытку рассказать ему более подробно о том, что происходит у нас, я ясно видел, что он просто не расположен меня слушать и прервал меня даже словами: "Все это пустяки, по сравнению с тем, что будет дальше, и ничего кроме глупостей здесь не делается". А на мой вопрос, что именно понимает он, Витте ответил раздраженным тоном: "Сами скоро увидите". На просьбу мою сказать мне, что удалось ему сделать в Париже, он ответил также резко: "Да все сделал, можете послать телеграмму Нетцлину, чтобы он приезжал. Шипов вам передаст. Он в курсе всех моих переговоров". После этих слов он подал мне руку и уехал, оставивши меня в полном недоумении по поводу этой нашей встречи.

## ГЛАВА VI

*Финансовая ликвидация войны. — Вывоз в Петербург г. Нетцлина. — Имел ли гр[аф] Витте беседу о займе с гр[афом] Бюловым. — Приезд французских банкиров и мои с ними переговоры. — Спешный их выезд из России. — Инциденты, вызванные Витте на совещаниях по выработке проекта объединения деятельности отдельных министров и по проекту об амнистии. — Тайна, которой окружена была подготовка манифеста 17 октября 1905 года.*



В тот же вечер ко мне приехал Шипов, которого я просил пояснить мне, что именно произошло с Витте, чем раздражен он против меня. Уклонился ли И.П. Шипов от откровенной беседы, проявил ли он тут свойственную ему замкнутость и уклончивость или же на самом деле он ничего точно не знал, — я также не могу сказать, — но выслушавши мой подробный пересказ о нашей встрече с Витте утром, он сделал вид человека положительно ошеломленного и сказал, что он просто своим ушам не верит и думает, что Витте подавлен впечатлениями того, что застал здесь, но убежден, что ничего личного по отношению ко мне нет и в помине. Рассказал он мне при этом, что каждую мою телеграмму он прочитывал сам, постоянно говорил, что не знает как благодарить меня за все мои сообщения, что они одни дали ему возможность учитывать наши внутренние события и поправлять неверные факты, подносимые ему газетными корреспондентами, а на вопрос мой, что сделано в Париже, Шипов сказал мне очень коротко, что он знает только, что Витте видел несколько раз Нетцлина и очень советовал ему приехать в Петербург, но думает по тону разговоров, что Нетцлин не очень горячо отнесся к этой мысли и, во всяком случае, в его присутствии сказал Витте, что будет ждать моего приглашения, и даже выразился так, что ему было бы приятно, чтобы мое приглашение не имело характера обращения к нему одному, а содержало бы вызов всех представителей русской группы приехать в Петербург, выбравши для этого время по их усмотрению, но не слишком откладывая путешествие. Я так и поступил. На другой же день, сославшись на беседу с только что вернувшимся гр[афом] Витте, я просил через Нетцлина представителей русской группы прибыть в Петербург, указывая, что общее настроение правящих кругов должно устранить те затруднения, которые мешали нам до сих пор привести в исполнение тот план, который имелся в виду еще в конце прошлого года.

В моей телеграмме Нетцлину и в объяснительном к ней письме<sup>37</sup> я не мог дать ему сколько-нибудь реальных пояснений того, что происходило у нас в это время, так как не хотел больше освещать мрачную картину нашего революционного брожения, нежели делала это французская и в особенности германская пресса, относившаяся в ту пору сравнительно

спокойно к переживаемым нами событиям и не терявшая веру в то, что Россия скоро справится с движением. Не касался я также в моем письме и того, что готовилось в окружении гр[афа] Витте по части перемен нашего внутреннего строя, потому что я почти ничего не знал о том, что замышлялось им, да и никто из его близких и друзей не делился. не только со мной, но даже и с кем бы то ни было из правительства о подготавливавшемся Манифесте 17 октября.

Помню хорошо, что в моем длинном пояснительном письме я указывал главным образом на то, что заключенный мир и решимость Государя вступить на путь участия народа в работе по законодательству, — хотя бы на первых порах с характером совещательным — создадут, во всяком случае, более благоприятную почву для финансовой ликвидации войны, а она необходима не только для самой России, но и для всех стран, связанных с нею общностью интересов. Я помню также, что внизу письма я приписал от руки, что я не сомневаюсь в том, что Германия, в частности группа Мендельсона, пойдет навстречу нашим стремлениям оздоровить наше денежное обращение и спасти его от введения принудительного курса, чего мы не допустили во все время неудачной войны.

Мне очень жаль, что и это письмо не опубликовано большевиками в том извлечении из моей переписки с тем же Нетцлином, которое сделано ими и в которое попали гораздо менее интересные мои письма. Ответ на мою телеграмму получился очень скоро. Нетцлин сообщил мне, что он постарается исполнить обещание, данное им гр[афом] Витте, что большинство участников русской группы высказалось уже вполне сочувственно, что медлит только Лионский кредит, но что он не сомневается и в его согласии и — наметил даже вероятное время приезда группы банкиров между 10 и 15 октября. Так оно и было на самом деле. Приехали они перед самым днем издания Манифеста.

Здесь мне приходится невольно сделать небольшой перерыв в изложении последовательного хода событий того времени моей жизни и деятельности и вставить один эпизод, который попал мне под руку уже много лет спустя в эмиграции в сентябре 1931 года, когда гр[афа] Витте давно не было уже на свете, а я перебирал мои воспоминания из моего далекого прошлого. В печати появились мемуары покойного канцлера германского князя Бюлова, многолетнего сотрудника Императора Вильгельма. Они наделали немало шума своими разоблачениями и вызвали с разных сторон обильную полемику и многочисленные указания на величайшие неточности, допущенные им умышленно или невольно, — это безразлично. В составе этих мемуаров появилась и секретная переписка кн[язя] Бюлова с Императором в виде небольшого томика, изданного одновременно на трех языках — немецком, английском и французском.

В этом томике, в его французском издании, на стр. 141 содержится следующая выдержка из письма князя Бюлова к Императору от 25 сен-



тября 1905 года: "Сегодня утром я имел двухчасовую беседу с Витте. Он видимо враждебен Англии и рассказал мне, что ему удалось в последнюю минуту помещать заключению русского займа во Франции и Англии. Он убедил Рувье, что такой заем был бы направлен против Германии и противоречил бы и интересам самой Франции (?). Лубэ ему сказал также, что он ничего не знал о таком предположении и если бы знал, то несомненно был бы против него. Вместе с тем Лубэ поклялся ему, что не существует никакого секретного договора между Францией и Англией. Витте находит англо-японский договор просто оскорбительным для России. Но что в особенности возмутило Витте, это заявление, открыто сделанное Англией о ее намерении открыть английский рынок для других русских ценностей, до 10 миллионов фунтов стерлингов, причем Англия быстро превратила бы это свое намерение в чисто прозрачное, выбросивши эти ценности на французский и немецкий рынки".

Когда читаешь такое извлечение из несомненного донесения канцлера своему Императору и сопоставляешь его с тем, что происходило на моих глазах, то невольно несмотря на промежуток времени, отделяющий меня от этих событий целой четвертью века, спрашиваешь себя, не отошел ли в этом случае князь Бюлов от истины, как он сделал это во многих случаях, и мог ли русский государственный человек сказать ответственному государственному человеку чужой страны, что он поступил против своей страны в угоду этой стране, то есть совершил, выражаясь простыми словами, акт просто вредный для его страны?

Гр[аф] Витте причинил мне много горя, но я всегда старался быть справедливым к нему и отдавать должное его выдающимся дарованиям. Мне хотелось бы и на этот раз сказать, что князь Бюлов отошел от истины и что граф Витте не мог сказать того, что ему приписывается 16 лет после его смерти. Но я по совести не могу сказать то, чего не мог сказать его недавний гость.

Выдумать такую небылицу просто невозможно, ибо никто в ту пору, кроме гр[афа] Витте, не знал о том, что Россия готовит новый заем во Франции. Тем не менее мог кто-либо говорить о займе в Англии, о чем не было никакой речи вообще, а предположение о совершении займа во Франции имело характер почти академический, так как вся моя беседа с гр[афом] Витте при его отъезде в Америку не имела иного значения, как желание мое позондировать почву в Париже, если бы нам удалось кончить войну заключением мира с Японией. Речи о каком бы то ни было желании нанести ущерб Германии также не было. Германия, совершившая за полгода перед тем 4 1/2-процентный заем 1905 года, отлично знала, что до заключения мира никакого нового займа на каком бы то ни было рынке совершить было просто невозможно. Германские банки в лице дома Мендельсона были отлично осведомлены о каждом нашем шаге, и представитель его Фишель был в ту пору столь же близок к нашему

Министерству финансов, сколько его ценили и в русской группе французских банков. Весь финансовый мир прекрасно понимал, что окончание русско-японской войны неизбежно потребует для России изыскания на внешнем рынке новых средств для ликвидации войны, но никому не приходило в голову, чтобы речь о таком займе могла быть поднята до заключения внешнего мира и до выяснения внутренних осложнений, перенесенных страной.

Лучше всех знал это гр[аф] Витте уже по тому одному, что сам он предложил мне повести речь о займе после заключения мира, при посещении им Парижа. Знал он из ежедневных моих с ним сношений как во время пребывания его в Портсмуте, так и на пути домой, что я ни с кем не вел никаких переговоров и ждал его возвращения, чтобы начать эти переговоры, если бы ему удалось подготовить почву. Никто, как он сам, тотчас по возвращении, в описанной мной выше его первой беседе со мной, не сказал, что все им сделано и я могу немедленно вызывать в Петербург г. Нетцлина. Ни о каком препятствии со стороны французского правительства он мне и не заикался не только во время этой беседы, но и позже, когда с его же ведома и даже разрешения я послал приглашение французской группе, и, очевидно, я не мог вызывать их, если бы он предупредил меня о парижском настроении в отношении нашего займа.

Невольно напрашивается вопрос, когда же гр[аф] Витте говорил неправду. Тогда ли, когда проездом через Берлин и далее через Роминтен он хвалился князю Бюлову и через него Императору Вильгельму о том, что в интересах Германии он, русский председатель Комитета министров, помешал реализации русского займа им же признанного необходимым в Париже? Или тогда, когда, вернувшись в Россию, он заявил мне, что все им подготовлено, я могу вызывать представителей банковской группы и сам он докладывал об этом своему Государю, который благодарил его за оказанную им помощь и с радостью говорил мне об этом?

Для меня несомненно, что говорил он сознательную неправду, если он ее говорил, только в первом случае и сделал это с единственной целью выставить себя истинным другом Германии, не отдавая себе отчета в том, что это было прямое нарушение его долга по отношению к своей родине и не могло быть принято иначе и его слушателем. В его характере всегда было немало склонности к довольно смелым заявлениям. Самовозвеличение, присвоение себе небывалых деяний, похвальба тем, чего не было на самом деле, не раз замечались людьми приходившими с ним в близкое соприкосновение, и часто это происходило в такой обстановке, которая была даже невыгодна самому Витте. Я припоминаю рассказ его спутника в поездке его в начале 1903 года в Германию для выработки и заключения торгового договора с Германией. Этот рассказ 10 лет спустя был дословно повторен мне тем же князем Бюловым в Риме при свидании моем с ним в апреле 1914 года, когда я был уже не у дел.

Витте вел часть переговоров лично и непосредственно с князем Бюловым в его имении в Нордернее. При переговорах присутствовал с русской стороны один Тимирязев. Они тянулись долгое время, и вечерние досуги проводились обыкновенно среди музыки и пения. Княгиня Бюлова, итальянка по происхождению, сама прекрасная певица и высокообразованная женщина, постоянно просила Витте указывать ей, что именно хотелось бы ему услышать в ее исполнении. Ответы его поражали все своей неожиданностью; было очевидно, что ни одного из классиков он и не знал и отделялся самыми общими местами. Тимирязев, сам прекрасный пианист, — постоянно старался выручать своего патрона тем, что предлагал сыграть то, что особенно любит его шеф, и тогда не раз происходили презабавные кви-про-кво: Витте спорил, что играли Шуберта, когда на самом деле это был Шопен, а по части Мендельсона он всегда говорил, что его можно разбудить ночью и он без ошибки скажет с первой ноты, что именно сыграно. Верхом его музыкального хвастовства было однако событие, рассказанное мне по этому поводу тем же спутником Витте В.И. Тимирязевым. Кн. Бюлова как-то спросила Витте за обедом, на каком инструменте играл он в его молодые годы. Он ответил, не запинаясь, что играл на всех инструментах, и когда хозяйка попыталась было сказать, что такого явления она еще не встречала во всю свою музыкальную жизнь, то Витте без малейшего смущения парировал ее сомнение неожиданным образом, сказавши, что это в Германии музыкальное образование так специализировалось, что каждый избирает себе определенный инструмент, тогда как в их доме все дети играли на всех инструментах, почему он и мог при поступлении в университет в Одессе организовать чуть ли не в одну неделю первоклассный оркестр из 200 музыкантов, которым он дирижировал во всех публичных концертах. После этого рассказа, заключил Тимирязев, разговоры на музыкальные темы по вечерам и за обедами как то прекратились, и сама хозяйка со свойственным ей тактом переводила разговоры на иные, более упрощенные темы.

Так и в описываемом мной случае Витте задался целью просто "очаровать" своих собеседников и говорил им то, что ему казалось должно было им быть особенно приятно, ни мало не справляясь с тем, верно ли это или просто неверно и еще менее справляясь с тем, не может ли его заявление выйти на свет Божий. Пожалуй, он и оказался бы прав, если бы 25 лет спустя князь Бюлов не рассказал того<sup>38</sup>, что он сообщил ему в минуту своего победного возвращения в Петербург.

Через две недели после этого эпизода приехали французские банкиры в Петербург, и с ними Витте вел совершенно иного свойства беседу, не заикаясь о не согласии французского правительства и ни мало не смущаясь тем, что те же банкиры говорили ему, что они ехали с большим сомнением в возможности заключить заем, но не хотели отказывать гр[афу] Витте в его настояниях. Нечего говорить о том, что ни Рувье, ни

Лубэ и не думали препятствовать заключению займа и не удерживали даже банкиров от поездки в Россию, когда об этом было доведено до их сведения.

Продолжаю прерванный мной рассказ о том, как развивались дальше события того времени.

После первого моего свидания с С.Ю. Витте наши встречи становились все более и более редкими. Витте не раз уклонялся от моего желания видиться с ним, ссылаясь на множество занятий, я старался не искать встреч, но каждый раз становилось ясно, что наши отношения принимают все более и более напряженный и даже недопустимый с его стороны характер. Начались заседания Особого совещания под председательством графа Сольского по выработке проекта объединения деятельности отдельных министерств. Инициатива такого проекта принадлежала, разумеется, гр[афу] Витте, хотя письменного его доклада я никогда не видел, но знал от гр[афа] Сольского, показавшего мне собственноручную записку Государю, в которой было сказано, что он не раз убеждался в том, что министры недостаточно объединены в их текущей работе, что это совершенно недопустимо теперь, когда предстоит в скором времени созыв Государственной Думы, и потому он поручает гр[афу] Сольскому в спешном порядке выработать проект правил о таком объединении и представить на его утверждение. В записке было сказано, что председатель Комитета министров имеет уже проект таких правил, который представляется Государю вполне разумным, и затем указан и самый состав совещания, со включением в него и меня.

Начались почти ежедневные заседания, и с первых же шагов мое положение стало для меня просто непонятным, а вскоре и совершенно невыносимым. Стоило мне сделать какое-либо замечание, как бы невинно и даже вполне естественно оно ни было, чтобы гр[аф] Витте не ответил мне в самом недопустимом тоне, какого никто давно из нас не слышал в наших собраниях, в особенности такого малочисленного состава людей, давно друг друга знающих и столько лет работавших вместе. Первые приступы такого непонятного раздражения вызывали полное недоумение со стороны всегда утонченно вежливого и деликатного гр[афа] Сольского. Он боялся, чтобы я не вспылит и не наговорил Витте неприятностей, и когда первое заседание кончилось, он попросил меня остаться у него, благодарил за мою сдержанность и выразил полное недоумение тому характеру возражений, который так изумлял всех. Я рассказал ему все, что произошло между мной и Витте с самого его возвращения, упомянул о разговоре с Шиповым и, ссылаясь на нашу давнюю близость, просил его разрешить мне при первом повторении таких выпадов обратиться к нему, как к председателю, с просьбой разрешить мне выйти из состава совещания, доложивши Государю, что я вынужден сделать это по совершенной невозможности продолжать работу при том настроении

враждебной раздраженности, которое проявляется со стороны гр[афа] Витте. Сольский просил меня этого не делать, обещал переговорить с Витте наедине и уговорить его сдерживать его несправедливое отношение ко мне. Я не знаю, исполнил ли он данное мне обещание, но практического результата это обещание не имело.

В следующем же заседании столкновение приняло еще более неприличный характер. Помню хорошо его повод. В проекте гр[афа] Витте стояла между прочим статья, по которой все доклады министров у Государя должны были происходить не иначе, как в присутствии председателя Совета министров и при том условии, чтобы всякий доклад предварительно рассматривался и одобрялся председателем.

Перед самым заседанием ко мне подошел Ермолов и заявил, что он станет самым решительным образом возражать против этой статьи и даже останется при особом мнении, спрашивая, присоединяюсь ли я к нему. Э.В. Фриш, почти всегда старавшийся примирять резкости Витте и искать компромисса при разногласиях, также находил недопустимым ставить доклады министров в такие неисполнимые условия. Гр[аф] Сольский также сказал нам, что он считает неосторожным создавать такую искусственность и надеется уговорить Витте не настаивать на ней. Обращаясь к Фришу, он сказал, что эта статья вводит в наше законодательство небывалый институт "Великого визиря", на что едва ли и Государь согласится. Он прибавил: "Вот, В[ладимир] Н[иколаевич], прекрасный случай для Вас возражать гр[афу] Витте. По крайней мере, на этот раз Вы не останетесь в меньшинстве". Я тут же заявил, что пришел с твердым намерением возражать, приготовился к этому и прошу только оградить меня от несомненных выходов личного свойства, обещая не дать никакого повода к ним в самом способе заявления моего отрицательного отношения.

Случилось то, что так часто бывало в наших собраниях, Ермолов был очень слаб в своих возражениях и при первом же окрике Витте просто стушевался, заявивши, что будет голосовать против статьи. Фриш исполнил свое обещание и, несмотря на такие же резкости со стороны Витте, ответил ему очень вескими аргументами, которые еще больше раздражили Витте. Едва сдерживая себя, он предложил высказать свое мнение после всех, прибавивши, что "не сомневается, что многое будет ему высказано другими участниками совещания; один министр финансов чего стоит"! Во время моих объяснений, продолжавшихся всего несколько минут, так как я коснулся лишь тех аргументов, которых не привели другие, Витте не мог сидеть спокойно на месте, вставал, ходил по комнате, закуривал, бросал папироску, опять садился и, наконец, на предложение гр[афа] Сольского высказать его заключение, почти истерическим голосом стал возражать всем говорившим и отдал особенную честь мне, сказавши, что немало глупостей слышал он на своем веку, но таких, до которых договорился министр финансов он еще не слышал и сожалеет,

что не ведутся стенографические отчеты наших прений, чтобы увековечить такое историческое заседание.

Всегда сдержанный и обычно державший сторону Витте, гр[аф] Сольский на этот раз не выдержал и, обращаясь ко мне с просьбой оставить оскорбительную выходку гр[афа] Витте без личного моего возражения, сказал: "Я полагаю, что многие участники нашего совещания вполне разделяют Ваш взгляд, который выражен не только сдержанно по форме, но и совершенно правильно по существу, так как он сохраняет должную самостоятельность за министрами, как докладчиками у Государя, и в то же время обеспечивает за правительством должное единство, обязывая всех министров проводить через Совет министров все проекты их всеподданнейших докладов, имеющих общее значение и затрагивающих сферу деятельности других ведомств". Витте замолчал и проговорил только в заключение: "Пишите, что хотите, я же знаю, как я поступлю в том случае, если на меня выпадет удовольствие быть председателем будущего Совета министров. У меня будут Министры — мои люди, и их отдельных всеподданнейших докладов я не побоюсь".

Все переглянулись, я не ответил Витте ни одним словом, задержался несколько минут у гр[афа] Сольского после разъезда и сказал ему, что для меня совершенно очевидно, что как только Витте будет назначен председателем Совета министров, — в чем не может быть ни малейшего сомнения, — я немедленно подам в отставку. Сольский опять просил меня этого не делать, ссылаясь на то, что Витте быстро меняет свои отношения и столь же скоро переходит от вражды к дружбе, как и обратнo.

Ожидания гр[афа] Сольского, однако, совершенно не сбылись. Наши встречи продолжались и после этого острого столкновения в той же напряженной атмосфере, и каждая из них приносила только новое обострение. Я кончил тем, что перестал возражать Витте открыто и заменял мои словесные выступления предложениями письменного изложения новой редакции тех статей, которые вызвали мои возражения. В одних случаях я был поддержан другими участниками совещания, в других мне приходилось уступать, но споры между мной и Витте прекратились, и наши отношения приняли даже наружно такую форму, что для всех стало ясно, что между нами произошел полный разрыв. Я решил совершенно определенно уйти с моего поста, как только выяснится вопрос о составе нового Совета министров, и заготовил даже заблаговременно мое письмо к Государю, решивши представить его тотчас же по назначении Витте председателем Совета министров. Мое решение окончательно укрепилось вечером 18 октября, когда мои отношения к гр[афу] Витте стали совершенно невозможными.

В этот день утром был опубликован знаменитый Манифест 17 октября<sup>39</sup>, в составлении которого я не только не принимал никакого участия,

но даже и не подозревал о его изготовлении, настолько все это дело велось в тайне от меня и от всех, кто не был привлечен к нему из числа личных друзей гр[афа] Витте. Сольский, конечно, знал о всех перипетиях, предшествовавших изданию Манифеста, но очевидно имел в виду не выводить дела за пределы того, что было угодно Витте, а, в частности, по отношению ко мне он был связан явно враждебными ко мне отношениями автора всего этого предположения. Насколько я не был в курсе этого дела лучшим доказательством может служить маленький эпизод, относящийся к позднему, почти ночному часу того же 17 октября.

У меня долго засиделись в этот вечер только что приехавшие из Парижа банкиры. Утомленный нервной беседой с ними и тревожными впечатлениями целого ряда предыдущих дней, я ушел было к себе в спальную уже около часа ночи, как раздался сильнейший звонок по внутреннему телефону, не включенному в общую телефонную сеть и известному только на главной станции, да немногим близким людям. Меня вызвала какая-то "инициативная группа распорядительного Комитета студентов Политехнического института", — Институт состоял в ту пору в ведении министра финансов — и ни мало не смущаясь тем, что говорящие обращаются ко мне в такой неподходящий час, что и было мной сказано им тотчас же, — спросили меня, подписан ли Государем Манифест, который должен был быть подписан утром и вечером сдан для напечатания. Я ответил, что мне это неизвестно, и так как говорящие продолжали настаивать, принимая все более и более вызывающий тон и заявляя, что им все прекрасно известно от лица, весьма близкого к гр[афу] Витте, то я предложил студентам обратиться к этому близкому графу Витте человеку и оставить меня в покое. Из последующих моих неоднократных разговоров с профессорами Института я убедился, что никто не верил тогда, что я не был в курсе дела, осведомлял же студентов их директор, князь Гагарин, который был женат на родной сестре князя Алексея Дмитриевича Оболенского, одного из авторов Манифеста.

В день опубликования Манифеста я получил приглашение от петербургского генерал-губернатора Д.Ф. Трепова приехать к нему вечером на экстренное совещание. Предмет совещания в извещении обозначен не был, но в ту тревожную пору всякие совещания не были редкостью, а приглашение к генералу Трепову объяснялось между прочим и тем, что при беспорядках на улицах было проще попадать на Большую Морскую, где жил Трепов, нежели к председателю Комитета министров Витте, проживавшему в собственном доме на Каменноостровском проспекте. Я не могу припомнить сейчас всех участников собрания. Большинство их принадлежало к составу чинов Министерства внутренних дел, но помню хорошо, что от Министерства юстиции был покойный И.Г. Щегловитов, участвовал также и министр земледелия А.С. Ермолов. Председательствовал гр[аф] Витте. Он нехотя подал мне руку, сказавши, что

удивлен, почему именно оказалось Министерство финансов заинтересованным в обсуждении вопроса об амнистии, на что я ответил ему, что получил приглашение от генерала Трепова, но буду очень рад, если окажется возможным освободить меня от дела, действительно не имеющего прямого отношения к моему ведомству. Трепов и почти все присутствующие решительно восстали против моего ухода, а Трепов сказал даже, что он получил прямое указание Государя относительно состава совещания, в частности особое указание лично в отношении меня. Мне пришлось остаться.

Проект статей манифеста о льготах преступникам был наскоро составлен в Министерстве юстиции. Гр[аф] Витте сразу же заявил, что находит его слишком "трафаретным" и не отвечающим важности переживаемого момента, что нужно дать самые широкие льготы в особенности осужденным за политические преступления и возвратить из ссылки всех, открыть двери шлиссельбургской тюрьмы и показать всем, кто подвергся преследованию, что нет более старой России, а существует новая Россия, которая, — помню его слова, — "приобщает к новой жизни и зовет всех строить новую, светлую жизнь". Кое-кто из участников совещания пытался было возразить не столько против идеи амнистии, — так как по заявлению графа Витте она предрешена Государем и о ней спорить не приходится, — сколько против широкого ее объема и невозможности распространения ее без всякого ограничения на всех осужденных в свое время без отношения к тому, какую часть наказания отбыли они, и в особенности против идеи гр[афа] Витте отворить двери Шлиссельбургской тюрьмы, выпустить на полную свободу всех в ней заключенных и предоставить им поселиться в столице без всяких ограничений. Мы все, противники такой небывалой, неограниченной амнистии, старались настаивать на необходимости быть осторожным с проектируемыми широкими милостями, в особенности в виду и без того разгоревшегося революционного движения. Но чем больше стремились мы к этому, тем нетерпеливее и несдержаннее делался гр[аф] Витте, а когда я присоединил и мои доводы к тем, которые говорили в этом смысле до меня, — его гневу и резкостям реплик не было положительно никакой меры. Придавая своему голосу совершенно искусственную сдержанность, он положительно выходил из себя, тяжело дышал, как-то мучительно хрипел, стучал кулаком по столу, подыскивал наиболее язвительные выражения, чтобы уколоть меня, и, наконец, бросил мне прямо в лицо такую фразу, которая ясно сохранилась в моей памяти: "С такими идеями, которые проповедует господин министр финансов, можно управлять разве зулусами, и я предложу Его Величеству остановить его выбор на нем для замещения должности председателя Совета министров, а если этот крест выпадет на мою долю, то попрошу Государя избавить меня от сотрудничества подобных деятелей". Все переглянулись, я не ответил при всех ни одним



словом, проект амнистии прошел почти в том виде, как настаивал гр[аф] Витте, удалось только не допустить права проживания в столицах и столичных губерниях отбывших каторгу, и мы разошлись.

Перед уходом от Трепова я подошел к гр[афу] Витте и, ссылаясь на слова, только что им сказанные, обратился к нему со следующими словами, которые я записал, придя домой, и которые сохранились у меня: "Позвольте мне довести до Вашего сведения, что все происшедшее между нами с самой минуты Вашего возвращения из Америки давно убедило меня в том, что при объединении правительственной деятельности в Вашем лице, как будущего председателя Совета министров, мне не должно быть места в составе нового кабинета. Сегодняшнее же Ваше выступление против меня, сделанное в такой оскорбительной форме, дает мне право тотчас по Вашем назначении на пост председателя Совета Министров, просить Государя Императора избавить Вас от труда, ходатайствовать перед Его Величеством об освобождении Вас от такого сотрудника, и я сам подам прошение об увольнении меня от должности министра финансов".

Ответ Витте поразил меня своим цинизмом: "Я в этом несколько не сомневался. Какое удовольствие быть министром, когда Вас на каждом шагу окружают опасности; гораздо проще сидеть в покойном кресле Государственного Совета, произносить никому не нужные речи, да интриговать против министров".

На этом мы расстались, не подавши друг другу руки и больше не разговаривали до самого моего ухода из министерства ровно через неделю после этого дня.

В такой атмосфере напряженного состояния мне пришлось вести переговоры с приехавшими французскими банкирами. Они шли в самой тягостной обстановке. День ото дня внешний вид города становился все более и более грозным. Приехавшие, хорошо знавшие Петербург в его обычной обстановке, просто недоумевали о том, что происходит на их глазах. Они доехали до города по железной дороге, но на пути их поезд был несколько раз задержан не только на станциях, но даже просто в поле, и они не знали чему следовало приписать такие остановки. Вместо обычного утреннего часа они прибыли под вечер и не успели разместиться в своих комнатах в Европейской гостинице, как везде потухло электричество, и они провели первую ночь в совершенно необычной обстановке. В их среде возникло даже предположение о выезде обратно, на следующее утро, но, соединившись со мной по телефону, — телефон в ту пору не бастовал, — они считали себя связанными назначенным мной приемом и собрались у меня, как было условлено, днем. Глава миссии Нетцлин пришел ко мне за полчаса и рассказал, что он успел побывать в посольстве, повидал кое-кого из французских журналистов и из всех бесед вывел то заключение, что революционное движение перешло уже

свою высшую точку нарастания и должно скоро пойти на убыль, в особенности под влиянием ожидаемого манифеста о "даровании политических свобод", который, по общему мнению, будет иметь самое благотворное влияние. Его личное заключение сводилось поэтому к тому, что следует вести переговоры как можно быстрее, не останавливаться на мелочах и поспешить вернуться в Париж, с тем чтобы там осуществить заем, как только общее ожидание успокоения оправдается на самом деле. Он рассказал мне при этом, что среди его спутников было совершенно иное и что, в частности, представитель Национальной учетной конторы Ульман хотел уже было уезжать сегодня же обратно, настолько на него повлиял вид Петербурга, вечерняя темнота и все, что ему успели передать некоторые из его утренних собеседников, но что против такого спешного отъезда особенно энергично выступил Г. Бонзон, представитель Лионского кредита, заявивший, что неблагоприятная обстановка может оказаться даже весьма выгодной для французских держателей будущих русских бумаг, так как министр финансов будет вероятно более уступчив. Мне не приходилось разубеждать Нетцлина. Я не мог сообщать ему ни того, что было мне известно о разраставшемся московском восстании, о котором вести доходили еще смутно, ни о том, что происходит в Балтийском крае, ни о том, какие грозные вести идут из Сибири, ни, наконец, о том, что я решил покинуть пост министра финансов. Я поддержал его только в его собственном намерении вести переговоры быстро, не ставить меня в необходимость бороться против чрезмерных притязаний его коллег и придать нашим условиям обычный характер, допустивши несколько более длинный период между подписанием нами условий займа и окончательным обязательством осуществить заем на самом деле, так как французскому рынку необходимо, конечно, дать несколько больше, чем всегда, времени для размещения займа. Первая наша официальная встреча прошла совершенно гладко, никто из приехавших не поднял вопроса о невозможности приступить к выработке условий займа, никто не возражал против типа займа — пяти процентной ренты, не спорил и против размера займа — до шестисот миллионов франков, — выражая только сожаление о том, что обстановка не благоприятствует заключению более крупного займа, например в один миллиард двести миллионов, о чем говорил гр[аф] Витте в конце августа. Наиболее трудные решения — подробности о выпускной цене займа и в особенности о размере банковской комиссии, — мы отложили сначала на следующий день, а затем, в виду заявления приехавших, что им нужен еще лишний день для внутренней работы в их среде, — на вечер через сутки, и я сожалел только, что не могу пригласить приехавших к обеду, так как жена моя не свободна в этот вечер.

Наше следующее вечернее собрание носило совершенно иной характер. Нетцлин приехал снова раньше других и под величайшим секретом

сообщил мне, что виделся с гр[афом] Витте, который советовал ему, как можно скорее под каким бы то ни было предлогом порвать переговоры и уехать обратно, предупреждая его, что на днях железнодорожное движение должно остановиться совсем, и затем сказал ему, что я уйду из министерства и буду заменен другим лицом, которое будет во всем исполнять его указания, и что он будет фактическим руководителем финансового ведомства независимо от того, что ему предстоит занять на днях пост председателя Совета министров, на что он согласится только под тем условием, что он будет действительным руководителем всей не только внутренней, но и внешней политики России.

Оговорившись, что я не в курсе того, что известно, конечно, лучше всего гр[афу] Витте относительно внутреннего полсжения России и развития в ней революционного движения, — я сказал Нетцлину, что я действительно покидаю министерство по коренному расхождению с гр[афом] Витте, что мне ничего неизвестно относительно выбора моего преемника, но что я нимало не сомневаюсь в том, что моим преемником будет непременно лицо, лишённое всякой самостоятельности, так как все расхождение Витте со мной не имело никакого иного основания, кроме того, которое вытекало из моей, неприятной ему, самостоятельности, и полагаю поэтому, что это обстоятельство не должно ни мало изменять хода наших переговоров, так как они все равно дойдут до него через финансовый комитет. Я просил Нетцлина поэтому довести все дело до конца в том направлении, которое было намечено нашим первым свиданием. Он обещал сделать все возможное, но не скрыл от меня, что настроение его спутников значительно упало за день, и, кроме Бонзона, никто не смотрит серьезно на возможность довести дело до конца.

Так оно и вышло на самом деле. Мы просидели до полуночи в сущности совершенно напрасно: спорили о мелочах, говорили о разных тонкостях редакции контракта, но все сознавали, что мы тратим время попусту. Сама внешняя обстановка была в высшей степени тягостна: нас окружал давящий мрак, электричество не горело, у подъезда стоял, по желанию генерал-губернатора Трепова, усиленный наряд полиции, под эскортом которой наши французские гости вернулись в Европейскую гостиницу, и мы расстались с тем, что на утро участник этой экспедиции, специалист по контрактным тонкостям, служащий Парижско-Нидерландского банка г. Жюль-Жак приготовит основания договора. На самом деле, никакой новой встречи между нами не произошло.

Утром Нетцлин сказал мне по телефону, что чувствует себя совершенно разбитым от всех переживаемых впечатлений, просит отложить свидание до следующего дня, а когда наступил этот "следующий" день, то в двенадцатом часу я получил от него письмо из Европейской гостиницы с уведомлением, что им удалось нанять финляндский пароход, с которым они и выехали спешно из России.

Так кончилась печально эта эпопея переговоров о займе. Впоследствии гр[аф] Витте не раз говорил, кому была охота слушать, что я просто не сумел заставить банкиров принять наши условия, а мое неукротимое упрямство и еще бóльшая самонадеянность не надоумили меня обратиться к нему за поддержкой, которую он охотно оказал бы мне, и не было бы того скандала, что приехавшие банкиры уехали с пустыми руками<sup>40</sup>.

## ГЛАВА VII

*Рескрипт 20 октября 1905 года о назначении гр[афа] Витте председателем Совета министров. — Мое прошение об отставке. — Мой последний доклад у Государя и прием у Императрицы. — Витте воспротивился моему назначению председателем Департамента государственной экономики Государственного совета*



19 октября, рано утром, когда я собирался ехать в лицей на обедню по случаю традиционной годовщины ко мне пришел мой секретарь Л.Ф. Дорлиак и спросил меня, знаю ли я содержание рескрипта Государя на имя гр[афа] Витте по случаю предстоящего назначения его председателем Совета министров, добавивши при этом, что самый проект учреждения Совета вместо Комитета министров, уже напечатанный в Правительственном вестнике, будет опубликован завтра, 20 числа. На мой вопрос, каким образом попали в его руки эти документы, он ответил мне совершенно спокойно, что они изготовлялись в канцелярии Министерства финансов под руководством директора ее А.И. Путилова, что, конечно, известно мне. На самом деле я не имел об этом никакого понятия. Путилов никогда не говорил мне ни одного слова и получил, очевидно, поручение от гр[афа] с приказанием держать это поручение в тайне от меня, как держал он также в тайне и другую исполненную по приказанию гр[афа] Витте работу — об изъятии из ведомства Министерства финансов с передачей в новое Министерство торговли и промышленности — Департамента железнодорожных дел. Эта мера проведена была графом Витте в качестве первой его меры, осуществленной всеподданнейшим докладом, в явное нарушение закона, тогда как в основание всей своей деятельности гр[аф] Витте заявлял положить принцип законности. Любопытно при этом отметить, что четыре месяца спустя тот же гр[аф] Витте испросил также всеподданнейшим докладом возвращение того же Департамента назад в Министерство финансов, объяснивши совершенно откровенно, что мера эта была принята крайне необдуманно и принесла в самый короткий срок величайший вред, как будто она была принята не им самим и притом без всякой надобности. В четверг, 20 октября, как и ожидалось, последовало опубликование Положения о Совете министров,

а также рескрипт о назначении гр[афа] Витте председателем Совета. Выражение рескрипта относительно необходимости полной солидарности среди министров и уверенность Государя в том, что Витте сумеет достигнуть этой цели, окончательно укрепили меня в необходимости дать ход моему решению подать прошение об отставке. Накануне ночью я еще раз пересмотрел редакцию заготовленного мной письма, оставил его без всякой перемены и наутро выехал в Петергоф, так как доклады министров в эту пору происходили не в обычные дни, а каждый министр спрашивал особо и получал указания, да и сообщение с Петергофом по случаю железнодорожной забастовки поддерживалось с немалым трудом.

На пароходной пристани я застал бар[она] Бутберга, ехавшего, как и я, с докладом. Как и все, он отлично знал, конечно о дурных отношениях моих с гр[афом] Витте и начал разговор с того, что спросил меня, читал ли я рескрипт Государя на его имя и как понимаю я солидарность министров, то есть должны ли министры ждать решения Государя или же сами должны облегчить положение Государя и просить об их увольнении, коль скоро они чувствуют недостаток солидарности с председателем Совета министров. Я не хотел говорить ему, что везу мое прошение об отставке и в этом факте содержится уже мой ответ на его вопрос, и ограничился тем, что сказал, что сейчас более чем когда-нибудь обязанность каждого сводится к тому, чтобы облегчить положение Государя предоставлением себя в его полное распоряжение и устранить самую мысль о том, что неназначение кого-либо из нас в состав нового кабинета есть выражение немилости Государя. Я прибавил, что практически вопрос решится вероятно тем, что Государь просто предоставит Витте выбор кандидатов в министры, так как в противном случае при характере Витте никакого объединения власти не последует и выйдет только прежняя грызня, из которой есть всего один выход – подбор министров по вкусу гр[афа] Витте. "Вы проповедуете, следовательно, вместо самодержавия Царя, – такое же самодержавие, но только первого министра, или, другими словами, создание должности Великого Визиря", – были последние слова бар[она] Будберга уже при выходе с привезшего нас парохода.

Я доложил Государю сначала все очередные дела, а когда я кончил их, то передал ему последнюю бумагу из моей папки с просьбой лично прочитать ее. Взявши ее в руки и не читая еще, Государь сказал мне совершенно спокойным тоном: "Это, очевидно, Ваша просьба об увольнении от должности. Я ждал ее потому, что с разных сторон слышу уже давно, что Ваши отношения к гр[афу] Витте совершенно испортились. Я просто не понимаю, откуда это произошло, так как до своего отъезда в Америку у него не было достаточных слов, чтобы превозносить Вас до небес. Я знаю также, что не Вы причина такой перемены, но вполне понимаю, насколько теперь Вы не можете так же спокойно работать, как работали прежде. Вы знаете, как трудно мне расставаться с Вами,

насколько я привык к Вам и как Вас полюбил, но я в сущности не расстаюсь с Вами, так как у меня есть возможность дать Вам очень высокое назначение и всегда пользоваться Вашими знаниями и Вашей преданностью мне. Я решил назначить Вас на вакантную должность председателя Департамента экономии, которую занимал граф Сольский. Я знаю, что этим доставлю и ему большую радость. Поéзжайте к нему и попросите завтра же прислать мне указ о Вашем назначении". Государь встал из-за стола, обнял меня, поцеловал и, когда я стал благодарить Его за такую исключительную милость, Он обнял меня еще раз и сказал: "Не вам благодарить меня, а мне Вас. Я никогда не забуду Ваших трудов за время войны и хорошо помню, что Вы оказали России величайшую услугу, сохранивши наше финансовое положение, несмотря на все военные неудачи. Я уверен, что все понимают это так же, как и я, а за границей Вас понимают лучше, чем дома, но настанет время, что и у нас поймут так же".

Государь просил меня пройти к Императрице, так как и она отлично понимает причину моего ухода и очень рада предоставленному мне высокому назначению.

Я застал Императрицу в ее боковой гостиной, узкой длинной комнате, окнами к Петербургу. Пронизывающий осенний холод едва умерялся горевшим камином. Извинившись передо мной, что она принимает меня лежа на кушетке, так как ей не здоровится, Императрица сказала мне в ответ на мое объяснение о причинах моего ухода, что нисколько не удивляется этому, потому что хорошо понимает, что "при изменившихся взглядах (*"quand les idées sont devenues toutes autres"*) нельзя требовать, чтобы люди подчинялись таким переменам и отказывались от своих взглядов". Не совсем понимая значения этой фразы, я пытался было объяснить Императрице, что я далек от мысли проявлять какую-либо нетерпимость к чужому мнению, но если я решился просить Государя об увольнении, то только потому, что вполне уверен в том, что новый председатель Совета министров не захотел бы работать со мной и стал бы просить Государя заменить меня другим, более подходящим лицом, и моя просьба об увольнении только облегчила Государя в его решении. Императрица ответила на это только односложно: "Да, быть может Вы правы, это очень сложный вопрос".

Для меня так и осталось загадкой, как отнеслась Императрица к моему уходу, сожалела ли она о нем или просто была рада, что одной трудностью для Государя было меньше. А может быть ей было просто безразлично все, что происходило кругом, настолько такие вопросы, как мой уход, бледнели перед тяжелыми условиями внутренней жизни России той поры.

Прямо от Государя я проехал к государственному секретарю барону Иксулю, с которым меня связывали дружеские отношения. Он очень обрадовался переданному мной приказанию Государя, сказал мне, что

через час уже будет у графа Сольского и просил меня только немедленно поехать к нему и предупредить его об этом. Он прибавил при этом "как бы не пронюхал об этом гр[аф] Витте до подписания указа". На замечание мое, что имеет он в этом случае в виду, бар[он] Иксуль ответил мне загадочно: "Я знаю случаи, когда и подписанные указы отменялись, если находились влиятельные оппоненты".

Гр[аф] Сольский встретил меня неподдельной радостью. Ему казалось только, что на нем лежит обязанность примирить с моим новым назначением значительно более опасного противника моего назначения, нежели те, которых я ожидал встретить в лице более старых, нежели я, членов Департамента экономии, а именно все того же гр[афа] Витте, но мне казалось, что у него была полная уверенность в том, что ему удастся урезонить последнего не противиться желанию Государя. Он сказал мне, что переговорит с гр[афом] Витте сегодня же и будет меня держать в курсе всего дела.

Вечером того же дня я был снова на совещании у генерала Трепова по вопросу об амнистии, никакого участия в прениях не принимал и только после совещания сказал гр[афу] Витте, что утром подал Государю прошение об отставке и получил Его согласие. Витте не сказал мне ни одного слова, и мы молча расстались.

На следующий день, в пятницу, 21 числа утром, барон Иксуль сказал мне по телефону, что после переговоров гр[афа] Сольского накануне с гр[афом] Витте последний решил послать Государю письмо с просьбой отменить мое назначение из уважения к заслуженным членам Государственного Совета, имеющим гораздо большие права, нежели я, на занятие должности председателя Департамента экономии, и обещал сообщить ему, Иксулю, ответ Государя тотчас после его получения.

Поздно вечером того же числа бар[он] Иксуль сказал мне по телефону, что Витте получил свое письмо обратно от Государя с пометкой, что Государь не видит никакого повода изменять свое решение, что Витте в полном бешенстве и что ему, Иксулю, приказано завтра же утром испросить разрешение Государя быть принятым по срочному и важному делу.

В субботу, 22 октября, Иксуль получил от Государя по телеграфу уведомление, что он будет принят в понедельник утром, и по возвращении своем тотчас же известит меня о результатах его доклада. И действительно, во втором часу дня он приехал ко мне прямо с пароходной пристани и сказал, что ему было приказано изложить все доводы против моего назначения, что он сделал это, повторяя больше чужие слова, что Государь слушал его без всякого раздражения, но сказал ему, вставая и подавая руку на прощанье: "Передайте графу Сольскому, что я серьезно обдумал мое решение раньше, нежели решил назначить Коковцова

на вполне заслуженный им пост, и не понимаю, почему это назначение так не нравится гр[афу] Витте”.

В тот же день Витте решил написать Государю особый всеподданнейший доклад, сделал это собственноручно, показав гр[афу] Сольскому, который не внес в него никаких исправлений, несмотря на его неприличный тон, и рано утром отправил его с особым курьером в Петергоф. В первом часу дня, во вторник 25 числа, доклад вернулся обратно к гр[афу] Сольскому, а с ним подписанный указ о назначении меня просто членом Государственного Совета, сопровождаемый очень лестным для меня рескриптом. На другой день я получил от бар. Иксуля и копию этого любопытного доклада гр[афа] Витте. Вот его точный текст:

”Председатель Государственного Совета, статс-секретарь гр[аф] Сольский уведомил меня о состоявшемся решении Вашего Императорского Величества назначить председателем Департамента экономии бывшего министра финансов, статс-секретаря Коковцова. Считаю своим долгом поэтому довести до сведения Вашего Императорского Величества, что по положению ст[атс-] секр[етаря] Коковцова и по его личному характеру такое назначение представляется безусловно нежелательным. Если Вашему Величеству угодно будет оставить это назначение в силе, то ни я, ни мои товарищи по Совету министров, по всем вероятностям, не будут иметь возможности посещать заседания Департамента экономии и вынуждены будут замещать себя своими товарищами или другими членами министерства. Между тем, по тому важному значению, которое принадлежит Департаменту государственной экономии до собрания Государственной Думы, едва ли можно допустить подобное отчуждение министров от этого важного установления. В виду сего и в предупреждение явного ущерба для дел государственного управления от такого обстоятельства, я считаю своим долгом довести об изложенном до сведения Вашего Императорского Величества”.

28 октября, в пятницу, в день моего обычного доклада, Государь принял меня снова в том же небольшом дворце в Александрии, чтобы проститься со мной. Не успел я войти в его кабинет, как Государь, держа в руке указ о моем назначении председателем Департамента экономии с надорванной его подписью, сказал мне: ”Вы вероятно не знаете, чего стоило мне уничтожить мою подпись на указе, составленном по моему личному желанию, без того, чтобы меня кто-либо об этом просил. Мой покойный отец не раз говорил мне, что менять моей подписи никогда не следует, разве что я имел возможность сам убедиться в том, что я ошибся или поступил сгоряча и необдуманно. В отношении Вашего назначения я был уверен в том, что я поступаю не только вполне справедливо, но и с пользою для государства, и между тем меня заставили отказаться и уничтожить подпись. Я этого никогда не забуду, тем более что я вижу



теперь явное недоброжелательство к Вам и даже личный каприз. Вы не должны меня судить строго, и я уверен, что Вам понятно мое душевное состояние". Я поспешил заверить Государя, что вполне понимаю в какое трудное положение он поставлен настояниями графа Витте и даже глубоко благодарен ему за принятое решение, так как он выводит и лично меня из крайне тягостного положения — рассматривать дела в Департаменте экономии при отсутствии министров, а тем более при предвзятом, враждебном отношении ко мне председателя Совета министров. "Мой авторитет в Государственном Совете был бы разом подорван, мне не осталось бы ничего иного, как при первом столкновении самому просить Вас, Государь, сложить с меня исполнение обязанностей, не отвечающих пользе дела". Государь горячо поблагодарил меня, крепко обнял меня и просил всегда помнить, что ему доставит истинную радость, если только у меня будет какая-либо нужда, помочь мне или моим близким. Его последние слова на этот раз были: "Помните, Владимир Николаевич, что двери этого кабинета всегда открыты для Вас по первому Вашему желанию".

На этом кончилась первая пора моего служения на должности министра финансов.

Я воспроизвожу все частности пережитых мною обстоятельств не только потому, что они в точности восстанавливают пережитое мной в эту пору, но и еще потому, что в воспоминаниях гр[афа] Витте, сделавшихся общеизвестными, об них нет ни одного слова. В них говорится только, что моя отставка вовсе не была необходима и даже ничем не оправдывалась. Как будто ничего и не произошло между нами, и не гр[аф] Витте вынудил мой уход и не принял на себя той исключительной роли, которая описана мной.

Не упоминается там ни одним словом ни о личных столкновениях со мной, ни о возмутительном эпизоде с назначением меня на должность председателя Департамента государственной экономии Государственного Совета. Нет ни одного слова и о собственноручном письме его Государю с протестом против моего назначения. Как будто все это не существовало на самом деле. Такова точность и правдивость этих воспоминаний.

Все, что мне пришлось вынести в столкновениях с гр[афом] Витте, и вынужденное оставление мной министерства, с которым я так сжился за полтора года ответственной работы, тяжело отразилось на мне; нервы расстроились, я почти потерял сон, и настроение мое было в ту пору самое подавленное. Будущее рисовалось мне в невеселых красках, тем более что, хорошо зная работу в Государственном Совете, я давал себе ясный отчет в том, что она не даст мне нравственного удовлетворения и ничем не уменьшит тоски бездействия. Особенно болезненно отражались на мне все многочисленные заявления моих недавних сотрудников о том, как тяжело переживают и они расставание со мной и насколько теряют они со мной ту ясность и определенность отношений, с которой они сжились за время совместной нашей кипучей работы.

*Часть вторая*

**ОТ МОЕЙ ОТСТАВКИ  
ДО НОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
МЕНЯ МИНИСТРОМ ФИНАНСОВ**

**1905—1906 [годы]**

## ГЛАВА I

*Ухудшение финансового положения страны. — Обсуждение Финансовым комитетом представления И.П. Шипова о приостановлении золотого размена. — Мое отрицательное отношение к этому проекту и присоединение Финансового комитета к моему предложению не торопиться с приостановкой размена и подкрепить золотой фонд небольшим внешним займом. — Данное мне Высочайшее поручение поехать во Францию и сделанное мне Государем заявление по вопросу об Альжезираской конференции. — Мои переговоры с банкирами в Париже. — Прием у Рувьё и оказанная им поддержка. — Прием у Лубэ. — Заключение краткосрочного займа*



Ноябрь 1905 года прошел сравнительно мало заметно. Я аккуратно посетил заседания Департамента государственной экономики, но они отличались необычной для смутного времени монотонностью. Граф Витте почти не посещал их. Шипов был почтителен, несловоохотлив и никому не возражал из представителей посторонних ведомств, которые в свою очередь как бы олицетворяли объединенность правительства, очевидно сговариваясь между собой вне заседаний Департамента, и последние проходили чрезвычайно бледно и необычайно быстро.

Иной характер имели весьма частые в то время собрания финансового комитета, в котором я сохранил звание члена. В этих заседаниях прежний спокойный и согласованный характер сменился чрезвычайно нервным под влиянием резко изменившегося к худшему финансового положения страны. Собирался комитет по два раза в неделю, и каждый раз доклады Шипова и Тимашева (по Государственному банку) носили все более и более мрачный характер. Доходы стали поступать чрезвычайно скудно под влиянием все разраставшегося революционного и забастовочного движения; сберегательные кассы стали выдерживать систематическую осаду на их средства, и каждый день стал давать небывалую до того картину — предъявления требований о выплате вкладов золотом<sup>41</sup>. Революционная пропаганда делала свое губительное для государственного кредита и денежного обращения дело. Еще так недавно казавшееся таким солидным и вынесшим с честью военные испытания наше финансовое положение становилось все более и более шатким. Государственный банк вынужден был постоянно увеличивать выпуск кредитных билетов, и эмиссионное право незаметно дошло до своего предела. Министр финансов, очевидно с ведома председателя Совета, внес представление о приостановлении размена и проект указа Сенату об этом, не сопроводив-

денный его почти никакими соображениями, кроме констатирования простого факта — поступил на его рассмотрение в последних числах ноября. Перед слушанием дела граф Сольский пригласил меня к себе однажды вечером и просил высказать откровенное мнение о том, что следует предпринять, чтобы предотвратить предложенную меру, которая казалась ему просто неприемлемой после того, что мы успели справиться с военной неудачей без приостановления размена и не ввели принудительного курса. Я ответил ему, что мое положение в Финансовом комитете чрезвычайно деликатное, потому что опыту прошлого я знаю, что, чтобы я не сказал, я вызову только резкости со стороны гр[афа] Витте и всякое мое предложение будет им отвергнуто, как не сомневаюсь я и в том, что И.П. Шипов не решится ни в чем ему противоречить, да и положение самого комитета таково, что он не может возражать председателю Совета, у которого одного в руках все нити нашего внутреннего положения, а ключ к надвигающейся финансовой катастрофе находится исключительно в том, чтобы знать, способно ли правительство справиться с революционным движением или нет. Если московское восстание будет подавлено, к чему есть, как мне кажется, надежда, то удастся справиться с движением и в других частях империи. В таком случае бессмысленно портить то, что удалось сохранить во время войны, и следует думать о том, как выиграть время, искать, например, подкрепления нашего золотого запаса и не страшиться временного усиления кредитного обращения. Если же правительство не видит скорого усмирения восстания, то не останется ничего иного, как ввести принудительный курс, охранить наш золотой запас и сказать прямо и откровенно в указе о прекращении размена, что все платежи за границей остаются без изменения и что внутри размен будет восстановлен тотчас по прекращении смуты и восстановлении железнодорожного сообщения.

Сольский просил меня оставить нашу беседу между нами. Третьего декабря я получил приглашение на новое заседание Финансового комитета.

Началось это заседание с доклада Шипова, изложенного в самых мрачных красках. По его словам, за одну последнюю неделю убыло золота из внутренних касс Государственного банка на 200 миллионов рублей. Более половины губернских касс не доставило никаких сведений даже на сентябрь, и все они требуют подкрепления билетной наличности и усиления воинской охраны казначейства, если только будет прекращен размен на золото, наличность которого у них также настолько мала, что ее хватит лишь на несколько дней. Министр финансов заключил свой доклад категорическим требованием прекратить размен и прибавил, что военный министр обещает усилить наряд войск, но только в одних губернских центрах, так как по уездам у него нет воинской силы.

Гр[аф] Витте был молчалив и подавлен и заявил только, что он не воз-

ражает против предложенной меры, хотя и сознает все ее печальные последствия.

Гр[аф] Сольский перевел разговор на желательность иметь сведения о внутреннем положении и развил мысль о связи денежного обращения с ним и подробно говорил о том, какой вред нанесет нашему кредиту введение принудительного курса. Не получая от Витте прямого ответа на его вопрос, он предложил отложить заседание на один день и вызвать министра внутренних дел П.Н. Дурново для выслушания его взгляда на этот вопрос. Точно очнувшись от сна, Витте сказал очень резко: "Я отвечаю за правительство и не вижу надобности вызывать кого бы то ни было, хотя скажу, конечно, что с Москвой мы почти справились, и Дурново уверяет меня, что справится и везде, если я ему дам волю, но одними пулями все равно управлять нельзя".

Это замечание дало гр[афу] Сольскому больше решительности отстаивать свою точку зрения, совпадавшую с тою, которую я ему изложил, — на нежелательность немедленно решать этот вопрос и попытаться спокойно обдумать, нет ли какой-либо возможности еще протянуть время и выяснить, как отразится подавление московского восстания на других частях империи, захваченных революцией. Его поддержали почти все члены Комитета. В особенности был настойчив в смысле заявления гр[афа] Сольского — Фриш, и его поддерживали Иващенко и Череванский. Я долгое время в прениях не участвовал и ждал случая высказать мои беглые мысли после других. Неожиданно для меня, гр[аф] Витте, сидевший как раз против меня, протянул мне через стол записку, на которой я, к удивлению моему, прочитал: "Вы видите, какой ужас кругом; я совершенно измучен и одинок, мои нервы истрепаны, и голова отказывается соображать. Вы же отдохнули, голова у Вас на плечах, и опыт большой, помогите же нам, возьмите дело в Ваши руки".

Я ему тут же ответил также карандашной запиской (они долго хранились мной), что совершенно не понимаю, в чем может заключаться моя помощь и каким образом могу я быть полезен, отойдя более месяца от дела и даже не зная, как составлен расчет министра финансов об истощении эмиссионного права. Не отвечая лично мне на мою записку, Витте стал более спокойно говорить, что "пожалуй можно и повременить с таким важным решением, пока несколько выяснится внутреннее положение, но это можно сделать только при одном условии, чтобы финансовый комитет встал ближе к делу и помог ему в такую минуту, так как лично у него решительно нет времени все делать самому, а министр финансов и управляющий Государственным банком сами просят, чтобы им помогли, так как он не имеет даже возможности принимать их достаточно часто". Тут же он предложил комитету возложить эту обязанность на меня, не покупившись на самые льстивые эпитеты о моей опытности, знаниях и авторитете в глазах всего ведомства. Его предложение было горячо под-

держано всеми членами комитета, кроме Шидловского, отнесшегося совершенно безучастно к нему. Я всячески отказывался, ссылаясь на то, что нельзя ставить постороннего человека руководить ведомством в такую критическую минуту, но на самом деле, просто желая избежать щекотливого положения, не сулившего никаких практических результатов, и только в виду особых настояний Сольского и Фриша согласился попытаться проверить расчеты министра и в особенности просмотреть отчетность Департамента казначейства и доложить мои выводы в ближайшие дни. Я просил при этом не возлагать этой работы на меня одного, а поручить ее исполнить вместе со мной П.Х. Шванебаху как человеку совершенно свободному от других занятий — для того, чтобы было меньше личного в моих выводах. На этом все разошлись, постановивши, что через 6 дней — 9-го декабря я представлю все, что успею сделать за эти немногие дни.

На утро ко мне на Сергиевскую пришли Шипов и Тимашев. Оба казались совершенно удовлетворенными принятым решением, — первый, как он сам сказал, от того, что с него снимается ответственность за скверную меру, а последний, оставшийся несколько минут после ухода Шипова, от того, что "есть с кем переговорить и посоветоваться, потому что Шипов ничего сам не решает, идет к председателю Совета, сидит у него часами и, не дождавшись приема, возвращается ни с чем".

Свидание мое с министром внутренних дел Дурново на другой день выяснило, что московское восстание в сущности уже ликвидировано, и министр убежден, что и в других местах он справится без особого труда, если, сказал он, "Вите не будет слушать всяких сплетен разных общественных деятелей и перестанет бороться с восстанием газетными статьями и бесконечными совещаниями с пустыми болтунами".

Работа моя с Департаментом государственного казначейства и Государственным банком выяснила, что за полтора месяца в сущности никакой отчетности в центральном управлении нет из-за почтовой и железнодорожной забастовки и выводы о денежном обращении, быть может и верные, сделаны относительно всей России на основании данных, полученных из маньшинства казенных палат. Отсюда само по себе напрашивалось заключение, что строить выводы для всех местностей по тем, которые захвачены паникой и восстанием, неосторожно и нужно ждать, когда прояснится горизонт, а пока снабжать кредитными билетами те местности, которые доступны для сообщения, и охранять казначейства в местах наиболее опасного настроения. Выяснилось также, что много денег требовалось на востоке для демобилизуемых войсковых частей, в то время как рядом у других воинских частей были большие излишки, которых они почему-то не хотели сдавать в казначейства. Все это, вместе взятое, конечно, было неполно, да и добиться полноты не было никакой возможности в ничтожный шестидневный срок, но общий вывод о том, что

спешить с принятием окончательного решения не следовало, был по-видимому верен, и к нему охотно примкнул и Государственный банк и Департамент казначейства. Лично Шипов продолжал, однако, считать приостановку размера и расширение эмиссионного права предпочтительным, но по свойству своей натуры избегал определенно высказывать свой взгляд, предоставляя председателю Совета или председателю Финансового комитета решать по их усмотрению и выражая полную готовность выполнить затем самым добросовестным образом их заключение.

9 декабря, в пятницу, снова собрался Финансовый комитет<sup>42</sup>. Я доложил результаты нашего предварительного исследования. Шванебах категорически присоединил к ним свою точку зрения, Шипов продолжал отстаивать свою с полной, правда, корректностью, а я развил в заключение ту мысль, которую уже сообщил ранее графу Сольскому о необходимости не торопиться с приостановкою размена и попытаться подкрепить наш золотой фонд как основу нашего денежного обращения хотя бы небольшим внешним займом, который дал бы нам возможность усилить выпуск кредитных билетов без нарушения нашего строгого эмиссионного закона и выиграть время, которое покажет, вероятно, в недалеком будущем, справимся ли мы с революционным движением или нет. Я аргументировал между прочим тем, что необходимость внешнего займа вызывается и ликвидацией войны, которая оставит после себя несомненно непогашенные счета, и таким образом небольшой заем данной минуты служил бы для двоякой цели: не допустить введения принудительного курса, то есть разрушить введенное у нас с таким трудом денежное обращение и получить некоторый аванс в счет неизбежного ликвидационного займа.

Мое предложение было горячо поддержано всеми членами Финансового комитета без всякого исключения. Даже Н.В. Шидловский присоединился к нему без обычных его оговорок. Гр[аф] Витте назвал мою мысль блестящей и тут же сказал, что никто, кроме меня, не может исполнить этой задачи, чрезвычайно трудной в эту минуту, потому что Европа крайне встревожена нашей смутой и без особых с нашей стороны усилий, вероятно, не пойдет нам навстречу. Я доказывал всеми доступными мне аргументами, что это дело не мое, бывшего министра, а исключительно нынешнего, который один может иметь авторитет в глазах рынка, тем более что мой авторитет уже подорван неудачей попытки начала Октября, после чего положение стало еще менее выгодно для меня оставлением мной поста министра в первом кабинете новой формации. Меня разубеждали, и мы разошлись, не придя ни к какому решению.

Прошло несколько дней, вероятно, не больше двух-трех. Впервые после нашей размолвки Витте позвонил ко мне рано утром по телефону и спросил меня, настолько ли я формализируюсь, что он должен приехать ко мне или же он может просить меня приехать к нему по очень важному делу, так как его выезды сопряжены с большим риском.

Я согласился приехать к нему и в тот же день впервые был у него в запасном помещении Зимнего Дворца. Он стал всячески уговаривать меня поехать за границу, помочь Шипову, который прямо заявил ему, что ни в каком случае не возьмет на себя этого поручения и предпочтет подать в отставку, нежели взяться за то, чего не в состоянии выполнить. Я снова повторил ему мой отказ, объяснивши, что, принимая его, я тем самым дал бы право говорить, что я подстроил всю комбинацию, чтобы прокатиться за границу на казенный счет, а затем в случае неуспеха на меня же посыплются обвинения либо в неумелости, либо даже — в худшем — в желании повредить делу из-за личного самолюбия, затронутого увольнением меня от должности. На все мои аргументы Витте ответил мне одним: "А если Государь этого пожелает, — Вы тоже откажетесь?". Я ответил: "Нет, Государю я не могу ни в чем отказать, только я Ему скажу открыто, насколько неправильно возлагать такое щекотливое дело на человека, пережившего все, что я пережил на последние три месяца".

На следующий день вечером, 13 или 14 декабря, Витте опять просил меня приехать к нему, сказавши, что он только что вернулся от Государя и имеет передать мне желание Его Величества.

Я застал его в самом подавленном состоянии духа. Он шагал по длинному кабинету, выходявшему окном на Неву, и когда я вошел, то протянул руку со словами: "Можно ли говорить с Вами по-старому, как с человеком, которого я всегда любил и уважал, или между нами не может быть более никакой откровенной беседы". Я сказал ему: "К чему такая беседа, наши пути разошлись, Вы нанесли мне целый ряд незаслуженных оскорблений, я отошел в сторону, никому я зла не делал и ни на кого злобы больше не питаю, а прошлых отношений все равно не вернуть". "Пусть будет так, — ответил мне Витте, — но если бы Вы знали, в каком безвыходном положении я нахожусь, я думаю порой наложить на себя руки, и в такие минуты я перебираю мое прошлое и знаю, что я виноват перед Вами, я был глубоко несправедлив по отношению к Вам и еще сегодня сказал Государю, как мне это больно и обидно. Может быть настанет и даже скоро время, что мне удастся уйти из моей каторги, и тогда я скажу публично, как неправ я был против Вас, теперь же я прошу Вас, не отказывайте Государю в его желании из-за меня и не думайте, что я припишу неудачу Вашему мстительству (его подлинное слово), а если Вам нужно, чтобы я сказал это Вам в присутствии Государя и что я каюсь в моей неправоте перед Вами, то я буду счастлив сделать это". Я попросил его не вводить более Государя в этот несчастный вопрос, тем более что я уверен, что он и сам хорошо это знает, и обещал быть, как всегда, честным перед Государем. Мы расстались на этом, и я обещал прямо из Царского Села поехать к нему.

Государь принял меня на следующий день 15 декабря, предупредивши меня через своего камер-лакея, чтобы я приехал в докладной форме, то



есть не в мундире, а в вицмундире, как я ездил с моими обычными докладами.

В том же кабинете, в котором он принимал меня столько раз, принял он меня с его обычной простотой и приветливостью, и первым его словом было: "Вот опять я вижу Вас у себя и очень рад этому. Как видите, я был прав, когда говорил Вам, что мы скоро опять увидимся с Вами, и вот вышло так, что те, кто настаивал на Вашем увольнении, они же просят меня сделать так, чтобы Вы помогли им и мне в трудную минуту. Я знаю, что Вы не откажете мне, и уверен, что сделаете все, что только возможно, чтобы выручить нас из тяжелого положения". Я ответил, что никогда у меня и мысли нет, чтобы не исполнять его желания, но я боюсь, что мне не удастся ничего сделать, и просил только в случае неудачи не думать, что я не приложил всех усилий, чтоб достигнуть успеха, а тем более что я буду сводить с кем-либо мои счета к ущербу его, Государя. Я развил все те аргументы, которые высказал в Финансовом комитете, указал на трудности нашего положения, на мою личную слабость в глазах заграничных банковских деятелей как человека, не имеющего официального положения и в особенности на наше расшатанное внутреннее положение, которое учитывается за границей самым невыгодным для нас образом.

Государь задумался и затем, скорее, в виде вопроса, нежели в виде своего личного соображения, спросил меня: "А как Вы думаете, не может ли помочь делу, если я предоставлю Вам передать французскому правительству, что я придаю особое значение успеху возложенного на Вас поручения и готов и со своей стороны поддержать его в той форме, которая ему сейчас наиболее желательна. Положение Франции нелегкое и может быть наша помощь ей особенно теперь нужна".

Я не успел еще дать моего ответа, как Государь, продолжая свою мысль, добавил: "Вот теперь начинается на днях Альжезираская Конференция. Я думаю, что моя поддержка, особенно ясно заявленная французскому правительству, помимо обыкновенной передачи через министерство и нашего посла, могла бы быть особенно полезна".

Я обещал воспользоваться этой мыслью, если бы по ходу дела это оказалось полезно, и еще раз просил Государя верить мне, что я сделаю все мне доступное, но прошу не судить меня в случае моего неуспеха. Отпуская меня от себя, Государь сказал мне на прощанье: "Ваш преемник мне очень симпатичен, он должен быть хорошим человеком, но я никак не могу привыкнуть к его манере докладывать, он все старается мне объяснить самые мелкие подробности, а когда я не соглашаюсь с его предложением, то он сейчас же отказывается от него и переходит на мою мысль, хотя бы я высказал ее вскользь только для того, чтобы услышать его возражение".

Через два дня я выехал в сопровождении моего бывшего секретаря Л.Ф. Дорлика, и в Париж мы прибыли под вечер Нового года.

Встретили нас финансовый агент Рафалович и представитель русской финансовой группы Нетцлин<sup>44</sup> и отвезли нас в приготовленное для меня крошечное помещение внизу гостиницы Бристоль на Вандомской площади. Теперь ни этой гостиницы, ни этого симпатичного помещения более нет. На их месте устроился Американский банк.

Нетцлин встретил меня в самом мрачном настроении и заявил мне, что представители всех банков русской группы относятся самым отрицательным образом к полученному уже ими через Парижско-Нидерландский банк сообщению гр. Витте о цели моего приезда, не верят газетным сообщениям о ликвидации московского восстания и уверены в том, что оно снова разгорится, о чем громко заявляют заграничные русские революционные круги. По его словам, только французское правительство может склонить их отказаться от их решения и то при условии, что правительство даст банкам моральную гарантию за то, что они не потеряют своих денег.

На другой день меня посетил глава Лионского кредита 80-тилетний Мазера, прибывший ко мне в сопровождении так называемых двух зятьев основателя Лионского кредита Г. Жермена — Г.Г. Фабр-Люса и барона Бренкара. В ту пору все деловые посещения делались Лионским кредитом не иначе, как этим триумвиратом, настолько Мазера был уже дряхл, но не желал все-таки выпускать дела из своих рук, а "зятья" следили за тем, чтобы их глава не сделал какой-либо неосторожности от имени банка.

Беседа моя с Мазера носила крайне тягостный характер. Очевидно подготовленный предыдущими совещаниями и наставлениями его сотрудников, он предупредил меня в моем изложении и старался доказывать, что России не следует вовсе заключать внешнего займа и стараться удержать свое золотое обращение, что еще весьма недавно он слышал отзыв такого знаменитого ученого, как академик Леруа-Болье, который строго критиковал меня как бывшего министра финансов за мою политику удержать золотое обращение во время войны, и что теперь нужно только воспользоваться представившимся революционным движением, чтобы исправить ошибку и ввести принудительный курс кредитного рубля. Барон Бренкар молчал, а Фабр-Люс авторитетно развивал точку зрения своего патрона, доказывая, что никакой беды от того не произойдет и Россия вернется снова к золотому обращению, как только обстоятельства улучшатся.

Долго старался я убеждать их, доказывая избитые истины, что после того, что Россия избегла финансовой катастрофы — разрушения своей денежной системы за время войны, — нельзя идти на нее под влиянием местных внутренних волнений, к тому же почти ликвидированных. Я показал полученную мной от министра финансов депешу, что Москва окончательно успокоена, и все движение идет резко на убыль, — доказывал

моим слушателям, что они потеряют в первую голову, так как все фонды рухнут и все держатели внешних займов потеряют больше кого-либо, что после почти 10 лет блестящей устойчивости денежного обращения снова наступит та же денежная анархия, которая так долго царил в России до 1897 года. Но все мои доводы успеха не имели, и мои собеседники оставались совершенно к ним глухи. Мазера дошел даже до того, что с величайшей серьезностью доказывал мне, что на иностранные биржи отмена золотого обращения не произведет никакого впечатления, так как по внешним займам Россия, во всяком случае, будет платить золотом. На вопрос же мой, откуда возьмет она золото после расстройства своего денежного обращения и какая страна станет помещать свои сбережения в неустойчивую бумажную валюту, — я ответа не получил и видел совершенно ясно, что все мои рассуждения напрасны и я имею дело с заранее состоявшимся решением.

Присутствовавший при моих разговорах Рафалович подтвердил мое впечатление и советовал более не ждать какого-либо прока от переговоров с банкирами, а стараться опереться на правительство, которое просто убедит их пойти навстречу нашему желанию, в особенности если я буду настаивать не на крупном консолидированном займе, а на какой-либо форме краткосрочного и притом сравнительно небольшой суммы займа, достаточной для того, чтобы не прекращать размена на короткий срок, пока у нас улягутся внутренние осложнения и наступит возможность говорить в более спокойной обстановке о заключении крупного ликвидационного займа долгосрочного типа. Я высказал ту же мою личную мысль о том, что проще всего было бы, не изобретая чего-либо нового, предложить правительству и банкирам сделать то же самое, что было сделано год тому назад на берлинском рынке, то есть выпустить заем в форме краткосрочных обязательств, на один или, если это удастся, на два года, несколько повышенной доходности, например 5 1/2 процентной, со скромной банкирской провизией<sup>45</sup> и в сумме не свыше 200 миллионов рублей или 500 миллионов франков.

Рафалович нашел мою комбинацию совершенно правильной, но выразил лишь сомнение по части размера такого краткосрочного займа и советовал мне ограничиться меньшей цифрой, если только это возможно по нашим внутренним потребностям. Мы расстались на том, что он постарается устроить мне как можно скорее аудиенцию у Рувье, председателя Совета министров и министра иностранных дел, предупреждая меня, что он имеет огромное влияние на банкиров и то, что он найдет разумным, — будет беспрекословно принято ими. Нашего посла во Франции А.И. Нелидова в то время не было в Париже. Он был на Ривьере и спросил меня телеграммой, должен ли он немедленно приехать или может провести еще несколько дней, так как чувствует себя не совсем хорошо. Рафалович уверил меня, что свидание с Рувье будет им немедленно устроено. Я

просил нашего посла пока не тревожиться приездом, обещая ему держать его в курсе моих занятий. На другой день я получил от Рафаловича уведомление, что Рувье примет меня в пять часов вечера. В назначенное время впервые пришел я в великолепное помещение на набережной Орсе, в котором впоследствии мне приходилось так часто бывать. Меня не хотели пускать, говоря, что председатель Совета на охоте и сегодня вовсе не будет в министерстве; я просидел в ожидании его до 7 часов и собирался было уже уходить, как меня позвали в кабинет и передо мной предстала грузная фигура человека огромного роста с неприветливым лицом, в охотничьем костюме с медленной, как будто с просонья, речью. Он предложил мне объяснить, что привело меня в Париж, так как из сообщения послал он знает только о моем приезде, но чем он вызван, — ему совершенно неизвестно. Он вставил только, что как бывший министр финансов он с любопытством следил за моей деятельностью во время войны и может только сказать, что Франция не поступила бы так, как поступила Россия, и в день объявления войны ввела бы принудительный курс. Он указал при этом на железный шкаф в углу его кабинета, прибавивши, что в нем уже лежит готовый декрет о прекращении размена, подписанный Президентом Республики, и не достает только контр-ассигнования его председателем Совета министров и даты его издания.

Спокойно выслушав меня, он сказал мне: "Я уверен, что наши банки очень неохотно пойдут на Ваше домогательство, но я надеюсь убедить их в необходимости помочь Вам, так как в самом деле не стоило удерживать денежное обращение с таким трудом и даже искусством во время неудачной войны, чтобы разом разрушить его под влиянием внутренней смуты, которая к тому же, по-видимому, подавлена. Наш посол в С.-Петербурге телеграфирует каждый день, что Ваше правительство берет верх. Не будьте слишком требовательны, удовольствуйтесь небольшой суммой, в виде краткосрочного займа, а потом, когда все убедятся в том, что правительство сильнее революции, наши же банки и наша публика, которая сейчас в панике, охотно пойдет на консолидированную операцию, и Вы заключите ее выгоднее для Вас, нежели заключили бы теперь".

Я передал Рувье то, что говорил накануне Рафаловичу. Он сказал мне, что ничего против этого не имеет и готов быть моим посредником перед банками, советуя мне не вступать с ними в предварительные переговоры, пока он не даст мне знать, что ему удалось сломить их нерасположение.

Затем Рувье сказал мне буквально следующее:

"Я буду Вашим адвокатом, но и Вы помогите мне в том, что нас так заботит. На днях начинается конференция в Альжезирасе. Я уверен, что Россия будет с нами, но для нас важно, чтобы мы могли рассчитывать не только на благожелательное отношение ее, но имели уверенность в том, что ее представитель не станет сноситься со своим правительством в какой-либо острый момент переговоров, но займет сразу определенное

положение на нашей стороне, и всей конференции будет ясно, что мы поддержаны Россией и можем опереться на ее слово. Я говорю Вам это как председатель Совета и министр иностранных дел и убедительно прошу Вас передать по телеграфу мой разговор Вашему министру иностранных дел и просить его дать инструкцию Вашему представителю”.

В ответ на это я передал Рувье то, что было мне сказано Государем по его личному почину, сказал, что говорю ему это совершенно открыто и официально, что такое распоряжение Государя уже известно графу Ламсдорфу, несомненно сообщено им нашему представителю на конференции и не нуждается в новом моем сношении. Я прибавил, что если он желает, я готов подтвердить это письмом, принимая на себя всю ответственность за мое заявление, на что меня уполномочивает и мое звание статс-секретаря Государя независимо от сознаваемой мной личной моей моральной ответственности. Рувье удовольствовался моими словами и прибавил шутливо: ”Теперь мы с Вами заключили договор, Вы уже выполнили Ваше обязательство, дело за мной, и я уверен, что я его также честно выполню, как Вы свое. Я не обещаю Вам дать ответ непременно завтра, но послезавтра Вы, конечно, услышите обо мне. Когда же Вы вернетесь домой, доложите Его Величеству, что правительство Республики глубоко тронуту тем, как тонко оценил Император наше трудное положение и какую неоцененную услугу он нам оказывает, обеспечивая, конечно, сохранение мира, так как на конференции мы выступим компактной массой против наших противников, всегда рассчитывающих на наше несогласие”<sup>46</sup>.

Прием меня Президентом Республики Лубэ был особенно любезен. Я пробыл у него почти целый час и не могу не отметить, что у него, как и у Рувье, я нашел совершенно иное отношение, нежели в первый день у банкиров. Он отлично понимал всю необходимость для нас сохранить наше денежное обращение и сказал мне без всяких фраз, что ”если Рувье обещал мне свою помощь, то я могу быть совершенно уверен в успехе, а готовность нашего Государя помочь Франции в Альжезирасе обеспечивает заранее ей сохранение мира и обязывает ее всеми доступными ей средствами помогать своей союзнице в ее внутренних затруднениях и в переживаемом кризисе”.

Я тотчас же телеграфировал Гр[афу] Витте о свидании с Рувье и о приеме Президентом Республики.

Предсказания Рувье сбылись со всею точностью.

На следующий день я никого не видал из банковских деятелей. В нашем посольстве я передал советнику Неклюдову весь разговор как с Рувье; так и с Президентом, просил его тотчас же сообщить его в министерство и на вопрос его, не нужно ли вызывать из Ниццы А.И. Нелидова, сказал, что пока нет в этом надобности, так как это дело взял в свои руки Рувье и его помощь, конечно, гораздо существеннее, нежели наши с

послом усилия. Под вечер ко мне пришел Нетцлин и повторил только, что лично он и его банк готовы идти навстречу нашим желаниям, но сопротивление Лионского кредита, Национальной учетной конторы и даже банка готтингера, всегда уступчивого, таково, что сломить его может только прямое вмешательство правительства. Я не сказал ему, что имею уже на этот счет прямое обещание Рувье и жду результатов его вмешательства.

На следующий день, пятый день моего пребывания в Париже, произошла полная перемена декораций. Утром Рафалович сказал мне, что Нетцлин, Мазера, Ульман, Доризон и барон Готтингер получили приглашение явиться в Министерство иностранных дел, и его запросил первый из названных лиц, не известно ли ему, зачем именно их зовут, так как никто из них не сомневается, что вызов их находится в связи с моим приездом. Рафалович отозвался полным неведением, как сказал и то, что ему ничего не известно, было ли вчера у меня свидание с председателем Совета министров.

После завтрака, около трех часов, ко мне опять приехал Нетцлин, сказал без всяких оличностей, что их группу вызвал сегодня утром Рувье и прямо заявил, что он просит их исполнить то, что составляет предмет моего приезда, тем более что ему в точности известно, каким размером займа и каким его характером я удовольствуюсь, и они решительно ничем не рискуют сохранивши в портфеле банков ничтожную сумму в какие-нибудь 300 миллионов франков русских государственных обязательств в течение даже одного года подобно тому, как год назад Германия через посредство Дома Мендельсона согласилась учесть такие точно обязательства, — и притом на большую сумму. Эта сумма либо будет включена в будущий большой заем, либо выплачена русской казной из ее золотого запаса, если бы обстоятельства не позволили заключить консолидированного займа.

По его словам, Лионский кредит попробовал было возражать и доказывать, что для французских банков совсем ненужно золотого обращения в России, но его попытка вызвала такое решительное возражение со стороны Рувье и такую энергичную реплику, что устойчивое положение денежного обращения в России нужно для Франции и для ее правительства, что вся оппозиция смолкла, и представители нашей группы заявили, что они готовы войти со мной в переговоры, лишь бы я не требовал слишком большой суммы и не связывал их прямым обязательством заключить большой заем при полной неизвестности того, чем кончится революционное движение в России.

В тот же день, в пятом часу мы собрались в помещении Парижско-Нидерландского банка и в половине восьмого принципиальное соглашение между нами было достигнуто. Банки согласились выпустить или, вернее, сохранить в своем портфеле краткосрочные обязательства на один

год на сумму в 267 миллионов франков. Процент по ним выговорен тот же, как и по аналогичному займу предыдущего года в Германии, то есть 5 1/2%. Выручка по займу поступает тотчас же в распоряжение русского правительства, но оно обещает, не выдавая впрочем никакого письменного обязательства, оставить всю сумму во Франции для платежей по своим обязательствам. Не мало крови испортили мне всякие второстепенные требования банкиров и их постоянные колебания в деталях. О каждом моем шаге я телеграфировал либо гр[афу] Витте, либо Шипову и постоянно получал подтверждение их полной солидарности со мной. Один пакет моих депеш и ответов на них, притом далеко не полный, напечатанных в 6 и 7 томах Красного Архива, лучше моих личных воспоминаний говорит о характере моих переговоров и пережитых мной трудностях. Банки удовлетвоались вполне приличной по своей скромности и по условиям времени переговоров комиссией, и мы условились на другой же день подписать договор с тем, что он вступает в силу тотчас по моем заявлении, что русское правительство его одобряет. Так оно и было сделано.

Вечером я послал шифрованную телеграмму гр[афу] Витте, и уже в половине следующего дня получил от него чрезвычайно любезную депешу с поздравлением с неожиданно достигнутым успехом и с заявлением, что он немедленно доложит Государю и не сомневается в том, что Его Величество будет рад лично благодарить меня.

Разные второстепенные препирательства по изложению контракта потребовали еще двух дней времени, и только 9-го января нового стиля я выехал из Парижа.

## ГЛАВА II

*Приезд в Берлин и свидание с Императором Вильгельмом. — Возвращение в Петербург. — Кутлер и его проект принудительного отчуждения земли. — Беседа с гр[афом] Витте и прием Государем. — Улучшение финансового положения страны. — Первая беседа с гр[афом] Витте о ликвидационном займе. — Совещание по рассмотрению положения о Государственной Думе и по изменению учреждения Государственного Совета. — Выступления гр[афа] Витте по вопросам о публичности заседаний и о прохождении законопроектов через Думу и Государственный Совет*



Я прибыл в Берлин 10 января, где и остановился всего на два дня, чтобы переговорить с Мендельсоном об отсрочке погашения некоторой части краткосрочных обязательств 1905 года, приходившихся на январь—март 1906 года, и в особенности исполнить приказание Государя — представиться Императору Германскому и объяснить ему цель моей поездки в Париж и устранить ложные толкования о ней. Я забыл упомянуть, что

во время аудиенции перед моим отъездом Государь сказал мне, что обострения между Францией и Германией по вопросу о Танжере его настолько беспокоят, что он не желал бы их усугублять, давая пищу выдумывать, что на меня возложено какое-либо политическое поручение, и что он предпочитает прямо и откровенно изложить через меня, для чего именно я был в Париже и что мной там сделано. Я захватил даже с собой в дорогу малый мундир, а перед отъездом телеграфировал нашему послу в Берлине графу Остен-Сакену о времени моего приезда, о чем он был, впрочем, предупрежден и министром иностранных дел.

Принял меня Император в день моего приезда и не особенно милостиво. Мне пришлось ждать его порядочно времени, так как он долго не возвращался из своей прогулки по Тиргартену. Погода была отвратительная. В той комнате Большого дворца, в которой мне пришлось прождать добрых 3/4 часа, была прямая стужа. Никого из свиты при этом не было, и только один лейб-егерь дежурил у дверей. Когда Император вернулся во дворец, где он, несомненно, не проживал, — настолько он имел нежилой вид, — меня ввели в так называемую звездную залу (Штернен-Зал), неуклюжую комнату, всю заставленную посередине витринами с моделями военных судов и с голубым потолком, украшенным золотыми звездами. Откуда и название звездной залы. Не снимая легкой шинели, Император спросил меня, согласен ли я ходить по комнате и вести беседу на ходу, так как он прозяб, а топить помещения не стоит. Конечно, я согласился, и мы более получаса ходили вдоль этой комнаты.

Когда я объяснил Императору поручение Государя и в связи с ним то, что я делал в Париже и чего достиг, он довольно сухо и безучастно сказал: "Я не большой финансист и не совсем понимаю, почему России так нужно заботиться о своей денежной системе, когда у нее столько других забот". И затем разом перешел к совершенно другому вопросу, видимо, постоянно занимавшему его внимание: "Скажите, пожалуйста, господин статс-секретарь, неужели Вы не считаете просто диким, что среди общего развала, среди постоянных волнений, которые могут снести все, что есть еще консервативного в Европе, две монархические страны не могут соединиться между собой, чтобы составить одно плотное ядро и защищать свое существование. Разве это не прямое безумие, что вместо этого монархическая Россия через голову монархической же Германии ищет опоры в революционной Франции и вместе с нею идет всегда против своего естественного и исторического друга".

Мне пришлось, конечно, уклониться от удовлетворительного ответа на такой неисчерпаемый по исторической его важности, вопрос и только сказать Императору, что ему лучше, чем кому-либо, известно, какие события в истории взаимных отношений двух империй изменили за последнюю четверть века то, что было так определено и прочно на пространстве целых столетий и — перейти затем к передаче некоторых подроб-



ностей того, что происходило у нас до моего выезда из России. Императора Вильгельма особенно интересовал вопрос о том, известна ли мне программа политики гр. Витте по рабочему вопросу и какими мерами думает он справиться с нашим движением среди рабочих, которое отнюдь не имеет чисто русского характера, а представляет собой совершенно ясно выраженное мировое явление пробудившегося стремления социалистов объявить беспощадную войну капиталу и всему буржуазному строю. Мне пришлось ответить Императору, что я совершенно не посвящен в планы гр[афа] Витте и не могу дать ему какого-либо ответа на поставленный мне вопрос, но полагаю, что чисто революционное движение среди фабричных рабочих уляжется, если только русскому правительству удастся справиться с московским восстанием и быстро завершить демобилизацию возвращающихся из Сибири войск. "Я имею сведения, — сказал Император, — что с Москвой у Вас окончательно справились, думаю также, что и в Балтийских провинциях проявленная правительством, наконец, решительность принесет должные плоды, но чего я никак не могу понять — это то, каким образом такой выдающийся по уму и энергии человек, как Витте, которого я так недавно видел у себя и должен был выслушать от него очень много неприятных вещей, но не мог не согласиться во многом с тем, что его точка зрения была совершенно правильна, хотя и помешала мне в осуществлении одного предложения, которому я придавал исключительное значение (очевидно намек на свидание двух Императоров в Борках и расстроившийся план соглашения между двумя Империями, подготовленного германским Императором и даже подписанного обоими Императорами на рейде в Борках)<sup>47</sup>, — как мог он допустить, чтобы его же подчиненный Куглер сочинил чисто революционный проект о принудительном отчуждении земли, состоящей во владении помещиков<sup>48</sup>. Ведь это прямое безумие, и как же Германия справится у себя с такими же социалистическими поползновениями, если русский неограниченный монарх по своему побуждению готов отнять то, что принадлежит единственному надежному для трона классу землевладельцев, — их историческое достояние и отдать без оглядки крестьянам, как мне говорят, чуть ли не даром и, во всяком случае, за ничтожное вознаграждение. Ведь это же чистейший марксизм, и кто же первый становится на этот безнадёжный для Империи путь!"

Для меня этот вопрос был совершенно неожиданным. Я ничего не слышал о нем до самого моего отъезда, что и сказал, не обинюясь Императору, прибавивши, что я не сомневаюсь ни на одну минуту, что Государю это не было известно, что выдвинул такую мысль кто-либо из окружения гр[афа] Витте и, как бы велика не была неустойчивость у нового кабинета, не подлежит никакому сомнению, что в порядке Манifestа, то есть по воле одного Государя такую меру не удастся провести.

"Пожалуй, что Вы правы, так как посол мой донес вчера, что об этом

безумном проекте в последние дни меньше говорят и заметно, что решение принять такую меру встречает где-то сильную оппозицию". Это были последние слова Императора, сказанные мне, после которых аудиенция была кончена, и на другой день я выехал домой.

Несколько дней спустя после моего возвращения в разговоре с гр[афом] Витте я передал ему, что мне сказал германский Император, и получил от него такой ответ: "Император совершенно прав, что такой сумасшедший проект существовал, но только в голове одного милейшего нашего с Вами друга Кутлера, но, как только он мне его представил, я тотчас же уничтожил его и просил об этой безобразной мысли и не заикаться, так как нужно быть сумасшедшим, чтобы самому начать рубить сук, на котором сидишь". Девятого января старого стиля я впервые встретил в Государственном Совете Кутлера, которого еще не видал со времени назначения его министром земледелия, и прямо спросил его, как мог он решиться на составление проекта о принудительном отчуждении земли от помещиков и при том в такое время. Нисколько не уклоняясь от ответа на мой вопрос, он ответил мне просто: "Мне приказал С.Ю. Витте, и я должен был повиноваться, тем более что теперь у нас объединенное правительство, а вот когда это дело провалилось, то все отпихивают от себя ответственность и говорят, что выдумал его Кутлер. Не первый раз у нас ищут козла отпущения. Мне не осталось ничего другого, как просить гр[афа] Витте уволить меня от должности и тем показать, что я виновник всего затеянного. Вероятно такой исход и будет принят". На самом деле увольнение Кутлера не последовало еще некоторое время, хотя он все-таки ушел раньше, нежели весь кабинет гр[афа] Витте, и на короткое время Министерством земледелия ведал А.П. Никольский.

Я вернулся в Петербург под самый наш Новый год и мог видеть гр[афа] Витте только 2-го или 3-го числа. До встречи моей с ним меня посетили как управляющий Государственным банком Тимашев, так и министр финансов Шипов. Первый, искренний во внешних приемах и всегда проявлявший по отношению ко мне неизменную приветливость, поздравил меня даже в несколько бурной форме с успехом моей миссии и сказал мне, что все в министерстве были уверены, что мне не удастся достигнуть никакого результата, а теперь видят, что опасность прекращения размена совершенно устранена и можно думать о переходе на нормальный способ ведения дел, тем более что и вести из провинции гораздо более спокойны: требования денег значительно меньше, чем было в начале зимы, от управляющих отделениями банка получают более спокойные известия и там, где одно время требовали только золото, теперь относятся совершенно спокойно к заявлениям, что его нет в наличности и ожидается прибытие через некоторое время, а пока просто берут бумажки по-прежнему, и нигде не было вообще резких столкновений с публикой.

Шипов встретил меня, наоборот, в очень мрачном настроении. Краткосрочный заем в 267 миллионов франков, по его мнению, отнюдь не разрешает вопроса и не устраняет необходимости введения принудительного бумажного обращения, о чем он будет вновь настаивать перед Финансовым комитетом, несмотря на заключенную мной операцию, тем более что и несколько более благоприятные сведения от многих казенных палат о поступлении государственных доходов за последние дни не заслуживают большой веры, так как они могут быстро смениться такими же катастрофическими известиями, которые уже поступали ранее за октябрь и ноябрь месяцы. Приглашенный мной к себе в день моего приезда главный бухгалтер Департамента казначейства, очень опытный и вдумчивый Г.Д. Дементьев дал мне сведения гораздо более близкие к оценке положения Тимашевым, нежели Шиповым, и решительно встал на мою точку зрения о необходимости не решаться на приостановление размена, а выпустить разом 100 миллионов рублей под обеспечение французского займа, как поступившего уже на счета Государственного банка, и выждать, что покажет будущее. Он выразил даже догадку, что с ликвидацией московского восстания начнется прилив денег в кассы вследствие простого упорядочения отчетности Казначейства и окажется даже возможным скоро сократить бумажное денежное обращение, и дело войдет в норму, лишь бы не было новых революционных вспышек. Дементьев прибавил, что он все время уговаривает своего министра не торопиться с его указом о приостановке размена, но не имеет никакого успеха и очень рассчитывает на меня в этом смысле.

Гр[аф] Витте принял меня внешне вполне корректно. Благодарил за оказанную помощь, не скрыл, что мало надеялся на успех, что считает его при существующих условиях огромным, но сказал, что не думает выдержать нашего денежного обращения, так как вообще не видит никакого просвета и смотрит на вещи самым безнадежным образом, не чувствуя доверия к себе Государя и не видя его готовности идти дальше по пути реформ и введения у нас настоящей, а не "детской", как выразился он, конституции, с уступкой народному представительству большей части своих прав. Государь принял меня на другой день и оказал мне самый милостивый прием. Его выражения благодарности за успешно и быстро проведенную операцию в Париже дышали такой простотой и сердечностью и весь Его внешний вид был настолько спокоен и уверен в миновавшем остром кризисе, что я не удержался и прямо спросил Его, на чем основано его такое спокойное настроение и действительно ли он считает, что рубикон перейден и остается только ждать полного окончания разгоревшейся смуты.

Его ответ я хорошо помню и сейчас. "Да я совершенно спокоен за будущее и был бы еще более спокоен, если бы у меня была уверенность в том, что правительство не будет шататься из стороны в сторону, как делает

оно на каждом шагу. Вот Вас не было здесь всего две с небольшим недели, а сколько за это время сделано невероятных по своим последствиям шагов. Переделан избирательный закон в таком смысле, что меня пугают самыми тяжелыми последствиями в смысле будущего состава Государственной Думы. Без моего разрешения разработан был закон об отобрании земель от помещиков, и когда я узнал о нем, то мне сказали только, что без этой уступки крестьянам нельзя справиться со смутой. Ведь под этим предлогом и меня можно и даже следует лишить моей власти, потому что это нужно для успокоения страны, и где же предел, на котором можно остановиться? Я хочу честно исполнить мое обещание, данное Манифестом 17 октября, и дам народу право законодательной власти в указанных ему пределах, но если соберется Дума и потребует лишить меня моей исторической власти, что же я должен не защищаться и уступить все, что только от меня будут требовать? Вот, на днях начнутся под моим председательством работы по пересмотру Основных законов и по согласованию закона о Государственном Совете и о Думе с Манифестом 17 октября. Я приказал включить Вас в состав совещания и Вы увидите сами, что я готов дать все, что нужно на самом деле, но уступать на каждом шагу и не знать, где остановиться, — это выше моих сил, и я не вижу, чтобы мои новые министры имели перед собой ясную программу и готовы были твердо управлять страной, а не только все обещать и обещать”. На этом Государь отпустил меня, сказавши мне в самом шутовском тоне на мое замечание, что весь мой успех зависел только от того, что он разрешил мне обещать французскому правительству нашу поддержку в Альжезиране, “не уменьшайте Ваших заслуг, Вам не миновать опять поехать в Париж, когда настанет пора говорить о большом ликвидационном займе, и тогда я сам скажу гр[афу] Витте, кого я хочу послать и даже не стану спрашивать Вас, потому что знаю, как охотно исполните Вы всякое мое желание”.

Для доклада результатов моей поездки в Париж Финансовому комитету я составил подробную записку, коснувшись в ней и условий будущего ликвидационного займа. Я рад тому, что большевистское “Госиздательство” нашло ее в архиве Министерства финансов и напечатало ее целиком в VII томе Красного Архива.

Не воспроизводя ее, я могу, однако, сослаться на нее, так как она освещает многое из пережитого мной лучше, нежели я мог бы исполнить по памяти, и дает мне возможность более определенно говорить о займе 1906 года и бороться с пущенной в обращение гр[афом] Витте новой несправедливостью по отношению к моему участию в этом деле<sup>49</sup>.

Заседание Финансового комитета состоялось у гр[афа] Сольского вечером 4 января. Все в один голос горячо благодарили меня, молчал только И.П. Шипов, да мрачен и несловоохотлив был гр[аф] Витте. Шипов снова внес проект указа о приостановлении размена, настойчиво мотивируя его

необходимость недостаточностью размера займа и плохими сведениями из отделений Государственного банка и от казначейств. Решительно возражал Шипову Иващенко, настаивая на необходимости воспользоваться достигнутым мной успехом, чтобы выиграть время и посмотреть, насколько оправдаются мрачные предсказания министра финансов или, напротив того, выяснится, что перелом революционного движения отражится постепенным восстановлением нормального состояния государственной и банковской кассы.

Того же мнения придерживался и Череванский, и после долгих споров Финансовый комитет, не доводя дела до голосования и вероятного разногласия с министром финансов, решил собираться ежедневно, следить за ходом дела, но размена пока не приостанавливать и не вводить новой тревоги и в без того неспокойное состояние денежного рынка.

Действительность вполне оправдала такое решение. По мере успокоения страны под влиянием ликвидации московского восстания и успокоения в Сибири революционное движение стало повсеместно и быстро идти на убыль, Поступление налогов выровнялось, задержанные платежи вернулись в приходные кассы, истребование денег из сберегательных касс почти приостановилось, начался обычный для конца зимы приток денег на сбережение, оживилась деятельность частных банков, и Государственный Банк не только не видел нужды в новых выпусках кредитных билетов, но началось накапливание билетов в его кассах. Управляющий банком Тимашев возбудил даже вопрос об уничтожении сожжением до ста миллионов рублей и получил на это согласие, что произвело отличное впечатление у нас и за границей, Поступивший на подкрепление нашего золотого фонда за границей новый краткосрочный заем оказался на первых порах вовсе неиспользованным, и настроение парижской биржи также заметно окрепло. И.П. Шипов стал молчаливо успокаиваться, и вопрос о введении принудительного курса как-то сам собой перестал волновать и Министерство финансов, и весь Финансовый комитет.

Январь прошел для меня в общем совершенно спокойно. Витте не проявлял ко мне недавней враждебности и даже минутами заговаривал в совершенно дружелюбном тоне, а однажды, как то после заседания Финансового комитета, попросил меня заехать к нему переговорить по одному интересующему его вопросу, но не сказал, по какому именно. Это было в самом начале февраля, потому что он назначил мне быть у него в день именин жены, и я предложил перенести свидание на следующий день.

Когда я пришел к нему, он долго развивал свои соображения о необходимости теперь же готовиться к большому ликвидационному займу, пользуясь улучшением парижской и берлинской биржи, и сказал, что у него созрел в голове большой план заключения крупного международного займа, в котором участвовали бы все страны Европы и даже Америка, что он заручился уже принципиальным согласием Германии и имеет да-

же совершенно твердое обещание Мендельсона и такое же обещание американского Моргана, приглашающего даже его, гр[афа] Витте, приехать в Париж в конце марта, когда и он там будет. В согласии Франции у него нет ни малейшего сомнения, так как он ведет почти ежедневную переписку с Нетцлиным, условился с ним даже тотчас после моего выезда из Парижа относительно типа и размера займа и думает, что Нетцлина ему удастся убедить в самом близком времени приехать сюда для окончательных переговоров. Он прибавил, что очевидно опять придется ехать за границу мне, но что эта поездка будет простой прогулкой, так как он все nastoящю подготовил, что мне останется только подписать готовый контракт, во всем согласованный с международным синдикатом, с Морганом во главе.

Я собирался уже было уходить, как гр[аф] Витте остановил меня и сказал, что имеет сделать мне предложение не только от своего имени, но и от Государя, давшего ему разрешение уговорить меня его именем. Он предложил мне занять место государственного контролера. Я тут же отрез отказался, объяснивши ему всю несообразность такого предложения после того, среди каких условий покинул я Министерство финансов, и просил не настаивать на этом и даже освободить меня от необходимости приводить лично Государю мои основания к такому отказу.

Казалось, он был даже доволен моему отказу, но на другой день, в воскресенье, приехал совершенно неожиданно ко мне и в течение целого часа всячески настаивал на том, чтобы я принял это предложение и сделал угодное Государю. Я на это снова не согласился и предложил испросить личную аудиенцию у Государя, чтобы привести мои основания, в твердом убеждении, что Государь их поймет и не осудит меня. На это гр[аф] Витте не пошел, весь вопрос канул в вечность, а потом, уже в половине апреля, когда мне привелось снова увидеть Государя, он сказал мне, что был вполне уверен, что я не приму назначения, и даже сказал об этом гр[афу] Витте, прибавивши, что как же он зовет меня в контролеры, когда так недавно настоял на невозможности назначить меня председателем Департамента экономии из-за моего неуживчивого характера.

Весь февраль месяц ушел на участие мое в Совещании под председательством Государя по пересмотру положений о Государственной Думе, по изменению учреждения Государственного Совета в связи с новыми положениями Думы и по согласованию с этими положениями основных законов.

Из всех заседаний этого времени особенно свежими в памяти остались у меня два заседания: 14 и 16 февраля.

В первом из этих заседаний гр[аф] Витте с особенной настойчивостью доказывал недопустимость у нас публичных заседаний Думы и Совета. К всеобщему изумлению, он оправдывал свою мысль тем, что наша публика настолько невежественна, что она превратит законодательные

учреждения в арену сплошных скандалов и будет только издеваться над министрами, бросая в них, как он повторил подряд четыре раза тоном величайшей запальчивости, "мочеными яблоками, да ревущими кошками". На него обрушились решительно все участники Совещания и даже такой человек, как Победоносцев; он попросил слова у Государя и сказал: "Зачем же было заводить все дело, писать Манифесты, проводить широкие программы обновления нашего государственного строя, чтобы теперь говорить, что мы созрели только для скандалов, да моченых яблоков и дохлых кошек. Вот, если бы Сергей Юлиевич сказал нам, что он кается во всех своих мыслях и просит вернуться к старому Государственному Совету и совсем отказаться от привлечения толпы в нашу законодательную работу, к которой она не подготовлена, то я бы сказал Вам, Государь, что это мудрое решение, а то дать всякие свободы и права и сказать людям, читай только в газетах, что говорят народные избранники, — этого не выдержит никакая власть".

Государь положил конец таким спорам, сказавши просто: "Разумеется, этого нельзя допустить; заседания должны быть публичны".

В том же заседании гр[аф] Витте поднял и другой, не менее неожиданный вопрос.

Обсуждался тот параграф учреждения Государственного Совета, который устанавливал для наших законодательных палат тот же принцип равенства, какой усвоен почти всеми государствами, имеющими двухпалатную систему законодательства, а именно, что законопроект, принятый нижней палатой, поступает на рассмотрение верхней и в случае непринятия ею считается отпавшим. Точно так же законопроект, возникший по почину верхней палаты и принятый ею, поступает на рассмотрение нижней палаты и в том случае, если она отвергнет его, считается также отпавшим. Ни в одном из этих двух случаев Верховная власть не участвует своим решением и его не утверждает.

Граф Витте сначала в очень вялой и даже мало понятной форме стал говорить, что нельзя ставить Верховную власть в положение пленника законодательных палат и еще менее допустимо делать народное благо зависящим от каприза которой-либо из палат, так как не подлежит никакому сомнению, что у нас, как, впрочем, и везде, сразу же установятся дурные отношения между палатами, и то, что одна назовет белым, другая, непременно, назовет черным и наоборот, так что следует просто ожидать, что, что бы ни "выдумала" нижняя палата, — верхняя отвергнет, и "в этом даже большое благо для государства", но зато и всякий проект, вышедший из почина верхней палаты, будет "разумеется, провален" нижней.

Из такого положения необходимо найти выход, "ибо нельзя же допустить, чтобы все остановилось в стране из-за взаимных счетов двух враждующих палат", и такой выход он предложил в виде особой статьи, редакцию которой он просил разрешение прочесть обер-прокурору Св. Си-

нода кн. Алексею Дмитриевичу Оболенскому. Она заключалась в том, что каждый проект, принятый Думой, поступает на рассмотрение Государственного Совета, и если не будет принят последним, то возвращается в Думу, и если она примет его большинством двух третей голосов, то он поступает непосредственно к Верховной власти, которая может или отвергнуть его, и в этом случае он считается окончательно отпавшим, или утвердить его, и в этом случае проект принимает силу закона без нового рассмотрения его Государственным Советом.

Так же точно поступает, если законопроект, принятый Государственным Советом по его инициативе, отвергается Думой. Он поступает обратно в Совет, рассматривается им вторично и, будучи принят квалифицированным большинством двух третей голосов, представляется непосредственно Государю Императору и получает силу закона или отпадает по его непосредственному усмотрению.

Не подготовленный к такой новой мысли, вовсе не возникавшей при первоначальном рассмотрении в Совещании графа Сольского, в котором, однако, граф Витте постоянно бывал и принимал самое деятельное участие, — Государь ждал, чтобы кто-нибудь из участников просил слова и выступил по возбужденному, совершенно неожиданному, вопросу. Несколько минут длилось томительное молчание, и первое слово спросил гр[аф] А.П. Игнатьев, который заявил, что он совершенно удивлен возбужденным предложением и мало усваивает себе даже цель его. Он видит только, что при взгляде гр[афа] Витте на предстоящую законодательную работу двух палат, едва ли даже нужно их учреждать, потому что законодательствовать будет одна Верховная власть, коль скоро все, что придумает нижняя палата, будет непременно отвергнуто верхней и наоборот; очевидно, что при обязательном возвращении отвергнутого проекта в ту палату, где он возник, она из простого упрямства соберет две трети голосов, и дело поступит на решение монарха. Последний явится таким образом единственным виновником судьбы всего законодательства, и на него падет целиком ответственность за прохождение всех законопроектов. Если он не утвердит то, что дважды одобрила нижняя палата, — создается разом конфликт между Верховной властью и палатой, который всегда и всюду приводит к самым прискорбным последствиям, если же она пойдет за палатой, создается осложнение между нею и той палатой, которая, быть может, по самым серьезным основаниям не нашла возможным одобрить проект, при первом рассмотрении, видя в нем вред для государства.

Я сидел против Государя и не имел в виду выступать с моими возражениями, но Государь упорно смотрел на меня и после короткого замечания Победоносцева, поддержавшего точку зрения гр[афа] Игнатьева, без всякого вызова с моей стороны, спросил меня: "А Вы, Владимир Николаевич, какого мнения по этому вопросу? Мне показалось, что Вы хотели бы высказать его".



Я заявил, что разделяю взгляд гр[афа] Игнатьева в существе, и более подробно развил значение двухпалатной системы законодательства, роль Государственного Совета, как верхней палаты, везде исполняющей функции преграды, которая должна сдерживать увлечения нижней, что в этом нет ничего необычного, тем более что этот принципиальный вопрос именно подробно был рассмотрен в Совещании, и все участники были совершенно солидарны, и что в особенности у нас, в особенности, нужно быть исключительно осторожным и бережливым по отношению к прерогативам Верховной власти, коль скоро мы смотрим так мрачно на будущие взаимные отношения обеих палат, то на нас лежит прямой долг не допускать разрешения конфликтов между палатами властью Государя. Я закончил мои соображения ссылкой на то, что в республиканской Франции почти полвека идет непрерывная борьба за умаление власти Сената и тем не менее все попытки остаются безуспешными, — настолько велико значение тех опасений, которые содержит в себе мысль об умалении значения одной палаты в пользу другой.

Никто, кроме, кн[язя] Оболенского, не поддержал Витте, и Государь закончил прения, сказавши, как он делал это по отношению к большинству принятых статей: "Вопрос достаточно выяснен, мы оставляем статью без изменения, — пойдемте дальше." Вскоре заседание кончилось, и Государь предложил продолжать его через день.

Когда в этот последний день, в 10 часов утра, все собрались снова на вокзале Царской ветки, я попал в салон-вагон, в котором не было гр[афа] Витте, но оказался там кн[язя] Оболенский. Он тотчас же обратился ко мне, сказавши: "Мы решили с гр[афом] Витте вновь поднять вчерашний вопрос, так как не можем помириться с его решением, уж Вы не рассердитесь на меня, что я буду жестоко критиковать Вашу точку зрения".

Когда открылось заседание, Государь обратился к собравшимся с обычным вопросом: "На чем остановились мы вчера?" Тогда гр[аф] Витте попросил слова и сказал, что он много думал над принятым решением и считает необходимым вновь вернуться к тому же вопросу, потому что он видит в нем большую опасность для будущего и хочет сложить с себя ответственность за это, считая, что нужно еще раз внимательно взвесить все, что из него неизбежно произойдет. Государь пытался было остановить его словами: "Ведь мы вчера, кажется, внимательно взвесили все, что Вы предлагали, и зачем же опять возвращаться к тому же". Но Витте очень настойчиво просил дать ему слово, и в тоне его сквозило такое раздражение, что присутствующие невольно стали переглядываться. Гр[аф] Сольский пытался было даже жестом удержать Витте от его настояний, но ничто не помогало, и Государь крайне неохотно сказал ему: "Ну, хорошо, если Вы так настаиваете, я готов еще раз выслушать Вас". В том же приподнятом тоне нескрываемого раздражения гр[аф] Витте стал подробно

повторять те же мысли, которые он высказывал накануне, не прибавляя к ним буквально ни одного аргумента. Все только переглядывались, и Государь, также, видимо, начинавший терять терпение, остановил его словами: "Все это мы слышали вчера, и Я не понимаю, для чего снова повторять то, что уже все знают". Не унимаясь, гр[аф] Витте, все более и более теряя самообладание, продолжал свою речь и затем перешел к возражению мне на то небольшое, что было сказано накануне. Тут уже не было удержа ни резкостям по моему адресу, ни самому способу изложения его мнения. Не хочется сейчас воспроизводить всего, что было им сказано, тем более что отдельные речи не записывались и мне пришлось бы воспроизводить эту историческую речь по памяти и даже вызывать, быть может, сомнение в объективности моего пересказа. Но конец речи был настолько своеобразен и неожидан, что его нельзя не воспроизвести. Резюмируя сказанное мной и по его обыкновению перемешивая мои слова с его собственными измышлениями, гр[аф] Витте заключил так: "Впрочем в устах бывшего министра финансов такая речь совершенно понятна, его нежность к конституционному строю, его желание насадить у нас парламентские порядки настолько всем хорошо известны, что удивляться конечно нечему, но последствием принятия его мыслей будет полное умаление власти монарха и лишение его всякой возможности издавать полезные для народа законы, если законодательные палаты не сговорятся между собой, а они никогда не сговорятся, — вот об этом нужно кричать со всех крыш и пока не поздно принять меры к тому, чтобы такой ужас не наступил". Государь смотрел на меня в упор и легким движением головы давал мне ясно понять, что он не хочет, чтобы я возражал гр[афу] Витте. Я так и поступил. Когда гр[аф] Витте договорил свою фразу, Государь обратился к собранию с вопросом: "Кому-нибудь угодно высказаться еще раз?" Все молчали. Тогда Государь закончил прения словами: "Я не узнал ничего нового, что не было уже высказано вчера, и думаю, что мы можем приступить после перерыва к продолжению того, на чем мы остановились и не менять нашего вчерашнего решения". Никто не возражал. Государь встал из-за стола, стали подавать чай. Государь предложил курить и, держа чашку чая в руках, подошел ко мне со словами:

"Я очень благодарен Вам, что Вы поняли меня и не возражали Витте, потому что все хорошо понимают, насколько его выходка с обвинением Вас в приверженности к конституции была просто неуместна".

Государь отошел от меня, и когда я подошел к группе говоривших между собой участников совещания, среди которых был Фриш, видимо, желавший что-то сказать мне, ко мне подошел Победоносцев и, не стесняясь тем, что гр[аф] Витте был неподалеку и мог слышать его слова, громко сказал: "И как Сергею Юлиевичу не стыдно говорить то, что он сегодня выпалил".

После этого инцидента периодически повторявшиеся под председательством Государя заседания в Царском же Селе по согласованию наших основных законов с намеченным новым государственным строем, в которых я постоянно участвовал, не были отмечены чем-либо особенным. Я выступал очень редко, и, таким образом, новых поводов к столкновениям с гр[афом] Витте не было, и в моей жизни не произошло ничего, что нарушало бы ее замкнутость и отдаление от злободневных вопросов.

### ГЛАВА III

*Высочайше возложенное на меня поручение по заключению ликвидационного займа. — Приезд в Петербург г. Нетцлина. — Вопросы о международном характере займа, о его условиях, о праве правительства заключить его в порядке управления помимо Думы и Государственного Совета. — Мой приезд в Париж. — Оказанное мне Пуанкарэ содействие. — Прием меня Сарреном, Клемансо, Фальером. — Неудавшаяся попытка помешать займу. — Переговоры с банкирами. — Биржевой синдик де Вернейль. — Вопрос о поддержке печати. — Заключение займа*



Меня довольно часто навещали мои бывшие сослуживцы по Министерству финансов, и все говорили в один голос, что в правительстве заметна большая тревога и неустойчивость. Шипова я видел редко, да он и всегда был очень сдержан и не говорил мне ничего о том, что делается по части подготовки большого консолидационного займа. У меня сложилось даже мнение, что он сам был не вполне в курсе дела и что оно находилось в непосредственных руках гр[афа] Витте. Так оно впоследствии и оказалось. Даже Кредитная канцелярия знала далеко не все телеграммы и письма, которыми обменивался председатель Совета министров со своими заграничными корреспондентами. Много посылалось непосредственно из общей канцелярии, другое шло по канцелярии Совета министров или прямо от самого гр[афа] Витте настолько, что впоследствии, когда я вернулся на должность министра и оставался на ней целых восемь лет, не было возможности составить полного дела о подготовке займа и многие бумаги и телеграммы так и остались в личном архиве гр[афа] Витте. Этим же объясняется и то, что опубликованные большевиками архивные данные страдают большой разрозненностью и неполнотой, а также и то, что мне пришлось встретиться с большими неожиданностями при исполнении того поручения, которое выпало на мою долю.

В первой половине марта, без всякого предварения меня министром финансов, Витте позвонил ко мне по телефону и просил спешно, — как это было всегда, — заехать к нему поздно вечером в Зимний дворец. Не говоря мне ни одного слова о нашей последней встрече в Царском Селе, он сказал мне, что снова передает мне поручение Государя о том, что на

130

меня возлагается в самом близком будущем поехать в Париж для заключения большого займа по ликвидации войны, к чему все им уже настолько подготовлено, что на этот раз мне не придется даже вести каких-либо переговоров, а только подписать готовый контракт, который должен привезти сюда на этих днях вызванный им Нетцлин, который приезжает в ближайшую пятницу. Тут же гр[аф] Витте показал мне только что полученную депешу от Нетцлина совершенно лаконичного содержания: "Приезжаю пятницу утром" и прибавил, что для устранения лишних разговоров он условился с Нетцлиным, чтобы он остановился в Царском Селе, во дворце Великого Князя Владимира Александровича, в квартире Д.А. Бенкендорфа, что его встретит министр финансов, у которого в тот день как раз доклад у Государя, так что и его выезд в Царское не вызовет никаких лишних разговоров. Они успеют до моего приезда обо всем окончательно условиться, и мне останется только приложить мою руку к достигнутому по всем пунктам соглашению, и Нетцлин в тот же день выедет обратно, предварительно условившись со мной о точном времени моего прибытия в Париж. На мои расспросы о том, каковы же условия займа, Витте сказал мне: "Об этом уж Вы не беспокойтесь, все обусловлено, Вам будет передано все делопроизводство, из которого Вы увидите, что мной сделано. Шипов Вам даст все объяснения, и я скажу Вам только для Вашей беседы с Нетцлиным, что заем будет в полном смысле слова международный, в нем будут участвовать первоклассные банки Германии, разумеется, вся наша группа, в первый раз согласилась участвовать Америка в лице группы Моргана, от которого я только что получил подтверждение, что он будет в Париже в половине апреля и очень надеется встретиться со мной, но я, разумеется, не могу ехать, о чем я ему уже телеграфировал, сообщивши, что приедете туда Вы, затем, разумеется, Англия, Голландия в лице наших обычных друзей; впервые я уговорил участвовать в нашей операции Австрию в лице двух самых крупных банков и надеюсь также, что мне удастся привлечь и Италию. Словом, я хочу, чтобы это был в полном смысле наш триумф, и я счастлив, что к нему будет приурочено Ваше имя".

На мой вопрос, каковы же главные основания займа и во что он нам фактически обойдется, Витте сказал мне: "Об этом Вам тоже нечего беспокоиться, заем будет пятипроцентный, на долгий срок, а о выпускном курсе и о размере операционных расходов я совершенно убедил Нетцлина быть скромным, так как я хорошо понимаю, что в новых условиях нашей жизни нашему правительству нельзя идти на тяжелые условия. Ведь мне же придется отдуваться перед нашим общественным мнением, если бы я пошел на невыгодные условия".

Из этого очевидно, что в эту минуту гр[аф] Витте и не подозревал, что ему не суждено пережить момент заключения займа в должности главы правительства. Тем не менее и сам я, не допуская ни тени мысли о том,

что за условия займа мне придется отвечать и перед тем же не особенно лестно охарактеризованным нашим общественным мнением и перед законодательными учреждениями, – я сказал ему, что и для меня, как заключающего заем хотя бы под руководством правительства и даже только дающего формально мою подпись под операцией не мной подготовленной, тоже не безразлично, каковы будут условия займа, так как при тяжести их всякий скажет, что именно я не умел выговорить лучших условий, а кто-либо другой наверно сделал бы лучше меня, и меня будут осуждать до самой моей смерти.

Нам подали чай, и Витте стал в совершенно спокойном тоне вычислять, во что обошлись нам иностранные займы 1904–1905 гг., когда была надежда на нашу победу над Японией. Он пришел тут же к выводу, что при создавшемся теперь положении, после революционного движения, далеко еще не изжитого, при несомненном, по его словам, тяжелом положении внутри страны и, вероятно, весьма плохих выборах в Думу получить деньги, да еще большие, на долгий срок дешевле, как за шесть процентов чистых, будет невозможно, но если удастся достигнуть такого результата, то это будет величайшим нашим финансовым успехом, за который Вам, – закончил он, – нужно будет поставить памятник.

На этом мы разошлись. Витте прибавил, что Государь, разумеется, примет меня перед моим отъездом и, провожая в переднюю, прибавил смеясь: "Я не хотел бы быть Вашим партнером в переговорах о займе, потому что знаю, что Вы выжмете последнюю копейку из банкиров, но на Вашем месте я вполне понимаю, что на Вас будут вешать собак, если условия окажутся тяжелыми, и сам бы не допустил займа выше, как из 6% действительных". Мои последние слова были, что я вижу ясно, что все уже решено даже в мелочах и мне предстоит только прогуляться в Париж.

В условленный день – в пятницу на той же неделе – я приехал с поездом в 10 часов утра в Шарское Село, во дворец В[еликого] Кн[язя] Владимира Александровича, где я раньше никогда не бывал, и в квартире известного под названием "Мита" Бенкендорфа застал Нетцлина. На мое приветствие он мне ответил шуткой: "Не называйте меня г. Нетцлин, так как я М. Бернар, ибо я приехал под фамилией моего лакея"; такова была конспирация, которой был обставлен его приезд в Россию, и на самом деле ни одна газета не обмолвилась о его приезде. Наша беседа сразу же приняла иной характер, нежели я мог ожидать по словам гр[афа] Витте.

Не отвергая международной формы займа и находя, что она обеспечила бы крупный успех займа и могла бы значительно повысить его сумму, Нетцлин внес большую ноту сомнения в то, что Витте удастся ее осуществить. Он был уверен в том, что Германия, Англия и Голландия войдут в консорциум, но отнесся с самым большим сомнением на счет Америки, в частности группы Моргана, сказавши, что хорошо ее знает и поверит ее

участию только тогда, когда она подпишет договор. Об участии Австрии он даже не хотел и говорить, настолько он просто не понимал, как могут австрийские банки, вечно ищущие денег в Париже, принять серьезное участие в русском долгосрочном займе. Его тон был вообще далек от бодрости, и он просил меня даже предупредить гр[афа] Витте, что далеко не уверен в том, что нам удастся дойти до цифры в 3 миллиарда франков, о которой он упоминал в его письмах. Эту цифру я впервые услышал от Нетцлина.

Я просил его передать его сомнения Шипову, которого мы ждали с минуты на минуту, и стали говорить об условиях займа так, как они представляются французской группе. Ответы Нетцлина носили чрезвычайно неопределенный характер. Он говорил, что его друзья еще далеко не установили своей точки зрения, не зная, какую часть займа возьмут другие рынки и каково будет положение внутри России к моменту переговоров, и что вообще говорить об этом сейчас нельзя и нужно оставить все до начала переговоров, тем более что и в своей корреспонденции гр[аф] Витте почти не касался этого вопроса.

Такое заявление меня крайне удивило, и я предпочел перенести разговор на чисто личную почву, сказавши Нетцлину, что я не поеду в Париж, если только увижу, что там готовят мне неблагодарную роль человека, не сумевшего сделать порядочного дела для моей родины и вынужденного вернуться домой с пустыми руками. Я сказал, что я теперь человек свободный. Государь никогда не станет меня принуждать делать то, чего я не умею выполнить, и я заранее предвещаю его, что не приму на себя такой неблагодарной миссии, если он не обещает мне своего содействия к тому, чтобы заем был заключен на условиях не свыше 6% действительных для русской казны.

Я прибавил, что имею все основания думать, что гр[аф] Витте вполне разделяет такую же точку зрения и не даст мне полномочий на заключение займа на более тяжелых условиях. Мое последнее заявление вызвало, по-видимому, совершенно искреннее удивление в Нетцлине. Он возразил мне, что я очевидно не знаю всей переписки гр[афа] Витте с ним, иначе я не сказал бы того, что я только что сказал, так как во всех многочисленных своих письмах гр[аф] Витте не ставил никаких ограничений в смысле реальной стоимости займа русскому государству, а указывал только, что он не хотел бы выходить из 5-процентной ставки интереса и предоставлял полную свободу действий французской группе, придавая исключительное значение тому, что заем был заключен в самом близком времени и, во всяком случае, до созыва новой законодательной палаты, предполагаемого в конце русского апреля месяца. Нетцлин прибавил, что в Париже в предварительных переговорах между банкирами русской группы господствует предположение выпустить 5% заем примерно около 85—86 за сто, и так как расходы по выпуску будут, несомненно, очень вы-

соки, то едва ли можно реализовать в пользу государства даже 80%. Мы долго еще спорили на эту тему, я настаивал на том, что выпускной курс 86 слишком низок, а расходы в 7-8% слишком высоки, и закончил на том, что я почти уверен в правильности моего взгляда и в поддержке меня председателем Совета министров и очень прошу его подумать об этом и не ставить ни себя ни меня в ложное положение. К концу нашего разговора пришел Шипов, и Нетцлин начал тут же горько жаловаться ему на меня. Шипов все время молчал, и когда Нетцлин спросил его, как смотрит он на наше разногласие и видит ли он возможность уладить дело теперь же, Шипов ответил совершенно просто, что он не имеет определенного взгляда, понимает всю необходимость займа, но думает также, как и я, что правительству будет очень трудно первое время и было бы крайне желательно не делать займа дороже 6% реальных. Он прибавил, что Государь только что вновь сказал ему, что вести переговоры, несомненно, будет поручено мне, если только я на это соглашусь, и, вероятно, на этих же днях я буду приглашен Государем. Затем беседа между Шиповым и Нетцлиным перешла на поднятый последним вопрос о том, как смотрит гр[аф] Витте на его просьбу устранить возникшее во французском правительстве сомнение о праве русского правительства заключить заем теперь же, после Манифеста 17 октября и выработанного проекта положения о Государственной Думе в порядке управления, не ожидая разрешения этого вопроса законодательными палатами.

Я был совершенно не в курсе этого вопроса. Шипов вкратце рассказал мне его историю и прибавил, что пр[офессор] Мартенс, привлеченный к его разработке, заготовил уже подробный меморандум, который разрешает в положительном смысле это дело, и Совет Министров, рассмотрев его при участии выдающихся юристов, нашел точку зрения Мартенса совершенно бесспорной. Нетцлин сказал тогда, что во французском министерстве заняты также рассмотрением этого вопроса, и он имел случай слышать, что там приходят к тому же заключению, хотя дело не получило еще окончательной разработки, и было бы необходимо для пользы дела, чтобы доклад пр[офессора] Мартенса был скорее прислан в Париж.

Все это было для меня совершенной новостью, и на обратном пути в город я спросил Шипова, каково же мое положение, когда я должен ежеминутно ждать отправки меня в Париж, а я решительно ничего не знаю о подготовке вопроса, и не может ли он, по крайней мере, дать мне в руки тот материал, который имеется у него, разумеется, с разрешения гр[афа] Витте. Шипов обещал немедленно прислать все, что у него под руками, но сказал прямо, что он ровно ничего и сам не знает, так как все делается непосредственно гр[афом] Витте и часто даже не по Министерству финансов. О докладе же Мартенса он осведомлен только потому, что присутствовал при его рассмотрении в Совете. На другой день я был у Витте, передал ему все мои впечатления, получил заверение, что все будет мне

немедленно прислано в копиях, но услышал от него, что сомнения Нетцлина относительно международного характера займа совершенно неосновательны, так как сам Нетцлин не в курсе дела, и я убеждусь из того, что будет мне прислано, насколько это дело налажено и насколько я могу быть уверен в успехе задуманной операции.

Действительно, со следующего же дня я стал получать разные материалы по займу, но, кроме доклада пр[офессора] Мартенса и короткого заключения Совета министров, одобрявшего все его выводы, я получил какие-то обрывки несвязанных между собой телеграмм и ответов на некоторые из них. Все они касались исключительно вопроса о необходимости займа для России и о сосредоточении переговоров в Париже под руководством русской группы. Ответы Нетцлина по поручению группы были крайне неопределенны и техническая сторона займа вовсе в них не затронута. Но зато в телеграммах был ряд указаний гр[афа] Витте о том, что заем будет иметь широкий международный характер, что согласие Америки в лице Моргана вполне обеспечено, точно так же как и Германии в лице группы Мендельсона, и действительно в присланных мне телеграммах была копия недавней телеграммы Мендельсона с выражением благодарности графу Витте за его письмо (самого письма мне прислано не было) и с выражением принципиальной готовности участвовать в международной операции, но с прибавлением, что было бы крайне желательно, чтобы я по дороге в Париж остановился в Берлине и чтобы основания займа были между нами установлены до моего пребывания в Париже. С другой стороны, из тех же разрозненных телеграмм было видно, что Нетцлин предостерегал в отношении размеров участия Англии, указывая, что лорд Ревельсток настроен пессимистично и прямо говорит, что его участие может быть лишь в весьма скромном размере и будет зависеть от возможности котировки английской части займа в Париже тотчас по заключении займа. Все это изучение неполного дела не представлялось мне очень надежным, что я и говорил не раз как Шипову, так и гр[афу] Витте. Делился я моими впечатлениями и с гр[афом] Сольским, высказывая ему мои опасения. Сольский советовал мне не отказываться от поездки, но выяснить Государю предварительно все мои опасения и даже передать ему краткую письменную меморию, чтобы оградить себя от нареканий на случай неуспеха в переговорах. Я всячески убеждал его уговорить Витте выбрать кого-нибудь другого, но Сольский настаивал на том, что мне не следует затруднять Государя и лучше идти на риск неудачи и обвинения меня в неумении, нежели на создание для Государя в такую трудную для него пору затруднения в выборе не того, кому он доверяет, а кого-либо совершенно неподходящего. Я решил так и поступить, но не согласился только подавать Государю какую-либо письменную меморию относительно предвидимых мной трудностей.

Через несколько дней, около 20 марта, я получил вызов по телефону в



Парское Село. Государь был по обыкновению крайне милостив ко мне, долго говорил о том, что многое его очень заботит, что вести о выборах в Думу не предвещают ничего доброго, что в председателе Совета министров он видит постоянные колебания и даже явные противоречия в предлагаемых мерах, но все же надеется на то, что благоразумие возьмет верх над революционным угаром и что члены Думы, почувствовавши лежащую на них ответственность перед страной, постепенно втянутся в работу, и все понемногу уладится. Относительно моей поездки в Париж Государь сказал мне, что не сомневается в том, что я не откажу ему в его просьбе поехать на "новый большой труд", как сказал он, и верит, что я сделаю все, что будет в моих силах.

Я изложил перед Государем мои опасения, рассказал мое свидание с Нетцлиным, мои частые встречи с гр[афом] Витте и мои опасения на счет того, что дело вовсе не так подготовлено, как это может казаться, показал несколько телеграмм того же Нетцлина и просил не судить меня за неуспех, если бы им кончилась моя поездка. В заключение я сказал, что буду телеграфировать председателю Совета министров о каждом моем шаге, а "если будет уж очень плохо", прибавил Государь, "то просто телеграфируйте прямо мне и будьте уверены, что за все я буду вам сердечно благодарен, так как хорошо понимаю, что не на праздник и не на увеселительную прогулку Вы едете".

Мои невеселые думы насчет ожидающих меня трудностей в Париже стали сбываться гораздо скорее, нежели я сам этого ожидал.

Я готовился уже к отъезду и ждал только прямого указания гр[афа] Витте о дне моего выезда, как всего три дня спустя после аудиенции у Государя гр[аф] Витте сказал мне по телефону, что мне следует выехать немедленно, хотя от Мендельсона получены недобрые вести, и мне нет надобности останавливаться в Берлине, как это было первоначально предположено, а нужно ехать прямо в Париж. На вопрос мой, в чем заключаются эти недобрые вести, он ответил мне просто, что Мендельсон отказывается за себя и за всю свою группу участвовать в займе, не давая никаких объяснений, но что этот отказ не может иметь решающего значения для успеха операции, так как один факт участия в ней Америки широко покрывает неблагоприятное последствие от выхода Германии из синдиката.

Я заехал на другой день к гр[афу] Витте, прочитал у него телеграмму Мендельсона, которая, действительно, не давала никаких мотивов, но для нас обоих было очевидно, что это был простой ответ на нашу помощь, оказанную всего несколько недель тому назад Франции в Альжесирасе. Через два дня мы выехали вместе с женой в Париж. В Берлине мы пробыли всего несколько часов, не видали там решительно никого, я не заходил даже в посольство, и мы воспользовались несколькими свободными часами до отхода поезда на Париж, чтобы пройтись по Тиргартену. Я

помню хорошо, что день был исключительно жаркий, в парке была масса гуляющих, и среди них всеобщее внимание привлек на себя Император Вильгельм, появившийся верхом, в новой, впервые надетой им, походной форме защитного цвета, о чем на другой день все газеты поместили особые заметки, сообщая мельчайшие подробности этого нового обмундирования.

В Париже меня встретили представители русской группы банков во Франци и рядом с ними командированные всеми нашими банками для участия в переговорах в качестве их представителей Я.И. Утин и А.И. Вышнеградский. Первый из них тут же сказал мне, что русские банки решили принять большое участие в новом займе, но предупредили меня, что до их сведения уже дошло, что наши французские друзья находятся в далеко не розовом настроении, ибо они знают уже об отказе немцев участвовать в займе, да и, кроме того, в газетах появился слух, что и Америка также не предполагает участвовать. На другой день утром ко мне приехал в отель Лондр на рю Кастильонэ Нетцлин и подтвердил это сообщение, предьявивши мне полученную им телеграмму отца Моргана о том, что он не может выехать в Париж и считает момент для займа вообще неблагоприятным. Нетцлин предполагал, что мне это уже известно, так как все сношения Моргана с Россией шли непосредственно через гр[афа] Витте, и он не сомневается, что Морган не мог не известить последнего об изменении своего первоначального предположения, раз он известил уже об этом его.

Был ли гр[аф] Витте осведомлен об этом или получил извещение от Моргана уже после моего выезда, я не могу этого сказать, но и сейчас могу только удостовериться, что меня гр[аф] Витте об этом не известил, и я должен был тотчас же сообщить ему эту первую неприятную весть о положении дел в Париже с прибавкою и моего первого же впечатления о том, что я застал вообще крайне вялое настроение среди французских банкиров.

Оно усиливалось от каждого последующего разговора. Переговоры с банкирами начались немедленно. От имени английской группы приехал и ждал меня два дня лорд Ревельсток, который начал с того, что спросил меня, знаю ли я его корреспонденцию с нашим министром финансов, так как он должен заявить мне, что считает и со своей стороны, как и Морган, момент крайне неблагоприятным для совершения такой грандиозной операции, как та, которая задумана русским правительством, но не отказывается от выяснения всех подробностей, если от него не потребуется сколько-нибудь значительного участия, и даже наметил сумму не более 25—30 миллионов рублей и затем заранее оговорил, что для него необходимо знать, согласится ли французское правительство на то, чтобы английская часть займа была сразу допущена к котировке на французском рынке, так как только при этом условии можно рассчитывать на то,

что в Англии подписка на заем не окончится фиаско. Нетцлин сказал мне, что он надеется на то, что с этой стороны особых затруднений ожидать не следует.

В то же утро произошел также и первый контакт мой с голландцами и с двумя представителями австрийских банков. Первые сказали мне просто, что их участие всегда очень скромное, но они думают, что смогут дойти до цифры, намеченной лордом Ревельстоком, и не будут ждать для себя особых льгот, кроме обещания русского правительства, что выручка по займу останется в Голландии по крайней мере до выяснения внутреннего положения в России. Зато представители австрийских банков, — я крайне сожалею о том, что из моей памяти совершенно вышло, кто именно представлял эти банки и какие именно кредитные учреждения, кроме *Länder Bank*'а, были ими представлены, — поразили не только меня, но и всех главных представителей французской группы ясностью и неожиданностью их заявления, сделанного при том совершенно серьезно, по-видимому, без всякого сомнения в их праве сделать это заявление. Они сказали мне, что понимают их участие исключительно как представителей кредитных учреждений страны, приглашаемой к участию в займе только для того, чтобы придать международный характер всей операции, что участвовать фактически подпиской на заем и размещением его среди своих клиентов они вовсе не предполагают, так как Австрия крайне бедна капиталами и сама нуждается в займах. Они прибавили, что в этом не могу быть какого-либо сомнения у гр[афа] Витте, который сделал им предложение через Берлин, то есть через дом Мендельсона, и они имели определенно в виду, что Германия просто возьмет их в свою долю, они же воспользуются только выгодами от операции.

Результат этого первого моего объяснения с участниками такого "международного" синдиката я, конечно, тотчас же протелеграфировал в Петербург и получил ответ, что этим смущаться не следует, так как Франция, Россия, Голландия и Англия могут и собственными силами справиться с займом, и придется только, быть может, пойти на некоторое уменьшение первоначально намеченной цифры в 3 миллиарда.

Такое было начало моих переговоров в Париже. Оно не предвещало мне большого успеха, и с невеселыми думами пришлось мне явиться в Министерство финансов, где меня ждали для выяснения прежде всего формального вопроса о праве русского правительства на заключение займа перед самым созывом новых законодательных учреждений, который опубликованный уже закон давал право разрешать или не разрешать кредитные операции.

Тут я впервые познакомился с министром финансов Пуанкарэ и должен сказать без всяких оговорок, что его содействию я обязан главным образом тем, что не уехал из Парижа с пустыми руками.

Он принял меня сначала весьма сдержанно, даже, пожалуй, сухо, вни-

мательно прочитал меморандум, приготовленный профессором Мартенсом и дополненный заключением наших двух министерств – иностранных дел и финансов, просил меня оставить его на несколько дней у себя и не скрыл от меня, что французское Министерство иностранных дел со своей стороны имеет разработанное заключение одного из лучших своих знатоков международного права, и он может сказать мне, что это заключение во всем совпадает с русской точкой зрения, и он имеет надежду склонить и правительство к принятию этой точки зрения, хотя, прибавил он, это далеко не так просто, потому что некоторые члены кабинета придерживаются совершенно противоположной точки зрения и не легко откажутся от нее. Они видят в этом вопросе возможность вообще не допустить теперь этой кредитной операции на французском рынке, в особенности после того, что Германия и Америка уклонились от участия в ней. Пуанкаре не пояснил мне, кто именно из французских министров не расположен к займу, но, судя по тому, что он сказал мне вскользь о необходимости для меня познакомиться с министром юстиции Саррьеном и особенно настойчиво говорил мне о том, что я обязательно должен быть у министра внутренних дел Клемансо, – я понял, что именно последний был особенно враждебно настроен против займа.

Я немедленно последовал этому указанию.

Саррьен принял меня очень любезно, мало о чем расспрашивал, и мне пришлось самому перевести разговор на правовую сторону и указать, что наша точка зрения совершенно совпадает с заключением французских авторитетов международного права. В ответ на мои разъяснения нашей точки зрения Саррьен сказал мне в самом добродушном тоне, что я могу быть совершенно спокоен за его голос, так как он знает уже взгляд Министерства иностранных дел, вполне солидарен с министром финансов и будет поддерживать желание русского правительства, отлично понимая, что выйдя из неудачной войны, оно заботится упорядочить свои финансы, в особенности перед тем, чтобы перейти к конституционному образу правления. Он вовсе не углублялся в особенности нашего нового строя, и мне не было причины отнимать долго его время.

Иной был прием у Клемансо.

Он принял меня в Министерстве внутренних дел на площади Бово в том самом кабинете, в котором 26 лет тому назад, в октябре 1880 года, вместе с покойным Галкиным-Враским я был принят министром внутренних дел того времени Констаном по случаю созыва Международной тюремной комиссии. В шуточной форме, не спрашивая меня решительно ни о чем, Клемансо начал свою короткую беседу с замечания: "Думаете ли Вы, господин статс-секретарь, что Ваше правительство избрало подходящий момент для займа крупной суммы денег на французском рынке".

Я ответил ему, что не вижу никаких неблагоприятных условий в состоянии парижского рынка для такой операции, и, кроме того, представи-

тели финансовых сфер сами указали нашему правительству, что время вполне благоприятно, и, если не произойдет чего-либо неожиданного внутри России, они надеются на то, что французская публика сделает хороший прием новой финансовой операции России, лишь бы технические условия казались ей достаточно заманчивыми.

Клемансо прервал меня словами: "О выгодности Вашего займа для публики я совершенно не забочусь и вполне уверен в том, что наши банкиры сумеют выговорить весьма заманчивые для публики условия, знаю я также и то, что Вы привезли с собой юридическую консультацию Ваших законовевдов о том, что Ваше правительство имеет право на заключение такого займа, как и то, что наше Министерство иностранных дел с Вами солидарно, но меня это далеко еще не убеждает, и я не знаю, подам ли я мой голос за такую точку зрения. К тому же я видел на днях некоторых из Ваших соотечественников, которые не только не разделяют этого взгляда, но даже протестуют против применения его".

Я не успел еще попросить его разъяснить мне, кто эти мои соотечественники и насколько они, проживая за границей, компетентны в таком вопросе, так как у меня просто мелькнула мысль, что Клемансо видел кого-либо из немногочисленной случайной русской колонии, далекой от государственных дел, или же до него дошли отголоски подпольной агитации русских революционных кружков во Франции, — как Клемансо, поднимаясь, чтобы проститься со мной, задал мне, совершенно неожиданно, крайне удививший меня вопрос: "Скажите мне, Ваше Превосходительство, отчего бы Вашему Государю не пригласить господина Милюкова возглавить новое правительство. Мне кажется, что это было бы очень хорошо и с точки зрения удовлетворения общественного мнения и решило бы многие вопросы".

Я ответил на это, что мне совершенно неизвестно, на ком остановит Император свой выбор для нового правительства и будет ли заменен нынешний состав его новым, но не могу не обратить внимания министра внутренних дел на то, что по схеме русского законодательства права короны ни в чем не изменяются ни в отношении прав Императора по избранию министров, ни в отношении ответственности министров, которые не подчиняются вотуму законодательных учреждений.

Последние слова Клемансо, когда он провожал уже меня в приемную, были: "Очень жаль, мне кажется, что это было бы очень хорошо".

На следующий день меня принял незадолго перед тем избранный Президентом Республики Фальер, и в его беседе разом выяснилось то, что мне было вчера совершенно непонятно.

Фальер, видимо, вовсе не спешил отделаться от меня и говорил сравнительно долго, очень просто, искренно и не вводил никаких недомолвок в свои слова. Он начал с того, что Франция как союзница России<sup>50</sup> естественно должна помочь ей выйти из ее трудного положения, создан-

ного неудачной войной и внутренней смутой, в особенности, когда России удалось с такой честью выйти из войны с Японией, заключением договора, почти не затрагивающего ее достоинства. Он понимает также стремление нашего правительства начать новую "конституционную" жизнь с упорядоченными финансами и с этой точки зрения очень рад тому, что французское министерство, опираясь на лучшие свои авторитеты, может встать на ту же точку зрения относительно права русского правительства заключить новый заем без согласия палат, еще не созданных, и — для ликвидации своих старых обязательств, — на какой стоит и правительство русского Императора. Франция, — прибавил он, — не имеет права забывать, какую неоцененную помощь оказывает Россия ей всякий раз, когда она обращается за помощью и поддержкой, и он надеется, поэтому, что правительство окончательно усвоит себе эту точку зрения и окажет мне необходимую поддержку. "Но Вы должны быть готовы к тому, что это пройдет не совсем гладко, потому что здесь находятся Ваши соотечественники, которые ведут самую энергичную кампанию против заключения Вами займа, и Вы встретитесь с тем настроением, которое создается ими в самых влиятельных кругах и не останется без серьезного внимания, хотя я надеюсь, что в конечном выводе Вы достигнете благополучного конца. Вас поддержит министр финансов самым решительным образом".

Затем, не облакая своих слов в какую-либо тайну и даже не говоря мне о том, что он просит меня не сообщить никому о его беседе, Президент Республики, не называя мне имен, сказал мне буквально следующее: "Я сам был поставлен в этом вопросе в самое неприятное положение, и при том совершенно неожиданно. Меня просил один видный французский деятель — впоследствии я узнал, что это был никто иной, как Анатоль Франс, — чтобы я принял двух Ваших соотечественников, которые желали бы мне засвидетельствовать свое почтение. Ничего не подозревая и предполагая даже, что я могу узнать в беседе с ними что-либо новое относительно положения в России, я охотно согласился на это, но был крайне удивлен, что эти господа прямо начали с того, что они являются ко мне с целью протестовать против предложения русского правительства заключить во Франции заем, не ожидая созыва новых законодательных учреждений и без получения их полномочий, что такой заем безусловно незаконен и, вероятно, не будет признан народным представительством, и, следовательно, я окажу прямую услугу французскому капиталу, избавивши его от риска потерять деньги, обращенные в такой заем. Я был до такой степени смущен этим визитом и самой формой обращения ко мне, что ответил этим господам, что они должны обратиться к правительству, а не ко мне, тем более что никакая кредитная операция во Франции не может быть заключена без его разрешения".

Из слов Президента Республики я понял, что визит к нему был сделан

после того, что попытка этих русских людей добиться свидания с министром финансов не увенчалась успехом. Впоследствии имена этих двух лиц стали всем известны: князь П. Долгорукий и граф Нессельроде. В бытность мою в Париже я нигде не встретился с ними, но впоследствии, в заседаниях Думы мне не раз приходилось публично выступать по этому поводу и всякий раз в ответ на мое заявление об этом печальном эпизоде со скамей оппозиции неизменно раздавалось одно заявление: "Опять министр финансов рассказывает басни, которых никогда не было".

Много лет спустя, когда я приехал в Париж эмигрантом, — в начале 1919 года меня посетил на рю д'Асторг гр[аф] Нессельроде, с которым в 70-х годах мы сидели за одним столом в уголовном отделении Министерства юстиции. Это был уже дряхлый, больной старик, хотя и немного лишь старше меня годами. Он зашел ко мне только для того, чтобы узнать, как удалось мне выбраться из России, и когда я кончил мой рассказ и спросил его, не разрешит ли он мне узнать у него теперь, когда о прошлом можно говорить без всякого раздражения, — как произошел весь этот эпизод с его участием в кампании против займа 1906 года? "Мы оба в эмиграции, — сказал я, — и можем без гнева говорить о том, что было и былью поросло". Он сказал мне только, что предпочитает ничего об этом не говорить, и мы больше с ним не виделись. Он не дал мне даже своего адреса, сказавши, что никого не принимает и ни с кем больше не видится. Вскоре он скончался.

После окончания моих официальных визитов, в устройстве которых величайшую помощь оказал мне наш посол А.И. Нелидов, которому я был обязан не только самым широким гостеприимством, но и положительной поддержкой во всем, в чем только он мог быть мне полезен и без чего мне пришлось бы потратить много лишнего времени, — начались мои трудные переговоры с банкирами. Дни шли за днями в бесконечных заседаниях и сепаратных переговорах с отдельными участниками сформированного синдиката, и чем бы они кончились в действительности, если бы не было самой широкой поддержки министра финансов Пуанкаре, — этого просто нельзя и сказать.

К смягчению моего суждения о трудностях, встреченных мной при рассмотрении этого дела, я должен сказать, что на долю французских банков выпала задача гораздо более трудная, нежели та, к которой они были приготовлены. Вместо предполагавшегося международного займа с привлечением сбережений чуть ли не всего старого и нового света, все дело свелось к двум рынкам — французскому в отношении большей части займа, русскому — также в значительной его части и тоже большей, нежели первоначально имелось в виду, и — к двум маленьким долям в общем участии со стороны Англии и Голландии, да и то Англия на первых же порах, как я уже упомянул, выговорила право котировки ее доли в займе на парижском рынке.

Русские банки в лице их представителей Я.И. Утина и А.И. Вышнеградского оказали мне самую широкую помощь. Во всех открытых заседаниях они поддерживали мои настояния самым недвусмысленным образом и очень помогли мне в двух главных вопросах – в размере займа, доведя его до цифры в 2 миллиарда с четвертью и увеличивши долю участия русских банков, когда французские начали с 1,5 миллиардов и не хотели ни в коем случае перейти к 1 750 миллионов, а также и в основном вопросе о выпускной цене займа и о размере комиссионного вознаграждения банков за их посредническое участие в реализации займа. Эти два вопроса, в сущности, сливались в один – какую сумму получит русская казна в свое распоряжение от выпускаемого займа.

Сейчас мне не хочется приводить в подробности о всех тягостных перипетиях, через которые я прошел в течение целого ряда дней, когда этот торг много раз был накануне полного разрыва, настолько представители французской группы, державшие переговоры целиком в своих руках, силились сбить меня с той позиции, которую я занял еще в Парском Селе в переговорах с Нетцлиным и которую заявил моим партнерам с первого же дня наших взаимных объяснений. Я сказал им, и Нетцлин с полнейшей корректностью подтвердил правильность моей на него ссылки, что ниже выручки в пользу русской казны такой суммы, при которой заем обошелся бы ей не дороже 6%, то есть 82 1/2% за 100 номинальных, я ни в каком случае не пойду и предложил им или увеличить выпускную цену займа, или понизить их комиссию. На первое они на самом деле идти не могли, – настолько рынок был плохо расположен к немедленной операции и настолько разнообразны были всевозможные влияния к тому, чтобы отсрочить заключение займа до лучшей поры.

Банкам пришлось уступить мне в размере комиссионного их вознаграждения, которое они сначала выставили в низшей, возможной, по их мнению, – цифре, сначала 8, а потом 7 1/2%. Наше несогласие из-за этого пункта доходило подчас до совершенно непонятных для всякого постороннего человека обострений. Не раз наши заседания закрывались до следующего дня, и каждая сторона искала опоры там, где думала ее найти. Мне приходилось искать ее в беседах с министром финансов Пуанкаре и в обращенных к нему просьбах повлиять в мере возможности на банкиров в ссылках на необходимость беречь престиж русского правительства и самого французского правительства перед началом нового порядка управления у нас.

Я не знал, конечно, каковы были объяснения министра финансов с главы синдиката Нетцлиным, но и сейчас, более четверти века после этого тягостного для меня времени, думаю, что его моральная помощь, оказанная России в эту минуту, играла решающую роль. Я видел каждый день, каждую новую нашу встречу после нервно проведенного предыдущего собрания в Парижско–Нидерландском банке, как менялся тон моих



партнеров, постепенно переходя из резко отрицательного в более мягкий и даже уступчивый, как открыто искали они какого-либо исхода из выяснившегося непримиримого нашего взаимного положения и как, наконец, постепенно мы дошли до соглашения о том, что было мне нужно и давало мне право сказать впоследствии, что и в эту неблагоприятную минуту Россия все же могла заключить столь необходимый для нее заем из 6% действительных.

Справедливость заставляет меня упомянуть, что в эту пору я нашел неожиданную, хотя и косвенную, поддержку в человеке, который впоследствии проявил ко мне совершенно иное отношение. Это был синдик компании биржевых маклеров г. де-Вернейль. Его отношения с банками были дурные. Он открыто говорил, что банки слишком дорого берут за их услуги, удорожают стоимость займовых операций во Франции и сокращают тем самым поле деятельности французского рынка в мировом кредитовании молодых стран.

Его давнишняя мечта заключалась в том, чтобы изъять дело заключения займа из рук коммерческих банков и сосредоточить его непосредственно в компании биржевых маклеров, располагающих, по его мнению, прямой возможностью широкого размещения займов непосредственно через свою клиентуру. Банки были с ним в самой резкой оппозиции и не скрывали своего раздражения против него. Я уверен, что де-Вернейль был в сущности совершенно не прав и далеко переоценивал силу биржевых маклеров в размещении иностранных займов, тем более что только немногие маклеры могли выдерживать более или менее продолжительное время облигации этих займов в своих портфелях и совершенно не обладали средствами для поддержания курса займов в минуты финансовых кризисов. Он был также далеко не чужд и большого самомнения о своих финансовых дарованиях и носился долгое время с мыслью подчинить вообще коммерческие банки полному контролю и руководству своему, как председателя компании маклеров. Банки, разумеется, боролись против его тенденций всеми доступными им способами и в конце концов одержали верх. Шесть лет спустя Вернейль не был выбран на должность синдика и совершенно стухедался с парижского горизонта. Я более не встречался с ним после 1913 года, — о чем речь впереди, — и когда в 1918 году я попал в Париж в изгнание, он не навестил меня, хотя и знал, конечно, о моем переезде во Францию. Он даже вместе со мной был вызван в суд исправительной полиции свидетелем по делу об оклеветании газеты Матэн коммунистической газетой Юманите, но на суд не явился и избежал встречи со мной. В моем деле о заключении займа я должен, однако, сказать, что нападки на чрезмерные требования банков в отношении комиссионного их вознаграждения за счет русской казны не остались без внимания, так как банки встречались почти ежедневно с его нападками и не могли оставаться совершенно безучастными к ним. Меня

даже упрекнули в одном из наших собраний, что я иду на помочах у г. де-Вернейля, — желая передать всю операцию в его руки. Такой упрек сделал мне открыто представитель в синдикате со стороны Лионского кредита, покойный Бонзон, но встретился с резкой отповедью с моей стороны и с предложением запросить тотчас же самого де-Вернейля, насколько такое предположение фактически справедливо, и инцидент был исчерпан и не имел неприятных последствий.

В моих переговорах с банками не малое значение имел и не малое количество крови испортил мне еще и вопрос об отношении к нашему займу парижской ежедневной прессы. Все знают влияние прессы на общественное мнение во Франции. Мне же оно было хорошо известно с самого начала войны, так как пришлось на первых же шагах моих в должности министра финансов встретиться с настойчивым заявлением нашего Министра иностранных дел, основанным на депешах нашего парижского посла А.И. Нелидова о необходимости поддерживать наше политическое положение близким отношением к прессе и заинтересовать ее в более объективном и даже благоприятном освещении нашего внутреннего положения. Нелидов настаивал на необходимости ассигновать средства на прессу уже потому, что Япония делает это в очень широком масштабе, но он решительно отклонил от себя всякое участие в распределении средств между газетами и настойчиво советовал передать это дело целиком в руки нашего финансового агента А.Г. Рафаловича. Рафалович, со своей стороны, не отказываясь от этой неприятной миссии, писал мне не раз совершенно откровенно, что она его крайне тяготит, так как газеты все больше и больше повышают их требования по мере постигавших нас военных неудач и советовал мне раз навсегда сосредоточить суммы и их распределение в руках представителя прессы, каким был в то время Г. Ленуар (отец), пользовавшийся, по его словам, хорошей репутацией в журнальном мире. Этим способом Рафалович надеялся отстранить от себя нареkanie за неправильную раздачу денег и даже за злоупотребление этим деликатным поручением и, главным образом, освободить Министерство финансов от новых домогательств и партийного соревнования между отдельными группами газет. Поэтому, когда Нетцлин приехал в Парское Село и вел со мной предварительную беседу, он сразу же возбудил вопрос о том, как предполагает наше правительство организовать это дело, если будет принято решение заключить заем. Он горячо поддерживал идею Рафаловича о поручении дела Ленуару и столь же горячо доказывал, что банки ни в каком случае не возьмут расходы на прессу на свой счет и что русская казна должна покрыть их, сверх той комиссии, которая будет выговорена в пользу банков по контракту. Гр[аф] Витте не придавал этому вопросу никакого значения, считая его мелочным, и предоставил мне принять то решение, которое окажется необходимым. "

Когда я приехал в Париж, то я встретился с этим вопросом буквально

с первого дня, как только начались переговоры об условиях займа. Нетцлин встал резко на свою прежнюю точку зрения и требовал, чтобы банки были освобождены от расходов на прессу и последние взяты на русскую казну. Рафалович предостерегал меня от такого решения, открыто заявляя, что казна заплатит неизмеримо больше, нежели заплатили бы банки, если бы расход был включен в их комиссию. Он настойчиво советовал мне даже скорее согласиться на некоторое повышение комиссии, но только не освобождать банков от этого расхода, так как в противном случае помимо увеличения расходов будут еще заявлены нескончаемые нарекания на то, что дело не удалось из-за неумелого распределения субсидий прессе, хотя бы они были производимы в совершенно легальной форме – оплаты за казенные публикации по тиражированию русских займов.

Я так и поступил, и все наши споры шли тем более упорно и тем с большими перерывами, чем больше я настаивал на уменьшении намеченной комиссии со включением в нее и расходов на прессу. Не стану говорить о том, какого труда мне это стоило и какая гора свалилась с плеч, когда и по этому вопросу удалось достигнуть соглашения. Мы договорились на том, что банки получают общую комиссию в 5 1/2% и распределяют ее между собой без всякого моего участия, принимая на себя и все домогательства прессы. Ленуар (отец) со своей стороны убедившись в том, что разговаривать с русским правительством ему не придется, условился с банками помимо всякого моего участия, что при создавшемся положении лучше всего делать так, чтобы пресса просто молчала об операции займа и не вела никакой кампании за его поддержку, так как эта кампания может только вызвать совершенно противоположную со стороны печати, не попавшей в консорциум, а испортить только все дело. Так и было поступлено. Сколько уплатили банки прессе, я не знал и не знаю и теперь, но шутники острили тогда, что пресса получила очень мало. Замечательно на самом деле, однако, то, что журналисты с самой минуты нашего соглашения о прессе прекратили вовсе посещать меня, и весь вопрос о переговорах о займе окончательно сошел со столбцов наиболее распространенных газет, как будто никакого займа и не было и никто никаких переговоров не вел в Париже. Для меня это было величайшим благом, да и из Петербурга я получал только комплименты относительно спокойного тона прессы вообще и нескрываемого недоумения, как мало сведений о нашем займе можно почерпнуть из газет.

С разрешением благополучным образом самых трудных вопросов по займу, детали этого дела пошли уже гораздо более гладко, чем можно было ожидать. Я был уступчив по всем вопросам редакции контракта, мои партнеры особенно настаивали на уточнении так называемой кюльз резолютуар, освобождающей контр-агентов от принятого ими на себя обязательства в случае наступления таких политических или иных событий, которые выразились бы потрясением на мировом денежном рынке в

форме определенного контрактом понижения основных биржевых ценностей, и дело шло мирно и даже сравнительно быстро. Приближался момент подписания контракта. Его основные постановления были переданы мной по телеграфу в Петербург непосредственно гр[афу] Витте, и чрезвычайно быстро я получил почти одновременно три депеши: от самого Витте, от министра финансов Шипова и следом затем непосредственно от Государя.

Витте был лаконичен, но сообщил, что он приписывает моим настояниям успех займа, превосходящий все его ожидания. Шипов просто поздравлял меня с достигнутым прекрасным результатом. Государь сказал мне в его телеграмме гораздо больше: "Вы оказали огромную услугу России и мне. Я никогда не забуду ее и ясно вижу, какой огромный труд выполнили Вы в тяжелых условиях переживаемой минуты. С нетерпением буду ждать Вашего личного доклада".

## ГЛАВА IV

*Возвращение в Петербург. — Отставка гр[афа] Витте и назначение И.Л. Горемыкина. — Моя беседа с Горемыкиным и прием меня Государем. — Условия, при которых я был назначен министром финансов. — Открытие Государем в Зимнем Дворце Государственной Думы и Государственного Совета. — Прием меня императрицами Александрой Федоровной и Марией Федоровной. — Открытие Думы в ее помещении*



Вернулся я из моей поездки в Париж 19 апреля утром.

Не успел я разобраться с вещами и повидать своих, как в то же утро я получил письмо от Ивана Логгиновича Горемыкина, жившего в двух шагах от меня на той же Сергиевской улице. До этого письма я не видал буквально никого, не успел просмотреть и газет за последние дни, не говоря уже о том, что за все время моего пребывания в Париже я только урывками следил за русской прессой и был положительно вне всего, что делалось дома, и шел к Горемыкину в полной неизвестности того, за чем меня зовет.

Без всяких предисловий, он сказал мне, что Государь с нетерпением ждет моего возвращения и просил его, как избранного им на место увольняемого от должности председателя Совета министров гр[афа] Витте, занять его место и составить новое министерство, в которое, по желанию Государя, не должен войти никто из сотрудников Витте. Он предвещает меня, что Государь остановил на мне свой выбор для должности министра финансов.

От себя Горемыкин прибавил, что он горячо поддерживает желание Государя, которое только опередило его собственное желание, которое

он непременно высказал бы, если бы Государь не начал с того, что он именно желает видеть меня на этом посту. Я немедленно же стал доказывать Горемыкину, что решительно не могу принять этого назначения, так как всего 7 дней отделяет нас от открытия новой Государственной Думы, а я более полугода нахожусь вне текущей государственной работы и не знаю решительно ничего о том, что подготовлено для Думы, знаю только, что выборы по всем признакам дадут определенно враждебное всякому правительству настроение в представителях народа, что при таком условии конфликт между правительством и новым законодательным аппаратом неизбежен, и какое бы Министерство не было составлено, оно не будет в состоянии работать и должно будет уйти, если только сразу же Государь не встанет на путь роспуска Думы. Я всячески доказывал, что лучше всего было бы оставить прежний состав министерства, пригрозившего выборы, и сберечь новые силы для будущего, когда сколько-нибудь выяснится обстановка совместной работы с новыми законодательными учреждениями.

Не выходя из своего обычного безразличия, Горемыкин мало опровергал мои аргументы и сказал мне только, что Государь не доверяет прежнему министерству, положительно не желает сохранить никого из его состава в новом Совете, хотя отдельные лица, как, например, Шипов, ему лично симпатичны, и просит меня все, что я ему сказал, лично доложить Государю, так как мое назначение предreshено им, и он не в состоянии исполнить моего желания и лично положительно отказывается от передачи моей просьбы Его Величеству.

Все объяснение Горемыкина со мной оставило во мне самое тяжелое впечатление и только укрепило меня в необходимости так или иначе, но уклониться от участия в составе правительства под его председательством. Наиболее характерным показался мне его ответ на мое замечание, что проводить в Думе должны свои законопроекты то правительство, которое их подготовляло, так как трудно представить себе, чтобы новый состав мог защищать такие предположения, которые могут совершенно не соответствовать его взглядам, начинать же законодательную работу с того, чтобы брать назад то, что внесено, просто неполитично и только в состоянии дискредитировать власть перед новым народным представительством.

С полной невозмутимостью Горемыкин заметил мне, что я просто заблуждаюсь, предполагая, что правительство гр[афа] Витте подготовило что-либо для новых палат и что Государственная Дума станет заниматься рассмотрением внесенных ей проектов. "Вот у меня на столе лежит список дел, представленных в Думу, который доставил мне Н.И. Вуич (управляющий делами Совета министров), — полюбуйтесь им". Список оказался совершенно чистым, ни одного дела в нем... предполагал заняться этими вопросами после открытия Думы, имея в виду, что немало

времени уйдет на организационную работу Думы и нового Государственного Совета.

Впоследствии оказалось, что в первые дни по открытии Думы только Министерство народного просвещения внесло за подписью П.М. фон-Кауфмана Туркестанского два представления об устройстве прачечной и о ремонте оранжереи при Дерптском университете, послужившие предметом немалых насмешек со стороны ораторов первой Думы.

Но всего характернее было заявление Горемыкина о том, что я просто не в курсе наших внутренних дел, предполагая вообще, что Дума будет заниматься какой-либо работой, для которой нужно взаимодействие ее с правительством. "Она будет заниматься, — сказал он, — одной борьбой с правительством и захватом у нее власти, и все дело сведется только к тому, хватит ли у правительства достаточно силы и умения, чтобы отстоять власть в тех невероятных условиях, которые созданы этой невероятной чепухой, — управлять страной во время революционного угара какой-то пародией на западно-европейский парламентаризм". Его слова оказались пророческими. Провожая меня, он сказал совершенно спокойно: "Вот, если Вы убедите Государя оставить Вас в покое, — Вы увидите скоро, во что обратится наша работа, а если Государь, как я надеюсь, убедит Вас не оставаться в положении завидного созерцателя наших мучений, — тогда нам придется нести вместе наш крест, и я уверен, что не нас одолеют, а мы одолеем, и все скоро поймут, что в таком сумбуре нам просто жить нельзя".

В тот же день я написал письмо Государю о моем возвращении и просил разрешить мне представиться ему для доклада о результатах моей поездки. Это письмо ушло с утренним фельдегерем на другой день, т.е. 20 числа, а уже вечером я получил мое донесение обратно с надписью Государя: "Радуюсь видеть Вас послезавтра 22 в два часа дня. До скорого свиданья". В тот же день, то есть 19 я заехал к гр[афу] Витте, которого застал за разборкой бумаг перед выездом из Зимнего Дворца и первыми словами его были: "Перед Вами счастливейший из смертных. Государь не мог мне оказать большей милости, как увольнением меня от каторги, в которой я просто изнывал. Я уезжаю немедленно за границу лечиться, ни о чем больше не хочу и слышать и представляю себе, что будет разыгрываться здесь. Ведь вся Россия — сплошной сумасшедший дом, и вся пресловутая передовая интеллигенция не лучше всех". О моей поездке он меня не хотел и спрашивать, сказавши только: "В другое время я не знал бы, какую награду просить Государя дать Вам за то, что Вы успели сделать. Ведь Вы достигли совершенно невероятного успеха, а теперь все это пойдет прахом при том сумбуре, который водворится в России. Не Иван же Логинович управится с этим разбушевавшимся морем".

До моего свидания с Государем я почти никого не видал. Шипов приехал только повидаться со мной на несколько минут и вовсе не говорил

со мной ни о чем. Он показался мне особенно озабоченным своим личным положением, так как знал уже от гр[афа] Витте, что никто из прежних министров не войдет в состав нового кабинета, а на мое сообщение ему, что я предположен снова к занятию поста министра финансов, но буду просить Государя освободить меня от этого и даже, зная, что Государь о нем очень хорошего мнения, позволю себе высказать ему, что самое простое решение состояло бы в сохранении его на этом месте, на что он также просто сказал, что не думает, чтобы эта комбинация была принята Горемыкиным, но будет счастлив, если Государь убедит меня вернуться в министерство, где меня все ждут и за шесть месяцев его управления только и говорили: "Так было при Владимире Николаевиче".

Все свободные минуты за эти два дня я посвятил просмотру газет, что бы составить себе хоть самое поверхностное представление о том, что делается в России и как определяется преобладающее настроение перед созывом Думы. Впечатление получилось у меня самое печальное. "Русские Ведомости", "Русское Слово" и в особенности "Речь" совершенно открыто вели ту самую "осаду власти", о которой мне говорил Горемыкин, и проповедовали, что настала пора взять власть в руки народного представителя и только после этого может начаться настоящая законодательная работа, для которой нужно и правительство, ответственное перед палатой и руководимое ею. "Новое Время" занималось больше полемикой с "Речью", но само, видимо, не знало на какой ноге танцевать. Его передовицы были совершенно бесцветны и противоречили себе на каждом шагу, и даже оплот консерватизма Меньшиков все твердил о силе и власти народного представительства и сводил какие-то мелкие личные счеты, не раз упомянувши и обо мне не то в ироническом, не то просто в обычном для него, год перед тем, недоброжелательном тоне. "Гражданин" изощрялся в полемике с гр[афом] Витте и зло и страстно критиковал его отношение к либеральным кругам и заигрыванию с рабочими, но не говорил решительно ничего ни о новом кабинете, ни о том, как смотрит он на создавшееся положение. В его последних Дневниках проскальзывала, однако, в виде прозрачных намеков вера в то, что Государь, конечно, остановит свой выбор на испытанных и верных ему слугах и не сделает больше той ошибки, которая была сделана в октябре — искать каких-то новых людей, в угоду каким-то общественным течениям.

Государь принял меня в Царском Селе с удивительной приветливостью, превосходившей по своим проявлениям все, к чему он так приучил меня. Даже дежурный камер-лакей не просил меня обождать в приемной, а сказал, что "Его Величество ожидает вас и приказал просто ввести в кабинет, когда Вы приедете. Они даже спрашивали уже не приехали ли Вы".

Первыми словами Государя, после того, что он обнял и поцеловал меня, были: "Я не стану Вас благодарить потому, что у меня не хватило

бы для этого слов, но Вы и без них знаете, какую услугу оказали Вы России тем, что сделали и в такую тяжелую пору и при таких неблагоприятных обстоятельствах. Я следил за каждым Вашим донесением, и Витте и Шипов присылали мне копии со всех Ваших телеграмм. Эти телеграммы были для меня, пожалуй, единственным отрядным явлением за все время Вашего пребывания за границей, настолько все остальное печально и внушает мне самые большие опасения. Вы вероятно также следили за всем, и я не стану говорить, как смутно все, что нас ожидает, и с какими трудностями придется еще бороться прежде, чем мы выйдем на дорогу. Я не хочу впрочем распространяться об этом сейчас, у нас будет опять время часто и подолгу говорить обо всем, но я хочу сказать Вам только прежде всего, что кажется и Ваш главный "друг", гр[аф] Витте, окончательно растаял потому, что он не уставал повторять мне при каждом случае, что он не думал, что Вам удастся достигнуть того результата, которого Вы достигли, и все твердил мне, что я должен особенно отличить Вас наградой. Конечно, он всегда верен себе и однажды даже сказал мне, что Вы совершенно напрасно ушли из министерства в октябре месяце и не послушались его просьбы остаться на месте, так что я даже должен был напомнить ему об обстоятельствах Вашего ухода, вызванного исключительно его желанием. Представьте себе, что он сделал вид, что никаких с Вами недоразумений у него не было, и, видимо, совершенно забыл, что никто другой, как только он, помешал мне назначить Вас председателем Департамента экономии. Теперь об этом не стоит больше говорить, потому что я окончательно расстался с гр[афом] Витте, и мы с ним больше уже не встретимся".

Это были последние слова Государя по поводу моего пребывания за границей, и он перешел к тому вопросу, которого я ждал с таким смущением.

"Поговоримте теперь о другом. Я сказал уже Ивану Логгиновичу, что хочу просить Вас опять занять место министра финансов, чему он очень обрадовался, и я просил его даже предварить Вас об этом, зная вперед, что я могу всегда рассчитывать на Вас".

Я развил Государю мои соображения, высказанные Горемыкину, и сделал это яснее и подробнее, чем говорил старику, начавши с того, что в такую минуту, какую предстоит пережить, не мне ставить Государя в какое-либо затруднение, если бы он признал мои соображения неотвечающими его мыслям, и что и на этот раз, как и всегда, я отдаю себя в его полное распоряжение, но думаю, что именно в его интересах не останавливать выбора именно на мне и сохранить меня для той поры, когда нужно будет думать о нормальной работе, а не о бесцельном отражении неизбежной атаки революционно настроенных учреждений и о неизбежном роспуске Думы в самом начале ее деятельности, который только даст новый толчок к революционным эксцессам и подведет под них новый фундамент.



Неоднократно во время нашей почти часовой беседы Государь выражал мне его надежду на то, что Дума, встретившись с ответственной работой, может быть окажется на самом деле менее революционной, нежели я ожидаю, и, в особенности, что земские круги, которым, по-видимому, будет принадлежать руководящее значение в Думе, не захотят взять на себя неблагоприятную роль быть застрельщиками в новой вспышке борьбы между правительством и новым народным представительством. Оговорившись, что, отсутствовав долго из России, я утратил мою осведомленность и могу ошибаться, я позволил себе сказать Государю, что в таком случае мне кажется, что выбор нового председателя совета министров едва ли соответствует потребностям минуты. Государь просил меня высказаться яснее, почему считаю я Горемыкина мало подходящим для настоящей минуты, и предложил быть совершенно откровенным, насколько не стесняясь тем, что его решение уже состоялось. Беседа наша на эту тему затянулась, и я, не обинуясь, высказал Государю все мои опасения относительно того, что личность Ивана Логгиновича, его величайшее безразличие ко всему, отсутствие всякой гибкости и прямое нежелание сблизиться с представителями новых элементов в нашей государственной жизни, все это не только не поможет сближению с ними, но послужит скорее лозунгом для усиления оппозиционного настроения. Государь слушал меня совершенно спокойно, мало возражал мне и сказал только под конец, что я может быть и прав, но изменить теперь уже нельзя, так как он сделал Горемыкину предложение и отменить его более не может, но совершенно уверен в том, что Горемыкин и сам уйдет, если только увидит, что его уход поможет наладить отношения с новой Думой. "Для меня главное, — сказал Государь, — то, что Горемыкин не пойдет за моей спиной ни на какие соглашения и уступки во вред моей власти, и я могу ему вполне доверять, что не будет приготовлено каких-либо сюрпризов, и я не буду поставлен перед совершившимся фактом, как было с избирательным законом, да и не с ним одним".

От Государя же я узнал, что состав выбора кандидата тоже совершенно предreshен, кроме выбора кандидата на должность министра финансов. Он назвал мне Столыпина для Министерства внутренних дел, Стишинского для Министерства земледелия, князя Ширинского-Шихматова для должности обер-прокурора Св. Синода, Шванебаха для Государственного контроля, Щегловитова для Министерства юстиции и Извольского — для Министерства иностранных дел; о других ведомствах Государь не упомянул.

К моему личному вопросу он отнесся чрезвычайно просто и спокойно. "Вы знаете, — сказал он, — как отраднo мне снова видеть Вас около себя, но я понимаю все Ваши соображения и совсем не хочу заставлять Вас идти против Вашего желания, хотя совершенно уверен в том, что Вы мне не откажете, если только я скажу Вам, что я этого определенно желаю.

При том, как Вы смотрите на предстоящую работу с Думой, конечно, лучше приберечь Вас для будущего и не сводить Вас лицом к лицу с новыми людьми, которые, пожалуй, даже не простят именно Вам, что Вы оказали такую услугу заключением нового займа, за который они открыто поносят именно Вас, и я предоставлю Вам пока отдохнуть, но знайте заранее, что мы будем теперь часто видиться с Вами и, кто бы ни был назначен министром финансов, я всегда буду вызывать Вас к себе при малейшем сомнении”.

Государь просил меня сказать ему, кого следовало бы назначить министром финансов вместо меня. Я указал на Шипова, приведя те же доводы, какие я привел Горемыкину, прибавивши, что для переходного времени он был бы самым подходящим кандидатом, скромным, чрезвычайно вежливым и даже угодливым перед Думой и из-за него не вышло бы никаких осложнений ни с кем, так как он не может служить мишенью для чьего бы то ни было неудовольствия, а усугублять последнее просто неполитично, ибо и без того будет немало поводов ко всякого рода трениям.

Провожая меня до дверей, Государь спросил меня как бы невзначай, не нуждаюсь ли я в деньгах после продолжительного пребывания за границей, и сказал, что ему было бы очень приятно пойти мне навстречу. Меня очень удивило это предложение, так как я никому не говорил ни одного слова о моем материальном положении, да оно и не заботило меня; я мог хорошо жить на то, что было мне назначено при отставке. Я горячо поблагодарил Государя за его милостивое отношение ко мне, попросил его не беспокоиться обо мне, так как мое материальное положение было вполне удовлетворительно, и на этом кончилась моя продолжительная аудиенция.

Прямо от Государя я проехал к Горемыкину, передал ему все до мельчайшей подробности, он, видимо, подчинился решению Государя освободить меня и, не уговаривая больше, совершенно спокойно расстался со мной, и мы не видались с ним более до самого момента открытия Думы в Зимнем Дворце, 26 апреля.

Все три дня до этого события я провел дома, среди семьи и близких, мало кого видел посторонних, а те, которые заходили ко мне, знали уже, что я свободен от участия в новом составе правительства, и все поздравляли меня, кто искренно, кто с известными оговорками. В числе последних был и близкий друг гр[афа] Витте, князь Алексей Дм[итриевич] Оболенский, который совершенно откровенно сказал мне, что Витте просил его расспросить меня осторожно, удалось ли мне отбояриться, и не поверил, когда я сказал ему, что Государь очень милостиво освободил меня от назначения. Князь Оболенский немало удивился такому исходу и прибавил, что, как гр[аф] Витте, так и он сам, думали, что я только ”поломаюсь, как Годунов, но на самом же деле охотно полезу в петлю”. Зная бли-

зость Оболенского к гр[афу] Витте, я рассказал ему и о сделанном мне Государем предложении относительно денег и просил его довести о моем отказе до сведения Витте. Я не сомневаюсь ни на одну минуту, что он выполнил мою просьбу, но это не помешало гр[афу] Витте впоследствии, в его мемуарах, написать, что, вернувшись из-за границы, я просил у него через Шипова о выдаче мне 80. 000 рублей, но он мне в этом отказал, находя мою просьбу возмутительной. Впрочем, не одну эту неправду на мой счет можно прочесть в мемуарах гр[афа] Витте.

Поздно вечером 25 апреля мы сидели дома среди немногих близких людей и рассматривали план нашей новой квартиры на Моховой, которую спешно готовили для нас во время нашего пребывания за границей, а днем того же числа я получил согласие моего домовладельца на Сергиевской освободить меня от контракта, так как у него нашелся близкий человек, охотно взявший мою квартиру. Знакомые наши собирались уже было уходить по домам, когда раздался звонок и мне подали конверт от Танеева и в нем указ о моем назначении министром финансов с приложением церемониала открытия Государем в Зимнем Дворце Государственной Думы и Государственного Совета.

Первым движением моим было позвонить по телефону Горемыкину и спросить его, что все это обозначает, но мне никто на повторные мои звонки не ответил, и я встретился с моим новым председателем Совета министров, как и с моими новыми коллегами, только в Зимнем Дворце, куда мне пришлось таким образом явиться в неожиданном для меня положении министра финансов против всякого моего желания и вопреки надежды моей на то, что эта чаша миновала меня.

Встретившись со мной при входе в тронную залу, Горемыкин, как ни в чем не бывало, просто сказал мне: "Вы, конечно, обвиняете меня в том, что подвел Вас, обещавши Вам не настаивать перед Государем на Вашем назначении, а на самом деле настоял на этом, пользуясь тем, что я хорошо знаю, насколько Вы преданы царю и готовы исполнить его волю. Государь мне сказал два дня тому назад, что он согласился освободить Вас от удовольствия идти под расстрел и хочет приберечь Вас для будущего, и спросил меня, почему бы не оставить пока Шипова на Вашей прежней должности". – "Я ничего не имею против Шипова лично, хотя убежден в том, что ему не справиться в этой новой роли, но нельзя отступить от принятого решения – не оставлять никого из прежнего состава, а другого кандидата у меня положительно нет, и я не вижу, почему нужно оставлять Вас в привилегированном положении, когда я сам был бы только счастлив оставаться там, где я был". Государь сказал мне на это: "Пусть и Владимир Николаевич последует Вашему примеру". И – подписал привезенный мной к нему указ, прибавивши, что если Вам станет не в состоянии, то Вы всегда можете впоследствии исполнить Ваше желание вернуться в Государственный Совет.

Всякие дальнейшие разговоры между нами на эту тему были совершенно бесполезны, и мне пришлось занять мое место по правую сторону трона среди моих новых коллег, которые встретили меня впервые после нашей длинной разлуки, так как никого из них я не видел после моего возвращения из за границы. А люди тут были все давно знакомые: Кауфман-Туркестанский, Щегловитов, Стишинский, Шауфус, назначенный Министром путей сообщения косвенно по моему указанию, так как при первом моем свидании Горемыкин спросил меня, кого я считал бы более подходящим для этого места – инженера ли Шауфуса или князя Голицына, управляющего Экспедицией заготовления Государственных бумаг, про которого ему говорят, что он весьма энергичный и дельный человек. Первого я знал мало, а второго знал хорошо по его службе в Министерстве финансов и сказал только, что я просто не понимаю, как можно брать в такую пору на ответственную должность человека, хотя бы и архиэнергичного, но не имеющего никакого понятия о деле, которым он никогда не занимался. Этого было достаточно для того, чтобы тут же решить судьбу ведомства путей сообщения к моменту образования нового кабинета.

В числе моих новых коллег были и такие, которых я совсем не знал, и в частности – новый обер-прокурор Святейшего синода князь А.А. Ширинский-Шихматов. Его политический облик был, однако, настолько хорошо известен, что новый Государственный контролер Шванебах тут же подошел ко мне и, поздравивши меня в привычной ему шутиливой форме с тем, что мне “не удалось сбросить с себя хомута, который, вероятно, скоро, намнет всем нам немалые мозоли, если даже не свернет кое-кому из нас шею”, заметил, что ему кажется “как будто бы не совсем понятным состав нового правительства и присутствие в нем не малого количества элементов не слишком нежно расположенных к идее народного представительства и едва ли способных внушить особое к себе доверие со стороны последнего”. Я успел только отметить ему, что с этой точки зрения, пожалуй, что и все мы принадлежим к тому же разряду, начиная с нашего председателя, как стали постепенно подходить особы Императорского дома, и нам пришлось прекратить наш беглый разговор.

Странное впечатление производила в эту минуту тронная Георгиевская зала, и думалось мне, что не видели еще ее стены того зрелища, которое представляла собой толпа собравшихся.

Вся правая половина от трона была заполнена мундирной публикой, членами Государственного Совета и – дальше – Сенатом и государевой свитой. По левой стороне, в буквальном смысле слова, толпились члены Государственной Думы и среди них – ничтожное количество людей во фраках и сюртуках, подавляющее же количество их, как будто нарочно, демонстративно занявших первые места, ближайšie к трону, – было составлено из членов Думы в рабочих блузах рубашках-косоворотках, а за

ними толпа крестьян в самых разнообразных костюмах, некоторые в национальных уборах, и масса членов Думы от духовенства. На первом месте среди этой категории народных представителей особенно выдвигалась фигура человека высокого роста в рабочей блузе, в высоких смазных сапогах с насмешливым и наглым видом рассматривавшего трон и всех, кто окружал его. Это был впоследствии снискавший себе громкую известность своими резкими выступлениями в первой Думе — Онипко, сыгравший потом видную роль в Кронштадском восстании. Я просто не мог отвести моих глаз от него во время чтения Государем его речи, обращенной к вновь избранным членам Государственной Думы, — таким презрением и злобой дышало это наглое лицо. Мое впечатление было далеко не единичным. Около меня стоял новый министр внутренних дел П.А. Столыпин, который обернувшись ко мне, сказал мне: "Мы с Вами, видимо, поглощены одним и тем же впечатлением, меня не оставляет даже все время мысль о том, нет ли у этого человека бомбы и не произойдет ли тут несчастия. Впрочем, я думаю, что этого опасаться не следует, — это было бы слишком не выгодно для этих господ и слишком было бы ясно, что нам делать в создавшейся обстановке".

Но было и другое, глубоко запавшее мне в душу впечатление, оставшее во мне след, — это впечатление о том, что переживала императрица-мать во время чтения Государем его тронной речи. Она с трудом сдерживала слезы, переводя глаза с Государя на толпу, почти подступившую к трону, как будто она искала среди этой толпы знакомых лиц, которые успокоили бы ее и рассеяли ее тяжелые думы. Императрица Александра Федоровна стояла рядом с ней, внешне спокойная, но глубоко сосредоточенная, и стоявший около меня министр двора барон Фредерикс после окончания тронной речи, когда все стали выходить, сказал мне по дороге по-французски: "Хотел бы я знать, что думала сегодня Императрица А[лександра] Ф[едоровна], но никто из нас никогда этого не узнает, и только Государю она поверит то, что произошло в ее душе".

Несколько дней спустя я представлялся обеим императрицам по случаю моего возвращения в Министерство финансов. Императрица Александра Федоровна сказала мне только, что она знает, что я просил Государя не назначать меня, и вполне понимает, что у меня слишком много причин не желать этого, но ведь теперь всем так тяжело, сказала она, что всякий должен принести свою жертву и сделать то, что он может.

Совсем иной прием оказала мне Императрица-мать. Она начала с того, что видела меня во время этого "ужасного приема", как выразилась она, и не может до сих пор успокоиться от того впечатления, которое произвела на нее толпа новых людей, впервые заполнивших дворцовые залы. "Они смотрели на нас, как на своих врагов, и я не могла отвести глаз от некоторых типов, — настолько их лица дышали какой-то непонятной мне ненавистью против нас всех". И спросила меня затем, как я смотрю на

возможность работы правительства с таким составом Думы и почему оказалась в нем такая масса духовенства и притом совершенно никогда не виденного ею типа "серых батюшек", как выразилась она.

Я сказал ей на этот раз очень немного, потому что и сам только что вернулся из-за границы и могу судить только по беглым впечатлениям, заимствованным из чтения газет и из разговоров с немногими близкими мне людьми, которые следили за ходом выборов в Государственную Думу. По всему этому у меня сложилось убеждение, что при декабрьском избирательном законе иного состава членов Думы<sup>51</sup> нельзя было и ожидать, что преобладающий характер выборных принадлежит к оппозиционным элементам в стране, настроенным совершенно враждебно и к правительству и к новому строю законодательства, явно не отвечающему их стремлению ввести разом в России парламентский строй с решительным ограничением власти монарха и с насаждением у нас такого внутреннего порядка и таких свобод, с какими не совладает никакое правительство, и высказал мое опасение, что работать с такой Думой едва ли окажется возможным.

На такое мое заключение Императрица сказала мне просто: "А что же в таком случае будет дальше?" Я ей ответил, что прошу не принимать моих слов за безусловно правильный вывод из создавшихся условий, которые, быть может, кажутся мне хуже, чем следует ожидать, и выждать, как станут слагаться события, но по общему моему выводу следует ожидать, во всяком случае, немедленного проявления самых резких выступлений Думы в смысле оппозиционных требований к правительству, и тогда нужно будет решиться на одно из двух: либо на введение у нас полного парламентского строя и в этом случае на передачу власти не старым слугам Государя, а совершенно новым людям, выполняющим не его волю, а волю общественного настроения, либо — на роспуск Думы, и в этом случае нельзя не предвидеть, что при нашем избирательном законе лучшего состава получить не удастся и, следовательно, придется рано или поздно, думать о новом избирательном законе.

"Все это меня странно пугает, и я спрашиваю себя даже, удастся ли нам избежать новых революционных вспышек, есть ли у нас достаточно сил, чтобы справиться с ними, как справились с московским восстанием, и для этого тот ли человек Горемыкин, который может понадобиться в такую минуту".

Не уклоняясь от ответа на этот вопрос, я сказал только, что я не думаю, чтобы Горемыкин и сам считал себя призванным к такой роли, и не понимаю даже, почему не уклонился он и от назначения в данную минуту, так как мне кажется, что он отлично понимает, что его роль крайне неблагоприятная и едва ли даже способен он просто выполнить свой долг перед Государем в такую минуту, для которой он не обладает ни одним из самых необходимых условий. На этом наша беседа кончилась, и про-

вожая меня, императрица сказала мне: "Я понимаю теперь, почему Вы так настойчиво просили Государя не назначать Вас, хотя и понимаю также, что у моего бедного сына так мало людей, которым он верит, а Вы всегда говорили ему то, что думаете".

\* \* \*

В тот же день было назначено торжественное открытие Думы в ее помещении, и всем министрам предложено было явиться в Таврический Дворец к трем часа на молебен. Предполагалось, что тут же произойдет и первая встреча народных представителей с правительством.

Ожидание это получило совершенно естественное, но мало обещающее исполнение. По окончании молебна все мы стояли обособленной кучкой, и к нам решительно никто не подошел, если не считать графа Гейдена, который знал меня за время службы его в Канцелярии по принятию прошений. Он один поздоровался с некоторыми из нас, но также не задерживался беседой с нами, и все мы, простоявши несколько минут, начали расходиться каждый в свою сторону.

*Часть третья*

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  
ПЕРВОГО  
И ВТОРОГО СОЗЫВА

1906—1907 [годы]



## ГЛАВА I

*Штурм власти как лозунг деятельности первой Думы. — Ответный адрес Государю и отказ Государя принять думскую депутацию для вручения адреса. — Постепенное превращение первой Думы в очаг открытой революционной пропаганды. — Телеграммы губернаторов с мест о брожении, вызываемом этой пропагандой. — Солидарная оценка положения правительством. — Защита правительством трех основных положений, разрушения которых добивалась первая Дума. — Правительственная декларация. — Моя беседа о ней с Государем. — Прием, оказанный ей в Думе, и принятие Думой формулы перехода, закрепившей разрыв с правительством. — Выжидательная тактика Совета Министров. — Мои выступления в бюджетной комиссии и общем собрании Думы*



Я не пишу истории моего времени и не стану останавливаться подробно на том, что произошло за короткий период существования первой Государственной Думы. Все это давно известно по самым разнообразным источникам. И здесь, как и во всем, что составляет предмет моих записей и воспоминаний, я хочу говорить только о том, что касается лично моей деятельности и моего участия в пережитых событиях.

Все прекрасно знают о том, как с первого же дня после открытия Думы товарищем председателя Государственного Совета Э.В. Фришем и выбора президиума с подавляющим единодушием, подготовленным задолго вожаками всего оппозиционного движения в лице вошедших в состав Думы членов кадетской партии и ее закулисных руководителей, в лице центрального комитета партии, которые и были истинными хозяевами положения до самого дня роспуска Думы, — началась осада правительства, штурм его и стремление смести все, что было создано за полгода деятельности правительства гр[афа] Витте, и заставить власть принять предложенный партией новый чисто парламентский государственный строй. Все это перешло уже на страницы истории недавней нашей разбитой жизни, и мой рассказ не внесет ничего нового и создаст разве только лишний повод обвинить меня в односторонности освещения.

Достаточно напомнить только, что уже в первом заседании 27 апреля, тотчас после почти единогласного избрания Муромцева на должность председателя Думы, Петрункевич произнес речь о необходимости амнистии политическим заключенным. Через день, 29 апреля, в речи его об ответном адресе Государю на его приветствие ясно выразилась вся основная тенденция этого ответа, а Заболотный произнес речь о необходимости включить вопрос об отмене смертной казни в ответный адрес, и затем

через четыре или пять дней после того в двух заседаниях 2 и 4 мая разом выявилась вся тенденция Думы относительно того, что принято называть "штурмом власти", так как в этих двух заседаниях выразилось все, что первый состав Думы выставил лозунгом своей деятельности. Не стану приводить подробного перечня всех затронутых вопросов, так как все это увековечено в протоколах Государственной Думы первого созыва и вошло в качестве программы в ответный адрес Государю. Напомню только, что тут же было заявлено и о необходимости немедленного увольнения правительства, как не пользующегося доверием народа, и о замене его правительством, ответственным перед народными представителями, и об упразднении Государственного Совета и введении у нас однопалатной системы, о принудительном отчуждении частновладельческих земель, и о даровании всевозможных свобод, и о коренном преобразовании "на демократических началах", чуждых всякой опеки правительства, земских и городских учреждений, и о преобразовании всей налоговой системы, и об удовлетворении отдельных национальностей, и о преобразовании народного представительства на началах всеобщего избирательного права и об амнистии политическим заключенным и т.д.

Составленный на этих основаниях всеподданнейший адрес Государю, на самом деле давно уже изготовленный вне стен Государственной Думы, принят был почти единогласно всем составом Думы, и таким же большинством под гром рукоплесканий, недопустивших никаких возражений и даже изложения самых осторожных замечаний, разрешен вопрос о посылке особой депутации, которая должна была вручить Государю этот адрес. Нашлось всего пять или шесть членов Думы с графом Гейденом во главе, которые хотели принять более осторожную форму в испрошении аудиенции, но их голос был заглушен криками и страстными возражениями, и им не оставалось ничего иного, как заявить свой письменный протест.

На этой почве — форме поднесения адреса Государю — конфликт с правительством разгорелся уже на другой день после вотума о посылке депутации.

6 мая председатель Думы представил Государю заявление Думы. В тот же день представление Муромцева передано было Горемыкину, и уже 8 мая последний уведомил письмом председателя Думы, что депутация принята не будет и адрес должен быть доставлен председателю Совета министров, который и представит его Его Величеству.

С этого дня нужно считать, что конфликт между Думой и правительством и даже самим Государем принял уже окончательную форму, и каждый следующий день только углублял и расширял его.

Стоит только припомнить речи, произнесенные в Думе по поводу письма Горемыкина, стоит только перечитать все, что говорилось во все последующие дни по всякому поводу, и какие проекты законов вноси-

лись со всех сторон по предметам, намеченным в ответном адресе, какие петиции поступали в Думу со всех концов России и какими аплодисментами принимались самые крайние из этих проектов, чтобы видеть ясно и без всякого предубеждения, что Дума становилась день ото дня настоящим очагом открытой революционной пропаганды, для прекращения которой у правительства не было никаких законных способов, кроме того, который напрашивался сам собой с первой же минуты.

Окончательным проявлением этого революционного состояния Думы был исторический день 13 мая, когда правительство внесло в Думу свою декларацию. Этот день и то, что ему предшествовало, особенно памятен мне, и все его мельчайшие подробности стоят и сейчас живо перед моими глазами.

Начиная с самых последних чисел апреля месяца, Горемыкин почти через день собирал у себя на Фонтанке, в доме министра внутренних дел, куда он тотчас же по своем назначении переехал с Сергиевской улицы, по вечерам Совет министров. Я жил в ту пору на казенной даче на Елатином острове, Столыпин поселился на министерской даче на Аптекарском острове, чтобы дать возможность Горемыкину занять дом у Цепного моста. С первых же дней нашего общего назначения между мной и Столыпиным установились самые добрые отношения, и он поминутно звонил мне по телефону по самым разнообразным поводам, а когда я в виду наступившей жаркой в тот год погоды в первые же дни мая переехал на дачу, чтобы дать возможность освободить мою квартиру на Сергиевской, пока будет приведена в жилой вид остававшаяся пустой министерская квартира на Мойке, он часто просил меня заезжать к нему на Аптекарский остров при возвращении моем из города. Часто мы вместе с ним ездили на его паровом катере и на вечерние собрания Совета министров к Горемыкину. Нужно сказать, что главным предметом как моих бесед со Столыпиным, так и всех наших разговоров в Совете были доклады Столыпина о телеграммах губернаторов с мест о том впечатлении, которое переживалось в губерниях от речей в Думе. Все они единогласно говорили об одном — о нарастании революционного подъема и об отсутствии способов бороться с ним. Были прямые указания на то, что губернаторы не могут ручаться за поддержание порядка и предупреждают о возможности самых крайних последствий. Говорилось также и о брожении, охватывавшем низшую чиновничью среду, и почти отовсюду доносились о том, что успокоение, наступившее было после подавления московского восстания, переходит в проявления прямого революционного брожения, которого нельзя устранить никакими мерами, потому что власть совершенно дискредитирована в глазах населения и общее внимание обращено только на Думу, и на местах не знают, какое положение займет правительство в явно нарастающем столкновении с новым народным представительством. Эти почти ежедневные и многочисленные донесения

губернаторов, разумеется, тотчас же становились известными Государю, как из докладов нового министра внутренних дел Столыпина, так и из донесений Горемыкина, который посылал Государю почти ежедневно копии наиболее характерных донесений с мест. Иначе, разумеется, и не могло быть. Не могло правительство скрывать от Государя того, что ему было известно и о чем доносили ему люди, вполне уравновешенные и имевшие служебный опыт. Нужно иметь в виду, что эти донесения не только не сгущали красок действительности, но чаще всего ослабляли их, а было немало таких случаев, о которых правительство узнавало от губернаторов гораздо позже того, что ему приходилось узнавать из других источников, а иногда и просто из газет. Так было, например, с известным инцидентом о Белостокском погроме<sup>52</sup>, весть о котором дошла до Думы раньше того, что недавно назначенный гродненский губернатор Кистер не то по неведению, не то по каким-либо иным основаниям счел себя обязанным сообщить о происшедшем министру внутренних дел, узнавшему о нем из заявления, поступившего в Государственную Думу. Губернатор выехал даже на место только после того, что министр предложил ему по телеграфу сделать это, и положение Столыпина в Думе было, конечно, самое неприятное.

Те же губернаторские донесения составляли совершенно неизбежно предмет постоянных осуждений в Совете министров. Перед Советом сразу же встал во весь рост вопрос о том, что делать.

Как бы ни был разнохарактерен состав нового кабинета, в его среде не было, да и не могло быть ни малейшего оттенка разноречия в ответе на этот вопрос. Перед Советом был выбор только одного из двух путей: либо ясно встать на путь подчинения требованиям Думы, либо сопротивляться им и прямо и решительно выяснить точку зрения правительства на заявленные требования. Я должен совершенно добросовестно и определенно сказать, что ни Горемыкин, ни Столыпин ни разу не говорили о том, какие указания давал им Государь по поводу чтения губернаторских донесений. Меня лично Государь в первые дни деятельности Думы ни разу не вызывал к себе, а очередные мои доклады были в эти дни очень редки, и я даже не припомню ни одного доклада, который бы я имел до дня, непосредственно предшествовавшего выработке Советом текста правительственной декларации.

Все мы были совершенно солидарны в том, что уступка натиску Думы просто недопустима, и в этом отношении самые убежденные противники нового строя по складу своих убеждений, как Ширинский-Шихматов и Стишинский, так же как и поборники идеи полной готовности правительства идти навстречу новым течениям, если только они не находятся в непримиримом несогласии с только что дарованными России основными законами и обеспеченными ими прерогативами верховной власти, — а в числе их был, пожалуй, на первом месте покойный Столыпин, не говоря

о мне самом, потому что я никогда не имел в мыслях отступить в чем бы то ни было от изданных новых законов и был полон самой широкой готовности идти навстречу честного выполнения их, — все мы ясно сознавали, что борьба неизбежна и что никто из нас, не нарушая своего долга перед Государем и перед страной, не имеет права отойти от тех трех основных положений, разрушение которых было поставлено задачей первых думских выступлений.

Я разумею: отмену права собственности на землю в порядке принудительного отчуждения земли для передачи ее крестьянству;

отмену основных законов в смысле перехода власти из рук правительства, ответственного перед монархом, и замену его правительством, ответственным перед народным представительством и назначенным из его состава;

захват всей власти управления народным представительством.

По этим основным положениям между нами не только не было никакого разногласия, но даже они не составляли предмета какого-либо спора, либо продолжительного обмена мнений. Справедливость заставляет меня прямо сказать, что никто из крайних представителей так называемого правого течения не имел надобности поднимать своего голоса в Совете и, никому из поборников более умеренного течения не приходилось убеждать других в своих взглядах, и все мы были безусловно солидарны в том, что адрес Думы на имя Государя в ответ на произнесенную им тронную речь безусловно неприемлем и должен сопровождаться правительственной декларацией, содержащей в себе две исходные мысли: незыблемое охранение вновь установленного порядка с неприкосновенностью права собственности и полную готовность правительства идти навстречу пожеланий народного представительства в области усовершенствования нашего законодательства и насаждения принципа законности в деле государственного управления. Совету не пришлось долго рассуждать над содержанием декларации. Я не могу сказать, кому именно принадлежит ее первоначальный, черновой набросок, был ли он лично составлен Горемыкиным, чего я не думаю, или принимал участие в его составлении кто-либо другой, но думаю, что два лица играли существенную роль в этой работе. А именно: по существу — Столыпин, а по редакционной отделке ее — Щегловитов. На мою долю не пришлось в этом отношении никакого активного участия.

Мне пришлось только встретиться с этим вопросом за два или за три дня до внесения декларации на рассмотрение Думы, когда Государь заговорил со мной на моем очередном докладе перед самым днем 13 мая.

По окончании моего доклада, во время которого мне пришлось, говоря о делах Финансового ведомства, сказать Государю, что заграничные биржи расценивают плохо начало думской работы и заграничная печать встреча-

ет выступления Думы с нескрываемым опасением за неизбежные ее последствия, говоря прямо, что они должны усилить революционное движение в стране, а биржа отметила это настроение резким падением наших фондов и в особенности только что заключенного мной займа, Государь сказал мне, что ему не нравится самая идея правительственной декларации перед Думой, и он спрашивает себя даже, не следует ли ему самому ответить Думе на обращенный ею адрес, например, в форме непосредственного послания к ней как собранию народных представителей, что было бы равносильно обращению Государя к своему народу. Я возражал против этой мысли, доказывая Государю, что такой шаг не только не предусмотрен в законе, но и не желателен по существу потому, что он создал бы крайне опасный прецедент непосредственного конфликта монарха с народным представительством и сделал бы его стороной в споре, тогда как ему принадлежит роль верховного вершителя столкновения происшедшего с последним у его правительства, ответственного перед ним одним.

Для Думы совершенно очевидно, что правительство говорит с его ведома и исполняет его волю, но имя монарха не должно быть замешано в распрах, и всю тяжесть столкновения, которое, по-моему, совершенно неизбежно и неотвратимо должно принять на себя только правительство.

Государь согласился со мной и сказал мне, что он имел об этом продолжительную беседу с министром внутренних дел, которого он видит часто это время, и он все больше и больше нравится ему ясностью его ума и ему кажется, что он обладает большим мужеством и чрезвычайно ценным другим качеством – полной откровенностью в выражении своего мнения. По его словам, мнение Столыпина совершенно совпадает с моим взглядом, но, прибавил он, "не все около меня придерживаются того же мнения и очень настаивают на том, чтобы я лично выступил перед Думой". То, что случилось накануне 9 июля<sup>53</sup>, разъяснило потом смысл этих слов Государя.

По самой декларации Государь сказал мне, что он с ее текстом совершенно согласен, но предпочел бы, чтобы он был еще более резок и внушитель, но не требует изменений, чтобы не дать повода говорить потом, что правительство не соблюло сдержанности в своем расхождении с народным представительством, хотя для него очевидно, что этим дело не кончится. "Не будем, впрочем, забегать вперед", – закончил Государь, отпуская меня, – "бывает, что и самая безнадежная болезнь проходит каким-то чудом, хотя едва ли в таких делах бывают чудеса. Я все припоминаю, что говорили вы мне, когда просили меня, не назначать Вас теперь министром финансов".

Помню я хорошо день 13 мая, чтение Горемыкина декларации правительства.

Весь состав правительства явился в Думу и занял свои места. Рядом с Горемыкиным сидел барон Фредерикс, потом я, а рядом со мной Столыпин.

Читал декларацию Горемыкин едва слышно, без всяких подчеркиваний, ровным, бесстрастным голосом, но руки его дрожали от волнения. Гробо-вое молчание сопровождало все его чтение, и ни одним звуком не отозвалась Дума на это чтение. Не успел кончить Горемыкин свое чтение, как на трибуну в буквальном смысле слова выскочил В.Д. Набоков и произнес свою знаменитую, короткую реплику, закончившуюся под оглушительный гром аплодисментов известной фразой: "Власть исполнительная, да подчинится власти законодательной". И затем полились речи Родичева, Аладьина, Кокошкина, Щепкина и другие, одна резче другой, с заранее подготовленными выходами против правительства, обвинявшие его во всевозможных преступлениях. Каждое слово их сопровождалось все более и более страстными рукоплесканиями, только еще более разжигавшими и без того неудержимый пыл ораторов.

Пробовал, было, выступить против резких выкриков о сплошном беззаконии, гуляющем по всей России, министр юстиции Щегловитов, взявший самый сдержанный и деловитый тон для своего выступления, но это только поддало пыла расходившимся ораторам и ясно указывало на то, что всякие попытки на разъяснения обречены на полную безрезультатность и могут привести только к новым обострениям. Не раз барон Фредерикс спрашивал меня, не пора ли всем нам уйти, но я удерживал его, говоря, что нам следует уйти после того, как уйдет председатель Совета министров. С трудом, едва сдерживая возмущение от сыпавшихся на нашу голову всевозможных выходок, в которых пальма первенства я не знаю, кому принадлежала – кадетам ли или их левым союзникам, досидели мы до перерыва, и все вместе покинули Думу, которая тут же, после целого ряда возмутительных выходок против правительства и всех его представителей, в том же заседании вынесла мотивированный переход к очередным делам, только закрепивший назревший разрыв ее с правительством.

И теперь после многих лет, протекших с того дня, хочется привести случайно попавший мне уже в изгнании текст этого перехода.

"Усматривая в выслушанном заявлении председателя Совета министров решительное указание на то, что правительство совершенно не желает удовлетворить народные требования и ожидания земли, прав и свободы, которые были изложены Государственной Думой в ее ответном адресе на тронную речь и без удовлетворения которых невозможны спокойствие страны и плодотворная работа народного представительства; находя, что своим отказом в удовлетворении народных требований, правительство обнаруживает явное пренебрежение к истинным интересам народа и явное нежелание избавить от новых потрясений страну, изму-

ченную нищетой, бесправием и продолжающимся господством безнаказанного произвола властей,

выражая перед лицом страны полное недоверие к безответственному перед народным представительством министерству

и признавая необходимейшим условием умиротворения государства и плодотворной работы народного представительства, немедленный выход в отставку настоящего министерства и замену его министерством, пользующимся доверием Государственной Думы,

Государственная Дума переходит к очередным делам”.

Из всего состава Думы только семь членов не подали своего голоса в пользу такого перехода и подали особое мнение.

На другой день, 14 мая, текст перехода был представлен Государю Горемыкиным; через день, 16-го, Совет собрался в короткое заседание на Фонтанке, и Горемыкин предложил всем высказаться, для доведения до сведения Государя, какие меры следует принять при создавшемся положении и как следует держаться правительству по отношению к Думе.

Всем было совершенно ясно, что ни о какой работе правительства с Думой не может быть и речи и все суждения вращались только около вопроса о том, следует ли теперь же готовиться к роспуску Думы или же проявить известную сдержанность и посмотреть, какой оборот примут заседания Думы и не послужит ли принятая резолюция до некоторой степени отдушиной в разгоряченной атмосфере думского настроения.

Разногласия между нами, в сущности, никакого не было. Один лишь новый министр иностранных дел А.П. Извольский доказывал необходимость быть терпеливым и сдержанным в отношении Думы, надеясь на то, что страсти могут улеяться и можно будет приступать к работе. В его заявлениях сквозило опасение за то, что общественное мнение Европы будет резко против нас и помешает нашей внешней политике. Внутренняя же опасность революции мало смущала его. Кроме него, все мы ясно сознавали, что переход к очередным делам принят был вовсе не сгоряча, а представлял собой совершенно ясно выраженную подготовку издавна приготовленного наступления на правительство с целью либо вырвать из рук его всю фактическую власть и передать ее в руки оппозиции, либо в случае неудачи такой атаки вызвать новую революцию в стране и переложить всю ответственность на правительство, как врага народа, отказывающего удовлетворить требования, заявленные его представителями.

Для всех нас было также ясно, что руководящая роль принадлежит все той же кадетской партии, которая пользуется всеми крайними элементами, облекая в квази-парламентскую форму призывы к бунту, и весь вопрос сводился лишь к тому, какую тактику примет руководящая партия и остановится ли она на достигнутой ею первой позиции или пойдет дальше тем же бурным темпом. В этом отношении решающая роль принадлежала, естественным образом, министру внутренних дел, кото-



рый с первой же минуты проявил большую выдержку и не скрывая ни от кого от нас убеждения, что роспуск Думы совершенно неизбежен, высказался также за выжидательный способ действий, хотя и не скрывал от нас, что его сведения с несомненностью указывают на то, что из думских кругов идет совершенно определенная агитация в провинцию под самыми крайними лозунгами, и что недалек тот день, когда наиболее опытные и уравновешенные губернаторы заявят ему, что в их распоряжении нет более средств охранить общественный порядок.

Мы разошлись на том, что следует быть готовым ко всяким случайностям, зорко следить за действиями Думы и получить заблаговременно полномочия Государя на принятие тех мер, которые он сочтет необходимыми для поддержания порядка в стране.

Горемыкин просил нас только отнюдь не говорить кому бы то ни было о нашем безнадежном настроении, прибавивши, что наш общий долг заключается в том, чтобы терпеливо переносить наше невыносимое положение до той минуты, когда каждому станет ясно, что ждать больше нечего.

Быстро прошел май и весь июнь. Как из рога изобилия сыпались в Думе запросы правительству по самым разнообразным поводам. В перемешку с ними шли урывками обсуждения крайних предположений по аграрному вопросу, об общей амнистии, об отмене смертной казни и т.д. Правительство и, в частности, Министерство финансов, внесло целый ряд законопроектов по самым разнообразным вопросам, но их никто не рассматривал, и только с величайшей серьезностью обсуждался каждый раз вопрос о направлении в ту или другую комиссию либо об образовании особой для рассмотрения их комиссии. Изредка появлялись в Думе представители отдельных ведомств, — чаще всего военного, — для представления объяснений на сделанные запросы о незаконных действиях, но в этих сравнительно немногих случаях Дума обращалась в настоящий митинг с самыми неупотребительными оскорблениями представителей правительства, и каждый раз выносились только самые резкие резолюции, иногда противные здравому смыслу, и прения всегда заключались криками "в отставку".

Лично мне пришлось быть за все это время в Государственной Думе только один раз в Бюджетной комиссии и также один раз в общем ее собрании. Поводом было совместное мое и министра внутренних дел представление об ассигновании сверхсметного кредита в 50 миллионов рублей на помощь населению, пострадавшему от неурожая, и, в частности, о спешном отпуске денег на заготовку семян для посева. Правительство спрашивало при этом полномочий на изыскание средств для удовлетворения этой потребности, так как в бюджете не было ассигнований, а найти их в сбережениях по сметам в начале года было естественным образом совершенно невозможным.

Предыдущий 1905 год был плохой в смысле урожая; с мест с самого начала года стали поступать тревожные сведения, а к весне ясно обнаружилось, что в отдельных местностях нельзя обойтись средствами продовольственного капитала и не миновать необходимости отпуска от казны крупных сумм. Министерства внутренних дел и земледелия исчисляли продовольственную нужду в сумме 100 миллионов рублей на продовольствие и обсеменение. Такие же данные доходили до меня и от управляющих Казенных палат, которых я просил привлечь податную инспекцию к наиболее близкому участию в деле. С трибуны Думы также раздавались жалобы на тяжелое положение в некоторых местностях, и все заявления об этом, разумеется, облекались в форму самых возмутительных выпадов опять же против правительства и кончались затем возбуждением по инициативе Думы предположения об отпуске кредита. О том, что правительственный законопроект лежит в Думе без движения, никто и слышать не хотел, и все мои попытки добиться скорейшего рассмотрения его Думой, не приводили ни к чему. Посылал и министру внутренних дел, посылал и я своих представителей то в Продовольственную, то в Бюджетную комиссии с просьбой ускорить рассмотрением представления, так как с мест шли все более и более настойчивые требования кредитов, но ответ на наши настояния всегда был один — дело в разработке, и Дума ближе знает народные нужды.

Наконец, уже около 15 июня я получил приглашение "пожаловать лично или прислать уполномоченного представителя" в Бюджетную комиссию для рассмотрения заключения Продовольственной комиссий по внесенному правительством законопроекту об ассигновании 50 миллионов рублей на продовольственную помощь. Я поехал сам, не желая давать повода говорить, что министры уклоняются от совместной работы с Думой. Перед комнатой, в которой заседала комиссия, меня встретил ее председатель Петрункевич и в изысканно любезной форме ввел в заседание, предложив докладчику Герценштейну изложить его заключение по делу.

Заявивши, что он во всем разделяет заключение Продовольственной комиссии, Герценштейн обратился ко мне с предложением осветить ему несколько финансовое положение казны и то, насколько проектированный расход посилен для средств казначейства в данное время. Я стал давать мои объяснения в пределах рассматриваемого правительственного законопроекта, но после первых же моих вступительных объяснений Герценштейн собрал свои бумаги в портфель и ушел из заседания. Мне пришлось давать мои объяснения без него, и главные вопросы мне стал задавать член Думы Иоллос. После него начался перекрестный допрос целого ряда совершенно мне неизвестных членов по самым разнообразным предметам, не имевшим ничего общего с делом, а затем мне было объявлено, что Бюджетная комиссия присоединяется к заключению

Продовольственной, находит, что проект разработан совершенно недостаточно, и в настоящую минуту может быть речь только о частичном отпуске в счет испрашиваемого кредита не более 15 миллионов, а остальная сумма будет дана, когда министерство принесет все дополнительные данные, — какие именно, — я так и не узнал несмотря на то, что и я и представитель Министерства внутренних дел старались всеми доступными способами доказать, что внесенное представление содержит в себе ответы на все задаваемые нам вопросы, а поступившие после внесения законопроекта сведения только увеличивают во много раз заявленную нами нужду. Нас никто просто не слушал, и только с мест неслись крики "это все неправда, у нас совсем другие данные, и мы решим дело на их основании". Я пытался было не раз сослаться на то, что в самой Думе было немало речей, подтверждающих необходимость спешного разрешения кредитов в гораздо более значительных суммах, нежели затребованные правительством, что последнее готово идти и далее того, что оно первоначально заявило, лишь бы удовлетворить бесспорную нужду и не понести упрека за то, что население осталось без своевременной помощи, указал я и на то, что сокращение кредита только переложит ответственность на народное же представительство. Ничто не помогало, и Бюджетная комиссия осталась при решении Продовольственной урезать кредит до 15 миллионов и потребовать внесения в спешном порядке нового проекта с новыми, неизвестными, сведениями.

О тоне этих прений, о сплошных насмешках над правительством и его представителями — не приходится и говорить, настолько было очевидно, что все делается для унижения нас и для того, чтобы доставить себе дешевое удовольствие, как говорится, "покуражиться" над нами. Под конец прений председатель комиссии Петрункевич предложил без прений присоединиться к заключению Продовольственной комиссии об отпуске только кредита в 15 миллионов рублей, но исключить второй пункт правительственного проекта относительно предоставления правительству полномочий изыскать средства на покрытие этого расхода, как не обеспеченного бюджетом, и сказать просто в соображениях комиссии, что у правительства есть прямая возможность найти эту сумму в 15 миллионов в остатках по сметам, на том простом основании, как развивали разные члены комиссии, что "достаточно в сметах вообще и в смете Министерства внутренних дел, в частности, всякого рода бесполезных и даже прямо вредных расходов, вроде расходов на содержание урядников и полиции вообще, чтобы была какая-либо необходимость давать правительству, которому мы не верим, право искать новые источники для расхода".

И тут я напрасно старался доказывать элементарную истину, что все расходы, внесенные в сметы, основаны, каждый, на определенном законе, что для отмены таких законов нужны определенные законодатель-

ные полномочия и замена старых законов новыми, а до того – всякое учреждение следует содержать в том виде, как оно проведено в жизнь, и нельзя давать полномочий правительству уничтожать их по своему усмотрению, в особенности, когда этому правительству не верят, – все не приводило ни к чему, и меня никто не слушал и дело прошло именно в таком диком виде, как предложила Продовольственная комиссия по инициативе ее председателя князя Львова, впоследствии первого председателя Временного правительства февраля 1917 г[ода].

Настал день рассмотрения вопроса в Общем собрании Думы – 23 июня, – и повторилась с фотографической точностью та же картина, какая была и в Бюджетной комиссии. Князь Львов произнес, разумеется, оппозиционную речь, в которой ничего не сказал по поводу представления правительства, а громил только последнее за всю его политику, доведшую страну до голода, говорил о невозможности утвердить его проект об отпуске 50 миллионов, хотя и сам признавал, что потребуются гораздо больше, и только с большой иронией отзывался на желание правительства получить “еще какое-то право изыскивать средства на покрытие такого расхода, как будто у него, при малейшей доброй воле, нет средств в двухмиллиардном бюджете”.

Два раза выступал я на трибуне, каждый раз под возгласы “в отставку” при конце моих объяснений и ничего, разумеется, не добился. Меня и тут никто не хотел слушать, и только многие члены Думы с усмешкой поглядывали на меня с их мест, не прерывая меня, правда, каким-либо возгласами.

С таким решением первого и единственного рассмотренного при моем участии дела в Думе пришлось мне покинуть ее стены, и немало было разговоров по этому поводу среди министров в ближайшем заседании Совета министров вечером того же или следующего дня. Большинство министров, имевших хороший опыт в разрешении денежных дел, конечно, прекрасно понимали всю нелепость принятого решения, и многие решительно поддерживали меня в моем заявлении о необходимости апеллировать к Государственному Совету о внесении поправок в принятое решение с тем, чтобы можно было исправить его в порядке соглашения с Думой. Мы просили даже Горемыкина переговорить об этом с председателем Государственного Совета и узнать, насколько мы можем рассчитывать на его поддержку. Но Горемыкин проявил и тут свойственное ему равнодушие. “Я прекрасно понимаю всю нелепость принятого решения, но положительно отказываюсь от всякой попытки исправить его и совершенно уверен в том, что и Государственный Совет нам не поможет и не потому, что мы неправы, а потому, что он не захочет на первых же порах вступать в конфликт с Думой. А вас, – сказал он, обращаясь ко мне, – я особенно прошу не придавать этому делу никакого значения. Все равно Дума не желает с нами работать, и мы должны пос-

тупать, как требует польза дела, то есть отпустить 15 миллионов, разумеется, не затрагивая никаких остатков, которых теперь еще и быть не может, внести немедленно новое представление об отпуске сумм и не закрывать глаз на то, что никакие основания правильного ведения дела все равно не приложимы, а на то, что говорят про нас и как оскорбляют нас, — об этом теперь бесполезно рассуждать”.

На другой день мы попробовали, было, проехать вместе со Столыпиным к Горемыкину, чтобы разубедить его в невозможности оставить дело в таком положении даже без всякой попытки на его исправление, но из этого решительно ничего не вышло, и только он согласился на то, чтобы Столыпин попробовал переговорить с председателем Думы Муромцевым, чего я не советовал делать, понимая, что у того нет ни желания, ни даже возможности влиять на пересмотр принятого решения. Столыпин тем не менее съездил к Муромцеву или говорил с ним по телефону, но в тот же день известил меня, что из этого ничего не вышло и приходится, видимо, махнуть рукой на всякую возможность какой-либо работы в Думе.

Расчет мой на Государственный Совет оказался также совершенно напрасным, и правым оказался Горемыкин. И председательное большинство членов, конечно, давали себе ясный отчет в том, что решение Думы безобразно, но все они открыто заявили в частной беседе, что входить в конфликт с Думой не стоит и лучше просто утвердить ее заключение несмотря на всю его нелогичность и ждать иного повода для более подходящего конфликта.

Его на самом деле не оказалось уже по тому одному, что Государственному Совету не пришлось до роспуска Думы встретиться еще ни с одним из решений, вынесенных Думой по рассмотренным ею делам.

## ГЛАВА II

*Искание выхода из создавшегося положения. — Вопрос о роспуске Думы. — Д. Ф. Трепов и барон Фредерикс. — Беседа Государя со мной о проекте образования министерства с преобладанием кадетских деятелей. — Мысли барона Фредерикса об обращении Государя к народным представителям. — Проект Столыпина об образовании министерства с привлечением общественных деятелей. — Назначение Столыпина председателем Совета министров и роспуск первой Государственной Думы*



В течение остающихся двух недель наши заседания в Совете министров были немногочисленны и непродолжительны по времени. Мы обменивались, главным образом, впечатлениями и осведомленностью о том, что делалось в стране под влиянием все разгоравшегося настроения в Думе, и я должен сказать, что у всех было ясное убеждение в том, что

ропуск Думы становится день ото дня делом все большей и большей неизбежности, но прямого обсуждения вопроса в нашей среде, по крайней мере, в виде ясно поставленного вопроса не происходило. Горемыкин как-то неохотно реагировал на заявления некоторых министров, и в особенности на наиболее близкого ему по прежней службе в Министерстве внутренних дел за его время Стишинского, — на то, что нечего больше ждать, ибо иначе может быть уже поздно. Он не выражал личного своего мнения, но давал ясно понять, что нужно ждать прямых указаний от Государя, который осведомляется им и министром внутренних дел обо всем, что происходит.

Гораздо более определенно было это положение в глазах министра внутренних дел Столыпина. Мы продолжали часто видеться с ним вне заседаний Совета, и каждый раз он говорил мне, что роспуск надвигается, что в Государе он замечает часто очень нервное отношение, которое Горемыкин старается успокаивать постоянными ссылками на то, что ничего особенного не произойдет, но, по его впечатлению, он думает скорее, что Государю не нравится неясное положение, занятое правительством в этом жгучем вопросе, и его личное мнение сводится к тому, что Государь только и ждет, чтобы правительство заняло ясную позицию, и в таком случае в нем мы не встретим ни оппозиции, ни колебаний. При этом, ссылаясь на то, что он лично недостаточно знает его характер и часто замечает, что Государь как-то уклоняется от прямого ответа на его вопросы, Столыпин все спрашивал меня, как ему вести себя в Царском Селе и следует ли ему брать на себя инициативу или лучше действовать через Горемыкина. Я совсем не видел Государя за все это время вне моих обычных докладов по пятницам, а в тех случаях, когда мне приходилось бывать с очередными докладами, я ни разу не видел в нем ни малейших колебаний в оценке положения. Напротив того, не проходило ни одного раза без того, что Государь после окончания очередного доклада не наводил разговора на общее положение, и каждый раз он неизменно говорил одно и то же, а именно, что все, что происходит в Думе, его крайне удручает и приводит к убеждению, что так долго продолжаться не может, и он все ожидает, когда выскажется Иван Логгинович окончательно о том, на что нужно решиться, хотя, — как он прибавлял каждый раз, — выбора, что нужно делать, никакого нет, и речь идет только об одном, — какой момент следует избрать для решения.

На одном из моих докладов, не помню хорошо, было ли это тотчас после решения Думы по продовольственному кредиту<sup>54</sup> или непосредственно перед заседанием, но когда уже было известно заключение двух думских комиссий, Государь сказал мне как-то перед тем, что я вышел из его кабинета: "Здесь я слышу с разных сторон, что дело вовсе не так плохо, как может казаться по речам в Думе, и нужно только терпеливо ждать и не нервничать, так как Дума постепенно втянется в работу и

сама увидит, что государственная машина не такая простая вещь, как это ей кажется на первых порах, но лично я думаю, — прибавил он, — что в этой мысли много дилетантизма или даже, пожалуй, отголосков клубных разговоров, и сам я смотрю совершенно иначе”. Государь не назвал мне ни одного имени, и я не мог ничего сказать Столыпину определенного, но советовал ему только поближе присмотреться к двум лицам — министру двора барону Фредериксу и дворцовому коменданту Д.Ф. Трепову. Первый не имеет никакого понятия в государственных делах, Государь не советуется с ним ни о чем, но его личное благородство и преданность Государю настолько вне всяких сомнений, что Государь поневоле останавливает свое внимание на его словах, а Императрица доверяет ему больше, чем кому-либо из придворного окружения. Положение, занятое Треповым, — сказал я, — мне совершенно неясно, но ему Государь положительно доверяет, и в нем можно иметь либо деятельного пособника, либо скрытого, и опасного противника. Я сказал при этом Столыпину, что вскоре после открытия Думы, — вероятно это было 6 мая, в день рождения Государя, — беседуя со мной в большом дворце, Трепов спросил меня, как отношусь я к идее министерства, ответственного перед Думой и составленного из людей, пользующихся общественным доверием, и насколько я считаю возможным теперь, после открытия Думы, сохранить министерство, зависящее исключительно от монарха и его воли. Я успел только сказать ему, что этот вопрос требует подробного разъяснения, и я готов дать ему его, если он как-нибудь встретится со мной в более подходящей обстановке, но предостерегаю его именно от того, что в наших условиях этот вопрос особенно щекотлив при двухпалатной системе, при своеобразном устройстве верхней палаты и в особенности при явно враждебном объему власти нашего монарха оппозиционно настроенном большинстве нашей политической интеллигенции. Посмотревши мне в упор и не смущаясь тем, что кругом нас было немало всякого рода людей, Трепов сказал мне: ”Вы полагаете, что ответственное министерство равносильно полному захвату власти и изъятию ее из рук монарха с претворением его в простую декорацию”. Я успел только сказать ему, что допускаю и гораздо большее, то есть замену монархии совершенно иной формой государственного устройства, — как мы должны были прекратить наш разговор, и он никогда больше не возобновлялся до самой смерти Трепова.

Вскоре мне пришлось, однако, убедиться в том, что Трепов не оставил своей мысли, и она претворилась даже в некоторые действия с его стороны, — но об этом речь впереди.

Столыпин сказал мне по поводу моего мнения, что с бароном Фредериксом он уже пытался говорить, но у него такой сумбур в голове, что просто его понять нельзя, а с Треповым он непременно будет говорить и постарается выяснить, какова его точка зрения на события дня, потому что

ему также со всех сторон говорят, что он имеет бесспорное влияние на Государя и к его голосу Государь прислушивается больше, нежели к чьему-либо из всего дворцового окружения.

Приблизительно в ту же пору, — между 15 и 20 числами июня, после одного из моих очередных докладов в Петергофе Государь задержал меня после доклада, как это он делал иногда, когда что-либо особенно занимало его внимание, и, протягивая сложенную пополам бумажку, сказал мне: "Посмотрите на этот любопытный документ и скажите мне откровенно Ваше мнение по поводу предлагаемого мне нового состава министерства взамен того, которое вызывает такое резкое отношение со стороны Государственной Думы". На мой вопрос, кому принадлежит мысль о новом составе правительства взамен так недавно образованного, Государь ответил мне только: "Конечно, не Горемыкину, а совсем посторонним людям, которые, быть может, несколько наивны в понимании государственных дел, но, конечно, добросовестно ищут выхода из создавшегося трудного положения".

Переданный мне Государем на просмотр список я тут же вернул Государю, записал его тотчас после возвращения домой, но он у меня не сохранился и пропал вместе с теми немногими бумагами, которыми я так дорожил до самого моего отъезда из России. Я мог поэтому запомнить что-либо в деталях, но хорошо помню главные части этого списка.

На левой стороне бумажки стояли названия должностей, а на правой, против них, фамилии кандидатов. Против должности председателя Совета министров была написана фамилия — Муромцев; против министра внутренних дел — Милюков или Петрункевич; против министра юстиции — Набоков или Кузьмин-Караваев; против должностей министров военного, морского и Императорского Двора — слова: по усмотрению Его Величества; против министра иностранных дел — Милюков или А.П. Извольский; против министра финансов — Герценштейн; против министра земледелия — Н.Н. Львов; против государственного контролера — Д.Н. Шипов. Прочих министров моя память не удерживает.

Когда я внимательно прочитал этот список и был, видимо, взволнован, Государь сказал мне тоном наружно совершенно спокойным: "Я очень прошу Вас высказать мне Ваше мнение с Вашей обычной откровенностью, и не стесняясь ни выражениями, ни Вашими мыслями, прошу Вас только никому не говорить о том, что Вам известно".

Я дал, конечно, мое слово свято исполнить его желание, сказавши, что, очевидно, и Совет министров не должен знать ничего, и получил подтверждение словами: "Именно это я и разумею".

Насколько я умел в минуту охватившего меня волнения изложить мои мысли в связном порядке, я спросил Государя понимает ли он, что принятием этого или иного списка министров, но принадлежащих к той же политической группировке, к которой принадлежат, за малыми изъ-



ятиями, все намеченные кандидаты, Государь передает этой части так называемого общественного мнения всю полноту исполнительной власти в стране, и сам остается без всякой власти и вне всякой возможности влиять на ход дел в стране, каковы бы ни были те меры, которые предложит такая исполнительная власть. Уволить этих министров он фактически уже не может потому, что лично он без того, что принято называть государственным переворотом, более не может распоряжаться через голову правительства исполнительными органами, которые, конечно, тотчас же будут подобраны из элементов угодных этому правительству, а встать в открытый конфликт с последним равносильно полной сдаче всей своей власти и не только превращению всего нашего государственного строя в монархию даже не английского типа, но и неизбежному коренному изменению всего строя, со всеми последствиями, размеров и форм которых никто ни предвидеть, ни учесть не может. Я старался, как умел, показать на примерах, в какие проявления неизбежно выльется такая перемена после всего, что только что пережила и теперь переживает Россия, и остановился особенно подробно на той мысли, что передача власти самим Государем в руки одной, резко выраженной, политической партии тотчас после того, что им же только что утверждены основные законы Государства, построенные на иных принципах, и при этом под давлением явно революционных требований, проникнутых нескрываемым стремлением к коренной ломке нового уклада жизни, — чрезвычайно опасна, в особенности, когда становится вопрос о передаче власти в руки людей, совершенно неведомых Государю и, конечно, проникнутых не теми идеями, которые отвечают его взглядам на объем власти монарха.

Внимательно слушая меня, Государь спросил меня: "Что же нужно делать, чтобы положить предел тому, что творится в Думе, и направить ее работу на мирный путь". Я дал ему такой ответ, приводимый мной здесь в самом сжатом виде, но с точным воспроизведением основных моих мыслей:

Политическая партия, из которой неведомый мне автор предполагает сформировать новое правительство, жестоко заблуждается, думая, что, ставши у власти, эта группа поведет работу законодательства хотя бы по выработанной ею программе, даже если бы она была одобрена Государем. Эта группа в своем стремлении захватить власть слишком много наобещала крайним левым элементам и слишком явно попала уже в зависимость от них, чтобы удержаться на поверхности. Она сама будет сметена этими элементами, и я не вижу, на чем и где можно остановиться. Я вижу без всяких прикрас надвигающийся признак революции и коренную ломку всего нашего государственного строя. Если Государь разделяет мои опасения, то не остается ничего иного, как готовиться к роспуску Думы и к неизбежному также пересмотру избирательного закона 11 декабря, наводнившему Думу массой крестьянства и низшей земской ин-

теллигенции, а до того подумать о том, — нельзя ли лучше организовать само правительство до выбору самого Государя, удалить из него элементы, явно не сочувствующие новому строю, привлечь взамен их другие, более приемлемые для общественного мнения, и постараться внести больше порядка и законности на местах — без громких лозунгов, и в то же время не отступать перед борьбой с явным насильственным захватом власти, безразлично, помощью ли думского давления, заранее рассчитанного на осаду власти, или помощью ярко окрашенного еще более враждебным настроением к существующей царской власти крайних, чисто революционных, элементов. Мои последние слова были: "Мы не выросли еще до однопалатной конституционной монархии чисто парламентского образца, и моя обязанность предостеречь Вас, Государь, от такого нового эксперимента, от которого, пожалуй, уже и не будет больше возврата назад".

Государь долго стоял молча передо мной, потом подал мне руку, крепко пожал мою и отпустил меня словами, которые я хорошо помню и сейчас: "Многое из того, что Вы сказали мне, я давно пережил и перестрадал, Я люблю слушать разные мнения и не отвергаю сразу того, что мне говорят, хотя бы мне было очень больно слышать суждения, разбивающие лучшие мечты всей моей жизни, но верьте мне, что я не приму решения, с которым не мирится моя совесть, и, конечно, взвешу каждую мысль, которую Вы мне высказали, и скажу Вам, на что я решусь. До этой же поры не верьте, если Вам скажут, что я уже сделал этот скачок в неизвестное".

Не мало было мое удивление, когда в тот же день, около трех часов, едва я успел вернуться к себе на дачу, ко мне приехал брат дворцового коменданта А.Ф. Трепова — А.Ф. Трепов, впоследствии министр путей сообщения, и на короткое время, председатель Совета министров, и обратился ко мне с сообщением, что ему точно известно, что его брат недавно представил Государю список нового состава министерства из представителей кадетской партии, и он чрезвычайно опасается, что при его настойчивости и том доверии, которым он пользуется у Государя, этот "безумный", по его выражению, проект может проскочить под сурдинку, если кто-либо вовремя не раскроет глаза Государю на всю катастрофическую опасность такой затеи. Он просил меня взять на себя труд разъяснить Государю всю недопустимость этой меры и удержать, если только это не поздно, Россию на краю гибели, в которую ее ведут невежественные люди, "привыкшие командовать эскадром, но не имеющие ни малейшего понятия о государственных делах". Связанный словом, данным Государю, я ничего не сказал Трепову из того, что только что узнал, и советовал ему переговорить с Горемыкиным и Столыпиным, до которых это дело касается прежде всего, а затем постараться повлиять на его собственного брата, если он на самом деле затеял эту опасную игру. Его ответ был весьма прост и

откровенен. Про Горемыкина он сказал мне: "Я прямо от него, но что Вы хотите с ним поделаться, у него один ответ — все это чепуха, и никогда Государь не решится на такую меру, а если и решится, то все равно из этого ничего не выйдет". "К Столыпину я не решусь обращаться потому, что далеко не уверен в том, что он не участвовал во всей этой комбинации. С моим братом я должен был просто порвать отношения потому, что он или сошел с ума, или просто попал в руки людей, утративших всякий человеческий смысл потому, что на все мои аргументации он твердит одно — "все пропало и нужно спасти Государя и династию от неизбежной катастрофы", как будто сам он не толкает ее прямо в катастрофу".

Я обещал Трепову попытаться разъяснить Государю этот вопрос на будущей неделе, если только не будет слишком поздно, но наотрез отказался просить экстренной аудиенции, минуя председателя Совета министров. Через четыре дня Трепов снова приехал ко мне и сказал, что брат вызвал его в Петергоф, был очень мрачен и сказал ему, что, по его впечатлению, его проект не имел успеха, хотя Государь с ним о нем более не заговаривал, но от окружения Столыпина он слышал, что вся комбинация канула в вечность, так как все более и более назревает роспуск Думы.

На следующем моем всеподданнейшем докладе Государь встретил меня, как только я вошел, словами: "То, что так смутило Вас прошлую пятницу, не должно больше тревожить Вас. Я могу сказать Вам теперь с полным спокойствием, что я никогда не имел в виду пускаться в неизвестную для меня даль, которую мне советовали испробовать. Я не сказал этого тем, кто предложил мне эту мысль, конечно, с наилучшими намерениями, но не вполне оценивая, по их неопытности, всей опасности, и хотел проверить свои собственные мысли, спросивши тех, кому я доверяю, и могу теперь сказать Вам, что то, что Вы мне сказали, — сказали также почти все, с кем я говорил за это время, и теперь у меня нет более никаких колебаний, да их и не было на самом деле, потому что я не имею права отказаться от того, что мне завещано моими предками и что я должен передать в сохранности моему сыну".

Государь не обмолвился мне ни одним словом о том, с кем говорил он, кроме меня, и я думаю и сейчас, как думал и в ту пору, что у него не было на самом деле ясно созревшей мысли допустить переход власти в руки кадетского министерства и мысль об этом была ему навеяна извне и представлена ему через генерала Трепова. Со мной Столыпин об этом не говорил ни тогда, ни после, и я отвергаю целиком предположение о том, что и Столыпин был сам не прочь допустить такое министерство, видя, какой оборот принимают события. Со мной он ни разу не заговаривал на эту тему, и я думаю, — хотя и не могу подтвердить моего мнения какими-либо фактическими ссылками, — что наибольшее, о чем он думал, сводилось к мысли об образовании так называемого министерства обществен-

ного доверия с ним самим во главе, о чем несколько времени спустя после роспуска Думы вел со мной совершенно определенную беседу. Об этом я говорю вслед за сим.

Уже много лет спустя, в беженстве, благодаря любезности С.Е. Крыжовникова, мне пришлось познакомиться с записками Д.Н. Шипова, в которых видное место отведено эпизоду с его личным участием в переговорах о вступлении его и некоторых видных общественных деятелей того времени в состав правительства, а также и со статьями Милюкова, посвященными тому же эпизоду.

Поставивши себе задачей говорить в моих воспоминаниях только о том, что мне известно по личному моему участию в событиях пережитого мной времени, — я не могу входить в обсуждение того, что приписывается покойному Столыпину, или его личному честолюбию его политическими противниками, но считаю только своим долгом решительно отвергнуть какую-либо мысль о том, что его личная роль играла в этом случае решающее значение и что идея министерства из общественных деятелей была оставлена им только потому, что эти деятели не согласились идти под его руководящую роль в том правительстве, в состав которого он их звал.

Можно быть какого угодно мнения о политической личности Столыпина, об устойчивости его взглядов и даже о наличии у него точно установленной и глубоко продуманной программы. Но ставить личное честолюбие во главу угла его деятельности и отвергать мысль о том, что им не руководило стремление к ограждению интересов государства и к предотвращению его крушения, — это совершенно несправедливо, ибо вся его деятельность служит самым неопровержимым аргументом против такой личной политики.

Столыпин был далеко не один, кому улыбалась в ту пору идея министерства из "людей, облеченных общественным доверием". Он видел неудачный состав министерства, к которому сам принадлежал. Он разделял мнение многих о том, что привлечение людей иного состава в аппарат центрального правительства может отчасти удовлетворить общественное мнение и примирить его с правительством. Он считал, что среди выдающихся представителей нашей "общественной интеллигенции" нет недостатка в людях, готовых пойти на страдный путь служения родине в рядах правительства и способных отрешиться от своей партийной политической окраски и кружковской организации, и он честно и охотно готов был протянуть им руку и звал их на путь совместной работы. Но передать всю власть в руки одних оппозиционных элементов, в особенности в пору ясно выраженного стремления их захватить власть, а затем идти к несомненному государственному перевороту и коренной ломке только что изданных основных законов, — не могло никогда входить в его голову, и не с такой целью вел он переговоры с общественными деятелями,

если даже он и вел их на самом деле так, как говорят о нем и пишет в своих воспоминаниях и Д.Н. Шипов<sup>55</sup>. Я повторяю, однако, что со мной никто не вел об этом никаких разговоров и до самого роспуска Думы я находился не только в полном неведении каких-либо предположений по этому поводу, но был, напротив того, в каждом заседании Совета министров постоянным свидетелем самых решительных заявлений со стороны Столыпина о том, что вся тактика думских заправил есть прямой поход на власть во имя захвата ее и коренной ломки нашего государственного строя. Нужно не знать бесспорного личного благородства Столыпина, чтобы допустить мысль о том, что он находил возможным передать власть партии народной свободы<sup>56</sup>, лишь бы сам он оставался во главе правительства, как будто он не понимал простой истины, что сам он попадал в плен организованной партии, которую сам же обвинял в нескрываемом стремлении только к власти, и даже больше того, — к уничтожению монархии.

Наши встречи со Столыпиным в конце мая становились все более и более частыми по мере того, что настроение в Думе поднималось все выше и выше. Не раз он показывал мне в эту пору наиболее существенные из донесений губернаторов и нисколько не скрывал, что необходимость роспуска Думы становится все более и более неотложной. На мое замечание, что при таком его взгляде для меня непонятно, почему же все правительство не приходит к определенному решению и какова же роль так называемого объединенного правительства, ответственного перед монархом, когда в такую тревожную пору все мы стоим совершенно в стороне от решения несмотря на то, что Государь не мне одному ясно говорит о том, что он ждет решения его министров. Ответ Столыпина был такой: "Я не раз говорил Горемыкину буквально то же самое, что говорите Вы, но у него преоригинальный способ мышления; он просто не признает никакого единого правительства и говорит, что все правительство в одном царе и что он скажет, то и будет нами исполнено, а пока от него нет ясного указания, мы должны ждать и терпеть". От себя Столыпин сказал мне только: "Теперь нам недолго ждать, так как я твердо решил доложить Государю на этих же днях, что так дольше нельзя продолжать, если мы не хотим, чтобы нас окончательно захлестнула революционная волна, идущая на этот раз не из подполья, а совершенно открыто из Думы, под лозунгом народной воли, и если Государь не разделит моего взгляда, то я буду просить его сложить с меня непосильную при таком колеблющемся настроении ответственность". На мой вопрос, рассчитывает ли он провести роспуск без особых потрясений и волнений и как смотрит он на возможность поддержать порядок в провинции, он ответил совершенно спокойным тоном, что за Петербург и Москву он совершенно уверен, но думает, что и в губерниях не произойдет ничего особенного, тем более что из самой Думы до него доходят голоса, что немалое количество людей начинает и там

понимать, какую опасную игру затеяли народные представители, и в числе главарей даже кадетской партии есть такие, которые далеко не прочь от того, чтобы их распустили, так как они начинают понимать, что разбуженный ими зверь может и их самих смять в нужную минуту. Он просил меня только не говорить никому о его взгляде на положение и, расставаясь, спросил, может ли он рассчитывать на мою помощь, если на его долю выпадет тяжкая доля нести и далее ответственность за дело. Из его слов я не мог вывести заключения о том, был ли уже с ним какой-либо разговор по этому поводу, и ответил ему только, что, попавши на страду не по моей воле, я не намерен дезертировать по моей инициативе, но буду очень счастлив, если ему или иному преемнику Горемыкина покажется, что для новых песен нужны новые люди, а не те, которые привыкли к иным условиям деятельности.

После такого моего ответа Столыпин спросил меня, может ли он говорить со мной вполне откровенно и надеяться на то, что вся наша беседа останется строго между нами, тем более что она может и вовсе не иметь практического значения, а ему было бы совершенно нежелательно, чтобы у кого-либо сложилось представление о том, что он ведет какую-либо личную политику или строит свои предположения, на которые он никем не уполномочен.

Я ответил ему, что самое обращение ко мне, не вполне мне понятно. Если он мне доверяет, то в этом доверии он сам найдет ответ на собственный вопрос, если же полного доверия нет, то простое мое обещание мало поможет делу. Он сказал мне, что я совершенно прав, и ему не следовало ставить мне такого вопроса, который может даже представиться мне обидным, и просит меня извинить его за его неуместность.

После такого вступления Столыпин сказал мне, что, не будучи посвящен во все петербургские течения, он встречается за последнее время с целым рядом заявлений, по-видимому, находящихся себе сочувственный отклик и в Царском Селе, о том, что вина в ненормальном отношении между правительством и Думой лежит главным образом на самом составе правительства, совершенно чуждом общественным настроениям, не считающимся с ними и даже отчасти непосредственно враждебным им. Ему указывают со всех сторон, что личность Горемыкина как председателя Совета министров встречает решительно везде самое недвусмысленное осуждение. Ему никто не верит, ибо все знают его величайший индифферентизм и даже цинизм, его угодливость всякому заявлению Государю и нескрываемое им самим отношение к его власти как непререкаемому для него закону, устранившему самое право его, как первого министра, в чем бы то ни было противоречить его воле, а тем более ставить его перед необходимостью считаться с определенным взглядом Совета и входить в недопустимый конфликт с ним. Ему указывают далее и на других министров, совершенно не понимающих необходимости счи-

таться с совершившимися переменами в государственном строе, и все более и более выдвигают перед ним необходимость подумать о таком министерстве, которое было бы составлено из людей, успевших снискать себе всеобщее уважение, несмотря на их бюрократическое прошлое, так и из людей, близких к общественным кругам и пользующихся в них прямыми симпатиями, — разумеется, если только этот тип людей одновременно вполне сознательно и добросовестно принимает новый государственный уклад и готов честно служить ему. Ему показалось даже однажды, что и Государь находит в такой мысли много справедливого и даже, как передавал ему А.С. Ермолов, и сам был недалек от того, чтобы допустить ее осуществление, если только он видел бы, из каких элементов можно составить такое, как он назвал, "коалиционное" министерство. По его словам, та же мысль проникла и в круги яхтклуба и развивалась там на все лады Великим Князем Николаем Михайловичем, прямо заявлявшим, что она нравится Государю и встречает только упорнейшее сопротивление не только личное в Горемыкине, но и во всем прежнем его окружении по Министерству внутренних дел. Столыпин прибавил, что ему не раз уже дано понять, что, вероятно, Горемыкин останется весьма недолго и ему, Столыпину, не миновать быть его преемником, так как при современном общественном настроении и при том, что каждую минуту можно ждать самых резких вспышек, естественно, что никто другой, как министр внутренних дел, должен быть председателем Совета министров. Раздумывая над таким состоянием умов, Столыпин спросил меня, как смотрю я на возможность для меня оставаться в составе такого коалиционного министерства, потому что он считает совершенно невозможным, чтобы я не вошел в его состав, и он безусловно убежден, что никто из общественных деятелей не поднимает и тени возражения против моего сохранения портфеля министров финансов.

На вопрос мой, на каких же именно общественных или угодных общественному настроению людей предполагает он рассчитывать, так как, не зная людей, я не могу сказать решительно ничего, он мне ответил, что весь наш разговор имеет чисто академический характер, так как он не говорил решительно ни с кем и имеет в виду людей примерно такого типа: Кони — для Министерства юстиции, Д.Н. Шипова — для Государственного контроля, гр[аф] Гейдена — для земледелия, если бы не удалось провести Кривошеина, Н.Н. Львова, например, для обер-прокуратуры Синода. Он прибавил при этом, что указывает на такие имена, как на показатель калибра людей, среди которых можно было бы искать нового министерства. Сославшись на то, что я совершенно не знаю ни Львова, ни Шипова и не могу сказать решительно ничего о них, но я не представляю себе, каким образом вообще люди, не имеющие навыка к работе, могут быть полезными руководителями ведомств в такую смутную пору, требующую напряженной работы всех ведомств. Я сказал Столыпину, что лично для

меня не имеет прямого значения, кто именно из людей, облеченных общественным доверием, будет вместе со мной входить в состав министерства, коль скоро против меня не встречается принципиальных препятствий, но что мне непонятно идея смешения в одном кабинете людей прошлого с людьми совершенно иной формации и иных идеалов, и я не вижу, каким образом может быть налажена работа среди людей, не связанных между собой ни прошлым, ни взглядами на будущее. Мои сомнения представляются мне особенно справедливыми для должности министра финансов, голос которого нужен для всех ведомств и с которым чаще, нежели с кем-либо из других министров, неизбежно возникнут столкновения по самым непредвиденным поводам. Поэтому, мне кажется, что нужно поставить вопрос обо мне в совершенно обратную плоскость: если сотрудничество со мной желательно для него и не составляет препятствия к вступлению общественных деятелей в состав правительства, то раньше, чем разрешать персональный вопрос, нужно выяснить совершенно точно, какие требования предъявит новый состав правительства ко мне как министру финансов и в какой мере я в состоянии их выполнить. Я человек старых навыков, у меня свои принципы и своя школа, а она, как всякая школа, не может приноровиться к требованиям, выходящим из совсем иных оснований. Поэтому следовало бы раньше сговориться, понять друг друга и пойти общей дорогой, если будет видно, что мы можем быть попутчиками, и, наоборот, разойтись раньше, чем выяснится между нами непримиримое внутреннее противоречие, которое все равно приведет неизбежно либо к моему уходу, либо к уходу несогласных представителей общественного доверия.

Внимательно выслушав меня, Столыпин сказал мне, что он разделяет мое мнение и понимает его в том смысле, что я не отказываюсь принципиально от сотрудничества с новыми людьми, но нахожу только, что лучше сговориться с ними раньше, чем потом расходиться не из личных, а чисто из принципиальных несогласий. Он просил меня изъяснить свое согласие на то, чтобы наш разговор был дословно передан тем людям, с которыми ему представится, быть может, необходимость вести подробную беседу. На этом наша беседа окончилась, и Столыпин сказал мне, что сердечно благодарит меня за все, что я так откровенно сказал ему, и прибавил, что он совершенно уверен в том, что Государь не отпустит меня. Я же просил его отнюдь не стесняться мной, так как возможность сблизить Думу с правительством выше всяких личных соображений, хотя я и не вижу, каким путем можно достигнуть этой цели, когда раздражение против правительства дошло уже до такой точки кипения.

При всем этом разговоре Столыпин не обмолвился мне ни одним словом о том, что он уже вел о том же не раз беседу с Министром иностранных дел Извольским, который был, как стало потом известно, одним из самых горячих сторонников идеи министерства из лиц "общественного



доверия". Не сказал он мне также и о том, что он вел также переговоры с представителями кадетской партии, как потом открыто говорили и печатали главари этой партии. Кто умолчал о том, что было, и кто удостоверил то, чего не было, — этого я не могу сказать.

Со мной беседа на эту тему не возобновлялась, и только уже позже, после 12 августа, Столыпин однажды с большой горечью сказал мне, что все его попытки привлечь в состав правительства общественных деятелей, развалились об их упорный отказ, так как одно дело критиковать правительство и быть в безответственной оппозиции ему и совсем другое — идти на каторгу, под чужую критику, сознавая заранее, что всем все равно не угодишь, да и кружковская спайка гораздо приятнее, чем ответственная, всегда неблагодарная работа. Он закончил свою фразу словами: "Им нужна власть для власти и еще больше нужны аплодисменты единомышленников, а пойти с кем-нибудь вместе для общей работы — это совсем другое дело".

После этой нашей встречи прошло еще несколько дней.

Пятого июля, в среду, я был приглашен с женой к обеду к графине Клейнмихель, жившей недалеко от нас на собственной ее даче у Каменноостровского театра. В числе приглашенных был граф Иосиф Потоцкий. Перед тем, что мы пошли к столу, он спросил меня совершенно открыто, на какой день назначен роспуск Думы, так как ему передают за достоверное, что днем роспуска назначено ближайшее воскресенье. Я мог ответить ему совершенно честно, что Совет министров не обсуждал этого вопроса, что мне не известен не только день роспуска, но и самое намерение совершить этот роспуск. Он мне не поверил и громко сказал так, что окружающие слышали: "На Вашем месте я, вероятно, поступил бы точно так же и стал бы тоже категорически отрицать решение правительства, но это несколько не изменяет положения дела, и я совершенно уверен в том, что роспуск решен и что он будет произведен именно в воскресенье".

На другой день, в четверг, возвращаясь из города на дачу, я опять заехал к Столыпину на Аптекарский остров, не желая говорить о таком щекотливом деле по телефону, передал ему разговор с Потоцким и получил от него в ответ только выражение его недоумения — откуда почерпает публика такие сведения, когда вопрос о роспуске Думы был затронут в более или менее определенной форме только во вторник, когда он выезжал вместе с Горемыкиным в Царское Село, причем не только не был установлен окончательно день роспуска, но даже Государь прямо заявил, что он желает знать мнение правительства, и просил Горемыкина обсудить на этой неделе вопрос и назначил ему приехать с докладом вечером в пятницу 7 числа.

В тот же день к вечеру я получил повестку, извещавшую меня, что заседание Совета назначено у Горемыкина именно в этот день, в восемь ча-

сов вечера. Мы условились утром по телефону со Столыпиным, что поедем на заседание вместе на его паровом катере, но под вечер он извещил меня, что должен изменить наше обоюдное решение, так как должен до заседания быть в другом месте и придет оттуда прямо на Фонтанку.

Я нарочно передаю все эти мелкие подробности потому, что они очень характерны. Столыпин не хитрил со мной, да ему и не было в этом никакой надобности. Он и сам не знал, что будет вызван в Царское Село вместе с Горемыкиным, и узнал об этом только днем в пятницу по телефону из Александровского Дворца, не подозревая вовсе о том, что ждало его вечером того же дня. Единственное, о чем не упоминал Столыпин в частных беседах со мной за все тревожные дни конца июня и начала июля месяца, было то, что проект указа о роспуске Думы обсуждался между ним, Горемыкиным и Щегловитовым задолго до последних дней и был даже передан Горемыкину в переписанном виде без указания, однако, числа, и об этом факте, как деле окончательно решенном в Совете министров, по крайней мере, в моем присутствии вовсе не было и речи. Столыпин впоследствии на мой вопрос, почему именно он никогда не говорил мне об этом, сказал только, что он никому ничего не говорил только потому, что указ сам по себе содержал простое приказание Государя и его редакцию нечего было ни обдумывать, ни делать из него предмета особого обсуждения. Я уверен в том, что Столыпин был совершенно искренен со мной, тем более что по существу вопроса о необходимости роспуска он много раз вел со мной самую откровенную беседу.

Когда мы все собрались в помещении Горемыкина к восьми часам вечера, мы узнали, что председатель Совета министров вызван был к пяти часам в Царское Село и что туда же следом за ним, но не вместе, выехал и министр внутренних дел. Нам пришлось ждать их возвращения до девяти часов, причем и вернулись они также не вместе, а Столыпин несколько позже.

Вошел к нам Горемыкин в необычайно веселом и даже непривычном для него возбужденном настроении со словами: "Çа у est! Поздравьте меня, господа, с величайшей милостью, которую мог мне оказать Государь; я освобожден от должности председателя Совета министров, и на мое место назначен П.А. Столыпин с сохранением, разумеется, должности министра внутренних дел".

Мы стали расспрашивать его, как произошло все изменение, решен ли вопрос о роспуске Думы и когда именно он последует, и получили ответ, что все мы узнаем от нового председателя, который должен немедленно вернуться, что роспуск решен на послезавтра, 9 числа, указ подписан и должен быть немедленно оглашен, но что сам он настолько измучен всеми событиями последних двух месяцев, что не может разговаривать решительно ни о чем, чувствует себя как школьник, вырвавшийся на свободу, и желает только одного — покоя, и сейчас же идет просто спать и до

утра не хочет видеть ни души, а с утра будет рад видеть нас, если только мы пожелаем узнать от него что-либо, что останется для нас неясным после возвращения Петра Аркадьевича. На этом он также быстро, как пришел, — ушел от нас, и мы стали ждать возвращения Столыпина.

Приехал он примерно около половины десятого и рассказал нам все, что произошло в Царском Селе. Он был вызван туда около трех часов дня и должен был явиться к пяти часам. Когда он прибыл за полчаса до срока в Александровский Дворец, дежурный скороход сказал ему, что его просит повидаться с ним до доклада Государю министр двора — барон Фредерикс, который и ждет его тут же во дворце. Придя к нему, Столыпин застал его в крайне возбужденном состоянии и выслушал от него целый поток слов, сказанных бессвязно, но сводившихся к тому, что Государь решил распустить Думу, что это решение может грозить самыми роковыми последствиями, до крушения монархии включительно, что его не следует приводить в исполнение, не испробовавши всех доступных средств, а между тем Горемыкин, с которым он не раз говорил, не хочет и слышать о них, почему он и обращается к Столыпину, так как ему известно, что Государь решил предложить ему пост председателя Совета министров.

На вопрос Столыпина, в чем же именно могут выражаться меры, которые, по его мнению, могут спасти положение и устранить роспуск Думы, — барон Фредерикс стал развивать мысль, очевидно кем-то ему навеянную, что весь конфликт идет только между Думой и правительством, что отношение Думы к Государю совершенно лояльное и потому есть полное основание надеяться на то, что если бы Государь согласился выступить лично перед Думой в форме послания, обращенного непосредственно к народным представителям, и разъяснить им, что он не доволен их отношением к его правительству и приглашает их изменить это отношение, предупреждая их, что он вынужден будет принять те меры, которые ему предоставлены основными законами, если они не изменят их образа действий, способного только посеять смуту в стране, — то есть полная уверенность в том, что Дума выразит Государю свои верноподданнические чувства и примется за спокойную работу, не желая перед страной быть послушницей воли своего монарха, которому она только что присягала.

Столыпин пытался, насколько позволяло ему время, опровергать высказанное бароном Фредериксом мнение, убеждая его в совершенной невозможности и даже опасности вмешивать Государя в личный конфликт с Думой, так же точно, как и полной бесцельности рассчитывать на возможность работы с такой Думой, которая думает только об одном, чтобы свергнуть власть Государя, упразднить монархию и заменить ее республикой. Фредерикс старался убедить в свою очередь Столыпина, что до него доходят совершенно иного свойства сведения и ему приходится

слышать от людей, несомненно преданных Государю, что все дело в плохом подборе министров, причем ему кажется вовсе не так трудно найти новых людей, которые удовлетворили бы Думу и в то же время не стали бы стремиться к захвату власти для Думы, а сохранили бы всю полноту полномочий монарха, но, разумеется, под постоянным надзором палаты, что было бы даже лучше для Государя, так как сложилось бы с него ответственность за действия исполнительной власти. На этом беседа Столыпина с бароном Фредериксом порвалась, так как Столыпина позвали к Государю, и он успел только сказать ему, что передаст Государю весь их разговор и по окончании доклада пойдет к нему, чтобы передать, на чем остановится Его Величество. Столыпин не знал еще в эту минуту, что Горемыкин будет уволен и ему придется заменить его.

В приемной Государя его ждал Горемыкин, радостный и совершенно спокойный, и сказал ему, что Государь только что согласился на его убедительную просьбу освободить его от совершенно непосильного ему труда и предложит ему занять место председателя Совета министров. Горемыкин усиленно уговаривал его не отказываться от такого назначения, потому что, и по его глубокому убеждению, только он может взять на себя эту ответственную задачу и благополучно провести ее через неизбежно надвигающиеся величайшие трудности. Они не успели переговорить ни о чем, как их обоих позвали вместе в кабинет Государя, где они пробыли очень короткое время, так как Горемыкин только успел сказать Государю, что он уже предупредил Столыпина о последовавшем решении его и вполне уверен в том, что он исполнит свой долг перед своим Государем и родиной, и попросил разрешения Государя откланяться и вернуться в город, "чтобы успеть сегодня же сдать все дела своему преемнику". Государь его не удерживал, и Горемыкин тут же сказал Столыпину, что вернется раньше его в город и предупредит Министров, чтобы они ждали его возвращения.

По словам Столыпина, Государь был совершенно спокоен и начал с того, что сказал ему, что роспуск Государственной Думы стал, по его глубокому убеждению, делом прямой необходимости и не может быть более отсрочиваем, иначе, — сказал он — "все мы и я, в первую очередь, понесем ответственность на нашу слабость и нерешительность. Бог знает, что произойдет, если не распустить этого очага призыва к бунту, неповиновению властям, издевательства над ними и нескрываемого стремления вырвать власть из рук правительства, которое назначено мной, и захватить ее в свои руки, чтобы затем тотчас же лишить меня всякой власти и обратить в послушное орудие своих стремлений, а при малейшем несогласии моем просто устранить и меня. Я не раз говорил Горемыкину, что ясно вижу, что вопрос идет просто об уничтожении монархии, и не придаю никакого значения тому, что во всех возмутительных речах не упоминается моего имени, как будто власть — не моя и я ничего не знаю о

том, что творится в стране. Ведь от этого только один шаг к тому, чтобы сказать, что и я не нужен, и меня нужно заменить кем-то другим, и ребенка ясно, кто должен быть этот другой. Я обязан перед моей совестью, перед Богом и перед родиной бороться и лучше погибнуть, нежели без сопротивления сдать всю власть тем, кто протягивает к ней свои руки. Горемыкин совершенно согласился со мной и подтвердил, что он не раз уже говорил мне то же самое, что много раз на этом времени я слышал и от Вас. К сожалению, при всем моем полнейшем доверии к Ивану Логгичу я вижу, что такая задача борьбы ему уже не под силу, да он и сам отлично и совершенно честно сознает это и прямо указал мне на Вас как единственного своего преемника в настоящую минуту, тем более что сейчас министр внутренних дел должен быть именно председателем Совета министров и объединить в своих руках всю полноту власти. Я прошу Вас не отказать мне в моей просьбе и даже не пытаться приводить мне каких-либо доводов против моего твердого решения”.

Столыпин передал нам, что он пытался было сослаться на свою недостаточную опытность, на свое полное незнание Петербурга и его закулисных влияний, но Государь не дал ему развить своих доводов и сказал только: “Нет, Петр Аркадьевич, вот образ, перед которым я часто молюсь. Осените себя крестным знаменем и помолимся, чтобы Господь помог нам обоим в нашу трудную, быть может историческую, минуту”. Государь тут же перекрестил Столыпина, обнял его, поцеловал и спросил только, на какой день всего лучше назначить роспуск Думы и какие распоряжения предполагает он сделать, чтобы поддержать порядок главным образом в Петербурге и Москве, потому что за провинцию он не так опасается и уверен в том, что она отразит на себе все, что произойдет в столицах. Столыпин ответил Государю, что необходимость роспуска Думы сознается всем Советом министров уже давно и в этом отношении его положение значительно облегчается тем, что ему не придется никого убеждать и все окажут ему самую широкую и энергичную помощь. По его мнению, нужно совершить роспуск Думы непременно в ближайшее воскресенье, то есть 9 числа, и сделать это с таким расчетом времени, чтобы никто об этом не догадался, так как иначе можно ждать всяких осложнений. Он предложил Государю подписать все давно заготовленные бумаги, вечером же сдать Указ о роспуске Думы министру юстиции для напечатания его в сенатской типографии, но принять меры к тому, чтобы из типографии не могло просочиться об этом какое-либо известие до самого дня роспуска, к чему министр юстиции подготовлен и надеется, что сможет сохранить тайну. Затем только в воскресенье утром следует выпустить сохранный Правительственного вестника как с указом о роспуске, так и с освобождением Горемыкина от должности председателя Совета министров и замещении его другим лицом, расклеить указ о роспуске по городу и на дверях Государственной Думы, занять Таврический Дворец усиленным на-

дежным воинским караулом, воспретив вход в него кому бы то ни было, и, наконец, предоставить ему условиться с военным министром об усилении Петербургского гарнизона переводом наиболее незаметным образом в столицу нескольких гвардейских кавалерийских полков, и рано утром занять усиленными воинскими караулами наиболее существенные центры в городе. Все предположения были тут же одобрены, указ, всегда находившийся в портфеле Горемыкина, когда он ездил в Царское Село, — тут же подписан Государем и передан Столыпину. Но передавая нам все перечисленные подробности, Столыпин ни одним словом не обмолвился, что перед своим выходом из кабинета Государя он коснулся еще одного вопроса, о котором он рассказал мне на другой день, в субботу днем, попросивши меня заехать к нему. Он доложил Государю, что, принимая такую ответственную задачу и не зная, сможет ли он выполнить ее, Столыпин сказал, что если ему суждено остаться на должности председателя Совета министров, он не в состоянии честно выполнить своего долга перед Государем, не сказавши ему, что в некоторых своих частях состав Совета должен быть немедленно изменен удалением из него таких элементов, присутствие которых просто раздражает общественное мнение, настолько в составе Совета имеются лица, явно враждебные самой идее народного представительства и не только не скрывающие своих взглядов, но искусственно похваляющиеся ими. Удаление их одновременно с освобождением от должности Горемыкина может только несколько успокоить наиболее умеренные элементы среди общества и показать, что Государь считается с этим соображением. Столыпин на вопрос Государя ответил, что он далек от мысли ставить Государю какие-либо условия принятия им своего нового назначения и вполне понимает, что вопрос о выборе министров должен быть решен вне какой-либо торопливости, что лично он не может выразить какого-либо неудовольствия на кого бы то ни было, но находит, что присутствие в кабинете Стишинского и князя Ширинского—Шихматова совершенно недопустимо и, конечно, может только ослабить положение правительства перед всяким народным представительством даже самого умеренного состава. Государь ответил ему, что он не стесняет его вообще выбором своих сотрудников и предоставляет ему прислать завтра же указ о назначении на место Стишинского и Ширинского—Шихматова других лиц. Так и было сделано, и в воскресном номере Правительственного вестника рядом с указом о роспуске Думы, с назначением Столыпина на место Горемыкина, появились и указы об увольнении указанных двух министров и о замене их Кривошеиным и П.П. Извольским. Но, — повторяю, — в Совете об этом не было сказано ни одного слова и произошло даже некоторое досадное недоразумение. Столыпин сказал нам всем, что в связи с роспуском Думы нельзя отрицать возможности возникновения в городе беспорядков и потому желательно, чтобы министры, имеющие в их распоряжении ка-

зенные квартиры, но не занимающие их, перебрались в них завтра же. Так и сделали некоторые из них, и, в частности, Стишинский, перебравшийся к Синему мосту поздно вечером 8 числа, а рано утром 9-го он узнал из Правительственного вестника о своем увольнении, и письмо об этом Танеева пришло к нему только вечером того же дня.

После того, что Столыпин передал нам все описанные мной подробности, мы остались довольно долго в его кабинете на Фонтанке, обсуждая главным образом вопрос о том, как смотрит он на созыв новой Думы, то есть в какой срок и на основании какого выборного закона.

В нашей среде ни по тому, ни по другому вопросу вновь не было ни малейшего оттенка разногласия.

Все были того мнения, что созвать новую Думу необходимо именно в тот срок, который был ранее намечен нами и поставлен в подписанном Государем указе, а именно 20 февраля следующего года, хотя Столыпин предупредил нас, что Государь предоставил ему прислать завтра измененный в этом отношении указ, если бы мы пришли к заключению о желательности отдалить срок. Были некоторые попытки назначить более отдаленный срок, но они потонули в мнении большинства о том, что не следует играть в руку крайним партиям и создавать повод распространять мысль об искусственном отдалении срока созыва Думы. Срок 20 февраля всегда признавался достаточным для того, чтобы успеть подготовить возможно большее количество законопроектов, затрагивающих наиболее жизненные стороны нашей внутренней жизни.

Зато вопрос о выборном законе задержал нас надолго, настолько для всех было ясно, что весь корень зла относительно состава Думы лежит именно в избирательном законе 11 декабря 1905 года. Много было высказано тут же самых разнообразных взглядов, но время дошло уже почти до трех часов утра, и мы разошлись с тем, что тотчас после роспуска мы снова соберемся вместе и начнем наши занятия под руководством нового председателя Совета министров.

Перед нашим выходом из кабинета Столыпина он задержал меня на несколько минут и сказал, что после доклада у Государя он заходил к министру двора, который ему казался очень смущенным принятым решением, и снова вернулся к его комбинации о необходимости, предварительно решения вопроса о роспуске Думы, попытаться сделать непосредственное к ней обращение Государя в форме особого послания, и что он думает переговорить еще раз об этом с Государем завтра утром. Столыпин опять стал доказывать ему всю недопустимость такого обращения и закончил свой разговор прямо просьбой, обращенной к барону Фредериксу, известить его тотчас же по телефону, если бы его попытка увенчалась успехом, дабы, — сказал он, — ”я мог принять свои меры в зависимости от принятого нового решения”. У него сложилось убеждение, что барон Фредерикс не понял смысла последних слов, потому что он самым

спокойным тоном ответил ему: "Разумеется, я Вас тотчас же извещу". Столыпин спросил меня, допускаю ли я возможность, чтобы Государь поддался на такую комбинацию, так как "Вы понимаете, — сказал он, — что после этого никому из нас нельзя оставаться на местах, и Государь должен узнать от нас об этом. Подумайте только, какие последствия могут произойти из такой комбинации".

Я сказал ему, что не допускаю и мысли о том, чтобы после того, что мы все слышали от него о словах Государя, могла произойти такая перемена в нем, и думаю, что вся комбинация навеяна кем-либо из придворных людей, и я уверен в том, что из новой попытки повлиять на Государя не выйдет ничего, как это было не раз со мной в первый период войны.

На следующий день, по просьбе Столыпина, я приехал к нему на Аптекарский Остров перед самым моим и его завтраком. Он был, как всегда, совершенно спокоен и начал с того, что почти уверен, что роспуск произойдет без всяких осложнений, так как никто в Думе не допускает и мысли об этом. Затем он передал мне то, что я уже написал выше относительно увольнения Стишинского и князя] Ширинского-Шихматова, сказал, что указы уже посланы в Царское Село и ему передано по телефону, что все они подписаны и тут же, совершенно неожиданно для меня, задал мне крайне удививший меня вопрос, еду ли я, как всегда по субботам, в деревню до понедельника утра. Я ответил ему, что, разумеется, не поеду, так как едва ли допустимо, чтобы кто-либо из нас отлучался из города в такую минуту. "А я именно хотел просить Вас, чтобы Вы уехали, так как газеты каждый раз печатают о Вашем выезде, и очень желательно, чтобы и на этот раз не вышло никакой перемены против обычного, потому что я допускаю вполне мысль о том, что на вокзале имеются у думских корифеев свои клеветы, которые тотчас же донесут кому следует о том, что Вы выехали, и следовательно ничего особенного ожидать не следует". Я спросил на это Столыпина, гарантирует ли он мне возможность возвращения, если бы произошли беспорядки в связи с роспуском Думы, и он ответил мне без всяких колебаний, что ручается за то, что рано утром или даже ночью в воскресенье на понедельник за мной будет прислан, в крайнем случае, паровоз, о чем он тут же спросил по телефону министра путей сообщения генерала Шауфуса, и я слышал в трубку его лаконический ответ, что все будет исполнено. Я решил ехать, хотя и сознавал, что мне было гораздо спокойнее оставаться дома. Я получил, кроме того, обещание от моего лицейского товарища, министра народного просвещения П.М. Кауфмана, прислать мне утром в воскресенье условленную телеграмму, которая была доставлена мне около часа дня о полном спокойствии в городе; я провел день у себя и в час ночи приехал на станцию, лег спать в моем вагоне и в начале восьмого утра вернулся по совершенно пустым и спокойным улицам города на Елагин остров вместе с женой и уже в 11 часов был на Фонтанке у Столыпина.



От него я узнал, что никаких инцидентов в течение всего воскресенья не было. Указ о роспуске Думы был расклеен по городу в шесть часов утра и в ту же пору наклеен на воротах Думы, которые держались на запоре; около 10 часов утра стали подходить отдельные лица к Думе, но никакого скопления у здания Таврического Дворца не было, усиленный воинский караул ни разу не вызывался, подходили также отдельные члены Думы, но тотчас же торопливо уходили, и только среди дня замечался усиленный отъезд членов Думы по Финляндской железной дороге. К вечеру стало уже известно, что в Выборг прибыло большое количество членов распушенной Думы<sup>57</sup>, а затем стало известно и о знаменитом заседании, открытом Муровцевам его заявлением "заседание Государственной Думы возобновляется".

Для полноты рассказа об этом событии следует поместить одну подробность, которую передавали из уст в уста первые дни после роспуска Думы. Я не могу дать ей официального подтверждения, так как не имел в руках ни официального документа, ни непосредственной передачи от П.А. Столыпина, но в окружении Совета министров и среди целого ряда лиц, близких отдельным министрам, эпизод этот не вызывал, по-видимому, никакого сомнения.

Рассказывают, что в субботу 8 июля, с самого раннего утра Горемыкин отсутствовал из дома Министерства внутренних дел у Цепного моста, приготавливаясь к переезду в собственный дом на Фуштадской улице. Он вернулся только к обеду, потом выехал снова вечером и, возвращаясь довольно поздно домой, сказал швейцару, что если бы кто-либо позвонил по телефону или даже спросил его непосредственно, то чтобы он отвечал, что он очень устал и лег спать и никто бы не будил его по какому бы то ни было поводу. Поздно ночью будто бы был доставлен конверт из Царского Села, который пролежал на столе в швейцарской до утра воскресенья; и когда Горемыкин встал и ему подали его, — в нем оказалось небольшое письмо от Государя с приказанием подождать с приведением в исполнение подписанного им указа о роспуске Думы, но было уже поздно, и все распоряжения уже приведены были в исполнение.

Лично я совершенно не доверяю этому рассказу и не допускаю мысли, чтобы Государь мог в такой форме изменить сделанное им распоряжение, если бы даже барон Фредерикс и успел убедить его. Он вызвал бы, конечно, Столыпина и мог исполнить это в течение субботы, тогда как на самом деле утром этого дня он утвердил его предположение о смене некоторых министров и никогда бы не сделал такого шага за спиной человека, на которого он только что возложил такой ответственный долг. Но рассказ этот характерен, как показатель настроения, господствовавшего в ту пору, и как показатель взглядов известной части дворцового окружения.

## ГЛАВА III

*Моя деятельность по Министерству финансов. — Влияние событий на курсы русских фондов за границей. — Репрессивные меры против революционных насилий. — Работа Совета Министров. — Аграрные реформы Столыпина и расширение деятельности Крестьянского земельного банка. — Взрыв на Аптекарском острове. — Вопрос об изменении избирательного закона, солидарность министров и тайна, которой были окружены совещания Совета по этому вопросу. — Резолюция Государя на представлении Совета министров о смягчении законодательства о евреях. — Моя разногласия со Столыпиным по вопросу об участии казны в расходах земств и городов. — Донесения с мест о ходе выборов.*



Все последующие затем события хорошо известны, и я не стану на них останавливаться. Отмечу только то, что наложило на меня в эту пору особые заботы, помимо участия моего в общей работе Совета министров. Повторяю снова, что я пишу не историю моего времени, а описываю мою личную роль в этом историческом времени.

Положение мое как министра финансов в эту пору было очень нелегко. Я почти не имел возможности, вступивши в должность 26 апреля, толком осмотреться, как надвинулись события, поглотившие столько времени и придававшие разом такую нервность всей текущей работе.

Я нашел, конечно, на месте всех моих прежних сотрудников, которые встретили меня самым сердечным образом и своим отношением ко мне облегчили мой труд и помогли мне в несколько дней освоиться со всем, что случилось за шестимесячный период моего отсутствия из министерства. Впечатления были невеселые. Доходы стали было выравниваться по мере того, что порядок в стране восстанавливался после ликвидации московского восстания, но далеко отставали от обычного поступления. Урезанная под влиянием смуты и плохих поступлений конца года смета на 1906 год внушала самые серьезные опасения за поступление доходов. Напротив того, к обычным сметным расходам присоединились экстренные требования на продовольственную и семенную помощь населению, и урезать ее не приходилось, потому что сведения с мест, не исключая и тех, которые доходили до меня от моих органов, не давали сомнения в том, что средства для помощи потребуются большие.

После первых же дней, следовавших за открытием Думы, к этим заботам присоединилась еще новая — иностранные биржи встретили думское настроение большой тревогой: после первых же хвалебных гимнов по адресу вступления России на конституционный путь стали все чаще раздаваться голоса об опасности начавшейся борьбы между правительством и народным представительством и сравнительно недолго продолжалось радужное настроение в пользу последнего, сменяясь все сильнее

и смелее указанием на опасность и соблазнительность выкинутых молодым представительством лозунгов. К чести иностранных корреспондентов некоторых влиятельных газет следует сказать, что предостерегающие голоса многих из них были громче и многочисленнее, нежели демагогические отчеты некоторых из русских собратьев по перу. На биржевые круги все это производило большое впечатление, и все чаще слышались голоса о том, что смута далеко еще не кончилась и правительству предстоит задача, быть может, превышающая его силы. Курсы наших бумаг, в особенности на Парижской бирже, начали резко понижаться, и с конца мая наибольшее падение стало замечаться на вновь заключенном займе в апреле 1906 года. С выпускной цены в 88 % он понизился сначала до 75 %, потом до 70 и даже дошел после роспуска Думы до 68 %. Он стоял даже некоторое время и ниже. Группа, выпустившая заем, стала предъявлять мне настойчивые требования о поддержании курса новой ренты и об отпуске новых сумм на прессу.

Не менее настойчивы были и обращенные ко мне вопросы о том, выдержит ли Россия свое золотое обращение, которое я защищал с таким упорством, и по мере ухудшения обстоятельств тон недавних друзей становился все менее и менее дружелюбным. Я вел упорную полемику с моими корреспондентами, уступая им в мелочах и, ограничиваясь небольшими подачками прессе, настойчиво проводил мою точку зрения о том, что размен будет выдержан, к чему были и некоторые, правда, немногочисленные, показатели благоприятного свойства в виде усиления казначейской наличности и накопления кредитных билетов в кассах. Я считал своей задачей выиграть время и выяснить себе, как произойдет роспуск Думы, о котором я, разумеется, не заикался ни одним словом в моей корреспонденции.

Когда роспуск был совершен, то первое впечатление было просто катастрофическое. Нельзя было даже в точности определить, до какой цены упали наши фонды, настолько велико было устремление держателей их освободиться от них во что бы то ни стало, и нельзя даже сказать, до какого уровня дошло бы их падение, если бы оно не встретило фактической преграды в отсутствии покупателей на них. Об этом говорили мне почти истерические телеграммы, которыми я был засыпан, начиная с вечера 10 числа. Я отвечал на них ссылкой на полнейшее спокойствие, которым встретила страна роспуск Думы, и указывал на этот факт, как на показатель того, что страна состоит не из одних политиков, стремящихся к государственному перевороту, и что не мало в ней людей, которые понимают необходимость роспуска, как меру сохранения порядка и власти. Столыпин все время совершенно ясно одобрял все мои мысли и оказывал мне моральную поддержку, предоставляя плному моему усмотрению ссылаться на солидарность со мной всего правительства. В этот момент мне было гораздо легче, чем раньше в пору председательства Горемыки-

на, так как он на все мои соображения о необходимости оградить интересы государственного кредита отвечал самым недвусмысленным безразличием, говоря на каждом шагу свою любимую фразу: "Все это чепуха и не стоит останавливаться на мелочах, когда главное состоит в совершенно определенном революционном натиске, с которым можно бороться только одним — роспуском Думы, и до этого мы неизбежно дойдем, и тогда только можно будет говорить о настоящей работе". Теперь все резко переменялось.

Видя, что Столыпин, постоянно ссылаясь на свою некомпетентность в финансовых делах, открыто советуется со мной по каждому вопросу, оказывает мне величайшее внимание и ни в чем не противоречит, и даже всегда открыто соглашается со мной, весь состав министров также перешел на иной тон обсуждения вопросов моего ведомства, и я стал самостоятелен во всех делах его, как было и в первое время войны.

После первой недели за роспуском Думы наступило успокоение и на иностранных денежных рынках. Паника стала мало-помалу утихать, держатели русских фондов перестали выбрасывать их массой на рынок, и даже отчасти помогло успокоению то, что должно было породить совершенно противоположный результат. Я разумею Выборгское воззвание. Как известно, народ не пошел за ним, не перестал платить налогов и не было заметно никакого приготовления к сопротивлению в несении воинской повинности, но самый факт появления такого возвания ясно показал более чуткой и культурной заграничной публике, что дело шло, несомненно, к бунту, и правительство не могло не принять мер к самозащите. Пресса не выражала сначала открыто своего мнения, но мои корреспонденты, в особенности из Парижа и Берлина, совершенно недвусмысленно писали мне, что публика начинает понимать правильность действий русского правительства по отношению к Думе, вставшей на путь прямого сопротивления власти, и все время только с величайшей настойчивостью добивались от меня заверения, что мы справимся с таким настроением, и по мере того, что действительность давала мне все более и более оснований к оптимистическим выводам, стало замечаться даже некоторое, хотя и весьма робкое вначале, укрепление русских фондов, и в частности нового 5-процентного займа.

К половине августа это настроение стало заметно усиливаться, и даже решение правительства привлечь к судебной ответственности подписавших выборгское воззвание, встретило резкое осуждение за границей только в органах левой печати, а многие газеты поместили на своих страницах довольно здравые статьи о прямом долге правительства бороться законными путями с призывом к мятежу.

Взрыв на Аптекарском острове 12 августа разом нарушил это улучшение внутреннего положения России и оценку его за границей, но и то, справедливость заставляет сказать, что тревога и возбуждение среди населения не были продолжительными. Заслуга в эту пору Столыпина

перед страной бесспорно велика. Он не растерялся под ударом, нанесенным его собственной семье, и с тем же наружным спокойствием и величайшей выдержкой продолжал борьбу с крайними элементами революции. Несколько удачных арестов главарей преступных покушений и дезорганизованность революционных покушений произвели оздоровляющее впечатление на общественное настроение, в особенности когда все увидели, что правительство осталось на своих местах, и не только в столицах, но и в губерниях не было резких проявлений массовых беспорядков, за исключением Прибалтийского края, где правительство приняло по 87 статье<sup>58</sup> ряд решительных мер, направленных против погромов и насилий. Среди них – введение военно-полевых судов<sup>59</sup>, встретившее потом во второй Думе резкое нападение на правительство, имело бесспорно центральное влияние на восстановление порядка и возвращение доверия к власти. Можно различно относиться к принятой мере по существу, можно сваливать ее, как делали потом многие наши государственные деятели, исключительно на Столыпина и Шегловитова, но нужно иметь мужество сказать, что все министры были солидарны между собой, ни один из них, не исключая и министра иностранных дел Извольского, всегда державшегося либеральных воззрений и не пропускавшего ни одного случая, чтобы не приложить к нашим революционным порядкам шаблона западно-европейского конституционализма, – не был против введения этой меры и не остался по этому вопросу при отдельном мнении. Постановление Совета министров, поднесенное на утверждение Государя, как того требовал закон, было единогласное. Все отлично сознавали, что без крутых мер нельзя подавить мятежа и оградить ни в чем неповинных людей от неслыханных преступлений.

Первый месяц после роспуска Думы и до взрыва на Аптекарском острове работа Совета министров носила довольно неопределенный характер. Новый председатель Совета был совершенно естественно поглощен главным образом, сведениями о внутреннем положении страны и мерами борьбы с эксцессами революционных явлений. Много забот и внимания требовало от него, конечно, и его прямое дело – ведомство внутренних дел, в котором он не был еще хозяином положения и только входил в новую для него область общего государственного управления, для которого его прежняя служба далеко недостаточно подготовила его. Тем не менее два вопроса стали с первого же нашего собрания так сказать лейтмотивом наших обсуждений, к которым мы постоянно возвращались в каждом последующем заседании, а именно:

1) необходимость подготовки к созыву второй Государственной Думы целого ряда законопроектов по наиболее животрепещущим вопросам нашей внутренней жизни, для того чтобы будущая Дума сразу встретилась с целым рядом приготовленных для нее дел и не терялась в собственном измышлении всевозможных предположений.

2) очевидно и прежде всего занимавшая самого Столыпина мысль о том, чтобы, не дожидаясь созыва Думы и рассмотрения ею внесенных проектов, разработать теперь же и провести по так называемой 87 статье основных законов ряд мероприятий самого неотложного свойства, регулирующих крестьянский вопрос, которые шли бы навстречу давно назревших запросов нашей жизни и показали бы населению, что правительство Его Величества берет на себя полную ответственность за разрешение этих нужд, проводить свою точку зрения в жизнь и предоставляет законодательной власти внести в проведенные меры всевозможные исправления, не задерживая повседневной жизни с ее давно назревшими запросами из-за неизбежных последующих трений законодательного их рассмотрения. Во главе этих вопросов Столыпин с первого же дня поставил вопрос о выходе из общины и весь этот сложный комплекс земельных правоотношений, который был связан с общинным землепользованием. К этому вопросу Столыпин отнесся сразу с величайшей страстностью и на самые осторожные попытки указать на неудобство разрешать в таком исключительном порядке, как по ст[атье] 87, коренные вопросы нашей крестьянской жизни, на предпочтительность направить их нормальным порядком, не ломая создавшихся вековых устоев в случае несогласия с проведенными мерами со стороны законодательных учреждений, он дал всем нам понять, что этот вопрос составляет для него предмет, не допускающий какой-либо принципиальной уступки. Был ли это результат давно продуманной им еще в бытность губернатором программы борьбы с революционным движением, опираясь на крестьянство, подпал ли он с самого своего приезда в Петербург под влияние известных кругов Министерства внутренних дел и, в частности, такого страстного человека, каким был В.И. Гурко, давно уже остановившийся на необходимости бороться с общинным землепользованием и не раз пытавшийся влиять в этом смысле и на Горемыкина, — я этого сказать не могу, но должен только открыто отметить, что с первых же дней после роспуска первой Думы, основные положения закона, проведенного затем, в том же году, по 87 ст[атье] и известного под именем закона 7 ноября, были представлены в Совет министров и сделались предметом постоянного его обсуждения. Уже одна числовая справка о том, что разработка этого проекта началась только в половине и даже вернее в конце июля, а 7 ноября, то есть всего через три месяца, проект стал законом и был проведен в жизнь, указывает на то, насколько и само Министерство внутренних дел и весь Совет встретился с вполне разработанным материалом и притом настолько хорошо разработанным, что длительное его рассмотрение в Думе третьего созыва<sup>60</sup>, и в Государственном Совете, неособенно восторженно встретившем законы, проведенные по 87 статье, — внесло в него весьма немного изменений и оставило без всякой ломки его коренные основания.

Лично я не играл заметной роли в разработке этого закона. Я всегда был противником общинного землевладения и проявил мои взгляды в этом направлении еще в 1903 году, по должности члена Особого совещания под председательством Витте, по делам о сельскохозяйственной промышленности, но активного участия почти не принимал.

Этот вопрос задел меня и притом в очень острой форме только потому, что независимо от коренного предположения об облегчении выхода из общины Столыпин параллельно с ним поставил вопрос о расширении деятельности Крестьянского банка и о более активном вмешательстве его в удовлетворение крестьянской нужды в земле. Здесь с первых же дней сказалось влияние на Столыпина А.В. Кривошеина и желание последнего сыграть решающую роль в организации сельского, или, вернее, земельного кредита<sup>61</sup> с выделением его из ведомства Министерства финансов и передачей его в ведомство земледелия.

На первых порах этот вопрос не принял, однако, остро, так сказать, ведомственного характера, и только уже значительно позднее, а именно в 1910 и 1911 годах он едва не довел, — о чём речь впереди, — до полного разрыва моего со Столыпиным. И Столыпин и Кривошеин требовали от меня пока только большей активности в разрешении посреднических сделок крестьян с банком, против чего мне не было ни малейшего повода возражать, за исключением, разумеется, двух оснований, которые не особенно разделяли ни Столыпин, ни, по преимуществу, Кривошеин. Я должен даже сказать, что Столыпин был значительно менее оппортунистичен, нежели Кривошеин, и скорее схватывал так называемую прозу жизни, тогда как Кривошеин не раз на мои замечания отвечал просто по-обывательски, "если министр финансов захочет — деньги всегда найдутся".

А министр финансов в эту пору разрешения вопроса о крестьянской земельной нужде говорил только о двух, далеко не от него зависивших "прозаических" вопросах.

Я указывал на то, что Крестьянский банк готов широко идти навстречу крестьянской нужде в земле, но должен предостеречь Совет министров о трудности разрешения этого вопроса с двух сторон: под влиянием погромов и обострения в отношениях с крестьянами предложение помещичьих земель к продаже крестьянам стало весьма значительным и в некоторых местностях далеко превышало местный спрос крестьян на землю. Банк не только не задерживает совершения посреднических сделок, на зачатку в последнее время не имеет вовсе предложений на покупку предлагаемых к продаже земель, несмотря на то что владельцы далеко не запрашивают чрезмерных цен за их землю. Отсюда естественным образом напрашивается мысль о необходимости самому банку покупать эти земли в собственный фонд для распродажи их потом крестьянам по мере выяснения потребности в них для других местностей. Но к этой мысли, тотчас

же подхваченной Столыпиным и Кривошеиным, как мысли вполне жизненной и даже необходимой, встречается другое препятствие, отстранить которое не в моих силах.

Продавцы земель должны получить расчет за их землю деньгами, так как принимать в уплату закладные листы Крестьянского банка они фактически не могут по той простой причине, что внутренний рынок не поглощает сколько-нибудь значительного количества листов, предлагаемых к продаже, и всякий новый, а тем более значительный выпуск понижает курс листов и вызывает только нарекания на то, что Крестьянский банк разоряет помещиков, расплачиваясь с ними обесцениваемыми бумагами.

Обычный в нормальное время покупатель листов в лице государственных сберегательных касс, для которых покупка закладных листов представляла даже выгодное помещение их свободных средств, в описываемое время также ненадежен, потому что приток денег в кассы значительно ослабел и на этот источник была плохая надежда, пока не успокоится рынок и вклады снова не станут заметно превышать их истребование.

Такие прозаические мои разъяснения, конечно, не нравились многим из моих слушателей, и государственный контролер Шванебах пытался было парировать их предложением войти в соглашение с частными банками и даже произвести на них известное давление в смысле приобретения ими закладных листов Крестьянского банка, но из этого ничего существенного не могло выйти по той простой причине, что положение частных коммерческих банков было также далеко не блестящим, да и Финансовый комитет, куда я предложил внести этот вопрос с тем, чтобы Столыпин как председатель Совета министров принял в нем и личное участие, — решительно отверг такую мысль и внес и со своей стороны охлаждающую струю в обывательские суждения моих партнеров.

Отсюда вскоре и вытекла другая мысль — попробовать создать особый вид непродаваемых на бирже и не котируемых на ней так называемых свидетельств именной записи с несколько повышенной против закладных листов доходностью, но представлявших для землевладельцев, желавших во что бы то ни стало продать свои земли в фонд Крестьянского банка, получить этот вид облигаций в свое распоряжение, в обмене на проданную ими землю и временно сохранить их в своем распоряжении и пользоваться пока только одними доходами по ним. Впоследствии фактически и эти свидетельства все-таки были выброшены на рынок, для скупки их образовался даже особый вид дельцов, постепенно понижавших по мере увеличения количества выпускаемых свидетельств цену на них, и через некоторый промежуток времени эта цена дошла даже до 60 % номинальной цены, и землевладельцы, далеко не получавшие от Крестьянского банка сколько-нибудь повышенной цены за их землю, потеряли



в действительности до 40 % ее стоимости. Когда впоследствии порядок в России восстановился, биржа окрепла, сберегательные кассы снова получили большой приток средств из народных сбережений и размещение 5-ти, а затем и 4 1/2-х закладных листов стало снова делом возможным и даже свободный рынок стал поглощать эти ценности, я прекратил выпуск свидетельств именной записи и стал их постепенно заменять простыми закладными листами.

Я упоминаю обо всем этом для того, чтобы сказать, как несправедливы были потом, и в третьей Госуд[арственной] Думе, нападки оппозиции и, в частности, специализировавшегося на них ковенского депутата Булата, открыто обвинявшего правительство и лично меня в разорении крестьян продажей им по чрезмерно высоким ценам помещичьих земель в угоду землевладельцев, сбывших крестьянам по несоответствующим высоким ценам свои худшие земли.

На самом деле, если уж кто-либо пострадал, то, напротив того, именно помещики, получившие в обмен на проданную ими землю, по ценам едва справедливым, такие бумаги, за которые они получили в лучшем случае не более 65—70 % их оценки.

\* \* \*

О покушении на жизнь Столыпина взрывом его дачи на Аптекарском острове я узнал при следующих обстоятельствах.

12 августа было в субботу. Я находился с часа дня в городе для обычного приема просителей в здании Министерства финансов. По случаю летнего времени просителей было сравнительно мало, и в четвертом часу я отпустил последнего из них и занимался уже текущей работой перед выездом к себе на дачу.

В самом начале четвертого мне показалось, что я услышал как будто бы отдаленный пушечный выстрел. Я позвал моего секретаря и спросил его, не слышал ли он того же, и получил в ответ, что все слышали то же, но думали, что идет обычная учебная или испытательная стрельба на полигоне, на пороховых заводах. Беспокойства ни в ком не было, и с улицы не доходили также никакие вести.

Приблизительно через полчаса ко мне позвонил по телефону государственный контролер и спросил, что я знаю о взрыве на Аптекарском острове, где было покушение на П.А. Столыпина, и по одним рассказам он убит, а по другим — остался невредим, и только разрушена часть его дачи и ранено много народа около него. На мой ответ, что я решительно ничего не знаю, он предложил мне заехать немедленно за мной, чтобы вместе поехать на Аптекарский остров, а меня он просил тем временем позвонить к градоначальнику и обеспечить нам свободный проезд на дачу, если бы она оказалась оцепленной полицией. Градоначальника я

не нашел дома, дежурный же чиновник ответил мне, что он, вероятно, на месте происшествия, что никаких подробностей в градоначальство еще не доставлено, известно только, что председатель Совета невредим, но часть членов его семьи пострадала, хотя кажется не особенно сильно.

Мы приехали на место без всякой задержки. Публики было очень мало, стояла цепь городских, окружавшая полуразрушенный передний фасад дачи; убитые и раненые были уже увезены. Мы прошли в сад, так как вход в дом снаружи был завален обломками, и внутри сада нас встретил вышедший из дома П.А. Столыпин, лицо которого носило явно заметные следы чернильных брызг. В особенности был в чернильных пятнах лоб и руки. Оказалось, что в минуту взрыва Столыпин сидел у своего письменного стола и чернильные брызги были произведены сотрясением воздуха от сильного взрыва.

Сохраняя наружно полное самообладание, Столыпин вкратце рассказал нам, как произошел взрыв, сообщил, что в эту минуту его премная была полна народа, что многие из представлявшихся и часть прислуги при доме убиты и не мало ранены, что его маленький сын ранен на верхнем балконе дачи, но, по-видимому, не опасно, зато дочь его Наталья кажется тяжело ранена в ногу, и оба они уже отвезены в больницу Кальмейера на углу Большого и Каменноостровского проспекта, куда уехала с ними и мать их, но доктора еще не решаются высказать их мнения о характере ранения. Столыпин и сам собирался вскоре поехать в больницу, главным образом, чтобы успокоить жену, не желавшую даже оставлять его на разрушенной даче, но он не считал возможным выехать до окончания некоторых формальностей по составлению первого протокола об обстоятельствах совершенного взрыва. Я предложил проехать в больницу, чтобы узнать о положении детей и успокоить Ольгу Борисовну, и обещал немедленно дать ему знать все, что мне скажут врачи, если только мне удастся получить от них сколько-нибудь определенные сведения. Вместе с Шванебахом мы поехали в больницу, где доктор Греков сказал мне, что поражения маленького Аркадия незначительны, но дочь П.А. пострадала гораздо серьезнее, и он не может даже сказать, удастся ли спасти ногу или придется ампутировать ее, настолько раздробление пятки представляет собой явление весьма серьезное. Дать знать Столыпину на дачу не было прямой возможности, так как телефонное сообщение было разрушено взрывом, и я собирался было вернуться на Аптекарский остров, как Столыпин приехал сам, получил от докторов непосредственно те же сведения, и мы расстались с ним, условившись, что он примет нас всех в понедельник тотчас после завтрака.

С этого дня, отделенного от покушения всего полутора сутками, наша деятельность по Совету министров возобновилась как будто ничего особенного не случилось. Все мы были просто поражены спокойствием и самообладанием Столыпина, и как-то невольно среди нас установилось

молчаливое согласие, как можно меньше касаться его личных переживаний и не тревожить его лишними расспросами, тем более что после первых неопределенных дней врачи дали успокоительные заключения и относительно возможности избежать ампутации ноги раненой дочери Столыпина.

Столыпин остался короткое время на Фонтанке, а затем по личной инициативе Государя скоро переехал в Зимний Дворец, где и оставался почти два года, переменив его помещение на летнее пребывание на Елагинском острове в предоставленном в его распоряжение Елагинском дворце. В этих двух помещениях и сосредоточилась наша общая работа до той поры, когда наступило успокоение и Столыпин мог опять перебраться в дом Министерства внутренних дел на Фонтанке.

Припоминая все пережитое за эту пору, я не могу не отметить, что личное поведение Столыпина в минуту взрыва и то удивительное самообладание, которое он проявил в это время, не нарушивши ни на один день своих обычных занятий и своего всегда спокойного и даже бесстрастного отношения к своему личному положению, имело бесспорно большое влияние на резкую перемену в отношении к нему не только двора, широких кругов петербургского общества, но и всего состава Совета министров и в особенности его ближайшего окружения по Министерству внутренних дел. И до роспуска Думы и после его, наружно дисциплинированное отношение в заседаниях Совета министров было далеко не свободно если и не от не вполне серьезного отношения к отдельным его замечаниям, часто отдававшим известным провинциализмом и малым знанием установившихся навыков столичной бюрократической среды, — то, во всяком случае, слегка покровительственного отношения к случайно выкинутому на вершину служебной лестницы новому человеку, которым можно и руководить и при случае произвести на него известное давление.

После 12 августа отношение к новому председателю резко изменилось; он разом приобрел большой моральный авторитет, и для всех стало ясно, что несмотря на всю новизну для него ведения совершенно исключительной важности огромного государственного дела, в его груди бьется неоспоримо благородное сердце, готовность, если нужно, жертвовать собой для общего блага и большая воля в достижении того, что он считает нужным и полезным для государства. Словом, Столыпин как-то сразу вырос и стал всеми признанным хозяином положения, который не постесняется сказать свое слово перед кем угодно и возьмет на себя за него полную ответственность.

С наступлением осени заседания Совета министров в помещении Столыпина в Зимнем Дворце приняли совершенно регулярный характер и первое время почти целиком были посвящены земельному вопросу и обсуждению наставлений губернаторам относительно подготовки вы-

боров. С конца октября или начала ноября к этим вопросам присоединился и вопрос о необходимости готовиться к пересмотру закона о выборах, так как не только лично Столыпин, но и большинство министров, пожалуй за исключением одного А.П. Извольского, ясно отдавали себе отчет в том, что повторное производство выборов на основании закона 11 декабря 1905 года приведет только к повторению одного и того же результата – невозможности нормальной работы правительства, отвечающего основным законам, то есть избираемого Императором и ответственного перед ним, а не перед одной нижней палатой. Все отлично сознавали, что следующую Думу необходимо собрать по тому же плохому закону, для того чтобы не давать повода к лишним нареканиям на правительство и на произвольность его действий, но для всех нас входивших тогда в состав правительства не было также никакого сомнения в том, что добиться пересмотра избирательного закона в законном порядке также совершенно немыслимо, ибо никакое представительство народа не пойдет на умаление избирательных прав, и перед правительством неизбежно предстанет только одна дилемма: либо отказаться от законодательства и самого принципа народного представительства, либо идти открыто – в силу прямой государственной необходимости – на пересмотр избирательного закона по непосредственному усмотрению монарха, то есть в прямое нарушение изданного им же закона. Мы все, кроме, повторяю, Извольского, были единомышленны в признании этого начала и считали неустрашимым такое закононарушение во имя устранения еще большего зла – полного отказа Государя от всего, что скреплено его подписями, начиная от указа 12 декабря 1904 года<sup>62</sup>. Да и А.П. Извольский, отстаивавший мысль о необходимости соблюдать законность в таком вопросе во имя устранения отрицательного к нам отношения общественного мнения на Западе, отлично понимал, что правда на нашей стороне, и не только не поставил открыто вопроса о его принципиальном несогласии с остальным составом Совета и не перенес, следовательно, этого вопроса на решение Государя, но принял впоследствии самое деятельное участие в разработке нового избирательного закона.

Я говорю все это только для того, чтобы снять со Столыпина всю ответственность за принятое Советом решение по этому вопросу и сказать совершенно определенно, что все министры того времени, и в числе их я, мы были вполне солидарны с председателем Совета министров и несем за это общую ответственность, как и имеем и общую с ним заслугу за то, что имели достаточную решимость посмотреть печальному явлению прямо в глаза и дали стране, во всяком случае, спокойную законодательную работу на долгий срок – до самого бурного периода последней поры перед разразившейся над Россией катастрофой. Мы должны также снять за это ответственность и с покойного Государя, потому что если в самую последнюю минуту, то есть вечером 2 июня 1907 года, ему принадлежало

последнее в этом отношении настояние, — о чем я скажу в своем месте, — то, что многим не известно по существу дела, Государь все время после роспуска Думы, да пожалуй, и до него слышал от всех нас только одно, что с нашим избирательным законом лучшего результата достигнуть нельзя и, следовательно, и перед ним все время была все та же роковая дилемма, как и перед всеми нами.

Я не знаю в точности, с какого момента и в каких условиях Министерство внутренних дел стало заниматься пересмотром избирательного закона 11 декабря 1905 года. Я думаю, однако, что начало этой работы следует отнести к самому первому моменту, когда выяснилась физиономия первой Государственной Думы, и имею основание предполагать, что первые мысли об этом принадлежали если не самому Горемыкину, то кому-либо в Министерстве внутренних дел. Столыпин на первых порах своей деятельности под председательством Горемыкина едва ли имел совершенно определенный взгляд на этот вопрос, как едва ли и вполне смело мог идти навстречу идее издания нового избирательного закона непосредственным указом от Государя. Он не только решился на это после долгих колебаний и многократных разговоров на эту тему в Совете министров в зимний период 1906–1907 года, но не мог останавливаться на такой необходимости во всю ту пору — весной и летом 1906 года, когда он вел переговоры как с представителями кадетской партии по одним показаниям так и с лицами "общественного доверия" по личным моим воспоминаниям.

В Совете министров поздней осенью 1906 года, если даже не зимой, проект избирательного закона поступил в совершенно стройной и законченной форме, и Совет министров имел дело только с постатейным рассмотрением проекта, во всех деталях изученного министром, известного ему в мельчайших подробностях, настолько, что защищал проект столько же его автор, Крыжановский, столько и сам Столыпин.

На рассмотрении этого вопроса я впервые познакомился с Крыжановским, которого, кажется, до того ни разу не встречал, и тут же убедился, какой изворотливый и быстрый ум отличал его рядом с совершенно практическим и здоровым отношением к самым сложным предметам выборного искусства. Не было вопроса, задаваемого ему с точки зрения самых неожиданных и разнообразных сомнений, на который у него не было бы точного и исчерпывающего ответа, не раз заставлявшего Извольского отступать от его сомнений и переходить на сторону большинства из нас, а иногда и оказывавшегося более католичным, нежели сам папа — Столыпин. Справедливость побуждает меня сказать, что новый избирательный закон, как он вышел в окончательной его обработке, в сущности остался без всякого изменения против разработанной Крыжановским схемы, и таким образом заслуга, как и возможность критики его, должна быть целиком приписана не Совету министров, не внесшему в

него почти ничего от себя, а Министерству внутренних дел и тем, кто работал над ним в тиши, в его подготовительной стадии. Но в отношении рассмотрения этого вопроса Советом министров была одна особенность, которую я должен отметить, потому что ни до этого, ни после, во всю мою долгую служебную жизнь, я не встречался с таким небывалым явлением, которое сопровождало рассмотрение этого дела.

Когда впервые вопрос о пересмотре избирательного закона был внесен на обсуждение Совета, Столыпин напомнил нам всем то, что многие из нас открыто говорили с самых первых дней после открытия первой Государственной Думы, и сказал нам, что эти мысли давно разделяются им и он решил внести на рассмотрение Совета новую схему избирательного закона, какой она представляется ему желательной на тот случай, если и вторые выборы в Думу по старому избирательному закону дадут те же отрицательные результаты, какие мы имели уже от первого опыта. Он настойчиво указал на то, что смотрит на пересмотр избирательного закона как на самую печальную необходимость, которую можно допустить только в самом крайнем случае, если не будет возможности избежать этой необходимости, и надеется даже, что этого не случится. Он указал при этом на всю нежелательность разглашения вопроса о том, что Совет занимается этим вопросом, так как самое отдаленное появление слухов об этом грозит величайшими неприятностями и может даже привести к тому, что правительству не удастся исполнить задуманного намерения, которое должно оставаться до последней минуты неизвестным решительно никому. Поэтому он не вносит письменного предложения, не рассылает отдельных его экземпляров министрам для их ознакомления, а предлагает рассматривать дело по устному докладу своего товарища и берет с министров слово, что они сохранят полную тайну наших работ и не будут делиться решительно ни с кем своими впечатлениями и помогут ему довести дело до конца, и только в этом случае он решается начать рассмотрение. Все мы дали ему определенное обещание и несмотря на то, что мы собирались по этому делу почти каждую неделю, а затем, уже после открытия второй Государственной Думы, и чаще, — ни в печать, ни в салоны, ни в среду падкого до всякой сенсации чиновничества не проникло никаких слухов о том, что правительство предполагает изменить в исключительном порядке избирательный закон. Его издание указом Государя Сенату явилось поэтому на самом деле полнейшей неожиданностью для всех, кто так зорко следил в это время за действиями правительства.

Подготовка выборного закона не составляла, однако, в эту пору главного предмета забот правительства. Наряду с событиями внутренней жизни страны, которые требовали большого внимания, конечно, прежде всего председателя Совета министров и министра внутренних дел, все мы должны были напряженно следить за борьбой с революционными вспышками в разных местах России, так как Столыпин давал нам всем полную возможность быть всегда и вполне в курсе событий, и никто из нас, по совести, не имеет права сказать, что он не участвовал в разрешении всех текущих дел или не нес ответственности за принимаемые решения.

Наряду с этим шла самая интенсивная работа по подготовке целого ряда законопроектов по наиболее существенным вопросам нашей жизни, и можно сказать, что именно в эту пору положено было основание самым разнообразным предположениям, не только внесенным во Вторую Государственную Думу, но даже потом и в третью.

В числе вопросов подготовительного свойства для внесения их в Государственную Думу второго созыва, составлявших предмет занятий Совета министров этой поры (осень и зима 1906 г.), один вопрос достоин того, чтобы о нем было сказано несколько слов.

В одном из заседаний самого начала октября месяца 1906 года П.А. Столыпин предложил всем членам Совета по окончании рассмотрения всех очередных дел и удалении из заседания чинов канцелярии Совета — не расходиться и остаться еще на некоторое время, так как он имеет в виду коснуться одного конфиденциального вопроса, который уже давно озабочивает его. Мы все, разумеется, последовали его приглашению, и, когда с уходом канцелярии остался один управляющий делами Совета, сын покойного Плеве — Николай Вячеславич, пользовавшийся его полным доверием, — и притом и совершенно справедливо, — Столыпин просил всех нас высказаться откровенно, не считаем ли мы своевременным поставить на очередь вопрос об отмене в законодательном порядке некоторых едва ли не излишних ограничений в отношении евреев<sup>63</sup>, которые особенно раздражают еврейское население России и, не внося никакой реальной пользы для русского населения, потому что они постоянно обходятся со стороны евреев, — только питают революционное настроение еврейской массы и служат поводом к самой возмутительной [кампании] против русской пропаганды со стороны самого могущественного еврейского центра — в Америке. Притом Столыпин сослался и на пример бывшего министра внутренних дел Плеве, который при всем его консерватизме серьезно думал об изыскании способов к успокоению еврейской массы путем некоторых уступок в нашем законодательстве о евреях и принимал даже незадолго до его кончины

некоторые меры к сближению с еврейским центром в Америке, но не успел в этом, получивши весьма холодное отношение со стороны главного руководителя этого центра — Шифа. Он добавил к этому, что до него с разных сторон доходят сведения, что в настоящую минуту такая попытка может встретить несколько иное, более благоприятное отношение, если предложенные нами льготы будут иметь характер последовательно проведенных мероприятий, хотя бы и не отвечающих признаку полного еврейского равноправия. В его личном понимании было бы наиболее желательно отменить такие ограничения, которые именно отвечают потребностям повседневной жизни и служат только поводом к систематическому обходу законов и даже злоупотреблениям низших органов администрации.

Первый обмен взглядами среди министров носил в общем весьма благожелательный характер. Никто из нас принципиально возражения не заявил, и даже такие министры, как Щегловитов, отозвались, что было бы наиболее правильным, не ставя принципиального вопроса о введении у нас еврейского равноправия, приступить к детальному пересмотру существующего законодательства, вносящего те или иные ограничения, и обсудить, какие именно из них можно отменить, не вызывая принципиального же возражения с точки зрения нашей внутренней политики.

Несколько более сдержан был только государственный контролер Шванебах, как всегда в довольно неясной форме заметивший, что нужно быть очень осторожным в выборе момента для возбуждения еврейского вопроса, так как история нашего законодательства учит нас тому, что попытки к разрешению этого вопроса приводили только к возбуждению напрасных ожиданий, так как они кончались обыкновенно второстепенными циркулярами, не разрешавшими ни одного из существенных вопросов, и вызывали одни разочарования.

Наше первое совещание по возбужденному вопросу кончилось тем, что каждое ведомство представит в самый короткий срок перечень ограничений, относящийся к предметам его ведения, с тем, чтобы Совет министров остановился на каждом законодательном постановлении и вынес определенное решение относительно объема желательных и допустимых облегчений.

Работа была исполнена в очень короткий срок. В течение нескольких, специально ей посвященных заседаний пересмотр был исполнен, целый ряд весьма существенных ограничений предположен к исключению из закона, и в этой стадии дела также не произошло какого-либо разногласия среди министров, и только два мнения, да и то в очень осторожной форме, нашли себе слабое проявление в подробном заключении Совета министров, которое было представлено на рассмотрение Государя, для того чтобы он имел возможность дать его окончательные указа-



зания о пределах, в каких этот вопрос подлежал внесению на законодательное утверждение. Министр иностранных дел Извольский находил, что намеченные льготы недостаточны и было бы предпочтительным вести все дело в направлении снятия вообще всех ограничений. Государственный контролер Шванебах, напротив того, полагал, что объем льгот слишком велик и все дело следовало бы вести меньшими этапами, приближая его к конечной цели — еврейскому равноправию — после того, что опыт даст указания того, какое влияние окажут на самом деле дарованные льготы.

Во все время исполнения этой подготовительной работы у всех нас было ясное представление о том, что Столыпин возбудил вопрос с ведома Государя, хотя прямого заявления нам об этом не делал, но все мы понимали, что он не решился бы поднять такой щекотливый вопрос, не справившись заранее со взглядом Государя, тем более что у него был в руках очень простой аргумент — его личное близкое знакомство с еврейским вопросом в западном крае, где протекала вся его предыдущая деятельность. Он любил ссылаться на нее и имел поэтому простую возможность иллюстрировать практическую несостоятельность многих ограничений совершенно очевидными доводами, взятыми из повседневной жизни.

Журнал Совета министров пролежал у Государя очень долго. Не раз мы спрашивали Столыпина, какая судьба постигла его и почему он так долго не возвращается, и каждый раз его ответ был совершенно спокойный и не предвещал чего-либо для него неприятного. Только 10 декабря 1906 года журнал Совета вернулся от Государя к Столыпину при письме, с которого Столыпин разрешил мне снять копию. Вот это письмо: "Возвращаю Вам журнал Совета Министров по еврейскому вопросу неутвержденным. Несмотря на вполне убедительные доводы в пользу принятия положительного решения по этому делу, — внутренний голос все настойчивее твердит Мне, чтобы я не брал этого решения на себя. До сих пор совесть моя никогда меня не обманывала. Поэтому и в данном случае я намерен следовать ее велениям. Я знаю, Вы тоже верите, что "сердце царево в руках Божьих". Да будет так. Я несу за все власти мной поставленные великую перед Богом ответственность и во всякое время готов отдать ему в том ответ".

Ни в одном из документов, находившихся в моих руках, я не видел такого яркого проявления того мистического настроения в оценке существа своей царской власти, которое выражается в этом письме Государя своему председателю Совета министров.

Столыпин отнесся к такому решению совершенно спокойно и не проявил никакой горести. Мне он сказал, что, конечно, он не думал, чтобы вопрос мог получить такое разрешение, так как ему приходилось подолгу излагать Государю свои мысли на основании его опыта в Запад-

ном крае и Государь ни разу не высказал ему принципиального его несогласия, но он должен удостоверить, что не было и заранее данного общего согласия, которого Столыпин и не испрашивал у Государя, хорошо понимая, что по такому щекотливому вопросу нельзя и требовать, чтобы Государь высказался заранее, не ознакомившись с представлением Совета министров.

На мою долю выпал за это время очень большой труд. Было бы просто бесполезно перечислять все то, что было исполнено за эти месяцы 1906 и начала 1907 года. Скажу только, что один бюджет на 1907 год дал мне величайшую заботу. Все ведомства предъявили к казне огромнейшие новые требования, как бы желая показать перед новой Думой их рвение и необходимость всевозможных реформ и улучшений. Столыпин, при всем его благоразумии и сдержанности, оказал мне лишь относительную поддержку в моей работе против обременения казны новыми расходами, так как его ведомство и сам он шли даже впереди некоторых ведомств. Не отставало от него и ведомство земледелия, постепенно становясь, так сказать, вторым модным ведомством в деле всякого рода реформ и улучшений, так как всем было очевидно, что не только крестьянский вопрос вообще, но перестройка нашей земледельческой промышленности неизбежно встанут, так сказать, во главу угла.

Военному и морскому ведомствам нельзя было оставаться позади этих двух ведомств, и у меня почти не было ни оснований, ни аргументов к сокращению их требований. Сметы этих двух ведомств на 1906 год не содержали в себе почти никаких средств на восстановление расстроенной материальной части нашей армии за время русско-японской войны, а тем более на воссоздание нашего погибшего флота. Словом, со всех сторон на меня надвинулись самые настойчивые требования, а положение казначейства было далеко не блестящее и оснований к скорому его исправлению еще не было заметно. Урожай 1906 года был совсем плохой. Продовольственная и семенная помощь населению унесли уже не малое количество десятков миллионов рублей и грозили в следующем году новыми экстренными расходами. Столыпин все это хорошо понимал, несмотря на всю его неопытность в общем направлении государственных дел, и оказывал мне, где мог, все же широкую и даже иногда энергичную поддержку, невольно давая своим примером и на другие ведомства, но обрушиваясь на меня гораздо более решительно по военно-морским расходам, нежели по собственному ведомству. Нужды его ведомства и не требовали, впрочем, еще немедленных расходов, потому что все они были сопряжены с принятием задуманных им преобразований законодательными платами, и сам он очень скоро понял всю несостоятельность системы условных кредитов, когда судьба тех или иных преобразований зависела прежде всего от того, во что выльется будущая Дума, и окажется ли возможной с ней совместная деятельность правительства.

Не раз Столыпин в шутку говорил мне и с глаза на глаз и в заседаниях Совет министров, что он состоит на службе по Министерству финансов больше, чем по Министерству внутренних дел, и я не переставал открыто говорить, что без его поддержки я просто не вынес бы моей работы.

Только в одном вопросе чисто принципиального характера мы резко разошлись со Столыпиным, и наша размолвка едва не дошла до моей отставки и, несомненно, кончилась бы ей, если бы Столыпин сам, вопреки настояний своих сотрудников, не уступил в последнюю минуту и не встал на путь того соглашения, которое с первого же дня нашего разногласия было предложено мной на виду у всех, но почти, две недели держало меня в полной неизвестности того, останусь ли я или уйду, о чем никто из окружающих меня сотрудников по министерству финансов, однако, и не подозревал.

Случилось это в том же декабре 1906 года.

Министерство внутренних дел внесло на рассмотрение Совета министров основные положения реформы губернского управления<sup>64</sup>. Столыпин сразу поставил этот вопрос на всю его принципиальную высоту и дал всем нам почувствовать, что этот вопрос так же близок его сердцу, как и только что проведенный им по 87 статье закон о выходе из общины<sup>65</sup>. Этого заявления было достаточно для того, чтобы среди министров сразу же выяснилось стремление отнестись сколько возможно благожелательно к внесенным предположениям и как можно менее возбуждать разногласий и споров по отдельным вопросам. На такую же точку зрения стал и я и предложил моим сотрудникам при предварительном рассмотрении этих основных положений отбросить все второстепенное и сосредоточить наше внимание только на том, что не допускает никаких компромиссов по принципиальным вопросам финансовым и налоговым.

Я применил в данном случае также до известной степени мало похвальный оппортунизм, заявив при начале прений, что должен был бы возражать против многих основных положений, но не стану останавливаться на них, дабы не выслушать упрека в моем вмешательстве в такую область, в которой решающий голос принадлежит при проведении дела в палатах не мне. Столыпин просил меня тем не менее высказать ему все, что я имею сказать, и мы сошлись на том, что я передам ему лично то, что мне кажется требующим исправления или переработки, и просил остановиться всего на одном основном положении, которое входит к тому же целиком в область моего ведения и по которому у меня есть совершенно непримиримое отношение.

Мы дошли до пресловутой в то время статьи 20 внесенных Столыпиным предположений. Она предусматривала совершенно небывалое в летописях какого угодно законодательства нововведение, а именно "отнесение на счет казны всех необходимых расходов по земствам и городам, для которых собственные средства их оказываются недостаточ-

ными". Проект министерства не ставил для этого никаких пределов и не устанавливал никаких гарантий, кроме чисто административного усмотрения в форме "признания расходов полезными и необходимыми для местной жизни со стороны губернатора, губернского совета и высшего центрального совета по делам местного хозяйства". Признанные этими административными инстанциями расходы подлежали автоматическому занесению в бюджет, и предварительной законодательной санкции по существу не предусматривалось.

Я заявил резкое несогласие с таким небывалым принципом, привел целый ряд, казалось, неопровержимых доводов: неспособность таких безбрежных расходов для казны, односторонность оценки их исключительно административной властью, полное устранение министра финансов от оценки расходов по существу и даже лишение его возможности довести его мнение до Совета министров, необходимость считаться в первую голову с бюджетным равновесием, принципиальную недопустимость лишать законодательные учреждения права оценки этих расходов по существу, когда все государственные расходы подчинены ей в пределах, установленных сметными правилами, и т.д.

Меня поддержал в Совете министров, но и то в довольно слабой степени, один Д.А. Философов, сменивший В.И. Тимирязева на посту министра торговли, все же прочие министры, не исключая и государственного контролера, встали на сторону Столыпина, и я очутился в положении почти безвыходном — нести вопрос, притом в такой предварительной стадии на разрешение Государя и, несомненно, встретиться с утверждением им мнения большинства. Столыпин был возбужден до последней степени и поставил вопрос на совершенно непримиримую точку зрения, давая ясно понять всем, что он не откажется от принимаемой всем Советом его точки зрения. Я стал искать путь возможных соглашений, сколько-нибудь совместимых с финансовой точкой зрения, в ее самой элементарной бесспорности. Я предложил вовсе исключить этот вопрос из проекта о губернской реформе и сделать его предметом особого законопроекта, в котором он был бы связан с пересмотром нашей налоговой системы и новым распределением расходов между государством и местными самоуправлениями, так же как и с передачей последним некоторых государственных доходов и введением вместо них новых налогов. Я указал при этом на целый план, уже вполне разработанный министерством финансов согласно одобрению Совета со включением в него подоходного налога, разработка которого настолько подвинулась, что я внес его уже на одобрение Совета. Я предлагал в проекте губернской реформы определенно оговорить об этом и высказать все мысли министерства в пользу необходимости идти на помощь земствам и городам в указываемом мной порядке и силился найти самый льготный для министерства внутренних дел компромисс.

Ничто не помогло. Столыпин не шел ни на какие соглашения, и даже усилившаяся поддержка меня Философовым в виду моего явного стремления найти какой-либо путь к сближению не привела ни к какому результату. Мы разошлись в очень тяжелом настроении, и Столыпин сказал мне на прощанье в несвойственной ему сухой и даже раздраженной форме, что он переговорил со своими ближайшими сотрудниками, но не видит никакой почвы к соглашению и предпочитает передать спор на решение высшей власти. Через несколько дней он пригласил меня к себе и в гораздо более мягкой форме старался уговоривать меня уступить ему в этом вопросе и не ставить его в необходимость беспокоить нашими разногласиями Государя, ибо он заранее убежден, что Государь будет поставлен в крайнее затруднение сделать выбор между нами обоими, так резко ставящими спор на совершенно непримиримую точку зрения. Из этой нашей встречи также ничего не вышло, только была снята острота личных отношений, и Столыпин вместо требовательного тона перешел на совершенно дружеский, сказавши на прощанье: "Подумайте только, разве я могу сидеть в Совете без Вас, когда я то Вас имею всегда самую деятельную и дружескую поддержку во всех сложных вопросах".

Я помню хорошо, что, выходя от него, — это было на Рождественских праздниках, — я просил его сказать мне, было ли какое-либо упрямство или какая-либо предвзятая точка зрения в моих настояниях, и разве так говорит человек, ищущий ссор, препирательств и осложнений. На это он ответил мне: "Чем бы ни кончилось наше разногласие, я отдаю Вам полную справедливость, что ни в тоне Ваших возражений, ни во всей Вашей попытке найти сближение между двумя противоположными точками зрения нельзя было подсмотреть ничего иного, кроме открытого и честного заявления того, что составляет Ваше убеждение. От этого мне, однако, не легче".

Через два или три дня после этого разговора ко мне приехали вместе Шванебах и Кривошеин, и оба старались убедить меня в необходимости уступить Столыпину главным образом во имя необходимости сохранить единство кабинета перед новой Думой. Не стану повторять всего того, что было говорено между нами. Скажу только, что, ставя их на мое место, я спросил их, в какое положение стали бы они, если бы в случае моего ухода кому либо из них пришлось считаться с решением Совета, принятым в том смысле, которое они признают правильным. Могли ли бы они защитить такую точку зрения перед законодательными учреждениями и что ответили бы они, если бы их спросили, как может министр финансов допустить подпись векселя, не зная ни суммы, ни срока платежа. Они ответили оба точно, сговорившись: "Ну что за беда, про нас сказали бы, что мы легкомысленны, а за то земские люди были бы нам благодарны, да и рассказ о султанине, великом визире и знахаре — очень

мудрый рассказ, и им всегда полезно руководствоваться в сложных обстоятельствах". Закончился этот инцидент тем, что я не вышел в отставку, разногласие в Совете сгладилось тем, что Столыпин в сущности понял невозможность настаивать на его мнении, и Совет принял среднее мнение — простота настаивать на его мнении, и Совет принял среднее мнение — предоставить административной власти только оценку потребностей, а испрошение кредитов на их удовлетворение подчинить общему порядку разрешения кредитов.

Практического значения этот вопрос впрочем не имел, так как проект губернской реформы не был внесен на рассмотрение законодательных учреждений до кончины Столыпина, и отношения наши остались до самой его кончины теми же сердечными и дружескими, какими были в самом начале, если не считать нового осложнения, которое возникло между нами уже позже из-за Крестьянского банка, — о чем речь впереди.

\* \* \*

Приблизительно в то же время — в половине января 1907 года — в Совете министров произошел инцидент со мной в связи с окончанием выборной компании во вторую Государственную Думу.

Министерство внутренних дел, сосредоточившее в своих руках все делопроизводство по выборам и руководившее ими, как это и следовало по закону, делилось время от времени с Советом поступавшими к нему сведениями об окончательных результатах выборов по губерниям. Доклад по этому вопросу происходил по Главному управлению по делам печати, во главе которого стоял в ту пору А.В. Бельгард. Его сообщения носили весьма оптимистический характер и давали Столыпину не раз повод говорить, что он имеет надежду, что выборы окажутся гораздо более благоприятными в смысле распределения членов Думы по политическому их настроению, нежели это было в первой Думе. Параллельно с этим ко мне поступили сведения по состоявшему в моем ведении С.-Петербургскому телеграфному агентству, во главе которого находился А.А. Гирс и рядом с ним в составе управления агентством находился и представитель Министерства внутренних дел, имевший постоянный доступ ко всем донесениям, поступавшим с мест от представительства агентства. Этими донесениями я, разумеется, постоянно делился с П.А. Столыпиным и всегда получал от него выражение удовольствия, что он имеет возможность проверять данные, сообщаемые его агентами, другими источниками, не зависящими от Министерства внутренних дел и отдельных губернаторов. Но так продолжалось недолго. Вскоре между сведениями министерства и телеграфного агентства стали замечаться крупные разногласия в оценке политической окраски выборов, и мне пришлось не раз в Совете, слушая доклады Бельгарда, указывать на совершенно не согласные с ними донесения представителей агентства,

ссылавшихся на те же источники, из которых черпали и губернаторы свои заключения. Почти каждый раз Бельгард, а за ним и министр, говорили мне, что мои сведения ошибочны и объясняются только неопытностью наших корреспондентов. Но когда подошел конец выборной компании и пришлось выслушать общий итог выборов с распределением их по политическим группировкам, по данным Бельгарда и телеграфного агентства, то разница получилась такая, что вместо благоприятного вывода я должен был огласить сводку агентства самого мрачного свойства, которая оканчивалась общим заключением, что состав второй Думы не только не лучше первой, но даже должен быть признан хуже его как по преобладанию трудовиков<sup>66</sup> над кадетами, так и по имеющимся на местах сведениям о характере целого ряда лиц, прошедших в Думу. Это разноречие послужило поводом к весьма бурной сцене в Совете, вызванной резким заявлением Бельгарда о некомпетентности агентства, о полном дискредитировании его служебного положения моей поддержкой агентства и о невозможности для него продолжать службу на занимаемом им посту. Столыпин встал на его сторону, резко напал на Гирса и его бестактность, обратился ко мне с просьбой заменить его другим лицом в должности директора агентства и закончил тем, что сказал, что до этой замены он не находит возможным оставить своего представителя в составе агентства и немедленно предложит ему прекратить свое участие в его работе.

Я не мог принять предложенного мне решения, и такой неожиданный конфликт обещал разгореться в крупный инцидент, если бы мне не пришлось в голову тут же сделать предложение, которое и вывело нас из неожиданного столкновения. А именно, — я просил согласиться на то, чтобы отложить ликвидацию всего вопроса до того момента, когда новая Дума соберется всего через 2–3 недели и сама подведет итоги распределению своего состава на политические группировки, причем я обязуюсь пойти навстречу желаниям П.А. Столыпина, если окажется, что Гирс действительно допустил произвольные заключения и не сумел должным образом руководить работой своих подчиненных. Против такого решения было трудно возражать. Затем печальная действительность очень быстро доказала, что агентство было совершенно право, Дума оказалась гораздо [...] по своему составу, чем предполагало Министерство внутренних дел. Столыпин скоро забыл об этом инциденте, но зато Бельгард долго не мог простить мне моей защиты агентства и даже одно время прекратил всякие сношения со мной и с неохотой отвечал даже на обычные поклоны при встрече. Много лет спустя, уже в беженстве мы снова встретились с ним на церковной работе, но и тут мне казалось, что у него все еще сохранилась недобрая память о прошлом столкновении со мной, хотя он оказался просто введенным в заблуждение донесением губернаторов, принявших на слово заключения их подчиненных.

## ГЛАВА IV

*Открытие второй Думы. — Крайняя правая фракция. — Декларация Правительства и враждебный прием, оказанный ей оппозицией. — Непрерывающиеся резкие нападки на правительство. — Рассмотрение бюджета. — Моя бюджетная речь, выступление Н.Н. Кутлера и мой ответ на его выпады. — А.П. Извольский и вопрос о роспуске второй Думы. — Отношение П.А. Столыпина и Государя к вопросам о роспуске Думы и о новом избирательном законе. — Закрытое заседание 17 апреля по вопросу о контингенте новобранцев, предпринявшее роспуск второй Думы. — Нападки оппозиции на армию. — Заседание 7 мая. — Запросы правой фракции по поводу слухов о готовившемся покушении на Государя и левой оппозиции по делу социал-демократической фракции Думы. — Последняя речь Столыпина во второй Думе. — Рассмотрение Советом министров дела о предании суду военно-революционной организации. — Отказ Думы снять депутатскую неприкосновенность с замешанных в этом деле депутатов. — Подписание Государем указа о роспуске второй Думы и нового избирательного закона*



20 февраля 1907 года собралась вторая Государственная Дума. Ее открытие было гораздо проще, нежели открытие первой. С величайшей методичностью совершил необходимый обряд открытия товарищ председателя Государственного Совета И.Я. Голубев, после краткого молебна, не сопровождавшегося никакими инцидентами. Правительство было, разумеется, в полном своем составе на месте, сидевший рядом со мной барон Фредерикс все обращался ко мне с вопросом, какое впечатление оставляет во мне внешний вид новых законодателей и, в особенности, что представляет собой отдельная группа, сплотившаяся на крайних правых скамьях небольшого роста совершенно плешивого, чрезвычайно подвижного человека, Пуришкевича, который не мог буквально ни одной минуты сидеть спокойно и все перебегал с места на место. Впоследствии эта группа действительно оказалась значительно сплоченной в своем составе, и ее выступления, зачастую не лишённые мужества и смелости в окружавшей ее обстановке левого большинства, сыграли определенную роль в той кристаллизации крайнего оппозиционного настроения, которое явилось неоспоримым признаком всего трех с половиной месячного существования этой Думы.

Как и по отношению к первой Думе, я не стану, конечно, говорить подробно о том, что так хорошо известно, что дала эта Дума, и остановлюсь только на том, что коснулось лично меня, поставило меня лицом к лицу к этой Думе и заставило пережить первые, далеко не веселые, прикосновения в нашей конституционной действительности.

Все помнят, конечно, что начало занятий Думы ознаменовалось весьма печальным происшествием: всего несколько дней спустя после открытия Думы, в то время, когда не было заседания в главном зале, потолок над ним провалился, очевидно, вследствие недостаточности основательного исследования давно оставшегося необитаемого здания перед его



приспособлением под первую Думу. Пришлось переместить Думу в здание дворянского собрания, и на несколько дней всякая работа была приостановлена. Возбуждение среди членов Думы было очень велико. Один из депутатов дошел даже до того, что с трибуны намекнул на то, что обвал потолка был умышленный, за что и был остановлен председателем Головиным, правда в самой робкой форме, как бы нехотя, и только для того, чтобы избежать уже готовившихся резких выступлений справа, так как нужно отдать полную справедливость малочисленной правой группе, что она не упускала ни одного случая, чтобы парировать нападения слева, ни мало не смущаясь тем, что самая малочисленность ее не давала ей никаких шансов на какой-либо реальный успех. Нельзя, однако, не сказать, что и самый факт существования смелой на реплики и не боявшейся ни криков, ни даже угроз своих противников небольшой горстки людей, если и подзадоривал ее противников к еще большим резкостям, то, во всяком случае, служил немалым успокоением нам, сидевшим на правительственных скамьях, в том, что мы не совсем одиноки и что есть в этой, вечно бурлящей, враждебной зале хотя и немного людей, но готовых бороться против морального насилия и ничем не сдерживаемой враждебности к нам только за то, что мы представляем правительство.

Первое прикосновение правительства к новой Думе произошло ровно через две недели после ее открытия, 16 марта, когда Столыпин прочитал правительственную декларацию, тщательно подготовленную правительством и содержащую в себе целую программу деятельности его на ближайшее время<sup>67</sup>. В этот день всем нам невольно приходило на ум выгодное для данного момента сравнение его с таким же заседанием 15 мая 1906 года, когда читал в первой Думе свою декларацию И.Л. Горемыкин. Так же, как и тогда, сидевший рядом со мной барон Фредерикс спросил меня перед концом декларации, как будет она принята Думой, и все удивлялся, что не слышно привычных для первой Думы криков "в отставку", а когда конец декларации был покрыт громкими рукоплесканиями справа, он сказал мне даже "как это странно", Вы понимаете, что Дума как будто одобряет правительство, а между тем все были убеждены в том, что будет то же самое, как и при Горемыкине".

Не долго пришлось, однако, барону Фредериксу ждать проявления действительного отношения Думы к правительству. Прекрасная манера чтения декларации, отличное ее содержание, полное искренней готовности правительства работать с Думой самым дружным образом, исчерпывающий перечень того, что уже сделано правительством и намечено еще в ближайшее время, все это не могло и не должно было произвести иного впечатления, как самое благоприятное, на непредубежденного слушателя, но не так восприняла Дума эту декларацию.

Следом за Столыпиным вышел на кафедру депутат Церетели, сыграв-

ший потом немалую роль в составе Временного правительства, и полились те же речи, какие мы привыкли слушать за время первой Думы. Та же ненависть к правительству, то же огульное осуждение всего слышанного, то же презрение ко всем нам и то же неудержимое стремление смести власть и сесть на ее место и создать на развалинах того, что было до сих пор, что-то новое, свободное от сплошного беззакония, которое отличает всю деятельность тех, к кому нет иного отношения, как вражды и желания свести давно подготовленные счета. Во время этой речи заседание превратилось в настоящий митинг. Правые депутаты прерывали оратора резкими окриками, председатель то и дело останавливал их, но не останавливал оскорбительных криков слева. Церетели сменили другие ораторы с тех же левых скамей, и только усиливалось раздражение, искусственно создаваемое в пылу деланного красноречия; правые пытались также выходить на трибуну, но их голоса заглушались криками и обидными возгласами, а самое появление их только еще более раздражало залу и готовило новые, бесцельные выступления. Наконец, среди депутатов возникло предложение прекратить прения, подавляющее большинство поддержало его, но Столыпин совершенно правильно не захотел, чтобы последнее слово осталось за бунтарскими призывами к свержению правительства, а тем более у кого-нибудь могла возникнуть мысль о том, что правительство струсило и растерялось. Он снова вышел на трибуну, рискуя снова услышать те же дерзости, которые так часто раздавались по его адресу в первой Думе. Его выступление было очень краткое, но дышало такой силой и таким сознанием достоинства, что не раздалось ни одного дерзкого окрика, и я хорошо помню и сейчас, как зала затихла, и думается мне, что с этого дня всем стало ясно, что в правительстве есть воля и что оно будет бороться за свое достоинство и с ним не так-то легко справиться. Конец этого второго выступления Столыпина стал на самом деле историческим, и многие помнят его вероятно и теперь. Он сказал, закачивая свою вторую речь; "Все Ваши нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти, паралич и воли и мысли, все они сводятся к двум словам, обращенным к власти — "руки вверх". На эти слова, господа, правительство с полным спокойствием, с ознанием своей правоты, может ответить тоже только двумя словами — "не запугаете". "

После этого исторического дня разом определилась физиономия второй Государственной Думы, как и то, чего от нее можно ожидать. Прошло снова две недели до того, что мне пришлось непосредственно выступить перед Думой и начать ту бесконечную цепь выступлений, которая началась 20 марта 1907 года и кончилась только в январе 1914 года и тянулась таким образом ровно семь лет. И теперь, на склоне моих дней, оглядываясь назад, невольно спрашиваешь себя, как хватило меня на этот труд наряду с другим огромным трудом по управлению министер-

ством, как выдержали нервы это напряжение и как достало сил и воли довести борьбу до конца: который наступил к тому же не потому, что я стремился к нему, а потому, что так судили условия, от меня не зависевшие.

Эти две промежуточные недели прошли в Думе в сплошных нападках на правительство по каким угодно поводам. То в запросах по всевозможным поводам существовавших или вовсе не существовавших незаконных действий, то в форме бессвязного рассмотрения самых разнообразных предположений, вносившихся отдельными членами Государственной Думы, и каждый повод был хорош для одной, исключительной цели — дискредитировать правительство, издеваться над его представителями, задавать им самые невероятные вопросы, выворачивать наизнанку и ответы, и все это для того только, чтобы показать, через посредство думской трибуны приниженное будто бы положение правительства и смелость народного представительства в разоблачении часто вовсе не существовавших злоупотреблений власти. Достаточно просто просмотреть, чем занималась Дума за это время, какие запросы предъявила она к Правительству и как развивался каждый запрос в повторных дебатах на одну и ту же тему, чтобы оценить с полным беспристрастием все невыносимое положение самой добросовестной власти перед неудержимой злобой расходившегося, "народного представителя", возмнившего себя уже полновластным хозяином захваченного им положения. Такое состояние не могло держаться долго и должно было разразиться рано или поздно непримиримым конфликтом между властью и Думой, притом совершенно безразлично по тому или иному поводу. Повод был просто безразличен, потому что неизбежность столкновения не вызвала сомнений ни в ком, и неизвестно было только, сколько времени протянется это невыносимое состояние и когда именно лопнет давно назревший нарыв.

\* \* \*

20 марта Дума приступила к рассмотрению в порядке направления, внесенного еще в самый день открытия Думы, бюджета на 1907 год.

Все отлично сознавали, что никакого рассмотрения по существу не будет, что все дело ограничится передачей проекта росписи доходов и расходов на рассмотрение Бюджетной комиссии, состав которой был уже перед тем определен, но все отлично понимали также, что, подражая парламентским образцам конституционно управляемых стран, и у нас дело не обойдется без общих прений, понимаемых, разумеется, на наш национальный образец, как прекрасный повод наговорить правительству все, что заблагорассудится и по какому угодно поводу и в каком угодно масштабе.

Совет министров заблаговременно подготовился к этому торжественному спектаклю. Я просил Столыпина посвятить этой подготовке особое

заседание, для того чтобы дать мне совершенно точные директивы того, чего держаться в моей вступительной речи и устранить впоследствии всякие поводы говорить, что я был недостаточно объективен или внес ту или иную ноту раздражения в последующие прения. Я особенно настаивал на этом в виду неоднократных упоминаний Извольского, что нам не следует раздражать народное представительство и необходимо, напротив того, проложить для него путь к самому благожелательному отношению между ним и царской властью. Во всю эту пору первого нашего контакта с Думой второго созыва наш министр иностранных дел держался самым настойчивым и даже непримиримым образом того взгляда, что Дума вовсе не так плоха, как можно думать об этом по совокупности неумелых речей в первые дни ее существования. Он переменял свой взгляд только несколько позже и притом без всякого особого повода со стороны самой Думы и уже тогда, когда ни для кого из нас не было более никакого сомнения в том, что роспуск Думы просто неизбежен. Об этом, впрочем, речь впереди.

Против всякого моего обычая я заранее написал мою речь и представил ее Совету министров на одобрение. В ней не было ни малейшего задора, и если в чем ее упрекнули некоторые члены Совета и, в частности, государственный контролер Шванебах, то только в том, что она слишком серьезна для уровня понимания средней массы народного представительства. Столыпин, однако, особенно решительно поддержал меня, находя, что из нее нельзя убавить ни одного слова, и даже предложил показать ее Государю, который в свою очередь сказал мне на моем докладе перед заседанием Думы, что все сказанное мной, конечно, совершенно ясно и даже просто, а в особенности изложено в крайне выдержанных тонах, но, — прибавил он, — ”и все-таки Вы не избегнете тех же выпадов против Вас, какими встречаются все представители власти”.

Весь состав правительства был налицо в этот день в Думе, кроме министра двора. Столыпин высидел все заседание, как и большинство министров, и все они громко приветствовали меня в павильоне при Думе после того, как мне пришлось в конце заседания отвечать первому оратору оппозиции Кутлеру.

Мое объяснение, излагавшее общие основания бюджета на 1907 год и те условия, в которых пришлось составить его среди тяжелых условий нашей внутренней жизни за 1906 год, видимо, произвело хорошее впечатление. Правая группа шумно аплодировала мне, никто не прерывал меня во время всей моей речи, и после ее окончания не раздалось ни одного крика, обычного для первой Думы, ”в отставку”, не было и ни одного обидного для меня замечания, и только гробовое молчание сопровождало овацию, сделанную мне справа. Зато со всех скамей, начиная от центра и вплоть до крайней левой, шумные рукоплескания встретили появление на трибуне первого оратора Н.Н. Кутлера, выставленного, очевидно,

Думой, чтобы уничтожить меня беспощадной критикой и разом парализовать все впечатление, которое должно было оставить выступление мое, как представителя правительства.

Странная судьба этого, в сущности, не дурного человека, перешедшего так недавно из рядов правительства в ряды оппозиции, разом примкнувшего к кадетской партии, голосами которой он и прошел в Думу, и сразу же попавшего в первые авторитеты по вопросам бюджета, финансов и экономических знаний вообще. Он без всяких колебаний принял на себя роль быть изобличителем финансовых грехов правительства и, вероятно, думал и сам, как думали и те, кто послал его на бой против меня, что лучшего оппонента нельзя и выставить. Политическая страстность не удержала его от особой щекотливости для него выступать именно против меня, своего недавнего начальника, оказывавшего ему самое дружеское внимание, а недостаточная подготовленность его в деле широкого и глубокого знания бюджета повела к тому, что он допустил целый ряд грубейших ошибок в своих нападках на правительство и на меня, в частности, и подставил свои бока под мои удары, что не составило для меня даже и большого труда, настолько слаб и не содержателен оказался он в этом первом своем выступлении против правительства, по признанию как его самого, так и друзей его по партии.

Кутлер был моим сотрудником в течение многих лет по Департаменту окладных сборов. Мне он был обязан всеми своими повышениями по службе, и ни одно разногласие не разделяло нас ни в ту пору, когда я был товарищем министра финансов, ни в первое время занятия мной должности министра до самой минуты ухода моего из министерства в октябре 1905 года. Когда он должен был покинуть пост министра земледелия из-за составления, по поручению графа Витте, законопроекта о принудительном отчуждении частновладельческих земель, а я вернулся снова на должность министра, он стал пытаться счастье попасть на должность члена правления Учетно-ссудного банка, во главе которого находился близкий мне человек Я.И. Утин. К этому побуждала его большая его семья и отсутствие всяких средств к жизни, кроме того жалования по службе, которого он только что лишился и вместо которого он получил по инициативе графа Витте хоть и небывалую в то время большую пенсию в 6 000 рублей, далеко им не выслуженную, — но на нее одну он существовать не мог. Он просил меня поддержать его кандидатуру, что я и сделал, сказавши Утину, что он прекрасный работник, честный в исполнении своего долга и, если и не имеет банковского опыта, то, конечно, головой выше большинства тех людей, которых проводят обычно акционеры в члены правления, когда у них нет особенно подготовленных кандидатов. Моя рекомендация была услышана, Кутлер был избран в апреле 1906 года в члены правления Учетного банка и горячо благодарил меня за то, — как он сказал сам, что я спас его и его семью от голодной смерти, потому что

220

”на пенсию в 6 000 рублей они все могут только жить с протянутой рукой, а Гр[аф] Витте, на которого я так надеялся, отказал помочь мне”. Я хорошо понимаю, что, сделавшись оппозиционным политическим деятелем, он отнюдь не был обязан в новой для него роли руководствоваться своими прежними отношениями, но он отлично знал не только лично меня; но и весь уклад правительственной организации в деле приготовления бюджета, — так как и сам не раз должен был подчиняться ее требованиям, которые всегда были основаны на строгом соблюдении закона, и уже, во всяком случае, не в деле составления бюджета можно было искать злоупотреблений или даже покровительства им. И тем не менее он не постеснялся прямо обвинить правительство в том, что из сумм исчезают какие-то суммы, неизвестно куда, и даже, — под гром аплодисментов, — бросил в правительство прямой укор, что оно ”не постеснялось, из сумм предназначенных по старым законам на нужды народного образования, куда-то спрятать (он выразился ”утянуть”, но исправил это слово с стенограмме), а может быть поступить и хуже с суммой в 96 000 рублей, которая где-то запуталась и попала неизвестно в чьи карманы”.

Я не говорю уже о других его выпадах, которые изобличали просто его незнание дела и обнаружили чрезвычайно малое знакомство с делом составления и исполнения бюджета, и разбить которые не стоило никакого труда, но приведенный мной выпад затрагивал просто достоинство правительственной власти и давал повод думать, что такой знаток дела, как Кутлер, едва вышедший из рядов правительственного чиновничества, не может не знать всех тайн бюрократии, и если уж он говорил о прямых злоупотреблениях или даже о прямой краже денег чуть что не среди белого дня, то куда же идти далее! А если присоединить к этому, что тот же оппозиционный оратор с таким исключительным служебным прошлым, как Кутлер, заявил в своей речи, что Министерство финансов есть лучшее по своему составу ведомство и хорошо знает свое дело, то вывод из его обнаруженного злоупотребления только один, — что вся правительственная машина полна пороков и злоупотреблений и годится только для того, чтобы смести ее с лица земли. Естественно поэтому, что на мне лежала прямая обязанность поднять брошенную перчатку и ответить моему противнику, не щадя его самолюбия, что и я сделал, тем более что его речь произвела впечатление не только на оппозиционную часть Думы, но даже и на некоторых членов правительства. Столыпин был положительно смущен и, наклонившись ко мне, спросил меня, что значит это разоблачение, и могу ли я опровергнуть его. Я успокоил его, что не мы, а Кутлер будет сконфужен потому, что он, как плохо знакомый вообще с бюджетом и в частности совершенно не знающий сметы Министерства народного просвещения, просто запутался и не знал, где искать пропавшие по его мнению суммы. Так оно и вышло на самом деле. Не прошло и пяти минут, как сидевший позади меня на правительственной скамье

главный бухгалтер Министерства финансов, превосходно знавший все сметы, передал мне листок бумаги, на котором написал только: "украденная правительством сумма в 96 000 рублей находится в той же смете, только на странице такой-то, в составе сумм, отчисляемых по закону на пенсионные вычеты".

Я счел поэтому моей обязанностью воспользоваться предоставленным мне правом и, не ожидая других речей, просил дать мне слово, чтобы рассеять впечатление, оставшееся после Кутлера. Я не судья в моем собственном доме, но по общему голосу мое возражение было не только удачно, но и привело Кутлера в величайшее смущение, он просто почернел, как-то осунулся и не мог сказать мне потом ни одного слова в оправдание своих выпадов и только отделался одним словом, что на личные мои выпады, он отвечать не будет, а когда я просто прочитал справку главного бухгалтера Дементьева и развил ее смысл, указавши на то, что не к лицу такому опытному по своей прошлой службе лицу, как недавний мой сотрудник, играть на политических страстях и, срывая аплодисменты слева, сообщать данные, не отвечающие действительности, и совершенно не двусмысленно обвинять правительство просто в краже, то торжество оппозиции сменилось прямым смущением и прения как-то утратили всякий интерес тем более, что и на долю Столыпина выпала возможность уличить того же Кутлера в неправильном заявлении и по Министерству внутренних дел и бросить ему меткий упрек в том, что нанесенный им удар "пришелся не по коню, а по глобле".

Через два дня, 22 марта, мне пришлось еще раз выступить в Думе по общим прениям по бюджету, но остроты уже больше не было, и все дело утратило всякий интерес и закончилось просто передачей бюджета в Особую комиссию, из которой оно так и не вернулось до роспуска Думы. Публика, наполнявшая хоры, по общему признанию, вынесла самое выгодное впечатление от выступлений правительства, многие приходили приветствовать меня, а Совет министров и в особенности Столыпин оказали мне просто демонстративный прием, когда мы все собрались в павильоне после окончания заседания.

Печать также отнеслась сочувственно к нашим выступлениям, за исключением, разумеется, Речи и Русских Ведомостей, которые прошли мимо всех неловкостей Кутлера и главным образом обрушились на то, что будто бы я придал лично полемический тон всем прениям. Вскоре стали назревать другие события, и они делали вопрос о неизбежности роспуска Думы все более и более очевидным. Собрания Совета министров стали более частыми, рассмотрение проекта выборного закона сделалось еще более интенсивным.

Именно к этой поре, концу марта, относится небольшой, но весьма характерный эпизод, связанный с именем покойного министра иностранных дел Извольского.

Все мы давно уже знали, что каждый раз, когда в связи с теми или иными событиями в суждениях Совета затрагивался вопрос о неизбежности роспуска Думы, Извольский также неизбежно выскажет свои соображения о нежелательности этого по соображениям нашей политики и будет настаивать на том, что деловая работа Думы налаживается и ее оппозиционные выступления против правительства вовсе не так уже далеко отходят от обычной оппозиции в европейских парламентах. Но тут случилось, что после одного из заседаний, по запросам министр юстиции Щегловитов опять указал в Совете министров на невыносимое положение министров в Думе и, не ставя вопроса о роспуске, выразился только, что это мучение кончится только с роспуском и до того не остается ничего иного, как терпеть и ждать. Велико было общее всех нас удивление, когда Извольский без всякого вызова с чьей-либо стороны сказал, что и он начинает понимать всю необходимость роспуска и полагает даже, что невыгодные от того последствия значительно преувеличиваются вообще, так как он только что получил сообщение от нашего посланника в Португалии, который подробно доносит ему о только что состоявшемся роспуске кортесов, который произошел без всяких осложнений и не вызвал никакого брожения в стране. Иванебах подхватил это заявление и, делая серьезный вид, сказал: "Мы должны быть очень благодарны Александру Петровичу за то, что он облегчает нашу трудную задачу, когда она предстанет перед нами, и мы можем более смело и спокойно принять наше решение, как как пример португальских кортесов может для нас служить большим успокоением". Не знаю, понял ли Извольский всю иронию этих слов, но мы не раз, говоря между собой об этом вопросе, всегда ссылались в шутку на португальский пример.

После 22 марта я ни разу не был более во второй Государственной Думе до самого ее роспуска. Заседания ее продолжались, но они носили характер какого-то невероятного сумбура, настолько было ясно, что никакая продуктивная работа была немыслима, да она никого в Думе и не интересовала, а все время уходило на бесплодные попытки правой фракции бороться против явной демагогии, не прикрываемого стремления дискредитировать правительство по всякому поводу — со стороны всех остальных фракций, которых на самом деле и не было, так как вся Дума представляла собой сплошное революционное скопище, в котором были вкраплены единицы правых депутатов, отлично сознававших всю свою беззащитность даже с точки зрения руководства прениями со стороны председателя Думы Головина. Перечитывая и сейчас, много лет спустя, стенограммы заседаний Думы, невольно спрашиваешь себя, как могла держаться Дума столько месяцев, каким образом ее возмутительные речи не вызвали тогда открытых революционных выступлений улицы и как хватило сил у представителей правительства вынести все те оскорбления, которые ежедневно сыпались на их головы.



Текущая работа еще как-то тянулась некоторое время, и в ней участвовало и Министерство финансов, второстепенные проекты которого рассматривались в конце апреля и даже в течение всего мая месяца не только в Финансовой комиссии, но и в Общем собрании, создавая в последнем, разумеется, только поводы ко всевозможным выступлениям против правительства, несмотря на то что внесенные им дела носили самый безобидный, деловой характер и имели своим предметом такие далекие от какой-либо политической окраски вопросы, как, например, вопрос о контингенте налога с недвижимых имуществ и его раскладке, об обложении земель в Туркестанском крае и другие совершенно заурядные дела, требовавшие, однако, неизбежно законодательного рассмотрения. Почти все эти дела касались компетенции Департамента окладных сборов, во главе которого стоял еще так недавно Н.Н. Кутлер, и по все этим делам неизменным докладчиком или главным оппонентом правительству всегда выступал Кутлер, как будто искавший реабилитации своей компетентности в прямых налогах после постигшей его неудачи по бюджету. И хотя его связывали прекрасные личные отношения с заменявшим меня по всем этим делам в Думе моим товарищем Н.Н. Покровским, недавним его же сотрудником, но все его выступления носили такой пристрастный, враждебный правительству характер, что нужно было величайшее терпение Покровского и его природное отвращение от всякой резкости, чтобы выслушивать все расточаемые резкости, для которых не было ни малейшего основания. Большинство этих дел благодаря этому особенному методу работы так и не дошло до окончательного рассмотрения Думой, и только немногие из них дошли до Государственного Совета.

После 22 марта вскоре наступил короткий пасхальный перерыв, а затем быстро Дума покатила под гору к ее неизбежному роспуску.

Можно сказать без преувеличения, что после того, что произошло в Думе 17 апреля, а затем в заседании 7 мая, ее дни были уже сочтены<sup>68</sup>, и наступила неизбежная агония, тянувшаяся до 2 июня, когда в поздний ночной час Совет министров получил в Елагинском Дворце подписанный Государем указ о ее роспуске и вместе с ним и именной указ Сенату с утвержденными в исключительном порядке через Совет министров новыми правилами о выборах в Думу третьего созыва вместо правил 11 декабря 1905 года, давших такие печальные результаты при двукратном созыве Думы на их основании.

Характеристика этих двух заседаний, определивших неизбежный роспуск второй Думы, как-то мало остановила на себе внимание широких слоев публики, и истинная причина роспуска осталась затемненной как предвзятым отношением оппозиционной печати, так и безразличием публики. Первая считала, что правительство без нужды противится введению у нас настоящего конституционного строя, чего только и доби-

ваеяся будто бы большинство народного представительства, вторая не входила вовсе в разбор того, что происходило в Думе и что грозило несомненной новой революционной вспышкой. Она видела только, что Дума находится в постоянном конфликте с правительством, и отчасти даже недоумевала, почему оно так долго медлит роспуском. Эта часть общественного мнения мало давала себе отчета в том, что повторные роспуски Думы приводят неизбежно только к усилению неудовольствия в стране и что Столыпин немало боролся с самим собой прежде, нежели он решился встать на путь пересмотра избирательного закона с бесспорным нарушением закона о порядке его пересмотра, и сделал это исключительно во имя сохранения идеи народного представительства, хотя бы ценой такого явного отступления от закона. И в этом отношении положение правительства вообще и в особенности самого Столыпина было по истине трагическое. Лично он был убежденным поборником не только народного представительства, но и идеи законности вообще. Все его окружение, — я не говорю об окружении чинов Министерства внутренних дел, я его мало знал, — влекло его, скорее, к тому, чтобы еще и еще терпеть все выходки Думы и добиваться ее перехода к нормальной работе. Он и сам думал, отчасти под влиянием своих саратовских связей, а отчасти будучи и сам нечужд либеральных принципов, что можно сделать многое переменной состава правительства, и в этих видах он открыто и добросовестно шел навстречу переговорам с общественными элементами о вступлении их в состав правительства. Но он видел, что у Государя не было к этому настоящего сочувствия, да и сами общественные деятели проявили слишком много неискренности в сношении с ним и вовсе не стремились открыто взять на себя тяжесть ответственности и, ставя перед ним каждый свои условия, в сущности вовсе не желали оставлять поля оппозиционерства, чтобы сменить его на мало заманчивую перспективу не справиться с властью, хотя бы и ценой широких уступок требованиям момента. По существу своей природы Столыпин, конечно, любил власть, стремился к ней и не хотел выпускать ее из рук. Но это был, бесспорно, человек благородный и честный, и ему было ясно, что на карту поставлено: или сохранить государственный порядок так, как он только что установлен, или встать на наклонную плоскость уступок и дойти, может быть, до разрушения всего государственного строя. У него не было выбора, и, сознавши эту двойственность, он встал открыто на путь решительной попытки сохранить народное представительство и разорвать с теми слоями оппозиционного движения, на которых он лично был отчасти готов построить свой новый план. Если он и медлил принятием этого шага, то только потому, что ему хотелось исчерпать все средства, чтобы избежать конфликта с законностью и решиться на этот шаг только тогда, когда сама Дума откажется помочь ему в его стремлении избежать нового конфликта.

Государь смотрел на этот вопрос проще. Он видел, что дело так дальше идти не может. Ему говорили об этом со всех сторон, не исключая и членов самого правительства. Он читал большинство возмутительных речей, произнесенных в целом ряде заседаний, а когда они дошли до настоящего апогея в вечернем заседании 17 апреля и затронули честь и достоинство того, что было всего ближе его сердцу — нашу армию, по адресу которой депутат Зурабов произнес совершенно недопустимые суждения, — у него не могло быть иного отношения, как недоумение, куда же идти дальше и чего же еще ждать. Это он и высказал открыто Столыпину, как говорил не раз и мне, и не встретивши со стороны Столыпина какого-либо возражения по существу, Государь не входил вовсе в рассмотрение детального вопроса о необходимости соблюсти какую-то особенную осторожность при роспуске. Его взгляд был до известной степени примитивен, но ему нельзя, по справедливости, отказать в большой логичности. Я хорошо помню, как на одном из моих всеподданнейших докладов в промежутке между 17 апреля и 10 мая Государь прямо спросил меня, чем объясняю я, что Совет министров все еще медлит представить ему на утверждение указы о роспуске Думы и о пересмотре избирательного закона, и когда я стал разъяснять ему точку зрения Совета о необходимости соблюсти всю допустимую осторожность и принять эту решительную меру только в том случае, если Дума не порвет своей солидарности с социал-демократической фракцией и откажется дать разрешение на предание ее суду, — Государь сказал мне совершенно просто: "Неужели же думает Совет министров, что Дума такая, какой мы ее знаем, найдет большинство голосов для принятия такого решения". И когда я ответил ему, что Совет, конечно, уверен в том, что этого не удастся достигнуть, но нужно сделать так, чтобы отказ последовал со стороны Думы, и тогда каждому станет ясно, что правительству не оставалось ничего иного, как допустить крайнюю меру во имя спасения не только своего достоинства, но и устранения государственной катастрофы, — Государь сказал мне на это: "Все это прекрасно, но нужно принять необходимую меру раньше, чем она окажется последним средством, и, во всяком случае, избежать нареканий нам никогда не удастся, и следует идти не за теми, кто больше кричит о незаконности, а сам готовит совершить быть может самую большую, а за теми, кто пока молчит и недоумевает, почему бездействует правительство и я сам".

Я передал в тот же день слова Государя Столыпину. П.А. [Столыпин] имел вслед затем разговор с Государем и уверил его, что никаких колебаний ни с его стороны, ни со стороны Совета министров нет и не будет, что после инцидентов в заседаниях 7 и 10 мая<sup>69</sup> сношения его с Думой о выдаче социал-демократической фракции ведутся самым усиленным темпом, что новый избирательный закон готов в том виде, как он уже известен Государю, и он просит поэтому оказать ему доверие и не обви-

нять его в слабости, а тем более в попустительстве Думе. Государь казался совершенно успокоившимся и ни разу более не заговаривал со мной после этого дня до самого моего последнего перед роспуском Думы доклада, который пришелся на 1 июня, то есть как раз накануне того исторического заседания Совета министров поздно вечером в субботу 2 июня на Елагином острове, когда был получен и указ о роспуске Думы и указ о новом избирательном законе. Об этом заседании я скажу в своем месте.

Повторяю, что лично я считаю, что роспуск второй Думы был окончательно и бесповоротно решен еще 18 апреля после закрытого заседания Думы накануне по законопроекту о контингенте новобранцев набора 1907 года. Все то, что произошло затем 7 мая и в ряде последующих заседаний, было только лишними каплями окончательно переполнившимся накопившийся сосуд долготерпения как правительства, так и самого Государя.

Вот что произошло в закрытом заседании 17 апреля. Министерство внутренних дел внесло в Государственную Думу законопроект об определении контингента новобранцев, подлежащих призыву осенью того же года, на пополнение армии и флота. В заседание Думы прибыли представители всех трех ведомств — военного, морского, внутренних дел — с многочисленным составом своих сотрудников на случай каких-либо справок и разъяснений. Столыпин не поехал лично в заседание, чтобы не давать повода говорить, что правительство придает делу особое значение, хотя из доходивших до сведения Совета министров из так называемых кулуарных источников слухов нужно было думать, что заседание не пройдет гладко и ожидаются многочисленные оппозиционные выступления. Столыпин говорил на это совершенно естественно, что иного ничего нельзя и ожидать, но если ему и всему правительству в предвидении всяких выступлений нужно являться в Думу в полном своем составе, то ему предстоит просто не выходить вовсе из Думы и прекратить всякую деятельность по управлению и отдаться исключительно одной Думской, совершенно бесплодной работе.

Представительствовал лично председатель Думы Головин. Прения сразу приняли приподнятый и страстный характер. Застрельщиками явились кадетские депутаты, развивая в своих речах обычные общие места о тяжести воинской повинности для населения, об устарелости самых оснований отбывания ее, о наступлении для России поры мирного строительства, допускающего полную возможность пересмотреть эти основания и начать сокращение состава армии, а пока этого не сделано, нельзя говорить о контингенте и продолжать привлекать население к этой повинности. После них стали говорить трудовики, постепенно повышая тон своих речей и обостряя аргументы о тяжести воинской повинности, которая просто разоряет страну, отвлекая от производитель-

ного труда цвет населения и развращая его в казармах в угоду неизвестно каким именно государственным потребностям, но, во всяком случае, не отвечающим интересам русского народа, и т.д.

Представители правительства, по очереди, просили слова, разъясняя в самой сдержанной форме неправильность выслушанных возражений и невозможность построить на них какую-либо организацию обороны страны. Они приводили, какие предположения имеются вообще в виду для облегчения населения, а главное, представляли совершенно убедительные доводы о том, насколько население России менее затрагивается воинской повинностью, нежели население большинства стран, знающих институт общей воинской повинности.

Сдержанность тона этих объяснений вызвала совершенно приличные одобрительные замечания с места депутатов правой фракции, поддерживавших всегда правительство, но слева и из центра стали все более и более резко раздаваться голоса иного характера, которые постепенно переходили в перебранку, и прямые оскорбления представителей власти. Председатель никого не останавливал, несмотря на то, что справа его просили не допускать выходок неприличного свойства. Очередь дошла до кавказского депутата Зурабова, уже и ранее составившего себе прочную известность своими демагогическими выступлениями по целому ряду запросов и даже однажды после объяснений Столыпина, дававшего разъяснение по одному из них и собиравшегося после своего объяснения покинуть собрание, как часто делали все мы, исполнивши свою обязанность, выкрикнувшего по адресу Столыпина знаменитую фразу, произнесенную со свойственным ему резким восточным акцентом: "Гаспадин министр, пожалуйста, пагади, не уходи, я тебя еще ругать буду". Зурабов сразу придал своей речи небывалый даже для второй Думы тон и построил ее на сплошных оскорблениях армии, уснащая свою речь чуть что не площадной руганью и возводя на правительство не поддающиеся повторению обвинения в развращении армии, в приготвлении ее исключительно к истреблению мирного населения, и закончил прямым призывом к вооруженному восстанию, в котором понявшие, наконец, гнусную роль правительства войска сольются с разоренным населением и свергнут ненавистное правительство, в своем слепом заблуждении не видящее, что войска давно только ждут минуты свести свои счета не с внешним, а с внутренним врагом. Зурабов закончил под гром рукоплесканий призывом к отклонению законопроекта и к отказу доверия правительству, ведущему политику ненависти к населению. Говорить о том, что происходило во время этой речи в самой Думе, какие крики негодования раздавались с немногочисленных правых скамей, чем отвечали на эти крики единомышленники Зурабова, а их было подавляющее большинство, каким возмущением охвачены были присутствующие за безразличие председателя, не остановившего оратора и даже после

требования об этом с правых скамей, сделавшего это как-то нехотя в самой деликатной по отношению к Зурабову форме, несмотря на то что в его речи были прямые оскорбления по адресу Государя, — повторять все это теперь бесцельно. Военный министр генерал Редигер вышел на трибуну и в короткой, но самой резкой реплике отметил всю недопустимость этого выступления и, заявивши о том, что он считает ниже достоинства правительства отвечать на подобную речь, — покинул заседание.

Весть о происшедшем разнеслась немедленно по городу, хотя заседание было закрытое и публики в нем не было. В широких кругах стало громко раздаваться убеждение в том, что роспуск стал неизбежен. Того же мнения держался и Совет министров, когда на другой день мы все были собраны Столыпиным в экстренное заседание. Такое же мнение высказал и сам Столыпин, но находил только невозможным произвести роспуск Думы без того, чтобы одновременно был назначен созыв новой и были опубликованы утвержденные в порядке Верховного управления, указом Государя, новые правила о производстве выборов. Разработка этих правил, однако, еще не была окончена, и у самого Государя оставались некоторые сомнения по отдельным частностям, требовавшие еще работы нескольких недель. Каковы были объяснения Государя со Столыпиным, — происходившие на другой день, — я не знаю, но помню только, что в следующем заседании Совета Министров, — а собирались мы в ту пору очень часто, не менее двух раз в неделю, — Столыпин сказал нам, что Государь разделил его точку зрения и настаивает лишь на том, чтобы избирательный закон был представлен ему на рассмотрение в окончательном виде как можно скорее, потому что необходимость роспуска Думы не допускает в нем больше никаких сомнений.

Мой доклад у Государя пришелся на пятницу 17 апреля, в день закрытого заседания Думы, и Государь сказал мне только, что он с большим нетерпением ждет известий, как оно кончится, хотя он не допускает мысли о том, что Дума рискнет отказать в утверждении контингента новобранцев. Таким образом, я не видел Государя после этого исторического заседания целую неделю. В четверг, 23-го, в день именин Императрицы, выход во дворце был немногочисленный и никаких особых разговоров на эту тему вообще не было, но зато на другой день, 24-го, на моем очередном докладе, Государь прямо встретил меня словами: "Я до сих пор не могу опомниться от всего то[го], что мне передано о заседании Думы прошлой пятницы. Куда же дальше идти и чего еще ждать, если недостаточно того, чтобы открыто призывалось население к бунту, позорилась армия, смешивалось с грязью имя моих предков, — и нужны ли еще какие-либо доказательства того, что никакая власть не смеет молчаливо сносить подобные безобразия, если она не желает, чтобы ее самое смыл вихрь революции. Я понимаю Столыпина, который настаивает на том, чтобы одновременно с роспуском был обнародован новый выбор-

ный закон, и готов еще выждать несколько дней, но я сказал председателю Совета министров, что считаю вопрос о роспуске окончательно решенным, более к нему возвращаться не буду и очень надеюсь на то, что меня не заставят ждать дольше того, что необходимо для окончания разработки закона, который, по моему мнению, тянется слишком долго”.

Я ответил на это только, что Совет не имеет и в своей среде никаких колебаний, но пытался оправдать кажущуюся медленность разработки выборного закона его технической трудностью и необходимостью предусмотреть все, чтобы не допустить повторения неудачных опытов избирательного закона 11 декабря 1905 года.

Прошло, однако, еще целых пять недель прежде чем роспуск Думы стал фактом, и тем временем произошло еще одно заседание Думы, которое усугубило необходимость роспуска, хотя мне лично казалось, что правительству было выгоднее распустить Думу на почве недопустимых ее действий 17 апреля, нежели ждать еще осложнения, которое произошло на почве инцидента, разыгравшегося в заседании 7 мая. Я говорил в этом смысле в Совете министров тотчас после заседания 17 апреля, многие члены Совета были одного со мной мнения, — но окончательная отделка избирательного закона все еще тянулась, несмотря на величайшую энергию и искусство, проявленные Крыжановским, и приходилось поневоле ждать, укрепляя тем самым убеждение Думы в том, что ее не распустят и она и дальше может безнаказанно продолжать ее разрушительную работу.

Подошло 7 мая. Накануне, 6 мая, в день рождения Государя, был выход в Царском Селе, к которому был приглашен и председатель Думы Головин, державшийся совершенно обособленно от всех и не разговаривавший ни с кем из министров, несмотря на то что многих из нас он уже знал по нашим посещениям Думы. Среди министров и придворных было, однако, немало разговоров по поводу завтрашнего заседания Думы, так как газеты оповестили, что в нем будет предъявлен запрос правительству по поводу обнаруженных будто бы покушений на жизнь Государя, и нас спрашивали даже, правда ли, что этот запрос был так сказать спровоцирован самим правительством и чем это вызвано? Меня спросил об этом между прочим обер-гофмаршал гр[аф] Бенкендорф, которому я совершенно добросовестно ответил, что не допускаю и мысли о том, чтобы запрос был вызван самим правительством, которое в нем и не нуждается, но что все мы знаем, что такой запрос будет сделан, что он даст место патриотическим выступлениям со стороны некоторых членов Думы, что председатель Совета министров в качестве министра внутренних дел решил быть лично на заседании, чтобы немедленно дать объяснение и снять настроение тревоги, естественно господствующее среди определенной части Думы, но остальные министры, вероятно, кроме одного — министра юстиции, не будут присутствовать на заседании. Гр[аф] Бенкендорф спро-

сил меня, может ли он передать Государю содержание его беседы со мной, на что я, конечно, ответил, что предоставляю ему полную свободу располагать моим сообщением, тем более что оно повторяет лишь то, что было недавно решено в Совете министров.

И действительно, когда по городу стали, как всегда, с большим опозданием, ходить слухи о том, что раскрыт новый революционный очаг, готовящий ряд террористических действий, Совет министров разъяснил, что правительству это было известно еще в половине апреля и что слухи эти относятся еще к событиям, ставшим известными и Министерству внутренних дел, и прокуратуре в самом начале года и ликвидированным уже в конце марта арестом всех обнаруженных участников. Столыпин сообщил нам все существенные подробности и не имел вовсе в виду делать их предметом широкой гласности, но, как водится, они просочились в публику, дошли и до Думы, и от имени правой ее фракции покойный гр[аф] Бобринский посетил Столыпина и предупредил его, что фракция готовит сделать ему запрос, имея между прочим в виду сделать из него затем предмет патриотического выступления в Думе. У Столыпина не было ни права, ни желания мешать им в этом и за несколько дней до 7 мая ему, всем нам стало известно, что такой запрос будет заявлен именно в понедельник 7 мая и, вероятно, будет тут же заслушан Думой, если только правительство не воспользуется предоставленным ему по закону месячным сроком для дачи своего разъяснения. Столыпин обещал не требовать месячного срока, но предупредил Бобринского, что оговорит в своих объяснениях, что поднятый ими вопрос не принадлежит к числу тех, по которым Дума может делать запросы правительству, и он даст свое объяснение только потому, что понимает напряженное состояние членов Думы, желающих знать открыто, насколько их тревога справедлива.

Так оно и вышло, и даже газеты за день или за два до 7 мая открыто заявили, что такой запрос будет оглашен именно 7 числа и послужит, вероятно, предметом объяснения правительства в тот же день.

Хоры Думы в этот день были полны до отказа. Депутаты собрались в большом количестве, но, когда открылось заседание, всеобщее внимание было привлечено тем, что не только крайние левые скамьи были совершенно пусты, но и во всем левом секторе было очень много пустых мест, а с началом заседания и еще многие депутаты из трудовиков как будто незаметно вышли. Демонстративно отсутствовала приблизительно четвертая часть Думы.

Заседание началось буквально так, как сообщили газеты, очевидно получившие информацию из официальных думских источников. Головин огласил поступившее за подписью 30 членов правой фракции заявление с просьбой обратиться к председателю Совета министров за разъяснением степени справедливости дошедших до сведения подписавших запрос слухов о том, что на особу Государя Императора готовилось покушение преступ-



ной организацией, специально для того образовавшейся, причем преступление это могло быть предотвращено только благодаря вниманию органов полиции и уголовного розыска. Поддержать этот запрос подписавшие его уполномочили графа Бобринского, который и вышел на трибуну и в сдержанной форме, не допуская никакого преувеличения, кратко развил причину запроса, вызванного исключительно тревогой, охватившей всех, кому дорога Россия и неразрывно связанная с ее благополучием священная особа Государя. Он просил признать запрос спешным и обратиться к председателю Совета министров поделиться с Государственной Думой имеющимися в его распоряжении сведениями и не ставить своего ответа в зависимость от соблюдения формального срока, которому подчинено право Думы на получение разъяснений правительством по внесенному запросу.

Столыпин поступил именно так, как было обусловлено в Совете. Оговорившись, что внесенный запрос не принадлежит к числу тех, которые Дума уполномочена делать правительству, так как он не предусматривает такого-либо злоупотребления власти или совершения последней нарушения закона, — он заявил, что правительство вполне понимает то настроение тревоги, которое должно было охватить русских людей при известии о готовившемся покушении на особу Государя, и готов поэтому дать ответ не в порядке запроса о незакономерности действий власти, а исключительно для успокоения общественного настроения в связи с проникшими слухами. По существу же обращенного к нему вопроса он ответил кратко, что сведения, проникшие в печать относятся к обнаруженному еще в январе месяце сообществу, образовавшемуся с целью совершения целого ряда преступных посягательств как на особу Государя Императора, так на Великого Князя Николая Николаевича и других высших должностных лиц. Преступные намерения сообщества были, однако, своевременно предупреждены, и почти весь состав участников арестован.

Объяснения Столыпина встретили громкое одобрение членов Думы правых скамей, оппозиция молчала, так как главные силы отсутствовали, и с тех же правых скамей тут же были предложены формулы перехода к очередным делам, осуждавшие готовившиеся посягательства, и одна из них была принята без возражений. Как только баллотировка перехода была окончена, немедленно все отсутствовавшие из заседания члены оппозиции гурьбой демонстративно вернулись в залу и, по словам очевидцев, посматривая с вызывающим задором на правые скамьи, заняли свои места.

Не прошло и получаса после этого, как в числе оглашенных в качестве вновь поступивших запросов правительству оказалось то дело, которое и послужило официальным поводом к роспуску Думы второго созыва через три недели, а именно 3 июня 1907 года.

За подписью 31 члена Государственной Думы поступили одновременно два запроса, относящиеся к одному и тому же эпизоду, — известному делу так называемой социал-демократической фракции Думы, и заключающемся в том, что за два дня перед тем, именно 3 мая, на Невском проспекте в квартире депутата Озола произведен был обыск чинами охранного отделения и полиции, а затем и следственной властью в связи с дошедшими до полиции сведениями, что на этой квартире собираются участники особой организации, имевшей характер специально военно-революционной организации, поставившей себе целью пропаганду в войсках и подготовку военного бунта. В квартире оказалось несколько членов Думы, которые были задержаны до окончания обыска, им было предложено выдать имевшиеся при них документы, что некоторые из них и исполнили, другие же отказались исполнить. Никто из депутатов задержан не был, как только было установлено их депутатское звание, но посторонние лица были арестованы и заключены под стражу.

Подписавшие запрос правительству в лице министра юстиции члены Думы считали действия полиции незаконными, назвали самое проникновение в квартиру депутата "преступным вторжением в помещение, имевшее свойства неприкосновенности" и требовали спешного рассмотрения по существу без передачи его в комиссию и без соблюдения законного срока для слушания запросов.

Присутствовавший в заседании Столыпин попросил немедленно слова и, оговорившись, что он не будет давать ответа по существу, так как для этого не наступило еще время, поднял, однако, брошенную перчатку и в качестве предварительного своего разъяснения заявил, что берет под свою защиту действия полиции, считает их совершенно законными уже потому одному, что Петербург находится в положении усиленной охраны, которое дает ей права обыска при наличии имеющихся указаний на готовящееся преступление, а в данном случае имеются неопровержимые сведения о существовании военно-революционной организации, и не его вина, что в ней участвуют члены Государственной Думы, — решительно и с большим мужеством заявил, что и вперед будет отстаивать законность таких действий полиции, потому что для него выше необходимости охраны депутатской неприкосновенности — охрана государственной безопасности.

Этим своим заявлением Столыпин бесповоротно стал на путь неизбежности роспуска Думы, и этим днем официально предрешился самый роспуск. Все, что произошло далее, было только агонией Думы и формальной затяжкой акта роспуска для исполнения еще одной, конечно, совершенно неисполнимой формальности — получения согласия Думы на снятие депутатской неприкосновенности с членов Думы, входивших в состав социал-демократической фракции. На эту мучительную операцию ушло почти три недели и только вечером или точнее ночью с субботы на

воскресенье 3 июня последовал официальный отказ Думы<sup>70</sup>, а за ним — роспуск Думы, издание в исключительном порядке нового избирательного закона, арест большинства членов Думы этой фракции, побег остальных, в том числе и самого Озола, беспорной главы фракции в этом деле, а через 10 лет, уже в конце 1917 года появление весьма многих из этих лиц уже в качестве видных большевиков на разных поприщах их славной деятельности на пользу гибели России.

Я не пишу подробной истории этого процесса, для чего у меня и нет под рукой достаточных материалов. К тому же он и не входит в состав того, чему посвящаются мои записки — моей личной деятельности и тому участию в событиях моего времени, которое принадлежало мне.

Уже много лет спустя мне пришлось принять некоторое участие в ликвидации одного из эпизодов этого дела, а именно в бытность мою председателем Совета министров в 1913 году, о чем я и расскажу в своем месте. Пока же скажу, что после заседания 7 мая всем стало до очевидности ясно, что вопрос роспуска есть только вопрос немногих дней и вся деятельность Думы свелась для нее к двум задачам — наговорить как можно больше неприятностей правительству и проявить наибольшую демагогию, зная заранее, что дни Думы сочтены и, с другой стороны, тянуть переговоры с правительством по вопросу о снятии неприкосновенности с 50 депутатов социал-демократической фракции как можно дольше, чтобы возбудить страну и дороже сдать Думу при ее роспуске.

После 7 мая Столыпин еще только один раз появился в Думе в связи с ее дебатами по внесенному ее собственному проекту земельной реформы, построенному на принципе принудительного отчуждения земель. Пытаясь образумить Думу и склонить ее встать на сторону правительственного проекта, осуществленного по закону 7 ноября 1906 года, сам он и все мы отлично сознавали, что такая попытка обречена на несомненный провал. Столыпину удалось только произнести очень красивую речь в этом последнем с его участием заседании второй Думы и в этой речи сказать исторические слова: "Вам нужны великия потрясения. Нам же нужна великая Россия"<sup>71</sup>. Эти слова перешли на его памятник, открытий при моем и всего состава Совета министров участии 1 сентября 1912 года в Киеве, спустя год после его смертельного ранения, но он уничтожен в 1917 году большевиками в Киеве, и забывались эти слова так же, как и забылось многое из того, что потеряли мы с того времени.

После 7 мая вся наша деятельность просто отошла от Думы и перешла в Совет министров, который к тому времени закончил избирательный закон и представил его Государю на рассмотрение. На всех нас надвинулась иная, столь же острая забота, которой нас пришлось отдать много времени, — забота о подготовке дела о предании суду всей преступной организации, обнаруженной после обыска в квартире депутата Озола 5 мая.

Придавая этому делу значение того окончательного основания, которым должно было определиться либо продолжение существования второй Думы, либо ее роспуск в случае отказа снять депутатскую неприкосновенность с участников обнаруженной организации, – Столыпин вел всю разработку обвинения с целью предъявления его Думе при самом близком участии всего Совета. По несколько раз на неделе собирались мы сначала в Зимнем Дворце в помещении, занимаемом Столыпиным, а затем, по переезде его на дачу, в Елагином дворце, и все частности обнаруженного дознанием и следствием материала по обвинению в связи с делом Озола каждый раз докладывались Совету лично прокурором петербургской судебной палаты Камышанским, представлявшим по наиболее интересным частям следствия необходимые подтвердительные документы. Таким образом, дело это было в полном смысле слова делом всего Совета министров, а вовсе не личным делом Столыпина и Щегловитова, как думали и говорили в то время многие, и ответственность за принятие решения о предании суду обнаруженных участников преступной группы лежит на всем составе Совета министров того времени.

Я хорошо помню, что все главные основания к обвинению были сведены к 21 пункту, а вовсе не к тому единственному пункту – составлению наказа военной организации, – который был отобран на квартире Озола 5 мая у секретаря организации Марии Шорниковой, оказавшейся, как стало известным Совету уже потом, шесть лет спустя, агентом Департамента полиции. – Это доказывала впоследствии вся революционная печать для того, чтобы пустить в ход утверждение, что все дело было просто спровоцировано правительством с целью найти повод к предъявлению Думе требования снять депутатскую неприкосновенность с ее членов, не совершивших никакого преступления. Требование это, разумеется, не могло быть выполнено Думой, и, таким образом, роспуск Думы состоялся, по ее словам, не потому, что Дума отнеслась покровительственно к своим членам, участвовавшим в составлении преступного сообщества, а потому только, что все дело было выдуманно правительством для оправдания ничем не вызванного роспуска.

На самом деле в ту пору никто из нас не имел никакого понятия о том, что секретарь военно-революционной организации – Шорникова – была агентом Департамента полиции, – и уверен, что и Столыпин не знал этого, Департамент полиции тщательно скрыл и от него это обстоятельство. Во всяком случае, – повторяю, – этот эпизод не имел решающего значения в деле, и преступный характер организации и преследуемые ею цели, так же как и участие в ней членов Думы устанавливались целым рядом других доказательств, более чем достаточных для того, чтобы направить дело в суд и предъявить Думе требование о снятии депутатской неприкосновенности. Шесть лет спустя все это подтвердилось с полной наглядностью. Но об этом речь впереди.

Среди подготовительных мер к возбуждению дела выяснилось между прочим, что как Министерство внутренних дел по Департаменту полиции, так и Министерство юстиции встретились с большим затруднением, каким путем можно было бы напечатать весь следственный материал в форме готового обвинительного акта, подлежащего предъявлению Государственной Думе, с таким расчетом, чтобы до минуты предъявления его Думы или даже до внесения дела в уголовный суд решение правительства оставалось бы неизвестным и заинтересованные лица не могли скрыться от следствия и суда. Министр юстиции Щегловитов открыто заявил Совету, что не имеет права доверять сенатской типографии, состав наборщиков которой недостаточно надежен. То же самое сказал и Столыпин по отношению к типографии Правительственного вестника. Такое же мнение выразил государственный секретарь по отношению к государственной типографии, откуда незадолго перед тем проникли в оппозиционные круги Думы печатные материалы, не подлежавшие разглашению.

Я предложил тогда отложить решение вопроса до следующего дня и дать мне возможность переговорить с командиром корпуса пограничной стражи, в управлении которого имелась хорошо оборудованная типография, не раз исполнявшая для меня разные печатные работы, не допускавшие огласки, и всегда достигавшая этой цели. Мое предложение было принято. На другой же день я получил заверение, что обязательство выполнить заказ с соблюдением полной секретности может быть принято, и на самом деле оно было выполнено самым безукоризненным образом; следственный материал и проект обвинительного акта был отпечатан замечательно быстро, и никакие сыскные силы революционных организаций так не дознались и потом, где и кем было совершено напечатание, и не раз выражали свое недоумение, каким образом такой важный для всего революционного движения документ не попал в их руки, когда к их услугам всегда были печатные материалы, в каких бы правительственных типографиях они ни печатались.

Параллельно с разработкой следственного материала шли переговоры Столыпина с председателем Думы, а этого последнего с советом старшин и главами партий, кроме социал-демократической, — о снятии неприкосновенности с членов этой партии. Совет был постоянно осведомлен о ходе переговоров, и всем нам было ясно, что ничего из них не выйдет и только напрасно тратится время на то, чтобы добиться толка, когда сочувствовала стремлению правительства в сущности одна правая фракция, не имевшая никакого значения в Думе, а председатель Думы не имел в ней никакого влияния, и если бы и имел его, то никогда не употребил бы его на пользу исполнения желаний правительства, принадлежа всеми своими симпатиями к левому кадетскому крылу и всегда угождающая одним левым требованиям.

Столыпин назначил последним сроком для получения ответа Думы вечер субботы 2 июня и созвал Совет министров на заседание в Елагин Дворец к 9 часам без присутствия канцелярии.

Не успели мы собраться, не успел Столыпин передать нам последние сведения о ходе переговоров, выражая свое убеждение, что из них ничего не выйдет, как его вызвал курьер, сказавши, что приехали три члена Государственной Думы, — кто именно я не знал (да и никто из нас этим и не интересовался), будучи убежден в том, что они привезли стрижательный ответ.

Долго, бесконечно долго, отсутствовал Столыпин. Мы все ждали его с напряженным вниманием, и по мере того, что время тянулось и подошло уже почти к полуночи, у нас начало складываться убеждение, что переговоры принимают благоприятный характер и договаривающиеся стороны обсуждают вероятные условия соглашения. В нашей среде пошли даже толки о том, как выйдет правительство из этого положения, если соглашение будет достигнуто на этом вопросе, когда у Государя давно сложилось убеждение в невозможности совместной работы с этим составом Думы. Только в половине первого ночи вернулся к нам Столыпин и сказал, что "ничего с этими господами не поделаешь". "Они и сами видят, что правительство право, что оно уступить не может, что с таким настроением большинства Думы все равно нет возможности работать, да никто этого и не хочет, а взять на себя решение тоже никто не желает. Мы расстались на том, что я сказал им, пусть на себя и пеняют, а нам отступать нельзя, и мы исполним наш долг. Меня пугают, — прибавил он, — восстанием и грандиозными беспорядками, но я заявил им, что ничего этого не будет, и думаю, что они и сами того же мнения".

Осталось узнать, когда же именно произойдет роспуск и какие распоряжения по этому поводу будут сделаны. Я не знал, что указ о роспуске и новый избирательный закон уже посланы к Государю в Петергоф ране утром с особым курьером, и полагал, что эти акты нужно только теперь представить туда, доложивши о том, что отказ Думы последовал. При представлении их Государю Столыпин в особом докладе довел до сведения Государя, — что он не надеется на успешность переговоров и просит подписать указы с тем, чтобы они не были объявлены в том случае, если Дума подчиняется требованию правительства и снимет депутатскую неприкосновенность.

Столыпин недоумевал даже, почему указов так долго нет обратно, так как они уже давно в руках Государя. Только в начале второго часа утра из Петергофа прибыл пакет от Государя с подписанными бумагами и с письмом собственноручным от него. Я снял тут же с разрешения Столыпина копию с письма и очень сожалею, что она пропала вместе с большинством моих бумаг, но хорошо помню, почти дословно, его текст. Он был приблизительно следующий: "Наконец я имею Ваше окончательное

решение. Давно была пора покончить с этой Думой. Не понимаю, как можно было терпеть столько времени, и, не получая от Вас к моему подписанию указов, я начинал опасаться, что опять произошли колебания. Слава Богу, что этого не случилось. Я уверен, что все к лучшему”.

Мы остались еще около полутора часов, обсуждая всякого рода частности положения. Столыпин был совершенно спокоен, уверенно говорил, что вполне убежден, что порядок нигде не будет нарушен, не будет и демонстрации вроде выборгского воззвания, и только озабочен тем, как бы удалось заарестовать всех членов Думы, причастных к революционной организации, которые несомненно попытаются скрыться раньше, чем удастся приступить к их аресту после опубликования рано утром указа о роспуске Думы. Уходя от него последним, причем он просил меня не формализироваться тем, что меня проводят до моей дачи два жандарма, так как “мало ли что может случиться”, сказал он, — я спросил Столыпина, как поступил бы он, если бы Дума формально подчинилась, а Государь, подписавши указы, не разрешил бы не приводить их в исполнение. Его ответ был такой: “Этого не могло бы случиться, потому что всего два дня тому назад об этом была речь при моем личном докладе, и Государь прямо сказал мне, что хорошо понимает, что в таком случае нельзя распускать Думы и тем более ставить правительство в такое неловкое положение”. Я мог на это ответить Столыпину только, что в таком случае мне непонятно выражение укора Государя всем нам за то, что мы медлим роспуском, зная его настроение.

## ГЛАВА V

*Успокоение, наступившее в стране. — Улучшение финансового положения. — Статья Хейдемана. — Удачная самостоятельная операция Министерства Финансов для поддержания русских Фондов на Парижской бирже. — Разработка законопроектов для внесения в третью Думу. — Подготовка проекта росписи на 1908 г[од]*



Ожидания Столыпина, что роспуск Думы не вызовет беспорядков, совершенно оправдались.

Роспуск Думы и обнародование составленного в исключительном порядке нового избирательного закона произошли в полном спокойствии. Оно решительно нигде нарушено не было. Получилось даже впечатление, что население было просто довольно тем, что прекратилось то нервное состояние, в котором жила страна с февраля прошлого года, и каждый может спокойно заняться своим делом.

Тон оппозиционной печати значительно понизился. Гневные окрики

Речи, Русских Ведомостей сменились ядовитыми критическими замечаниями на новые выборные правила, и "Дума 3 июня, или Столыпинская Дума" стала излюбленным предметом всех статей. Призывы бунтарского свойства вовсе прекратились, и рядом с быстро загоревшейся новой избирательной компанией наступило какое-то давно небывалое спокойствие в стране.

Для моей личной работы по Министерству финансов оно оказалось чрезвычайно благотворным, и я получил, в полном смысле слова, возможность отдохнуть в нормальной работе, которой был непочтатый угол, в особенности потому, что за все время существования Думы исправление внутреннего денежного обращения, все еще испытывавшего на себе последствия глубокого потрясения 1905–1906 годов, шло чрезвычайно медленно, а нервное состояние внутри страны отражалось большим ослаблением и на иностранных рынках, из которых особенной слабостью стал отличаться Французский рынок, тяжело переживавший к тому же потрясение американского рынка в этом году.

Не прошло и месяца после роспуска второй Думы, как в положении нашей государственной кассы произошла полная метаморфоза: поступление доходов стало очень благоприятным и далеко опережало скромно исчисленные по бюджету доходы. Но в то же время пришлось пересмотреть сметные расписания по ежемесячным отпускам кредитов, и мне не оставалось ничего иного, как пойти несколько шире в удовлетворении требований ведомств, отчего и мои отношения к моим коллегам стали гораздо любезнее. Из Парижа я стал также получать лучшие вести. Под влиянием сообщений газетных корреспондентов о полном спокойствии и порядке в стране стали больше прислушиваться и к моей оценке переживаемых событий, находя, что я не преувеличивал, когда постоянно говорил, что никакого восстания в духе московского, 1905 года, опасаться не следует, потому что правительство теперь иное, чем тогда, да и новый избирательный закон издан именно для того, чтобы спасти народное правительство, которое было искажено совершенно несоответствующим стране, слишком широким избирательным правом по декабрьскому закону 1905 года.

В этом отношении большую услугу оказал, быть может, сам того не подозревая, покойный корреспондент газеты Матэц — Хейдеман, посланный своей газетой для выяснения внутреннего положения России. Он начал ряд своих статей в самом невыгодном для правительства направлении. Попавши под влияние оппозиционных кругов распущенной Думы, он очень неудачно затронул в одной из первых своих корреспонденций и финансовое положение России, предрекая ему самые мрачные перспективы, перепутавши при этом все подsunутые ему цифры до полной их неузнаваемости.

Из Парижа обратили мое внимание на эти статьи, и я телеграфировал,



что весьма сожалею, что такой талантливый корреспондент, которого я знаю еще по 1905 году, не зашел к министру финансов за более объективным освещением положения и рисует его исключительно на основании непроверенных умозаключений оппозиционно-настроенных политических групп. Я прибавил, что сам его не стану звать, но если он будет просить о приеме, то получит, конечно, свободный доступ к точным сведениям о действительности положении финансов страны, скрывать которое я не имею намерения.

Через два дня я получил его просьбу о приеме, немедленно принял его и снабдил целым рядом неопровержимых данных, свидетельствовавших о быстром улучшении как денежного обращения, так и поступления доходов после тяжелых пережитых дней.

К чести Хейдемана я должен сказать, что он использовал мои сведения самым добросовестным и даже искусным образом и закончил свою корреспонденцию открытым заявлением, что был введен в заблуждение политическими противниками правительства, совершенно односторонне осветившими ему весь вопрос.

Статья Матэна произвела большое впечатление и была первой в длинном ряде других статей, не всегда приятных для нашего правительства в смысле оценки политического положения России, — хотя и не стеснявшихся в приведении и положительных фактов.

К той же поре, — приблизительно в конце августа или в начале сентября, — относится и еще один эпизод, доставивший мне немало удовольствия.

Несмотря на успокоение в России, как я уже упомянул, парижская биржа продолжала быть слабой на русские фонды. Мои парижские корреспонденты, не переставшие за все время смутного периода второй Думы жаловаться на неблагоприятное положение биржи и на вредные для русского кредита последствия, в особенности от значительного падения последнего займа 1906 года, не раз настаивали передо мной уже не на необходимости, как это было раньше, поддерживать прессу, для устранения пессимистического настроения держателей русских Фондов, но на прямом воздействии на биржу путем покупки синдикатом выпущенного займа, с целью подбирать то, что предлагается к продаже слабыми держателями, нередко готовыми продавать облигации по какой угодно цене, лишь бы только сбыть их с рук. Они требовали, чтобы я дал синдикату средства на покупку этих облигаций, решительно отказываясь от затраты своих средств под тем предлогом, что вся синдикатская прибыль будто бы давно поглощена предшествовавшими их операциями по поддержке займа.

Когда после роспуска второй Думы порядок в России нарушен не был и я стал периодически публиковать благоприятные сведения о поступлении доходов и о выравнивающемся денежном обращении, не скрывая их

и в моих беседах с корреспондентами французских газет, особенно многочисленными за эту пору, то настояния банкиров о поддержке курса русских бумаг покупкой их за счет средств русского казначейства или Государственного банка сделались снова особенно настойчивыми.

Я предложил парижским банкирам строить то, что впоследствии получило наименование "Красного Креста", то есть общий счет между русской группой в Париже и нашим Государственным банком, внести на это определенный капитал, пополам синдикатом и нашим Банком, и вести эту операцию поддержки курса бумаг совместными силами, распределяя прибыли и убытки на равных внесенному капиталу началах.

Парижско-нидерландский банк в лице г. Нетцлипа отнесся к моему предложению сочувственно, но оговорился, что даст окончательный ответ только после совещания с участниками группы, и через день сообщил мне, что соглашения не последовало.

Тогда я решил попытаться сделать то же самое дело непосредственно распоряжением Государственного банка без всякого участия парижских банков, давая через банк и Кредитную канцелярию прямые приказы парижской бирже. Совет министров я не ставил в известность о моем предположении, чтобы не давать повода ни к ненужным разговорам, ни тем более к возможным спекулятивным маневрам, но переговорил подробно со Столыпиным и обещал держать его в полном курсе хода этой операции.

Столыпин отнесся к моему предложению самым сочувственным образом, так как оно совершенно отвечало его характеру, склонному к борьбе во имя достижения целей, которые он находил отвечающими нашим интересам.

Я решил затратить на это до 5 миллионов рублей в виде предельной суммы, не затрачивая ее, однако, разом, дабы не поднимать искусственно курса наших бумаг и ведя операцию осторожно на небольшие суммы, смотря по количеству предлагаемых к продаже облигаций различных русских государственных займов.

Результаты задуманной мной операции превзошли самые смелые мои ожидания. Конечно, в этом благоприятном результате главную роль сыграли условия нашей внутренней жизни, та обстановка, в которой произошел роспуск второй Думы, спокойствие, с которым встретила его страна, в высшей степени благоприятный ход выборов в третью Думу на основании нового избирательного закона, единодушные отзывы всех корреспондентов иностранных газет о результатах выборов в смысле обеспечения большинства за умеренными элементами, далекими от борьбы с правительством и стремления к захвату власти, а тем более к государственному перевороту. В общественном мнении на Западе Европы быстро укоренилось мнение, что правительство одолело смуту, что идея народного представительства сохранена и будет развиваться без

ненужных потрясений, и под влиянием этого перелома и биржи сразу изменили свое отношение к нашему кредиту настолько, что было достаточно приобрести сравнительно скромное количество бумаг, выброшенных слабыми держателями, что[бы] чувствительно поднять их курс настолько, что мне пришлось маневрировать не только в сторону покупки наших бумаг, но и в сторону продажи их, как только появился спрос на них.

В данном случае оправдалось то, что хорошо известно в практике биржевого обращения, а именно, что как только бумага, бывшая в загоне, начинает подниматься, тотчас же на нее возникает спрос по повышенным ценам.

То же самое случилось в ту пору и с нашими упавшими перед тем бумагами. Я покупал их, — хорошо помню это по отношению к 5-процентной ренте 1906 года, — по 69-ти, 70-ти за сто, а продавал нередко через три-четыре дня за 72—74 процента. Единовременная затрата капитала Государственного банка ни разу не превышала 1—2 миллионов рублей, бумаги шли сравнительно быстро на повышение, и я совершенно прекратил их покупку в первой половине 1908 года, когда курс ренты 1906 года дошел почти до выпускной цены 87—88% и затем скоро перешел за ту грань. В конечном результате наш Государственный банк получил на этой операции крупный чистый доход, превышавший 1 миллион рублей.

Парижские банкиры долгое время не любили вспоминать этого дела и каждый раз, когда впоследствии о нем заходила речь, постоянно ссылались на то, что "победителей не судят", элегически прибавляя, что при неудаче наш банк мог бы понести и немалые потери.

Быстро прошло лето 1907 года, подошли и выборы в третью Думу, закончившиеся победой умеренных элементов, разумеется, под влиянием особенностей нового избирательного закона, так раздражавшего оппозиционно настроенную часть общества.

По мере того, что Столыпин стал получать сведения о ходе выборной кампании по созыву третьей Государственной Думы по новому избирательному закону, во всех министерствах развернулась, по его настойчивой просьбе, поистине кипучая деятельность по выработке огромного количества законопроектов по самым разнообразным предметам. Не проходило ни одного заседания, чтобы Столыпин не старался внушить всем нам настоятельную необходимость внести как можно больше представлений в новую Думу и устранить заранее самую тень упрека в том, что правительство не приготовилось к большой законодательной работе.

Для моего ведомства эти настояния не имели никакого особого значения: от первых двух Дум осталось множество нерассмотренных законопроектов и, кроме того, новых, совершенно подготовленных разработ-

кой оказалось столько, что представленный мной список всего подлежащего внесению к открытию Думы и подготовленного для него оказался настолько обширным, что Столыпин прекратил всякие настояния и все обращался к другим министрам с просьбой не отставать от Министерства финансов.

Наступила пора составлять сметы и проекты росписи<sup>72</sup>, и моя работа пошла на этот раз, очень гладко. Доходы поступали настолько удовлетворительно, что я имел возможность меньше ограничивать ведомства, да и сами они были настроены на первый год очень мирно и не слишком много запрашивали новых кредитов. Исключение составляло, однако, Ведомство земледелия, которое никак не хотело войти в рамки нормального сметного порядка, и самые острые споры происходили именно с ним при постоянной решительной поддержке его Столыпинным и притом, не столько по существу его разнообразных предложений, сколько по невероятному числу так называемых условных кредитов<sup>73</sup>, и мне приходилось спорить на каждом шагу относительно невозможности заносить в сметы то, что не оправдывается действующим законом и требует, во всяком случае, немалого срока для проведения нового закона через две инстанции. Особенно трудно было мне в тот короткий промежуток времени, когда министром земледелия был кн[язь] Б.А. Васильчиков, а на правах товарища его состоял профессор Мигулин, приуроченный министром именно к бюджетной работе. Начались было попытки применить к исчислению кредитов особые приемы, отличные от тех, которые были издавна усвоены ведомствами, но и это осложнение было на первых порах сравнительно невелико, и все наши споры оканчивались и мирно и быстро. Это преходящее осложнение повлияло, однако, быть может, на то, что кн[язь] Васильчиков только короткое время остался во главе ведомства.

Зато сама техника составления и изложения росписи дала мне на этот раз очень большую работу. Столыпин особенно горячо принял мое предложение составить на этот раз объяснительную записку к росписи совершенно иначе, нежели она составлялась ранее, а именно — дать в ней все те разъяснения, которые могли бы помочь новому составу Думы, если только он оправдает наши ожидания в смысле готовности работать с правительством, а не вести осаду на него, как делали две первые Думы, — найти в объяснениях к росписи, как называл Столыпин, — учебник по бюджетному искусству и целый ряд таких справок, который помог бы новому составу заранее найти ответы на все вопросы, затронутые в оппозиционных речах второй Думы и уяснить ему, что наш бюджетный закон, который мы решились заранее энергично отстаивать от попыток сломать его, вовсе уж не так плох, как развивает этот вопрос оппозиционная печать, и что дает народному представительству весьма большой простор для продуктивной работы. Мне такая задача дала, конечно,

большую лишнюю работу, но она же принесла мне потом и огромную пользу, потому что помогла быстро устранить попытки оппозиции опровергнуть нашу точку зрения. Я должен при этом сказать, что при том прекрасном личном составе министерства, которым я был окружен, и при таких выдающихся сотрудниках по бюджетному делу, как начальник бухгалтерского отдела Департамента государственного казначейства Дементьев, мои товарищи: Н.Н. Покровский, С.Ф. Вебер и И.И. Новицкий и целый ряд выдающихся старших служащих, самое сложное дело спорилось у нас, и не раз в заседаниях Совета Столыпин с завистью говорил мне: "Вот, если бы у меня были такие сотрудники, и я бы так же работал, как работают в Министерстве финансов, но у меня самого нет такого навыка в работе центральных управлений, да и мои сотрудники как-то не могут все еще привыкнуть к изменившимся условиям законодательной работы".

По мере изготовления объяснительной записки к росписи я представлял ее на рассмотрение Совета, никаких ни от кого замечаний не получил и заблаговременно подготовил и мою речь в Думе, когда настанет пора давать общие, по росписи, объяснения. Столыпину она настолько понравилась, что он открыто заявил в Совете, что принимает ее как учебник лично для себя, и ему принадлежала мысль о переводе ее на французский язык для того, чтобы иностранная пресса познакомилась с нашим общим финансовым положением, которое, по справедливости, показало ко времени открытия третьей Думы большое укрепление по сравнению с тем, каким оно было во время созыва первых двух Дум.

Я не судья, конечно, в моем собственном деле, но, перечитывая уже в Париже, в изгнании, в 1929 году мою первую думскую речь, я глубоко переживал впечатления этого отдаленного дня, когда впервые после всех унижительных испытаний 1906 и первых дней 1907 года привелось почувствовать, что я окружен не одними врагами и могу отстаивать с надеждой на успех те взгляды, которые я считал правильными и полезными для государства.

Государь также оставил у себя текст моего бюджетного выступления и, продержавши его у себя почти две недели, вернул мне его с целым рядом отчеркнутых мест, по-видимому, остановивших на себе его внимание, а наверху написал: "Дай Бог, чтобы новая Государственная Дума спокойно вникла во все это прекрасное изложение и оценила, какое улучшение достигнуто нами в такой короткий срок, после всех испосланных нам испытаний".

Я передал этот экземпляр моего предполагаемого думского выступления в Департамент государственного казначейства и поручил разослать копии во все департаменты с резолюцией Государя, и, конечно, ни одна архивная рабста большевиков не упомянула о ней, да, вероятно, она и не сохранилась среди всеобщего разрушения.

Получили мою объяснительную записку к росписи на 1908 год также все газеты без всякого изъятия.

Две газеты уделили ей более других внимания: Новое Время и Речь. Первое отозвалось очень сочувственно как об общем финансовом положении России, так и самом способе представления сметного материала народному представительству. Вторая, напротив того, заранее выставила весь свой арсенал оппозиционного отношения к правительству в этом вопросе, повторивши еще и еще раз все те же избитые положения о недостаточности прав русского народного представительства в бюджетном деле и о необходимости добиваться расширения своих прав, не стесняясь идти на открытый конфликт с властью, которая "все позабыла и ничему не научилась".

Через неделю после открытия Думы все эти положения были снова повторены и развиты от лиц оппозиции главой партии народной свободы П.Н. Милюковым.



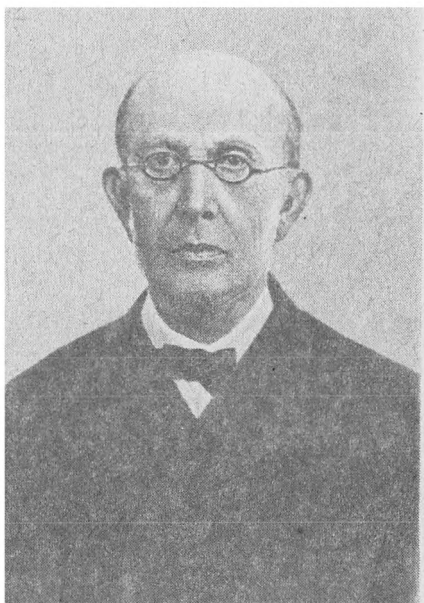
*Николай II*



*Александра Федоровна*



*С.Ю. Витте*



*К.П. Победоносцев*



*М.Г. Акимов*



*И.Л. Горемыкин*



*Д.М. Сольский*



*П.А. Столыпин*





*А.Ф. Редигер*



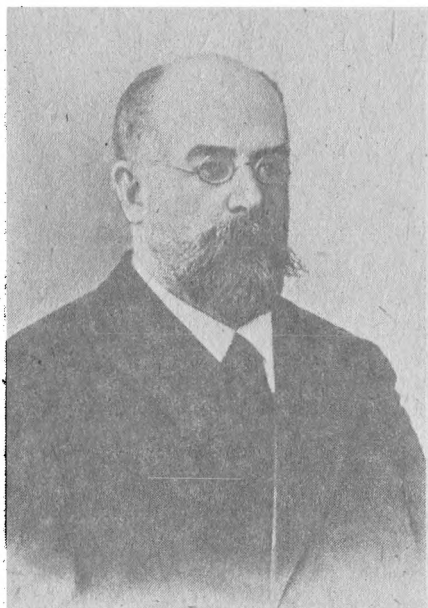
*П.А. Харитонов*



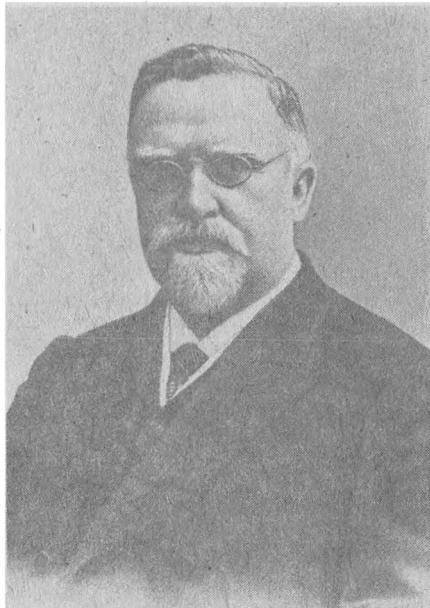
*А.Н. Куропаткин*



*В.В. Сахаров*



*А.П. Ивашенков*



*И.И. Новицкий*



*Д.А. Философов*



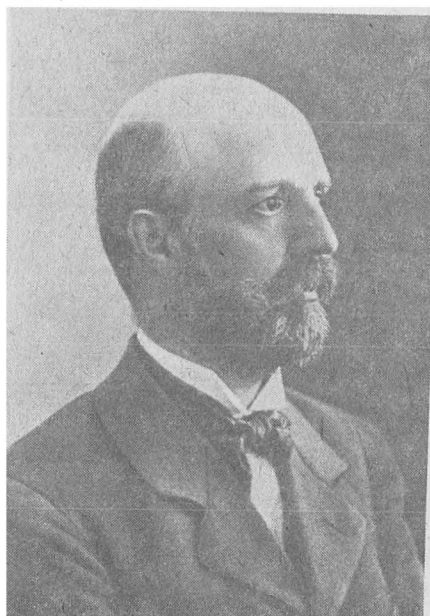
*А.Г. Булыгин*



*П.Х. Шеванебах*



*П.Л. Лобко*



*Э.Д. Плеске*



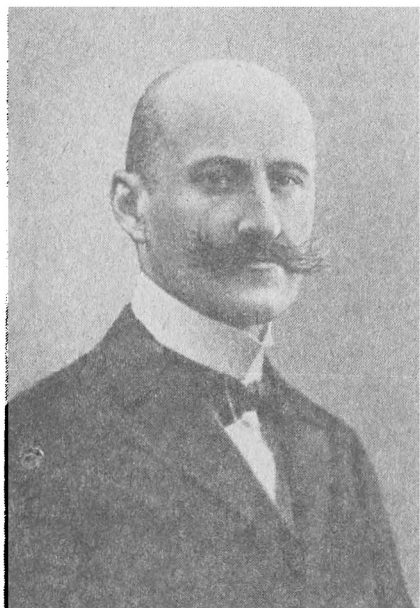
*П.Н. Дурново*



*Н.П. Игнатъев*



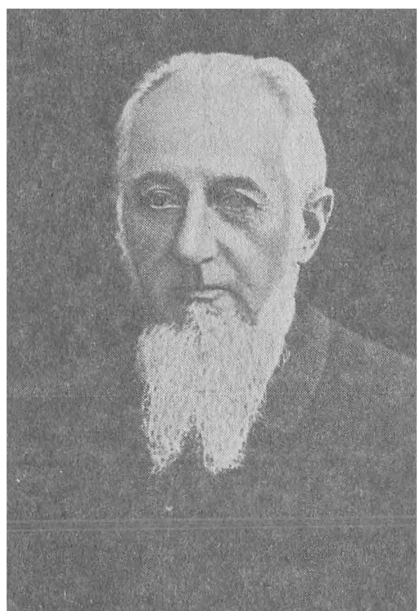
*И.И. Петрункевич*



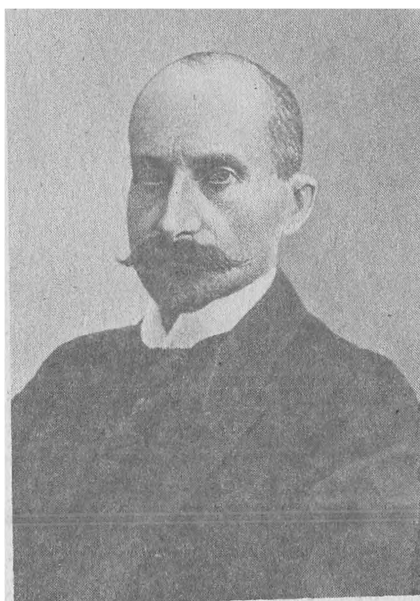
*Ф.А. Головин*



*Ф.И. Родичев*



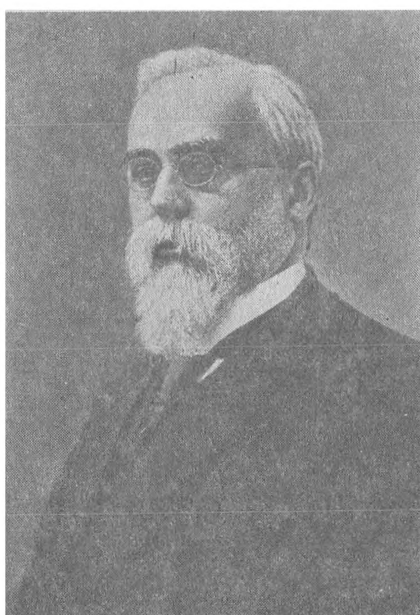
*Н.Н. Львов*



*Ф.Ф. Кокошкин*



*П.А. Гейден*



*С.А. Муромцев*

*Часть четвертая*

ОТ ОТКРЫТИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  
ДО УБИЙСТВА СТОЛЫПИНА

## ГЛАВА I

*Установление нормального сотрудничества Думы с правительством. — Кадетская оппозиция. — Общие прения по росписи на 1908 год. — Моя бюджетная речь и ответ на критику П.Н. Милюкова. — Законодательное предположение о необходимости расширить бюджетные права Думы. — Выступление М.С. Аджемова и мой ответ ему. — Предложение об образовании в законодательном порядке комиссии для обследования железнодорожного хозяйства. — Произнесенные мной, в ответ на выступление П.Н. Милюкова, слова: "У нас, слава Богу, нет еще парламента". Смысл этих слов и вызванные ими инциденты*

\*

20 ноября 1907 года открылась Государственная Дума третьего созыва<sup>74</sup>.

Говорить о том, как она открылась, какое отношение к власти проявила она с первого же дня, каким патриотическим чувством повеяло от первого прикосновения ее к исполнению своих обязанностей, в каких выражениях повергла она к престолу выражение одухотворяющего ее настроения и как легче вздохнули все мы, оставшиеся у власти, — все это общеизвестные факты, и много сказано о них другими в лучшей обстановке, нежели та, в которой мне приходится вести мои записи.

С этого дня в течение длинных шести лет, вся моя работа по должности министра финансов, а потом, с сентября 1911 года, и в должности председателя Совета министров протекала неразрывно в связи с Государственной Думой сначала третьего, а потом и четвертого созыва<sup>75</sup>, и, можно сказать, что мой 14-ти часовой труд в сутки столько же протекал на трибуне Думы, сколько и в кабинете министра финансов на Мойке.

Много труда и нервного напряжения отдал я за это время, немало тяжелых минут привелось мне пережить, но немало также и нравственного удовлетворения получил я от моей работы в Думе и всегда поминаю доброй памятью эту пору моей жизни и моего ответственного труда.

У меня нет возможности дать исчерпывающий пересказ всего, что пережито за эту пору, и я остановлюсь только на главных моментах, удержанных моей памятью, и соединяю с этими моментами и другие переживания этого, поистине, Sturm und Drang Periode моей жизни<sup>76</sup>.

Как только открылась Дума 20 ноября, между ней и правительством сразу установились самые тесные отношения. Уже в день открытия выяснилось, что на должность председателя Думы будет выбран Н.А. Хомя-

ков с таким же единомыслием, с каким был выбран в первой Думе Муромцев. Я был с ним знаком по его должности директора Департамента сельского хозяйства в Министерстве земледелия и тотчас после молебна при открытии Думы имел с ним продолжительную беседу, развивая необходимость как можно скорее назначить к слушанию в Думе проект росписи для того, чтобы поскорее направить его в бюджетную комиссию и сократить мало полезные, предварительные общие прения, которые все равно возобновятся с большей силой потом, когда бюджетная комиссия внесет свой доклад уже после рассмотрения отдельных смет и всей росписи. Он тут же сказал мне, что этот вопрос уже предрешен в частных совещаниях еще до открытия Думы, и, вероятно, общие прения не займут больше одного — двух дней и будут носить чисто академический характер. Он предупредил меня, что моим оппонентом будет, вероятно, глава кадетской партии П.Н. Милюков, которого давно уже, как выразился он, "натаскивают на резвость и злобность", прибавил, что и сам Милюков отлично понимает, что мало знает этот вопрос, но не может, конечно, отказаться от выступления в качестве лидера оппозиции; будет, вероятно, вполне корректен по форме, но, разумеется, станет доказывать, что Дума должна иметь неограниченное право в пересмотре всяких кредитов, и обрушится на сметные правила, как на кандалы, связывающие народное представительство в его бюджетной свободе.

В заключение он сказал мне с его обычной, простодушной, но весьма лукавой улыбкой: "Вы этим не смущайтесь, — этот номер теперь не пройдет, и сами кадеты будут Вас ругать только для очистки совести".

День 27 ноября, назначенный для предварительного обсуждения бюджета, носил очень торжественный характер. Трибуны были полны до отказа. Дипломатический корпус — в полном составе, несмотря на то что для него интерес дня не мог быть велик, так как никто не ждал сенсационных проявлений.

Печать появилась в таком количестве, что представители газет сидели буквально на коленях друг у друга и не имели никакой возможности делать записей по недостатку места. Весь Совет министров был, разумеется, в сборе, и чуть не все старшие чиновники почти всех ведомств заполнили боковые места, обычно пустовавшие в первых двух Думах.

Когда мы заняли наши места и рядом со Столыпиным поместился, по старшинству, барон Фредерикс, а я сел рядом с ним, то первый его вопрос мне был, уверен ли я, что нас опять не попросят выходить в отставку. И с двух сторон, от Столыпина и от меня, последовал одинаковый ответ, что мы получим, вероятно, совершенно иной прием, к которому мы совсем не приучены. Так оно и вышло.

Хотя мое первое обращение к Думе было у меня заранее написано, но я его не читал, а говорил, почти не заглядывая в написанный текст и только проверяя по нему отдельные числовые сопоставления и выклад-



ки. Это первое мое выступление в Государственной Думе третьего созыва сохранилось в полном объеме лишь в редком теперь издании – в протоколах Государственной Думы.

С первых же слов настроение в Думе поднялось. Весь правый сектор и даже больше половины всего зала, то есть скамьи правых, националистов и почти все октябристы<sup>77</sup>, стал отмечать мои объяснения сначала отдельными аплодисментами, потом все более и более горячими знаками сочувствия и одобрения.

Оппозиция молчала и почти ни разу не прервала меня, и только два-три короткие, неблагоприятные замечания привели к моему же успеху, так как мои реплики вызывали еще более шумные аплодисменты и двухчасовая моя речь, по общему признанию, была моим настоящим триумфом. Продолжительные и оглушительные рукоплескания проводили меня с кафедры, – как говорит стенограмма думского заседания.

Все министры демонстративно поздравляли меня и на виду у всех депутатов и потом в министерском павильоне; многие депутаты, которых я совсем не знал, подходили ко мне с приветствием и выражением благодарности, а Столыпин обнял меня в павильоне, доцеловал и сказал барону Фредериксу: "Вы увидите Государя, конечно, сегодня, – доложите Его Величеству, какой триумф выпал, и притом так заслуженно, на долю министра финансов и насколько изменилось все сравнительно с тем, что было так недавно. Для нас, для правительства, это настоящий праздник.

После перерыва небольшую речь произнес, не помню теперь, кто из октябристов, не поскупившись также на известную "оппозиционность", в смысле указания на недостаточность прав Государственной Думы в бюджетном отношении, но в очень умеренных тонах.

Внимание всех насторожилось, когда на трибуну вышел П.Н. Милюков и заявил, что он уполномочен от конституционно-демократической фракции Государственной Думы высказать, как смотрит она на внесенную правительством роспись государственных доходов и расходов, на выслушанные всеми с таким выдающимся вниманием объяснения министра финансов и в особенности на то, в какие недостойные народного представительства условия поставлена Государственная Дума так называемыми сметными правилами, составленными "господами действительными тайными советниками" с единственной целью создать один призрак бюджетного права Государственной Думы, под которым сохраняется во всей неприкосновенности безграничное самовластие исполнительных органов ничем не ограничиваемого правительства. Его первые слова были встречены шумными аплодисментами оппозиции, покрытыми, однако, еще более шумными протестами большинства Думы правой половины и – молчанием левого центра.

Это было мое первое столкновение с оппозицией в Думе третьего, а затем и четвертого созыва, и оно тянулось непрерывной цепью, хотя под-

час и не в слишком осторожной форме, во все шесть лет до самого моего оставления моей активной работы в начале 1914 года. Менялись только представители партии народной свободы, но тон оппозиционных речей и самое содержание их оставалось неизменно одно и то же — доказывать по всякому подходящему и неподходящему поводу, что правительство действует неправильно, игнорирует народные интересы, ограничивает права народного представительства, живет интересами данного дня и неспособно подняться на высоту самого элементарного предвидения будущего, занимаясь исключительно охраной своего собственного положения, отвоеванного от действительного представительства народа.

Носителем кадетского вероучения во все шесть лет был мой бессмысленный оппонент Андрей Иванович Шингарев, в таких ужасных условиях погибший вместе с Кокошкиным от руки советских агентов-матросов, ворвавшихся к нему, больному, в Мариинскую больницу, куда он был переведен из Петропавловской крепости. Об ужасном конце его жизни я узнал в самом начале 1918 года в бытность мою в Кисловодске и невольно перенесся тогда мыслью ко всем его пламенным речам в пользу охранения народа от гнета и злоупотреблений власти, как и о том, как часто он отправлял мне мое существование обычными его приемами бороться со своим противником своеобразными аргументами, далекими от существа предмета и рассчитанными на сочувствие толпы, падкой на обличения власти, хотя бы и лишенные справедливости.

Но в самом начале третьей Государственной Думы Шингарев не считался еще в кадетской партии достаточно выросшим для принципиальной борьбы с правительством, и сделать декларативные заявления "оппозиции Его Величества" призван был сам глава партии П.Н. Милюков, который и должен был таким образом сразу же положить грань между правительством и левым сектором Думы, и эту грань кадетская партия ни разу не придвинула в сторону правительства за все шесть лет наших постоянных встреч в Таврическом дворце. Мы остались каждый на наших позициях, и не было ни одного случая, чтобы следом за мной, о чем бы я ни говорил, не выходил на трибуну кто-либо из кадетов, и большей частью и даже почти всегда — А.И. Шингарев.

На этот раз положение П.Н. Милюкова было не из легких. Сам он никогда не занимался бюджетом, не был совершенно подготовлен к нападению на правительство по существу и свойственной ему добросовестностью изучил то, что ему приготовила партия, заранее оповестившая во всеобщее сведение свое исповедание веры через газету "Речь".

В Совете министров было все это заранее известно, и меня просили, по возможности, ответить Милюкову тут же, не перенося прений на другой день, чтобы не дробить впечатления. Я так и поступил, тем более что возразить Милюкову было совсем не трудно, настолько графаретны были все его мысли и настолько академичны были все его сетования.

По общему впечатлению всех присутствовавших на заседании и по отголоскам печати, разумеется кроме "Речи", Милоков не вплеп своей бюджетной речью новых лавров в свой политический венец. Этим я объясняю отчасти — впрочем, может быть, несправедливо — и то, что с этой поры наши встречи с ним были проникнуты какой-то вежливой натянутостью. Мы ограничивались всегда изысканно вежливыми поклонами, и даже в эмиграции характер наших далеких отношений мало изменился.

Ответивши в полушутливом тоне на его нелюбовь к чину действительного тайного советника, что вызвало дружный хохот в Думе, я расположил мое возражение по двум разделам его оппозиционного выступления против правительства.

В первом — он начал с резкого обвинения правительства в нарушении прав народного представительства заключением именно мной займа в Париже в апреле 1906 года, не выждавши созыва Государственной Думы. Тут мое положение было просто выигрышным. Не только потому, что заем 1906 года не имел никакого отношения к рассматриваемому бюджету на 1908 год, но в особенности потому, что пример первых двух Дум был налицо у всех и ясно показал, насколько могло правительство получить от них разрешение на заключение какого бы то ни было займа. Я воспользовался и тем, что имел право впервые сказать открыто в Думе, что именно было сделано нашими представителями общественности в Париже в бытность мою там, в пору заключения займа, и какие меры были приняты ими, чтобы помешать займу. Я не назвал ни одного имени, но все отлично понимали, откуда дул этот ветер и после моего выступления открыто говорили в кулуарах, что Милоков не думал вовсе, что я коснусь этого инцидента.

Особенно не удовлетворил Милокова, однако, если судить по его реплике, самый прозаический ответ мой на вопрос: могло ли уважающее себя правительство не стремиться к заключению в 1906 году займа в 843 миллиона рублей, когда у него к началу этого года был дефицит по сметам на 480.000.000 рублей, да на такую же сумму предстояло оплатить срочных обязательств перед иностранными кредиторами. Я спросил моего оппонента, как поступил бы он сам, если бы находился у власти, и стал ли бы он ждать перед опасностью банкротства государства почти три года, пока последовало бы согласие нынешней Думы на заключение займа?

Бурные аплодисменты значительного большинства Думы были ответом на мое заявление.

После этого пошли вариации на избитую уже во второй Думе тему о недостаточности бюджетных прав Думы, приправленные сначала осторожными, а затем под влиянием настойчивых вопросов об уточнении туманного заявления уже более определенными положениями о необходимости приступить немедленно к пересмотру сметных правил с применением нового текста их к внесенному бюджету. Тут мой оппонент не имел осо-

бенного успеха. Вся Дума отлично понимала, что рассматривать бюджет необходимо по существующим правилам, а применять новый порядок самовольного исключения властью Думы кредитов, основанных на ранее изданных законах (статья] 9-я сметных правил), очевидно можно только после того, что новые правила будут установлены. Все это говорилось только для оппозиции и без всякого расчета на практическое осуществление, но в оппозиционных кругах впечатление было произведено, свои газеты прославили оратора, осудили меня как рутинера, и главная цель была достигнута: речь произнесена, а дело не задержалось далее первого дня общих прений, и все отлично понимали, что все сведется к передаче смет и росписи на рассмотрение бюджетной Комиссии, что только и требовалось.

О второй половине речи Милюкова просто не хочется говорить. Его сотрудники плохо приготовили ему материалы для нападения на меня, сам он с ними недостаточно справился и был бледен и мало содержателен, то придирчиво упрекая Министерство финансов в том, что оно исчисляет доходы преуменьшенно, то противореча себе, что доходы внесены преувеличенно. В этой части он совсем запутался, попытавшись уличить правительство в том, что оно скрыло дефицит, совершивши, как он сказал, "некую манипуляцию" искусственного перенесения в чрезвычайные расходы 8-ми миллионов, которые следовало показать по обыкновенному разделу. Другими словами, что я сделаю прямую передержку для сокрытия дефицита.

Под шум и громкие рукоплескания большей половины Думы я прочитал текст закона о распределении расходов между обыкновенными и чрезвычайными и предложил самой Думе решить, кто из нас прав.

Пересматривая и теперь, много лет спустя, отчеты этого заседания Думы, я могу по совести сказать, что этот первый день думской работы — 27 ноября 1907 года — кончился несомненно победой правительства над попыткой возобновить по бюджету оппозиционный натиск по примеру первых двух Дум. Атмосфера была иная. Всем хотелось приняться за работу, и выходя из зала заседания со многими депутатами, все мы чувствовали, что начались иные времена и можно начать спокойно вести каждому свое дело.

Для меня лично этот покой оказался, однако, не долговременным.

Уже в январе пришлось встретиться с новой, не очень, правда ожесточенной, попыткой оппозиции совершить нападение на правительство.

Не успела собраться Дума третьего созыва, не успела она внутренне организовать, как уже 10 ноября, за подписью 40 членов внесено было законодательное предположение о необходимости пересмотреть Высочайше утвержденные 8 марта 1906 года сметные правила, отменить в них все, что ограничивает права народного представительства в бюджетном деле, и применить новый порядок к рассмотрению смет и росписи на 1908 год.

Предложение это списано было буквально с такого же предположения, внесенного от имени той же партии во вторую Гос[ударственную] Думу, осталось ею не рассмотренным, и под ним поставлены были подписи членов той же фракции в третьей Думе, с перепечаткой даже и тех типографских ошибок, которые были замечены в первом проекте.

Первым, подписавшим предположение, был член Думы Аджемов. Он же взял на себя и защиту законопроекта или, вернее, нападение на правительство и попытку провести те же оппозиционные тенденции, которые так ярко характеризовали первые две Думы. Уже много лет потом, в эмиграции, в Париже, вспоминая эту первую свою попытку выступления против правительства, Аджемов говорил мне, что выступал он крайне неохотно, не будучи вовсе знаком со сметным делом, но не мог отказаться от возложенной на него миссии, потому что партия потребовала от него выступления, как выражался он, по чисто стратегическим соображениям, не сомневаясь в том, что правительство будет выступать с решительным протестом, обрушится на него всей своей тяжелой артиллерией возражений министра финансов, и тогда на смену ему будет выдвинут/намеченный партией главный мой противник А.И. Шингарев, который специально готовится к этой роли и уже успел выдержать блестяще экзамен на партийных собраниях. Никому из правительства Шингарев совершенно не был известен, но до нас доходили сведения из думских кулуаров, что среди депутатов распространяется молва о нем, как о человеке очень даровитом и чрезвычайно резко настроенном против правительства. Его былая карьера — земского врача Воронежской губернии — не говорила ничего о его финансовых дарованиях, но все воронежские депутаты говорили, что в земских собраниях он считался именно специалистом по сметным вопросам, едким в прениях и крайне настойчивым в аргументации и проведении своих взглядов, всегда решительно оппозиционного характера.

Как только законопроект был отпечатан и подписан, Столыпин прислал мне его на рассмотрение и, получивши от меня словесное разъяснение, что это тот же старый, даже не перелицованный проект, внесенный во вторую Думу, он внес на рассмотрение Совета министров предварительный вопрос о том, какой тактике следует держаться правительству в отношении к нему. Следует ли выступить с решительными возражениями при первом же заслушивании его в Думе при разрешении вопроса о направлении законопроекта или остаться нейтральным в этом первом фазисе, выждать рассмотрения его в комиссии, куда дело будет, несомненно, передано, принять в ней деятельное участие, относясь к проекту отрицательно и занять ту же непримиримую позицию и при передаче заключения комиссии в Общее собрание?

По этому предварительному вопросу разногласий в Совете не было. Министр иностранных дел Извольский попытался было высказать мнение, что лучше не мешать работе Думы и не спорить заранее против воз-

никшего предположения, а ограничиться самым общим заявлением, что оно чревато большими осложнениями, которые выяснятся при детальном его рассмотрении, но что правительство готово сотрудничать с Думой, сохраняя, разумеется, полную свободу действий при разработке внесенного предположения. Он скоро, однако, отказался от высказанного мнения под напором единодушного взгляда всего правительства о крайней опасности внесенного проекта с правительственной точки зрения и полной невозможности не высказать сразу же, с самого первого момента, категорического взгляда на него, как на неприкрытую даже попытку меньшинства втравить большинство Думы в чисто оппозиционную затею, имеющую своей единственной задачей затруднить деятельность правительства в ту пору, когда несомненное большинство членов Думы и не помышляет о принципиальной оппозиции. Мы все были единомышленны в том, что на нас лежит долг открыто выяснить Думе всю опасность поднятой затеи, хотя бы для того, чтобы потом не было упрека, что мы нарочно молчим перед новым составом представительства и скрываем от него наши взгляды. На меня было возложено сразиться с оппозицией в первом же заседании, как только дело будет поставлено на повестку "по направлению" и изложить *все принципиальные возражения* против внесенного предположения в надежде, что в таком случае есть много шансов на то, что дело застрянет в Комиссии и Дума не станет вовсе торопиться его рассмотрением.

Так оно и вышло. Дело было назначено к слушанию на 12 января 1908 года, заняло два заседания и окончилось простой передачей в Бюджетную комиссию, в которой пролежало очень долго, гораздо позже вышло из нее в Общее собрание с полным разногласием с правительством и до самого моего ухода в конце января 1914 года, не претворилось в силу закона, так как хотя Дума и выработала свой проект, но он не был принят Государственным Советом.

Таким образом, до самого разрушения всего нашего законодательного аппарата в 1917 году мы существовали с теми самыми сметными правилами 1906 года, которые казались таким бельмом в глазу для оппозиции всех Дум четырех созывов.

Эти два заседания 12 и 15 января 1908 года были настолько характерны по существу, что о них стоит сохранить некоторый след в воспоминаниях о таком далеком теперь прошлом. Они показали с полной очевидностью, что тут, как и во многих других случаях, было не заблуждение авторов, не добросовестные их попытки внести коренное улучшение в наше законодательство, а простое желание ограничить власть правительства в самом чувствительном для него деле — в рассмотрении и исполнении бюджета — и внести простое и ясное средство борьбы с властью во имя принципов той же первой Думы — "власть исполнительная да подчинится власти законодательной".

Аджемов, подготовленный его друзьями, вероятно, не без участия Н.Н. Кутлера, не попавшего в третью Думу, но сохранившего чрезвычайно резкое отношение к правительству за свой неуспех во второй Думе и, во всяком случае, с полным послушанием принявший всю подготовительную работу, исполненную для него Шингаревым, начал свою речь с того, что авторитетно заявил, что у нас нет никаких сметных правил, которыми могла бы и должна была бы руководствоваться Государственная Дума в своей бюджетной работе, так как те правила, которыми предлагает руководствоваться правительство, были составлены для Думы "Булыгинской", то есть законосовещательной, а не для Думы законодательной, которая не должна быть стесняема никакими путями и искусственно составленными перегородками, необходимыми только для правительственного самовластия.

Он перешел затем к излюбленной кадетской теме о том, что большая часть всего бюджета забронирована от воздействия Думы, и свобода ее деятельности проявляется только над ничтожной частью всего бюджета, достигшего на этот год цифры в два с половиной миллиарда рублей.

Далее он с еще большим авторитетом в тоне доказывал, что сметные правила должны быть пересмотрены в корне с удалением из них всех ограничений, стесняющих свободу действий народного представительства в отношении исключения из бюджета, в порядке рассмотрения отдельных смет, всех без изъятия расходов, которые признаются им не отвечающими пользам и нуждам народа, на каких бы ранее изданных законах эти расходы не были основаны. Он проводил, говоря по-просту, чисто революционный по отношению к действовавшему у нас государственному строю принцип безграничности бюджетных полномочий Думы в пересмотре смет и государственной росписи, не стесняясь никакими соображениями.

На мою долю выпал неблагодарный труд. Два дня – 12 и 15 января – я просто не выходил из Думы и не имел даже времени вернуться домой для завтрака. Это была первая встреча моя с кадетской оппозицией в Думе третьего созыва.

В эти два исторические дня много было высказано с той и другой стороны, что было бы очень полезно сохранить для потомства на самом деле, чтобы когда-нибудь правдивый, незаинтересованный исследователь сказал на чьей стороне была правда, и кто просто тратил свои силы в попытке связать правительство по рукам и ногам.

В вопросе о недостатке объема прав Государственной Думы в рассмотрении бюджета оппозиция договорилась просто, что называется, до геркулесовых столбов.

На ее основной тезис, что сметные правила 8 марта лишили Думу права изменить бюджет в большей его части, я представил расчет напечатанный в предвидении этого аргумента, в самой объяснительной запис-

ке к росписи, по которому из двух с половиной миллиардов всей росписи более 60% всех кредитов находятся в полном и ничем не стесненном рассмотрении народного представительства. А если к этой сумме прибавить 400 миллионов кредита на оплату государственного долга (который и не может быть сокращен, потому что он исчислен по данным недопускающим никакого сокращения), пока государство стоит на неприкосновенности своих международных обязательств, а затем прибавить к этому действительно забронированный, но только на один последний 1908 год, кредит около 200 миллионов предельного бюджета военного министерства, поступающий со следующего года в свободное обсуждение законодательных палат — то на поверку остаются забронированными сметными правилами какие-нибудь 400 миллионов рублей, то есть лишь одна шестая часть бюджета, да и то забронирована она только в том смысле, что нельзя исключить кредит, не затрагивая самого закона.

Для всех было, однако, ясно, что дело сводится к внесению полной анархии в государственный организм, и к чести Думы третьего созыва нужно сказать, что оппозиции было в эту пору не легко: мои резкие возражения встречались такими громкими знаками одобрения, что моральная победа была очевидно на стороне правительства по всем основным предметам нашего непримиримого с ней столкновения. Созналась в этом и сама оппозиция, не поскупившись, конечно, на резкие обличительные статьи в своей прессе, в которой приняли участие и некоторые научные кадетские силы того времени, вероятно не раз пожалевшие потом о высказанных ими взглядах, когда много лет спустя им пришлось самим очутиться на стороне правительства, правда на короткое время. Я имею в виду хотя бы профессора Фридмана.

В этих двухдневных прениях наибольший интерес с точки зрения аргументов оппозиции представляла, бесспорно, статья 9 сметных правил, против которой, казалось бы, не должно было быть каких-либо споров, если бы в методах борьбы против правительства существовала бы необходимая справедливость. Эта статья, составлявшая весь центр тяжести придинок к действиям правительства, в существе своем была совершенно понятна и даже неизбежна при всяком режиме. Она применяется одинаково во всех странах с окрепшим даже парламентским строем и нигде никому не приходило в голову строить на ней главный план нападения на правительство. У нас эта статья к тому же только повторяет в сметном деле тот самый принцип, который закреплен был в наших основных законах, как известно, по самому учреждению Государственной Думы и Государственного Совета недоступных воздействию законодательных учреждений без особого на то полномочия Верховной власти.

В основных законах содержится статья 94, изложенная в редакции не дающей места к какому-либо сомнению:

”Закон не может быть отменен иначе, как только силой закона, посе-



му, доколе новым законом положительно не отменен закон существующий, он сохраняет полную свою силу”.

В полном соответствии с таким постановлением основных законов, статья 9 сметных правил говорит с почти буквальной точностью: ”Если какой-либо расход основан на законе, нужно сначала изменить закон, и тогда только падает и установленный им расход”.

Помимо того, и здравый смысл с очевидностью говорит что нельзя в порядке простого рассмотрения смет исключать произвольно какие-либо расходы, обеспеченные специально изданным для них законом, и вводить таким образом полнейший хаос в государственный организм, лишая его тех его органов, которые могут быть даже неудовлетворительны, но не заменены лучшими, на что требуется и время, и внимательный предварительный труд, тогда как на исключение расхода из сметы достаточно случайного большинства присутствующих членов законодательной палаты и государство может быть одним неосторожным постановлением лишено любого органа власти.

Но в нашем молодом законодательном организме, или, точнее, в одной из групп, поставивших себе задачей бороться с правительством во что бы то ни стало, эта очевидность не помешала развиться самым страстным спорам. Мне пришлось три раза выступать с элементарными доказательствами этой простой истины, прежде нежели с правых скамей Думы раздалось энергичное требование прекратить бесполезный спор.

Конец этих двух памятных дней, стоивших мне изрядного напряжения сил, вполне оправдал мои усилия. Законодательное предположение 40 членов было просто передано в Бюджетную комиссию и покоилось в ней почти до самого конца полномочий Думы третьего созыва, то есть более четырех лет.

Началась более спокойная сметная работа в Бюджетной комиссии. Мне пришлось провести в этой работе многие и многие дни вплоть до мая месяца, когда рассмотренный в комиссии бюджет поступил в Общее собрание и начались опять жаркие схватки мои с Шингаревым и некоторыми другими представителями борьбы со мной, — о чем речь впереди.

В начале апреля, незадолго до разъезда членов Думы на пасхальный вакант, до сведения правительства дошло, что по смете Министерства путей сообщения Дума готовит правительству некоторый сюрприз.

В подкомиссии Бюджетной комиссии, рассматривавшей смету Министерства Путей Сообщения, собрались в большом числе представители оппозиционного направления, возглавляемые видным молодым кадетом, считавшим себя большим специалистом по всем вопросам железнодорожного дела, очевидно, потому, что сам он окончил институт путей сообщения и состоял приват-доцентом Томского политехнического института. Это был Некрасов, сыгравший в начале переворота в марте 1917 года видную роль в качестве первого комиссара по ведомству путей со-

общения, и ему именно принадлежала заслуга внесения в железнодорожную среду первых проявлений величайшей демагогии и разложения, которые определили всю деятельность этого ведомства в первый период революции до большевистского переворота.

В подкомиссии, а затем и в самой Бюджетной комиссии были, разумеется, и другие знатоки железнодорожного дела, как Марков 1-й, влияние которых было значительно слабее, но и они были далеко не прочь показать правительству превосходство своих знаний над министерскими специалистами и попытаться проявить свое влияние при первом соприкосновении законодательных учреждений с такой важной отраслью казенного и даже частного, но сильно зависевшего от государственной власти, хозяйства. К тому же и положение нашего железнодорожного дела было в ту пору на самом деле не блестящее. Правда, что главная причина тому коренилась в последствиях несчастной войны, в расстройстве транспорта от революционных условий 1905—1906 года, которые не могли быть, разумеется, исправлены в такой короткий срок, который протек с той поры до приступа к нормальной работе нового законодательного аппарата. Да и финансовое наше положение после войны не могло дать всех тех средств, которые были необходимы для того, чтобы упорядочить все дело, и требовались годы времени и постепенное, планомерное исправление недостатков прошлого. Для Государственной Думы и, в особенности, для оппозиционных ее элементов пища для критики была чрезвычайно обильная и поводы для обвинения правительства в неумении вести дело были слишком разнообразны и даже благодарны.

Вдобавок и высший состав Министерства путей сообщения в лице министра, военного инженера Шауфус-фон-Шафхаузена, мало соответствовал новым условиям законодательной работы. Совершенно неприготовленный к защите интересов своего ведомства в публичных заседаниях с множеством оппонентов, говорящих и часто нападавших на представителей правительства довольно бесцеремонным образом, плохо владевший речью, терявшийся при всяком резком нападении и отвечавший на него с нескрываемым раздражением, Н.К. Шауфус был чрезвычайно смущен, когда Стóлыпин заявил нам всем в заседании Совета министров, что до его сведения дошло, что Бюджетная комиссия решила внести в Общее собрание Думы в качестве своего заключения по смете Министерства путей сообщения по разделу казенных железных дорог требование о назначении особой комиссии из среды членов Государственной Думы и Государственного Совета для расследования положения нашего железнодорожного хозяйства с предоставлением ей широких полномочий в смысле осмотра дорог на месте, требования разъяснений от всего персонала и даже контроля за расходованием средств, отпускаемых по смете<sup>78</sup>.

Еще до сообщения такого предположения на рассмотрение Совета министров в виде слуха о готовящемся заключении, весьма сочувственно

будто бы встреченном чуть что не подавляющим большинством всей Государственной Думы, тот же вопрос о необходимости выяснить причины убыточности казенных и частных железных дорог, требовавших все больших и больших приплат казны по гарантии облигационных капиталов, составлял предмет неоднократных обсуждений в течение зимы в среде Совета министров по инициативе самого Ведомства путей сообщения, к которому решительно примыкали и министр финансов и государственный контролер, и все мы были солидарны в том, что то, что имелось в виду еще в 1903 году, для чего была образована особая высшая комиссия под председательством товарища государственного контролера Иващенко, но что не привело к практическому результату из-за войны и смуты, должно было возобновлено снова в настоящую минуту. Был даже сделан выбор председателя такой комиссии в лице недавнего товарища министра путей сообщения, перешедшего в Государственный Совет, генерала Н.П. Петрова, пользовавшегося прекрасной технической репутацией и очень большим моральным положением в ведомстве. Разработан был также в главных чертах и проект учреждения такой комиссии, причем само ведомство и в особенности государственный контролер решительно настаивали на том, чтобы в состав такой комиссии были непременно приглашены по инициативе правительства и члены законодательных учреждений, обладающие специальными знаниями в области железнодорожного дела.

Поэтому, когда до Совета министров дошел слух о готовящемся предположении Бюджетной комиссии, Столыпин предложил высказаться о том, как следует отнестись к этому предложению и насколько согласуется оно с одобренным уже Советом предположением об исследовании железнодорожного дела через правительственную комиссию. Его личное первое впечатление носило скорее характер довольно благожелательный для думского проекта. Он заявил нам, однако, что не имеет еще своего решительного мнения и предпочитает высказаться последним.

Наши прения были непродолжительны и совершенно согласны между всеми членами Совета, за исключением, как всегда, министра иностранных дел Извольского, не видевшего никакого неудобства в допущении и думской комиссии по исследованию железнодорожного дела одновременно с правительственной. Все мы были одного мнения, что допускать учреждение думской комиссии мы не имеем никакого права по самому учреждению Думы. Последняя имеет неотъемлемое право образовывать комиссии для своей внутренней работы, но обследование на местах с опросом должностных лиц, контроль за расходом кредитов и т.п. — есть бесспорное нарушение пределов власти, которое неизбежно поведет только к дальнейшему захвату полномочий, не предоставленных ей учреждением Думы, и вызовет также неизбежное столкновение и с Государственным Советом, который едва ли встанет на иную точку зрения, как на признание такой организации, не вытекающего из закона, и в та-

ком случае положение правительства, согласившегося на нее, окажется совершенно недопустимым, так как в этом случае охрана неприкосновенности закона будет исходить не от правительства, а от верхней палаты, что создаст и ложное положение для правительства перед Верховной властью.

После всех соображений, высказанных в этом направлении, в которых равное участие приняли как министр юстиции Щегловитов, особенно настойчиво доказывавший недопустимость какого-либо компромисса для исполнения желания Думы, так и прочие министры, не исключая и меня, развивавшего ту же точку зрения, — Столыпин без колебания присоединился к нам, а Извольский уже и раньше отступил от своего взгляда, заявивши, что он смотрел не на букву нашего закона, а больше на образцы конституций других государств, к которым, несомненно, со временем присоединимся и мы. Совет единогласно решил возражать в Общем собрании Думы против заключения Бюджетной комиссии. По моему предложению, Совет решил довести о принятом решении до сведения Государя, не составляя об этом особого журнала, как предложил я, чтобы не вводить в обычай беспокоить Государя принимаемыми Советом решениями в форме предварительных постановлений, основанных на заключениях Думы, не ставших еще официально заявленными, но в то же время довести до его сведения о существенной важности возникшего предположения и об отношении к нему правительства.

Неделю спустя в следующем заседании Столыпин передал нам, что он подробно ознакомил Государя с принятым Советом решением. Государь особенно внимательно выслушал все доводы и сказал ему, что вполне разделяет наше заключение и очень рад тому, что мы заранее разъяснили ему этот вопрос, который, разумеется, не остался бы единичной попыткой расширить права Думы, чего следует вообще избегать, так как не компромиссами и уступками создается устойчивое положение в стране. У Столыпина осталось даже впечатление, что Государь был уже извещен с чьей-то стороны о думском предположении и ему, видимо, было принято узнать, что такой же взгляд вынесен и правительством.

Тут же генерал Шауфус обратился к Столыпину с просьбой освободить его от заявления в Думе о взгляде правительства, так как он убедился в своей полной неспособности убеждать Думу в сложных и спорных делах, и просил поручить эту обязанность мне, сказавши, что "дело касается сметы, и никто лучше меня не справится с этим вопросом".

Столыпин попробовал было убеждать его не настаивать на своем отказе, но Шауфус оставался непреклонен и даже сказал: "Неужели же и сами Вы, Петр Аркадьевич, не видите, что Вам нужен другой сотрудник по Ведомству путей сообщения". Чтобы положить конец довольно тягостному положению, Столыпин спросил меня, принимаю ли я на себя "чужое" дело, и, получивши мое согласие, закончил наши прения.

Я был далек в эту минуту от мысли, что этому, казалоcь, простому и ясному вопросу было суждено разгореться до крупного инцидента и остаться особенно неблагоприятным привеском к моей личности на долгие годы с отражением его много лет спустя, даже в эмиграции, как доказательство моего особенно неблагоприятного отношения к идее народного представительства, чего на самом деле у меня никогда не было.

Настало 24 апреля. Дума приступила к рассмотрению заключения Бюджетной комиссии по смете управления казенных железных дорог.

Изложенное в форме перехода к очередным делам предложение это было облечено в крайне неудачную и очень туманную форму, не дававшую даже ясного представления о том, какую именно комиссию желала бы образовать Государственная Дума, каковы должны быть, по мысли авторов, пределы ее полномочий, какой состав ее отвечал бы всего более думским пожеланиям. Поэтому прения открылись целым рядом соображений, высказанных по существу вопроса о дефицитности нашего железнодорожного дела, в особенности на казенной рельсовой сети, и целый ряд ораторов стал рассматривать этот вопрос, каждый со своей точки зрения, внося самые разнообразные обоснования этой убыточности и предлагая столь же разнообразные способы уврачевания их. Не остались вне обсуждения и соображения о желательном составе комиссии, и несколько ораторов прямо указывали на необходимость привлечь к этому делу членов законодательных палат, сведущих в железнодорожном вопросе, но по вопросу о способе образования комиссии и пределах ее прав и полномочий как-то все ходило, что называется, кругом да около, не выражая ясно своего мнения до той минуты, как П.Н. Милюков, не прося даже слова, а со своего места, резко отчеканя каждое из сказанных им немногих слов, сказал: "Я постараюсь яснее определить наше желание. — мы считаем необходимым [образовать] парламентскую (с ударением на букве "е") комиссию по расследованию причин убыточности нашего казенного железнодорожного хозяйства, которая одна в состоянии выполнить с успехом это сложное дело". Вся левая половина покрыла слова Милюкова громкими рукоплесканиями. С правых скамей начали слышаться неодобрительные возгласы, и отдельные депутаты с любопытством поглядывали на меня, сидевшего в одиночестве на министерских местах. Из их среды попросил слова член Думы граф Бобринский 2-й. Он поднялся на кафедру и обратился ко мне со словами прямого вызова о том, "как относится ко всем высказанным предположениям правительство, находит ли оно желательным и возможным образовать такую комиссию, с какими правами и в каком именно порядке", объяснивши при этом, что для многих членов Государственной Думы далеко не безразлично, будет ли протекать поднятый вопрос в полном согласии между правительством и законодательными палатами или же встретит он какие-либо осложнения в порядке своего осуществления.

О таком запросе я не был предупрежден и даже о нем не было слышно ничего и из думских кулуаров, суждения которых всегда доходили до сведения правительства даже по делам, гораздо менее важным.

Был ли предупрежден об этом лично Столыпин, к которому в ту пору часто заглядывали многие депутаты из правой половины Думы, я также не знаю и могу только удостовериться, что до меня не доходило никакого слуха о состоявшемся сговоре между правыми и П.А. Столыпиным, о чем потом ходили упорные слухи. Я думаю, что и надобности в этом никакой не было, потому что и без такого вызова, я выступил бы с заявлением об отношении правительства к возникшему предположению, как это и было решено Советом. Я выжидал только наиболее подходящего момента, чтобы просить слова, когда достаточно выяснится неопределенная позиция самой Думы, очевидно, не успевшей договориться в своей среде или не желавшей создавать какого-либо конфликта с правительством. Во всяком случае, я в точности заявляю, что между мной и Бобринским никакого сговора не было и что версия, быстро распространившаяся в Думе после возникшего личного со мной инцидента о том, что я был, как говорится, спровоцирован правыми по моему личному желанию для того, чтобы занять моим заявлением выгодную для себя позицию в Царском Селе, — совершенно не соответствует истине. Весь инцидент возник исключительно из слов Милюкова о том, что инициаторы предложения имеют в виду *"парламентскую"* следственную комиссию с широкими правами расследования, и на это заявление, единственно, к которому приложимо наименование *"провокационного"*, я не мог не ответить, и, если ответил, вставивши в мои слова приставку, что *"у нас, слава Богу, нет еще парламента"*, то вся моя вина заключается только в том, что я поместил в мою реплику эти два слова *"слава Богу"*, справедливые по существу не только для того времени, но и для гораздо более позднего, и о которых я нимало не сожалею, как не сожалел и тогда. Но положительно и открыто я утверждаю, что я не имел и в мыслях моих понравиться ими кому бы то ни было. Много несправедливых толков было потом по поводу моих слов. Часто и многие годы спустя слышал я осуждение меня за сказанные слова, но никто не потрудился толком отдать себе отчет в них и даже не вчитался в мою речь, а те немногие, которые потом, много лет спустя, дали себе труд прочитать то, что я сказал в ту пору, не могли не сказать, что по существу, я был совершенно прав, да и сам Милюков отлично сознавал, что его слова были истинной причиной моей отповеди и были сказаны им, несомненно, с прямой целью вызвать меня на реплику ему.

Каждый, кому когда-либо попадет на глаза стенограмма этого заседания, даст себе отчет в том, мог ли министр царского правительства не ответить моими словами на заявление Милюкова, когда перед его глазами находился текст учреждения Государственной Думы, а наскоки оппозиции на правительство и захват власти еще так недавно составляли всю

сущность стремлений народного представительства первых двух Дум.

Произнесенные мной слова вызвали бурю аплодисментов на правых скамьях Думы и свист на левых. Так отмечено это заседание в думском протоколе. На самом деле этот свист был довольно безобиден, и даже после окончания заседания мне пришлось беседовать с окружившими меня депутатами, среди которых был и А.И. Шингарев, и мы совершенно спокойно обменивались взглядами на происшедшее разномыслие, причем правые шумно поддерживали меня и тут, а Шингарев совершенно спокойно сказал, что конституционно Вы совершенно правы, так как, несомненно, закон не дает Думе права организовать "следственные или анкетные" комиссии, но что самому правительству было бы выгоднее пойти на расширение дарованных Думе прав, о чем мы снова продолжали очень мирно обмениваться взглядами, не предвещавшими никакой бури. Никто из них не подчеркнул моих неудачных, быть может, слов "слава Богу и т.д."

Буря совершенно неожиданно возникла в следующем заседании 25 апреля и притом в моем отсутствии. Читался протокол вчерашнего заседания. Депутатов почти не было на местах. Совершенно незаметный до того времени член Думы от Псковской губернии Ткачев стал настаивать на непременно включении в протокол слов "в законодательном порядке" по поводу самого образования анкетной комиссии, чего не было включено в резолюцию по предложению президиума, дабы не создавать конфликта с правительством. Другой депутат граф Уваров попросил слова, чтобы ответить мне на мою реплику.

Председатель Хомяков, желая, очевидно, потушить инцидент тотчас после заявления Ткачева и не давая слова гр[афу] Уварову, произнес весьма нескладную короткую речь такого содержания (записываю ее по стенограмме): "Господа, я вас покорно прошу держаться вопроса, именно — выпускать или не выпускать из предложенной формулы перехода слова в "законодательном порядке". Я считаю это своим долгом потому, что мы не можем ставить как отдельный вопрос обсуждение неудачно сказанных кем бы то ни было слов. Как председатель я не имел никакой возможности остановить министра финансов, когда он сказал свое неудачное выражение; я не имел возможности и не имел даже права, но я считаю, что я имею возможность, имею и обязанность не допускать обсуждения этих слов в дальнейшем. Поэтому прошу покорнейше держаться пределов вопроса". Вот и все.

О таком выступлении председателя Государственной Думы я ничего не знал, и даже обычный информатор думских инцидентов Куманин ничего не сказал мне по телефону; вероятно, и сам он узнал об этом только позже. Но после завтрака, около трех часов, в то время, когда я принимал обычные доклады по министерству, ко мне позвонил по телефону П.А. Столыпин и спросил, знаю ли я, что произошло утром в Думе и "как отличился", сказал он, "наш милейший Хомяков". Я ответил полным не-

ведением. Он прочитал мне тогда стенограмму Думы и спросил, не могу ли прийти к нему, когда освобожусь от работы, прибавивши, что "оставить этого дела так невозможно, а то и в этой Думе нас попытаются оседлать".

В шестом часу вечера я пришел в Зимний Дворец и застал Столыпина в большом волнении. Оказалось, что он успел уже переговорить по телефону с Хомяковым и последний успел даже побывать у него до моего прихода. На замечание Столыпина, что его выступление крайне удивило его и ставит перед ним даже вопрос о том, как быть министрам, если председатели Думы начнут награждать министров различными эпитетами за произносимые ими речи вместо того, чтобы предоставить Думе в лице ее членов возражать им по существу, и будут это делать еще в присутствии министров, он сказал, что перед ним стоит даже вопрос о том, согласится ли министр финансов являться в Думу после такого инцидента, а если он не согласится, то он, Столыпин, отнюдь не станет уговаривать его, вполне понимая, что и сам он поступил бы точно так же, и тогда встанет во весь рост вопрос о таком конфликте между Думой и правительством, который просто не знаешь, как разрешить.

По словам Столыпина, Хомяков просто не понял своего поступка и думал, что он поступил даже чрезвычайно умно, потушивши приподнятое настроение в Думе, не давши говорить депутатам на скользкую тему и предложивши простой выход из возникшего инцидента. Ему и в голову не приходило обидеть меня, тем более что со мной его связывают наилучшие отношения и "если бы, сказал он, В.Н. подал в отставку из-за этого его неосторожного шага, то я и сам тотчас же уйду из председателей".

Столыпин сначала не передал мне всей его беседы с Хомяковым и только после передал мне все подробности. Он сказал мне, что эта беседа была не очень гладкая, настолько, что Хомяков, по его словам, сам предложил ему покончить этот вопрос, не вмешивая в него меня, и именно тем, что завтра же заявит в Думе открыто, что обдумавши свои слова, сказанные вчера, он берет их назад, потому что считает, что поступил неправильно, охарактеризовавши эпитетом "неудачные" слова министра.

"Ведь так, пожалуй, — сказал он, — по моим стопам члены Думы начнут подносить в своей критике и почтище эпитеты, вроде глупые, пошлые и так далее, а кто же запретит министрам ответить на них и в еще более повышенном тоне, до верхнего до диеза и тогда, действительно, придется святых выносить из залы".

Столыпин предложил Хомякову обождать свидания его со мной и обещал передать по телефону, на чем мы остановимся, сказавши от себя, что, во всяком случае, нельзя доводить этого дела до Государя, что будет неизбежно, если не найдется возможности потушить разгоревший пожар.

Мне, конечно, все это было в высшей степени неприятно. Я начал с того, что сказал, что считаю единственной моей ошибкой привесок слов "сла-



ву Богу”, потому что нахожу слова ”у нас нет парламента” совершенно правильными, ибо право назначить следственные комиссии, производить расследования на местах, контролировать порядок исполнительных действий и т.д. не предусмотрено нашими основными законами и не входит в круг прерогатив нашей Думы как органа исключительно законодательного, а отнюдь не управления. У нас введен, действительно, конституционный образ правления, но парламентаризма у нас еще нет, и далее запроса правительству о незакономерности органов управления Дума и Государственный Совет идти не могут. Остается лишь вопрос о словах ”славу Богу”, и если, произнеся их, я оказался недостаточно сдержанным, тактичным и возбудил страсти, то можно попытаться найти какую-либо безобидную форму компромисса, хотя лично я настолько не дорожу моим положением, что заранее готов предложить ему как председателю Совета Министров располагать мной для любого жертвоприношения, если только оно укрепит положение правительства и даст вместе с тем успокоение напрасно поднявшимся страстям. Я закончил мой ответ тем, что я не придаю никакого значения инциденту и более всего желаю окончить его без всякого обострения. Столыпин встал на совершенно непримиримую точку. Он заявил мне, что не видит никакой бестактности в словах ”у нас, славу Богу, нет парламента”, так как в них он видит святую истину и считает, что прямой долг правительства – бороться против всякого расширения захватным порядком Думой новых прав, не предусмотренных законом, и думает даже, что если бы я не остановил попытки кадетов к такому захвату, то на меня, как единственного присутствовавшего министра, посыпался бы ряд справедливых обвинений с трех сторон: с правой половины самой Думы, несомненно, – со стороны всего Государственного Совета, который воспользовался бы моим молчанием и даже чрезмерной моей мягкостью возражений для обвинения правительства в слабости там, где ей не должно было быть места, и, наконец, вероятно, со стороны и Государя, которого мы должны ограждать от таких захватов и не переносить на него таких инцидентов, которые служили бы только поводом к новым осложнениям. Он прибавил, что ни в чем не может меня упрекнуть, считает мои действия совершенно правильными и убежден, что в самой Думе огромное большинство благоразумных людей отлично понимает неправильность действий Хомякова, руководившегося, конечно, наилучшими побуждениями, но допустившего прямую бестактность. Он не допускал и мысли, чтобы на такой неблагоприятной для престижа Думы почве разгорелся конфликт именно со мной, успевшим уже завоевать себе большие симпатии в Думе и проявляющим каждый день полнейшую готовность работать с Думой самым согласным образом. ”Хомяков заварил кашу, пусть он же и расхлебывает ее”, – закончил Столыпин и просил меня не осложнять создавшегося положения какими-либо заявлениями и предоставить дело его естественному течению.

На этом мы расстались с ним, и я в этот вечер под самыми разнообразными предложениями отклонил целый ряд телефонных звонков со стороны по крайней мере пяти или шести членов Думы, просивших принять их по спешному делу.

Около 11 часов вечера Столыпин снова позвонил ко мне и передал, что от него не выходили во весь вечер бесчисленные представители думских фракций, от крайних правых до левых октябристов, и все в один голос осуждали Хомякова и просили потушить инцидент теми или иными способами, говоря, что они не допускают и мысли, чтобы я мог уйти, и совершенно уверены в том, что Государь ни в каком случае не допустит моей отставки, если бы я поставил вопрос ребром, и тогда бы встал на очередь вопрос об отставке Хомякова, что тоже было бы невыгодно и для правительства, в особенности при самом начале думской работы. Столыпин ответил всем им, что я ему не говорил ни одного слова об отставке; и он, как и я, мы ожидаем, что предпримет сам председатель Государственной Думы, создавший повод к такому столкновению.

Инцидент разрешился на следующий день к общему удовольствию точным выполнением Хомяковым данного им Столыпину обещания.

Открывая утреннее заседание 26 числа, Н.А. Хомяков сделал следующее заявление, принятое громом рукоплесканий чуть что не всей Думы, кроме крайнего левого сектора. Цитирую его по стенограмме, чтобы отдать честь покойному председателю Думы, с которым мы сохранили до самой революции самые дружеские отношения, хотя и в этих его словах не было, конечно, недостатка в двухсмысленности.

”Господа, во вчерашнем заседании при обсуждении вопроса о смете министра путей сообщения я со своей стороны остановил после речи гр[афа] Уварова дальнейшие прения или, лучше сказать, дальнейшие речи по словам, которые были сказаны в предыдущем заседании г. министром финансов. При этом я квалифицировал, — сделал оценку его слов. Я считаю, что Государственная Дума не имеет права обсуждать деятельность ее председателя, но думаю, что председатель, если он усматривает в своих действиях какое-нибудь нарушение, тем более могущее повлечь за собой что-либо нехорошее по отношению к Думе или к кому-либо из ее членов, обязан объяснить свои действия перед избравшей его Думой. Я вполне сознаю, что поступил некорректно в смысле формальном по отношению к министру, речь которого я квалифицировал, некорректно по отношению к членам Государственной Думы, не допустив их обсуждать слова министра после речи гр[афа] Уварова, когда они могли желать высказать свое мнение.

Я признаю, что в данном случае я поступил некорректно, но, господа, я должен сказать, что, кроме наказа, кроме письменных регламентов, я знаю еще другой регламент — это моя совесть. Я считаю, что если предомной в Государственной Думе, от кого бы то ни было, будь то от прави-

тельства или будь от кого-либо из членов Государственной Думы, падет искра, от которой может вспыхнуть пожар, я считаю своим долгом, вопреки регламенту, эту искру потушить. Если мне удалось это сделать, то я не буду об этом забывать и до последних дней моей жизни буду вспоминать об этом с удовольствием, а не с раскаянием”.

На этом все дело и кончилось. Я не принимал в ликвидации его никакого участия и ни с кем, кроме П.А. Столыпина, никаких объяснений не вел. В Совете министров, искренно или неискренно, меня не только никто не осуждал, но все говорили в один голос, что я был глубоко прав по существу, хотя я совершенно уверен, что за моей спиной говорили совершенно иное. Государя я видел только неделю спустя после этого события. Он говорил об этом в совершенно шутовском тоне, осуждая Хомякова и вполне, видимо, одобряя меня за прямое заявление протеста против явной попытки со стороны оппозиции проделать и в Думе третьего созыва то, что происходило каждый день в первых двух Думах. Был ли Государь на самом деле доволен моим выступлением или отнесся к нему безразлично, — это трудно сказать, но, во всяком случае, ни малейшего неудовольствия мне он не выразил ни непосредственно после этого инцидента, ни когда-либо впоследствии до самого моего ухода. Досужие истолкователи наших внутренних событий сочинили, однако, вскоре, что я сделал мое сенсационное заявление чуть ли не по прямому приказу Государя, или, во всяком случае, зная, что этим я ему угрожу, но все это лишено всякого смысла, потому что сам по себе инцидент, — если называть им мое заявление, — был вызван исключительно выступлением Милокуова, который демонстративно и в несомненно искусственно приподнятом тоне почти закричал: “Мы требуем парламентской следственной комиссии”, на что я и сделал мое возражение.

У Хомякова не осталось от этого инцидента, по-видимому, также никакого недружелюбного ко мне осадка. Мы не виделись с ним после 24 апреля вплоть до 7 мая, когда поехали вместе в Царское Село, в день рождения Императрицы Александры Федоровны, и он самым благодушным образом шутил над нашим “турниром великодушия”, как назвал он свои два выступления в Думе. Да и в самой Думе все очень скоро улеглось, и долгое время никто не напоминал мне о происшедшем, и уже гораздо позже стали возвращаться, в репликах мне, мои обычные противники к моему выражению, спрашивая меня язвительно о том, есть ли у нас парламент или нет.

## ГЛАВА II

*Рассмотрение отдельных смет на 1908 г. — Председатель Бюджетной комиссии проф[ессор] Алексеенко. — Мои оппоненты: слева и справа. — Взаимоотношения отдельных групп в Государственном Совете. — Законопроект о постройке Амурской железной дороги. — Экономическое и стратегическое значение дороги. — Принятие законопроекта Думой и Государственным Советом при непримиримой оппозиции графа Витте. — Моя поездка в Гамбург. — Свидание с Негцином. — Смерть дочери Плеске*



Весь май и половина июня до 18 числа ушли на очень тягостную для меня работу по рассмотрению заключений Бюджетной комиссии по отдельным сметам Министерства финансов. Этой работе предшествовала не менее утомительная, но зато гораздо более продуктивная работа в Бюджетной комиссии. В ней не было длинных речей, не присутствовала публика, не велось пристрастной кампании в печати, все еще не уставшей, в известной ее части, вести борьбу с правительством, невзирая на то, что победа всегда оставалась за последним, и работа имела характер чисто деловой. Часто даже и нападок на правительство почти не было, а с внешней стороны все держались чрезвычайно корректно и даже предупредительно лично в отношении меня, а председатель Бюджетной комиссии Алексеенко, считавший себя большим знатоком бюджета и финансовой науки, — всегда был утонченно вежлив со мной. Мы расходились после наших многочисленных совместных занятий в самом благодушном настроении, и почти никогда не оставалось между нами несогласных противоречий. Это не мешало, однако, потом, при изложении докладов, оставлять место многим несогласиям и вносить в Общее собрание Думы немалое количество подводных камней, очевидно, для того, чтобы дать отдельным докладчиком проявить их критическое отношение, правда, не всегда с большим для них конечным успехом.

Таким отношением к делу и лично ко мне отличались, конечно, по преимуществу депутаты с левых скамей, и в числе их всегда был, разумеется, мой присяжный оппонент, делавший, так сказать, на мне свою политическую карьеру в кадетской партии и в Думе третьего созыва, как пытался он выдвигаться и раньше, еще в своей земской деятельности в Воронежской губернии, — Шингарев. К нему присоединялся очень часто другой кадет, гордо носивший звание "профессора", хотя он был только начинающим приват-доцентом Томского технологического института, — Некрасов. Я упомянул даже, что [ему] принадлежит, несомненно, главная заслуга в разращении железнодорожных служащих и разрушении служебной дисциплины среди них в начале февральской революции. По думской работе он специализировался на критике сметы по расходам на приплату по Китайской восточной железной дороге, и в эту критику

он вносил всегда при совершенно приличной внешней форме самую безудержную демагогию и неприкрашенное извращение истины, рассчитанное только на то, чтобы через печать и собиравшуюся всегда послушать его публику дискредитировать правительство. Его мало смущало то, что в думском голосовании он всегда оставался в меньшинстве, что все его предложения, а иногда и праздная критика, не сопровождавшаяся никаким реальным предложением о сокращении расходов, оставались без всякого результата, и правительство выходило всегда с полной моральной и фактической победой. Его это нисколько не смущало, потому что каждый раз после его выступления газета "Речь" на другой день посвящала ему хвалебную статью, расписывая, в какое трудное положение было поставлено вчера правительство и насколько одно лишь дружное голосование заранее обеспеченного большинства вывело его из такого положения. Прилагал время от времени свою руку к "раздельванию правительства под орех", — как говорили в кулуарах Думы, — и упомянутый мной раньше депутат Аджемов, адвокат по профессии, несомненно способный и даровитый человек, выступавший, однако, не по какому-либо определенному вопросу, более или менее ему известному, а главным образом, тогда, когда его выдвигала партия высказать несколько оппозиционных мыслей, а обычные ораторы от партии уже исчерпали ранее арсенал их нападок. Он выходил на кафедру и говорил гладко, неприятно для правительства, но содержание его речей отличалось такой неопределенностью, что возражать ему иногда просто не было нужды, и небольшие реплики оказывались достаточными для ликвидации его выступления. К чести его, если только в этом есть большая честь, нужно сказать, что он никогда не смущался от того, что ему приходилось выслушивать лишь неприятные возражения, и он вполне хладнокровно говорил мне открыто при встрече, что он "не специалист по сметным и финансовым вопросам" и выступал только потому, что "ему было предложено покуражиться над правительством".

Но и с правой стороны в бюджетных прениях был один специалист, который также хотел делать свою карьеру на оппозиции правительству вообще и министру финансов в частности, но, к сожалению для него, не только в этом не успел, но даже быстро утратил и свое положение в думских кругах, которое одно время он было завоевал обещаниями принести Думе свой технический опыт по раскрытию "вопиющей дезорганизации всего провинциального аппарата Финансового ведомства". Это был недавний податный инспектор и начальник отделения рязанской казенной палаты — Еропкин.

Мои сотрудники по двум Департаментам — Государственного казначейства и Окладных сборов, — ближе всего стоявшие к личному составу казенных палат, дали мне о Еропкине интересные сведения, как о посредственном податном инспекторе, не обладавшем никакой инициати-

вой, но аккуратно отбывавшем все формальности и в особенности безупречном в исполнении всех канцелярских обязанностей. Он домогался сравнительно долгое время перемещения на должность начальника отделения казенной палаты, ссылаясь на то, что по состоянию здоровья ему затруднительно совершать объезды по сравнительно большому району с плохим обслуживанием его железной дорогой. Это повышение ему было предоставлено. Вскоре он женился на состоятельной особе и был выбран в члены Государственной Думы, предварительно примкнувши к новой в ту пору партии 17 октября, которая в Рязанской губернии сформировалась в довольно крепкую организацию и провела на выборах почти весь состав Думы от губернии.

Мы свиделись с Еропкиным впервые в заседании Бюджетной комиссии по рассмотрению сметы Департамента государственного казначейства уже в начале 1908 года. Еропкин был назначен докладчиком по ней, сохраняя обязанности секретаря Бюджетной комиссии. Открылось заседание комиссии заявлением мне председателем ее благодарности за то, что я доставил все необходимые справки и разъяснения, которые значительно облегчили работу комиссии, и все заседание, затянувшееся до позднего часа, носило мирный и даже дружественный характер.

Через несколько дней директор Департамента казначейства получил и показал мне заготовленный печатный доклад по смете, присланный ему секретарем Еропкиным, который был также совершенно корректен и не содержал в себе решительно ничего, о чем не было речи в заседании.

Немало было мое удивление, когда, открывши заседание, председатель Думы Хомяков предоставил слово докладчику сметы Еропкину и тот, доложивши вкратце заключение комиссии, заявил, что он имеет сделать ряд заявлений от себя, как докладчика и члена комиссии, и произнес в самом приподнятом настроении целую речь чисто обличительного свойства, далеко выходящую за пределы последующих "оппозиционных" речей Шингарева.

Повторять здесь много лет спустя все, что он наговорил и как это он говорил, просто нет охоты, настолько это было несправедливо, а подчас мелочно и ненужно, что даже с левых скамей ему не было оказано особенного одобрения и после его речи в таких называемых кулуарах не было, кажется, никого, кто бы не почувствовал неловкости от выслушанного. Мне пришлось возражать Еропкину в атмосфере вполне для меня благоприятной, и неоднократные одобрения аплодисментами раздавались по моему адресу не только с правых скамей, но и из центра, со скамей занятых октябристами, к которым принадлежал докладчик.

Ни одно из предложений Еропкина не было принято Думой. Но полученный им урок не принес ему никакой пользы. Подошло рассмотрение 19 июня Общим собранием Думы заключительного доклада Бюджетной комиссии по всей росписи доходов и расходов на 1908 год. Объяснения

от имени комиссии представил Алексеенко, и представил их в самой благожелательной и корректной форме. Это был еще медовый месяц нашей совместной работы. Ничто не омрачало еще того согласия, которое царило в наших отношениях. Не было еще ни возникшего гораздо позже обострения между мной и партией националистов; не было и резкого разногласия между мной и близкими Алексеенко людьми в вопросе о железнодорожном строительстве; не было, наконец, и симптомов неудовольствия мной наверху, которое, разумеется, расценивалось непосредственно и отношением ко мне определенными кругами Думы, чутко прислушивавшимися к биению пульса моего положения в окружении Государя.

Всем казалось, что прения будут носить чисто деловой характер и сосредоточатся исключительно около предложенных Бюджетной комиссией небольших изменений по отдельным статьям росписи.

Конечно, не обошлось без выступления Ингарева в его обычной форме, отвечающей обычным же приемам критики того, что делает правительство, но и оно было сделано в совершенно приличной форме и могло быть опровергнуто мной без особого труда.

Но Еропкин не мог, очевидно, простить мне своего поражения по смете Департамента государственного казначейства. Он не воспользовался представлявшимся для него случаем промолчать и выступил с длинной, резкой и даже страстной речью, предупредивши, что говорит не от имени Бюджетной комиссии, а от своего имени. Речь его сводилась к совершенно неприличному для недавнего чиновника Министерства финансов и для секретаря Бюджетной Комиссии, подписавшего, в сущности, хвалебное заключение комиссии о проекте росписи доходов и расходов, огульному осуждению всего нашего финансового строя и управления, отсутствию у министра Финансов элементарного плана, безсистемной жизни изо дня в день, его предвзятого и даже несправедливого отношения к народному представительству и величайшей опасности оставлять дело и дальше в том хаотическом состоянии, в котором оно теперь находится.

Совершенно понятно, что оставлять такую своеобразную речь без ответа я не имел никакого права, несмотря на то что она не произвела после речи Алексеенко никакого впечатления. В перерыве после выступления Еропкина я переговорил с председателем Думы Хомяковым и Алексеенко, и оба они в один голос согласились со мной, что мне необходимо отвечать, хотя ни тот, ни другой не придавали выпадам Еропкина ни малейшего значения. Отношение их к этим вопросам было не совсем одинаковое. Хомяков, при свойственном ему внешнем добродушии и внутренней лукавости, просто сказал: "Конечно, Вам нельзя молчать, а то Еропкин станет уверять, кому не лень его слушать, что он совершенно уничтожил министра финансов". Алексеенко был задет за живое тем, что он сказал только хорошее про роспись, а кто-то из состава комиссии не признал его авторитета и сказал совершенно противное.

Четыре года спустя, когда против меня поднялась во весь рост интрига, Михаил Мартынович [Алексеев], вероятно, поблагодарил бы Еропкина за то, что он наговорил на этот раз.

Меня речь Еропкина, в сущности говоря, не возмутила, а мне просто было досадно, что человек говорит с величайшим апломбом то, чего он просто не понимает или чему и сам не верит. Я избрал полушутливый, полусерьезный тон и, по-видимому, имел несомненный успех даже среди центра Государственной Думы, к составу которого принадлежал мой противник. На этом моем выступлении и закончились прения по бюджету; думская стенограмма отмечает после него сакраментальные слова — "продолжительные рукоплескания справа и в центре; возгласы браво".

Я не передаю здесь более подробно содержание моих бюджетных выступлений, так как в последующем изложении я дам определение той общей экономической и финансовой политики, какую я проводил и защищал перед Думой от имени правительства. Я постараюсь одновременно показать, какие результаты применение этой политики дало в области государственных Финансов и в экономической жизни России.

Параллельно с заседаниями Государственной Думы, отнявшими у меня столько времени и настолько натянувшими всю мою нервную систему, что подчас я спрашивал себя, хватит ли у меня сил довести дело до конца и дожидаться роспуска Думы на летний вакант, — проходили и заседания Государственного Совета. Приходилось нередко в один и тот же день бывать и там и тут, но участие в работе Совета было почти сплошным отдыхом по сравнению с той нервной атмосферой, которая все-таки была свойственна думской работе.

В Государственном Совете сразу завелась действительно деловая работа. Почти не было на меня каких-либо нападений; не было до самого конца моего участия в работе правительства и никакой предвзятости, и только изредка проявлялись вызывавшие у меня сначала некоторое недоумение и мало понятные замечания по существу со стороны моих бывших сотрудников по Министерству финансов в лице А.П. Никольского, всегда касавшиеся мелочей и не приводившие ни к каким результатам, после всегда корректных пояснений председателя Финансовой комиссии Совета М.Д. Дмитриева, которого я застал при моем назначении министром финансов в 1904 году на должности директора Департамента государственного казначейства и с которым сохранил самые добрые отношения до самой его кончины.

Впоследствии эти булавочные уколы становились все более и более частыми, по мере того, что стало вырисовываться недружелюбное ко мне отношение гр[афа] Витте, а затем, под конец моего министерства, уже положительно враждебное ко мне отношение со стороны правой группы, руководимой П.Н. Дурново, лично тем не менее выражавшего ко мне крайне внимательное отношение.



С первых же месяцев активной работы Государственного Совета, после конца 1907 года, мое положение в Совете выяснилось в совершенно определенной форме.

Вся Финансовая комиссия с Дмитриевым во главе была всегда решительно единомышленна со мной и оказывала мне всякое внимание, доходившее до того, что меня всегда предвещали о том, с какой стороны и в каком смысле я должен ждать тех или иных замечаний. Так называемая академическая группа, составлявшая крайнее левое крыло Государственного Совета, почти не делала никаких замечаний, а если и делала, то всегда в крайне умеренной и предупредительной форме. Многочисленная группа центра была всегда настроена крайне благоприятно ко мне и неуклонно шла за председателем комиссии Дмитриевым, принадлежавшим к этой группе. Только изредка, и то по отдельным вопросам, близко затрагивавшим непосредственно интересы торгового класса, поднимала свой голос вошедшая в состав того же центра группа представителей промышленности, почти всегда выпуская своими ораторами либо Г.А. Крестовникова, либо Триполитова. Но в ее нападках я почти всегда одерживал верх, получая поддержку почти по всем вопросам со стороны подавляющего большинства.

Группа умеренно правых или нейдгардцев наружно была также всегда благожелательно настроена, но от нее всегда веяло холодком, потом перешедшим в боее неблагоприятное настроение, когда обнаружилось впоследствии совершенно враждебное ко мне отношение сектора националистов в Государственной Думе, противопоставлявшего меня почему-то Столыпину, несмотря на то что между нами до самой его смерти были самые дружеские отношения, изредка лишь нарушавшиеся принципиальными несогласиями, правда, весьма редкими и не принимавшими, кроме вопроса о Крестьянском банке, никогда резких проявлений.

Под конец моей ответственной работы эта группа под влиянием Нового Времени, покойного С.В. Рухлага и самого Д.Б. Нейдгарда соединилась с правым сектором Государственного Совета и вела против меня глухую борьбу, не проявляя, однако, в заседаниях открытого сопротивления, для которого вся атмосфера Государственного Совета к тому же была совершенно неблагоприятна.

При таком взаимоотношении отдельных групп ко мне лично и к Министерству финансов вообще работа Государственного Совета была просто отдыхом после напряженных заседаний Думы, и я мог бы даже пройти мимо этой страницы моей деятельности и сказать только слово моей благодарности подавляющему большинству членов Государственного Совета за то внимание, которое они мне оказывали, и за то, насколько они облегчали мой труд того времени. Со многими из них мы пережили вместе прежние условия нашей жизни. Со многими вместе служили в годы моей и их молодости. Немало было и личных моих друзей, о

которых хочется упомянуть словом искреннего воспоминания о лучших годах моей жизни. Никого из них уже нет в живых, когда я пишу эти страницы моих воспоминаний, а их образы все еще ясно живут в моей памяти. Назову хотя бы только тех, кто мне остался наиболее дорогим из этой далекой теперь поры моей жизни: барон Ю.А. Иксуль, Н.Е. Шмеман, М.Д. Дмитриев, Н.С. Таганцев, П.М. Романов и целый ряд почтеннейших, бывших членов Государственного Совета дореформенного состава, которые знали меня еще молодым статс-секретарем Государственного Совета, потом государственным секретарем. Все они шли ко мне навстречу как к близкому, почти родному человеку, и не было дня, чтобы, приходя к ним в заседание ли комиссии, или Общего собрания, я не видел их привета и ласки, и они не отметили словом одобрения каждое удачное мое выступление в Думе и в их среде.

Держались в стороне от меня, и притом в совершенно заметной форме, только немногие и в числе их всегда был гр[аф] Витте, сначала вполне корректный и даже благожелательный в его открытых выступлениях, а потом молчаливый и под конец явно враждебно настроенный, А.Ф. Кони, мой бывший начальник по раннему периоду моей службы в Министерстве юстиции, бывший мой подчиненный по Министерству финансов А.П. Никольский и профессор Пихно, с которым в начале 1904 года меня свел гр[аф] Витте, но с которым мы сразу разошлись еще в дореформенном Совете. Все они держались также вне этой общей близости ко мне.

Я упоминаю об этой отчужденности в особенности потому, что она резко проявилась в первый же год деятельности Государственного Совета, после созыва третьей Думы, и ее проявление относится именно к той поре, о которой я делаю сейчас мои записи. Она особенно характерна именно потому, что проявилась в связи с одним из первых дел, которые пришли в Государственный Совет из новой Государственной Думы, и по которому впервые выступил против Думы и, в частности, против моего к этому делу отношения – гр[аф] Витте.

В самом начале 1908 года Дума рассмотрела представление Министерства путей сообщения о начале сооружения Амурской железной дороги<sup>79</sup>.

Лично Столыпин и весь Совет министров, не исключая меня, отнесся к этому представлению как делу величайшей государственной важности. У всех на памяти была еще только что изжитая ее последствиям русско-японская война. Все помнили хорошо, какую службу сослужила во время этой войны Восточно-китайская железная дорога; всем было до очевидности ясно, что при новом столкновении с Японией или Китаем эта дорога оказалась бы под несомненным ударом нашего противника, который оказался бы гораздо более подготовленным к разрушению ее, нежели оказалась в 1904 году Япония. Понимали мы все эту опасность и по той настойчивости, которую проявила Япония в 1906 году в переговорах о рыбных промыслах в наших водах Уссурийского края<sup>80</sup>. Засыпал пра-

вительство и Думу своими телеграммами и приамурский генерал-губернатор Унтербергер, настаивая в чисто паническом тоне о том, что война с Японией неизбежна в самом ближайшем будущем. Для нас всех очевидно была необходимость постройки Амурской дороги и с точки зрения положительных соображений, свободных от угрозы нашему положению на Дальнем Востоке.

Еще со времени постройки Сибирской железной дороги вопрос о необходимости сооружения такой же дороги по левому берегу Амура не сходил со страниц нашей печати. Обширный район, богатый пригодными для сельскохозяйственной культуры землями, бесспорное богатство золотом и другими металлами всего Зейского района, желательность направления туда русской колонизации и, наконец, свободная от всяких опасений данной минуты необходимость связать рельсами наш Уссурийский край с Восточной Сибирью и всей Россией совершенно независимо от Восточно-китайской дороги, которая в 1936 году могла быть выкуплена Китаем, а по окончании срока концессии поступала безвозмездно в его обладание, — все это делало вопрос о неизбежности постройки этой дороги только вопросом времени.

Так посмотрела на дело и Государственная Дума. Она быстро рассмотрела правительственный законопроект, исправила в нем только начальный пункт примыкания дороги к Забайкальской дороге, постановила разобрать отчасти уже выстроенную ветку от Нерчинского завода и избрала вместо этого пункта соединения — станцию Куэнга и передала в Совет свое заключение об отпуске сумм на производство окончательных изысканий и к приступу к окончательному же сооружению выясненной головной части, что предreshало, разумеется, постройку всей дороги.

Государь, всегда принимавший особенный интерес во всем, что касалось Сибирской железной дороги<sup>81</sup>, и считавший вопрос как бы своим личным делом с тех пор, как, будучи Наследником престола, он произвел закладку последнего участка дороги, выходявшего к Владивостоку, не раз говорил об этом деле и со Столыпиным и со мной. Он всегда горячо отстаивал необходимость постройки сплошной железнодорожной линии, идущей по русской земле, постоянно повторяя, что он уверен в том, что Китай воспользуется первой возможностью, чтобы выкупить дорогу, и мы останемся тогда в полной разобщенности нашей дальневосточной окраины от центра государства. И когда я заявил ему, что я совершенно разделяю эту точку зрения и никогда не возражал Министерству путей сообщения в его настояниях по этому предмету и хотел бы только, чтобы постройка была начата после тщательно составленного плана и производства самых подробных изысканий, чтобы избежать таких ошибок, какие оказались с выбором головного участка, то он сказал мне, что это его совершенно успокаивает, и прибавил, что ему уже известно, что между мной и министром путей сообщения нет никакого спора.

Как только исправленный Думой законопроект дошел до Государственного Совета, ко мне заехал гр[аф] Витте и спросил меня, сочувствую ли я этому делу и буду ли отстаивать его при рассмотрении в Государственном Совете. Я выяснил ему мою точку зрения с полной откровенностью, не зная совершенно того, как смотрит он на дело. Витте ушел от меня очень скоро, сказавши, что он думает даже, что вопрос о постройке Амурской дороги может вызвать дипломатический конфликт, и крайне удивлен, что против него не возражает министр иностранных дел, так как ему в точности известно, что японский посланник барон Мотоно крайне озабочен этим вопросом и не скрывает своего отрицательного отношения.

Не подозревая вовсе, что гр[аф] Витте займет в этом деле непримиримую позицию, я рассказал ему, что с 1906 года я поддерживаю очень близкие отношения с японским послом и еще недавно имел с ним беседу по этому вопросу, так как бар[он] Мотоно очень часто посещает меня и откровенно, насколько это доступно японцу, расспрашивает меня о самых разнообразных делах, относящихся до Дальнего Востока, всегда говоря, что считает меня по ним гораздо более осведомленным, нежели министр иностранных дел.

В частности, о нашем решении приступить к постройке Амурской дороги, он выразился даже, что эта мера должна была быть нами давно осуществлена, и он даже не понимает, почему мы не приступили к ней тотчас после Портсмутского мира, так как у Японии осталось впечатление, что сам гр[аф] Витте предусматривал необходимость этой постройки. На это последнее замечание он промолчал и более к этому вопросу не возвращался до самого дня рассмотрения этого дела в Финансовой комиссии Совета.

Я хорошо помню подробности этого заседания. В ту пору новая пристройка к зданию Мариинского дворца для зала общих собраний не была еще окончена, и Финансовая комиссия собралась в зале Комитета министров. Кроме членов Государственного Совета, входящих в состав Комиссии, собралось множество других членов, не имевших права участвовать в прениях. Без преувеличения можно сказать, что почти две трети всего состава Совета заполнили залу, и прения носили довольно беспорядочный характер.

Как только председатель М.Д. Дмитриев огласил предмет обсуждения, гр[аф] Витте попросил слова и, по свойственной ему привычке, сначала вяло и нескладно, а потом, постепенно повышая тон, стал самым резким образом возражать против проекта, находя его не только неразработанным, но и совершенно ненужным, непосильным для казны и способным отвлечь внимание России от других, более нужных железнодорожных сооружений и различных насущных задач, каковы – усиление нашей армии после разгрома ее в Манчжурии, и даже чрезвычайно опасным для

нас, потому что Китай и Япония неизбежно увидят в этом предприятии новую угрозу их положению.

Постепенно разгораясь, он обратился в мою сторону с прямым вызовом и притом в самой резкой форме, говоря, что теперь стало гораздо труднее защищать интересы казны, когда и министр финансов вместо того, чтобы возражать против явно непосильных для государства расходов, разрешаемых с небывалой легкостью, без всякой проверки каких бы то ни было расчетов, идет навстречу случайному настроению Государственной Думы, вместо того, чтобы восстать всей силой своего авторитета против совершенно ненужных трат. Для смягчения своего резкого выступления он оговорился, что ему неизвестно, конечно, пытался ли министр финансов бороться, хотя бы в Совете министров, и что он готов даже допустить, что он это сделал, но тем больше ответственности лежит на всем правительстве, что он заставляет его идти навстречу таких экспериментов и не имеет достаточно силы бороться с народным представительством, которое необходимо воспитывать в духе бережливости, а этого у нас не делается, и результаты такой политики могут быть только губительные. Он перешел затем к критике самого проекта по существу и тут наговорил массу всевозможных соображений самого неожиданного свойства, доказывавших, прежде всего, что он просто не вчитался в законопроект, совсем не ознакомился с докладом Государственной Думы, и этим только облегчил задачу правительства по защите проекта.

Во время длинной речи гр[афа] Витте ко мне подошел председатель Государственного Совета Акимов, вообще недолюбливавший его, и попросил меня ответить на все нападки, так как министр путей сообщения "вообще крайне слаб в полемике". Успокоивши Акимова, что я, разумеется, отвечу за все, так как я не только не был принужден Советом министров подчиниться его желанию, но убежденно считаю необходимым скорейшее осуществление Амурской дороги и даже уверен, что большинство Финансовой комиссии не пойдет за гр[афом] Витте, в чем я убедился из частной беседы со многими влиятельными членами комиссии не только из центра, но даже и из правой группы, имевшей даже численный перевес в ее составе.

Так оно и вышло. Из членов комиссии присоединились к гр[афу] Витте открыто и высказали свои соображения, но чрезвычайно слабые по содержанию, только Романов, Пихно Никольский, а в голосовании еще прибавилось 7 голосов (я не могу теперь назвать их поименно), и того, всего 10 человек, тогда как большинство 20 голосов целиком разделило думский проект. В общем собрании произошло полное повторение того же. Подавляющим большинством голосов заключение комиссии было принято. Гр[аф] Витте пытался было снова говорить, но был гораздо более сдержан, нежели в комиссии, в которой он даже не имел права участвовать, и только повторил сущность своих возражений, удаливши из

них все то, что было им приведено тогда неправильно и односторонне. Он прибавил при этом, что говорит только для успокоения своей совести, дабы остался след того, что он предостерегал от величайшей ошибки, но его не послушали и встали на ложный путь, потому что для него совершенно очевидно, что при согласии правительства с Государственной Думой и при проявленном отношении большинства Финансовой комиссии и Государственного Совета судьба законопроекта предрешена.

Я не припоминаю теперь, каково было голосование в Совете, но думаю, что к 10 голосам в комиссии прибавилось очень немного.

Это была моя первая встреча с гр[афом] Витте в Государственном Совете в период Думы третьего созыва, и на долгий срок наступило перемирие, которое и тянулось почти сплошь до конца 1912 года, когда наши отношения стали принимать снова неприятный оттенок, чтобы перейти затем с осени 1913 года в явно враждебную, с его стороны, форму.

К концу июня вся законодательная работа замерла. Обе палаты разошлись на летний вакант, и я мог до второй половины июля заняться текущей работой и подготовкой бюджета на 1909 год.

Мои товарищи по Совету министров, и в особенности Столыпин, видели, что я был совершенно издерган; никто не мешал мне подумать об отдыхе. Как и в прошлом году у меня возобновились признаки нервной экземы, и я стал собираться снова в Гамбург, который год тому назад принес мне величайшую пользу.

Государь настойчиво советовал мне это сделать и не раз на докладах говорил мне, что он просто не понимает, как я могу выносить всю эту напряженную работу без всякой передышки. Мои товарищи по Совету министров обещали мне облегчить мой труд по сведению росписи, тем более что находили возможным не слишком увеличивать их требования против только что утвержденной росписи, а я поспешил наметить с моими сотрудниками главные вехи новой росписи и в конце июля выехал в Гамбург один, условившись с женой, что в августе она приедет ко мне туда; чтобы вместе поехать в Париж для нашей общей экипировки на зиму.

Три недели, проведенные в этом году в Гамбурге, были самым приятным для меня отдыхом. Рядом в Наугейме лечился мой брат Засилий Николаевич, с которым мы виделись почти ежедневно. В самом Гамбурге я нашел всю семью барона А.Ю. Икскуль-фон-Гильденбанда, А.Д. Зиновьева и целый ряд знакомых, менее близких мне. Потом туда же приехала княгиня Кантакузина, с которой мы завтракали и ужинали в одном и том же ресторане. Я нанял во Франкфурте на все три недели автомобиль, в котором много ездил по окрестностям, и с этой поры я особенно сблизился с семьей Икскуль и им самим, и наши отношения не прерывались до самой его кончины уже в период революции, в августе 1918 года, когда и над моей головой нависла большевистская гроза, вынудившая нас с женой покинуть навсегда родину в начале ноября того же года.

За эту пору беззаботного моего отдыха в Гамбурге мне пришлось принять приехавшего ко мне председателя правления Парижско-нидерландского банка Нетцлина, с которым мы тут же довольно легко уговорились о главных основаниях заключения в начале 1909 года консолидированного русского займа для погашения выпущенного во время Русско-Японской войны, в марте 1904 года, краткосрочного займа в форме пятилетних обязательств государственного казначейства<sup>82</sup>. Дальше я привожу в своем месте некоторые подробности этого дела.

Среди этих благоприятных условий моего гамбургского отдыха мне пришлось испытать и одно тяжелое впечатление.

Еще перед отъездом моим в отпуск я обещал вдове моего покойного друга и лицейского товарища Э.Д. Плеске навестить неподалеку от Гамбурга, в санатории Вэра—Вальд, на границе Баденского герцогства и Швейцарии, ее больную дочь, заболевшую чахоткой еще четыре года тому назад, когда умирал в страшных мучениях ее отец (об этом я говорил выше), уходу за которым она беззаветно отдала всю свою молодую жизнь. Эту прекрасную девушку, почти погодку моей дочери, я любил самым нежным образом и никогда не скрывал того, что я был привязан к ней. Она безнадежно угасала после кончины ее отца в апреле 1904 года, и все попытки спасти ее оставались бесполезными. Ее отправили вместе с ее крестной матерью и теткой А.И. Кабат, бывшею для нее собственно второй матерью, в санаторию около Сант—Блазиена. Врачи подавали полную надежду на исцеление, ссылаясь на ее возраст — ей было 27 лет — и на всевозможные анализы, предварительно высланные местному врачу. Мне суждено было испытать в этой санатории одно из самых тягостных впечатлений, которые только мне привелось пережить до того времени.

Приехал я в санаторию рано утром, нарочно переночевавши в Фрейбурге, и, не заходя ни к больной, ни к А.И. Кабат, направился прямо к доктору, которого предварил о моем приезде по телеграфу. От него я получил сравнительно очень благоприятные сведения: температура держалась на одном, сравнительно невысоком уровне, вес не убавлялся, кашля почти не было, аппетит был недурной, и общий вывод врача сводился к тому, что он рассчитывал на полное выздоровление, если только удастся убедить больную провести всю зиму и весну в санатории. Доктор выразил даже полное удовольствие моему приезду, надеясь на то, что это изменит настроение больной, которым доктор, как он не скрывал, был очень недоволен.

Я не обратил внимания на его последние слова, зная хорошо трудный и самостоятельный характер моей бедной Нинуши, всегда замкнуто переживавшей свои думы и не делившейся ими с самыми близкими ей людьми. Да их и не было у нее. Мало кто из нас знал ее. Какая-то особая тайна лежала над ней. Всегда молчаливая, никогда не участвовавшая

ни в одном веселом разговоре, нелюбившая ни света, ни выездов и всегда болезненно относившаяся ко всякому проявлению внимания к ней, она после болезни и кончины отца еще более, если только это было возможно, ушла в себя и отошла от всех, кто окружал их всегда полный людей, гостеприимный дом. Как часто бывало, я приходил к ней, в ее комнату, всегда я заставлял ее одинокой за чтением или за работой, и никогда мои самые нежные и участливые попытки подойти к ней поближе, вызвать на откровенность, показать ей ласку, привязанность и желание узнать причины ее неподдельной грусти не приводили ни к чему. Только как-то раз, засидевшись у нее долее обыкновенного, когда я стал говорить ей о том, как нежно я люблю ее и как хотелось бы мне, чтобы она допустила меня в ее думы и попробовала разобраться со мной в их сложном калейдоскопе, — она взяла меня за руку и сказала мне: "Мне еще папа всегда говорил, что Вы меня нежно любите и что я могу всегда сказать Вам все, что тяготит меня, и поверить все, что глубоко тревожит меня, да я и сама это вижу и понимаю, но мне нечего сказать Вам, да я и отцу моему почти ничего не говорила, а теперь у меня нет больше смысла жизни, и я хочу только одного — скорее уйти из жизни, настолько она пуста и безразлична мне. Мне кажется, что я и сама никого более не люблю".

Что творилось в душе этой прекрасной во всех отношениях девушки, — кто может сказать! Одно несомненно, что в ней таилось глубочайшее разочарование, которое наложило особую складку на все ее существование и бесспорно ускорило роковую развязку.

Прямо от доктора я прошел к А.И. Кабат, и тут разом встала передо мной вся драматическая картина, которая только подтвердила все, что давно казалось мне неизбежным. Анастасия Ильинична сказала мне просто: "Доктор ничего не видит, ничего не понимает, а мне ясно, как станет ясно и Вам сейчас, что Нина просто умирает или даже больше — сознательно убивает себя".

Оказалось, что между больной и ее, еще так недавно, любимой теткой, установилась прямая вражда. Живя в двух смежных комнатах, они не видятся и не разговаривают. Все сношения идут через сестру милосердия, и Нина находится в таком настроении, что малейшее замечание, всякий распрос приводят ее в величайшее раздражение и могут, при всяком настоянии, довести ее до всевозможных эксцессов. Был недавно случай, что услышавши в комнате больной шорох, ее тетя вошла незаметно и нашла ее вышедшей на балкон в одном белье с очевидной целью ухудшить свое состояние. Перед тем утром, ссылаясь на головную боль, она попросила мешок со льдом, но лишь только сиделка, положивши его на голову, вышла из комнаты, она переместила его себе на грудь, и к вечеру пароксизм температуры поставил доктора в полное недоумение, пока А[настасия] И[льинична] не высказала ему своей догадки. Все мои попытки сблизить больную с ее теткой, показать ей, как любит она ее и как



страдает от установившихся тяжелых отношений, не привели решительно ни к чему. На все мои доводы она долго молчала, а затем, взявши мою руку и глядя на меня глазами, полными слез, сказала мне только: "В[ладимир] Н[иколаевич], ведь я знаю, что Вы меня любите, потому что с первых лет моей жизни я всегда видела Вас около себя, и Ваша ласка ко мне известна была всем у нас в доме. Сделайте мне величайшее одолжение, я никогда Вас ни о чем не просила, и Вы не откажете мне, — устройте так, чтобы тетя уехала. Она мне ни в чем помочь не может, а знать, что она живет из-за меня и мучается здесь, — мне просто невыносимо".

Все мои уговоры ни к чему не привели. Я видел, что дальнейшие разговоры на эту тему бесполезны, и я обещал только сделать так, чтобы ее мать приехала к ней, и тогда тетя может заменить ее дома.

"Только не это!" — почти закричала она. "Я не хочу, чтобы мама видела меня такой, ведь мне осталось недолго жить, и я с радостью думаю только о том, как я перестану страдать. Неужели же маме мало всего, что она уже вынесла!"

После новой беседы с Анастасией Ильиничной я опять пришел к Нине. Она дремала, открыла глаза, долго посмотрела на меня, и когда я подошел, обнял ее и приласкал, она без всякого раздражения сказала мне: "Ну теперь Вам пора ехать, а мне хочется спать; я рада, что видела Вас и хочу Вам сказать только, что я буду теперь думать о Вас, а сейчас я вспомнила, как я маленькой девочкой сидела у Вас на плече. Вы не говорите только маме, что у нас нехорошо с тетей Настей. Пусть никто об этом не знает, а то всем будет еще тяжелее. Крепко поцелуйте от меня особенно мою милую Аню (ее младшую сестру)".

На этом мы расстались, и больше мне не привелось уже ее видеть. Несколько времени спустя, в начале осени она скончалась тихо, с улыбкой на лице Анастасия Ильинична рассказывала мне потом, что утром она позвала ее через сиделку, и когда она пришла, а сиделка вышла из комнаты, она подозвала ее близко к себе и сказала ей, казалось, окрепшим голосом: "Тетя, милая, мне сейчас так хорошо, что я желаю только одного, чтобы ты не сердилась на меня; я так мучила тебя и сама не знаю, за что и почему. Ведь я тебя всегда любила, и этого больше не будет, не вызывая сюда маму, мы с тобой будем хорошо жить".

Через короткий промежуток времени она перестала кашлять, затихла и, когда А[настасия] И[льинична] встала с кресла и подошла к кровати, она была уже в иной жизни.

Не знаю, почему, записывая мои воспоминания этой поры почти 23 года спустя, я остановился так подробно на этом моменте моей жизни. Как живая встает Нинуша Плеске передо мной, а с ней проходит верницей длинный ряд светлых воспоминаний о моем далеком прошлом, связанном с ее семьей. Оно тянется еще с лицейских лет, с первой встречи с семьей Сафоновых и Плеске в приемном зале Лицея, и обрыва-

ется оно на нашем отъезде с женой из Кисловодска 16 мая 1918 года. Теперь от всей этой семьи остались в живых только две старушки, Марья Ильинична Плеске и ее сестра Анастасия Ильинична Кабат,\* — коротающие их [свой] век в том же Кисловодске в самой унижительной нищенской обстановке. Они похоронили всех, кто был молод и счастлив вместе со мной и о ком я храню навсегда благодарную память, как о людях, которые дали мне столько ласки с первого дня моей одинокой молодости и с такой любовью делили все мои жизненные успехи. Мне не хочется писать о длинном синодике, связанном с этой прекрасной семьей, а хочется только помянуть словом сердечной признательности всех, кто меня любил, как родного, и кто скрасил многие годы моей жизни. Вечная им всем память!

### ГЛАВА III

*Возвращение в Петербург. — А.П. Извольский и присоединение Австрией Боснии и Герцеговины. — Впечатление, произведенное этим событием на Государя и на Совет министров. — Инциденты, вызванные принятием Думой при вотировании кредита на Морской генеральный штаб самого проекта учреждения штаба. — Спокойная и дружная работа Бюджетной комиссии. Заключение во Франции 4 1/2% консолидационного займа. — Думские прения по бюджету на 1909 год. Доклад Алексеенко, обвинительная речь Шингарева и мой ответ ему. Неудача непрекращавшихся враждебных выпадов оппозиции. — Инцидент по вопросу о направлении дел о частном железнодорожном строительстве*

\*

Я вернулся из заграничной моей поездки к 1 сентября, и с первых же дней закипела обычная работа, значительно подвинувшаяся за время моего отсутствия.

Мои коллеги по Совету министров сдержали данное ими обещание. Я застал сравнительно мирное настроение в смысле обычных сметных трений. Разногласий между министерствами было сравнительно не так много, и все предвещало нормальное течение дел в Совете по сметным вопросам.

Столыпина я застал в очень ровном настроении, и все предвещало довольно благополучное вступление в пору обычных осенних занятий. Но такое благополучие продолжалось недолго.

Прошло всего не более двух недель, как после чуть ли не первого заседания Совета министров со времени моего возвращения П.А. Столы-

---

\*За время, что мои Воспоминания приготавлились к печати, не стало и А.И. Кабат, и осталась в живых одинокая, пережившая всех своих детей и всю свою семью М.И. Плеске.

пин попросил меня не уезжать, и когда все разошлись, он показал мне переданную ему Главным управлением по делам печати вырезку из венских газет, сообщавшую в виде слуха, что во время пребывания в имении гр[афа] Бертольда австрийского посла в Петербурге – австрийского министра иностранных дел Эренталя и нашего министра иностранных дел А.П. Извольского состоялось принципиальное соглашение относительно окончательного присоединения (аннексии) к Австро-Венгерской Империи двух бывших Турецких областей – Боснии и Герцеговины<sup>63</sup>, переданных по Берлинскому трактату 1878 года во временное управление монархии<sup>64</sup>. Окончательная судьба этих провинций Берлинским трактатом 1878 г. не только не была предreshена, но даже в договоре не содержалось об этом никаких намеков. Было очевидно, что судьба их не могла быть решена иначе, как в таком же порядке общеевропейского соглашения, каким представлялся и сам Берлинский трактат.

Столыпин сказал мне при этом, что он спросил уже сегодня утром товарища министра иностранных дел Чарыкова, управляющего за отъездом Извольского в отпуск этим Министерством, что ему известно по этому поводу, и тот отозвался, что Извольский не оставил ему никаких указаний перед своим отъездом, ничего не писал с дороги и никаких сообщений о своем пребывании в Бухлау ему не присылал, но, несомненно, был в этом имении и провел там довольно долгое время.

Чарыков прибавил, что вообще в министерстве никакой подготовки по этому вопросу перед выездом Извольского из Петербурга делается не было, как не было представляемо Государю никаких записок или мемуарий, которые обычно составляются всегда, когда министр имеет в виду доложить Государю какой-либо принципиальный вопрос, а тем более испросить определенных его указаний. Под конец своего ответа, по словам Столыпина, Чарыков как бы вскользь сказал ему, что вероятно газетная заметка повторяет какой-либо слух, заимствованный из прежнего времени и неоднократных разговоров Извольского с Эренталем еще в бытность последнего послом в Петербурге на излюбленную комбинацию Извольского о желательности соединить наше согласие на аннексию Австрией Боснии и Герцеговины, – от чего нам все равно рано или поздно не уйти, да мы в этом, по его мнению, и мало заинтересованы, – с получением согласия Австрии на принципиальную поддержку нас в давнем предположении Извольского добиться этим дешевым для нас путем открытия для нас проливов, на что он очень надеется, если мы заручимся согласием Австрии и этим путем нейтрализуем отношение Германии.

Я ответил Столыпину также полным моим неведением, удостоверив его, что Извольский никогда ни по одному европейскому вопросу не советовался со мной и даже нередко на мои к нему обращения всегда отговаривался, что он имеет указания Государя вообще не вводить Совет министров в дела дипломатического ведомства, так как они находятся

исключительно в руках самого Государя и его как докладчика Государя по всем вопросам нашей внешней политики. Исключение из этого правила допускалось им только для дел, касающихся Китая, Японии и Персии, по которым еще со времен графа Витте и гр[афа] Ламсдорфа установилось, что все существенные вопросы проходят при постоянном участии министра финансов в силу того, что Китайская восточная железная дорога находится в его ведении, в Персии имеет огромное значение Учетно-ссудный банк, а в отношении Японии Извольский часто в шутку говорил, что он был бы рад вообще передать мне весь японский отдел его министерства.

Мы разошлись после этого разговора на том, что Столыпин обещал мне на ближайшем его всеподданнейшем докладе у Государя, собиравшегося уехать в Крым, узнать, был ли затронут этот вопрос при отъезде Извольского в отпуск.

Столыпин не сказал мне, что он получил извещение, подтверждающее венское сообщение и из нашего "Нового Времени", с которым он поддерживал близкие отношения через своего брата А.А. Столыпина, как не сказал мне и о том, что ему стоило большого труда уговорить газету не писать еще ничего по этому поводу и не поднимать кампании против Извольского, по крайней мере, пока ему не удастся узнать отношения Государя к этому инциденту.

Наутро Чарыков пришел ко мне, как к своему лицейскому товарищу, и сказал, что его положение чрезвычайно щекотливое, так как он не знает в точности, где находится сейчас Извольский, несомненно, выехавший уже из Бухлау, но что он думает, что слух этот совершенно справедлив, и неприятность его не столько прискорбна для нас по существу, сколько по совершенной ненадобности именно нам облегчать положение Австрии, несомненно давно решившейся аннексировать эти провинции, но не нам же, естественным покровителям славянских народностей, протягивать руку Габсбургскому Дому в достижении его мечтаний, которые, во всяком случае, будут восприняты болезненно славянским миром, и на нашу голову посыплются обвинения в какой-то закулисной интриге, совершенно ненужной для нас. Сам он, кроме того, еще и твердо убежден и в том, что этим шагом мы не приближаемся ни на йоту к разрешению вопроса о проливах. Извольский, по его словам, постоянно возвращается к его излюбленной комбинации и верит в то, что он проведет Эренталья и сделает великое русское дело, не поступаясь никакими нашими интересами, так как никто не верит в то, что когда-либо Берлинский договор будет пересмотрен и вопрос о Боснии и Герцеговине получит иное решение, нежели то временное, которое было принято в 1878 году.

Он прибавил, что Суворин рвет и мечет по поводу самовольства Австрии и не хочет допускать и мысли о том, что мы сыграли тут такую странную роль без всякой в том надобности, а когда станет ясно, что Из-

вольский попался на эренталевскую удочку, то он не сомневается, что положение нашего министра иностранных дел будет весьма незавидное и в глазах всей Европы. Уходя от меня, Чарыков сказал мне вскользь, что он считает свое положение невыносимым и очень надеется на то, что ему скоро удастся покинуть свой незавидный пост, так как Извольский докладывал уже Государю о его просьбе назначить его на место посла в Константинополе, вакансия которого должна очень скоро освободиться. Так оно и случилось.

Несколько времени спустя Извольский очень искусно убил одним выстрелом двух зайцев: исполнил желание своего однокурсника по Лицею, Чарыкова, и доставил большое удовольствие Столыпину, предложивши его другу и шурина Сазонову, давно уже тяготившемуся своим бездействием на посту русского посланника при папском престоле, должность товарища министра иностранных дел, которую он принял с большим восторгом.

Два года спустя этот шахматный ход очень помог самому Извольскому получить место российского посла в Париже, чего он давно добивался и, наконец, успел в своих мечтаниях, найдя поддержку в Столыпине, но предварительно подготовив почву к тому, чтобы преемником его на министерском кресле был ни кто иной, как тот же Сазонов.

Два дня спустя П.А. Столыпин снова позвал меня к себе и сказал, что он имел длинный разговор с Государем и узнал от него, что никаких полномочий он Извольскому не давал, да тот их и не спрашивал. По существу же дела у Столыпина осталось совершенно определенное впечатление, что Государь глубоко возмущен этим инцидентом и прямо сказал Столыпину, что ему просто не хочется верить, чтобы Извольский мог сыграть такую недопустимую роль, которой он поставил и себя и Государя в совершенно безвыходное положение, так как если даже оправдается версия, что он обусловил наше согласие содействием нам Австрии в разрешении в нашу пользу вопроса о проливах, то все же мы останемся в самом невыгодном для нас положении: всякий просто скажет, что мы помогли Австрии вытащить каштаны из печки без всякой для нас пользы, так как для всех ясно, что никакой реальной помощи мы от Австрии не получим, да и не от нее зависит разрешение такого "мирового вопроса". Столыпин сказал мне, что Государь два раза отметил, что ему в особенности *противно*, что всякий скажет, что русский министр получил от своего Государя полномочие без всякой надобности обещать нашу помощь Австрии в присоединении Боснии и Герцеговины, когда это дело всех подписавших Берлинский трактат, и мы должны быть последними, кто мог бы брать на себя какое-либо решающее участие в таком деле. У Столыпина осталось убеждение, что дело не кончится просто и что единственное достойное для нас решение было бы — уволить Извольского от должности министра и открыто заявить, что он дей-

ствовал без всяких полномочий своего правительства и что весь вопрос должен быть возвращен на его естественную дорогу — предложения Австрии обратиться к державам, подписавшим трактат.

Эта мысль, видимо, успокоила Столыпина, и все мы с нетерпением ждали, чем разрешится дело с возвращением Извольского.

Со мной Государь не затрагивал этого вопроса. Вскоре он уехал в Крым. В конце месяца был опубликован Австрией акт о присоединении ею Боснии и Герцеговины. Извольский вернулся в самые последних числах сентября и лично со мной никаких разговоров не вел. В чем заключалась суть его беседы со Столыпиным и даже происходил ли между ними личный обмен взглядов, я не знаю, но думаю, что никаких бесед с Извольским Столыпин не вел, по крайней мере в первом же заседании Совета министров при участии Извольского. Столыпин, окончивши все текущие дела и удаливши чинов канцелярии, обратился к Извольскому с просьбой рассказать, что именно происходило в Бухлау во время свидания его с графом Эренталем и насколько справедливы распространившиеся слухи о том, что он выразил от имени русского правительства согласие на присоединение Австрией двух славянских провинций без согласия на то всех держав, подписавших Берлинский договор.

Извольский заявил категорически, что он имеет совершенно определенные указания Его Величества не обсуждать в Совете вопросов внешней политики и не имеет поэтому возможности дать какие-либо разъяснения без получения на то особого соизволения Государя как Верховного и исключительного руководителя всей нашей внешней политики.

Столыпин покраснел, замолчал, и мы все разошлись в большом смущении, ясно видя, что Извольский попал в самое невыгодное положение и не желает только раскрывать его перед нами всеми. В откровенной нашей беседе потом мы говорили, что Извольский должен уйти, и ждали только, когда именно и в какой обстановке это произойдет.

На самом деле это случилось гораздо позже, более года спустя и вовсе не в порядке возмездия за недопустимый шаг, предпринятый им без ведома и разрешения Государя, а только в порядке осуществления Извольским своей давнишней мечты — попасть послом в Париж на место достойнейшего А.И. Нелидова, для чего он воспользовался его нездоровьем и случайным его заявлением о том, что он устал и затруднен поддерживать свое положение после кончины жены. Серьезно об увольнении он не думал и был даже озадачен, когда Извольский сообщил ему о назначении его членом Государственного Совета.

На этом и окончился весь этот печальный эпизод, из которого Извольский сумел выйти без всякого для себя ущерба, кроме морального урона, так как истина, конечно, стала общеизвестным фактом и для всех было очевидно, что за гостеприимными беседами в Бухлау Извольский разыграл эпизод из басни Крылова — Ворона и лисица.

Несколько времени спустя после описанных событий, в самом начале осенней сессии Государственной Думы 1908 года, и притом совершенно неожиданно для меня, произошел инцидент, к которому все правительство отнеслось сначала совершенно спокойно и даже безразлично, не предполагая, что из него может возникнуть какое бы то ни было осложнение. Случилось, однако, на самом деле, что через несколько месяцев в сущности небольшой вопрос, скорее процессуального порядка, к тому же возникший по недоумению второстепенных представителей правительственной власти, мог разгореться до значительных размеров и создать повод к далеко не второстепенному осложнению.

В середине 1908 года на должность морского министра был назначен адмирал И.К. Григорович, занимавший перед тем некоторое время должность товарища морского министра.

Между ним и мной существовали самые добрые отношения. Ни по одному из крупных вопросов восстановления нашего флота после его разгрома в 1905 году у нас никогда не возникало никаких недоразумений. Он не требовал лишних ассигнований и каждый раз подкреплял свои требования самыми солидными данными. Во всех предварительных совещаниях при участии чинов Министерства финансов и Государственного контроля все дела проходили без всяких споров и осложнений; возникавшие разногласия почти ни разу не облекались в форму несогласных мнений, требовавших решения Совета министров, а подвергались частному пересмотру между нами, и я положительно не помню ни одного случая, чтобы Совету приходилось играть всегда неприятную роль арбитра между спорящими ведомствами. Здесь была прямая противоположность тому, что происходило по Военному ведомству, по которому не было ни одного заседания, чтобы не приходилось разрешать самые неприятные несогласия, всегда облекаемые военным министром в самую обостренную форму, в особенности когда защита интересов ведомства осуществлялась самим министром, а не его товарищем — генералом Поливановым.

В Государственной Думе положение Морского ведомства было также привилегированное. Адмирал Григорович окружил себя целой плеядой сотрудников, преимущественно из числа молодых офицеров, — в числе их был и капитан 1-го ранга Колчак, — которые быстро завоевали себе и ведомству исключительно благоприятное положение в Думе отличной разработкой всех вносимых в Думу вопросов, умелой защитой их перед думской комиссией и проявленной ими быстрой приспособленностью к настроениям Думы и наиболее видных представителей ее в Комиссии государственной обороны. Все дела Морского ведомства проходили необычайно гладко.

В числе представлений, внесенных этим ведомством в конце 1908 года, был, между прочим, вопрос небольшого объема, но особенно интересовавший Государя, — о кредите на содержание вновь намеченного к образованию Морского генерального штаба.

В Совете министров проект этот прошел без всяких прений, как не вызвавший никаких замечаний со стороны финансовых ведомств и представленный к тому же с точным соблюдением требования 96 ст. основных законов, по которой в законодательном порядке испрашиваются лишь кредиты на содержание вновь образуемых учреждений, самые же учреждения и их устройство отнесены к прерогативам Верховной власти.

Морское министерство так и поступило. Оно просило Государственную Думу согласиться на отпуск сравнительно весьма скромного кредита, кажется в сумме 74 000 рублей, объяснило все проектированное устройство Генерального штаба и в заключительном пункте своего проекта просило только об отпуске из государственного казначейства исчисленного кредита. Оно приложило схему новой организации к своему проекту в виде проекта штатного расписания должностей лишь для сведения Думы.

В Думе проект не вызвал также никаких возражений, но Комиссия обороны, а затем и Бюджетная комиссия, не помещая в своих суждениях никаких соображений, закрепили свое благоприятное отношение утверждением не только размера кредита, но и самого проекта штата Генерального штаба и постановили передать дело в таком виде в Государственный Совет, куда оно и поступило автоматически.

Остановился ли на неправильности этого оттенка морской министр, доложили ли ему его сотрудники о последовавшем неправильном и несогласном со ст. 96 основных законов решении Думы или же они, по неопытности в тонкостях законодательной техники и стремившиеся лишь к тому, чтобы необходимое для ведомства дело получило скорейшее осуществление, — не придали этому оттенку того значения, который он собой представлял, — я этого не знаю. Говорю только совершенно определенно, что в Совете министров никакой речи об этом не было, как несомненно не дошел этот вопрос и до сведения Столыпина, который не скрыл бы его от меня, как не скрывал он никогда всякого рода недоразумений по военным и морским кредитам, так как он отлично знал, какое значение придавал им Государь.

Дошел этот вопрос до сведения Столыпина и Совета министров только уже в начале 1909 года по возобновлении в Государственном Совете занятий после Рождественного перерыва, когда принятый Думой законопроект поступил на рассмотрение Финансовой комиссии Совета. В первом же заседании последней представители правой группы через посредство лидера группы П.Н. Дурново, который в качестве бывшего в его молодые годы морского офицера относился с особым вниманием к делам



Морского ведомства и считал себя специалистом по ним, — заявили, что постановление Государственной Думы незаконно, так как оно нарушает прерогативы Верховной власти, присваивая Думе право утверждения властью законодательной палаты организационной меры по управлению флотом, тогда как в силу статьи 96 это принадлежит исключительно Верховной власти. Правота была, несомненно, с точки зрения закона на стороне сделанного заявления, и возражать против него по существу не было никаких оснований.

Большинство Финансовой комиссии встало, однако, на точку зрения взаимных отношений двух палат, протекавших в эту пору чрезвычайно согласно, и стало искать какого-либо компромисса, который устранил бы конфликт между Советом и Думой. Его оказалось, однако, невозможным найти. Напрасно старался морской министр склонить Думу в порядке частных переговоров пойти на соглашение и видоизменить текст ее постановления, ограничившись лишь ассигнованием кредита. Она отказалась наотрез от всякого компромисса, так как большинство членов в обеих комиссиях — Бюджетной и Государственной обороны отвергло предложенное соглашение, не скрывши того, что оно не сочувствует и самой ст. 96 основных законов, как стесняющей права Государственной Думы. Было очевидно, что и в общем собрании Думы сложится такое же отрицательное большинство.

После длинных и мучительных переговоров, в которых самое деятельное участие принадлежало лично морскому министру, сознававшему, что вина в недосмотре лежит всецело на его ведомстве, комиссия Государственного Совета остановилась на компромиссе иного свойства. По большинству голосов против представителей правой фракции она склонилась к тому, чтобы утвердить заключение Думы, но привести в мотивах мысль о недопустимости в будущем таких нарушений закона, приведя тому подробное основание, и рекомендовало Морскому министерству ближе держаться в своих представлениях текста статьи основных законов.

Столыпин был, без сомнения, на стороне такого решения Финансовой комиссии Совета, хотя в заседании ее не присутствовал. Лично я ни в одном из заседаний комиссии не был и вообще никакого участия в переговорах между Думой и Советом не принимал.

В двух заседаниях Совета министров, в которых этот вопрос рассматривался по предложению Столыпина, все мы были того мнения, что постановление Думы, бесспорно, несогласно с нашими основными законами, но что крайне нежелательно вообще создавать конфликт между двумя палатами, и с этой целью не следует щадить никаких усилий, чтобы найти компромиссное решение уже по одному тому, что всякое столкновение будет только на руку думской оппозиции и осложнит положение в Думе Морского же министерства.

На случай, если бы не удалось достигнуть соглашения, Столыпин заявил, что он предполагает сам выступить в Общем собрании Государственного Совета с целью поддержать заключение Финансовой комиссии и выскажет и от себя о необходимости оберегать неприкосновенность основных законов и придать настоящему делу характер единичного отступления от последних, допустимого исключительно ввиду совершенной неотложности создания нового органа, столь необходимого для организации нашего флота.

По сообщенным им сведениям, сказал он, следует ожидать, что в Общем собрании составитя такое же большинство в пользу этого решения, какое выяснилось уже в заседании Финансовой комиссии. При этом государственный контролер Харитонов выразил мысль о том, что было бы очень важно доложить все это дело и его возможный исход непосредственно Государю и притом до рассмотрения его в Общем собрании Совета, так как едва ли может быть какое-либо сомнение в том, что оно станет известным ему тем или иным путем.

Докладывал ли Столыпин этот вопрос Государю, я не знаю, но в Совете министров об этом не было больше никакой речи до самого рассмотрения его в Общем собрании Государственного Совета. Все описанные осложнения заняли много времени, и только в апреле, уже после Пасхи, этот вопрос дошел до рассмотрения Государственного Совета.

В это время Столыпин заболел довольно тяжелой формой гриппа, и опасались даже воспаления легких.

За два дня до слушания дела он позвал меня к себе и спросил меня, не соглашусь ли я заменить его в заседании Совета, так как врачи решительно не допускают возможности выехать из дома. Он прибавил, что ему это настолько тягостно, что он решил в случае моего отказа, который он совершенно понимает, потому что учитывает все неприятные последствия при каком бы то ни было решении дела, — он нарушит запрет врачей и поедет на заседание. Он лежал еще в постели.

Столыпин показал мне даже краткий черновой набросок того выступления, которое он решил сделать, если бы ему пришлось участвовать в рассмотрении дела.

Я, разумеется, согласился, вовсе не подозревая того, что могло произойти, взял набросок, сделанный рукой Столыпина, и сказал ему только, что ни он, ни морской министр не должны быть в претензии на меня, если дело провалится и Общее собрание постановит иное решение, нежели Государственная Дума, так как в это время было уже в точности известно, что в Согласительной комиссии Дума не отступится от своего решения, и в таком случае весь вопрос провалится и учреждение нового Генерального морского штаба будет отложено на неопределенное время.

На этом мы расстались, и я обещал Столыпину тотчас после голосования заехать к нему и сказать, чем дело закончится.

В Общем собрании Государственного Совета повторилось в точности все то, что происходило в Финансовой комиссии. Морской министр отставил свой проект по существу и открыто заявил, что ему очень при-  
скорбно, что по его ошибке произошло неправильное решение в Государственной Думе, и просил Совет вывести его из трудного положения, не задерживая своим отрицательным отношением, — хотя бы и при допущенной несомненной ошибке, — столь необходимого для нашего флота органа, как намеченный Генеральный штаб.

Его поддержал председатель Финансовой комиссии Дмитриев, также отметивший несогласованность со статьей 96 основных законов.

От имени оппозиции законопроекту произнес очень резкую речь П.Н. Дурново, поддерживая проектированную меру по существу, но, обинуясь, заявивши, что решением Думы нарушаются прерогативы монарха и что ими поступаться мы не имеем никакого права, по каким бы побуждениям ни старались мы разделить неправильное и опасное решение Государственной Думы, принятое несомненно совершенно сознательно. По его заключительному заявлению, становясь на сторону Думы, мы создадим прецедент, от которого мы не освободимся никогда, и, вероятно, весьма скоро пожалеем о нашей недопустимой уступчивости.

В моем выступлении я прямо оговорился, что делаю это исключительно ввиду болезни председателя Совета министров, которому одному принадлежит право говорить от имени правительства. Я воспользовался частью его наброска и прибавил от себя очень немного, подтверждая точку зрения Финансовой комиссии, и остановился на отражении главного аргумента Дурново — создания опасного прецедента, доказывая, что в делах законодательства не может быть прецедента там, где есть сознаваемое всеми отступление от одной из статей основных законов и еще более категорическое заявление самого ведомства, допустившего невольную ошибку, о том, что оно воздержится от повторения ее в будущем.

За исключением резкого тона речи Дурново, все заседание носило скорее вялый характер, потому что все сознавали, что нового ничего сказать нельзя, и все желали одного — скорее положить голосованием конец слишком затянувшемуся кризису.

Результат голосования превзошел все ожидания. Против законопроекта голосовали одни правые, да и то не все и лишь небольшая часть так называемых нейдгардцев, большинство же в пользу принятия думской редакции оказалось весьма внушительным.

Законопроект, как прошедший все теснины, был немедленно представлен Государю, и все с нетерпением ждали его возвращения. Долго он, однако, не возвращался, и председатель Государственного Совета Акимов даже осведомлялся о его судьбе. Государь дал ему уклончивый ответ.

Столыпин начал поправляться и после первого выезда поехал в Цар-

ское Село, предупредив меня по телефону, что тотчас по возвращении скажет мне о результате его свидания с Государем, так как и его тяготила эта неизвестность.

Довольно поздно в тот же день он сказал мне по телефону же, что очень устал от поездки, что Государь был с ним исключительно милостив, но на вопрос его о судьбе дела о Морском генеральном штабе сказал ему, что он не принял еще окончательного решения и отложил его до свидания с ним, потому что это дело его очень беспокоит и он все еще не знает, на чем остановиться.

Столыпин передал мне, что разговор продолжался более получаса, и он снова развил Государю свою точку зрения, вполне совпадающую с мнением большинства Государственного Совета, и старался рассеять опасения относительно прецедента и покушения на ограничение прерогатив монарха. По словам Столыпина, Государь сказал ему, что он читал всю мою речь, нашел ее весьма умеренной и даже построенной очень искусно и прибавил только, что "все же ст. 96 нарушена, хотя, разумеется, не следует преувеличивать опасности такого нарушения".

У Столыпина сложилось убеждение, что Государь подумает еще некоторое время и кончит тем, что утвердит законопроект, тем более что последнее его слово было: "Эту Государственную Думу нельзя упрекать в попытке захватить власть, и с ней ссориться нет никакой надобности".

Прошло еще несколько дней. Под вечер 25 апреля Столыпин позвонил ко мне по телефону и спросил, не могу ли я вечером приехать к нему.

Когда мы остались одни в его кабинете, он протянул мне собственноручное письмо от Государя, помеченное: Царское Село, 25 апреля 1909. Вот его копия, которую я тут же снял с разрешения Столыпина, и она сохранилась у меня в том виде, как я списал ее в этот вечер.

Петр Аркадьевич.

После моего последнего разговора с Вами я постоянно думал о вопросе о штатах Морск. Генер. Штаба.

Ныне, взвесив все, я решился окончательно представленный мне законопроект не утверждать. Потребный расход на штаты отнести на 10-ти мил. кредит.

О доверии или недоверии речи быть не может. Такова моя воля.

Помните, что мы живем в России, а не за границей или в Финляндии (Сенат), и потому я не допускаю и мысли о чьей-либо отставке\*. Конечно, и в Петербурге и в Москве об этом будут говорить, но истерические крики скоро улягутся. Поручаю Вам выработать с военным и морским министрами в месячный срок необходимые правила, которые установи-

---

\*Подчеркнуто в подлиннике.

ли бы точно неясность современного рассмотрения военных и морских законопроектов.

Предупреждаю, что я категорически отвергаю вперед Вашу или кого-либо другого просьбу об увольнении от должности.

Уважающий Вас Николай.

Когда я прочитал это письмо, я спросил Столыпина, заходила ли при последнем свидании его с Государем речь об его отставке и вообще можно ли было заключить, что этот вопрос был затронут хотя бы в самой отдаленной форме.

Я получил категорический ответ, что весь обмен взглядов происходил в направлении, ничего общего не имевшем с отставкой не только его самого, но кого-либо другого, например морского министра, не говоря уже обо мне, так как Государь отлично знал, что только его болезнь вызвала мое появление в Государственном Совете, да и сам он не раз выразился, что я снова выручил его из трудного положения, вызванного его болезнью. Он не может, сказал Столыпин, отвергать, что при докладе своем морской министр Григорович мог не сказать, что его вина в этом деле несомненна, и, как человек прямой и не боящийся ответственности, он вероятно сказал Государю, что готов просить его об увольнении его от службы, так как несомненно на нем лежит ответственность за это дело.

По крайней мере, в беседе с ним, Столыпиным, Григорович не раз заводил об этом речь, и каждый раз Столыпин уговаривал его и не думать об этом. По отношению к себе самому он думает, что Государь мог понять, что Столыпин связывает свою судьбу с этим делом, хотя он и не заикался о своей отставке, — только из той фразы, которую он сказал в разговоре, когда упомянул, что положение правительства в этом вопросе очень щекотливое, потому что, несомненно, представление морским министром проекта штата в Думу было ошибкой, а с утверждением расхода по представленному штату обеими палатами и неутверждением законопроекта Государем ответственность перелagается на особу Государя, чего вообще нельзя допускать и следует переложить ответственность на правительство.

Но это был простой обмен мнений, который вовсе не имел характера просьбы кем-либо о своей отставке, и ему просто непонятно, что именно вызвало написанное ему письмо. Он прибавил: "После такого письма мне, конечно, следовало бы подать просьбу об отставке, но я этого не сделаю, потому что не хочу огорчать Государя из-за минутного его раздражения, вызванного, вероятно, кем-либо из посторонних людей".

На этом наша беседа и кончилась. Я ни одним словом не упомянул о том, что вопрос мог идти формально и обо мне; я сказал только, что

я не предполагаю возобновлять его при моем докладе, потому что, очевидно, вопрос шел не обо мне.

Так это на самом деле и кончилось. Никто в отставку не подавал, и скоро все забылось.

Конец 1908 года выдался для меня особенно горячий. К большой текущей работе, и без того настолько поглощавшей все мое время, что я едва успевал справляться с тем, что предъявляли запросы каждого данного дня, прибавилась чрезвычайно упорная работа в думских комиссиях, и в частности в Бюджетной, которая с первых же дней ноября отнимала от меня почти целиком иногда по три дня в неделю, а сверх того подошла и совершенно экстренная работа по подготовке и заключению в самом начале 1909 года займа на Парижском рынке, для конверсии в долгосрочный заем военного займа 1904 года.

\* \* \*

Работа в думской Бюджетной комиссии протекала и в этом году в совершенно спокойной и даже вполне дружелюбной атмосфере.

Большинство Думы в составе правой фракции, группы националистов, почти все октябристы, да и значительная часть прогрессистов<sup>85</sup> было настроено самым благодушным образом к правительству и старалось наперерыв показать свою полную готовность работать дружно и даже идти навстречу его пожеланиям. Тон такого отношения задан был главным образом председателем Совета министров Столыпиным. Незадолго перед тем он внес свой проект о земельной реформе в соответствии с проведенным им по 87 статье известным законом 7 ноября, — разработанный при самом тесном согласовании его со взглядами Государственной Думы. Всем министрам предложено было им — как можно чаще являться в Думу при рассмотрении в ее комиссиях внесенных законопроектов, и в числе министров мне пришлось первому осуществлять на практике этот прием тесного сближения с думской работой.

Кроме Земельной и Бюджетной комиссий, все остальные как-то вяло принимались вначале за работу, но зато Бюджетная показала с первых же дней самую кипучую деятельность. Она засыпала все ведомства массой запросов о разъяснении отдельных сметных назначений, и все мы старались наперерыв исполнить желания нашего председателя, не только не затрудняя отдельных комиссий в исполнении их желаний, но даже буквально отрывая на время массу служащих для исполнения предъявленных нам требований, несмотря на то что многие были просто совершенно ненужны и даже не вытекали из действительных потребностей сметной работы. Сами заседания комиссий вообще, и Бюджетной в особенности, носили в этом году какой-то особенно дружественный тон.

Начались они с того, что председатель этой последней комиссии обра-

тился ко мне с настоящей приветственной речью, высказавши без всяких обиняков, что внесенный мною бюджет и в особенности объяснительная к нему записка представляют собой замечательный труд, который должен облегчить Государственной Думе ее сложную работу, а проявленная всеми ведомствами готовность снабжать ее всеми необходимыми данными превосходит все самые смелые ее ожидания и открывает самую широкую возможность дружной, совместной работы. Ряд членов Бюджетной комиссии открыто присоединился к нему и прибавил от себя выражения их благодарности за такое отношение. Оппозиция, разумеется, молчала, но никакого открытого возражения не сделала, и только по форме делаемых ею и ее бессменным представителем Шингаревым вопросов можно было догадаться, с какой целью делаются эти вопросы и какое использование будет ими сделано в открытых заседаниях Думы. Я не припомню, однако, ни одного сделанного мне запроса, по которому не было дано мной или моими сотрудниками исчерпывающего ответа, не оставившего места самому ничтожному недоразумению. Скажу даже, что я не припоминаю ни одного заседания, которое не кончалось бы тем или иным выражением М.М. Алексеенко его благодарности мне и моему ведомству за оказываемую помощь Думе в ее работе. Такой же характер носили и комиссионные протоколы по отдельным сметам, которые все воспроизводили в самой корректной форме все сделанные запросы и полученные на них разъяснения и сводили заключения комиссии почти всегда к положениям, принимаемым правительством, или к самым второстепенным разногласиям, про которые Алексеенко всегда говорил: "Нужно же оставить хоть небольшой след тому, что мы не всегда подчиняемся правительству".

В конечном результате проект росписи и заключение по нему Бюджетной комиссии вылилось в такую благожелательную для правительства форму, что оставалось только ждать дня рассмотрения его Общим собранием Думы, и в Совете министров не раз говорилось, что в этот день я буду несомненным "бенефициантом", и в шутку спрашивали меня, не известно ли мне какому цветочному магазину заказан венок, который будет возложен на мою голову?

Меня эта двухмесячная работа в думской комиссии, разумеется, утомила до крайности, так как мне приходилось иногда просиживать в ней буквально целый день с перерывом только для завтрака, но зато морально я был глубоко удовлетворен и все говорил председателю комиссии, что единственное мое желание заключается в том, чтобы такой же дружелюбный тон поддерживался и в Общем собрании. На это мое желание он заметил мне какой-то раз, когда мы вместе вышли из затянувшегося заседания, что такого благополучия ждать нельзя потому, что "для печати и для публики нельзя же все хвалить правительство, а нуж-

но когда-нибудь сказать, что оно все-таки никуда не годится, хотя голосовать все-таки нужно с ним”.

Так оно потом и случилось.

Переговоры мои о заключении займа также не дали мне большого труда и кончились сравнительно быстро и вполне благополучно, хотя потом немало крови было испорчено бесполезными прениями в Думе, когда и по этому поводу пришлось все-таки встретиться с совершенно бесполезной и глубоко несправедливой критикой оппозиции в лице того же Шингарева, который, очевидно, — не тем будь помянут покойный, — не мог пропустить ни одного повода, чтобы не наговорить множество неприятных суждений, в которые и сам он чаще всего не верил, но не мог противостоять усвоенной его партией повадке критиковать и осуждать правительство в самых правильных и даже неизбежных его мероприятиях.

Начало переговоров о заключении займа, для консолидации выпущенных в 1904 году обязательств государственного казначейства на парижском рынке, положено было мной словесно в моей встрече с главой русской группы банкиров — Нетцлиным в Гамбурге в августе 1908 года. Об этом я сказал уже вскользь в своем месте. Подробности этого дела заключалась в следующем. Списавшись с ним еще до моего выезда в этом году в отпуск, я предложил ему нашу встречу в Гамбурге и наметил ему в письме основные мои мысли по этому поводу, заключающиеся в том, что заем должен быть долгосрочный, 4 1/2 процентного типа, на сумму, покрывающую в его чистой выручке всю сумму погашаемых бонов. Я оговорил тут же, что усердно прошу его до выезда на свидание со мной переговорить с его коллегами главным образом по двум вопросам — о выпускной цене займа и о размере комиссии по выпуску. Я предупредил его при этом, что положение России теперь иное, чем в 1906 году, и что я дружески прошу его не ставить меня в трудное положение невыгодными условиями, так как я не могу принять их и с точки зрения русского общественного мнения, которое не примирится с тяжелыми условиями консолидационного займа при значительно окрепшем внутреннем и внешнем положении России, да и я сам не пойду на невыгодные условия. Мне очень жаль, что и это письмо, если оно сохранилось в архиве Министерства финансов и попало в руки большевиков, не опубликовано ими, т[ак] к[ак] оно показало бы, что представители русского правительства отстаивали интересы государства, а не предавали их, как принято говорить об этом по отношению ко всему нашему прошлому.

Отношение Нетцлина к поставленным мной вопросам при свидании со мной было в общем самое благоприятное. Он сказал мне, что русская группа дает себе ясный отчет в том, что кредит России окреп, что правительство сумело внести порядок в управление, и между ним и народ-



ным представительством установились совершенно нормальные отношения. Финансовое положение страны настолько окрепло, что правительство может просто рискнуть оплатить обязательства 1904 года наличным запасом золота, если бы оно встретило затруднения к заключению займа. А главное, по его мнению, это то, что в данном случае вся выручка от займа остается полностью во Франции и пойдет в распоряжение тех же главных банков русской группы, которые заключат и новый заем, потому что боны 1904 года размещены главным образом в их кассах и лишь малая часть проникла в публику. Нетцлин уверил меня, что согласие французского правительства совершенно обеспечено, о чем группа имеет даже определенное заявление, и он вполне уверен в том, что я не встречу с ее стороны никаких затруднений и могу даже дать ему полномочия войти в соглашение с его коллегами и сообщить мне их решение. Я так и поступил. Тотчас по возвращении в Петербург я доложил весь вопрос Совету министров, получил разрешение представить его на предварительное одобрение Государя, известил об этом Нетцлина, и в течение октября и ноября все условия были согласены письмами без вызова банкиров в Петербург, и в январе заем был заключен без внесения принципиального вопроса в Думу и Государственный Совет, так как он имел характер конверсионный и мог быть по закону совершен в порядке Верховного управления.

Впоследствии, при рассмотрении росписи на 1909 год, в Думе оппозиция пыталась доказывать незакономерность распоряжения правительства, но должна была сойти со своей точки зрения и даже доказательстве ее, что заем был заключен на невыгодных условиях, не имели никакого успеха, и подавляющее большинство Думы встретило шумными одобрениями мои доказательства о выгодности условий займа и несомненном упрочении русского кредита, а не его падения, как силился доказать Шингарев, впрочем, и сам не веря своим нападкам на меня. По крайней мере, когда после рассмотрения росписи я имел случай подойти к нему и спросить его в кругу немногих членов Государственной Думы, действительно ли он считает, что можно было выговорить лучшие условия, он сказал, не обинуясь, что ему неизвестен механизм совершения займов на внешнем рынке, но, пожалуй, что при существующих условиях трудно было добиться лучшего, и, конечно, хорошо, что правительство не решилось на оплату бонов из золотого запаса, который пригодится на другое. Присутствовавшие при разговоре некоторые члены Думы и, в частности, покойный Мотовилов, — я хорошо помню его реплику, — не обинуясь, сказал мне, что я делаю большую ошибку, предполагая, что члены Думы думают то, что говорят, так как многое говорится для совершенно посторонних целей. Шингарев на это только засмеялся и ответил мне: "Ну что же, — Вы победили, и лучше больше об этом не говорить — до другого раза".

Таким образом, 1909 год начался для меня при весьма благоприятной обстановке и не предвещал никаких осложнений в той нервной работе, которую представляло собой прохождение бюджета через Общее собрание Государственной Думы. Бюджетные прения начались 16 февраля и тянулись до самого конца мая, совершенно разочаровавши меня в моих ожиданиях благополучного и мирного их разрешения.

Начались прения с доклада председателя Бюджетной комиссии Алексеенко, который и на этот раз сохранил тот же благожелательный тон, который был усвоен им при рассмотрении росписи на 1908 год. У меня и сейчас лежит под руками его доклад. Это был сплошной хвалебный гимн правительству и лично мне за внесенную роспись. Во всем его докладе, почти на два часа, не было сделано ни одного принципиального вопроса, ни одного сколько-нибудь существенного замечания и целый ряд совершенно недвусмысленных похвал по моему адресу за ясность изложения, за исчерпывающую полноту оправдательного материала. Только под конец, да и то, скорее, для придания себе особой эрудиции и поучения своей аудитории он высказал несколько пожеланий для будущего, да и то почти в буквальном повторении заключительной части моей объяснительной записки.

Но дальше пошло иное. После Алексеенки говорил, как и следовало ожидать, Шингарев, и его доклад был просто возмутителен. Он не коснулся ни одного из многочисленных вопросов, которые были затронуты им в заседаниях Бюджетной комиссии, освещены в ее протоколах, так сказать ликвидированы принятыми решениями, подписанными самим Шингаревым, и разобраны детальным образом председателем Бюджетной комиссии. Вместо всего этого Шингарев представил, как и в прошлом году, сплошной обвинительный акт против правительства, опорочивал все его заключения, принятые Бюджетной комиссией и оттененные председателем ее как несомненная заслуга правительства в деле оздоровления финансов и как доказательство его готовности дружно работать с народным представительством, и все его соображения переплетены были с целым рядом личных выпадов против меня. После него говорило еще несколько совершенно бесцветных депутатов, мало или совсем не смысливших ничего в росписи, и мне хотелось дать выговориться еще большему количеству охотников до оппозиционной болтовни и уже потом выступить с моими возражениями. Но присутствовавший на заседании Столыпин, переговоривший в перерыве с председателем Думы, нашел, что нельзя оставлять возмутительных выпадов Шингарева без немедленной отповеди и просил меня выступить после перерыва для завтрака.

К сожалению, в ту пору, когда я записываю эти воспоминания из прошлого, мне не с кем обменяться впечатлениями и не у кого спросить, как

относились мои слушатели к тому, что было сказано, и какая оценка осталась у тех, кто был свидетелем моей борьбы и моих усилий отстаивать достоинство правительственной власти, как и попыток поставить правду на место проявлений политической страстности. Мне приходится только справляться со своей собственной совестью и искать у нее справедливой оценки того, что делал я и говорил в ту пору. И этот неумолимый свидетель говорит мне, что поле сражения оставалось во всех случаях за мной, и мои противники уходили, если и не убедившись в проигрыше избранной ими недоброй партии, то добившись относительного успеха только у своих единомышленников, не отвоевавши от меня, как органа правительства, ни одной из намеченных ими позиций.

Доказательством этому служили не только принятые решения, но и шумные проявления одобрения со стороны подавляющего большинства Думы, не зараженной партийной страстностью и, что всего убедительнее, — бесспорное проявление доверия ко мне со стороны значительного большинства думских кругов.

Помогало мне, разумеется, и то, что я вообще был сильнее моих противников, обладавших, несомненно, недюжинными дарованиями, в особенности Шингарев, — но не в смысле положительных знаний бюджетного дела и многих отраслей государственной жизни. В подавляющем большинстве мои оппоненты были людьми чрезвычайно поверхностно осведомленными в этих вопросах. Они отдавали мне открыто должное в том, что меня нельзя заставить врасплох или не вооруженным всеми сведениями, даже по другим ведомствам.

Покойный Столыпин не раз спрашивал меня, каким образом имею я готовый ответ на каждый вопрос, иногда совершенно неожиданный, и я всегда отвечал ему одним доводом, — что я недаром провел 6 лет на должности статс-секретаря Государственного Совета по сметной части, столько же лет в должности товарища министра финансов при министре, мало входившем в вопросы текущей Государственной жизни и представлявшем мне большую свободу действий. Мне приходилось быть в курсе каждого, сколько-нибудь существенного вопроса не меньше, нежели мои сотрудники и докладчики, прекрасно, однако, ознакомленные со всеми делами их специальности.

Когда я вернулся вместе со Столыпиным в министерский павильон после моей двухчасовой реплики Шингареву, он и присутствовавшие некоторые министры снова сделали мне положительную овацию, которая повторилась потом и в ближайшем заседании Совета министров, когда Столыпин передал свои впечатления от думского заседания.

Во время почти четырех месяцев, в течение которых тянулась бюджетная работа, с февраля до второй половины мая, к чисто сметной работе примешались и в этом году всевозможные нападения, которые оппозиция силилась направить на правительство, просто придираясь к той или

другой сметной статье, – исключительно с той целью, чтобы наговорить правительству очередных неприятностей на ту или другую, излюбленную оппозицией, тему по преимуществу экономического характера, как наиболее удобную для произнесения неприятных правительству речей, без необходимости иметь фактические поводы для таких выступлений.

Естественно поэтому, что "отгрызаться" по всем этим вопросам приходилось опять же мне, и бывало, что несколько дней подряд я просто не выходил из заседаний Думы, отвечая на пристрастные нападения отдельных оппозиционных ораторов. Среди них всегда играл выдающуюся роль тот же покойный Шингарев, который специализировался вообще на ведомстве финансов и стал, так сказать, присяжным отрицателем всякого рода полезной деятельности именно этого ведомства.

Его энергия была поистине изумительна. Неуспехи его выступлений его вовсе не обескураживали. Почти всегда он оставался в неприятном положении человека, усилия которого не приводили ни к чему, но так как на следующий день газета "Речь" хвалила его и осуждала меня, то цель его оказалась достигнутой, и он с новой энергией принимался за меня, и наши шпаги неизменно скрещивались чуть что не в каждом заседании. Излюбленной темой для нападков оппозиции всегда была смета Особенной канцелярии по кредитной части<sup>66</sup>, к которой можно было с большим или меньшим основанием приурочить нападки на деятельность Крестьянского банка и еще более – иностранного отделения Канцелярии с тем, чтобы изъять из непосредственных рук министра финансов такое орудие, как покупка валюты, необходимой тому же министру. Затем излюбленной темой служила также смета Департамента железнодорожных дел как повод домогаться передачи тарифного дела в руки законодательных учреждений, или ограничивать деятельность правительства в вопросах частного строительства железных дорог, или, наконец, критиковать того же министра финансов в его деятельности по Китайской восточной железной дороге, состоявшей в его ведении.

Мне приходилось, в прямом смысле слова, защищаться по всем фронтам, и моя задача была не очень-таки благодарная, потому что оппозиция очевидно рассчитывала либо на то, что я не отобьюсь от ее нападков, либо просто не вынесу этого каторжного труда. Мне очень жаль, что я не могу привести здесь наиболее существенных выдержек из произнесенных мной в этом году речей. Но их было так много, что одни копии полученных мной наиболее крупных из них занимают много сотен страниц убористой печати, и они заняли бы слишком много места.

Одно, и только одно, я могу сказать, что несмотря на то, что прошло столько лет с той поры, перечитывая мои речи, я испытывал большое чувство удовлетворения от того, что мои противники ничего не выиграли их систематическими и предвзятыми нападениями на правительство и что последнее в моем лице вышло с честью из этого боя.

Решения Думы были всегда на моей стороне, мои противники не могли занести на их счет ни одной реальной победы, а те выражения благодарности, которые я получал непосредственно или много времени спустя от моих подчиненных, которых я защищал каждый раз, когда их опорочивала оппозиция, не имея на то никакого повода и основания, — служили для меня лучшей наградой за понесенный тяжелый труд и способствовали более, нежели что либо иное, той связи ведомства со мной, которая отличала все десять лет моей работы на моем трудном, но и благодарном посту.

В эту думскую бюджетную работу начала 1909 года снова и опять выдвинулась попытка оппозиции, не знаю уже в который раз начиная с 1907 года, вернуться в форме запросов о незакономерности действий моих и министра путей сообщения в направлении дел о частном железнодорожном строительстве<sup>87</sup>.

Нимало не смущаясь совершенно ясным законом о порядке направлении этих дел через второй Департамент Государственного Совета, оппозиция, идя по стопам Думы второго созыва и в 1909 году так же, как и в 1907, снова подняла тот же вопрос, прибегнув к тем же приемам, к каким пыталась было прибегнуть Дума второго созыва. Ее нисколько не смущало то, что состав Думы третьего созыва был уже не тот и на него не было возможности опереться. Те же лица выступили с тем же арсеналом средств в промежуток сметной работы и — остались при том же неуспехе, как и их предшественники, и не добились успеха в их попытке пересмотреть изданный закон в порядке думской инициативы, несмотря на все усилия подбить большинство Думы признать действия правительства незакономерными. Они потерпели в этом отношении снова полное поражение, которое не ослабило их энергии до самого конца работ Думы третьего созыва.

В эту пору оппозиция пошла, однако, даже дальше попыток Думы второго созыва в обвинении правительства в его неуважении к народному представительству и избрала для этого совершенно неожиданный прием.

В числе законов, определивших порядок частного железнодорожного строительства, один из законов — журнал заседания по этому вопросу под личным председательством Государя — не был опубликован и приведен только в цитатах под законом о подведомственности этих дел второму Департаменту Государственного Совета. В своих возражениях на мои объяснения Шингарев и Некрасов заявили, что им этот журнал неизвестен, и они не считают себя вправе руководствоваться им, а ссылка под текстом закона может быть истолкована и неправильно. Тогда председатель Бюджетной комиссии Алексеенко и председатель Думы Хомяков обратились ко мне с просьбой доставить текст журнала для его ознакомления в Бюджетную комиссию, обещая не предавать его гласности.

Я передал об этом в заседании Совета министров Столыпину, который нашел эту просьбу совершенно справедливой и просил меня доложить об этом Государю. Разрешение, разумеется, было дано. Государь даже заметил, что он не видит никакого затруднения опубликовать журнал через Сенат; я отвез заверенную мной копию председателю Думы, который меня горячо благодарил, сказавши, что теперь всякие сомнения должны отпасть.

Каково же было мое удивление, когда в следующем открытом заседании Общего собрания Думы Шингарев и Некрасов в один голос обвинили меня в попытке произвести насилие над Думой предьявлением отдельного акта, никому неизвестного и совершенно не отвечающего достоинству Думы. Левые скамьи бурно поддержали моих обличителей, ни Алексеенко, ни Хомяков не выступили с разъяснениями, и мне пришлось снова взять на себя роль разрушения сочиненной легенды и получить опять открытое одобрение внушительного большинства Думы.

В какой степени были не правы мои оппоненты и насколько предвзяты были их придирки, направленные исключительно на то, чтобы еще и еще раз попытаться вырвать из рук правительства все дело частного железнодорожного строительства и подчинить его влиянию законодательных учреждений, — всего лучше может пояснить текст произнесенной мной речи в заседании 25 февраля 1909 года. Любопытно именно то, что думская оппозиция отлично понимала и сама, что все действия правительства были проникнуты самой неоспоримой законностью и что перед ней лежал только один законный путь, — не обвиняя никого в нарушении закона, добиваться рассмотрения всего дела по существу в законодательном порядке и настаивать на издании нового закона в отмену изданного в 1905 году, с которым можно было соглашаться или не соглашаться, но отрицать его ясный смысл и доказывать, что правительство не имело права направлять дела частного железнодорожного строительства во второй Департамент Госсовета, было явным отрицанием очевидного закона.

Так как и во многих других случаях цель оправдывала средства и для достижения намеченной цели — ограничения объема власти правительства — все способы были хороши, хотя была очевидна и для самих авторов вся безнадежность обоих запросов. Не могли они не понимать, что даже при получении требуемого законом большинства двух третей голосов для переноса дела в незаконных действиях правительства на разрешение Государя они не могли рассчитывать ни на какой успех, так как правительство делало только то, что выработано было под личным председательством самого Государя, но важна была не практическая цель, а одно желание создать неблагоприятную атмосферу для правительства, хотя бы ценой очевидной передержки совершенно ясного закона.

Когда же стало ясно для всего состава Думы, что удержаться на обвинении правительства в незаконности его действий нельзя и для

признания его не соберется и простого большинства голосов, то авторам запросов не оставалось ничего иного, как выиграть в глазах оппозиционных кругов и враждебно настроенной печати, выкинувши флаг стеснения свободы суждений Думы предъявлением недопустимого аргумента – давить на Думу авторитетом Верховной власти. Оппозиция явилась как будто бы защитницей достоинства последней от всякого вмешательства ее в прения законодательной палаты. В моем лице правительство оказывалось виновным в вовлечении Государя в спор между Думой и правительством.

Государь отлично понял всю соль этого неискреннего приема. Когда после указанного заседания Думы я пришел к нему с очередным моим докладом, он показал мне отложенный им номер "Нового Времени" с подробным изложением прений и сказал мне просто: "Как не стыдно прибегать к такому неуместному приему. Ведь сам председатель Думы просил меня оказать им внимание – познакомиться с тем, что не было опубликовано. Я охотно пошел навстречу их просьбы, хотя имел несомненное право отказать, но не сделал этого, дабы не давать повода обвинять не то меня, не то правительство в ненужном отказе, а теперь Вас же обвиняют в учинении насилия на Думой, как будто показать подлинный текст обязательного и для правительства и для самой Думы закона – значит давить на чью-то совесть".

Вскоре после этого заседания Думы мне снова пришлось встретиться с моими противниками в кулуарах Таврического Дворца и затронуть в частной беседе этот щекотливый вопрос перед председателем Думы Хомяковым, которого я спросил, не предполагает ли он при своем очередном докладе у Государя разъяснить ему, что правительство вело себя более чем корректно, доложивши Думе только то, о чем она сама просила его через посредство своего председателя, так как мне положительно неприятно, что меня обвиняют в том, что я ввел Государя и его авторитет в думские прения, и я конечно уже впредь буду осторожнее и устранюсь от такой неблагодарной роли.

Хомяков ответил мне с его обычными шутками и остроумием: "Ну что об этом поднимать лишний разговор, когда и Вы отлично знаете, что Вы правы, и Государь не менее Вас убежден в этом, да и все Ваши противники также понимают, что им не следовало говорить многого из того, что было сказано, но в этом большой беды нет".

Любопытно, однако, что и после такого торжественного провала внешнего запроса правительству еще долго тот же вопрос поднимался в Думе по самым разнообразным поводам и без всякой положительной цели, если не считать такой простого желания наговорить правительству опять все те же покрываемые аплодисментами речи об ограничении власти законодательных палат и о захвате правительством не принадлежащих ему полномочий.

## ГЛАВА IV

*Моя поездка на Дальний Восток. Причины ее вызвавшие. Разногласия с Сухомлиновым по вопросу об отношении к нам Японии и о кредитах на укрепление Владивостока. Аудиенция японского посла барона Мотоно у Государя. Данное мне Высочайшее поручение поездки на Дальний Восток для выяснения положения. — Отъезд и остановка в Москве. Прибытие на ст. "Манчжурия" и получение известия о предстоящей встрече с князем Ито. Организация встречи. — Прибытие князя Ито в Харбин и мое свидание с ним. Убийство князя Ито. — Пребывание мое во Владивостоке. Беззащитность крепости вследствие неиспользования отпущенных кредитов. Возвращение в Харбин. Рассмотрение вопросов, касающихся дороги. Положение Китая. — Мой Всеподданнейший отчет о поездке и резолюции на нем Государя. Поездка Сухомлинова на Дальний Восток и направленный против меня отчет о ней*

\*

Среди описанной выше кипучей работы в Думе и в Государственном Совете в первую половину 1909 года как-то совершенно незаметно в текущей моей работе по Министерству финансов возник вопрос, которого я всего меньше желал, чтобы он появлялся, и вовлек меня в совершенно неожиданное осложнение.

Незаметно до этой поры среди главных представителей правительственной власти появилась новая фигура военного министра Сухомлинова, неожиданно назначенного с поста командующего войсками Киевского военного округа и генерал-губернатора Юго-Западного края — сначала начальником Генерального штаба, а затем вскоре и военным министром.

Мои первые сношения с ним носили чрезвычайно симпатичный характер. Мы встретились впервые в Совете государственной обороны под председательством Великого Князя Николая Николаевича еще в 1906 году, и по какой-то странной случайности в спорном вопросе, поднятом генералом Редигером о необходимости отказаться от укрепления Владивостока по невозможности защитить его против возможного нападения со стороны Японии и взамен его — организовать нашу сухопутную оборону Дальнего Востока около Никольска Уссурийского, мой голос принадлежал, как и голоса Столыпина и министра иностранных дел, к числу тех, кто решительно восставал против этой мысли. Был ли я более знаком с вопросом, занимаясь много нашими делами на Дальнем Востоке в связи со всем, что мне пришлось пережить в самом начале моего занятия поста министра финансов в 1904 году и во все время Русско-японской войны, показались ли мои аргументы более сильными, нежели соображения, высказанные в том же смысле другими членами Совета обороны, но Великий Князь приказал изложить их в журнале особенно подробно и даже просил Государя остановить на них его особое внимание. Сухомлинов демонстративно поддержал меня и высказал это, хотя и в очень мягкой



форме, но с совершенно несвойственной ему ясностью и определенностью. Я думаю даже, что он говорил в том смысле и Государю от себя, как вообще он имел потом привычку занимать и впоследствии внимание Государя всем, что происходило при его участии во всякого рода комиссиях и совещаниях. При этом он всегда выставлял свою роль, как имевшую решающее значение в деле.

После заседания Совета обороны, происходившего в доме Великого Князя на Большой Итальянской, он проводил меня домой, несмотря на поздний час ночи, долго разговаривал со мной на разнообразные темы и на следующий день приехал ко мне с визитом и снова рассыпался во всякого рода комплиментах по поводу моего вчерашнего выступления в Совете обороны в пользу, как он выражался, "спасения нашего бедного Владивостока от грозившей ему опасности от узкого и непонятого взгляда военного министра".

Я думаю, что роль, сыгранная генералом Редигером в этом вопросе, послужила даже последней каплей неудовольствия на него Государя, хотя главная причина заключалась, несомненно, в другом, — в чем генерал Редигер был совершенно прав, а именно в отрицательном его отношении к разделению Военного министерства на две самостоятельные части — на собственно Военное министерство и на независящее от него Главное управление Генерального штаба. Редигер не скрывал этого, говорил Государю, не обвиняя, вызывая этим его неудовольствие, и должен был уйти. Его сменил генерал Сухомлинов и быстро сумел своей вкрадчивостью и кажущимся добродушием склонить Государя на возвращение к старому порядку, чего он давно добивался, еще в бытность его начальником Генерального штаба.

С назначением генерала Сухомлинова военным министром и появлением его в Совете министров для защиты текущих дел своего ведомства наши отношения быстро приняли совершенно иной и даже прямо враждебный характер.

Ему приходилось сразу же войти в конфликт главным образом со мной как министром финансов, и нашему расхождению по текущим делам после первых же расхождений во взглядах на размеры кредитов, испрашиваемых его ведомством всегда в преувеличенных размерах и очень часто с крайне плохим обоснованием, он придал чрезвычайно острый характер.

Наши споры приняли даже явно личный характер и, что еще хуже, перешли на суд Государя раньше, чем журналы Совета дошли до него. Об этом тотчас же узнал Столыпин, которому Государь стал говорить о том, что ему крайне неприятны разногласия в Совете министров и что он очень желал бы устранить их и будет говорить со мной при первой возможности.

Столыпин был крайне возмущен таким отношением Сухомлинова, разъяснил Государю, что все министры совершенно самостоятельны в Совете, что роль последнего заключается именно в том, чтобы сглаживать несогласия между ведомствами, а в тех случаях, когда эти несогласия остаются, они всегда идут на разрешение Государя, которому одному и принадлежит окончательное направление спорного вопроса. Он прибавил, что дела вносятся Военным министерством в Совет министров часто в таком плохом виде, что сам военный министр отказывается от своих расчетов и присоединяется к министру финансов и государственному контролеру, которые всегда подкреплены значительно более вескими данными, нежели те, на которые опирается Военное ведомство. Он указывал при этом Государю, что генерал Сухомлинов начинает даже прибегать к совершенно небывалому приему — соглашается в Совете, а когда ему посылают составленный согласно и его мнению журнал, он пишет на него возражения, и дело слушается два и три раза, внося немалое недоумение в среду министров.

Со мной Государь заговаривал об этом сначала только вскользь, не выражая ни малейшего неудовольствия, и на мое замечание, что ни с кем из прочих министров не возникает в Совете министров тех трений, которые стали повторяться с первых же дней назначения генерала Сухомлинова, Государь в полушутливой форме сказал мне, что это объясняется неопытностью генерала и, вероятно, постепенно сгладится по мере приобретения им большего опыта, тем более что "он человек очень способный, быстро осваивается с новыми положениями, а, может быть, только излишне усердствует на первых порах".

Но в первой половине 1909 года столкновения с генералом Сухомлиновым стали принимать у меня особенно острый характер в связи с участвовавшими к тому времени настояниями приамурского генерал-губернатора Унтербергера об угрожающем положении дел на нашем Дальнем Востоке, в связи будто бы замышляемым Японией новым нападением на нас ввиду нашей полной неподготовленности к обороне на Владивостокском фронте. Телеграммы генерала Унтербергера приходили в очень большом количестве как к военному министру, так и к председателю Совета министров и к министру иностранных дел.

Долгое время лично я не получал от генерала никаких сведений, несмотря на то что у меня с ним были давние хорошие личные отношения. Копии всех телеграмм, поступавших в Министерство иностранных дел, всегда доставлялись этим ведомством мне по старому порядку, заведенному еще при гр[афе] Витте, ввиду особенного положения, которое занимало Министерство финансов в делах Китайской восточной железной дороги. Я упоминал об этом уже раньше.

На Столыпина эти телеграммы производили очень сильное впечатле-

ние, и после получения каждой новой депеши он неизменно просил Извольского и меня к себе и с большой тревогой спрашивал, что это обозначает и какие принимаются у нас меры для предупреждения надвигающейся новой грозы. Каждый раз мы оба давали ему самые успокоительные сведения, указывая на то, что ничего оправдывающего паническое отношение генерала Унтербергера мы не знаем и никаких указаний от наших агентов не имеем. Извольский ссылался при этом и на его отношения с японским послом бароном Мотоно, с которым и у меня были даже еще более близкие отношения, нежели у него, потому что с самого своего прибытия в Петербург в 1906 году Мотоно особенно сблизился со мной и поддерживал, казалось, вполне откровенные отношения, делаясь со мной всеми сведениями, которые имели для нас какую-либо цену. И Извольский и Столыпин знали об этом, да и я не видел каких-либо оснований скрывать об этом не только от них, но даже и от самого Государя, который всегда шутливо говорил мне: "А Вы не бойтесь, что Александр Петрович приревнует Вас и скажет, что Вы хотите занять его место?"

Вся эта тревога шла малозаметным ходом, пока в нее не вмешался военный министр.

На одном из моих очередных докладов, как-то весною, Государь показал мне всеподданнейший доклад военного министра, который начинался простым изложением содержания многочисленных депеш генерала Унтербергера, а заканчивался совершенно неожиданным для меня заключением. Генерал Сухомлинов заявлял Государю, что он вполне разделяет мнение приамурского генерал-губернатора о крайне опасном и даже безнадежном положении нашей обороны на Тихом океане и считает своим верноподданническим долгом высказать с полной откровенностью, что все это происходит исключительно от того, что он не может добиться получения согласия министра финансов на отпуск самых необходимых средств для улучшения оборонительных сооружений Владивостока.

Для меня такое заявление, впервые встретившееся в моих сношениях с военным министром, было, разумеется, до крайности неприятно. Не припоминая ни одного случая, чтобы я возражал против ассигнования средств на укрепление Владивостока, я просил Государя дать мне возможность осветить этот вопрос справками в делах, но сказал при этом, что я убежден, что генерал Сухомлинов сделал неточное сообщение, так как моя в общем хорошая память решительно не удерживает ни одного разногласия с военным министром по Владивостоку и при этом мне совершенно непонятно, каким образом могу я мешать ему в испрошении кредитов на укрепление Владивостока, когда мне же принадлежала энергичная защита его в Совете обороны два с небольшим года тому назад, когда само Военное министерство предполагало упразднить эту

крепость. Я напомнил Государю, что мое мнение было подробно приведено в журнале, который и был утвержден Государем в смысле того мнения большинства, к которому принадлежал и мой голос. Государь, конечно, припомнил этот эпизод, подробно остановился даже на этом вопросе, сказавши, что он имел тогда особый разговор и с Великим Князем Николаем Николаевичем и с генералом Редигером и выразил последнему, что он решительно с ним несогласен. Он очень охотно согласился на то, чтобы отложить мой доклад по этому вопросу до моего следующего доклада, когда у меня будут под рукой все сведения. По существу же вопроса он был совершенно спокоен и даже заметил, что приамурский генерал-губернатор слишком далек от хороших источников политического свойства и, по всем вероятностям, придает веру всякого рода рассказам, не имея даже навыка в оценке того, что делается ему доступным.

На меня этот эпизод не произвел сначала никакого впечатления, так как это был первый случай, чтобы военный министр представлял Государю и притом без всякой надобности неверные сведения, и я приписал это его малой опытности и той легкости, с которой он подписывал все, что ему подносили его сотрудники, не вдаваясь в то, какие последствия могли из этого возникнуть.

Тотчас по возвращении моем из Петергофа я вызвал директора Департамента государственного казначейства и вице-директора Кузьминского, в руках которого были все дела Военного министерства, и из их короткого доклада увидел, что военный министр просто сказал Государю неправду.

Оказалось, что во все три года после заключения мира с Японией Министерство финансов не предложило ни одного сокращения в кредитах на Владивостоке.

Все требования Военного министерства прошли в Совещании так, как они были заявлены ведомством. Совет министров также не сделал ни одного сокращения, несмотря на то что Государственный контроль предлагал несколько уменьшить ассигнование на 1908 год, ссылаясь на то, что из кредитов 1906 и 1907 годов не израсходовано ничего. Также и на 1909 год кредит занесен без малейшей урезки, несмотря на то что снова государственный контролер представил справку, что в казначействе лежит вся сумма в несколько миллионов рублей нетронутой и местный представитель фактического контроля донес ему, что на месте идут все еще споры по самым основным вопросам о выборе мест под оборонительные сооружения и из Главного и Артиллерийского управлений все еще не возвращены утвержденными основные проекты технического свойства.

В журнале Совета Министров оказалось даже мотивированное постановление об оставлении кредита без изменения только потому, что генерал Сухомлинов заявил, что все это теперь уже утверждено и работа

идет полным ходом. Я взял письменную справку с изложением описанного и пошел к Столыпину, чтобы предупредить о случившемся.

Столыпин, уже не раз встречавшийся с такими же приемами военного министра даже по отношению к Совету Министров, был глубоко возмущен и хотел лично доложить обо всем Государю, прося его положить конец недобросовестным и недопустимым в отношении самого Государя действиям Сухомлинова.

Я просил его не делать этого и предоставить мне лично разъяснить все дело с документами в руках при моем всеподданнейшем докладе, устранив, таким образом, возможность новой жалобы на то, что я жалуюсь Совету министров вместо того, чтобы ликвидировать все дело, возникшее из доклада Сухомлинова Государю, непосредственным разъяснением дела только Государю.

Столыпин согласился со мной, но дело приняло совершенно иной оборот по вине самого Сухомлинова.

На ближайшем заседании Совета министров, когда были пройдены все очередные дела, Столыпин отпустил чинов канцелярии и попросил всех министров остаться в заседании. Он сообщил нам всем, что к нему опять поступила телеграмма приамурского генерал-губернатора о том, что его не оставляют сообщения разных его агентов, — он не указал каких именно, — о том, что Япония продолжает решительно и не скрывая готовиться к новому нападению на нашу дальневосточную окраину и что он считает своим долгом перед Государем и родиной снять с себя ответственность и доносить об этом еще раз до сведения главы правительства, предупредив об этом и Государя.

Министру иностранных дел, военному и морскому министрам и мне предложено было высказать, что знаем мы от наших представителей по этому давно нервирующему всех нас вопросу.

Первым говорил Извольский. В очень резкой форме он обозвал телеграммы Унтербергера только бесцельно распространяющими панику, способными осложнить наши прекрасно налаживающиеся отношения с Японией после того, что в 1907 и 1908 годах мы успели заключить ряд конвенций о рыбном промысле в водах нашего Дальнего Востока, и что японский посол уже знает о депешах Унтербергера и выражал ему открыто свое удивление по этому поводу. Он добавил, что от наших послов в Китае и Японии он постоянно получает одни успокоительные сведения, которым не может не придавать безусловной веры уже по тому одному, что при подозрительности Китая по отношению к Японии мы имеем в лице его верного пособника в наблюдении за всей деятельностью Японии.

Морской министр подтвердил все слова Извольского, добавив, что от наших морских представителей он имеет также самые успокоительные сведения о прекрасном к нам отношении нашего недавнего противника

не в силу какого-то коварства его или желания усыпить наше внимание, а просто потому, что сам он нуждается в мире и далек от всяких воинственных помыслов, хорошо понимая, что при новом столкновении с нами он не только встретится с недружелюбным отношением к нему Америки, справедливо считающей, что Портсмутский договор есть дело ее рук, но и не получит той денежной помощи от Англии, которая одна дала ему возможность вести войну с нами.

Военный министр был, по обыкновению, немногословен, так как ни по одному вопросу он никогда не имел определенного мнения или выражал его в такой форме, которая затемняла его истинный смысл и всегда давала ему возможность извернуться, если бы ему пришлось убедиться в допущенной им неправильности. Он сказал только, что у него нет определенных сведений помимо тех, которые сообщает и ему генерал Унтербергер и к которым, как идущим с места, необходимо прислушиваться, хотя и ему кажется, что неминусовой опасности для ближайшего времени нет. "Нужно только, — сказал он, — соблюдать русскую пословицу — "береженого и Бог бережет", а в этом отношении мы очень отстаем в нашей обороне на Дальнем Востоке и не отпускаем нужных средств на укрепление Владивостока, которое находится в самом плохом положении только по той причине, что мы не отпускаем нужных кредитов". "Об этом, — сказал он, — я недавно доложил Его Величеству в ответ на его вопрос мне, как я смотрю на тревогу, поднятую приамурским генерал-губернатором".

Мне пришлось высказать мою точку зрения с полной откровенностью, так как Столыпин, обращаясь ко мне, сказал: "Я впервые слышу, что Министерство финансов так отрицательно относится к судьбе нашего главного оплота на Тихом океане, и до сих пор до Совета министров не доходило никаких разногласий по такому вопросу, несмотря на то что бывают у нас заседания, которые целиком посвящаются разрешению самых мелких споров".

Оговорившись кратко, что в вопросе по существу я целиком разделяю точку зрения министра иностранных дел и мог бы привести весьма любопытную мою беседу с японским послом, даже показавшим мне на днях перевод полученных им депеш от своего правительства, поручающего ему выяснить нашему правительству и, если даже нужно, испросить аудиенцию у Государя, чтобы заверить его о совершенно непонятном настроении нашего начальника Приамурского края. Я доложил Совету весь инцидент, ставший мне известным лично от Государя, и привел все данные, указывающие на полнейшую несправедливость того, что доложил военный министр Государю, обвинивши меня в том, в чем я неповинен ни душой, ни телом, и переложивши на меня вину своего собственного ведомства, которое до сих пор не подвинуло самых начальных вопросов, без которых нельзя и приступить к делу. Я огласил наличную цифру

неизрасходованного кредита, который лежит без употребления уже третий год, а виновника такого порядка военный министр ищет не у себя в ведомстве, а в тех двух ведомствах — Государственном контроле и Министерстве финансов, которые виноваты только в том, что не возражали против новых ассигнаций, когда и со старыми не умеют справляться.

Меня горячо поддержал государственный контролер, и заседание окончилось в тягостном молчании, которое прервано было обращением ко мне Столыпина словами: "Мы не будем составлять журнала настоящему нашему собранию, но я прошу Вас, Владимир Николаевич, доложить Его Величеству все, что Вы нам объяснили, и дать мне Вашу письменную справку для того, чтобы я имел также возможность сказать Государю все, чему я был свидетелем сегодня и что меня так глубоко взволновало".

Я предложил генералу Сухомлинову прислать эту справку и ему, на что он, как ни в чем не бывало, поблагодарил меня, прибавивши: "Вероятно какой-нибудь молодой и неопытный полковник Генерального штаба просмотрел не все дело". На это мы все только переглянулись и молча разошлись.

На той же неделе в пятницу я представил Государю подробный доклад по поводу неправильного заявления военного министра. Он при мне же прочитал его и оставил его у себя, сказавши: "Я передам военному министру, что нельзя сваливать вину со своей головы на чужую. Меня все это дело просто волнует не потому, что я придаю значение телеграммам Унтербергера, — я и сам уверен, что нам ничто не угрожает со стороны Японии, — но потому, что мы так медленно и плохо работаем и все ищем свалить ответственность на других".

Прошло с этой поры около месяца. Государь собирался уехать на его любимый отдых в шхеры перед готовившимся осенью путешествием его в Италию для свидания с королем в Ракоиджи и просил меня на одном из моих докладов подготовить все, что потребует его решения до его выезда, так как он хотел бы отдохнуть некоторое время от всяких приемов.

Дел у меня накопилось очень много, в особенности в связи с начавшейся уже подготовкой работ по составлению государственной росписи на 1910 год.

Особенно много вопросов было у меня в связи с выяснившимися уже к тому времени крупными разногласиями с военным министром, по которым Государь выразил мне свое желание получить от меня объяснения до внесения их в Совет министров.

Мне пришлось захватить с собой большое количество всякого рода материалов, сведенных в обширный доклад.

Об этом я доложил Государю тотчас же, как мы сели за его стол у окна с видом на море и на Кронштадт. Не давши мне еще возможности присту-

пить к докладу, который затянулся на этот раз почти на два часа, Государь сказал мне буквально следующее: "Готовясь к отъезду на отдых, я много и не раз думал о том, что произошло в Совете министров в связи с телеграммами генерала Унтербергера. Меня не столько беспокоит то, о чем он доносит мне, потому что я разделяю мнение и председателя Совета министров и министра иностранных дел и Ваше о том, что этот почтенный генерал находится в состоянии паники и не разбирается в тех сведениях, которые приносят ему всякие случайные информаторы, тем более что на мои настойчивые вопросы о том, чтобы он указал, из каких источников почерпает он их, я получил одни общие места о том, что эти источники вполне надежные. Гораздо более тревожит меня то, что выяснилось о положении работ по укреплению Владивостока. Я видел на днях японского посла барона Мотоно, который впервые за три года просил у меня особой аудиенции и пробыл у меня почти полтора часа."

Его разговор произвел на меня самое сильное впечатление, потому что он говорил со мной таким тоном, каким не может говорить человек, желающий скрыть свои истинные мысли.

Между прочим, как бы вскользь, после очень подробного объяснения о том, что Япония вообще не думает ни о каком новом нападении на нас, потому что это было бы просто бедствием для нее самой, да она и не имеет никакого повода быть чем-либо неудовлетворенной, он сказал мне почти буквально то, что я прочитал в журнале Совета министров в изложении Вашего взгляда.

Тотчас после ухода барона Мотоно я пошел к Императрице, рассказал ей весь разговор с японским послом и записал ту его часть, которая меня особенно поразила".

При этих словах Государь вынул из ящика своего письменного стола почтовый лист бумаги и прочитал мне из него следующие слова: "Японский посол сказал мне сегодня (числа я не видел) буквально следующее: если бы мы (т.е. Япония) думали нападать на Россию, то почему же мы этого не сделали до сих пор, когда вся морская граница, считая Вашу крепость Владивосток, совершенно беззащитна, и мы прекрасно осведомлены, что Вы не начали еще самых основных работ и даже Ваши техники продолжают спорить между собой, где именно нужно поставить оборонительные сооружения. Ваше Величество имеете полную возможность даже вовсе не строить укреплений, настолько Япония и не помышляет о каких бы то ни было агрессивных действиях, и вся цель моей аудиенции заключается только в том, чтобы доложить Вашему Величеству, словом моей личной чести, что мы осведомлены о тех тревожных донесениях, которые получают Вами с места, но они решительно ни на чем не основаны и только напрасно беспокоят Вас и вселяют недоверие к нам, когда мы желали бы только одного — закрепить наши взаимные отношения самым тесным и искренним сближением".



Прочитавши эту запись, Государь сказал: "Меня не удивляет вовсе стремление японского посла убедить нас в миролюбии его правительства, — это его прямая обязанность, но меня просто поразило, до какой степени осведомлена Япония о положении Владивостока, что посол говорит теми же словами, что и Вы в Совете министров. Очевидно, что это сущая правда и лучшего аргумента в опровержение тревожных телеграмм Унтербергера нельзя было представить. Но зачем же военный министр говорит постоянно, что работы по Владивостоку не идут только от недостатка денег, и к чему же отпускать деньги, когда мы знаем даже, где строить и что именно. Это просто ужасно, что мы не умеем ничего делать вовремя и только вводим всякие трения вместо того, чтобы быстро работать".

"Меня это так волнует, что я остановился на мысли просить Вас съездить на Дальний Восток, повидать генерала Унтерберга, сообщить ему все, что Вы так хорошо знаете, постараться осветить, чем именно руководствуется он, забрасывая меня такими тревожными телеграммами, и выяснить в его присутствии во Владивостоке распросом старших начальников по управлению крепостью, в чем же главная причина того, что работы не двигаются, когда деньги на них ассигнованы".

"Я подумал даже, что у Вас прекрасный для такой поездки повод. Вы положили столько труда на Китайскую восточную дорогу, до меня доходят такие единодушные отзывы о прекрасном ее состоянии, что Вам как главному деятелю просто необходимо повидать дорогу своими глазами и передать всем труженикам мою благодарность за их прекрасную работу на далекой окраине. Никто не удивится Вашей поездке; для всяких пересуд и неуместных предположений не будет никакого места, да и Вы сами будете более осведомлены обо всем, что нужно нам знать не по бумагам, а по непосредственному впечатлению. Мне же будет очень дорого Ваше мнение, и я буду знать, на чем мне остановиться, когда опять поднимутся всякие споры и несогласия".

Я спросил Государя, говорил ли он о своем предположении с председателем Совета министров или поручает это сделать мне? Он ответил мне на это, что П.А. Столыпин был первым и единственным человеком, с которым он обменялся взглядом, и очень рад тому, что встретил в нем величайшее сочувствие к его мысли. Мне не оставалось ничего иного, как только подчиниться желанию Государя, которое было для меня совершенно неожиданным, хотя я давно думал о такой поездке, но не давал хода моей мысли просто потому, что время было настолько заполнено срочной работой, что думать об отъезде хотя бы на 6—7 недель не было просто возможности.

Вопрос был тут же решен в положительном смысле, и я просил Государя начать мои приготовления, мотивируя их исключительно надобностью посещения дороги, не затрагивая вовсе вопроса о Владивостоке и не

входя ни в какие переговоры с Военным министерством во избежание ненужных трений, тем более что перепиской в Министерстве финансов выясняется все положение дел до мельчайших подробностей.

Государь отнесся очень сочувственно к моему предположению, обещал даже вовсе не говорить с военным министром о положении работ по Владивостоку в связи с моей поездкой на Китайскую восточную дорогу и разрешил мне готовиться к отъезду в самом конце сентября или начале октября, закончивши всю бюджетную работу.

Прямо от Государя я заехал к Столыпину, который подтвердил мне, что мысль о моей поездке на Дальний Восток принадлежала лично Государю, что он считает ее очень счастливой и даже совершенно необходимой, радуется тому, что она будет так скоро осуществлена, и заметил, смеясь, что мое появление во Владивостоке и разговоры с комендантом крепости и строителями будут сочтены за самозванное появление, но что этого смущаться нечего, потому что все будет покрыто и личной волей Государя и присутствием генерал-губернатора.

Я забыл еще упомянуть, что Государь сказал мне прощаясь после доклада, что он увидит меня еще перед моим отъездом на Восток, так как его поездка в Италию состоится, вероятно, не ранее самого конца сентября, и будет еще немало времени до того после его возвращения в Петергоф или Царское Село.

Началась спешная работа по бюджету и такая же — по приготовлению к отъезду. Из Харбина вытребован был прекрасный вагон Китайской восточной железной дороги, подобран был небольшой состав моих спутников из директора моей канцелярии Е.Д. Львова, председателя китайской дороги А.Н. Вентцеля, управляющего контролем дороги Жадвойна и секретаря правления.

За несколько дней до моего выезда должен был выехать командир Отдельного корпуса пограничной стражи генерал Н.А. Пыхачев, и по особой программе отобран был весь материал, который нужно было иметь под руками при этой поездке, по всем вопросам дороги и по делам Дальнего Востока.

В первых числах октября, не то 2-го, не то 4-го, мы выехали с остановкой в Москве по просьбе Биржевого комитета, который хотел высказать мне свои пожелания в связи с отменой порто-франко<sup>88</sup> на нашей восточной границе.

Можно сказать без преувеличения, что с Москвы началась та особая атмосфера внимания ко мне, которая сопровождала меня до самого моего возвращения домой.

Я не был еще в Москве с самого моего назначения на должность министра финансов, и об этом мне не раз говорили с известной горечью как прежний председатель Биржевого комитета Найденов, так и преемник его — Крестовников. Они отлично знали, конечно, что мне было не до

посещений Москвы, как в первый период моего министерства во время русско-японской войны, как и во всю пору второго периода, с апреля 1906 года. Уклоняться от остановки в Москве на этот раз с утра до вечера мне не было, конечно, никакой причины, и я охотно принял сделанное мне предложение, тем более что и независимо от моей поездки на Дальний Восток в Министерстве финансов был уже окончен разработкой вопрос о тарифных льготах по доставке русских товаров в Харбин, где московское купечество успело уже построить павильон для торговли нашей мануфактурой с целью конкуренции японской мануфактуре.

Его инициативе принадлежала мысль о желательности установить двоякого рода тарифные ставки: пониженные против обычных – для перевозки малой скоростью в обыкновенных товарных поездах, но с известным преимуществом в смысле большей скорости перевозки, и особые, хотя и более повышенные ставки – для перевозки определенных количеств мануфактуры в пассажирских поездах. На этой мере особенно настаивало московское купечество, потому что ему не хотелось завозить большого количества товаров в Манчжурию ранее, нежели оно убедится в том, что этот рынок представляет хороший интерес для сбыта нашей мануфактуры как в северном Китае, так и в нашем Приамурье.

Моя первая встреча с Москвой прошла необычайно гладко. Обмен любезностей был самый сердечный. Деловая часть собрания в весьма многолюдном зале Биржевого комитета, хотя и заняла много времени, потому что речей и приветствий было мне произнесено очень много и притом без всяких политических намеков, а скорее в самом приподнятом настроении констатирования значительно окрепшего нашего кредита и широкой готовности со стороны и Государственного и частных банков идти навстречу нуждам промышленности. Объяснение мое о проектированном министерством облегчении перевозки некоторых товаров в Манчжурию и во Владивосток встречено было просто шумными аплодисментами и просьбой привести его, как можно скорее, в исполнение. Мы разошлись почти в пять часов в самом дружеском настроении с тем, чтобы встретиться у старика Найденова за обедом в ограниченном составе, так как я должен был сразу с обеда ехать на поезд. В короткий промежуток времени я едва успел побывать у брата Василия Николаевича и приехал на поезд к самому его отходу.

Весь путь мой до станции "Манчжурия" был для меня самым приятным отдыхом после утомления, связанного с напряженной работой перед отъездом. Я почти не выходил из моего вагона на станциях, настолько было неприятно принимать на каждой остановке представителей всяких ведомств, являвшихся ко мне с обычным церемониалом. Я предпочитал принимать их у себя в вагоне и только очень редко выходил в так называемые парадные комнаты вокзалов, если оказывалось, что число представляющихся превышало способность моего вагона принять их.

Истинным удовольствием для меня было, если какой-либо большой город на пути приходился либо на слишком ранний, либо на слишком поздний час дня. Я спешил в этих случаях заблаговременно по телеграфу просить губернаторов не беспокоиться, но бывали случаи, что это не помогало и в ответ приходилось получать телеграмму, что начальник губернии встречал необходимость тем не менее беспокоить просьбой принять его и начальников учреждений Финансового ведомства, и мне и моему секретарю не оставалось ничего иного, как подчиниться этому желанию. В Иркутске, например, моя встреча с генерал-губернатором и целым рядом должностных лиц произошла в три часа ночи.

Со станции "Манчжурия" я вступил на территорию Китайской восточной дороги; пришлось оставить сибирский экспресс и перейти в экстренный поезд, специально снаряженный для меня и для всего состава моих спутников, а также для встретивших меня старших чинов дороги с генералом Хорватом во главе. На этой же станции я нашел опередившего меня несколькими днями командира корпуса пограничной стражи генерала Н.А. Пыхачева, с которым я был давно связан самой тесной дружбой. От него же я узнал, что меня ждет в Харбине величайший сюрприз, подтвержденный тут же генералом Хорватом, который показал мне только что полученную им от его помощника по гражданской части, генерала Афанасьева, телеграмму: "Выезжаю для встречи князя завтра. Прибытие в Харбин предполагается во вторник, 9 часов утра".

Чтобы пояснить эту неожиданную и по первому впечатлению непонятную телеграмму, нужно сказать, что с минуты решения Государем вопроса о моей поездке на Китайскую дорогу и во Владивосток мои приготовления к отъезду делались совершенно открыто, за исключением того, что касалось собственно Владивостока и моих несогласий с военным министром. Об этом говорилось открыто в министерстве, знали это и другие ведомства, потому что я просил всех ускорить сметную работу.

Как-то еще в конце лета ко мне заехал на мою дачу на Елагином острове японский посол барон Мотоно и спросил меня без всяких дипломатических подходов, не думаю ли я приехать в Японию, причем он прибавил, что ему в точности известно, что его правительство было бы этому очень радо и, если только я подам ему надежду на возможность такой поездки моей хотя бы на самый короткий срок, то он заявляет мне совершенно открыто, что я получу приглашение его правительства в самых лестных для меня выражениях, потому что никто в Японии не игнорирует, какую деятельную роль я принимал и принимаю в разрешении всех острых вопросов между обеими странами после 1905 года и как много обязана Япония мне в том прекрасном положении, которым пользуется в России лично он, Мотоно. Он сказал мне, что я не могу себе и представить, какую встречу найду я в Японии и насколько мне будет отраднo видеть не только со стороны правительства, но и со стороны

народа, как умеют в Японии почитать тех, кто, работая в пользу своей родины, открыто признает интересы и другой страны и не верит всем несправедливым слухам, способным только породить взаимное недоверие.

Как всегда предпочитая говорить правду и не затемнять ее ненужными фразами, я объяснил барону Мотоно, что для меня было бы большой радостью исполнить желание японского правительства и доставить себе то удовольствие, которое давно составляло для меня предмет мечтаний. Я никогда не был на Дальнем Востоке, но он всегда манил меня к себе. Настоящий случай, вероятно, единственный, когда бы я мог осуществить эту мечту в таких исключительных условиях. Но я не вижу никакой возможности исполнить это. Я должен быть обратно дома не позже самого начала ноября, когда открывается сессия Государственной Думы и Государственного Совета. Моя деловая поездка по русской восточной окраине, определенная в самых тесных пределах с едва достаточным количеством времени для выполнения самого необходимого, не дает мне никакой возможности сокращения, — что я и подтвердил бар[ону] Мотоно, показавши ему весь мой маршрут, который сам он признал составленным, что называется, в обрез и прибавил, что меньше двух или даже трех недель на Японию положить, конечно, нельзя.

Я думал, что на этом наша беседа и окончится, и собирался было перейти к другим темам нашего разговора, как Мотоно, прервавши меня, спросил: "А как отнеслись бы Вы к моей мысли переговорить еще раз об этом с министром иностранных дел и попросить его доложить Государю желание нашего правительства видеть Вашего министра финансов в гостях у себя, чтобы выразить ему всю нашу признательность за его справедливое к нам отношение. Я не хочу делать что-либо без Вашего согласия и не знаю хорошо, каковы Ваши отношения к Извольскому, который всегда говорит о Вас с чувством самого глубокого уважения".

Я просил барона Мотоно не предпринимать ничего для того, чтобы вызвать разрешение или даже прямое повеление Государя на мою поездку в Японию. Я привел ему два основания. Во-первых, то, что я фактически не имею возможности запоздать моим возвращением домой, не вызвавши существенных неудобств в ходе моей текущей работы, тем более что я далеко не уверен в отношении Извольского к этой мысли, так как он необычайно щекотливо охранял свои права, как единственного докладчика у Государя по вопросам внешней политики, и легко может просто подумать, что я сам дал барону Мотоно мысль о желательности моего заезда в Японию, а это могло бы даже скомпрометировать меня в глазах Государя. Я привел, во-вторых, что далеко не уверен в том, как отнеслась бы наша печать к моему визиту и не раздула ли бы она его в смысле моего вмешательства в дела внешней политики, на что уже были намеки в "Новом Времени" по поводу моего участия во всех делах,

касающихся Китая, Японии и Персии. Мотоно хорошо знал об этом, потому что мы не раз говорили с ним о нашей печати и трудностях, вообще испытываемых русским правительством, у которого нет достаточно независимого органа, сколько-нибудь влиятельного, чтобы проводить его взгляды, а такая газета, как суворинское "Новое Время" — гораздо более враждебна к некоторым министрам, нежели самые оппозиционные газеты. Я умышленно не затронул "Гражданина", чтобы не давать повода расширять программу нашей беседы, зная отлично, что Мотоно прекрасно обо всем осведомлен и даже не раз говорил министру иностранных дел, что ему просто непонятно, как может газета, похваляющаяся своей преданностью монарху, писать про его министров то, что можно читать каждый четверг на ее столбцах.

Но чего я не сказал японскому послу и что составляло главную причину моего нежелания, чтобы до Государя прямо или косвенно дошел вопрос о моей поездке в Японию, это то, что сам Государь, возбудивший вопрос о моей поездке на Дальний Восток и не обмолвившийся ни одним словом о том, что было бы полезно для меня побывать в Японии, когда он вел подробную беседу об этом и со Столыпиным и с Извольским и, выражая им обоим свое удовольствие по этому поводу, очевидно не думал вовсе о расширении объема моей поездки. Если бы вопрос об этом дошел уже по другой линии до его сведения, то независимо от того, что и Государь мог бы подумать, что инициатива этого принадлежала мне, — но в случае несочувствия сто такому предложению, несомненно, могло бы просочиться и дойти до сведения японского правительства, что именно он этого не желает, и тогда вместо пользы произошел бы только один и притом немалый вред.

Наша беседа с Мотоно закончилась искренним его сожалением о том, что то, что ему представляется таким хорошим, не осуществится, и он сказал даже мне, что считает себя отчасти виновным в таком неблагоприятном обороте дела, так как ему следовало просто доложить своему правительству уже давно, что моя поездка решена, и вызвать его на официальное приглашение меня, потому что он уверен, что в таком случае Государь не захотел бы сделать неприятности его правительству и все получило бы самое счастливое направление к общей пользе, не вводя меня ни в какое щекотливое положение, которое действительно имеет место сейчас.

Не раз после этой беседы мы виделись еще с бароном Мотоно, а перед самым моим отъездом он пригласил меня с женой на обед и открыто говорил за столом, как ему жаль, что у меня так мало времени и что я не могу сделать визита Японии, которая была бы счастлива принять меня. Я ответил ему шутливо, что с величайшей радостью поеду другой раз вместе с ним и прошу только заблаговременно предупредить меня о нашей с ним поездке.

При всем этом длинном обмене мнений, как и при неоднократных наших последующих встречах бар[он] Мотоно ни одним словом не намекнул мне на то, что мне предстоит встретиться в Харбине с тем из японских сановников, который предпримет поездку только для того, чтобы повидать меня. Знал ли он об этом или и для него эта поездка была полным сюрпризом, — я не знаю и думаю даже, что она была решена без его ведома, как результат того, что японское правительство действительно желало меня видеть и, убедившись в том, что мой приезд не состоится, решилось просить наиболее уважаемого из своих сановников — приехать в Харбин. Какие цели преследовало в этом случае японское правительство, — осталось тайной, которую унес в могилу князь Ито, погибший от руки убийцы в самую минуту своего приезда в этот город.

О предстоящем приезде князя Ито никто в Петербурге ничего не знал, и генерал Хорват получил об этом уведомление на словах от японского консула Каваками в день своего выезда из Харбина навстречу мне на станцию Манчжурия.

Предъявленная мне об этом телеграмма на этой станции крайне смутила меня, потому что я решительно не мог себе представить, чтобы для простого визита мне — такой заслуженный и престарелый сановник, незадолго перед тем сдавший должность генерал-губернатора Кореи, мог бы предпринять такое сравнительно далекое путешествие.

Все догадки мои в пути были совершенно бесполезны, и я просил только генерала Хорвата, чтобы он заблаговременно принял все меры к тому, чтобы путешествие князя Ито по нашей дороге было обставлено всеми необходимыми удобствами и всем доступным нам почетом, до выставления почетных караулов на всех пунктах остановок, от частей Заамурского округа пограничной стражи и железнодорожной бригады.

Я просил также заранее принять меры к тому, чтобы во все время своего пребывания в Харбине князь Ито оставался в нашем вагоне, с постановкой его [вагона] рядом с моим вагоном, и составить вперед расписание на время пребывания его у нас, войдя теперь же в соглашение с японским консулом в Харбине и прося его протелеграфировать князю, как только все будет установлено.

В тот же вечер с одной из ближайших станций после Манчжурии была отправлена подробная телеграмма; на утро получен от консула Каваками ответ с полным одобрением того, что ему было предложено, и с обещанием в тот же день передать выработанный план на одобрение князя Ито, как только он прибудет на пограничную с нами станцию Куанчен-дзы (Чан-чун). Во все время этих обсуждений меня не оставляла мысль, что незадолго до нашей войны с Японией князь Ито приехал в Петербург и вел в нашем Министерстве иностранных дел переговоры самого определенного характера — о тесном между нами сближении, которое тогда не состоялось, и прямо от нас он проехал в Англию, и там было заложено

основание союза между Англией и Японией, сыгравшего такую роковую для нас роль в 1904–1905 годах<sup>99</sup>.

Об этом много раз я слышал от гр[афа] Витте в первый период войны, когда наши отношения с ним казались мне такими дружескими и искренними, но в чем именно заключались предложения Японии, сделанные нам через князя Ито, я никогда не мог узнать от Витте, и насколько его рассказ отвечал действительности, — я также не знал, хотя мне всегда было странно, каким образом могло в ту пору Министерство иностранных дел вести самостоятельные переговоры с кем бы то ни было, когда теснейшая дружба гр[афа] Витте с графом Ламсдорфом составляла в ту пору общеизвестный факт, и едва ли мог граф Ламсдорф отклонить какое бы то ни было предложение князя Ито, не посоветовавшись с Витте.

\* \* \*

Вся дорога от границы Манчжурии до Харбина составляла для меня непрерывную смену самых отрадных впечатлений. На каждой станции мы стояли подолгу, если было что посмотреть, а было многое, что радовало взор и давало глубокое удовлетворение тому, каким бодрым ключом развивалась жизнь в русских поселках при сколько-нибудь значительных железнодорожных центрах.

Население встречало меня хлебом-солью и наперерыв просило посетить дома и школы. Всюду было видно неподдельное благосостояние, и нигде я не видел ни малейших следов какой-либо взаимной отчужденности нашего и китайского населения. Китайских властей, кроме города Пицикара, почти не было заметно, а там, где они являлись ко мне, я видел также только спокойное настроение, и ни одной жалобы, ни одного недовольствия не было заявлено мне, несмотря на все мои расспросы и на предложение сказать все, что только не ладится в повседневной жизни.

Особенную отраду доставили мне наши войсковые части. Если бы кто-нибудь раньше сказал мне, как размещены части заамурского округа пограничной стражи или показал одни фотографические снимки, в особенности с казарм железнодорожной бригады, — я не поверил бы или сказал бы себе, что это сделано просто напоказ и взято с какого-нибудь случайного здания.

Но когда пришлось встретиться на каждой станции с таким размещением бригады, посетить десятки таких казарм, которые по внутренним условиям размещения нижних чинов бригады, я не говорю уже об офицерском составе, — напоминали мне почти роскошные дортуары, куда лучше тех, которыми хвалялся Пажеский корпус, Лицей и Училище правовередения в самое последнее время, мне хотелось одного, — чтобы обличавшие меня члены оппозиции в Государственной Думе пережили то отрадное чувство, которое я испытал при виде всего, что показали мне.



Мне невольно захотелось, чтобы китайские власти заглянули в наши казармы и получили то впечатление, которое дало мне столько радости и даже гордости.

Я передал об этом моим спутникам и попросил их на ближайшей большой остановке предложить встречавшим меня китайским властям обойти казармы вместе со мной. Они долго совещались между собой, потом как будто долго не решались, о чем-то тихонько поговорили с генералом Хорватом, пользовавшимся у них, видимо, полным доверием, и через переводчика передали мне, что они не хотят отказать мне, но просят меня только подтвердить Дао-Таю (генерал-губернатору провинции), если только он меня спросит, что они исполнили только мое желание, потому что им не разрешено посещать наши казармы.

Генерал Хорват сказал мне, что во время обхода мной казарм и разговоров с нижними чинами сопровождавший нас китайский начальник все спрашивал его, не пожелаю ли я посетить китайские казармы где-либо, и все уверял его, что при всем его желании он не может этого разрешить мне, так как будет немедленно уволен за это от службы.

Части Заамурского округа, не принадлежащие к составу железнодорожной бригады, оказались размещенными несколько хуже, хотя в большинстве казарм они были обставлены значительно лучше, чем многие гвардейские части в Петербурге. Не было в них и того внешнего уюта, которым отличались железнодорожные роты, и менее роскошно [были] обставлены учебные их команды. Были, правда, еще и остатки прежнего размещения в землянках, но только в редких случаях, да и то кредиты на них были уже отпущены, а к моменту моего увольнения в начале 1914 г. и эти остатки прежнего положения отошли в область воспоминаний, и командир округа генерал Чичагов просил даже моего разрешения сохранить самую плохую из этих землянок на память о прошлом (без размещения в ней людей), постоянно поддерживая ее в том виде, в каком оставит ее та часть, которая последней уйдет в новые помещения.

Время в дороге шло с какой-то сказочной быстротой. Наш маршрут движения экстренного поезда составлен был с таким расчетом, чтобы не оставить без посещения и подробного осмотра ни одного из сколько-нибудь значительных поселков при станциях, ни одной воинской части, ни одного интересного, технического сооружения.

Часто поезд останавливался ночью, чтобы только не пропустить ничего интересного впереди, а те пункты, которые приходились на темное время, были назначены для посещения на обратном пути днем.

Таким образом, я могу сказать, что я видел всю дорогу, видел все, что было нужно знать, и не оставил ни одной части без посещения и без передачи каждой того, что поручил мне Государь передать ей за ее службу во время войны.

Особенно отрадны протекали наши общие завтраки и обеды в постав-

ленно в нашем поезде вагоне-ресторане. Неизбежная сдержанность вначале скоро сменилась самой непринужденной простотой отношений, и полились бесконечные рассказы о пережитом времени и о том, какую моральную поддержку получил округ от меня во все острые моменты войны, когда порой никто на месте не знал, чем кончится то или другое столкновение с отдельными воинскими начальниками. Мои спутники не скупилась на передачу того, что переживали они вместе со мной, отстаивая округ от всякого рода наветов, а иногда, с моего разрешения, А.Н. Вентцель прочитывал наиболее интересные бумаги военного времени и извлекал из захваченного им с собой архива целые страницы моих речей в Государственной Думе, сказанных в защиту Китайской восточной дороги при нападках со стороны обычных моих оппонентов. Такие извлечения были прямым откровением для моих слушателей. Только из этих застольных передач они узнавали о том, какой труд несу я в их интересах, и в особенности бывало трогательно слышать отзывы на такие "новинки" от рядовых офицеров, попадавших на наши завтраки либо обеды с тех или иных станций. Они не читали, вероятно, ни одной думской стенограммы и не имели понятия о том, что говорилось даже в Думе третьего созыва, с какой клеветой подчас приходилось мне иметь дело, и какой труд выносил я, защищая их правое дело перед народными представителями, либо нападавшими на ни в чем неповинных "маньчжурцев", либо обвинявших правительство в том, что оно зря тратит "народное достояние". Помню такой случай.

Генерал Чичагов просил моего разрешения пригласить к позднему обеду одного командира батальона, занимавшего, вот уже четвертый год, одну из самых трудных и неудобных позиций в смысле охраны дороги от возможных нападений и дурного состояния расположения его батальона. При нем пришлось прочитать только что выдержанную мной стычку, весной, по смете, связанной с исчислением кредитов на содержание дороги. Сначала был прочитан список речи Некрасова с его сдержанными по форме, но обидными по содержанию инсинуациями о деятельности "маньчжурцев".

Не слыхавший ничего подобного полковник едва сидел на месте. Пот скопьялся каплями на его лице, и он все прерывал чтение словами: "Да как это так? Кто же допускает, чтобы нас оскорбляли, и как же никто не поднял голоса в нашу защиту? Ведь военным людям нужно драться и защищать свою честь".

Генерал Чичагов все успокаивал его словами: "Подождите, полковник, дайте дочитать до конца, а потом Вы услышите и защиту Вас и нас всех".

Когда была прочитана моя ответная речь, полковник просиял и, обращая ко мне, сказал только, не скрывая слез: "Ваше Высокопревосходительство, а Его Величество знает, что Вы сказали? У него была Ваша

речь? И я могу получить у Вас эту речь, чтобы прочитать ее моим людям? Они должны знать, какие это "маньчжурцы" и как царский министр защитил нас".

В ответ его начальник, командир округа, передал ему мой приказ при вступлении моем на территорию железной дороги, охраняемую Заамурским округом, который не дошел еще до полковника. Он громко прочитал его, перекрестился и сел на свое место, сказавши толко: "Ну, теперь я никаких думских речей читать больше не стану, а роздам всем людям этот приказ шефа и царское спасибо нам за маньчжурскую службу".

В Харбин я приехал в воскресенье 11 октября. Был чудный, яркий, солнечный, слегка морозный день. Железнодорожный вокзал был заполнен народом. Огромная толпа стояла за вокзалом, потому что допуск на перрон во избежание толкотни был допущен только по билетам.

На первом месте в числе представлявшихся мне находились два китайских Дао-Тоя Гириной и Хейлутзянской провинций. Приветственную речь на китайском языке, тотчас же переведенную на очень хороший русский язык, произнес первый из этих двух сановников; в состав территории, ему подведомственной, входил и г. Харбин. Его коллега по имени Ли, отлично владевший русским языком, не хотел взять на себя роли представителя китайской власти (по объяснению ген[ерала] Хорвата) по чисто политическим соображениям, потому что он относился вообще отрицательно к русским и не пропускал случая, чтобы чинить дороге всевозможные неприятности, и вел прямую интригу против нас, всяческими путями наставляя германского и американского консулов против нас. От последних исходили все затруднения, которые мы испытывали в ту пору, в частности в деле организации городского управления г. Харбина.

Сущность речи гириного генерал-губернатора сводилась к тому, что, исполняя повеление своего повелителя, его Величества Богдыхана, и его правительства, он приветствует в моем лице представителя могущественнейшего соседа китайской империи – российского Императора и вместе с тем – того русского сановника, которому Государь Император России поручил быть главным начальником всей территории Китайской восточной жел[езной] дороги, которую Его Величество Богдыхан признал возможным для пользы своего народа передать временно в управление российской власти. Будучи ежедневным свидетелем мудрого исполнения всеми русскими учреждениями тех обязанностей, которые они приняли на себя по уполномочию китайского правительства, – он, генерал-губернатор, свидетельствует мне о том, что русская власть действует во всем согласно с заключенным договором, одинаково ограждая права как русского, так и китайского населения в полосе дороги, и вносит всюду порядок, благосостояние и справедливость. Он просит меня засвидетель-

ствовать это моему повелителю и выражает свою надежду, что так будет продолжаться и впредь, и со своей стороны заверяет высокое русское правительство в том, что он никогда не перестанет идти навстречу справедливых желаний его, если бы только для этого потребовалась помощь и защита дороги от каких бы то ни было несправедливостей.

Я ответил ему тут же, в таких же любезных выражениях сказавши, что я не сомневаюсь в том, что моему повелителю, Государю Императору, будет особенно отрадно узнать такую оценку трудов подведомственных ему, через меня, русских железнодорожных организаций. Я добавил, что я счастлив тому, что имел личную возможность убедиться, насколько успел в короткое время развиться и укрепиться в своем благосостоянии обширный край, прорезанный железной дорогой, как отрадно мне было видеть несомненные доказательства проявления мирной и дружной жизни русского населения в полосе дороги с китайским населением, как трогательно было мне видеть русских детей, посещавших вместе с китайскими детьми русскую школу в некоторых пунктах. Под конец я принес лично генерал-губернатору мою благодарность за его любезное и справедливое отношение ко всему русскому управлению, подчеркнувши особенно, что от начальника дороги я уже успел неоднократно выслушать, что с его личной стороны мы встречаем только справедливость и самое широкое проявление готовности идти нам навстречу в наших начинаниях и желали бы только одного – чтобы везде высшая на местах китайская власть руководствовалась теми же началами.

По мере моего ответа все участники этого представления все больше и больше складывали свои руки на груди и вдыхали в себя воздух, в знак удовольствия и почета ко мне, а когда я выразил мое желание тотчас после окончания приема приехать к ним с ответным визитом, тот же Дао-Тай просил от своего имени и имени своего коллеги назначить им другой день, чтобы они могли встретить меня с должным почетом, соответственно моему высокому положению и тому уважению, которое они питают к представляемой мной особе русского Государя Императора. Стоявший рядом с китайцами состав иностранных консулов не блистал многолюдством. От имени всех консулов меня приветствовал японский консул Каваками, который заявил, что германский консул не мог прибыть по болезни и будет счастлив представиться, как только позволит его здоровье. Американского консула не было на месте, потому что он выехал в Пекин на совещание со своим посланником еще до того, как стал известен в точности день моего приезда. С французским консулом, только недавно прибывшим в Харбин и откровенно заявившим, что он не успел ознакомиться с положением на месте, мой разговор был очень короток. Он поспешил заявить мне, что, исполняя указания своего правительства, он заранее отдает себя всецело в мое распоряжение, так как

успел уже вынести общее впечатление, что с управлением дороги не может быть никаких осложнений, настолько оно широко смотрит на свои задачи. Других консулов в то время еще не было в Харбине.

Мне было особенно жаль не видиться с германским консулом, потому что он, видимо, просто избегал встречи, а на самом деле именно с ним и всегда идущим с ним рука об руку американским консулом у железной дороги были самые острые отношения, осложнявшие и без того сложный вопрос об организации городского общественного управления, который и после того доставил мне немало хлопот, да кажется так и не был окончательно разрешен до наступивших потом событий революционного времени.

Несмотря на все мои попытки, я так и не виделся с германским консулом, о чем, впрочем, меня даже предупредил и японский консул, сказавши в присутствии генерала Хорвата с улыбкой, что он "настолько болен", что едва ли выздоровеет до моего отъезда.

Вся церемония с представлениями затянулась необычайно долго, и только часа два спустя я мог покончить ее и отправиться в церковь на торжественный молебен.

Весь длинный путь от вокзала до Николаевского собора (в сущности небольшой, но хорошо украшенной внутри церкви) был занят сплошной толпой народа, видимо, непривыкшего к подобного рода зрелищам. Войска Харбинского гарнизона из пограничной стражи и железнодорожной бригады стояли шпалерами по обеим сторонам, встречая меня везде маршем пограничной стражи. Духовенство всех православных церквей Харбина служило молебен, а царское многолетие после окончания его сопровождалось звуками народного гимна, сыгранного хором трубачей, выстроенных у самой церкви, и окончание гимна было покрыто громовым "ура" огромной толпы, подошедшей к церкви, и сопровождало меня до самого вокзала, куда я вернулся в свой вагон на самое короткое время, чтобы снова выехать в город для ответных визитов консулам и всем высшим начальствующим лицам в Харбине. Сравнительно долго я задержался только у японского консула, который сообщил мне все, что знал о приезде князя Ито, и о том, что сделано им для встречи и размещения во время пребывания его в Харбине.

О встрече князя он сказал мне только, что решительно все согласовано им с генералом Хорватом, который оказал ему величайшую помощь в этом деле, настолько, что он не считает нужным беспокоить меня чем бы то ни было, так как за три дня с полученного им извещения о времени прибытия князя Ито он успел сделать все необходимые распоряжения во всем, что касается приема князя японской колонией, а в отношении приема русских депутатов генерал Хорват обещал, что будет соблюден тот же порядок, который только что был применен по отношению к встрече меня и дал такой блестящий и образцовый результат.

Консул был озабочен только неизвестностью, согласится ли князь оставаться в железнодорожном вагоне или предпочтет поместиться в гостинице, так как его личная квартира недостаточно для того удобна, но что он на всякий случай приготовился выехать с женой в гостиницу, чтобы предоставить князю занять все его помещение. Я советовал ему поддержать мое предложение оставаться в вагоне, сказавши, что все уже приготовлено к тому, чтобы вагон князя Ито был поставлен рядом с моим, и даже будет обеспечено внутреннее между ними сообщение, чтобы избавить князя от необходимости выходить наружу при наступившем холодном времени.

Вернулся я к себе из объезда почти всего сильно растянувшегося города только после пяти часов и был настолько утомлен, что отказался от обеда и просидел один до восьми часов, когда должен был приехать ко мне генерал Хорват со своими старшими сотрудниками, чтобы условиться обо всех подробностях приема князя Ито, составить расписание обедов и завтраков для него при участии разных представителей китайской и нашей администрации и передать его консулу Каваками для представления на цензуру князю после того, что выяснится время его пребывания в Харбине и личные его в этом отношении желанья.

Генерал Хорват передал мне, что он полагает самым правильным принять для представления князю Ито китайских властей, которые уже заявили ему о непременном их желании встретить его, как они встретили меня, а также всех представителей русских учреждений и городского общественного управления — все те распоряжения, которые были выработаны для встречи меня и вполне удалась. Он разослал даже всем приглашенным такие же именные приглашения, какие были разосланы для меня, и те же офицеры гарнизона, которые принимали прибывающих по приглашениям, [должны были] повторять ту же обязанность и для этого дня. Он думает, однако, что число лиц будет меньше, хотя все любят зрелища, потому что вторник — день рабочий и в особенности из многочисленных городских представителей немалое количество не сможет приехать.

Но в отношении японской колонии он думал сначала просить консула дать ему список лиц, которых он считал бы нужным пригласить на встречу, с тем чтобы и эти приглашения были разосланы от железной дороги с тем только, чтобы консул взял на себя и на избранных им лиц проверку и надзор за прибывающими. С такой мерой, однако, консул не согласился.

Он думает, что наплыв желающих из японской колонии видеть самого известного из японских государственных людей будет так велик, что разослать именные приглашения будет просто невозможно без опасения обидеть многих желающих и притом самых почтенных людей. Если бы Хорват даже настаивал на этом, то ему пришлось бы протестовать против такой меры, потому что она вызвала бы только бесконечные жалобы,

которые обрушились бы на него и могли бы дойти и до правительства и вызвали бы неудовольствие на то, что он не сумел оградить интересов японской колонии в таком исключительном случае, как возможность выразить дань уважения своему знаменитому гражданину, впервые посещающему Маньчжурию, где число японцев так велико. Он предложил взамен того вовсе не рассылать никаких приглашений для японской колонии, а предоставить ему как консулу допустить на перрон жел[езной] дороги всех лично ему или его сотрудникам известных японцев, — под его личную ответственность, и отвести для размещения колонии особое место, достаточно обширное и совершенно отдельное от русских депутатов, с тем чтобы сначала были приняты все русские депутаты, конечно, после китайских официальных лиц, а затем князь Ито был бы принят им, консулом Каваками, как бы на японской территории. Он предложил даже избранное им наиболее для того удобное место, а именно — в конце перрона, перед тем местом, у которого будет поставлен мой вагон, с тем, сказал он, чтобы после окончания всего приема князь Ито мог бы пройти прямо в мой вагон для посещения меня, как бы с ответным визитом на мое посещение тотчас по его прибытии в Харбин.

Генералу Хорвату все предложение показалось настолько правильным и логичным, что он принял его без всяких оговорок, обещал сегодня же доложить мне и не сомневается и в моем согласии. Он просил только консула, для порядка, написать ему об этом в ответ на полученное им уже от него письмо с просьбой об именном списке, что тот тотчас же и исполнил, и письмо это находится у него в деле.

Я нарочно останавливаюсь так подробно на этом вопросе, потому что последующие события более чем достаточно оправдывают такое подробное изложение.

Весь следующий день ушел у меня на продолжение разъездов днем от 4—7 часов и на длиннейшее утреннее заседание в управлении Китайской восточной дороги для направления целого ряда дел большого калибра. Я опасался, что пребывание князя Ито отнимет у меня немало времени, и спешил сделать до него все, что было возможно.

Вечером я настолько устал, что отказался от всех сделанных мне приглашений и остался у себя в вагоне вдвоем с Е.Д. Львовым, набрасывая заметки обо всем, что осталось в виде впечатлений от последних дней. В вагоне же мы и обедали вдвоем.

Перед тем, чтобы лечь спать перед утомительным завтрашним днем, я пригласил Е.Д. Львова выйти на вокзал, подышать морозным воздухом и полюбоваться чудесным лунным освещением. Ночь была, действительно, удивительная. Было около 10 градусов мороза, но тихо и совершенно безветренно.

Мы более часа гуляли по вокзалу, со всех сторон окруженному высоким забором и станционными зданиями. Не было ни души кругом нас,

если не считать двух часовых у моего вагона, от которых пограничное начальство никак не соглашалось освободить меня, несмотря на все мои просьбы.

Во время нашей прогулки мы остановились, между прочим, перед окнами залы третьего класса, которая и ночью была ярко освещена ацетиленовыми фонарями сверху потолка. Было светло, как днем, столы и стулья были составлены к середине залы, пол чисто вымыт, и мы даже посмеялись, что следовало бы пригласить заведующего контролем дороги, постоянно упрекающего дорогу в больших расходах по содержанию зданий в чистоте, чтоб он мог сделать, и притом не без основания, свои контрольные замечания. Это ничтожное с вида обстоятельство сыграло на следующий день свою и притом немалую роль.

Утром 13 октября я встал очень рано. Ожидалось прибытие поезда с князем Ито ровно в 9 часов.

С 7 часов вокзал стал заполняться публикой. Весь угол около моего вагона буквально кишел японцами, которых размещали чины консульства. Консул Каваками подошел ко мне и еще раз благодарил меня за то, что я согласился с его предложением относительно приема князя Ито японской колонией.

За калиткой, ведущей с перрона в город, стояла густая толпа японцев, из которой чины консульства, по-видимому, с большим вниманием выпускали группами и по одиночке людей на вокзал, указывая им место, где каждый должен встать. Порядок казался мне образцовым. Поговоривши с консулом и не желая мешать ему, я пошел к тому месту, где должен был остановиться вагон князя Ито, поговорил через переводчика с китайскими Дао-Таями, которые тут же просили меня назначить день для посещения их мной, причем Ли на этот раз перешел сам на русский язык и спросил меня, не предпочитаю ли я отложить мой визит до отъезда князя Ито, так как, несомненно, я буду очень занят во время его пребывания в Харбине, и мы тут же условились, что я сообщу им через ген[ерала] Хорвата, как только выясню сегодня же все вопросы, связанные с приездом японского гостя. Затем мы условились о самой процедуре представления в том смысле, что я буду просить князя Ито принять прежде всего почетный караул, как только он переговорит с китайскими сановниками и примет ген[ерала] Хорвата, командира корпуса пограничной стражи и начальника Заамурского округа генерала Чичагова, и уже после принятия почетного караула начнется прием им всех представляющихся.

Ровно в 9 часов, как было назначено по расписанию, подошел поезд. Как только он остановился, я вошел в салонный вагон, в котором, стоя у стола, ждал меня князь Ито и обратился ко мне со словами приветия, тотчас же переведенными мне на хороший французский язык одним из спутников, Танака, занимавшим потом должность начальника Южно-



Маньчжурской жел[езной] дороги. Он сказал мне, что когда в Японии стало известно, что я предполагаю прибыть в Маньчжурию для осмотра Китайской восточной дороги, состоящей под моим административным надзором, в Японии возникла надежда на то, что я продолжу мое путешествие до Японии и войду в личное соприкосновение со страной, которая понимает, как важно для нее самое искреннее сближение с Россией, с которой не должно быть более никаких недоразумений в будущем. Правительство его страны радовалось возможности принять меня и выразить в моем лице не только свои чувства к великой стране, но и показать, насколько она ценит то чувство справедливости и даже государственной мудрости, которое я проявляю во всех случаях, когда мне приходится разрешать вопросы, близко затрагивающие интересы обеих стран. Поэтому когда к великому огорчению правительства выяснилось, что неотложные дела моего ведомства и та сложная работа, которая лежит на мне, лишают меня возможности пойти навстречу этого желания, — у правительства Его Величества Микадо возникла мысль приветствовать меня хотя бы на территории Маньчжурии, где наши интересы соприкасаются так тесно, и он, князь Ито, был счастлив, несмотря на его годы и плохое состояние здоровья, принять это поручение и иметь удовольствие войти в непосредственное сношение с русским сановником, которого знает Япония и высоко ценит его за его деятельность на пользу своей родины.

Я ответил князю Ито, что я глубоко смущен той высокой оценкой моих трудов, которую я только что выслушал из уст сановника, снискавшего себе совершенно исключительное уважение далеко за пределами своей страны. Мне принадлежит, сказал я, исключительно исполнительная роль в пределах того ведомства, во главе которого я поставлен милостью и доверием моего Государя, и все, что я делаю, все направление сложных дел моего обширного ведомства, я делаю, исключительно выполняя предубаждения и волю моего Государя, и без его решения я не был бы в состоянии осуществить ни одного из тех начинаний, в которых судьбе было угодно дать мне возможность участвовать. Я могу поэтому, по глубокому моему убеждению, заверить его, что я сочту своим долгом довести до сведения моего Императора каждое слово, выслушанное мной, и отнесу его к той справедливости и присущему Его Величеству стремлению разрешать все вопросы, затрагивающие жизненные интересы его страны, руководствуясь такой же справедливостью и по отношению к тем странам, с которыми Россия желает жить в мире и согласии.

По мере перевода моего ответа, приводимого здесь лишь в виде сжатого конспекта, но записанного мной потом по горячим следам, князь Ито все время делал знаки головой и какими-то гортанными, совершенно непередаваемыми звуками, видимо, выражал свое удовольствие. Когда

же я кончил, он сказал мне, смотря упорно в мои глаза, буквально следующее:

”Я уже старый человек и привык много думать раньше, чем выражать мои мысли. Я надеюсь, что мы будем обо многом говорить с Вами, а пока скажу Вам только еще раз, что я счастлив встретиться с Вами потому, что мне кажется, что Вы выражаете свои мысли очень открыто и, по Вашему убеждению, у меня тоже нет никакой причины не быть с Вами искренним, и я уверен заранее, что Вы не услышите от меня ничего, что могло бы быть неприятно Вашему Государю или не полезно для Вашей великой страны, которой я желаю самого счастливого будущего и уверен, что она никогда более не встретит Японии против себя”.

Присутствовавший при начале нашей встречи консул Кавакама говорил мне уже несколько дней спустя, когда князя Ито не было более в живых, что он сказал присутствовавшим при нашем первом и последнем разговоре, прося их не переводить его слов, что он испытывает такую радость от первого впечатления, что у него совсем легко на душе и ему хотелось бы, чтобы и я испытывал такое же чувство.

С внешней стороны князь Ито произвел на меня глубокое впечатление: маленького роста с несколько чрезмерно большой головой, он имел уже усталый вид, но глаза его светились ярким светом и точно пронизывали собеседника, а некрасивое, несколько калмыцкого типа лицо было ласково и приветливо и невольно располагало к себе.

Окончивши обмен приветствиями, я просил разрешения князя Ито представить ему сначала только трех начальствующих лиц по управлению железной дорогой и моих немногих спутников, потом разрешить представить ему почетный караул от войск, охраняющих железную дорогу, как постоянный обычай, соблюдаемый всегда в России — оказывать воинские почести особенно чествуемым лицам, а затем представить ему, по группам, все учреждения, находящиеся в ведении Общества Китайской восточной дороги, и, под конец уже, передать его в руки японского консула, который представит ему всю многочисленную японскую колонию, после чего я буду ждать его у своего вагона с просьбой зайти ко мне для получения его согласия на предположенное распределение его времени или для выслушивания его желаний, которые, разумеется, тотчас же будут приняты мной.

На все мои предложения он ответил полным согласием и просил перевести, что он приехал ко мне и только для свидания со мной и отдает себя в мое полное распоряжение.

Мы вышли из вагона. Тут же я представил ему ген[ерала] Хорвата, которого он горячо благодарил за прекрасное передвижение по железной дороге и за все предоставленные ему удобства. Потом я представил генералов Пыхачева и Чичагова и просил занять место для принятия

почетного караула, отводя ему первое место, несмотря на то что он все настаивал на том, чтобы я его занял, и мы кончили тем, что стали рядом.

Быстро прошла знаменитая по своей выправке и подбору людей 19 рота Заамурского округа пограничной стражи, и потянулась затем довольно продолжительная и утомительная церемония представления отдельных групп и учреждений.

Начальствующие лица называли поименно представляющихся, каждому князь Ито подавал руку; последними стояли православные священники, непременно желавшие участвовать в приеме.

Когда кончилось на них представление, князю Ито надлежало перейти к японской колонии, стоявшей совершенно отдельно с небольшим перерывом от русских группировок.

Прежде чем отойти в сторону, я обратился к князю со словами: "Позвольте мне передать Вас в руки Вашего консула, который представит Вам Вашу национальную колонию в Харбине, самую многочисленную после русских и китайских подданных. Вы вступаете, таким образом, на Вашу территорию, и мы уступаем Вам все наши права". С той же кроткой улыбкой князь Ито горячо и крепко пожал мне руку.

Я собирался было отойти в сторону, чтобы дать ему более свободное место пройти к своим соотечественникам, как в эту самую минуту около меня раздалось несколько — три или четыре — глухих ударов, как бы хлопнушки, и князь Ито стал падать прямо на меня. Я не успел поддержать его вполне, и он упал бы на пол, если бы не подбежал следовавший за мной по пятам мой курьер Карасев, который поддержал его вместе со мной. Раздалось еще несколько выстрелов, толпа ринулась в сторону стрелявшего, адъютант генерала Пыхачева ротмистр Титков сбил его с ног и сдал чинам жандармского полицейского надзора дороги. Многие побежали через рельсы дороги прочь от места катастрофы, и в числе их я видел, как бежали оба китайские генерал-губернатора, подобравшие длинную свою одежду.

Мы подняли на руки князя Ито, я взял его под плечи, Карасев за ноги, подошло еще несколько человек, бережно поддерживавших кто вместе со мной за плечи, кто за середину тела, и мы понесли его к его вагону, из которого менее чем за час перед тем он вышел веселый и улыбающийся.

Когда мы внесли его в салон и положили на диван, я подложил под его голову кожаную подушку и потребовал доктора. Князь лежал без всякого движения и медленно, едва заметно дышал. Казалось, что он уже умер, хотя дыхание было еще слегка заметно.

С другого конца вагона внесли туда же раненого в ногу одного из его спутников — Танаку, и мне сказали, что ранен тяжело в ногу и консул Каваками и еще один японский чиновник из свиты князя Ито.

Вошел доктор, осмотрел раны и сказал, что по первому впечатлению положение безнадежно, так как две раны нанесены в полость сердца и

пульса почти не слышно. Кто-то из прибывших с князем Ито обратился ко мне с просьбой оставить раненого среди его спутников, которые уже пригласили японского врача. Я вышел из вагона, послал справиться о положении консула, отвезенного в железнодорожную больницу у самого вокзала, и стал вместе с начальством дороги и моими спутниками ждать прибытия японского врача и его решения.

Бесконечно долго тянулось время, хотя прошло не более всего 15–20 минут, говорить ни с кем не хотелось, каждый думал свою думу. Пришли мне доложить, что преступник арестован и содержится под усиленным караулом в помещении жандармского надзора на самом вокзале, что допрос его следователем и прокурором окружного суда уже начат, и он назвал свое имя, заявивши, что он кореец, убил князя Ито совершенно сознательно, потому что по его рассуждению, как бывшего генерал-губернатора Кореи, неправильно были осуждены и казнены члены его семьи.

Вскоре из вагона вышел кто-то из японских спутников и сказал, что князь скончался. Я вошел в вагон, других никого просили не входить. Тело князя было положено на раздвинутый обеденный стол. Под головой лежала положенная мной кожаная подушка. Тело лежало одетое в темно-коричневый шелковый халат. Выражение лица было совершенно спокойное и не носило следов страдания. Несколько человек японцев стояли молча в углу салона в согнутом положении и при моем входе как-то еще ниже склонились.

Поклонившись праху, я вышел из вагона и пошел к себе в вагон, прося зайти туда прокурора окружного суда, как только он освободится. Не успел я дойти до конца платформы, где стоял мой вагон, как меня догнал, не помню хорошенько, кто именно, кажется, Е.Д. Львов, и сказал, что раненый старший спутник князя Ито – Танака просит меня войти к нему, так как у него есть ко мне большая просьба.

Я нашел его в одном из отделений того вагона, в котором лежало тело князя Ито. Нога его была перевязана, и рана найдена доктором серьезной, но не угрожающей жизни, хотя и требующей продолжительного лечения. О самом происшествии он не сказал мне ни слова, но обратился ко мне с вопросом, когда может быть увезено тело князя, так как ему кажется, что наилучшим решением было бы немедленно отправить его в предельно японского участка жел[езной] дороги, где правильнее ждать распоряжений о возвращении его домой. Не наводя никаких справок, я ответил ему, что тело может быть увезено, когда им угодно, потому что мы не имеем никакого права задерживать его при ясности всего, что произошло, и сознании преступника, а для приготовления поезда требуется очень немного времени.

Ген[ерал] Хорват, находившийся тут же, поддержал мои слова и предложил назначить экстренный поезд через час. Прокурор окружного суда

и судебный следователь также не встретили никаких возражений и просили только сообщить подробности осмотра тела японским и нашим врачом, которые были между собой совершенно согласны. Я съездил в магазин Чурина, выбрал лучший, который оказался там, металлический венок с фарфоровыми цветами весьма неважного вкуса и достоинства, и ровно в половине 12-го утра в сопровождении того же генерала Афанасьева, который привез покойного князя Ито, тело его покинуло Харбин.

Не успел скрыться экстренный поезд из вида, как генерал Хорват пришел ко мне и заявил, что три корреспондента японских газет, приехавшие вместе с князем Ито, не выехали из Харбина и настойчиво не только просят, но даже требуют свидания со мной, так как они должны немедленно послать депеши обо всем случившемся в Токио.

Из окна вагона я видел их у самого вагона, чуть ли не насильно стремящихся войти ко мне, но их не пускала стража. Я надел пальто, вышел из вагона, направляясь в больницу справиться о состоянии ран консула Каваками, и подошел к ним, чтобы сказать (они плохо говорили по-русски и лучше по-французски), что я приму их тотчас по возвращении из больницы после посещения их консула, и когда они в весьма неприличной и даже резкой форме заявили мне, что печать не может ждать, пока я решусь их принять, я ответил им, также повысивши голос, что они здесь не хозяева, что я и без того оказываю им исключительное внимание, обещая принять их тотчас после посещения их консула, и прошу их, во всяком случае, изменить их тон разговора со мной.

У ворот железнодорожной больницы меня встретила жена консула, принесла мне на плохом английском языке благодарность и за мое желание навестить ее мужа и за тот прекрасный уход, которым он окружен в больнице, и мы вместе с ней вошли в палату, где лежал Каваками.

Не удаляя жены, он сказал мне, что единственное, что составляет предмет его величайшего горя, это то, что он не убит вместе с князем Ито, потому что это страшное для Японии несчастье случилось исключительно по его вине. И тут же он повторил с буквальной точностью все, что я знал еще накануне от генерала Хорвата, относительно его настоящих организаций приема и происшедшей об этом переписке. Он передал мне еще ряд второстепенных подробностей, устанавливающих с полной несомненностью отсутствие самой отдаленной ответственности железнодорожной администрации в этом прискорбном происшествии, и прибавил, что еще сегодня, если только врачи ему позволят, он составит в этом смысле донесение своему правительству и передаст копию генералу Хорвату.

Я передал ему тут же, какое нападение повели на меня представители японской печати, насколько они были непозволительно невежливы и даже грубы, и предупредил его, что если они сохранят тот же тон и при предстоящей нашей беседе, то я попрошу их удалиться из моего вагона.

Каваками, без всякого моего заявления, выразил намерение пригласить их к себе, как только врачи разрешат ему принять их, и повторить им все, что говорил мне, и даже покажет им свое донесение Министерству иностранных дел.

Успокоивши его, как я только мог это сделать, я вернулся на вокзал и нашел у вагона тех же корреспондентов, которых окружала толпа японцев, и их не без труда оттесняла от моего вагона железнодорожная полиция. Следом за мной эти назойливые господа вошли в мой вагон. Я предложил им выждать, пока я напишу три телеграммы в Петербург: министру иностранных дел для передачи по месту его нахождения, так как я не знал, где находится в настоящую минуту Государь, которого он сопровождал в его поездке в Италию, председателю Совета министров Столыпину и моей жене. И тут не обошлось без столкновения, так как газетные корреспонденты продолжали настаивать на том, чтобы я немедленно выслушал их вопросы и дал на них им разъяснения, а не заставлял их еще ждать, пока я не окончу мои занятия.

Мне не оставалось ничего иного, как сказать им, что от них зависит либо обождать, либо прийти ко мне в другой час по моему назначению. Они подчинились, дали мне возможность набросать срочные телеграммы, добавить к ним еще депешу нашему послу в Японии и начать беседу с этими назойливыми представителями печати.

Не стоит приводить всех разговоров с ними. Они начались с прямого обвинения русской власти в полном бездействии, которым только и можно объяснить происшедшее несчастье.

Один из корреспондентов дошел даже до того, что высказал, что Япония сумела бы оградить мою безопасность, если бы вместо Ито, оказавшего мне великую честь прибытием своим для свидания со мной, я сам, как более молодой, чем он, предпочел бы посетить Японию, а вот теперь высший сановник Японии, искавший встречи с русским министром, убит только потому, что отвечающая за порядок на железной дороге русская власть не сумела или даже не захотела сберечь его.

Опасаясь, что разговоры в этом тоне могут дойти до очень неприятных размеров, я резко оборвал его, предложивши ему прекратить подобные недопустимые обвинения, которых я не намерен выслушивать, потому что они оскорбительны для русской власти и основаны только на том, что представители печати, ничего не зная, дают место вполне понятному чувству испытываемого ими горя и ищут виновника там, где они его не найдут, не потрудились даже обратиться к своему консулу, который вероятно не меньший японский патриот, нежели они, но разница с ним только одна — та, что он честный человек и не постеснялся подтвердить мне то, что он сегодня же пишет своему правительству, излагая ему, что русская железнодорожная власть неповинна во всем случившемся, потому что он, консул, принял на себя всю ответственность за прием

князя Ито и даже письменно просил передать ему лично всю власть по организации приема. То же самое он только что подтвердил мне лично и обещал даже передать копию своего донесения своему начальству, ставя открыто на карту всю свою службу и не подражая гг. представителям печати, которые, не рискуя ничем, оскорбляют русскую власть, сами не располагая никакими сведениями о действительной обстановке, при которой пал жертвой преступления их заслуженный государственный деятель.

Присутствовавшие при нашем разговоре два других представителя печати сказали их собрату что-то кратко по-японски, — он смолк, и они уже в совершенно вежливой форме обратились ко мне с просьбой рассказать им, как был организован прием японской колонии и почему не были приняты необходимые меры предосторожности.

Я передал им все, что изложено выше, и закончил тем, что я понимаю их волнение и советую им послать пока предварительное донесение в Токио с изложением моей версии, но сказать в этом донесении, что они проверят мое объяснение через консула Каваками, которого увидят, как только разрешат им это пользующие его врачи.

Между ними началась длинная перебранка по-японски, и они некоторое время спустя покинули меня, заявивши, что решили поступить именно так, как я им советую, и один из них извинился даже за допущенные резкости, прося меня понять, под влиянием какого волнения были они высказаны.

Не успели выйти от меня эти корреспонденты, как ко мне пришел товарищ прокурора, присутствовавший при допросе преступника, и передал, что последний на вопрос следователя и прокурора, когда и откуда он прибыл в Харбин, — ответил, что он прибыл из Владивостока накануне преступления, на вопрос, где он провел ночь и как попал на вокзал к моменту прибытия князя Ито, — пояснил, что ночь он провел на вокзале же в зале третьего класса и вошел совершенно свободно на перрон, смешавшись с толпой японцев, входивших через особую дверь без всякой проверки документов, причем никто даже не спросил его, кто он такой.

Выслушавши такое заявление, я сказал товарищу прокурора, что прошу его предложить прокурору, не найдет ли он полезным для дела спросить меня и моего директора канцелярии Е.Д. Львова в качестве свидетелей, так как самый факт проведенной преступником ночи на вокзале был бы неблагоприятен для нашей железной дороги, если бы он был верен, а между тем мы оба можем показать под присягой то, что было нами замечено накануне, а именно, что в зале третьего класса не было ни одной души ночью, и, следовательно, все показание преступника падает, как, вероятно, неверно и заявление его о том, что он прибыл накануне из Владивостока.

Ушли японцы, ушел и товарищ прокурора, и я стал ждать ответа на сделанное мною предложение.

Всего несколько минут спустя тот же товарищ прокурора вернулся ко мне и передал мне просьбу прокурора дать мое показание, так как оно не только очень важно для ответственности железной дороги, но имеет и существенное значение для следствия. Он прибавил, что допрос Е.Д. Львова будет зависеть от моего показания и от ответа на него преступника.

Я тотчас же пошел на вокзал в помещение Жандармского управления дороги, где происходил допрос преступника. Последний стоял в углу комнаты, по обеим сторонам его стояли часовые от полицейского надзора города Харбина. Прокурор обратился к нему с заявлением о том, что по поводу его заявления, что он провел ночь на вокзале; имеется свидетель, который желает дать показание, что это заявление неверно.

Преступник отнесся к этому вопросу, переведенному на корейский язык, совершенно безучастно. Лично на меня он произвел очень хорошее впечатление: молодой, даже красивый, стройный, хорошего роста, совершенно не похожий на японца, с почти белым лицом и настолько отличавшийся от общеяпонского типа, что один внимательный наружный осмотр его при пропуске, если бы он был произведен приставленными к пропуску консулом людьми, не мог бы не остановить на нем своего внимания. Меня просили дать мое показание медленно, дабы оно могло быть фраза за фразой переведено на корейский язык. Я так и сделал, рассказавши все то, что уже выше мной описано. Когда я кончил, следовательно спросил преступника, что может он сказать по поводу выслушанного показания и понял ли он его. Он ответил совершенно спокойным голосом: "Я все понял и ничего не могу возразить. Я не знаю свидетеля и нигде его никогда не видел, но могу только сказать, что он показал одну правду. Я не провел последнюю ночь на вокзале и приехал в Харбин не вчера, а когда именно и откуда, — я не скажу, как не скажу и того, где я провел мое время в Харбине, ожидая приезда Ито. Мне никто не помогал, я один решился убить его, и один я должен ответить за то, что сделал".

На этом кончился мой допрос, и я просил прокурора разрешить мне не делать тайны из ответа преступника и моего показания, если бы меня стали спрашивать корреспонденты японских газет, проявляющие столько нервной раздражительности.

Остаток дня 13 октября и весь следующий день прошли сравнительно спокойно. Никто из газетных представителей не посетил меня, и я стал постепенно возвращаться к ожидавшим моего рассмотрения делам и успел даже посетить вместе с генералом Хорватом генерал-губернатора Ли, который избегал говорить о каких бы то ни было деловых вопросах, опасаясь сказать что-нибудь лишнее, и только одна фраза, произнесенная как бы невзначай, указывала на то, что и до него дошел шум, поднятый



корреспондентами японских газет, а может быть, эти господа, прекрасно осведомленные о его настроении в отношении Китайской восточной железной дороги и всему русскому, успели посетить его с целью получить от него что-либо полезное для их кампании против дороги и меня. Он сказал мне, выражая сочувствие тому, что я не пострадал в "этом печальном событии, которое легко могло быть направлено против меня, и как хорошо, что нельзя ни в чем обвинить дорогу, так как всем прекрасно известно, что японский консул именно просил ее предоставить ему полную власть в организации приема князя Ито". Я воспользовался этим проявлением любезности, чтобы сказать ему в надежде, что он передаст мои слова японцам: "Да, это совершенно верно, но это не мешает корреспондентам японских газет быть чрезвычайно грубыми по отношению ко мне и открыто обвинять генерала Хорвата в том, что во всем случившемся мы виновны, а что князь Ито убит корейцем на территории железной дороги по нашей небрежности или чуть ли даже не по нашему умыслу".

Я прибавил, что они скоро убедятся, насколько они вели себя неприлично, и что такое их отношение не оправдывается вовсе испытанным ими потрясением. Я имею много оснований думать, что мои слова были переданы корреспондентам, потому что и ген[ерал] Хорват говорил потом, что около Ли сосредоточивались всегда пересуды, неблагоприятные для железной дороги.

За эти два дня я все поджидал ответа на мои телеграммы как из Петербурга от жены и от Столыпина, так в особенности из Токио от нашего посла.

Депеши от жены и от Столыпина пришли только поздно вечером 14 числа, и я успел еще послать им успокоительные известия в тот же день, но из Токио не было решительно ничего, и я не знал вообще, как отнеслось общественное мнение Японии к печальному событию 13 октября, и недоумевал, почему и посол не откликнулся на мою телеграмму, несмотря на то что в ней содержалась просьба известить меня о том, как восприняло это событие правительство.

Только на следующий день перед самым моим выездом из Харбина для встречи с приамурским генерал-губернатором Унтербергером на станции Пограничной для совместной поездки далее в Хабаровск я получил первые отголоски на мою телеграмму в Токио.

Посол извещал меня шифром, что он получил мою депешу с большим опозданием, очевидно, вследствие того, что она была задержана на японском телеграфе, что первые известия об убийстве князя Ито не сопровождалась никакими комментариями и тон газет был особенно сдержан, хотя в нем можно было подсмотреть, скорее, недоумение, как могло произойти такое несчастье на территории государства, располагающего всей полнотой власти в полосе отчуждения дороги, и очевидно, что к Китаю не может быть предъявлено никаких обвинений. Ясно было поэтому, что на

нас тяготее такое обвинение, и оно не высказывается открыто только в ожидании более подробных сведений. Посол прибавлял, что "сегодня тон газет совершенно иной, очевидно, что правительство получило какие-то сообщения из Харбина, нас не только ни в чем более не обвиняют, но лично мне посвящено много прочувствованных слов и самое сердечное выражение благодарности за трогательное внимание, оказанное князю Ито в минуту покаяния, и за то, как внимательно отнеслась к нему дорога с первой минуты прибытия его на ее территорию".

Посол прибавлял еще, что все скрытое раздражение первой минуты сменилось самым искренним сожалением о случившемся и выражением надежды на то, что это печальное событие послужит только к сближению двух стран, уже и теперь не оставляющему желать лучшего.

В этот день перед моим временным отъездом из Харбина я почти не был на вокзале и провел много часов в управлении жел[езной] дороги и в заседании городского совета.

Когда я приехал, чтобы подготовиться к отъезду, мне сказал Е.Д. Львов, что корреспонденты японских газет много раз приезжали на вокзал, чтобы видеться со мной, и просили непременно принять их перед моим выездом в Хабаровск и, вероятно, находятся на вокзале, не желая пропустить меня.

Не успел он мне передать этого, как они явились снова втроем и "прямо вошли в мой вагон". Внешний вид их был неузнаваемым. Недавнее высокомерие сменилось низкопоклонством, и они, не выбирая выражения, просили меня простить им их "непозволительное" поведение, о котором они глубоко сожалеют и сами, потому что знают, как несправедливы были их попытки обвинить русскую администрацию в небрежности к своему гостю. Они заявили мне, что видели консула Каваками, который дал им все разъяснения, переданные ими уже в их газеты, и с полным благородством взял на себя всю вину, которой на самом деле и не было, так как подобное несчастье могло произойти при каких угодно условиях.

На этом весь инцидент был исчерпан, тем более что харбинские газеты опубликовали уже в вечернем их выпуске тождественное их заявление.

\* \* \*

Генерал Унтербергер встретил меня на Пограничной в состоянии, близком к панике. После принятия почетного караула, как только мы остались вдвоем в моем вагоне, он сказал мне, что не сомневался ни на минуту, что случившееся событие только ускорит развязку, и не пройдет и нескольких дней, как мы узнаем о нападении Японии на нас.

Говорить о том, каких усилий стоило мне, чтобы привести его в более спокойное настроение, — просто не стоит, и я думаю, что при всем кажущемся успокоении он продолжал мне в душе не верить и все твердил об

одном: "Вы должны убедиться сами в нашей беззащитности и доложить о ней Государю". Зачем он настаивал о моем прибытии в Хабаровск, к чему показывал он мне свою амурскую флотилию, пригодную разве только для борьбы с Китаем, но не имеющую ни малейшего значения в отношении отражения нападения Японии, зачем потребовал он, чтобы я совершил вместе с ним переход на Аскольде из Владивостока в Новокиевское селение, как избранное им новое место укрепления нашего побережья, — остается мне совершенно непонятным до сих пор. Пользы от этих экскурсий я никакой не извлек, время потерял и отнял немало дней от пребывания в Харбине, заставляя потом и себя и всех отнимать ночные часы для работы.

Но я могу сказать по совести, что на Владивосток я дал все время, которое было необходимо для выяснения как самому себе, так и генералу Унтербергеру неправильности его телеграмм с обвинениями Министерства финансов в непредоставлении нужных кредитов на оборону этого лучшего нашего опорного пункта на Тихом океане, представляющего своими естественными условиями все удобства сделать его трудным для захвата. Впрочем, к чести генерала Унтербергера нужно сказать, что он руководствовался почти исключительно теми ответами, которые ему давало Военное министерство на его настояния, и не дал себе труда проверить на месте неправильность их.

Зато мне, прибывшему со всеми данными о размерах кредитов, не использованных Военным министерством, не стоило большого труда разъяснить ему на месте же истинное положение вещей, и как человек честный, хотя и ограниченный, он быстро перешел из моих обвинителей — в самого ревностного защитника моего перед Военным министерством, когда последнее тотчас по моем возвращении и представлении Государю отчета о поездке возобновило свою песню о вечных затруднениях, чинимых мной.

С разрешения генерал-губернатора его военные подчиненные открыли мне все безнадежное положение крепости и всю ее беззащитность, вытекавшую из того, что все их представления годами лежали без движения в Военном министерстве. Дело доходило до прямого анекдота, и было просто смешно, если бы не было на самом деле грустно, как один из образчиков того особого отношения к своим обязанностям, которыми отличался военный министр Сухомлинов.

После целого ряда сношений с управлением Владивостокской крепости Главное инженерное управление наметило общий план обороны крепости и поручило детальную его разработку инженерной части крепости. Последняя составила детальный план и послала его в Петербург. Долго лежал этот план без всякого ответа, и ни сметы, ни детали плана не были даже затребованы.

В один прекрасный день комендант крепости получает шифрованную телеграмму военного министра такого содержания:

”Государь Император лично интересуется знать, когда будет закончено сооружение оборонительной линии № такой-то и, в частности, высоты № 270”.

Изумлению в управлении крепости не было конца, потому что не только сооружение этой линии не было начато, а следовательно, и вопрос о сроке окончания становился непонятным, но самое существование этой оборонительной линии было под сомнением, так как взгляд на нее строителя крепости генерала Жигалковского не разделялся комендантом и вызывал большие споры в Главном инженерном управлении; да и сам генерал-губернатор Унтербергер, по специальности военный инженер, далеко не был вполне убежден в пользе именно этой линии и, в частности, высоты № 270.

Меня свозили даже взглянуть на эту спорную высоту, которой ген[ерал] Жигалковский придавал значение первостепенной важности, как пункту, дававшему наибольший простор обстрела, но из моей экскурсии ничего не вышло. Мы попали в такой туман, даже не доехавши до высоты № 270, что пришлось спуститься вниз, не вынеся никакого впечатления.

Уже после моего возвращения в Петербург я имел случай говорить об этом инциденте с помощником военного министра Поливановым, который сказал мне, что он хорошо знает весь спорный вопрос, вполне разделяет взгляд ген[ерала] Жигалковского, но в Главном инженерном управлении держатся совершенно иного взгляда, и вероятно дело потребует особого исследования на месте раньше, чем будет принято какое-либо решение.

Чем кончился этот вопрос, я так и не узнал до самого моего ухода из министерства пять лет спустя.

Польза от пребывания моего во Владивостоке была, однако, немалая. Я оставил в руках ген[ерала] Унтербергера точный перечень кредитов, открытых на Владивосток и не израсходованных на месте. В обмен я получил от крепостного управления любопытное извлечение о переписке его с Петербургом и самый красноречивый перечень тех вопросов, по которым или не было получено никакого ответа в течение нескольких лет, или получались указания, сводившиеся к пересмотру ранее решенных дел и предложению разработать те же вопросы в совершенно новом направлении. Инженерное управление бросало сделанную работу, принималось за новую и опять получалась только невероятная волокита.

Передавая мне эти справки в присутствии коменданта и ген[ерал]-губернатора, генерал Жигалковский совершенно открыто заявил, что ни он, никто из его сотрудников совершенно не верит тому, что когда-либо

начнутся настоящие работы, и что прав был в сущности ген[ерал] Редигер, предлагавший еще в 1905 или 1906 году просто упразднить Владивостокскую крепость, потому что как он, так и все местное управление инженерной частью крепости только даром получает жалованье и занимается всем надоевшей бесплодной перепиской, в пользу которой никто не верит.

Все это я изложил в моем отчете, представленном Государю, смягчив только краски, но не скрыв от него ничего из вынесенных впечатлений.

Вернувшись в Харбин под самым грустным впечатлением, я мог только успокоить ген[ерала] Унтербергера тем, что его опасения относительно близкого нападения на нас Японии не отвечают действительности, как и виновность Министерства финансов в создавшемся положении. К чести ген[ерала] Унтербергера я должен сказать, что его панические телеграммы с тех пор совершенно прекратились, как перестал он в своих донесениях Государю ссылаться на безнадежное состояние Владивостокской крепости по неассигнованию необходимых кредитов.

Мне же лично при нашем расставании на Пограничной он сказал прямо, что не понимает, как можно быть настолько недобросовестным, как выяснилось теперь, было Военное министерство, или, в сущности, — военный министр.

Описанию положения Владивостокской крепости я посвятил особую, конфиденциальную часть моего общего доклада и не сообщил ее никому, кроме председателя Совета министров, о чем и доложил Государю, представляя ему оба мои доклада.

Возвращение мое в Харбин из поездки в Хабаровск и Владивосток доставило мне ряд благоприятных впечатлений в связи с последствием убийства князя Ито. Харбинские газеты были полны самых разнообразных сведений заимствованных ими из прибывших японских газет. Все они в один голос говорили о том, что как в правительстве, так и в общественном мнении Японии не осталось и следа сколько-нибудь неблагоприятного впечатления от действий русской власти в момент печального события. Газеты наперерыв оправдывали действия железнодорожного начальства и слагали с него всякую ответственность за случившееся, открыто говоря, что дорога не могла не предоставить японскому консулу всей свободы действий, коль скоро он сам просил об этом и принимал на себя всю полноту ответственности. Были даже и такие суждения, что каждый японец, который заявил бы о своем желании представиться своему сановнику в минуту его прибытия и не получил бы почему-либо на то разрешения железнодорожной власти, имел бы право жаловаться на стеснения, и русское управление дорогой не избежало бы самых неприятных последствий за сделанные им распоряжения, хотя бы они были внушены самыми лучшими побуждениями.

Наш посол в Токио прислал мне телеграмму, передавая соболезнова-

ния японского правительства по случаю печального события, и передавал лично мне самую искреннюю его благодарность за оказанное мной внимание покойному князю Ито, прося меня передать ее всей русской администрации, проявившей столько трогательного внимания в критическую минуту.

Это демонстративное внимание ко мне проявилось затем несколько дней спустя, еще до выезда моего из Харбина, особенно рельефно по поводу похорон князя Ито.

По личному распоряжению Императора установлен был особый торжественный церемониал погребения князя Ито, и одним из пунктов его было указано ввиду огромного количества венков и всякого рода эмблем, возложенных на гроб умершего, — допустить до внесения в место погребения только три венка — от Императора, от вдовы князя Ито и тот, который был возложен мной в минуту его кончины. Таким образом, скромный венок, найденный мной в магазине Чурина, остался на могиле убитого и хранится на ней, вероятно, и сейчас.

Газеты, кроме того, в целом ряде статей возвращались все к тому же вопросу о том, как отрадно было бы свидание двух сановников, если бы оно могло быть доведено до дружеской беседы между ними, потому что князь Ито, исполняя волю своего Императора, имел в виду только еще более сблизить взаимные интересы двух народов в целях устранения всякой неясности в их взаимных отношениях.

Те же самые мысли повторил мне потом, тотчас по моем возвращении японский пссол барон Мотоно, когда я приехал к нему, опередив его моим визитом.

Все последующие дни до выезда моего из Харбина в обратный путь ушли на непрерывную работу по самым разнообразным вопросам, касавшимся дороги и ее предприятий.

Я не говорю вовсе о том, насколько моя задача была облегчена тем особым вниманием и помощью, которую я встретил от всех, без всякого исключения, лиц и учреждений, с которыми мне пришлось встретиться в эту пору. Каждый не знал, чем проявить мне свое внимание, — видимо, у всех сохранилось в памяти то отношение, которое я проявил в пору войны, и не раз при довольно острых разногласиях, в особенности в Городском Совете, точка зрения дороги получала свое осуществление только потому, что мой авторитет всегда был на стороне дороги, правда, проводившей справедливую и легко защищаемую политику.

Но еще полезнее для меня была открытая возможность знакомиться с самым интересным для меня и всего менее ясным вопросом о том, какво было в ту пору положение Китая, и насколько мы могли быть спокойны за то исключительное положение, которое занимала Россия с точки зрения ее концессии в Маньчжурии. Сношение с самыми разнообразными людьми как во Владивостоке, так и еще более того — в Харбине, не остав-

ляло для меня места какому-либо сомнению в том, что китайская власть слаба до последней степени и совершенно неспособна ни на какое сопротивление нам, если только мы стояли на почве нашего контракта. Она желала только одного, — чтобы ее никто не трогал и не пытался приобретать для себя каких-либо новых преимуществ, так как за всякой уступкой в нашу пользу автоматически шли попытки со стороны других стран, выговорить для себя какие-либо компенсации.

Отражения на Маньчжурской дороге и ее предприятиях какого-либо влияния центральной власти Китая не было заметно ни в одном из острых вопросов, выдвинутых жизнью, и все стремления генерала Хорвата, пользовавшегося большим влиянием среди местных китайских властей, сводились исключительно к тому, чтобы не поднимать никаких вопросов, требующих разрешения Пекина, и обходиться теми, которые могли быть решены властью местных Дао-Таев. Эти последние сами говорили в непринужденной беседе, что все, что они могут сделать, они охотно сделают, а все, что требует высшей административной санкции, они направят в Пекин с неблагоприятным их отзывом, потому что там вообще ничего нового не решат и дальше буквы договора не пойдут. Оттого нам всегда было очень легко ладить с расположенным к нам Дао-Таем Хейлудзянской провинции и ничего нельзя было добиться от его коллеги — Гиринского генерал-губернатора. Первый даже не раз в откровенной беседе со мной при переводчице Китайской восточной дороги, которому он вполне доверял (по-видимому тот был даже его родственником), совершенно открыто просил меня не поднимать никаких новых вопросов (их было в особенности много в связи с домогательствами консулов по новому городскому управлению), если только их предстоит направить в Пекин.

Однажды даже он как-то особенно был склонен к откровенности и на мой вопрос, почему же он так боится сношения с Пекином по вопросам, представляющим интерес и для него, и для нас, — он ответил, что я, как представитель страны с хорошо организованной властью, не могу себе представить, что может быть страна, в которой в сущности никакой центральной власти более нет и которая желает только одного — чтобы ее оставили в покое и справлялись в каждой провинции собственными силами, изыскивая и свои средства и не спрашивая ничего у этой центральной власти. Затем, помолчавши и как-то нехотя, он сказал: "После смерти Ли-Хун-Чанга, которого я хорошо знал (он был у него, кажется, секретарем), у нас нет более никого, кто знал бы, чего он хочет".

По странной случайности меня познакомили во Владивостоке с одним китайским генералом новейшей формации, не носившим более косы, затянутым в современный военный мундир японского образца, возвращавшимся из служебной поездки в Японию. Я провел с ним довольно много времени в беседе на английском языке сначала в моем вагоне, а

потом уже в Харбине, когда он пригласил меня к обеду. Его разговор был совершенно того же характера, и он даже выразился еще более решительно: "У Китая нет более головы" (China has no head).

О том, какова была в ту пору на самом деле китайская власть по крайней мере в Маньчжурии, мне приходилось убеждаться не раз во время моих передвижений в оба пути по Китайской восточной дороге.

Почти на каждой сколько-нибудь продолжительной остановке, неизменно, после принятия почетного караула от пограничной стражи или от железнодорожной бригады меня просили поздороваться со стоявшей в сторонке китайской воинской командой, иногда довольно многочисленной, иногда сравнительно небольшого состава. Разговор с офицерами всегда происходил через переводчика, и почти всегда, спрашивая о численности войсковой части, я неизменно получал один и тот же ответ: "Число моей части изменяется по мере надобности".

Когда же мы потом сядились в вагон, то мои спутники совершенно стереотипно говорили мне: "Как жаль, что нельзя расспросить, что значит эта фраза, потому что очевидно — ни один из китайских офицеров не сможет сказать правды, а она заключается в том, что он и сам не знает, сколько у него людей, потому что сегодня они его подчиненные, а завтра ушли в хунхузы и грабят мирное население". И против этого ничего сказать нельзя, так как средства на содержание людей офицеры получали крайне неисправно, и часто они должны были содержать своих людей, кто как умеет.

И в самом деле, на одном перегоне, когда мой вагон был прицеплен к проходившему поезду, я видел, как на одном разъезде поезд остановился и в один из задних вагонов вошла группа китайских солдат, сопровождавшая такую же группу таких же солдат в форме, но без оружия. Оказалось, что это были их же товарищи, ушедшие в хунхузы и согласившиеся вернуться в часть при условии безнаказанности.

Наша пограничная стража, охранявшая дорогу, постоянно наблюдала это явление, ставшее хроническим почти во всех китайских отрядах, расположенных недалеко от полосы отчуждения китайской восточной дороги, находившейся в нашем ведении. С нашей стражей эти воинские части жили очень мирно, никогда не проявляли своей грабительской деятельности среди русского населения и даже крайне редко нападали и на китайцев в полосе отчуждения, но за ее пределами бесчинствовали совершенно безнаказанно. Оба китайские генерал-губернатора не раз говорили мне при наших многократных беседах, что им крайне неприятно постоянное увеличение китайского населения в нашей железнодорожной полосе и слишком быстрый рост населения в наших поселениях с уходом целых десятков семей почти ежедневно из китайских деревень. Мы неизменно вместе с ген[ералом] Хорватом отвечали им, что дорога не только не принимает никаких мер к привлечению китайцев в свои поселения, но



даже была бы рада меньшему их наплыву, потому что они только увеличивают наплыв безработных и не особенно приятны администрации их конкуренцией русскому труду, оседающему на полосе дороги, но не имеем возможности искусственно препятствовать их наплыву, потому что они чувствуют себя в большей безопасности у нас, нежели за пределами нашей полосы, хотя бы от бродячих воинских китайских частей. Они не могли мне ничего сказать на это и сами не отвергали, что их положение чрезвычайно осложнено плохой организацией воинских частей во всей Маньчжурии.

Моя поездка в Маньчжурию и в особенности посещение Владивостока и Хабаровска имела всего через полгода оригинальный эпилог.

Весь обратный мой путь от станции Маньчжурия и до Москвы я посвятил составлению подробного отчета о всем, что я видел, что слышал и к каким результатам я пришел. Я диктовал отчет Е.Д. Львову, он быстро переписывал его, передавал написанное мне, и, по исправлению, части отчета тут же перепечатывались на пишущей машинке.

К возвращению моему в Петербург весь отчет был совершенно готов и осталось только напечатать его как для представления его Государю, так и для испрошения его разрешения передать его всем министрам, за исключением части, касающейся обзора мной Владивостока, которую я предполагал представить только Государю, председателю Совета министров Столыпину и военному министру.

Отчет Государю я представил при первом моем докладе еще в половине ноября. После самого подробного расспроса обо всем, что я видел, и, в особенности, об обстоятельствах убийства князя Ито, Государь сказал мне, что он получил от Извольского первое извещение об убийстве в поезде при проезде по южной Германии и был чрезвычайно встревожен этим событием, невольно припоминая все зловещие телеграммы, которыми так недавно засыпал его генерал Унтербергер. Его успокаивала только уверенность в том, что мной будет сделано все, чтобы отвести нашу ответственность в этом событии и смягчить его последствия, конечно, крайне обидные для Японии.

Он горячо благодарил меня за принятые меры и за выяснение всей обстановки через представителей японской печати, и он с особенной радостью получил уже после, через Извольского, ряд подтверждений, что в японском правительстве, как и в общественном мнении, не осталось и следа какого-либо неудовольствия на нас. Японский посол барон Мотоно был у него даже в особой аудиенции, для того чтобы выразить признательность его правительства за все мои действия и заверить нас в том, что на нашей администрации не лежит ни малейшей ответственности за то, что произошло.

По отношению же к представленному мной отчету Государь вернул мне этот отчет с целым рядом самых лестных для меня отметок, а на

отчете по Владивостоку написал, что он преподаст свои указания военному министру, сердечно благодарит меня за всестороннее освещение истинного положения вещей и уверен в том, что не услышит более несправедливых обвинений министра финансов в неассигновании достаточных кредитов, когда и отпущенные остаются годами без употребления.

Совет министров заслушал мой отчет и все резолюции Государя; все министры отозвались крайне сочувственно ко всем моим заключениям, присутствовавший же в заседании военный министр не обмолвился ни одним словом, и началась снова будничная жизнь, и завертелось обычное колесо, но только более ускоренным темпом, так как Дума и Государственный Совет начали уже свою работу.

Вскоре пришлось, однако, встретиться, в связи с моей поездкой на Восток, с новым инцидентом, вызванным военным министром Сухомлиновым.

Весной следующего года, 1910-го, без всякого сообщения о том в Совете министров, я узнал из газет, что военный министр выехал, по Высочайшему повелению, на Дальний Восток.

Прошло всего не более трех недель, как он вернулся, стал, как ни в чем не бывало, посещать заседания Совета и ни одним словом не обмолвился о том, что он там делал.

Только как-то раз после очередных дел в Совете П.А. Столыпин спросил меня, получил ли я его отчет, который он только что доставил ему. Я ответил ему отрицательно, потому что не только не получил этого отчета, который, однако, многие министры, по их словам, уже успели получить и прочитать, но высказал даже предположение, что вероятно его и не получу. Так оно и случилось. Я действительно не получил этого отчета от самого военного министра и ознакомился с ним только по экземпляру, переданному мне Столыпинным для прочтения.

Отчет этот нигде не обсуждался, печать его не узнала или замолчала, Государь не сказал мне ни одного слова ни на одном из моих докладов этого времени, и только Столыпин однажды открыто сказал при многих министрах, что он и не воображал, что что-либо подобное могло быть написано и даже доложено Государю. И было на самом деле, чему удивляться.

Весь отчет представлял собой сплошную критику на выводы и представленные мной данные 6 месяцев тому назад.

Все, что я находил хорошим, было осмеяно и составило предмет глумления. Заамурский округ пограничной стражи назван оловянными солдатыками для забавы "господина шефа пограничной стражи, министра финансов", не представляющим ни малейшего боевого значения и не имеющим самой элементарной подготовки.

Железнодорожная бригада существует только для игры в эксплуата-

цию железной дороги и не может сравниться с самыми плохими железнодорожными батальонами Военного ведомства и так далее, все в том же духе. А между тем начальник дороги донес мне по телеграфу, что как при проезде военного министра во Владивостоке, так и при обратном его возвращении домой он встретил генерала Сухомлинова на пограничных станциях Китайской восточной дороги и просил его остановиться на дороге и осмотреть ее сооружения, а начальник округа генерал Чичагов, знавший близко военного министра, усиленно настаивал на том, чтобы он удостоил округ и бригаду своим вниманием. Оба они получили решительный отказ со ссылкой, что его время так ограничено, что он не может даже остановиться хотя бы на один день, и генерал Сухомлинов на самом деле не выходил из своего вагона, никого ни о чем не расспрашивал, и только согласился принять почетный караул на Харбинском вокзале, и принял от дороги завтрак на вокзале же во время 40-минутной остановки поезда, и все только восторгался грандиозностью дороги, удивительным состоянием полотна ее и "такими сооружениями, которых не сыщешь нигде в России".

В таком же духе упомянул отчет о моем посещении Хабаровска для "совершенно непонятого осмотра судов Амурской флотилии, как будто эта флотилия тоже перешла в ведение министра финансов", хотя его самого сопровождал туда тот же генерал-губернатор Унтербергер, который лучше всех знал, почему посетил я Хабаровск.

По поводу Владивостока я нашел в отчете только одну фразу: "Следуя примеру г. министра финансов, я представляю Вашему Императорскому Величеству особый письменный доклад во избежание того, чтобы важные государственные тайны не были разглашены в ущерб нашей государственной обороне".

Казалось, самая элементарная последовательность должна была побудить военного министра сообщить мне ответ его на то, что я доложил Государю полгода тому назад, в особенности если я доложил пристрасно и неосновательно.

Но всего интереснее было то, что почти половина всего отчета была посвящена полемике со мной по поводу моего вывода о слабости Китая и силе и опасности для нас Японии. Тут уж перо генерала Сухомлинова разошлось без всякого ограничения, и заключения его были настолько нелепы и детски, что Извольский спросил однажды Столыпина, будет ли слушаться отчет военного министра в Совете министров, как слушался отчет министра финансов, потому что он не может оставить без разбора его заключений по политической части нашего положения на Дальнем Востоке, настолько они противоречат тому, что он постоянно докладывает Государю и что положено в основу всей нашей политики, освещенной полным одобрением Государя.

Я просто не хочу пересказывать здесь всего, что наговорил генерал

Сухомлинов, очевидно задавшись одной целью — назвать белым то, что я назвал черным, не справляясь с впечатлением, которое неизбежно получалось от его полемического задора. Мне не хочется давать и повода думать, что я свожу какие-то расчеты за прошлое, когда это прошлое, на самом деле, было и — былью поросло.

При этом разговоре Сухомлинов не присутствовал, его заменял генерал Поливанов, который обещал узнать, как смотрит военный министр на свой отчет по поездке, и обещал дать ответ его председателю Совета министров.

Через несколько дней П.А. Столыпин получил письмо самого Сухомлинова с сообщением, что его отчет имеет строго конфиденциальный характер и, по указаниям Его Величества, рассмотрению Совета министров не подлежит, тем более что все вытекающие из него распоряжения уже сделаны по указаниям Государя Военным ведомством.

На этом все дело и покончилось, и за все время последующих лет, до самого моего ухода из активной работы, я более об этом отчете ничего не слышал, и никаких инцидентов, связанных с ним, по крайней мере в открытой форме, не произошло.

## ГЛАВА V

*Бюджетная работа и прения в Думе по государственной росписи на 1910 год. — Сухомлиновский проект упразднения крепостей Привислянского края. — Поездка Столыпина в Сибирь. — Попытка Столыпина и Кривошеина изъять Крестьянский банк из ведения Министерства финансов и вызванный этой попыткой конфликт со мной. — Мои аргументы против изъятия и доклад Государю по этому вопросу. — Моя поездка во Францию. — Инцидент с бумагами, гарантировавшими счет Лазаря Полякова в Государственном банке*



Возвращение мое из поездки на Дальний Восток совпало, как я уже упомянул, с самым разгаром бюджетной работы Государственной Думы, и мне пришлось буквально без всякой передышки окунуться в эту работу. Государь не уезжал в этом году в Крым.

Бюджетная работа в Думе протекала в этом году в тех же исключительно благоприятных условиях, как и за два предшествующие года.

Бюджет был составлен и подписан мной еще до моего выезда. Впервые за все время существования Думы, с 1907 года, государственная роспись была сбалансирована без обращения к займам для покрытия даже чрезвычайных расходов. Прекрасный урожай 1909 года отразился самым благоприятным образом на всем поступлении доходов, и нажим на Министерство финансов всех ведомств под влиянием этого благополучия

дал возможность значительно шире исчислить все расходы. Тон моей объяснительной записки к росписи носил поэтому на самом деле очень бодрый характер и повлиял на самую встречу со мной Бюджетной комиссии Думы, как только я появился в первом, по моему приезду, заседании ее. Помогло и то, что в пределах общего разговора о том, что я видел и слышал и с каким общим заключением вернулся я из поездки, я имел возможность рассеять впечатления представителей Амурской и Приморской области, которые только повторяли прежние опасения генерал-губернатора Унтербергерера, но не смогли опровергнуть моего заявления о том, что теперь его мнение о грозящей нам опасности совершенно изменилось.

До моего возвращения Дума не успела рассмотреть еще ни одной сметы, и с 15 ноября и до половины февраля, за вычетом очень короткого перерыва для Рождественских каникул, я опять почти не выходил из Думы, участвуя во всех заседаниях Бюджетной комиссии. Общие собрания были в это время очень редки.

Эти два месяца совместной работы носили на этот раз какой-то исключительный характер. Как будто не было никакой оппозиции. Запросы и замечания, обращаемые ко мне, носили самый мирный и даже лично ко мне предупредительный тон несмотря на то, что ни Шингарев, ни более крайние его друзья слева не скупались на многочисленные запросы. Обычной придирчивости не было и в самой формулировке вопросов.

Результатом такого настроения было то, что в половине февраля 1910 года Бюджетная комиссия внесла в Общее собрание полный свод рассмотренной ею росписи со всеми исправлениями в доходах и расходах, и 12 февраля Дума приступила к общим прениям, заняв три дня, и уже после 16-го прямо перешла к рассмотрению отдельных смет или так называемых №№ по своду росписи.

Начало общих прений предвещало такое же "именинное" отношение, по выражению одного из остряков Думы, депутата от Симбирской губернии Мотовилова, как и то, которое царило в комиссии.

Я говорил тотчас после председателя комиссии Алексеенко, не пустившему по моему адресу опять ни одной шпильки, и говорил совершенно объективно и спокойно.

Столыпин и большинство министров присутствовали во время моей речи и опять приветствовали меня в павильоне самым дружеским образом. Не было недостатка в очень больших проявлениях симпатий и со стороны членов Думы, в большом количестве заходивших в нашу среду после моей речи. Не было недостатка также и в громких аплодисментах и во время самой речи. Но не успел я сойти с трибуны, как мое место занял и на этот раз мой обычный оппонент Шингарев, а за ним и другие мои друзья из оппозиции, и потекли те же речи, которые раздавались и в два предыдущие года и которых никто не слышал ни от них, ни от кого-

либо из представителей оппозиции вообще во время всех прений в Бюджетной комиссии.

Удивляться этому не приходилось, но невольно поднимался вопрос, зачем же молчали они раньше, к чему скрепляли своей подписью вполне корректные протоколы заседаний комиссии, не оставивши в них ни малейшего следа своего недовольствия.

Опять и опять пришлось молчаливо сидеть часами и выслушивать то, чему многие сами не верили и, конечно, в душе своей сознавали, что поступают неправильно и делают это только для того, чтобы "насолить" правительству, получить одобрительные отзывы своей же печати и наговорить лично министру то, что не имело под собой никакой правды.

Два дня прошли в таком времяпрепровождении. Но когда эти нападки дошли уже до апогея, молчать более не было никакой возможности, несмотря на то, что и оппоненты, как и я, отлично понимали, что из их речей не выйдет ровно ничего, и роспись, которую они так критикуют, будет одобрена ими же, да и сами они прекрасно сознают, что она составлена безукоризненно, что наши финансы находятся в отличном состоянии и что весь финансовый распорядок не дает им ни малейшего права на то несправедливое и даже сбидное отношение, которое ими опять проявлено.

16 февраля я выступил с моими вторичными объяснениями и не оставил ни одного существенного вопроса из числа выдвинутых моими противниками без ответа.

Я имел, по общему признанию, большой успех. Часто моя речь прерывалась бурными аплодисментами, и независимо от того, что судьба росписи была давно решена, я имею право и сейчас сказать, что поле сражения и на этот раз осталось за мной в смысле моральной правоты.

По поводу рассмотрения в этом году отдельных смет Министерства финансов не стоит много говорить. В нем произошло без всяких изменений все то же, что происходило и по сметам на 1908 и 1909 год; но в прениях Думы по Крестьянскому банку, приуроченных, как всегда, в смете Особенной канцелярии по кредитной части, мне приходится остановиться, потому что они послужили преддверием к одному обстоятельству, о котором мне придется говорить в моем последующем изложении.

В заседании Бюджетной комиссии по указанной смете Крестьянский банк занял довольно много места. Обычные специалисты по деятельности банка — Шингарев, Кутлер и наиболее резко настроенный против банка, как и в прежние годы, ковенский депутат Булат — задали мне, разумеется, и на этот раз длинный ряд вопросов, в особенности относительно повышенных цен, по которым покупает банк земли у помещиков и продает их крестьянам, вовлекая их, так сказать, в невыгодную сделку, потому что они должны платить за землю цену, искусственно повышенную в пользу продавцов-помещиков.

Председатель Бюджетной комиссии Алексеенко заметил им даже, что возбуждаемые ими вопросы не новы и повторяются ежегодно, но всегда разъясняются министром финансов самым убедительным образом, и поэтому можно было бы на них не останавливаться слишком долго на этот раз, так как едва ли деятельность Крестьянского банка могла измениться существенным образом при том же руководстве.

Мои оппоненты были вообще очень благодущны, задали мне ряд вопросов в совершенно приличной форме, получили на них подробные разъяснения, и протокол заседания зарегистрировал эти вопросы и ответы, и никаких заключений, неблагоприятных для банка, вынесено не было.

Но в прениях по той же смете и по тому же предмету в Общем собрании Думы произошло нечто совершенно иное.

Кутлер и Булат, поддержанные также бывшим акцизным чиновником Дзюбинским, депутатом от Енисейской губернии, — выступили с самыми резкими суждениями о деятельности Крестьянского банка и перенесли весь вопрос о его политике снова на трибуну, а через нее и на страницы оппозиционной печати.

Мне пришлось принять брошенную перчатку еще и еще раз, и прения вместо обычно вялых реплик по отдельным номерам росписи приняли снова приподнятый тон и заняли немало времени у Думы и задали немалое напряжение и моим нервам, хотя они успели уже достаточно притупиться.

\* \* \*

Незаметно подошла весна и перед началом летнего ваканта, который в сущности заключался для меня только в том, что не было законодательных палат и была возможность работать более спокойно над текущими делами и углубиться в некоторые из них больше, нежели позволяло время зимой.

В числе этих дел меня стал озабочивать больше, чем прежде, тот же Крестьянский банк и не потому, что дела в нем шли плохо, но именно потому, что они шли очень хорошо, и на него стало все больше и больше устремляться внимание Министерства земледелия и отчасти самого Столыпина и притом в какой-то странной, недоговоренной форме, что указывало на то, что замышляется нечто еще неясное по существу. С Кривошеиным у меня были наружно прекрасные отношения. Он часто заходил ко мне, оказывал всякого рода внимание моей жене и никогда не возбуждал никаких принципиальных вопросов, всегда выражая мне благодарность за то, что у нас не происходит никаких несогласий ни в разрешении вопросов о покупке банком отдельных имений, предлагаемых к продаже, ни в определении покупной цены, — несмотря на то, что в совете банка представители Кривошеина всегда стояли за повышение

цены, а чины банка, скорее, сдерживали эти цены, ввиду постоянной тенденции Думы обвинять нас в чрезмерной уступчивости помещикам и в недостаточно бережливом отношении к интересам крестьян, покупателей этих земель. Так же мало поводов к каким бы то ни было разногласиям возникало в работе банка и с выбором покупателей земель банка.

Я постоянно твердил моим сотрудникам, что мы должны идти рука об руку с Министерством земледелия, которому принадлежит вся землеустроительная политика, и вся наша задача должна сводиться лишь к тому, чтобы передавать земли крепким крестьянским элементам и отказываться принципиально от передачи земель слишком многочисленным сельским обществам и многоголовым товариществам, всегда плохим в смысле расчетов с банком.

Мне тем легче было проводить эту миролюбивую политику, что управляющий Крестьянским банком Хрипунов лично больше тяготел к Ведомству земледелия, нежели большинство членов совета банка, потому что сам он вышел из недр этого ведомства. Я не мог, однако, ни в чем упрекать его, так как никогда не замечал с его стороны излишней угодливости по отношению к Кривошеину. Она проявилась несколько позже и создала мне немалые огорчения, в особенности потому, что она была совершенно не нужна и облеклась в неожиданную для меня форму.

После отпуска на лето Думы и Государственного Совета, как-то в половине июня, Хрипунов на очередном своем докладе стал говорить мне, что в среде служащих Крестьянского банка, и в особенности его провинциальных отделений, назревает мысль обратиться ко мне с адресом для того, чтобы выразить мне благодарность за постоянную, столь открытую защиту их работы на пользу банка и за ту поддержку, которую они встречают во мне во всех моих выступлениях перед Государственной Думой при отражении несправедливых нападений на деятельность банка.

Он спросил меня, каково мое личное отношение к такому частроению. Я решительно просил его найти самый мягкий, но категорический способ устранить это доброе намерение, давши понять и в центре и на местах, что его проявление совершенно недопустимо. Мои доводы были очень просты: никто не поверит искренности и независимости такого движения, всякий скажет, что оно подстроено мной или моими старшими сотрудниками в угоду мне же, что я ищу популярности среди служащих, а найдутся и такие голоса, которые истолкуют его, как протест против Думы, да и в самой Думе произойдет только новое обострение при рассмотрении первого дела, связанного с Крестьянским банком, и вместо пользы — произойдет только большой вред. Хрипунов, как несомненно умный человек, быстро понял мою точку зрения; ее разделил целиком и присутствовавший при докладе мой товарищ Н.Н. Покровский, и мы сошлись на том, что Хрипунов найдет возможным потушить это движение и даст понять служащим, почему именно я против него, хотя и



проникнут чувством самой искренней к ним благодарности за доброе побуждение.

Тут же Хрипунов стал уговаривать меня совершить небольшую поездку по Востоку России, чтобы заглянуть на два-три интересные имения, только что законченные ликвидацией на землях, купленных Крестьянским банком. Два из них представляли и немалый интерес, как наглядное доказательство несправедливости нападков Думы на деятельность банка. Мне эта мысль очень улыбалась.

Поездку эту я и совершил на самом деле в последних числах июня вместе с Хрипуновым и вынес из нее немало поучительного, что дало мне впоследствии возможность еще более решительно защищать деятельность Крестьянского банка.

Вернувшись из нее, я передал и Столыпину и Кривошеину все вынесенные мной впечатления, и ни тот ни другой не обмолвились ни одним словом, что ими замышляется определенный поход на Крестьянский банк в смысле передачи его из рук Министерства финансов в ведение Министерства земледелия. Не сказал мне также решительно ничего и Хрипунов, хотя он, несомненно, знал обо всем, что замышлялось в этом последнем ведомстве.

Впоследствии Кривошеин удостоверял меня, что эта мысль созрела у Столыпина только после его сибирской поездки и что у него самого ее никогда не было и ему пришлось только уступить настойчивому желанию Петра Аркадиевича после многих и многих бесед с ним в пути и по возвращении.

Так ли это было на самом деле, — я не могу сказать, но думаю, что вопрос о передаче Крестьянского банка давно зрел в Ведомстве земледелия, и что оно внушило ее Столыпину и постоянно укрепляло его в ней, подготавливая даже и способы поставить меня перед совершившимся фактом, предвидя заранее, что я буду противиться этой мере и даже могу в случае ее осуществления поставить вопрос об оставлении мной Министерства финансов. По крайней мере, два обстоятельства говорят в пользу такого предположения.

Во-первых, внося еще в начале года в Думу свое предположение о преобразовании Министерства земледелия в Ведомство земледелия и землеустройства, Кривошеин, ссылаясь на председателя Совета министров, высказал в своей объяснительной записке, которой я не читал, да и не мог читать, что Крестьянский банк подлежит преобразованию "в направлении его деятельности в сторону возможно тесного слияния его со всей политической землеустройства".

Во-вторых, — лично мне сказал Столыпин о своей мысли в первый раз только поздней осенью 1910 года и, встретивши категорическое, с моей стороны, возражение, сослался на то, что в этом "решении" с ним солидарен и Кривошеин, и он почти уверен в том, что и Государь будет того

же мнения. "По крайней мере, — сказал, он, — я вынес это впечатление из двукратной с ним беседы на почве сделанного нами обоими (т.е. им и Кривошеиным [— Авт.]) чернового наброска нашей мысли".

После моих возражений он прибавил: "Конечно, Государь считает Вас, как думаю и я, незаменяемым, и нам с Александром Васильевичем придется только преклониться перед волей Его Величества, если он узнает о Вашем таком решительном несогласии".

Очевидно из этих немногих слов, что еще до поездки Столыпина в Западную Сибирь мысль об изъятии Крестьянского банка вполне уже созрела у Столыпина и Кривошеина и даже прошла через предварительное одобрение Государя, но первый разговор со мной был только в самом конце октября. Подробности этого разговора и то, что из него вышло, — впереди.

\* \* \*

Во время одного из сметных моих собраний, которые составляли одно из обычных моих занятий во время ваканта законодательных палат, как-то в самых последних числах июля ко мне обратился по телефону помощник военного министра генерал Поливанов и спросил меня, не могу ли я принять его по весьма спешному делу. Предполагая, что дело касается, как всегда, какого-либо спора с Военным министерством по какой-либо статье нашего военного хозяйства, я сказал, что у меня как раз находятся все мои главные сотрудники и я прошу его приехать немедленно. Он ответил мне, что дело касается совершенно иного порядка вопроса, и я предложил ему приехать около шести часов. Когда Поливанов прибыл ко мне, то он просил меня дать ему дружеский совет, как ему поступить, и рассказал, что только сегодня утром он прочитал утвержденный Государем всеподданнейший доклад военного министра по Главному управлению Генерального штаба, о котором он не имел ни малейшего понятия, так как все дело держалось в величайшем секрете от него и стало ему известным только благодаря нескромности одного из второстепенных деятелей.

В разработке этого дела Поливанов, по его словам, никогда не участвовал и не допускал даже и мысли, чтобы такой вопрос мог быть поднят в данную минуту и тем более проведен без широкого обсуждения его в недрах министерства и даже без ведома, по крайней мере, председателя Совета министров и министра иностранных дел, если уже не всего правительства в лице Совета министров.

Ему стало известно сейчас, что решено и повелено приступить к исполнению в самом спешном порядке с соблюдением величайшей тайны, — упразднения четырех крепостей в Привислянском крае. Он назвал мне из них три: Варшаву, Новогеоргиевск и Ивангород. Несомненно, упомянута была и четвертая, но, вероятно, я просто ее запомнил; думаю, что это был Згерж.

Основанием такой меры, по словам Поливанова, был принятый новый мобилизационный план, известный под № 18, по которому в случае вооруженного столкновения с Германией<sup>90</sup> предусматривается в первый момент отход нашей армии к Востоку, приближение ее к центрам и районам комплектования запасными чинами и уже затем движение вперед усиленными массами мобилизованных и снабженных всем необходимым войск.

Не касаясь того, что при существующем положении вещей такой план просто неосуществим и что сам Поливанов считает его, как и многие из лучших знатоков нашего военного дела, просто безумием, он обращает мое внимание только на то, что приказ о передвижении отдельных воинских частей отдан и началось даже их выступление, а между тем в тех местах, куда им назначено прибыть, не приготовлено ни казарм для людей, ни хранилищ для запасов и артиллерии. Об этом скоро все станет общеизвестным фактом, а между тем правительство ничего не знает, и никто даже не предупредил Министерство внутренних дел, чтобы оно оказало помощь в таком исключительном деле. Поэтому Поливанов просит меня только сказать ему, как ему лучше поступить: ограничиться ли тем, что он передал об этом мне и просит меня принять уже дальше те меры, которые я сочту нужными, или же я посоветую ему доложить непосредственно председателю Совета министров, рискуя даже тем, что ему придется, может быть, покинуть свой пост в Военном министерстве.

Я посоветовал ему избрать второй путь и тут же, с его разрешения, позвонил к Столыпину и просил его разрешить генералу Поливанову, находящемуся у меня в министерстве, немедленно прибыть к нему по спешному делу. Разрешение было дано, и он немедленно уехал от меня.

Не прошло и часа времени, как Столыпин позвонил ко мне и попросил меня зайти к нему вечером, сказавши, что он просто ошеломлен тем, что только что узнал.

Вечером я пришел в Елагинский дворец и нашел Столыпина в величайшем волнении. Он сказал мне, что просто не знает, как ему лучше поступить; ехать ли немедленно к Государю или обждать два дня до его очередного доклада и попытаться отговорить Государя от принятого решения, а до того повидать Сухомлинова и склонить его, чтобы он не торопился передвижением воинских частей, еще не выступивших в путь.

Я высказывал ему, что лучше избрать второй путь, и просил только найти способ, не обнаруживать в этом случае Поливанова, а сослаться хотя бы на то, что он получил донесение одного из губернаторов, сообщившего ему о возникающих затруднениях в спешном приискании и приготовлении помещений для войск. Я привел ему также аргумент, все время волновавший меня, а именно — неизвестность того, принята ли такая мера с ведома нашего союзника Франции или она явится сюрпризом для нее, как стала для нас.

Столыпин особенно отметил эту мысль и обещал держать меня в курсе того, что ему удастся сделать.

Через день мы снова свиделись с ним после того, что он имел возможность переговорить с Сухомлиновым, и он сказал мне только: "Этот человек совершенно невменяем. Представьте себе, что он объяснил мне, что никакого упразднения крепостей сейчас и не предполагается, как не предполагается и вывода войск на Востоке, а проектирована чисто теоретическая мера о том, как мы поступим, когда у нас будет разработан мобилизационный план № 18, что, может быть, последует через 5—6—7 лет, а теперь все остается по-старому, только будет выведено на Восток несколько артиллерийских бригад, которые формируются вновь и не имеют себе помещения на Западе". Он прибавил, что говорить с ним безнадежно, так как он, видимо, и сам ничего не знает, а только подписывает то, что ему подсовывают. Остается единственная надежда на то, что, может быть, Государь задержит его бессмысленные бредни или поймет, что без соглашения с союзником мы не имеем права перепутывать наших карт.

Два дня спустя Столыпин опять позвал меня к себе и передал мне, что и Государь смотрит на утвержденный им доклад как на меру отдаленного будущего, заверил его, что никакого разоружения крепостей он не допустит и прямо заявил уже будто бы Сухомлинову, что все меры по осуществлению этого плана должны быть заранее доведены до сведения французского Генерального штаба и все сношения с последним должны идти при самом близком участии министра иностранных дел и председателя Совета.

На этом и окончился этот вопрос в его формальном положении. Ни со Столыпиным, ни потом со мной никто не сказал ни одного слова. Не обмолвился со мной и в 1913 году генерал Жоффр в бытность его в Петербурге.

На самом же деле разоружение крепостей производилось и в 1911 и в 1912 году, но никаких сведений об этом до меня официально не доходило, и затем мне стало известно лишь уже в 1914 году, что столь же спешно началось восстановление их, когда мы, без всякого плана № 18, не только не оттянули наших войск из Привислянского выступа, а сами, идя на выручку нашего союзника, повели наступление в западном направлении в Восточную Пруссию, оттянули на себя часть германских корпусов с французского фронта, спасли положение Франции, но затем закончили наше наступление в августе 1914 г. разгромом армии Самсонова при Сольдау.

А когда в 1915 году шли кровавые бои за Варшавой, на Бзуре и все мы лихорадочно ждали переменчивых вестей о них, не раз на ум приходило воспоминание о том, какую роль сыграло в этом отношении то, что произошло у нас в 1910 году.

Судить об этом теперь я не имею никакой возможности, потому что в моем распоряжении ни тогда, ни впоследствии не было никаких сведений — их не признавалось нужным сообщать правительству, а тем более министру финансов.

\* \* \*

Столыпин уехал в конце августа в Западную Сибирь, согласившись со мной незадолго до отъезда по главным разногласиям моего ведомства с его сотрудниками по всем сметным расчетам.

Вернулся он из поездки в прекрасном настроении в половине сентября. Еще до первого заседания Совета министров он попросил меня зайти к нему, чтобы поделиться впечатлениями, и долго рассказывал обо всем, что видел и слышал, не раз повторяя, каким ключом бьет в Сибири жизнь, как богатеет край и как перерождается там все, что переселяется с коренной русской земельной тесноты, какое для него будет счастье доложить об этих незабываемых впечатлениях Государю и сказать ему, что еще 10 лет мира и дружной работы правительства и Россия будет неузнаваема.

Но уже и теперь ясно всякому, если только он не слепой от рождения, как быстро справилась страна с последствиями войны и революции и какими гигантскими шагами идет она вперед.

”Как отрадно это должно быть Вам, — сказал он, — кто был главным работником этого подъема и такого превращения за какие-нибудь шесть лет, и как смешно мне слышать, когда критикуют Вас и обвиняют в скупости и отстаивании одних казначейских интересов. Я теперь более никого не слушаю, и мне самому бывает стыдно предъявлять к Вам все новые и новые требования, когда я вижу на каждом шагу, как быстро растут у нас расходы по всем ведомствам и какой щедрой рукой дает казна средства на все, действительно необходимое”.

И опять же и тут Столыпин не сказал мне ни одного слова про Крестьянский банк и про необходимость оторвать его от Министерства финансов.

Молчал и Кривошеин, как ничего не говорил мне и Хрипунов, хотя я расспрашивал его не раз, что говорили ему спутники Столыпина и Кривошеина относительно виденных ими хуторов, поселенных на землях Крестьянского банка. Ответ его был только — ничего, кроме самого лестного, да вечного припева о необходимости вдохнуть в политику банка больше землеустроительного увлечения, потому что без него все дело пойдет неизбежно слишком медленно и рутинно.

Прошло еще недели три. Сметная работа была окончена, роспись опять сведена в очень хорошем положении, и объяснительная к ней записка представлена мной для сведения Совету министров.

В первых числах октября, при одном из посещений Столыпина, он заметил, что я имею очень усталый вид и спросил, не думаю ли я отдохнуть

хоть несколько дней перед началом новой страдной поры и прибавил: "Все удивляются, как Вас хватает на такую работу, но злоупотреблять выносливостью все же не следует".

У меня еще с лета была мысль проехать в Париж, чтобы запастись платьем на зиму, и я даже усиленно звал с нами мою старшую сестру, которая всегда была особенно близка моей жене, проехать с нами на короткое время, а если удастся, даже и не задерживаться в Париже более того, что нужно для заказа платья, и съездить на южный берег, где ни жена, ни она еще не бывали.

Столыпин горячо поддержал меня и сказал об этом Государю, который при следующем моем докладе, прежде чем я спросил Его разрешения, прямо сказал мне в шутовском тоне: "Я командую Вас в Париж к Вашему портному и прошу Вас не отговариваться недосугом, потому что через месяц опять начнется Ваша ужасная думская работа. Как только Вы ее выдерживаете!"

Через три дня мы втроем с женой и моей сестрой в самом благодушном настроении выехали за границу.

При прощании со мной Столыпин опять не обмолвился ни одним словом о том, что замышлялось против меня, а Кривошеин приехал даже на вокзал проводить меня.

В Берлине мы узнали, что во Франции разразилась железнодорожная забастовка и поезда с Востока доходят только до Льежа.

Каким путем можно было добраться оттуда до Парижа, мне было совершенно неизвестно, и мы поехали дальше из Берлина просто наугад, вместо того чтобы задержаться в Берлине, как нам советовали сделать это те, кто пришел встретить нас на Фридрихштрассе. Я послал только телеграмму в Париж (телеграф функционировал исправно) находившемуся там Утину с просьбой помочь, если только это возможно, добраться от Льежа, а из Банка Мендельсона послали о том же депешу находившемуся в Париже моему приятелю, представителю этого дома — Фишелю.

В 7 час. утра подъехали мы к Льежу, и не успел остановиться поезд, как нас встретил Фишель, ночью добравшийся для встречи нас на автомобиле из Парижа, и передал, что нас просит к себе директор завода Коке-риль, который приготовил нам автомобиль и доставит нас до Парижа без всяких приключений, потому что шоссейные дороги в полном порядке, и даже наш поезд пойдет до границы, но будет ли он иметь возможность продвигаться дальше по Франции, — этого сказать никто не может, хотя забастовка протекает мирно и никаких нападений на поезд не делается, но рисковать не следует, потому что есть опасения, что просто могут высадить из поезда среди поля.

После обильного утреннего чая мы поехали в 10 час. утра из Льежа и совершенно благополучно, незадержанные нигде в пути, добрались к 9 часам вечера до Парижа, где нашли приготовленным для нас в гостини-

це Лондон на улице Кастильоне то же самое помещение, которое мы занимали в 1906 году.

Бедный Фишель, выехавший следом за нами, отстал от нас в Седане, проплутал всю ночь, имел несколько остановок из-за поломки автомобиля и только рано утром следующего дня добрался до Парижа.

Мы прибыли в Париже всего одну неделю, в течение которой я имел возможность побывать в очень любопытном заседании палаты депутатов, собранной до срока, чтобы дать объяснение по поводу железнодорожной забастовки и принятых мер к ее прекращению.

Объяснения давал председатель Совета Бриан, но душой борьбы и тем, кому принадлежала мысль, впервые примененная в данном случае для срыва забастовки, был министр труда Мильеран, впоследствии президент Республики, с которым произошло всем известное столкновение палаты в 1924 году.

Бриан лично давал объяснения. Левые встретили его криками, стуčanьем пюпитров и не давали ему говорить. С величайшим спокойствием выдержал он все крики, начиная по нескольку раз одну и ту же фразу, и кончил тем, что заставил себя слушать, имел огромный успех и получил доверие, вопреки бешенных атак левого сектора. Казалось, что министерство укрепилось и испытанный им первый опыт мобилизации всех военнообязанных железнодорожных рабочих, с призывом их на службу по закону военного времени и с преданием их военному суду в случае неявки, получил одобрение палаты. Но пути парламентской логики поистине неисповедимы. Два дня спустя по дороге в Монте-Карло я прочитал в газетах, что министерство Бриана преобразовано. Из него выбыл Мильеран, которому принадлежала вся организация борьбы против забастовки, а весь кабинет, кроме него одного, остался у власти.

Мы ехали на автомобиле от Лиона до Монте-Карло два дня и приехали на место поздно вечером. Было совсем темно, и мы с величайшим трудом спустились благополучно с верхней корнишь к гостинице, и как не слетели мы с узкой дороги на одном из крутых виражей, мне совершенно непонятно.

Утром я пошел смотреть дорогу, по которой мы спустились, и не мог достаточно надивиться тому, как мы могли добраться без приключения. Когда мы вошли в гостиницу Париж, то встретившая нас администрация не хотела верить, что мы ночью рискнули опуститься с верхней дороги, — там и днем не принято было ездить тогда.

В Монте-Карло, где мы думали спокойно просидеть не более пяти дней, меня ждала немалая неприятность из министерства, а затем я едва не сломал себе там ногу и вместо развлечения и отдыха получил только жестокую боль в ноге, с которой и вернулся домой через Берлин.

Едва мы успели водвориться в отведенных нам трех прекрасных смежных комнатах, как мне подали длинную зашифрованную телеграмму

за подписью моего товарища С.Ф. Вебера. Ключ от шифра у меня был с собой, я знал способ расшифровки его, но большим искусством по этой части не обладал. Большая часть ночи ушла у меня на разбор телеграммы, и когда я воспроизвел уже в четвертом часу утра точный и полный текст ее, то мне пришлось испытать немалое чувство возмущения.

Оказалось, что в первом заседании Совета министров, тотчас после моего отъезда, П.А. Столыпин после открытия заседания обратился к Веберу с вопросом, — чем объясняется то, что до сих пор остаются непроданными Государственным банком бумаги Лазаря Полякова<sup>91</sup> и что он и его Торговый дом продолжает до сих пор пользоваться такими льготами, которые возмущают всю Москву, и никто не понимает, почему такому неисправному должнику были оказаны огромные кредиты и после целого ряда лет явной неисправности с ним все еще церемонятся и не продают тех ничтожных залогов, на счет которых Государственный банк все же может выручить часть ссуженных Полякову сумм.

Вебер совершенно не знал поляковского дела в Государственном банке, так как он вообще не ведал делами кредита в министерстве, и ответил поэтому Столыпину, что он совершенно не в курсе этого дела и просит отложить решение этого дела до моего возвращения или, по крайней мере, до собрания им сведений в Государственном банке.

Столыпин против всякого своего обыкновения почему-то сразу вспыл и в очень резкой форме ответил Веберу, что он не считает возможным откладывать дела, ставшего "притчей во языцех", до моего возвращения и настаивает на немедленной продаже бумаг.

Министр торговли Тимашев, за год перед тем бывший управляющим Государственным банком и прекрасно знавший все поляковское дело, начал было разяснять его, но Столыпин остановил его и продолжал настаивать на продаже бумаг во что бы то ни стало, и никто из министров, видя его непонятное раздражение, не стал противоречить ему, и Веберу не оставалось ничего иного, как либо подчиниться этому настоянию, либо сделать разногласие и довести дело до представления на усмотрение Государя. Мягкий по натуре и понимая хорошо, что его голос не будет иметь никакого веса в глазах Государя, он стал уговаривать Столыпина послать мне подробную телеграмму и просить меня дать мой ответ непосредственно ему по телеграфу же, на что потребуется всего два дня, и тогда будет достигнуто, по крайней мере, то, что я получу возможность дать свое заключение, а он, Вебер, не примет участия в таком решении, которое, может быть, окажется несогласным с взглядом его министра.

Любопытно и то, что и такая невинная и вполне законная просьба не была принята Столыпиным сразу, а вызвала ряд колких замечаний, совершенно не привычных для Столыпина. Любопытно и то, что такой опытный человек, как государственный контролер Харитонов, с которым Столыпин всегда считался, молчал, как рыба, и не проронил ни одного



слова. Меня меньше удивляет проявленная уклончивость со стороны Тимашева, хотя он отлично знал, почему не продаются бумаги Полякова, но он вообще не считал для себя удобным противоречить Столыпину по чужому делу, так как сразу заметил, что тут имеется какая-то особенная подкладка, при которой лучше предоставить другим расхлебывать неприятное дело.

К 8 часам утра у меня был готов ответ, составленный также шифром на имя Вебера, с просьбой предоставить его лично Столыпину тотчас после его расшифрования.

Я сказал в нем, что крайне удивлен тем оборотом, которое приняло поляковское дело в Совете министров, очевидно по причине дошедших до председателя неверных сведений, придавших всему этому делу ложное освещение. Если председатель Совета пожелал бы, не дожидаясь меня, принять какое-либо решение, принадлежащее в сущности не власти Совета, а только министру финансов, потому что по делам Государственного банка все решения принадлежат только ему, то я прошу прежде всего вызвать управляющего банком и поручить ему доложить, почему не продаются бумаги Полякова. Со своей же стороны, я должен сказать только, что никаких бумаг Полякова больше не существует, а есть бумаги, принадлежащие Государственному банку, давно зачислившему эти бумаги в свой портфель по состоявшемуся с Поляковым соглашению при самом открытии кредита. Банк обязан продавать свои бумаги тогда, когда это ему выгодно, и не продавать, когда цена на них слишком низка или когда биржа идет резко на повышение. Следовательно, если председатель Совета потребует продать бумаги почему-либо сейчас, то помимо неправильности такого распоряжения как не принадлежащего ему он причинит ущерб и интересам Государственного банка, чего он, несомненно, не желает.

Я прибавил, что до моего выезда всего на две-три недели я дал определенные указания Коншину, не ниже какой цены можно продавать эти бумаги, и вижу сейчас, что они далеко не дошли до этой цены, хотя со времени моего выезда они поднялись более чем на 20% и дали выгоды банку почти полмиллиона против той цены, в которой я их оставил при моем отъезде. Я закончил тем, что возвращаюсь раньше намеченного мной срока вследствие сильного ушиба ноги и усердно прошу П.А. [Столыпина] оказать мне больше доверия, нежели случайным суждениям, часто основанным на малом знании дела.

Самому Столыпину я послал короткую открытую депешу, сказавши в ней только, что я получил подробную депешу от Вебера и по ее содержанию ответил ему шифрованной же телеграммой, которую поручил ему по разборке шифра лично привезти ему, а его усердно прошу оказать мне то доверие, которого я ничем не желал нарушить.

Когда через неделю или даже меньше я вернулся в Петербург, то

Вебер, встретив меня на вокзале, сказал мне, что моя телеграмма, видимо, имела успех, потому что Коншина председатель Совета министров не вызывал, принял его, Вебера, совершенно спокойно и даже сказал ему, что всего лучше дожидаться моего возвращения, так как он не знал, что бумаги принадлежат вовсе не Полякову и последний совсем не заинтересован тем, за какую цену они будут проданы.

В день моего приезда я поехал к Столыпину и думал, что по делу Полякова у нас произойдет крупный разговор, но его совсем не было. Столыпин просто сказал, что он ошибся в оценке этого дела и ему просто дали совершенно неверные сведения, и он очень сожалеет о том, что причинил мне ненужное беспокойство. На все мои настояния сказать, кто дал ему эти сведения и почему он отнесся так необычайно резко к данному вопросу, он сказал мне только: "Не стоит больше об этом говорить, я достаточно проучен и буду вперед более осторожен, не доверяя разным глашатаям сенсационных известий, хотя бы они исходили от людей, по-видимому, хорошо осведомленных". Я так и не узнал, как не знаю и до сих пор, откуда произошел весь этот гром, хотя предполагаю, что источником послужило "Новое Время" или кто-либо из националистов, а может быть, тот же Марков 2-й, который учинил по тому же поводу мне скандал в мае 1913 года.

И в это наше первое свидание после моего возвращения Столыпин опять не сказал мне ни одного слова по Крестьянскому банку.

Наша первая и решительная беседа произошла через неделю после заседания Совета министров, когда Столыпин попросил меня остаться у него.

Совершенно спокойно по внешности, но, видимо, заранее подготовившись к разговору, он начал с того, что никогда не считает себя незаменимым и считает, наоборот, таковым меня и тем не менее он должен переговорить со мной совершенно по-дружески, потому что успел прийти к убеждению, что между нами должен возникнуть конфликт, и он очень опасается, что ему не удастся убедить меня отказаться от моего взгляда, как и сам он долго и безуспешно проверял себя, может ли он отказаться от того, что ему кажется государственно необходимым, и пришел к заключению, что он не может этого сделать. После такого вступления он прямо перешел к делу и сказал, что вместе с Кривошеиным он решил поднять вопрос о передаче Крестьянского банка в Ведомство земледелия и даже говорил об этом Государю, потому что считал своей обязанностью предупредить его, что я, вероятно, буду против этой меры и даже могу поставить вопрос ребром и покинуть службу, если такая мера будет проведена против моего желания.

Он просит меня поэтому сказать ему совершенно спокойно, как я смотрю на эту мысль и нельзя ли найти почву для соглашения между нами. Я исполнил его желание и без всякого волнения сказал Столыпину

ну, что до меня стали уже с некоторого времени доходить, хотя и в весьма смутной форме, намеки на то, что подобная мера затевается в Ведомстве земледелия, и мне совершенно ясно, что последнее не могло остановиться на ней без поддержки и даже без инициативы его как председателя Совета министров. Я давно уже обдумал мое отношение к вопросу, и он, Столыпин, совершенно прав, что я не принадлежу к разряду людей, которые идут на компромиссы в делах, имеющих для меня принципиальное значение. Сложившееся у меня мнение совершенно просто и ясно, я не только понимаю необходимость, но и фактически провожу в жизнь самое тесное техническое сближение с Ведомством земледелия во всей деятельности Крестьянского банка. У нас нет никаких разногласий, и я проникнут полной готовностью идти и еще дальше по пути согласованности работы, если только это фактически возможно. А между тем что же происходит?

Со мной никто не говорит, а рядом со мной созрела мысль, которая в самом существе затрагивает самый коренной и принципиальный вопрос о единстве кредита в государстве, и решают его люди, никогда кредитом не занимавшиеся и даже не дающие себе отчета в том, что какова бы ни была широта землеустроительной политики, она не может быть проведена без реализации капитала в виде обязательств Крестьянского банка<sup>92</sup>, и эту жизненную часть всего дела, зависящую от состояния денежного рынка, хотят решить без министра финансов и даже не спрашивают его согласия на такую коренную ломку, а докладывают Государю и заручаются его сочувствием, не разъяснивши ему всей неосуществимости такого замысла без самых крупных осложнений.

Разъяснив все стороны этой вредной затеи и всю неисполнимость ее без министра финансов, я сказал Столыпину, что как он, так и Кривошеин жестоко ошибаются, если думают, что все дело в настойчивости или упрямстве министра финансов. Оно далеко выше этого, и все заблуждение их сводится к тому, что не я, а никакой министр финансов, если только он отдает себе отчет в деле, не может согласиться на то, что кто-то другой будет управлять кредитным учреждением, а на нем останется обязанность, как и сейчас, размещать закладные листы банка и предоставлять Земельному банку наличные средства, вырученные за них. Такой задачи не может исполнить никакой министр финансов, а если от него уйдет и операция по реализации этих облигаций, то кто же будет ее осуществлять? Всякий министр земледелия либо станет требовать помещения их в сберегательной кассе, на что не согласится министр финансов, либо в конец испортит денежный рынок и государственный кредит, против чего не может не восставать тот же министр финансов, и, следовательно, создастся только бесконечная цепь недоразумений и пререканий, в которых страдательным лицом окажется тот же министр, ведающий делами кредита. Отсюда только один вывод — согласиться на такую меру

добровольно, а тем более приложить к ней руку, может только такой министр финансов, который цепляется за свое место, а таким министром я никогда не был, да и не могу быть.

Мы долго обменивались нашими взглядами на ту же тему, и Столыпин не раз говорил мне, что этой стороны дела он совершенно не имел в виду, когда остановился на необходимости коренного преобразования Крестьянского банка, и никак не может усвоить себе, почему все дело может получить вредное направление от того только, что управление банком перейдет в другие руки при едином правительстве, и почему не может министр финансов сохранить за собой все дело размещения обязательств банка и просто передавать своему соседу по Совету министров всю выручку от размещения закладных листов, какая бы цена за них ни была получена.

Мне оставалось только спросить его, а если этих листов совсем нельзя разместить, потому что никто за них ничего не даст или они будут постоянно понижаться в цене, то кто же будет нести за это ответственность. И как может именно министр финансов, отвечающий за весь государственный кредит, равнодушно смотреть, что обязательства государства обесцениваются, и тащить за собой и все другие государственные ценности, а в то же время министр земледелия обвиняет его, что он плохо размещает его заем, за который отвечает и притом в полной мере государство.

Я указал также на то, что и частные земельные банки, за которые государство не несет никакой материальной ответственности, все же состоят в ведении министра финансов и на последнем лежит даже прямая обязанность следить за всей их деятельностью, и за ними установлен прямой контроль правительства в лице уполномоченных того же министерства именно потому, что нельзя оставить на полную волю этих банков выпуск какого угодно количества закладных листов без всякой уверенности в том, что их оценочное дело ведется правильно и под выпущенными листами имеется действительное ипотечное обеспечение.

Я указал и на тот отрадный факт, что мне удалось в последнее время выпустить закладные листы Крестьянского банка на иностранный рынок, чего до сих пор не было.

Но все эти и многие другие аргументы, разъясняющие ту же азбуку эмиссионного дела и его связь со всем кредитом государства, видимо, не убедили Столыпина, и он оставался все на своем: ему не понятна вся эта "хитрая механика", и он видит и чувствует только одно, что оставить дело в его нынешнем положении нельзя, и кто-нибудь из двух несогласных между собой должен уступить, — либо он, вместе с Кривошеиным, либо я. Поэтому нужно, чтобы нас рассудил Государь, и чтобы каждая из спорящих между собой сторон заранее согласилась подчиниться его решению, а если окажется, что оно вышло неудачно, то ведь возможно возвратиться к старому порядку вещей.

Против такого направления дела я стал решительно протестовать, сказавши Столыпину, что нельзя ставить Государя суперарбитром такого дела и в особенности недопустимо производить эксперименты именно над делом государственного кредита, который только что начинает крепнуть, и его нужно не расшатывать, а оберегать в интересах того же земледелия и землеустройства, как и всякой другой отрасли государственного управления. Ошибки в этом вопросе залечиваются десятилетиями, а совершаются в одно мгновение необдуманно принятого решения.

Я предложил принять другой способ разрешить выяснившееся уже между нами коренное разногласие, которое, как я вижу, уже доведено до сведения Государя. А именно предоставить мне передать Государю точно все, что я только что сказал и притом в еще более популярной форме, и в том случае, если у Государя уже сложилось окончательное мнение, представить ему полную свободу действий, согласно принятого им решения, но не смотреть на состоявшееся разногласие, как на вопрос моего недопустимого упрямства, и не налагать на меня ответственности за дальнейшую судьбу дела в том направлении, которое грозит одними отрицательными последствиями. Государь не может не понять, что мной руководят только самые понятные побуждения, и он, несомненно, не захочет налагать на меня обязанности, которую я не могу выполнить. В таком случае весь ход дела мог бы быть значительно упрощен. Столыпин получил бы от Государя полномочие поручить Кривошеину разработку проекта о передачи Крестьянского банка в Ведомство землеустройства на указанных ему основаниях.

При рассмотрении дела в Совете министров я ограничусь только заявлением о моем принципиальном несогласии, не стану приводить моих доводов и ограничусь лишь тем, что полученные Высочайшие указания ясно указывают на бесцельность возражений против одобренного Государем взгляда председателя Совета и министра земледелия и устраняют самую возможность отстаивать мою точку зрения. Защита всего проекта в Думе и Государственном Совете будет принята на себя Столыпиным или Кривошеиным, а когда проект будет окончательно принят палатами и удостоится Высочайшего утверждения, Государь примет мою отставку и заменит меня лицом, не разделяющим моих взглядов.

Столыпин пытался было уговорить меня еще и еще подумать прежде, чем ставить Государя в такое тяжелое положение, но делал это как-то, что называется, для очистки совести, потому что не раз и сам говорил, что он не имеет никакого права насиловать моей совести, коль скоро я вижу вред от перемены вещей, потому что и сам не хочет насиловать своей совести, разделяя противоположные моим взгляды и не отказываясь от них. Он кончил тем, что согласился со мной и просил меня только после беседы с Государем передать ему вынесенное мной впечатление.

Уходя от него, я спросил его, как поступит он, если Государь не при-

мет моего предложения и предпочтет оставить все по старому ввиду доводов о вреде перемены для государственного кредита.

Подумавши довольно долго, Столыпин ответил мне: "Мое положение иное, чем Ваше, я настаиваю на перемене, не зная так, как Вы, дело кредита и не неся за его судьбу прямой ответственности. Если Государь возьмет назад свое категорическое обещание по изложенным Вами основаниям, я не имею морального права ставить личный вопрос на карту, и тогда мне придется, по необходимости, согласиться на меньшее — постараться устранить внутренние трения между Крестьянским банком и землеустройством, на что Вы, вероятно, охотно пойдете, тем более что по существу я не знаю даже, велики ли теперь эти нелады, как мне о том говорят, часто не подкрепляя такого заключения действительными доказательствами.

На этом мы расстались, внешне совершенно дружелюбно.

Доклад мой Государю произошел ранее, нежели я предполагал; видимо, либо Столыпин, либо Кривошеин предварили его о моем свидании со Столыпиным.

К ближайшему докладу Государю у меня накопилось много дел в связи с развитием чумы на линии Китайской железной дороги. Этот вопрос сильно озабочивал Государя, и он интересовался всеми его подробностями, и мне приходилось как раз на этом моем докладе, тотчас после разговора со Столыпиным, представить ему целый ряд принятых мер и немало весьма успокоительных сведений. Я совсем не предполагал затрагивать на этот раз вопроса о Крестьянском банке и думал отложить его до более подходящей минуты, тем более что соглашение мое с П.А. отнимало всякую спешность от его разрешения.

Государь отдал много внимания всем доложенным мной вопросам, времени ушло немало и оставалось еще в приемной несколько человек, ожидавших приема. В 12 часов я собирался уже встать, как Государь удержал меня, сказавши, что у него есть один вопрос, о котором он давно хотел говорить со мной, но все мешали ему разные другие, более спешные, дела.

Без всяких оговорок, в самой простой и даже узкоделовой форме он сказал мне, что уже довольно давно как Столыпин, так и Кривошеин неоднократно докладывали ему о созревшем у них мнении о необходимости передать Крестьянский поземельный банк в Ведомство землеустройства, которое не может развить своей деятельности без этого условия.

Настояния обоих министров особенно усилились со времени возвращения П.А. [Столыпина] из его поездки в Западную Сибирь, во время которой он получил, по его словам, глубокое убеждение в необходимости этой меры, так как все местные деятели единогласно свидетельствовали ему о целом ряде затруднений, которые тормозят всю работу, и не

потому, что банк не идет навстречу нуждам землеустройства, а потому, что это учреждение чужого ведомства, для которого землеустроительное дело не свое дело, и оно просто не в состоянии отрешиться от узкофинансовой стороны и слишком ревниво охраняет ее. Все представленные ими доводы настолько убедили Государя, что он дал положительное обещание, что он готов встать на их точку зрения, но очень дорожит тем, чтобы я услышал это непосредственно от него, будучи уверен в том, что я, как всегда, отнесусь к такому решению с точки зрения государственной пользы и помогу довести это дело до благополучного конца.

Государь кончил свое обращение ко мне словами:

”Если Вы не можете ответить мне сейчас, то я прошу Вас не стесняться, отложимте его до следующего Вашего доклада, да к тому же сегодня у нас мало времени”. Он прибавил, что ему очень неприятно, что я узнал о его решении от Столыпина, который ”напрасно поторопился” сказать мне. Я сказал Государю, что я мог бы дать мой ответ сейчас, тем более что имел разговор по этому поводу с председателем Совета министров всего три дня тому назад и обдумал это дело со всех сторон; но опасаясь, что у самого Государя нет достаточного времени, чтобы дать мне возможность сказать все, что ему необходимо знать, и потому я прошу разрешить мне взять на мой следующий доклад лишь самое необходимое и посвятить все время разъяснению возбужденного самим Государем вопроса.

Он охотно согласился на это и прибавил, что знает уже от П.А. о моей с ним беседе и чрезвычайно встревожен тем, что слышал от него, хотя и отдает мне вперед справедливость в том, что я смотрю на дело как честный человек, и если я считаю, что эта мера вредная, то я не только имею право, но даже обязан сказать это своему Государю, и он со своей стороны никогда не осудит меня за это, как не сочтет себя вправе требовать от меня, чтобы я сделал то, что считаю вредным и за что не должен нести и ответственности.

Затем, подумавши несколько минут, Государь сказал, как бы нехотя: ”Я ответил П[етру] А[ркадьевичу] на переданный им разговор его с Вами, что при таком положении, которое Вы намереваетесь просить моего разрешения занять, и в чем я Вам препятствовать не могу и не буду, едва ли этот вопрос пройдет гладко, в особенности в Государственном Совете, где есть много людей, которые поймут, что без министра финансов едва ли можно обойтись в таком деле”.

Прямо к моему всеподданнейшего доклада я проехал к Столыпину, не заезжая домой, и передал ему дословно мою беседу с Государем.

Кривошеин ко мне все это время не заезжал и никаких разговоров со мной не вел ни во время двукратных наших встреч до следующей пятницы в заседаниях так называемого малого Совета, ни в очередном заседании Совета министров во вторник, несмотря на то что в этом заседании была речь именно об одном из законопроектов стоявших по Крестьянско-

му банку на очереди в Государственной Думе. Как он, так и Столыпин спрашивали меня, надеюсь ли я провести это дело, — оно было внесено мной и поступило в общее собрание Думы, при неблагоприятном заключении Земельной комиссии.

Мой всеподданнейший доклад следующей пятницы занят был почти целиком моими объяснениями по вопросу о передаче Крестьянского банка.

Я повторил все, что я говорил Столыпину, и, соблюдая в отношении к Государю всю возможную деликатность, старался развить главным образом три положения.

1. Полное отсутствие каких-либо действительных оснований говорить о трениях между ведомствами, когда их нет на самом деле и когда я делаю все мне доступное, чтобы оказывать всякую помощь землеустроительной политике Столыпина, которую я искренно разделяю.

2. Совершенную невозможность, не подвергая величайшему расстройству все, с таким трудом налаживаемое положение государственного кредита, отделить эмиссионную операцию по выпуску государственных долговых обязательств, какими являются закладные листы Крестьянского поземельного банка, и притом на огромные суммы, — от близкого надзора и руководства министра финансов.

3. Особенную щекотливость для меня возникшего предположения, в возбуждении которого я не принял никакого участия, а доклад по нему, как и состоявшееся, по-видимому, решение Государя последовало при полной для меня неизвестности. Мне остается поэтому только — или подчиниться такому неправильному решению и быть бессильным свидетелем вредных от него последствий для государственного кредита, забота о котором останется все же на мне, или принять решение, глубоко для меня тягостное, которое может встретить осуждение его, Государя, — просить освободить меня от исполняемых мной обязанностей и передать их человеку, который сумеет сделать то, что мне кажется неисполнимым. Это последнее положение я развил в самых деликатных выражениях и старался всеми способами смягчить невыгодное для меня впечатление у Государя, потому что я был далек от всякого желания насильствовать его волю и заставлять его отказываться от обещания, данного им по одностороннему докладу.

Государь слушал меня, не прерывая ни разу и не высказав ни малейшего неудовольствия, а тем более какой бы то ни было раздражительности.

Его ответ мне звучал тем же спокойствием, с которым он обсуждал самые простые вопросы моего управления, и на протяжении почти целого часа очень напряженной беседы я не заметил и тени неудовольствия на меня, а тем более попытки повлиять на то, чтобы я примирился с создавшимся положением и сохранил мои обязанности против моей совести и



только во имя доставления ему личного удовольствия. При его выдержке и даже умении скрывать свое истинное настроение мне трудно было тогда, как трудно и сейчас, сказать по совести: была ли у него какая-то смутная еще тогда мысль, что дело может получить иное разрешение, потому что окончательная его развязка при сделанном мной Столыпину предложении наступала еще не скоро, — или же он относился без большой тревоги к мысли о моем уходе. Трудно об этом говорить с какой бы то ни было уверенностью.

Начал своей ответ мне Государь с того, что сказал, что он отчасти сам виноват в том, что этот вопрос принял неправильное направление. Ему следовало с самого начала, как только Кривошеин и Столыпин заговорили с ним о Крестьянском банке, сразу же устроить у себя совещание при моем участии, и тогда весь вопрос был бы обсужден со всех сторон.

Вышло же то, что все дело велось как бы за моей спиной, и это ему в особенности неприятно, но за то нельзя винить никого, кроме него самого. Я не сказал ничего против такого заявления, чтобы не вышло, что я же обвиняю Столыпина или Кривошеина в нарушении корректности по отношению к Государю.

Затем Государь сказал так же просто, что его положительно смущает все, что я сказал по поводу неизбежности вредных последствий от передачи банка в Ведомство землеустройства для положения нашего кредита, только что начинающего выходить из трудного положения, и это одно соображение кажется ему настолько важным, что он спрашивает себя, не следует ли приостановить все это предположение, коль скоро оно связано с такими последствиями, о которых он никогда и не думал. Его смущает только, какое отражение вызовет это в председателе Совета министров, придающем этому делу, по-видимому, совершенно исключительное значение. Такое заключение вынес, по крайней мере, Государь из двукратной беседы с ним.

Он сказал мне, что не считает, во всяком случае, этого нашего разговора окончательным и будет думать еще о том, не представится ли какой-либо возможности пересмотреть этот вопрос, получивший совершенно неправильное движение, потому что мою точку зрения он не может не признать совершенно правильной и даже "безупречной". "Никто не имеет права, — сказал Государь, — упрекать Вас в чем-либо, потому что Вы поступили так, как поступил бы я сам на Вашем месте. Вас никто не спросил по Вашему делу, и мне был представлен доклад, о котором Вы даже ничего не знали, и я обещал дать ему направление, по Вашему мнению, соединенное с большим вредом и для дела и для одного из наиболее важных вопросов государственного управления, порученного Вашей ответственности. Вы довели до моего сведения Ваш взгляд в самой безупречной форме, и если это не заставит меня изменить моего решения, то я не имею никакого права уговаривать Вас отказаться от Вашего

намерения, как бы мне это ни было больно, тем более что я хорошо знаю, что Вы далеко не с легким сердцем остановились на таком решении, потому что Вы любите Ваше дело и всегда честно служили ему и мне. Я не могу этого сделать еще и потому, что, оставаясь на Вашем месте и видя на каждом шагу отрицательные последствия от принятой меры для Вашего же ведомства, Вы действительно попали бы в самое тяжелое положение, из которого был бы только тот же выход”.

Наша беседа закончилась тем, что Государь даже благодарил меня за предложенную Столыпину комбинацию вести все дело по Ведомству земледелия и Землеустройства и оставаться спокойно на месте до тех пор, когда будет издан закон о передаче Крестьянского банка в другое ведомство. Его последние слова были: ”До этого пройдет еще много времени, и Бог знает, чем все это кончится”.

От этой длинной беседы у меня сложилось мнение, что Государь считает себя связанным обещанием, данным Столыпину и Кривошеину, и, не вполне разбираясь в таком специальном вопросе, как неделимость заведования государственным кредитом, он не отступит от принятого им решения, если какие-либо внешние обстоятельства, не зависящие от него, не дадут другого направления всему этому делу.

Вопрос о моем оставлении Министерства финансов становился для меня поэтому только вопросом времени, но я решил никому не говорить об этом, главным образом потому, что я не хотел вносить тревогу в ведомство, и решил держать себя совершенно в стороне от разработки вопроса до той поры, когда дело поступит на обсуждение Совета министров и когда совершенно помимо моей воли всплывет наружу мое принципиальное расхождение и неизбежность моей отставки.

Столыпину я передал содержание моего доклада Государю с полнейшей точностью. Он был на этот раз как-то особенно сдержан, благодарил меня за точность передачи и сказал только: ”Вот победа, которая меня нисколько не радует. Я предпочел бы, чтобы всего этого вопроса вовсе не было, и вместо него мы могли бы спокойно обсудить только возможность еще более тесного взаимного сближения двух ведомств на практической работе по землеустройству, если бы это оказалось нужным.

А теперь поднимется столько трений и пересуд о Вашем уходе на почве такого принципиального вопроса, как охрана кредита, а в перспективе – еще возможный провал ведомства в совершенно чуждой ему области размещения облигаций банка на внутреннем рынке”.

На этом разговор кончился, и до самого июня 1911 года мы ни разу об этом вопросе со Столыпиным не заводили речи.

Кривошеин молчал и все время держал себя так, как будто бы никакого предположения у него и не возникало.

## ГЛАВА-VI

*Чумная эпидемия на линии Китайской восточной жел[езной] дор[оги]. Борьба с ней. Запрос в Думе по этому вопросу. — Мои Думские выступления. Дурасовское дело. Благоприятное финансовое положение страны. Моя бюджетная речь по росписи на 1911 год. — Законопроект о введении земства в губерниях Северо- и Юго-Западного края. Особое значение, придаваемое этой мере Столыпиным. Принятие законопроекта Думой и отклонение его Государственным Советом. Ульгиматум Столыпина: роспуск палат и опубликование закона в порядке статьи 87. Дисциплинарные взыскания против П.Н. Дурново и В.Ф. Трепова. Беседа со мной об этих событиях Императрицы Марии Федоровны. Удар, нанесенный ими престижу Столыпина. — Отказ Столыпина и Кривошеина от проекта Крестьянского банка из ведения Министерства финансов*



Пока происходили описанные происшествия, немало расстроившие меня, мне пришлось с самого конца октября отдать много времени и забот неожиданно разразившейся на линии Китайской восточной железной дороги чумной эпидемии.

Осенью этого года случаи чумных заболеваний появились, правда в весьма небольшом количестве, в Одессе и вызвали принятие экстренных мер Министерством внутренних дел. Они были ликвидированы очень быстро. Эпидемия на Китайской дороге появилась ровно год спустя после убийства в Харбине князя Ито: 13 октября 1910 года в китайском поселке близ станции Маньчжурия появилось первое заболевание среди китайского населения и разом перекинулось на целую группу домов, находившихся в близком соседстве как со станцией, так и с русским поселением.

Серьезность и даже опасность этого положения стала очевидной с первого взгляда. Через несколько дней после регистрации этого случая, констатированного местным врачебным надзором железной дороги при участии случайно проезжавшего известного московского врача, начиналось передвижение из Приморской области эшелонов запасных чинов, отбывших сроки их военной службы и возвращавшихся во внутренние губернии России по линии Китайской восточной дороги, и передвижение из России в ту же Приморскую область новобранцев на смену уволенных в запас и такая же операция по Заамурскому округу пограничной стражи и железнодорожной его бригады. Опасность занесения чумы в Россию из этого китайского очага стала очевидной, и задача, выпадавшая на долю Управления Китайской дороги, была оценена всем общественным мнением России по ее действительному значению.

Дорога вышла из этого испытания с величайшей честью. Управление не жалело ни средств, ни энергии на борьбу с надвинувшейся опасностью. Мобилизованы были многочисленные силы медицинского персонала, к руководству его работой привлечен лучший специалист того времени

профессор Заболотный. Военное ведомство предоставило свой санитарный и фельдшерский персонал. Университеты и Военно-медицинская академия дали целые отряды добровольно пошедшей на борьбу с эпидемией учащейся молодежи. И результаты этих усилий сказались скорее, нежели этого можно было ожидать, несмотря на все невыгодные условия, представленные китайским населением не столько в полосе отчуждения железной дороги, состоявшей в русском управлении, сколько за ее пределами, но в ближайшем к ней соседстве. Нужно не забывать, что русской власти в отношении этих последних местностей не принадлежало никаких прав, и приходилось действовать в нарушение нашей концессии, так как китайская власть не принимала никаких мер, хотя, надо отдать ей справедливость, и не мешала нам принимать свои.

Пришлось просто сжечь целый ряд китайских домов и уничтожить множество скарба. Сопrotивления нигде оказано не было, так как дорога не скупилась на вознаграждение потерпевших. Всего труднее было организовать борьбу в Харбине. Соседний с ним китайский город Фудадзян сделался настоящим очагом заразы. В нем и в самом Харбине было сравнительно много смертных случаев, но в Россию чума допущена не была, все запасные вернулись домой без единого подозрительного по чуме случая, все новобранцы прибыли в свои воинские части совершенно благополучно, и через три месяца после первого заболевания опасность заноса чумы через железную дорогу в коренную Россию миновала. Жизнь на самой дороге, кроме главного центра – Харбина, вернулась в норму.

В Харбине борьба с чумой была особенно трудна – не только из-за соседства с Фудадзяном, но и потому, что и в самом Харбине некоторые части города, как, например, особенно торговая его часть – Пристань, представляли собой смешение прекрасных построек совершенно европейского типа с отвратительными притонами китайского населения, в которых средства обязательной гигиены были совершенно неприменимы, и приходилось брать на средства дороги сравнительно значительные расходы, относящиеся собственно до обязанности города, вплоть до выселения целых домов и постройки вместо них наспех новых помещений временного типа, и в них подвергать жильцов самому строгому надзору, неудобства которого они сносили, однако, терпеливо.

Большие трудности представляла и сама дорога. Она занимала в своих мастерских и на работах вообще большое количество китайских рабочих, которые в обычное время жили в Фудадзяне или на Пристане, или даже кругом города в мелких китайских поселках. С появлением чумы нельзя было удалить их с дороги, по невозможности заменить их в сколько-нибудь короткий срок русскими рабочими из внутренних губерний, так как соседние сибирские губернии и области не имели свободных рабочих рук. Оставлять этих рабочих на работах в мастерских и на дороге и сохранять за ними общение с китайским же населением в местах их

жительства было также невозможно. Пришлось поэтому принять экстренную меру — изолировать их полностью от общения с китайским населением и, сохранив их на работах дороги, разместить их в особых бараках, спешно выстроенных дорогой, и регулировать распоряжением дороги всю их внутреннюю жизнь, вплоть до надзора за доставляемыми им продовольственными продуктами и полного разобщения их от всякого сношения с китайским населением. Справедливость заставляет сказать, что все эти стеснения переносились без всякого ропота и сопротивления китайскими рабочими на дороге, а назначение им несколько повышенной платы по сравнению с ранее получаемой ими создало самую мирную атмосферу среди них, доходившую до того, что они установили свой внутренний надзор, значительно облегчавший задачи дороги. Благодаря всем принятым мерам количество жертв среди русского населения было совершенно ничтожно, как было невелико и число жертв среди врачебного персонала.

\* \* \*

При таких обстоятельствах начался 1911 год, который должен был окончиться для меня в совершенно иной обстановке, нежели та, в которой я вступил в него. Я начал год в далеко нерадушном настроении.

Мысль о вероятном оставлении мной Министерства финансов в связи с необходимостью хранить об этом полное молчание делала и без того нелегкую вообще текущую работу еще более тяжелой, а она, как нарочно, была особенно велика с первых дней нового года. Еще до начала рождественских вакансий в Думе в нее поступили разом от разных фракций три запроса по поводу появления в конце года холеры и чумы в разных местностях России. Главный из них был направлен именно на чуму на линии Китайской дороги, другой имел своим предметом вспышку холеры на юге и в окрестностях Астрахани, третий опять же вращался около той же чумы в Маньчжурии и ставил вопрос о том, с какими расходами сопряжена борьба с ней и кому предстоит покрыть их.

Первый и главный вопрос соединил немалое количество подписей и был роздан, как и был сообщен правительству, чуть ли не в день роспуска Думы на Рождество. В нем не было недостатка в весьма недвусмысленных неблагоприятных кивках против Китайской дороги и делались столь же недвусмысленные намеки на то, что России и русской казне приходится оберегаться от деятельности этого особого предприятия. Самое содержание запросов было чисто искусственное: не то правительство обвинялось в незаконных действиях, не то от него спрашивали разъяснения по делам, находящимся в производстве.

П.А. Столыпин предложил возложить на меня обязанность отвечать от имени правительства, и он был по существу прав.

Все, что относилось к холерным заболеваниям в самой России, было

уже на самом деле ликвидировано и никого более не интересовало, совершенно независимо от того, что размеры этих эпидемических заболеваний были весьма незначительны, а все подробности о них составили уже предмет правительственных сообщений. Иное дело Маньчжурская чума. Она была также ликвидирована в той ее части, которая была наиболее грозной для внутренней России, в смысле заноса заразы с востока, но далеко еще не была потушена в самой Маньчжурии и могла всегда снова перекинуться на русские области. Кроме того, вся борьба с маньчжурской чумой велась официально под моим руководством, и никто из прочих министров не обладал всей полнотой сведений. Скажу даже, что мало кто интересовался ей. Наконец, кому же, как не мне, приличествовало отстранить все неблагоприятные намеки, которыми были пересыпаны запросы, на отчужденность управления делами Китайской восточной дороги и взять отчужденных "маньчжурцев" под свою защиту. Особенно решительно отстаивал это Столыпин, подробно высказавши в Совете, что, близко следя за всем, что делается в смысле борьбы с эпидемией в Маньчжурии, он считает своим долгом горячо благодарить все управление железной дороги и меня, как отвечающего за нее, за все, что сделано для санитарной безопасности России. Он прибавил даже, что если бы кто-нибудь сказал ему, что принятые распоряжения могут быть столь энергичны и разумны, он не поверил бы и думал даже, что это как-то не по-русски, и потому он предлагает Совету не только просить меня открыто заявить с трибуны Государственной Думы, что правительство "считает прямым долгом справедливости отметить, что весь персонал железной дороги заслуживает величайшей похвалы за то, что им выполнено в условиях величайшей трудности, и что ему мы обязаны тем, что можем уже и теперь сказать, что опасность от заноса эпидемии в Россию им устранена". Уже 19 января Дума возобновила свои занятия, и в тот же день я дал мои объяснения по всем запросам. Что и как я сказал об этом не забыли те, кто пережил эту грозную пору в Маньчжурии и кто вынес всю борьбу на своих плечах. Их мало кто поблагодарил, если не считать того, что услышала от меня Дума с трибуны в этот день.

Пусть скажут себе те, кто когда-нибудь прочтут мои воспоминания, что грозившая России величайшая опасность была устранена усердием и исключительным мужеством в борьбе с ней всего управления Китайской восточной железной дороги до самого низшего персонала включительно. Быть может, они отметят также, что на всю борьбу было истрачено не более одного миллиона рублей, считая и все расходы Министерства внутренних дел по борьбе с другими эпидемиями в том же году.

С этого запроса, заслушанного 19 января 1911 года, началось мое почти ежедневное присутствие в Государств[енной] Думе вплоть до половины марта, когда разразился тот неожиданный кризис правительства, о котором речь впереди.

19 января я отвечал на запрос о чуме, 22-го на такой же запрос о развитии контрабандного промысла спиртом через маньчжурскую же границу; 24-го мне было поручено правительством выступить по вопросу о размере кредита на нужды начального образования<sup>93</sup> и помочь фиксации размера кредита на длинный ряд лет, то есть принять на себя роль защитника народного образования в то время, когда меня же обвиняли в том, что я будто бы являюсь противником расходов на просвещение; 4 февраля мне пришлось вести настоящий бой с левым крылом Думы по запросу о деятельности опять того же Крестьянского банка и одержать бесспорный успех над авторами запроса, а уже с 21 февраля началось рассмотрение бюджета в Общем собрании Думы.

Я упоминаю о моем выступлении по делу народного образования потому, что мне хочется снять с себя вечное осуждение меня за слишком скупое отношение к самым неоспоримым нуждам страны во имя чрезмерно близкого моему сердцу казначейского благополучия.

Вторая моя речь имеет совсем иное значение.

Запрос правительству на этот раз был предъявлен уже без всякого колебания – в смысле обвинения его в явно незаконных действиях, совершенных правительством по ведомству Крестьянского банка, и предъявлен он был одновременно как к Председателю Совета министров, так и ко мне как руководителю банка. Запрос получил прозвище "запроса по Дурасовскому делу"<sup>94</sup>. Он рассматривался в думской комиссии по запросам очень долго и попал в руки правительства перед самым Рождеством. Подписан он был левой группой, – эс-деков. Первым подписавшим и главным, если не единственным, зачинщиком дела был депутат Покровский 2-й, который задолго до предъявления запроса неоднократно являлся ко мне и в приемные дни и испрашивал особые аудиенции, постоянно доказывая мне совершенные не только Крестьянским банком, но и административными властями вопиющие несправедливости в ущерб крестьян, будто бы окончательно разоренных банком. Мне пришлось поэтому войти очень глубоко во все частности этого дела, и я успел изучить его до мельчайших подробностей еще в ту пору, когда вопрос, так остро поставленный Столыпиным, совершенно не был мне известен. Близко следил за ним и П.А. Столыпин и постоянно просил меня давать все большие и большие подробности по мере того, что выяснялась из настояний Покровского 2-го и предъявляемых мне Крестьянским банком данных возмутительная история этого дела, в котором так называемые дурасовские крестьяне были бесспорно жертвой агитации того же Покровского, сумевшего, однако, скрыть следы своей работы и избежать обнаружения ее. Всем было, однако, ясно до очевидности, что без него и его сотрудников по агитации никогда не было бы тех осложнений, которых достигло это возмутительное дело. Правда, не было бы и того на самом деле настоящего триумфа, которого добилось правительство. После окончания прений

по этому делу не только запрос не был принят Думой, но немалый конфуз испытала и думская комиссия о запросах, разделившая все заключения интерpellлянтов, но и те члены Думы, правее эс-деков, которые дали ему свои подписи. Мои друзья из кадетской оппозиции были, разумеется, в числе их и даже не отказали себе в удовольствии, как сделал, например, Аджемов, — пустить в меня во время моих объяснений язвительные стрелы.

Когда вопрос правительству созрел и состоялось заключение комиссии о запросах, не только принявшее запрос, но и пошедшее в своих заключениях дальше самих авторов его, я был уже в курсе предположений Столыпина поднять вопрос о передаче в Ведомство землеустройства Крестьянского банка. Моим первым желанием было просить его взять на себя ответ на запрос. Но он сразу же и решительно отказался от моего предложения, сказавши, что никто не положил так много труда, как я, на изучение дела, и даже было бы крайне невыгодно, чтобы выступал от имени правительства кто-либо другой, а не я, потому что первый подписавший — Покровский — будет конечно обосновывать запрос, а ни с кем из членов правительства он не вел таких частых и назойливых переговоров, как со мной. Он прибавил, что лично у него Покровский был всего один раз, и он не входил с ним ни в какие частности, ссылаясь на то, что все дело находилось в руках Крестьянского банка и никто не должен отвечать за него помимо министра финансов.

При заслушании запроса Дума была в большом составе. Трибуны для публики были полны до отказа. Готовился так называемый большой думский день.

Хотя Покровский 2-й знал не только мою точку зрения, но и все обстоятельства дела, которые, конечно, будут выдвинуты мной, потому что я не скрывал их от него и даже предупреждал его, что помимо их у меня есть в запасе и другие очень неприятные для его запроса данные, — он повел атаку на правительство в крайне приподнятом тоне и не поскупился на самые резкие выражения, срывая каждый раз дружные знаки одобрения от своих единомышленников и их соседей. Столыпин на заседание не приехал, хотя я очень просил его не оставлять меня одного, так как нельзя было предвидеть, не примут ли прения такого характера, при котором выступление председателя Совета министров может оказаться совершенно необходимым. Он сказал мне, однако, что считает не нужным этого делать, так как у меня столько данных, что результат запроса для него вполне обеспечен. Когда мы уходили из заседания, — это было на праздниках, — он задержал меня и просил не думать, что на его отношение сколько-нибудь влияет происшедшее между нами разногласие в вопросе о подведомственности Крестьянского банка. Кривошеин все время просидел в Думе, пока не окончились прения и не последовало голосование, не только не давшее необходимых двух третей голосов для пред-



ставления принятого запроса на усмотрение Верховной власти, но просто запрос был значительным большинством голосов отклонен.

Запрос был просто недобросовестный, основанный на данных заведомо для самых интерpellянтов ложных и даже лживых, разбить их не было особенного труда, и нужно было только не бояться резких выпадов до прямой брани. Но их на самом деле вовсе не было. Зала носила характер, весьма выгодный для меня. С самого начала было очевидно, что я располагаю всеми данными, которые целиком оправдывают деятельность всех органов правительственной власти в этом деле, и что встать на сторону интерpellянтов значило потворствовать самой разнузданной пропаганде насильственного захвата земли, даром, и разжигания крестьянских страстей, что и было на самом деле выполнено скрывшимися за крестьянскими спинами агитаторами. Всем было ясно до очевидности, что главным из них был никто иной, как сам Покровский 2-й, сумевший, однако, ловко, спрятать концы своего участия в воду. Недоставало только в моем распоряжении возможности вскрыть и эту подоплеку, но когда я сказал, что в руках Крестьянского банка недостает, к величайшему для меня сожалению, только одного права и возможности сказать, кому обязаны дурасовские крестьяне своими страданиями, то раздались отдельные голоса: "Не стоит, это и так ясно".

Невелика была передышка, которую дали мне думские занятия, требовавшие почти бесменного пребывания моего в Таврическом Дворце с первых дней января; и уже 21 февраля мне пришлось снова появиться там же на общих прениях по бюджету на 1911 год.

Они не предвещали ничего исключительного, так как и на этот раз положение правительства было особенно благоприятное: прекрасные урожаи 1909 и 1910 годов отразились самым благоприятным образом на поступлении доходов и дали возможность значительно увеличить и расходную смету, сведя ее не только без особых затруднений, но и давши широкое удовлетворение излюбленным Думой культурным потребностям страны и предупредивши тем самым большинство обычных ее пожеланий. Это был четвертый бюджет, рассматриваемый Государственной Думой третьего созыва, и я принял с полного одобрения Совета министров за основание моего выступления в составе общих прений естественно напрашивавшееся сопоставление этой четвертой росписи с первой рассмотренной Думой росписью — на 1908 года. Сравнение невольно началось разительно благоприятное в смысле финансового положения России решительно во всех отношениях. К тому же и заключение бюджетной комиссии Думы на этот раз еще более оптимистическое, нежели и без того чрезвычайно благожелательное для правительства заключение ее по росписи на 1909 и 1910 годы. Этому сопоставлению и выводам из него я посвятил всю мою речь, которая невольно звучала самым бодрым и полным веры в будущее тоном, и часто, гораздо более часто, чем в предыдущие

года, прерывалась шумными одобрениями не только правого сектора Думы, но даже временами и части левых групп, их умеренного крыла. Заключительные мои слова были покрыты, как говорит стенограмма, оглушительными продолжительными аплодисментами всего центра и правых скамей.

Когда я сошел с трибуны, меня обступили внизу многие депутаты, а в числе их немало и таких, которых я лично почти не знал, и не скупилась на выражения благодарности, одобрения и сочувствия за все сказанное. Председатель Думы Родзянко своим зычным голосом не постеснялся, стоя рядом с Шингаревым, сказать мне: "А я все-таки держу пари, что Андрей Иванович не откажет себе в удовольствии выступить вслед за Вами и объяснить нам, что Ваша роспись опять никуда не годится и что наши финансы куда хуже, чем были прежде, и мы по-прежнему находимся на краю банкротства".

Шингарев, разумеется, выступил тотчас после перерыва, не сказал ни одного слова против сведения росписи и заключения Бюджетной комиссии Думы, нашел, что доходы может быть не преувеличены, а расходы немного лучше сведены, нежели делалось до сих пор, но затем произнес все-таки полуторачасовую речь "рядом с бюджетом" по поводу всего, что только попадалось под руку, но не имело решительно никакого отношения к своду росписи и отвечало заранее заготовленной на завтра оппозиционной статье для газет. Я решил просто ничего не отвечать ему и сказал всего несколько слов по поводу одной, обычно допущенной им подержки.

Мне пришлось зато выступить с небольшим ответом по поводу следовавшей за ней речи саратовского депутата Н.Н. Львова, сидевшего тогда среди ближайших к кадетам соседей их, — прогрессистов.

Всегда корректный по форме, но резкий по существу, когда он выступал против правительства, он редко выступал по вопросам о финансах государства в тесном смысле слова. Но на этот раз он сделал почему-то исключение, тогда когда наши финансы и учет их всего меньше давали основания к каким-либо изобличениям невыгодного для правительства свойства, и произнес очень красивую по форме, но явно пристрастную по существу речь, обвиняя не только правительство, но и самое Думу в чрезмерном предпочтении расходов на оборону, вместо того чтобы давать средства на подъем культурного развития страны, которое "тщетно ждет еще удовлетворения самых элементарных своих требований". Слева ему разумеется горячо аплодировали, в особенности когда он сказал под конец, обращаясь к Думскому большинству, направо: "С чем явитесь Вы перед Вашими избирателями, всего через год, и что скажете Вы им в доказательство того, как понимали Вы Ваши обязанности по отношению к стране, и напрасно думаете Вы, что страна не учла уже того, что дали Вы за четыре года Вашей работы".

Тотчас после речи Н.Н. Львова я вышел на трибуну и ответил ему в очень горячей речи, защищая и правительство и Думу и объяснивши ему, а через его голову и всей оппозиции, почему пришлось в истекшие четыре года отдать столько внимания и средств на дело обороны, расшатанное в конец несчастной войной, насколько несправедливо говорить о том, что мы забыли нужды культурного развития страны, когда они удовлетворяются широкой рукой, и в прогрессии во много раз превышающей требования обороны. Закончил я и оправданием, которое так легко принести членам Думы перед их избирателями, если только последние способны на справедливое и разумное отношение к оценке простого понятия, что "культура и прогресс могут быть обеспечены только тогда, когда страна не оставлена беззащитной в своей внешней безопасности".

\* \* \*

Едва успели закончиться эти общие прения и далеко не закончилось еще рассмотрение частностей росписи, как произошло событие, совершенно неожиданное для меня и на много дней сосредоточившее на себе внимание всего правительства. Его последствия имели лично для меня весьма глубокое значение.

В числе дел, особенно занимавших внимание председателя Совета министров в течение всего 1910 года и даже части 1909 года, было дело о введении на основании особого Положения, выработанного при большом личном участии П.А. Столыпина, — земского управления в 9 губерниях северо- и юго-западного края<sup>95</sup>. Лично я почти не принимал никакого участия в разработке и прохождении этого дела через Совет министров. Напротив того, П.А. Столыпин сразу же придавал ему чисто личный характер и как при внесении его в Совет в виде общей схемы, так и при составлении проекта в окончательном виде защищал его лично самым энергичным образом, не раз указывая на то, что после крестьянской земельной реформы и пересмотра общегубернского управления он придает этому вопросу первенствующее значение, так как — это была его излюбленная формула — "он выносил в своей душе этот вопрос еще со времени своей первой юности и при первом его соприкосновении с местной жизнью в северо-западном крае, которому он отдал лучшие свои годы". Он относился поэтому особенно чутко к каждому замечанию, с которым встречался в среде Совета, так же как и при рассмотрении законопроекта в Думе, лично посещая все заседания ее, пока она не высказала свое сочувствие основным его принципам. На этом вопросе он, в частности, и сблизился в особенности с фракцией националистов в Думе, которая оказала ему самую деятельную поддержку, в частности, в вопросе об образовании для выборов земских гласных<sup>96</sup> отдельной русской курии<sup>97</sup>, как способ устранить поглощение польским элементом русского крестьянства в

избирательных собраниях. Из Думы рассмотренный последней и согласованный во всем законопроект перешел в Государственный Совет в половине 1910 года и поступил на обсуждение осенью этого года. Столыпин неизменно участвовал лично при первоначальном рассмотрении дела в комиссии и хотя сразу же встретился с оппозицией со стороны правых членов комиссии, но не придавал этому большого значения, как не придавал его и образовавшемуся разногласию именно в вопросе о русских куриях, совершенно спокойно заявляя, что он не сомневается в том, что это разногласие исчезнет при обсуждении в Общем собрании, на котором он вполне надеялся одержать верх при его личной защите законопроекта. Он был настолько уверен в успехе, что еще за несколько дней до слушания дела при разговоре о нем в Совете он не поднимал вопроса о необходимости присутствия в Государственном Совете тех из министров, которые носили звание членов Совета, для усиления своими голосами общего подсчета голосов. Их было тогда, правда, немного. Лично я ни разу не был в Совете во все время рассмотрения дела и не следил за его прохождением, — настолько много было у меня своего собственного дела при постоянных моих участиях в Думе. Укрепляло убеждение Столыпина и отношение к делу председателя Государственного Совета М.Г. Акимова, который сам принадлежал к правой группе и всегда был хорошо осведомлен о ее настроениях.

Велико было поэтому удивление и даже потрясение, вынесенное Столыпиным, когда в начале марта, 7 или 8 числа, голосование именно по статье о русских куриях после решительного, обоснованного и даже красноречивого выступления самого Столыпина дало совершенно неожиданный результат: большинством всего 10 голосов статья законопроекта и все зависящие от нее постановления были отвергнуты. Столыпин тотчас же покинул зал заседания, и все поняли, что случилось нечто необычное. Я узнал об этом довольно поздно по телефону и по первому впечатлению не придавал особого значения, так как вообще не был в курсе его. На следующий день мне стало известно, что Столыпин поехал в Царское Село. В течение дня меня посетили Тимашев, Кривошеин и Харитонов.

Первый не знал ничего и хотел узнать мою оценку. Я мог сказать ему только, что Петр Аркадьевич не делился со мной ни разу своим отношением к делу и не позвонил мне по телефону. Не сказавши ничего Тимашеву, я подумал только, что он отступил от своего обыкновения все под тем же влиянием — нашей размолвки по Крестьянскому банку.

Кривошеин был уже, очевидно, осведомлен непосредственно от Столыпина, так как он сказал мне без всяких оговорок, что Петр Аркадьевич не может примириться с таким "возмутительным решением", под которым несомненно таится интрига лично против него, и если только не получит согласия Государя на его предложение, то несомненно уйдет в отставку. На мой вопрос, в чем же состоит его предположение, Кривошеин

отозвался незнанием и сказал только, что вероятно мы все сегодня же будем приглашены в заседание на Фонтанку и узнаем, чем все решено. Харитонов, видимо, не видал Столыпина и высказал только, что по впечатлениям, полученным им из Государственного Совета, нужно ожидать событий не обычного масштаба, так как "уходят из заседания подобным образом или когда подадут в отставку, или когда готовят какой-либо ку-д-ета"<sup>98</sup>.

В тот же день Столыпин ко мне не позвонил, не позвонил и я к нему, чтобы не быть назойливым или не давать ему повода подозревать меня в каком-либо личном интересе.

На следующий день действительно состоялось собрание членов Совета, по телефонным вызовам, и мы все собрались не в обычном помещении, где происходили заседания Совета, а в кабинете П. А.

С его привычной сдержанностью, не обнаруживая никакого волнения в изложении происшедшего инцидента, хотя волнение было заметно в его жестах, Столыпин передал нам, что все происшедшее третьего дня, как это теперь ему совершенно точно известно, было плодом издавна подготовленной интриги, направленной лично против него. Она выразилась в том, что лидер правой группы Государственного Совета П. Н. Дурново еще задолго до слушания дела в Общем собрании Государственного Совета подал Государю записку, характеризуя выделение русских крестьян в Северо- и Юго-Западном крае в особые избирательные курии как меру, крайне опасную в политическом отношении, которая только оттолкнет от правительства весь класс польских землевладельцев в крае, совершенно лояльно настроенных по отношению к России, и может даже усилить и без того замечающиеся противорусские стремления среди отдельных лиц, явно тяготеющих к Австрии. Под влиянием этой искусственной меры неизбежно весь наиболее культурный землевладельческий класс совершенно отойдет от местной земской работы, которую немислимо построить на одном крестьянстве, да на немногих русских чиновниках, и т. д.

Ему известно далее, что перед самым рассмотрением дела, после одного из частных собраний у П. Н. Дурново, испросил себе аудиенцию у Государя член [Государственного] Совета В. Ф. Трепов, что подтвердил ему барон Фредерикс, рассказавший ему при этом, что перед аудиенцией он заходил к нему и очень горячо доказывал ему, что эта часть думского проекта есть чисто революционная выдумка, отбрасывающая от земской работы все, что есть культурного, образованного и консервативного в крае, и что это делается исключительно в угоду мелкой русской интеллигенции, которой хочется забрать все дело в свои руки и поживиться на "земском пироге".

Поэтому он, Столыпин, решил доложить вчера Государю, что он не может оставаться на своем двойном посту, если дело, которое он лелеял с

молодости, должно погибнуть из-за простой интриги, оправдываемой к тому же прямыми извращениями фактов и обвинением его чуть ли не в потворствовании революционным замыслам, против которых он борется, не щадя своей собственной жизни и жизни своих детей. Поэтому он сказал Государю, не обинуясь, что просит его освободить от должности и разрешить ему вовсе уйти со службы, так как он не может даже представить себя заседающим в Государственном Совете вместе с людьми, решившимися обвинить его в таких замыслах.

По словам П.А. [Столыпина], Государь был совершенно подавлен его намерением и все говорил ему, что он совершенно не представлял себе всей важности этого дела и хорошо понимает его волнения, но считает, что он не имеет права так резко ставить вопрос, и нужно подумать о том, какие меры могли бы быть приняты к тому, чтобы дело могло быть снова рассмотрено и доведено до конца, причем обещает ему заранее употребить все свое влияние, чтобы при вторичном рассмотрении не могло случиться ничего похожего на то, что произошло. Тогда Столыпину пришлось войти во все детали этого дела и разъяснить Государю, что никакого вторичного рассмотрения дела не может и произойти, потому что Дума никогда не согласится отказаться от русских курий, из-за которых все дело и провалилось в Совете, а последний из-за одного упрямства не сознается никогда в своей ошибке.

Тогда Государь сказал Столыпину самым решительным образом: "Я не могу согласиться на Ваше увольнение, и я надеюсь, что Вы не станете на этом настаивать, отдавая себе отчет, каким образом могу я не только лишиться Вас, но допустить подобный исход под влиянием частичного несогласия Совета. Во что же обратится правительство, зависящее от меня, если из-за конфликта с Советом, а завтра с Думой, будут сменяться министры". "Подумайте о каком-либо ином исходе и предложите мне его", — закончил Государь.

Тогда, по словам Столыпина, он, поблагодарив прежде всего Государя за оказываемое ему доверие, сказал ему, что для него самое существенное в настоящем случае вовсе не его самолюбие, которым он никогда не руководствуется, а польза государства и необходимость оживить целый край, который прозябает в невероятных условиях, о которых может судить лишь тот, кто прожил там многие годы. Отвечая же на вопрос Государя, что можно сделать, чтобы обеспечить проведение земской реформы в жизнь, он сказал, что есть только одно средство — провести закон по 87 статье основных законов, а для этого необходимо принять хотя бы и искусственную меру — распустить на короткий срок обе палаты, обнародовать закон в качестве временной меры в порядке Верховного управления и затем внести его в Думу в том самом виде, в каком он был принят ею. Дума не имеет повода не утвердить его вновь, и когда он дойдет снова до Государственного Совета, то ему не останется ничего иного, как

подчиниться совершившемуся факту, тем более что до этого срока пройдет немало времени, закон войдет уже в жизнь, а она докажет лучше всяких слов, что все осуждения Государственного Совета ни на чем не основаны и никогда польские помещики не откажутся от земской работы, как распространяют это его противники, и сами не веря тому, что они говорят.

Государь внимательно выслушал это предложение и спросил Столыпина: "А Вы не боитесь, что та же Дума осудит Вас за то, что Вы склонили меня на такой искусственный прием, не говоря уже о том, что перед Государственным Советом Ваше положение делается чрезвычайно трудным". Столыпин передал нам, что он ответил Государю: "Я полагаю, что Дума будет недовольна только наружно, а в душе будет довольна тем, что закон, разработанный ею с такой тщательностью спасен Вашим Величеством, а что касается до неудовольствия Государственного Совета, то этот вопрос бледнеет перед тем, что край оживет, и пока пройдет время до нового рассмотрения дела Государственным Советом, страсти улягутся и действительная жизнь залечит дурное настроение".

Государь ответил ему на это: "Хорошо, чтобы не потерять Вас, я готов согласиться на такую небывалую меру, дайте мне только передумать ее. Я скажу Вам мое решение, но считайте, что Вашей отставки я не допущу".

На этих словах Государь встал и протянул Столыпину руку, чтобы проститься с ним, когда П.А. попросил извинения и высказал ему еще одну мысль, изложив ее так:

"Ваше Величество, мне в точности известно, что некоторое время перед слушанием дела о западном земстве в Государственном Совете, Петр Николаевич Дурново представил Вам записку с изложением самых неверных сведений и суждений о самом деле, скрытно обвиняя меня чуть что не в противогосударственном замысле. Мне известно также, что перед самым слушанием дела член Гос[ударственного] Совета В.Ф. Трепов испросил у Вашего Величества аудиенцию с той же целью, с какой писал Вам особую записку Дурново. Такие действия членов Государственного Совета недопустимы, ибо они вмешивают их личные взгляды в дела управления и приобщают особу Вашего Величества к их действиям, которых я не позволю себе характеризовать, потому что Вы сами изволите дать им Вашу оценку. Я усердно прошу Ваше Величество во избежание повторения подобных неблагоприятных поступков, расшатывающих власть правительства, не только осудить их, но и подвергнуть лиц, допустивших эти действия, взысканию, которое устранило бы возможность и для других становиться на ту же дорогу".

Государь, выслушав такое обращение, долго думал и затем, как бы очнувшись от забытья, спросил Столыпина: "Что же желали бы Вы, Петр Аркадьевич, что бы я сделал?" "Ваше Величество, наименьшее, чего за-

служили эти лица, это – предложить им уехать на некоторое время из Петербурга и прервать свои работы в Государственном Совете, хотя бы до осени. В такой мере нет ничего жестокого, потому что скоро наступит вакантное время, и они все равно уедут, куда каждый из них пожелает, но зато все будут знать, что интриговать и вмешивать особу Вашего Величества в партийные дрязги непозволительно, а гораздо честнее бороться с неугодными членами правительства и их проектами с трибуны верхней палаты, что предоставляет им закон в такой широкой степени”.

По словам П.А. Столыпина, и это его обращение к Государю не вызвало никакого неудовольствия, как не вызвало оно и опровержения фактической стороны дела. Государь ответил ему только: ”Я вполне понимаю Ваше настроение, а также то, что все происшедшее не могло не взволновать Вас глубоко. Я обдумую все, что Вы мне сказали с такой прямоотой, за которую я Вас искренно благодарю, и отвечу Вам также прямо и искренно, хотя не могу еще раз не повторить Вам, что на Вашу отставку я не соглашусь”.

Передавшие нам все, что изложено мной с полнейшей точностью, П.А. [Столыпин] прибавил только, что его решение последовало после тяжелого раздумья, и что он принял это решение, от которого не может ни в каком случае отойти, и просит нас всех не судить его, так как он вполне уверен в том, что каждый из нас поступил бы точно также и пожертвовал бы своим положением во имя достоинства власти, которая только принижается подобными проявлениями интриги. По-видимому, он совершенно не желал того, чтобы сообщение его служило предметом каких-либо обсуждений в нашей среде, но они возникли как-то сами и даже приняли в известный момент довольно острый характер. Начал их наиболее экспансивный из нас – Кривошеин, сказавши, что для него решение Государя несомненно, и желание Петра Аркадьевича будет исполнено. Его смущает только, что положение самого Государя в этом случае чрезвычайно щекотливое, так как если он мог совершенно не знать о содержании записки Дурново, то принявши Трепова и не сказавши ему того, что он должен был сказать, он до известной степени сам несет ответственность за случившееся и ему не может быть не трудным принять второе положение, которое выставлено Столыпиным.

Щегловитов был очень решителен и просто высказал свою полную солидарность с П.А. [Столыпиным]. Большинство остальных министров молчало, чувствуя, очевидно, полную бесцельность всяких дебатов при решении, принятом Столыпиным.

Я решил также не высказывать моего взгляда по совершенной бесцельности этого при занятом Столыпиным непримиримом положении на его всеподданнейшем докладе. Харитонов попытался было спросить его, нельзя ли найти какое-либо смягчение в вопросе о мерах ”укрощения”, как выразился он, Дурново и Трепова, потому что, зная характер Госуда-



ря, он думает, что этот вопрос будет наиболее болезненным для Государя, и было бы для положения самого Столыпина крайне желательным найти какой-либо выход. Его осторожное замечание вызвало очень резкую отповедь. "Пусть ищут смягчения те, кто дорожит своим положением, а я нахожу и честнее и достойнее просто отойти совершенно в сторону, если только приходится еще поддерживать свое личное положение среди переживаемых условий".

Перед нашим общим уходом Столыпин просил меня остаться, сказавши, что у него есть одно дело, которое он хотел бы выяснить со мной до того, что его личный вопрос будет ликвидирован Государем. Когда все вышли и мы остались вдвоем, он спросил меня просто, как я смотрю на все случившееся. Я ответил ему, что мне трудно говорить об этом, потому что с личной точки зрения я вполне понимаю его, тем более что и сам я не понимаю, как можно цепляться за власть при переживаемых нами условиях. Но с точки зрения, если можно так выразиться, государственной, избранный им путь представляется едва ли правильным и способным привести власть к спокойному положению. Искусственный роспуск на три дня обеих палат слишком прозрачен, чтобы сразу же не возникло очень резкое к нему отношение в широких кругах того, что принято называть "общественным мнением". Я не думаю, чтобы и Дума была довольна таким способом проведения хотя бы и одобренного ею решения. Во всяком случае над законодательным порядком будет несомненно произведено насилие, а его вообще не прощают. Государь примет эту меру, так как для него не ясны все оттенки ее, и его успокоит сознание того, что хорошее дело не погибло.

Вторая мера представляется мне еще более сомнительной. Она, конечно, оправдывается как последствие несомненной интриги, но внешне она все-таки очень тяжела для Государя. Трудно требовать от него, чтобы он не принимал посылаемых ему записок и не принимал тех людей, которых он знает. Его вина не в том, что он принял, а в том, что он дал принятым возможность ссылаться их единомышленникам на его мнение и тем влиять на окружающих. И это он, разумеется, теперь прекрасно понимает. Но требовать от него кары для тех, кого он принял, — чрезвычайно трудно и щекотливо, так как он понимает также, что всем будет ясно, что он поступил таким образом под давлением произведенного на него нажима, и этого он никогда не простит, хотя, вероятно, выполнит и это требование.

"Что же, по-Вашему, мне следовало сделать?" — спросил Столыпин, — проглотить пилюлю и расписаться в проделанной надо мной как председателем Совета министров хирургической операции?"

Я ответил ему, что, по моему мнению, был иной путь — путь борьбы без насилия над законом и над самим Государем, а именно: немедленное внесение того же закона в Думу, соглашение с председателем ее и глава-

ми фракций о немедленном рассмотрении его и новое направление принятого проекта в Государственный Совет и там уже следует принять через Председателя его и с полномочиями от Государя меры к тому, чтобы на этот раз интрига не была допущена, по крайней мере среди членов Совета, по назначению. Потеря в этом случае времени, хотя бы в один год или даже более, уравновешивалась бы огромными выгодами от соблюдения закона.

Столыпин ответил мне: "Может быть, Вы или другой могли бы проделать всю эту длительную процедуру, но у меня на нее нет ни желания, ни умения. Лучше разрубить узел разом, чем мучиться месяцами над работой разматывания клубка интриг и в то же время бороться каждый час и каждый день с окружающей опасностью. Вы правы в одном, что Государь не простит мне, если ему придется исполнить мою просьбу, но мне это безразлично, так как и без того я отлично знаю, что до меня добираются со всех сторон, и я здесь не надолго".

На этом мы расстались, и Столыпин обещал держать меня в курсе всех получаемых сведений.

На самом деле я не получил от него никакого сообщения в течение четырех дней и решительно ничего не знал о том, в каком положении находится весь этот болезненный вопрос.

Звонить к Столыпину по телефону я не решался, чтобы не дать ему повода предположить, что я лично заинтересован в конечной развязке, тем более что до меня уже доходили клубные сплетни, что в случае ухода П.А. [Столыпина] мне предстоит заменить его. Я знал, кроме того, что он был простужен и не выходил из дома. От Крыжановского, отлично вообще осведомленного о всех делах этого рода, я получал ежедневные сообщения, что кризис еще не разрешен и в Министерстве внутренних дел господствует очень подавленное и тревожное настроение. Делал ли сам Столыпин какие-либо попытки к ускорению решения, я не знал, как не знаю и до сих пор.

В эти дни несомненно тяжелого ожидания я получил по телефону от состоявшего при Императрице Марии Федоровне гофмейстера князя Шервашидзе приглашение явиться к Императрице, которая желает меня видеть. Я не помню числа, но хорошо припоминаю, что это было в субботу.

Императрица приняла меня в три часа дня и сказала, что желала бы узнать от меня, что произошло с П.А. Столыпиным, так как она слышит со всех сторон, что он уже несколько дней тому назад был у Государя и просил уволить его вовсе от службы, но из-за чего все это произошло, она никак не может понять, потому что с разных сторон слышит такие неясные рассказы, что ей просто хочется знать правду, так как она завтра будет обедать у Государя в Царском Селе и хотела бы быть в курсе того, что произошло, так как иногда Государь говорит с ней о том, что его тревожит.

Мне пришлось рассказать Императрице в самой сжатой форме все, что произошло в Государственном Совете, пояснить ей сущность провалившегося теперь из-за решения Совета законопроекта, рассказать все, что передал нам Столыпин о свидании с Государем и о поданном им заявлении об увольнении его вовсе от службы, как и о том, в каких условиях мог бы он сохранить свое положение. О моем личном мнении по всему этому инциденту я не сказал Императрице ни слова и не упомянул вовсе о моем разговоре с председателем Совета министров.

Ее рассуждение поразило меня своей ясностью, и даже я не ожидал, что она так быстро схватит всю сущность создавшегося положения. Она начала с того, что в самых резких выражениях отозвалась о шагах, предпринятых Дурново и Треповым. Эпитеты "недостойный", "отвратительный", "недопустимый" чередовались в ее словах, и она даже сказала: "Могу я себе представить, что произошло бы если бы они посмели обратиться с такими их взглядами к Императору Александру III. Что произошло бы с ними, я хорошо знаю, как и то, что Столыпину не пришлось бы просить о наложении на них взысканий: Император сам показал бы им дверь, в которую они не вошли бы во второй раз".

"К сожалению, — продолжала она, — мой сын слишком добр, мягок и не умеет поставить людей на место, а это было так просто в настоящем случае. Затем же оба, Дурново и Трепов, не возражали открыто Столыпину, а спрятались за спину Государя, тем более что никто не может сказать, что сказал им Государь и что передали они от его имени для того, чтобы повлиять на голосование в Совете. Это на самом деле ужасно, и я понимаю, что у Столыпина просто опускаются руки, и он не имеет никакой уверенности в том, как ему вести дела".

Затем она перешла к тому, в каком положении оказывается теперь Государь, и тут ее понимание оказалось не менее ясным.

"Я совершенно уверена, — сказала она, — что Государь не может расстаться со Столыпиным, потому что он и сам не может не понять, что часть вины в том, что произошло, принадлежит ему, а в этих делах он очень чуток и добросовестен. Если Столыпин будет настаивать на своем, то я ни минуты не сомневаюсь, что Государь после долгих колебаний кончит тем, что уступит, и я понимаю почему он все еще не дал никакого ответа. Он просто думает и не знает, как выйти из создавшегося положения. Не думайте, что он с кем-либо советуется. Он слишком самолюбив и переживает создавшийся кризис вдвоем с Императрицей, не показывая и вида окружающим, что он волнуется и ищет исхода. И все-таки, принявши решение, которого требует Столыпин, Государь будет глубоко и долго чувствовать всю тяжесть того решения, которое он примет под давлением обстоятельств.

Я не вижу ничего хорошего впереди. Найдутся люди, которые будут напоминать сыну о том, что его заставили принять такое решение. Один

Мещерский чего стоит, и Вы увидите скоро, какие статьи станет он писать в "Гражданине", и чем дальше, тем больше у Государя и все глубже будет расти недовольство Столыпиным, и я почти уверена, что теперь бедный Столыпин выиграет дело, но очень ненадолго, и мы скоро увидим его не у дел, а это очень жаль и для Государя и для всей России. Я лично мало знаю Столыпина, но мне кажется, что он необходим нам, и его уход будет большим горем для нас всех". Ее последние слова были: "Бедный мой сын, как мало у него удачи в людях. Нашелся человек, которого никто не знал здесь, но который оказался и умным, и энергичным и сумел ввести порядок после того ужаса, который мы пережили всего 6 лет тому назад, и вот – этого человека толкают в пропасть и кто же? Те, которые говорят, что они любят Государя и Россию, а на самом деле губят и его и родину. Это просто ужасно..."

Через два дня после этой аудиенции кризис разрешился. Столыпин позвонил мне по телефону и сказал только, что Государь не отпустил его и принял предложенные им меры. Указы о роспуске Думы и Совета были опубликованы 12 или 13 марта, а 14-го закон о западном земстве был введен по 87-й статье основных законов<sup>99</sup>, и через три дня палаты снова раскрыли свои двери. Председатель Государственного Совета был вызван в Царское Село и ему повелено предложить, именем Государя, Дурново и Трепову взять отпуск до возобновления осенней сессии Совета.

В Совете Министров никаких более разговоров о случившемся не возобновлялось, и наружно все вошло как будто в обычную колею.

П.Н. Дурново подчинился решению Государя, объявленному ему председателем Государственного Совета, и до осени не появлялся в заседаниях Совета. В.Ф. Трепов этому не подчинился и подал прошение об оставлении им государственной службы вообще. Он был уволен с назначением ему, по докладу Акимова, пенсии в 6.000 рублей в год и поступил на частную службу.

Пользуясь близкими отношениями к министру Императорского Двора барону Фредериксу через своего зятя генерала Мосолова, он получил концессию на эксплуатацию недр земли в Алтайском горном округе, составлявшем собственность кабинета Его Величества. Задуманный им проект представлял огромное промышленное значение; в недрах Кузнецкого округа таились несметные богатства угля, железа и других металлов, разработка которых сулила округу и всей Западной Сибири величайшее будущее.

Большевики приняли этот проект, начатый разработкой еще при царском правительстве перед самой войной, присвоили себе даже честь открытия богатств округа, как будто до них никто не знал их и не существовало ни научных трудов Менделеева, ни подробных разведок кабинета, и в порядке его осуществления придали этой мысли свойственное им уродливое осуществление, которое сулит в будущем одно величайшее

разочарование. Достаточно сказать, что по их плану осуществляется грандиозное металлургическое предприятие, основанное на соединении в одно целое уральской руды и кузнецкого угля, как будто между этими двумя основными факторами предприятия нет расстояния в две тысячи километров, на пространстве которых нужно либо подвозить кузнецкий уголь к руде, либо руду к углю.

В связи с концессией Кузнецкого бассейна Трепов явился и одним из соискателей на постройку Южно-Сибирской железной дороги, которому и была дана эта концессия в 1913 году.

Личная судьба В.Ф. Трепова закончилась глубоко трагично. Он был арестован большевиками 22 июля 1918 года, отвезен с целым рядом других захваченных "заложников" в Кронштадт и там расстрелян матросами одновременно с сотнями других, безвинно, зверски погубленных людей.

Внешне инцидент с законом о Западном земстве был ликвидирован. Но на самом деле реакция от случившегося была весьма глубокая и приняла самые разнообразные формы.

Из Государственного Совета до меня стало тотчас же доходить много сведений, и все они были однообразны – возмущение было общее. Правые были обижены за своего лидера и сочлена, левые и центр были обижены и за ответственность роспуска и за нарушение свободы голосования. В виде проявления возмущения, охватившего в особенности правых несколько времени спустя, в начале осени один из видных членов этой партии по назначению от правительства С.С. Гончаров подал также прошение об отставке, чего вовсе не допускалось ранее, и был уволен.

В Думе не было вовсе того, чего ожидал Столыпин, то есть удовольствия от проведенного в жизнь, хотя и с ясным нажимом на закон, утвержденного Думой законопроекта, а напротив того, искренно или только для отвода глаз, но выражалось прямое осуждение принятых мер, и престиж Столыпина как-то сразу померк. Он почувствовал это тотчас же на отношении к его представителям в комиссиях и на сообщениях Куманина о внутренних настроениях в разных фракциях, кроме наиболее близкой к нему – националистов, учитывавших возрастание их престижа на местах при введении земства в западном крае.

Немало пересуд происходило и в чиновничьих кругах, среди которых господствовало в отношении того, что нужно было сделать, то настроение, о котором я говорил Столыпину. Но всего резче выразилось отрицательное отношение в известной части печати, в столичных клубах и в придворных кругах.

Можно сказать без преувеличения, что почти вся печать была враждебно настроена по отношению к Столыпину. Отозвавшись резко о жожаках интриги, она критиковала с полной беспощадностью роспуск палат, проведение нескрываемым искусственным способом в порядке управления,

во всяком случае, отвергнутого закона и еще более резко отзывалась о мерах преследования против лиц, хотя бы и замешанных в интриге, но подвергнутых совершенно несвойственным мерам взыскания. Клубы, особенно близкие к придворным кругам, в полном смысле слова дышали злобой и выдумывали всякие небывлицы, которые тотчас же доходили до сведения Столыпина и причиняли ему большое раздражение.

У меня не было тогда и нет сейчас никаких сведений относительно того, как встретил Государь Столыпина после разрешения кризиса в смысле предъявленных им требований. Сам он ничего об этом мне ни разу не сказал, а всякого рода слухи, передаваемые "из самых достоверных источников", стоили не более того, что стоили сами рассказчики. Но внешняя, видимая обстановка была самая напряженная. Столыпин как-то замкнулся в себя, был очень сдержан в заседаниях Совета министров, избегал вести беседы после заседаний, вовсе не показывался в Государственном Совете и в Думе показался только один раз после Пасхи, в конце апреля, когда слушался в порядке направления дела тот же закон о западном земстве, который послужил поводом всего происшедшего. Я не был в заседании Думы, когда он давал свои объяснения в оправдание принятой меры, и не могу передать моего личного впечатления. Но со всех сторон и из самых разнообразных думских кругов я услышал один отзыв — Столыпин был неузнаваем.

Что-то в нем оборвалось, былая уверенность в себе куда-то ушла, и сам он, видимо, чувствовал, что все кругом него, молчаливо или открыто, но настроено враждебно. Вскоре мне пришлось и самому убедиться, что так было и на самом деле.

Со мной за все это время Столыпин ни разу более не разговаривал о Крестьянском банке. Молчал и я.

Не было вообще за это время и особых поводов к отдельным нашим встречам, помимо заседаний Совета министров. Сметная работа в Думе приходила к концу, и я редко появлялся в ней, а когда приходилось бывать, то я просто избегал всяких разговоров на злободневную тему, да и охочие до собиранья всякого рода новостей из административного мира как-то мало сближались с представителями правительства, точно они боялись поставить их в неловкое положение своими расспросами.

Конец марта и весь апрель прошел для меня в стороне от Думы, и наступила сметная работа в Государственном Совете, протекавшая, однако, совершенно спокойно и без всяких трений. В начале мая мне пришлось снова вернуться в Думу для рассмотрения законодательных предположений, не знаю уж в который раз внесенных партией народной свободы все с той же целью опрокинуть сметные правила, составленные перед открытием первой Думы и служившие постоянным бельмом у всех Дум, не исключая и Думы третьего созыва. Кадетской партии постоянно хотелось уничтожить так называемую забронированность кредитов и рас-

ширить права законодательных палат, предоставлением им права изменить кредиты, не стесняясь предварительной отменой в законодательном порядке тех законов, на которых они были основаны.

Правительство всегда боролось против этой тенденции, находя решительную поддержку в Государственном Совете, который ясно сознавал, что введение у нас такого порядка грозило бы разрушением всего государственного строя, так как и помимо кадетской партии в Думе нашлось бы немало охотников до расширения своих полномочий. На этом и был построен расчет авторов нового, то есть в сущности старого, законопроекта, внесенного еще во вторую Думу, который и оправдался блистательным образом, так как к ним присоединилось немалое количество октябристов, не говоря уже о прогрессистах, давших почти поголовно свои голоса.

Правительство отказалось еще раньше от участия в пересмотре сметных правил, и они вновь поступили из бюджетной и финансовой комиссии в общее собрание Думы, в порядке думской инициативы.

Дело было назначено к слушанию в мае месяце, и мне пришлось снова испросить указаний Совета о том, как мне и государственному контролеру держать себя при рассмотрении думского проекта, явно неприемлемого для правительства. Полномочия были нам даны все те же, что и раньше, и мне пришлось, вместе с Харитоновым, вынести повторение прежних натисков, и по большинству внесенных предположений заключение большинства было против правительства. Атака на последнее была поведена весьма энергичная и заняла немало времени совершенно бесплодных прений, потому что так же, как и мы, Дума знала, что Государственный Совет поддержит правительство и из всех усилий отнять у последнего самое могущественное средство для спокойного управления не выйдет ничего. Так оно и вышло на самом деле. Перекроенные правила были приняты Думой в ее проекте, поступили в Государственный Совет, пролежали там немало времени и уже гораздо позже были им отвергнуты.

Я отмечаю только об этом в связи с событиями мая 1911 года потому, что в заседании Совета министров по внесенному мной и Харитоновым вопросу о наших полномочиях Столыпин спросил нас обоих, полагаем ли мы, что Государственный Совет поддержит правительство при несомненном провале его в Думе, и не опасаемся ли мы, что в настоящую минуту и Совет может учинить свой расчет с правительством под влиянием событий недавнего времени.

В этом вопросе было слышно совершенно ясно, что Столыпин оценивал отношение к нему Совета как резко враждебное, но наше общее мнение было проникнуто убеждением в том, что минутное неудовольствие не изменит основных взглядов Совета, уже много раз высказавшегося в этом вопросе в полном соответствии со взглядами правительства и при-

том подавляющим большинством голосов. Последующие события, когда уже П. А. Столыпин не было в живых, вполне доказали справедливость взгляда Совета министров.

\* \* \*

В половине мая Столыпин переехал с семейством, как и всегда, в Елагинский дворец. Вскоре и мы с женой перебрались на нашу дачу на Елагином же острове, и заседания Совета возобновились в обычных условиях летнего времени.

Как-то в конце мая после долгого перерыва, вызванного бесспорно нашим расхождением осенью по делу Крестьянского банка, Столыпин позвонил вечером ко мне и спросил, свободен ли я теперь, так как он хотел бы зайти поговорить по некоторым текущим вопросам. Я предложил прийти к нему, зная, что он неохотно выходит из дома по вечерам. Встретил меня Столыпин, как бывало прежде, с большой сердечностью, не обмолвился ни одним словом о предмете нашего делового расхождения и сказал только, что он хотел поставить меня в известность о его планах на летнее время и узнать от меня, каковы мои предположения, и может ли он, не стесняя меня, привести в исполнение свое предположение, на которое он имеет уже разрешение Государя.

Я ответил ему, что у меня нет никаких планов, так как я едва успею после роспуска Думы и Совета справиться с новой росписью на 1912 год, которую придется составить несколько на иной образец, нежели все предыдущие, потому что этот год будет последним для полномочий Думы третьего созыва и необходимо представить до известной степени сравнительный обзор того, что сделано за пять лет и в каком положении представляется теперь финансовое положение России по сравнению с тем, каким оно было при начале думской работы в 1907 году.

Тогда Столыпин перешел к сообщению мне о его предположении и просил оставить пока все между нами, так как он не хотел бы говорить о нем в Совете, чтобы не вызывать лишних пересуд. Предположение это сводилось к тому, что все происшедшее с начала марта его совершенно расстроило; он потерял сон, нервы его натянуты, и всякая мелочь его раздражает и волнует. Он чувствует, что ему нужен продолжительный и абсолютный отдых, которым для него всего лучше воспользоваться в его любимой ковенской деревне, где он может изолировать себя от всего мира и избавиться от всяких дразг и неприятностей.

Он предполагает отправить семью еще в мае, перевести туда часть своей охраны, уехать туда же в самом начале июня, провести там неотлучно весь июнь, вернуться всего на несколько дней в начале июля на Елагин, чтобы подготовиться к поездке в Киев, и только после окончания киевских торжеств уже вернуться окончательно в Петербург. Если же все будет благополучно, а он увидит, что его здоровье требует еще



отдыха, то может быть проведет конец сентября где-либо на юге и только к 1 октября вернется прямо в город.

По словам Столыпина, он получил уже от Государя согласие и на то, чтобы все дела по Совету министров шли к нему за моей подписью, так как он понимает, что нельзя откладывать дел, так же как не следует вызывать его с отдыха для решения отдельных, хотя бы и существенных вопросов. Я просил его только написать мне в этом смысле письмо, для того чтобы я мог предъявить его в том случае, если бы отдельные министры пожелали рассмотреть какое-либо дело непременно под его председательством, что легко может случиться именно по сметным разногласиям, всегда острым особенно по крупным вопросам. Когда этот вопрос был таким образом улажен между нами, Столыпин сказал мне, что он имеет ко мне еще одну просьбу личного характера и заранее надеется, что я ему в ней не откажу. Он сказал, что в конце августа, как это впрочем было уже известно всему Совету министров, назначено открытие в Киеве памятника Императору Александру II и состоится в то же время представление Государю земских уполномоченных от 9 губерний Северо- и Юго-Западного края, выбранных на основании только что введенного положения. Из министров, кроме него, как председателя Совета министров и министра внутренних дел, будет присутствовать министр народного просвещения Кассо, прочим же министрам Государь предоставляет приехать по их собственному желанию. Столыпин просил меня, самым дружеским образом, приехать в Киев не только потому, что я состою его постоянным заместителем, но потому, что ему дорого мое присутствие там в особенности ввиду того, что всем известно, что я не сочувствовал способу проведения дела в порядке Верховного управления. Я и не скрывал моего несочувствия и от него самого. Между тем теперь, когда закон уже введен и начал функционировать, — отсутствие мое могло бы быть истолковано, как несочувствие мое самому делу западного земства, а это было ему особенно больно, да и всякому ясно, что отношение министра финансов имеет слишком существенное значение, чтобы можно было пренебрегать даже внешним впечатлением.

Я поспешил дать мое согласие на это и сказал только, что просто не знаю, как я вырвусь в Киев даже на несколько дней при сметной лихорадке, обещающей быть особенно интенсивной по Военному министерству ввиду известной ему враждебности ко мне Сухомлинова. Он обещал устроить так, чтобы я мог уехать из Киева, как только Государь примет земских гласных. На этом мы расстались, и в начале июня Столыпин уехал в свое имение и вернулся в Петербург в начале июля всего на несколько дней.

В первые же дни после отъезда Столыпина ко мне позвонил как-то утром по телефону Кривошеин и спросил меня, где и когда могу я принять его на несколько минут по одному довольно спешному делу, по которому ему необходимо условиться со мной перед его ближайшим всеподданнейшим докладом, назначенным ему через два дня. Так как в этот день я должен был ехать в город, то я предложил ему приехать ко мне в министерство на Мойку, чтобы не заставлять его предпринимать более далекий путь на острова.

Кривошеин прибыл ко мне с целым портфелем бумаг, сказавши, что он захватил все необходимые документы, которые мне должны быть известны. Он рассказал мне подробно всю историю возникновения вопроса о передаче Крестьянского банка в его ведомство и заявил, что ему известно все мое отношение к этому вопросу вплоть до моего заявления, что я покину пост министра финансов в тот самый день, когда будет утвержден закон о передаче банка в ведомство земледелия. От Государя лично он знает также, что я просил и его разрешения оставить министерство в связи с намеченной реформой, причем Государь сказал ему, что мое заявление было сделано в такой деликатной и убедительной форме, что Государь не только не хранит какого-либо неудовольствия на меня, но даже прямо сказал, что понимает вполне мою просьбу об увольнении, коль скоро я убежден, что такая мера принесет большой вред кредиту государства, и он не имеет даже нравственного права требовать, чтобы я оставался министром и нес ответственность за такую важную задачу, как охрана кредита, коль скоро будет издан закон вредный, по моему мнению, для дела кредита. Государь будто бы сказал ему даже, что мое заявление было сделано в такой убежденной форме, что, зная мою преданность долгу, он начинает и сам колебаться, правильно ли задумано все дело и нет ли возможности обеспечить интересы землеустройства, не рискуя разрушением кредита. Он прибавил, что ему неизвестно, говорил ли Государь в том же смысле с Петром Аркадиевичем, так же, как и то, останется ли Столыпин и теперь при его прежнем взгляде, или события последнего времени заслонили собой его увлечение осени 1910 года.

Целью его приезда сейчас ко мне, сказал Кривошеин, является необходимость пересмотреть весь этот вопрос потому, что и сам он видит теперь, что это дело было задумано Столыпиным слишком поспешно и без соображений всех сторон вопроса, в особенности в той плоскости, в которую я поставил его в разговоре со Столыпиным и затем с Государем. По его словам, его ближайшие сотрудники уже давно указывали ему, что он думает взяться за крайне рискованное дело, с которым ему просто не справиться, а теперь они твердят ему все то же и положительно не дают ему покоя, чтобы он пересмотрел этот вопрос, пока не поздно. Тут он привел

мне целый ряд аргументов, высказанных ему его "друзьями" и из финансового мира, которые прямо говорят ему, что с переходом Крестьянского банка в ведомство земледелия у него не будет никаких способов размещать закладных листов, потому что никакой министр финансов не станет загружать ими сберегательных касс, не зная, как можно продать их в случае надобности, а биржа, не связанная с ним, будет просто их обесценивать.

Под влиянием всех этих сомнений, по словам Кривошеина, у него явилось решение доложить все эти сомнения Государю на ближайшем своем всеподданнейшем докладе на этой же неделе и просить его отказаться от этого намерения и позволить ему войти со мной в новое соглашение о большем сближении Крестьянского банка с ведомством земледелия, главным образом в отношении выбора земель, приобретаемых банком за свой счет, и в отношении выбора крестьян покупающих земли, продаваемые банком.

Если я принципиально согласен на это, то он не сомневается в том, что для Государя это будет большим облегчением, потому что он видел насколько он обеспокоен мыслью о моем уходе.

Еще лучше было бы, сказал он, чтобы я согласился представить Государю наш совместный всеподданнейший доклад, коль скоро он увидит готовность Государя встать на новый путь. Кривошеин закончил свое длинное объяснение, которое я ни разу не прерывал, сказавши, что напрасно я избегал все время говорить с ним об этом деле и чуждался его. Все было бы давно направлено, как следует, и не было бы того длящегося недоразумения, которое тягостно для нас обоих.

В моем ответе я начал с того, что не понимаю прежде всего, каким образом я мог говорить с ним, когда все дело было представлено Государю и испрошено даже предварительное его решение совместным соглашением его с председателем Совета министров даже без простого, внушаемого элементарной деликатностью по отношению ко мне, оповещения меня об этом. Я узнал о состоявшемся всеподданнейшем докладе только от Столыпина уже после того, что вопрос оказался решенным. Мои подчиненные были привлечены к работам по приготовлению всего дела и им было запрещено говорить мне хотя бы одно слово, и они точно выполнили взятое с них обещание. Я тогда же ответил Столыпину моим категорическим несогласием и, по его же совету, доложил о нем Государю, поставивши ребром мою служебную судьбу. В Государе я встретил решительную поддержку взглядов их обоих с открытым его заявлением, что если даже я прав, то он все-таки не может взять назад обещания, данного им обоим, и понимает и ни мало не осуждает меня за то, что я отказываюсь сохранять управление Министерством финансов, если вредная для него, по моему мнению, мера будет проведена. Об этом я в тот же день передал Столыпину, а последний рассказал ему. Следовательно, кто из нас может

обвинять другого в неделикатности отношений. Он ли меня или я его за то, что все дело, принадлежащее моему ведению, предположено быть изъятым от меня, а мне никто ни слова не сказал. От предложения подписать наш совместный всеподданнейший доклад я категорически отказался, заявивши, что я не хочу встретиться с упреком Столыпина, что я за его спиной представил Государю новую меру по делу, доложенному и одобренному Государем по его докладу. По существу же предложения я еще большему сближению Крестьянского банка с его ведомством я напомнил ему только, что никто иной, как я, предложил Столыпину весьма выгодные для Ведомства земледелия уступки, но получил его ответ: "Это совершенно недостаточно, да и поздно об этом говорить, после того, что мы с Александром Васильевичем доложили Государю этот вопрос и получили полное его одобрение".

Мы расстались с Кривошеиным на том, что я отказываюсь от всякого выступления по этому делу перед Государем, что он совершенно свободен от каких-либо обязательств передо мной и доложит Государю свой изменившийся взгляд вполне самостоятельно. Я просил его только сообщить мне результаты его доклада, как взять на себя и инициативу поставить обо всем в известность Столыпина, которому я не скажу ни слова, пока он меня не спросит. Он обещал мне прислать сегодня же проект своего всеподданнейшего доклада, если только успеет его набросать. Это свое обещание он выполнил очень точно, и уже поздно вечером того же дня я получил его проект доклада, составленный исключительно от его имени, без всякого упоминания обо мне, и только было вскользь высказано им, что я всегда шел навстречу всем интересам землеустройства и, несомненно, не изменю своего отношения ни в чем, лишь бы не было ущерба для охранения государственного кредита. Через два дня Кривошеин приехал ко мне прямо из Петергофа в самом радужно возбужденном настроении. Он показал мне одобренный Государем его всеподданнейший доклад и сказал, что давно не видал Государя в таком прекрасном настроении. По его словам, Государь горячо благодарил его за предложенное разрешение вопроса, устранившее всякий повод к моему уходу, и выразил уверенность в том, что и П.А. Столыпин будет также доволен устранением кризиса, так как у него всегда польза дела стоит выше вопросов личного самолюбия, а выставленные мной аргументы представляются ему настолько серьезными, что можно только пожалеть, что министр финансов с самого начала был устранен от обсуждения вопроса. "Но, — прибавил Государь, — все эти вопросы имеют теперь только историческое значение, и нужно их окончательно ликвидировать и как можно скорее забыть то, что случилось".

В самом начале июля Столыпин, как и предполагал, вернулся в Петербург, тотчас же был принят Государем, которому он доложил все частности предстоящей его поездки с семейством в Киев с посещением затем

Чернигова. Государь сказал ему, что из Киева он проедет на продолжительный срок в Ливадию. Обо всем этом Столыпин передал мне тотчас по возвращении своем от Государя, но снова не заговорил со мной по вопросу о Крестьянском банке. Я объяснял себе это тем, что и Государь не сказал ему ничего о докладе Кривошеина, просто позабывши об этом.

Прошло после этого всего один или два дня, как Столыпин позвонил ко мне на дачу и спросил, не могу ли я прийти к нему теперь же, так как ему нужно поговорить со мною по неожиданно выяснившемуся для него вопросу. Я тотчас же пошел к нему и застал в его кабинете Кривошеина, очень взволнованного и продолжавшего, по-видимому, давно начавшийся разговор. При моем входе он был очень смущен, тогда как Столыпин в очень сдержанной форме обратился ко мне со следующими словами:

”Я вас побеспокоил, Вл[адимир] Ник[олаевич], потому, что только что узнал от Александра Васильевича о том, что сильно волновавший Вас одно время вопрос о судьбе Крестьянского банка получил в мое отсутствие совершенно неожиданное разрешение, которое меня очень радует, потому что оно дает Вам полное удовлетворение, а с меня слагает большую тяжесть, так как перспектива возможного Вашего ухода меня сильно волновала, и я сам все время искал какого-нибудь выхода. Теперь этот выход найден именно Александром Васильевичем, который все время был того мнения, что без коренной перемены интересы его ведомства не будут ограждены, а теперь встал на Вашу точку зрения и считает даже, что ему было бы не справиться с новым делом, если бы состоялась задуманная нами обоими реформа. Ну, что же, тем лучше. Я несколько не намерен настаивать более перед Государем на одобренном им моем и Александра Васильевича взгляде, но не могу не сказать Вам в присутствии его – и за этим я и просил Вас прийти ко мне, – что Вы всегда действовали открыто и честно, возражая мне против того, что мы с ним задумали, и, считая наше мнение ошибочным, Вы не постеснялись поставить на карту Ваше служебное положение, находя невозможным нести ответственность за чужие ошибки. Я Вас только сердечно благодарю за все, как вы себя держали, а Александру Васильевичу не могу не сказать при Вас то, что я уже сказал ему без Вас, а именно, что он меня предал и не дождал даже моего возвращения. Пусть так и будет, и не станемте больше говорить об этом неприятном для нас обоих вопросе. Алекс[андр] Вас[ильевич] согласился с Вами, и я обещаю только помочь Вам обоим довести это дело до благополучного конца, но буду еще более рад, если Вы найдете время довести его до такого конца под Вашим председательством в Совете министров еще до моего окончательного возвращения в Петербург”.

<sup>1</sup> Судьба судила иное. Петр Аркадьевич не вернулся в Петербург, и весь вопрос был ликвидирован уже значительно позже, когда мне пришлось заменить его.

После этой тягостной для меня беседы мы больше ни разу не говорили с П.А. Столыпиным об этом несчастном деле. Вышли мы с Кривошеиным из Елагина дворца вместе. Он проводил меня до моей дачи и сказал мне только, что когда-нибудь можно будет восстановить правду и сказать, кто был во всем виноват, а "пока пусть буду я виноват во всем". Я ответил ему только, что нисколько не боюсь никакого восстановления истины и прошу его удостоверить, что моей вины в этом деле не было, и никто не может упрекнуть меня в том, что я когда-либо противоречил себе, а тем более производил какое-либо давление на Государя в личных моих интересах.

Последними словами Кривошеина перед тем, что мы расстались, были: "Об этом не может быть и речи. Еще третьего дня Государь сказал мне, что Вы говорили с ним только один раз, когда объяснили ему в самой деликатной форме, почему Вы не сможете оставаться в министерстве, если от Вас отойдет Крестьянский банк, и более никогда об этом и не упоминали. Все произошло от того, что П[етр] А[ркадьевич] решил развязать этот узел своей властью, а я соблазнился легким способом достигнуть того, что мне казалось гораздо проще, чем это есть на самом деле. Виноваты мы оба, а правы только Вы, за то Вы и имеете основание торжествовать". "Над чем?" — спросил я. Мой вопрос остался без ответа.

## ГЛАВА VII

*Прибытие в Киев на открытие в Высочайшем присутствии памятника Императору Александру II. — Парадный спектакль в городском театре. — Покушение на Столыпина. — Меры, принятые мной для предупреждения еврейского погрома. — Молебствие в Михайловском Соборе. — Возвращение Государя. — Посещение меня националистами. — Депутация от евреев. — Смерть Столыпина. — Назначение меня на пост председателя Совета. — Вопрос о Министре внутренних дел. — Мое письмо Государю о Макарове и других кандидатах. — Ответное письмо Государя*



27 августа в сопровождении моего секретаря Л.Ф. Дарлика я выехал, как желал того Столыпин, в Киев и прибыл туда вечером 28 числа. Я остановился в уступленной мне части казенного помещения управляющего конторой Государственного банка Афанасьева на Институтской улице, наискосок от дома генерал-губернатора, в нижнем этаже которого остановился Столыпин.

На утро 29, получивши печатные расписания различных церемоний и празднеств, я отправился к Столыпину и застал его далеко не радужно настроенным.

На мой вопрос, почему он сумрачен, он мне ответил: "Да так, у меня сложилось за вчерашний день впечатление, что мы с Вами здесь совершенно лишние люди, и все обошлось бы прекрасно и без нас".

Впоследствии из частых, хотя и отрывочных бесед за 4 роковые дня пребывания в Киеве мне стало известно, что его почти игнорировали при Дворе, ему не нашлось даже места на царском пароходе в намеченной поездке в Чернигов, для него не было подготовлено и экипажа от Двора. Сразу же после его приезда начались пререкания между генерал-губернатором Треповым и генералом Курловым относительно роли и пределов власти первого, и разбираться Столыпину в этом было тяжело и неприятно, тем более что он чувствовал, что решающего значения его мнению придано не будет.

Со мной он был необычайно любезен и даже несвойственно ему не раз благодарил меня за приезд, за улаживание сметных разногласий по почтовой части и, выходя в первый раз вместе со мной из подъезда, сказал своему адъютанту Есаулову, чтобы мой экипаж всегда следовал за его, на стоянках становился бы рядом, а когда мы выходили в этот и на следующий день (30 августа) откуда бы то ни было, он всегда справлялся: "Где экипаж м[инист]ра ф[инан]сов". Так прошли первые два дня моего пребывания в Киеве в постоянных разъездах, молебствиях, церемониях.

На третий день, 31, как было условлено, я опять приехал утром в моем экипаже к Столыпину. Он тотчас же вышел на подъезд и предложил мне сесть с ним и с Есауловым в закрытый автомобиль. На мой вопрос, почему он предпочитает закрытый экипаж открытому в такую чудную погоду, он сказал мне, что его пугают каким-то готовящимся покушением на него, чему он не верит, но должен подчиниться этому требованию.

Меня удивило то, что он приглашает меня в свой экипаж, как бы для того, чтобы разделить его участь; я не сказал ему об этом ни слова, тем более что был уверен, что у него не было мысли о какой-либо опасности, иначе он нарочно не присоединил меня к себе, и два дня мы объезжали город и его окрестности вместе, а в моей коляске ездил Л.Ф. Дорлиак, или в одиночестве, или с каким бы то ни было случайным спутником. Мы буквально не разлучались эти 2 дня. Вместе мы были на скачках, где также легко могло совершиться покушение Багрова, вместе были в Лавре, вместе вошли и вышли вечером из Купеческого сада, где покушение Багрова благодаря темноте, толкотне и беспорядку могло удасться еще гораздо проще и где, как оказалось потом, Багров находился в толпе, заплывавшей Купеческий сад.

Вместе же мы приехали в 8 часов] вечера 1 сентября в городской театр на парадный спектакль, с которого я должен был прямо ехать на вокзал для возвращения в Петербург, так как решено было, что более мне делать было нечего.

2 сентября утром Государь должен был ехать на маневры, вернуться к вечеру, 3 или даже вечером в тот же день уехать в Чернигов, вернуться в Киев 6 рано утром и днем того же числа уехать совсем в Крым через Севастополь.

Эта программа была целиком и пунктуально выполнена; смертельное поранение Столыпина и его кончина ни в чем не нарушили заранее составленного расписания.

В театре я сидел в первом же ряду, как и Столыпин, но довольно далеко от него. Он сидел у самой царской ложи, на последнем от нее кресле у левого прохода, а мое место было у противоположного правого прохода.

Как я уже упомянул, я должен был прямо из театра ехать на поезде, вещи мои были отправлены на вокзал с курьером, а моего секретаря Дорлиака я просил во время последнего антракта справиться, где стоит наш экипаж, чтобы попытаться легче найти его при выходе.

Во время первого антракта я выходил в фойе разговаривать с разными лицами, а затем, желая проститься со Столыпиным, я подошел к нему во втором антракте, как только занавес опустился и царская ложа опустела. Я застал его стоящим в первом ряду, опершись на балюстраду оркестра. Театральная зала быстро опустела, так как публика хлынула в фойе, и на местах остались по преимуществу сидевшие в задних рядах кресел.

Столыпин стоял в полоборота от царской ложи, разговаривая со стоявшим около него бар[оном] Фредериксом и военным министром Сухомлиновым, кое-кто еще оставался в первом ряду, но кто именно, я не заметил.

Когда я подошел к нему и сказал, что прямо из театра после следующего акта я еду на поезде и пришел проститься, спрашивая нет ли чего передать в Петербурге, он сказал мне: "Нет, передавать нечего, а вот если Вы можете взять меня с собой в поезд, то я Вам буду глубоко благодарен. Я от души завидую Вам, что Вы уезжаете, мне здесь очень тяжело ничего не делать и чувствовать себя целый день каким-то издерганным, разбитым".

Я отошел от него еще до окончания антракта, прошел по правому проходу, между креслами и подошел к старикам Афанасьевым проститься и поблагодарить за гостеприимство. Они сидели в последнем ряду кресел перед поперечным последним проходом.

Едва я успел поклониться к м-м Афанасьевой и сказал ей несколько слов на прощанье, как раздались два глухих выстрела, точно от хлопушки.

Я сразу не сообразил, в чем дело, и видел только, что кучка людей столпилась в левом проходе, недалеко от первых рядов кресел, — в борьбе с кем-то, сброшенным на пол.

Раздались крики о помощи, я побежал к Столыпину, стоявшему еще



на ногах, в первом же ряду у своего места у самого прохода, с бледным лицом, на кителе показалось в нижней части груди небольшое пятно крови. С правой стороны к нему подбежали еще люди, кто именно, я не мог заметить, видел только с обнаженной шашкой у самой царской ложи ген[ерала] Дедюлина.

Столыпин шатаясь обернулся к царской ложе, совершил крестное знамение в ее сторону и стал опускаться на кресло. Все окружающие помогли ему сесть, и поднялась страшная суматоха. Столыпина понесли на кресле к проходу, а перед тем толпа увела того, кто был сброшен на пол. Зал моментально наполнился публикой, Государь и вся царская семья появились в ложе, взвился занавес и раздались звуки народного гимна, исполненного всей театральной труппой, весь зал стоял в каком-то оцепенении, никто не давал себе ясного отчета в совершившемся, и громовым "Ура" встретила растерявшаяся публика конец гимна. Государь, бледный и взволнованный, стоял один у самого края ложи и кланялся публике, затем быстро начался разъезд. Я вышел одним из первых из зала, узнал, что преступник задержан и подвергается уже допросу в одном из нижних помещений театра, что царская семья выехала благополучно и встречена публикой на улице с величайшим подъемом, а Столыпин отвезен в клинику доктора Маковского. Я выехал тотчас же туда и застал там массу всякого народа, заполнявшего лестницу и все коридоры. Я распорядился прежде всего установить какой-либо внешний порядок.

Следом за мной приехавшему сюда же после проводов царской семьи во дворец генерал-губернатору Трепову я сказал, что по закону я автоматически вступаю в права председателя Совета министров, так как состою его заместителем, и прошу его удалить всю публику, поставить полицейскую охрану снаружи и внутри лечебницы и указать тому, кто будет исполнять полицейские обязанности, помогать мне, в чем я встречу надобность. Генерал Трепов приказал полицмейстеру все это исполнить, а сам скоро уехал, условившись со мной, что будет ждать меня у себя, как только я сочту возможным уехать из лечебницы. Врачи были в сборе, тотчас же приступили к осмотру раненого и заявили, что пуля нащупывается близко к поверхности сзади, и к ее [извлечению] будет приступлено не позже следующего утра. Столыпин был в полном сознании, видимо, сильно страдал, но удерживал стоны и казался бодрым. Не помню теперь, кто именно из врачей, их было там много, сказал мне, однако, тут же: "Дело скверно, судя по входному отверстию пули и месту, где она прощупывается при выходе, должно быть пробита печень, разве что, ударившись о крест, пуля получила неправильное движение и обошла по дуге, но это мало вероятно". Его слова оказались пророческими. Больного перенесли в другую комнату, обставили всем необходимым, он дважды звал меня к себе, но так как доктора настаивали на абсолютном покое, то я прекратил всякую попытку разговора, сказал ему в шуточной

форме, что доктора возложили на меня обязанности диктатора и что без моего разрешения никого к нему пускать не будут, и сам он должен подчиниться моей власти.

Это было и фактически так. Доктора, видя, что нас окружает масса выскопоставленных лиц, буквально боялись распорядиться, и я предложил им выручить их в трудном положении и перенести всю ответственность на меня, за что они и ухватились с величайшей благодарностью. В 2 часа ночи, после того, что врачи заявили мне, что до утра они не приступят ни к каким действиям и будут лишь всеми способами поддерживать силы больного, — я уехал из лечебницы прямо к генералу Трепову и застал его в подавленном настроении. Ему только что донес полицмейстер и охранное отделение (полковник Кулябко, главный виновник всей этой драмы), что в населении Киева, узнавшем, что преступник Багров — еврей, сильнейшее брожение и готовится грандиозный еврейский погром, предотвратить который он не в силах, так как войск в городе совсем нет, ибо все части ушли на маневры и на парад там в присутствии Государя завтра днем, что полиции и жандармов совершенно недостаточно даже для очередных нарядов, усиленных вследствие пребывания Царской Семьи, и он буквально не знает, что делать... Я решил действовать сам, как умел. Тут же, узнавши от генерала Трепова, что командующий войсками генерал Н.И. Иванов уехал уже на маневры и в городе его заменяет его помощник генерала барон Зальца, я снесся с ним, несмотря на ночной час, по телефону и получивши от него ответ, что он не имеет права вызвать кавалерию, предложил ему сделать это по моему распоряжению, как заступившего место главы правительства и за моей ответственностью. Он согласился без всяких возражений и быстрым приказом, отданным по телефону же, — спас положение; три казачьих полка были вызваны обратно с маневров и к 7 часам утра вступили уже в Киев и заняли весь Подол и все части города, заселенные сплошь евреями. Среди евреев было невообразимое волнение; всю ночь они укладывались и выносили пожитки из домов, а с раннего утра, когда было еще темно, потянулись возы на вокзал. С первыми отходящими поездами выехали все, кто только мог втиснуться в вагоны, а площадь перед вокзалом осталась загруженной толпой людей, расположившихся бивуаком и ждавших подачи новых поездов.

Появление казаков, занявших также улицы, ведущие к вокзалу, — месту скопления готовившихся к выезду евреев, — быстро внесло успокоение. К вечеру волнение почти улеглось, выезд прекратился, и с 3 числа жизнь также незаметно вошла в обычную колею, как незаметно всколыхнули ее тревожные слухи.

2 сентября с 9 часов утра я был уже снова в лечебнице Маковского. Столыпина я застал в бодром состоянии, но страдания его, видимо, усилились, и присущее ему мужество минутами оставляло его. Меня он не

медленно позвал к себе, передал ключи от своего портфеля, просил разобрать в нем бумаги и доложить наиболее спешное Государю в этот же день в назначенное для него время, в 4 ч[аса] дня, а затем высказал желание повидать на минуту генерала Курлова и переговорить с ним наедине. Я убедил его не делать этого, потому что врачи не допускают нарушения покоя, и осторожно спросил его не желает ли он уполномочить меня в самой деликатной форме дать знать Ольге Борисовне.

Получив его согласие, я тут же набросал телеграмму, показал ее ему и немедленно отправил. Он пошутил при этом, что с ее приездом около него не будет такой сильной власти, какую я олицетворяю. В течение первой половине дня в лечебницу приехал генерал Курлов, чтобы осведомиться, не выражал ли Столыпин желание видеть его; врачи сказали ему, что такое желание им было выражено, но они не считают возможным допускать к нему кого-либо и прибавили, что они просили моего содействия к тому, чтобы это условие было строго соблюдаемо. Тогда он просил доложить мне о его желании явиться ко мне. Я тотчас же принял его в отдельной комнате внизу, где я проводил многие часы в эти дни для того отчасти, чтобы лично не допускать наплыва публики в лечебницу. Он спросил меня, как вступившего в исполнение обязанностей председателя Совета министров, "угодно ли мне, чтобы он немедленно подал в отставку, так как при возложенной на него обязанности руководить всем делом охраны порядка в Киеве, я могу считать его виновным в случившемся." Я ответил ему на это, что не считаю нужным обсуждать в данную минуту степень виновности кого-либо в происшедшем и что этот вопрос будет в свое время выяснен тем следствием, которое будет назначено, решение же вопроса об увольнении кого бы то ни было из чинов ведомства Министерства внутренних дел в административном порядке зависит от лица, которое Государю Императору угодно будет назначить на должность министра. До этой минуты, сказал я генералу Курлову, ему надлежит исполнять обязанности, возложенные на него Высочайшей властью впредь до выбытия Его Величества из Киева, когда эти обязанности фактически будут с него сняты.

В 12 ч[асов] было назначено молебствие в Михайловском соборе об исцелении Петра Аркадьевича; на него собрались все съехавшиеся в Киев земские представители много петербургских чиновников. Никто из Царской семьи не приехал, и даже из ближайшей свиты Государя никто не явился. Не успели ли им дать знать, или же просто никто не получил распоряжения от своего начальства, этого я не могут сказать.

Едва я успел войти в храм, когда еще не все оказались в сборе и духовенство не вышло из алтаря, — ко мне подошел, один из избранных представителей вновь учрежденного земства, член Государственной Думы третьего созыва, впоследствии член Государственного Совета по выборам, и в довольно развязной форме обратился со следующими словами:

”Вот, Ваше Высокопревосходительство, представлявшийся прекрасный случай ответить на выстрел Багрова хорошеньким еврейским погромом, теперь пропал, потому что Вы изволили вызвать войска для защиты евреев”. Меня это глубоко возмутило, и я сказал нарочно громко, чтобы слышали все:

”Да, Ваше Превосходительство, я вызвал военную силу, чтобы защитить невинных людей от злобы и насилия, и за это возьму на себя ответственность перед Государем и перед моей совестью, а Вам могу только выразить удивление, что в храме Христа, пострадавшего за грехи человека и завещавшего нам любить ближнего, Вы не нашли ничего лучшего, как выражать сожаление о том, что не пролита кровь неповинных людей”.

Эта выходка, помимо возмутительного ее цинизма, навела меня на мысль, что принятые мной по Киеву меры недостаточны и нужно предупредить возможность эксцессов повсеместно в черте еврейской оседлости. Я решил заготовить и послать тотчас по окончании молебствия, открыто, не шифром, всем губернаторам этой черты решительную телеграмму, требуя энергичных мер к предупреждению погромов и предлагая им (я хорошо помню текст этой телеграммы и теперь, много лет спустя): ”В выборе этих мер прибегать по обстоятельствам ко всем допустимым законом способам до употребления в дело оружия включительно”. Текст этой уже отправленной телеграммы я захватил с собой на всеподданнейший доклад. Государя я нашел совершенно спокойным. Он не высказал мне никакого неудовольствия по поводу вызова с маневров 3-х казачьих полков, заметив только, что полкам, конечно, было неприятно не быть на смотре после маневров; горячо благодарил за телеграмму губернаторам и за самую мою мысль вызова войск для предотвращения погрома, сказавши при этом: ”Какой ужас за вину одного еврея мстить неповинной массе”, и вообще утвердил по обыкновению все, что ему было предложено именем Столыпина. Характерен был при этом один разговор. Сославшись на то, что, по мнению врачей, Столыпин опасно ранен, вероятно погибнет и, во всяком случае, надолго выведена из строя, я просил разрешения вызвать по телеграфу из-за границы старшего товарища министра внутренних дел Крыжановского и поручить ему временное управление министерством. Я указал при этом на то, что помимо старшинства на других товарищей возлагать этой обязанности нельзя, т[ак] к[ак] А.И. Лыкошин совершенно не годится на роль руководителя, а ген[ерал] Курлов уже по первым следственным действиям настолько скомпрометирован в покушении на Столыпина его непонятными действиями, что едва ли он вообще сможет оставаться на службе.

Такое мое заявление удивило Государя. Я передал все, что успел узнать об обстоятельствах, при которых преступник оказался в театре, обещал докладывать и далее обо всем по мере хода следствия, чего я в Киеве исполнить, однако, не мог, потому что почти не видел Государя и не

имел с ним более деловой беседы, – но по поводу вызова Крыжановского Государь сказал мне: ”Я не имею основания доверять этому лицу и не могу назначить его министром внутренних дел, потому что мало его и знаю, без этого условия мне трудно решиться на такое назначение”. Я разъяснил Государю, что дело идет не о назначении министром, а о необходимости поручить кому-либо одному из товарищей временно управлять министерством, потому что теперь каждый товарищ ведает своей частью, общее же руководство лежит на умирающем Столыпине, и оставить дело так нельзя. Назначение министра, очевидно, последует только тогда, когда решится участь Петра Аркадьевича, чего, прибавил я, вероятно долго ждать не придется, так как, по-видимому, шансов на выздоровление немного, и явления, выяснившиеся за ночь, указывают на то, что внутренние органы сильно пострадали. На мои последние слова Государь ответил: ”Я узнаю и тут Ваш обычный пессимизм, – но я уверен, что Вы ошибаетесь. П.А. поправится, только не скоро, и Вам долго придется нести работу за него”.

3 сентября утром приехал вызванный по желанию врачей, по совещанию со мной, проф[ессор] Цейдлер и, осмотревши больного, стал склоняться более в сторону врачей, смотревших мрачно на ход болезни, хотя еще не мог высказать окончательное заключение. Приехал зять Столыпина – А.Б. Нейдгард, и с меня спала часть личных забот о больном, но зато прибавились лишние разговоры по существу совершенного преступления, так как А.Б. Нейдгард и приехавший на другой день брат его Дм. Б. Нейдгард стали усиленно насаждать на меня в смысле необходимости поручить следствие какому-либо особому лицу и непременно сенатору. Министр юстиции Щегловитов, тоже приехавший в Киев, был того же мнения, и, по соглашению с ним, выбор пал на сенатора Трусевича, бывшего недавно директором Департамента полиции, т[ак] к[ак] следствие успело уже выяснить вопиющую халатность в действиях Охранного отделения, генерала Курлова и его ближайших подчиненных<sup>100</sup>.

Утром 4-го приехала О.Б. Столыпина. Я встретил ее не вокзале, привез в лечебницу и сдал больного всецело в ее руки. Его состояние становилось все хуже, и даже слабая надежда на благополучный исход стала исчезать. В тот же день ее навещил Государь, причем всем дано было знать, что нежелательно присутствие в лечебнице посторонних лиц. Больного Государь не видел; он начинал терять сознание, бредил и стонал. Пробыл Государь в лечебнице недолго, вынес впечатление, что я преувеличиваю опасность, тем более что доктор Боткин продолжал уверять его, что ничего грозного нет, и под вечер того же числа Государь уехал в Чернигов, откуда возвратился в 6 ч. утра 6 сентября, не заставши уже Столыпина в живых. Его не стало в ночь с 5 на 6 число. Уже со второй половины дня 4 числа было ясно, что минуты его сочтены. Температура понизилась, страдания усилились, стоны почти не прерывались, и

появилась страшная икота, которая была слышна даже на лестнице. Сознание, державшееся довольно ясным еще до утра 5 числа, постепенно затемнялось, голос падал, и около 5 часов дня больной впал в забытие, не выходя из которого он и перешел в вечность.

С минуты приезда Ольги Борисовны Столыпиной я стал проводить в лечебнице несколько меньше времени, хотя ежедневно не менее трех раз бывал там.

Мои нервы от переживаемых тревог и полной бессонницы по ночам, — я все ждал телефонных звонков из лечебницы, — были крайне напряжены. С утра до ночи я получал сведения о ходе следствия, все более и более укреплявшие меня в том, что никакой организации в охране не было и что худшие последствия могли произойти, если бы только было желание их причинить, и, кроме того, мне приходилось принимать множество всякого рода людей, добивавшихся свидания со мной.

Из этих посещений два заслуживают особого упоминания.

Третьего или четвертого числа ко мне явилась депутация националистов Юго-Западного края в лице моих знакомых членов Государственной Думы П.Н. Балацова, Д.Н. Чихачова, Потоцкого и ранее мне неизвестного профессора Чернова.

Говорил со мной от имени депутации глава ее Балашов, другие же молчали и только под конец, видимо, желая загладить неловкость положения, сказал несколько примирительных слов проф[ессор] Чернов.

Балашов начал с того, что партия националистов взволнована покушением на Столыпина не только как на выдающегося и благородного государственного человека, незаменимого в настоящую минуту, но и как на человека, всем своим существом слившегося с национальной партией, проникнутого ее идеалами и оказывающего ей свое могущественное покровительство, потому что в ней он видит единственную здоровую политическую партию в России, не борющуюся с правительством во имя захвата власти. Волнение партии, по словам Балашова, увеличивается еще более от того, что преемником Столыпина назначен или назначаюсь я, потому что мне партия не доверяет и очень опасается, что моя политика будет совершенно иная, чуждая ясным национальным идеалам, и проникнутая слишком большими симпатиями к западу, следовательно, к элементам международного капитала и — инородческим. "Позвольте договорить до конца, — сказал Балашов, — мы Вас поддерживать не можем, если только не получим от Вас уверенности, что, заменивши Петра Аркадьевича, Вы будете честным и открытым продолжателем его политики".

Выслушавши это необычное и мало любезное обращение, я начал мой ответ с чисто формального отвода, сказавши, что я отнюдь не назначен председателем Совета министров, а только вступил по закону в исполнение его обязанностей по причине тяжелой болезни Петра Арк[адьевича].

Вместе с ними я искренне молился в соборе о его исцелении, хотя с грустью думаю, что наша молитва не будет услышана, потому что вижу, что Петр Аркадьевич угасает. Я не имею решительно никакого желания быть руководителем общей политики России и буду очень благодарен их партии, если она, в размерах доступных ее влиянию, примет меры к тому, чтобы отвратить ту опасность, которую она видит в моем назначении, а мне окажет великую услугу, избавивши меня от той тяжести, нести которую я вовсе не стремлюсь. Я прибавил к этому еще, видимо, не понравившиеся Балашову слова: "Но только было бы гораздо проще и, во всяком случае, деликатнее по отношению ко мне, если бы Вы обратили Ваши опасения туда, где может решаться мое назначение, если Вы имеете туда доступ, а не говорить мне прямо в лицо "мы Вам не верим", ибо не можете же Вы ожидать от меня такого шага, чтобы я сам пошел к Государю и сказал: "мне не верит самая крупная политическая партия, и по этому я не могу принять такого назначения". Тем более не могу я этого доложить Его Величеству, что у меня нет никаких оснований полагать, что такое назначение будет мне предложено".

После этого вмешался проф[ессор] Чернов и, желая поправить своего лидера, сказал мне: "Владимир Ник[олаевич], не совсем ясно выразил Вам нашу мысль или Вы поняли ее не так, как мы хотели ее высказать. Мы понимаем хорошо, что всякая политическая партия, которая занимается борьбой с правительством, приносит несомненный вред и себе и стране. В России нужно не бороться с властью, а работать вместе с ней, но работать можно только с такой властью, которую уважаешь, и помогать только той, которая помогает партии и ведет страну по правильному пути. Если бы мы имели не только уверенность, но даже надежду на то, что Вы поведете Россию по тому пути, по которому ее вел Петр Аркадьевич, мы открыто стали бы на Вашу сторону, как стояли на его стороне".

Поблагодаривши профессора за то, что его обращение ко мне, во всяком случае, отличалось меньшей нелюбезностью, нежели выступление их лидера, я высказал моим посетителям прежде всего, что они придадут власти председателя Совета гораздо больше значения, нежели она имеет на самом деле. И сейчас, спустя много лет, я могу воспроизвести то, что сказал я им в подтверждение моей мысли (я сохранил заметку о нашем свидании, записанную по горячим следам), а именно, — "что прочной, всеобъемлющей власти сейчас в России никто, кроме Государя, не имеет и иметь не будет. Она дается только в минуту катастрофы и кризиса, когда приходится даже проявлять готовность поступиться многими существенными прерогативами. Но как только гроза проходит, все полномочия существенно видоизменяются, и чем больше пользовался носитель власти своими полномочиями, тем скорее наступает его падение. За примером, сказал я, ходить не далеко. Вот тот же Петр Аркадьевич, кото-

рый теперь умирает и которого Вы считали осуществляющим программу Вашей партии, разве он при всей своей кажущейся силе был вполне самостоятельным и в особенности прочен на своем посту. Неужели вы сами не видели, что после проведения Западного Земства он вовсе не остался столь же влиятельным, как был прежде. Ведь несколько месяцев спустя после одержанной им победы он уже был конченным человеком в смысле влияния, и если бы пуля Багрова не пресекла его дней, то он все равно очень скоро сошел бы с политической арены, и никакая поддержка вашей партии не уберегла бы его. Он сознавал это лучше всякого и еще почти накануне постигшей нас катастрофы прямо говорил мне об этом. Поверьте мне, что все наши уговоры с вами, если бы даже мы могли заключить с Вами предлагаемый договор, не имели бы существенного значения". "Я никогда не был хвастуном и никогда не решусь сказать Вам, что я сумею провести ту или иную политику. Если мне суждено, — от чего упаси меня Господь, — сменить Петра Аркадьевича, то я обещаю исполнить одно — никогда не лгать моему Государю и не быть игрушкой в руках какой-либо партии. Я не знаю, буду ли я располагать свободой действий, но так как я в этом сомневаюсь, то буду исполнять мой долг только до тех пор, пока обстоятельства не заставят меня действовать против моей совести, а что касается до Вашей партии, то я скажу вам прямо, что Вашей программы я в точности не знаю, слышал очень часто от Петра Аркадьевича много красивых, но туманных слов, а практической сущности ее не вижу и усвоить себе еще не мог. Если, как Вы говорите, Вашим лозунгом является величие России и освобождение ее от всякого чужого засилья, то поверьте мне, что на этой почве нам сойтись более чем просто. Но вашей политики угнетения инородцев я не разделяю и служить ей не могу. Это политика вредная и опасная. Оказывайте какое хотите покровительство русскому элементу, будемте вместе возвышать его во всех отношениях и давать ему первые места, но преследовать сегодня еврея, завтра армянина, потом поляка, финляндца и видеть во всех их врагов России, которых нужно всячески укрощать, этому я не сочувствую и в этом нам с вами не по пути".

Наша беседа продолжалась еще несколько минут, и мы расстались, конечно, недовольные друг другом. Я повторил при расставании то, что сказал вначале, что я буду рад и благодарен им, если они сумеют отстранить мое назначение, и прибавил даже, что готов, со своей стороны, быть верным сотрудником всякому председателю Совета Министров, который будет продолжать дело П.А. Столыпина, лишь бы только и он не мешал мне делать мое дело — управлять финансами так, как я это понимаю. Следом за этой депутацией и кажется, даже столкнувшись с ней в дверях, ко мне пришла другая депутация — от киевских евреев. В составе ее не было никого из именитого киевского еврейства, и секретарь мой



Дорлиак, говоря мне о ней, сказал мне даже, что пришли какие-то несчастные мелкие еврейчики, совершенно растерянного вида, и он хорошенько не может разобрать, что им нужно, так бессвязна их речь.

Я вышел к ним в переднюю и, действительно, нашел четырех-пятерых не молодых евреев в длинных сюртуках, с всклокоченными бородами. Один из них подошел ко мне, поцеловал руку, другие хотели было встать на колени, но я их удержал, и после довольно продолжительных расспросов, мог только понять, что это представители торговцев с базара на Подоле, что они не успели выехать из города подобно другим более крупным торговцам и что они умоляют меня защитить их от погрома. Я старался успокоить их, сказал, что главная опасность миновала, т[ак] к[ак] казачьи полки вовремя пришли в Киев. Они ушли, видимо, успокоенные, по крайней мере, на следующий день Л.Ф. Дорлиак показал мне заметку "Киевской мысли", в которой говорилось, что прием мой внес успокоение, базар открывается, и жизнь постепенно входит в свою колею. Эта заметка, однако, не обошлась для меня даром. Она была передана по телеграфу "Новому Времени", и эта газета встретила мое назначение ядовитой заметкой о моей чрезмерной заботливости о благе и спокойствии евреев.

К вечеру 5 сентября я снова поехал в лечебницу Маковского, и было уже ясно, что роковая развязка приближается. Нервы не выдерживали слушать звуки ужасной икоты, и я в десятом часу вернулся домой, прося, чтобы мне позвонили по телефону, если бы мое присутствие оказалось бы почему-либо нужным. Прошло немного времени, и мне сообщили о кончине Петра Аркадьевича. Я тотчас же послал телеграмму барону Фредериксу по пути следования Государя обратно из Чернигова в Киев.

6 сентября в 6 часов утра я был уже на пароходной пристани, где и ожидал возвращения Государя. Кроме гр[афа] Бенкендорфа и генерала Трепова, не было никого. Охраны также никакой выставлено не было, так как Трепов передал мне, что Государя повезут окольными дорогами, куда бы он ни приказал ехать. Вскоре подошел пароход. Государь принял меня на палубе, молча выслушал мой краткий доклад и сказал, что едет прямо поклониться праху Столыпина. Он сел в открытый автомобиль с бароном Фредериксом, я сел в такой же другой автомобиль с Треповым, и мы поехали в лечебницу. Город был пуст, мы быстро совершили довольно длинный кружной переезд. В больнице нас встретил д-р. Маковский и еще один врач, и следом за Государем я вошел в угловую большую комнату, наверху, налево, по коридору, где лежало еще на кровати, но уже поставленное в переднем углу комнаты тело Столыпина. У изголовья сидела вдова покойного, Ольга Борисовна Столыпина, в белом больничном халате. Когда Государь вошел в комнату, она поднялась к нему навстречу и громким голосом, отчеканивая

каждое слово, произнесла известную фразу: "Ваше Величество, Сусанины не перевелись еще на Руси".

Отслужили панихиду, Государь сказал тихо несколько слов [льге] Б[орисовне] и, не говоря ни с кем ни слова, сел в автомобиль также с бар[оном] Фредериксом и в сопровождении второго автомобиля, в котором я ехал с генералом Треповым, вернулся в Николаевский дворец. От ворот дворца мы с Треповым уехали обратно; он довез меня до своего подъезда, я прошел к себе в банк и стал готовиться к отъезду царской семьи из Киева, который был назначен в тот же день в 12 ч[асов] утра.

Город имел совершенно праздничный вид, масса народа на улицах; войска стояли шпалерами до самого вокзала.

Я проехал с моим секретарем несколько раньше, чтобы не опоздать из-за какой-нибудь случайной задержки. На вокзале я встретил массу народа — мужчин в белых кителях с лентами и орденами, дам в светлых нарядах, и я смешался с толпой, ожидая прибытия царского кортежа.

Через несколько минут ко мне подошел И.Г. Щегловитов и спросил меня, не знаю ли я, зачем его зовут во дворец по телефону, как ему только что сказал это князь Орлов. Я высказал ему предположение, что Государь вероятно желает знать подробности о производстве следствия об убийстве Столыпина, как в ту же минуту ко мне подошел тот же Орлов и сказал, что произошла ошибка и что во дворец требуют меня, и притом как можно скорее, так как Государь задерживает свой отъезд из дворца в ожидании моего прибытия.

Понимая, что на моих плохих лошадях скоро не доедешь, я просил дать мне чей-нибудь автомобиль. Мне предложил его городской голова Дьяков; для беспрепятственного проезда мне дали на козлы жандармского унтер-офицера, и мы помчались с невероятной быстротой. По дороге едва не случилась катастрофа, так как шофер не задержал по повороте, задние колеса накатились, и автомобиль едва не опрокинулся, но все дело ограничилось тем, что мы боком машины оттеснили часть шпалеры солдат. Подъехавши ко дворцу, я нашел Императрицу, сидящую внизу на подъезде в кресле. Едва успел я поцеловать руку, как ко мне подошел бар[он] Фредерикс и сказал по-французски: "Государь Вас давно ждет". Я застал Государя в кабинете, стоящим перед выходной дверью, с фуражкой в руках. Со своей обычной улыбкой он обратился ко мне со следующими словами: "Я прошу Вас быть не председателем, а председателем Совета министров, оставаясь, разумеется, и министром финансов. Надеюсь, Вы мне в этом не откажете". Я ответил на это: "Мой долг повиноваться Вашему Величеству, если Вы оказываете мне Ваше доверие и считаете меня достойным его, но в трудных условиях управления Россией мне необходимо знать, кого Ваше Величество изберете министром внутренних дел". Государь ответил мне на это: "Я уже думал об этом и остановил мой выбор на нижегородском

губернаторе Хвостове”. Меня это известие просто ошеломило, и я сказал Государю: “Ваше Величество, я знаю, что Вы спешите уехать и у Вас нет времени подробно выслушать меня, но верьте моей чести, что мне больно противоречить Вам. Я по совести не могу исполнить моего долга перед Вами, если моим сотрудником по Мин[истерству] вн[утренних] дел будет такой человек, как Хвостов, которого никто в России не уважает и назначение которого в особенности вредно для Вас, Государь, в данную минуту, когда от министров требуется то, чего Хвостов дать не в состоянии. Дозвольте просить Вас оказать мне особую милость не считать моего назначения окончательным, если Вы решили бесповоротно назначить Хвостова. По приезде в Петербург я изложу Вам в письме самым откровенным образом мой взгляд на назначение Хвостова, предложу Вам на выбор ряд других кандидатов, и если Вы тем не менее предпочтете им всем или кому-либо из других кандидатов Вашего выбора того же Хвостова, то не прогневайтесь на меня и освободите меня от высокого назначения. Я слишком хорошо знаю условия нашей государственной деятельности и по чести докладываю Вам, что никакой председатель Совета не может помешать тем неосмотрительным действиям, на которые способны люди, подобные Хвостову.”

Государь, видимо, терял терпение, дверь дважды приотворялась, и бар[он] Фредерикс, видимо, указывал на необходимость отъезда. Государь, подумав немного, сказал без всякого чувства раздражения, своим обычным, ласковым голосом: “Нет, Я считаю, что Вы назначение приняли, напишите все откровенно, и знайте, что я уезжаю совершенно спокойно, передавши власть в Ваши руки”. При этом он обнял и перекрестил меня. Следом за ним я пошел вниз, царская семья двинулась в автомобилях в дорогу, за ними поспешили другие экипажи, так что мой автомобиль попал на 6-е или 7-е, и когда я подъехал к вокзалу, то Императрица, видимо, уже некоторое время поджидала меня на перроне, не входя в вокзал, протянула мне руку и, когда я, сняв фуражку, поцеловал ее, она сказала мне тихо, по-французски: “Благодарю Вас, и да хранит Вас Бог”. Обычная суতোлка при отъезде продолжалась на вокзале лишь несколько минут. Царский поезд скоро ушел, ко мне подошел Трепов и спросил, назначен ли я. Я ему ответил: “Еще не совсем, потому что не со всяким мин[истром] внутр[енних] дел я могу вместе служить”. На окружающую публику эта весть, по-видимому, не произвела особого впечатления, ко мне мало кто подходил, и я, условившись с железнодорожным начальством о назначении мне в тот же день в 6 час. экстренного поезда для выезда в Петербург, поспешил вместе с моим секретарем вернуться в моем экипаже домой, докончить укладку вещей и проститься с моими хозяевами. К моему отъезду собрались на вокзал немногие: ген[ерал] Иванов, ген[ерал] Трепов, Щегловитов, кое-кто из его сотрудников, а также довольно многие чины Министерства финансов.

Обратный путь я совершил в одном поезде, хотя и в разных вагонах, с ген[ералом] Сухомлиновым, который, видимо, был несколько удивлен состоявшемуся моему назначению. Этот легкомысленный человек, как выяснилось впоследствии, рассчитывал сам занять эту должность, по крайней мере, его же клевет того времени, князь Андронников, уверял меня, что жена Сухомлинова, имевшая неотразимое влияние на него, посылала ему в Киев настойчивые телеграммы, советуя добиться назначения на должность председателя Совета министрств. Как знать, не удалось ли бы ему это невероятное предложение, если бы Государь не поспешил уехать. Ведь на вокзале же он поздравил оренбургским губернатором и наказным атаманом оренбургского казачьего войска родного брата Сухомлинова, по общим отзывам сомого заурядного из всех бригадных командиров. Впоследствии, уже по моем увольнении, этот ген[ерал] Сухомлинов был назначен степным генерал-губернатором, так велико было обаяние его брата на Государя.

В Петербург я приехал рано утром 8 сентября; меня встретили жена, а также чины М[инистерств]ва ф[инансов], градоначальник, губернатор, прочитавшие уже, что я возвращаюсь фактическим председателем Совета министров, кое-кто из канцелярии Совета. Публики было мало, из представителей печати не было никого. Прямо с вокзала мы поехали в часовню Спасителя, помолились и вернулись домой.

Как и следовало ожидать, первые дни были необычайно утомительны от множества посетителей. Пришлось потратить много времени на всевозможные разговоры, начиная с беседы с Танеевым, которому я передал в тот же день Высочайшее повеление об отсылке указа о моем назначении и предупредил его, что я решил послать Государю подробное письмо по поводу его мысли о назначении Хвостова министром внутренних дел, и просил его даже замедлить отсылкой указа, так как раньше 2–3-х дней мне не справиться с этим письмом, а получение указа и письма было бы необходимо одновременно, так как если бы Государь все-таки остановился на назначении Хвостова, то, вероятно, моего указа вовсе и не последовало бы. Составлению и переписке письма мне пришлось отдать ночи с 8 на 9 и с 9 на 10, так как днем не было никакой возможности найти свободное время. 10 сентября это письмо пошло к Государю в Ливадию.

Я привожу его здесь целиком по сохранившейся у меня копии, — как потому, что считаю, что этим письмом я исполнил свой долг, так и потому, что не хочу перелгать на кого-либо вину в совершенной мной ошибке, если только она действительно была сделана. Назначение А.А. Макарова министром внутренних дел было, несомненно, результатом моего письма.

Кроме того, этому письму суждено было впоследствии сыграть известную роль. В сентябре 1917 года, за месяц до октябрьского перево-

рота, меня допрашивала Чрезвычайная следственная комиссия, назначенная временным правительством, — по самым разнообразным вопросам политической жизни минувшего 10-тилетия и особенно подробно она останавливалась по назначении Макарова министром внутренних дел. Во время допроса председатель Комиссии Муравьев перечитывал какое-то дело, и по мере моих ответов на заданные вопросы особенно внимательно читал какую-то бумагу, переписанную на пишущей машине, и постоянно останавливал меня на разных деталях. Затем, когда по какому-то ничтожному поводу, я сослался на запечатывание одной мелкой подробности, он прочитал мне часть этой бумаги, сказавши: "Вот передо мной копия Вашего письма от 10 сентября. Вы совершенно точно воспроизводите обстоятельства того времени, хотя уже прошло ровно 6 лет". Оказалось потом, как сказал мне на другой день один из следователей, состоявших при комиссии, кажется, член московской судебной палаты или товарищ прокурора Голеновский, что Государь передал в чрезвычайную следственную комиссию, по требованию ее, переданному ему Керенским, целый ряд документов, хранившихся лично у него, и в том числе переписку с отдельными министрами. Среди этих переданных Государем бумаг оказалось и мое письмо от 10 сентября 1911 года, копия с которого сохранилась у меня.

Вот оно:

"Ваше Императорское Величество.

С той минуты, что я вышел из Вашего кабинета в Киеве, перед отъездом Вашего Императорского Величества, меня не покидает самое тяжелое, гнетущее раздумье. Верьте мне, Государь, что меня смущает не тяжесть ответственной задачи, возложенной на меня Вашим безграничным ко мне доверием в столь трудную пору жизни Вашей страны. Не наполняет страхом моего сердца и мысль о том, что мои силы недостаточны для того, чтобы поднять на мои плечи, с верой в успех, столь великое дело служения родине и Вашему Императорскому Величеству.

Я принял Ваше повеление спокойно и перед лицом Вашим, Государь, перед всевидящим взором Царя царствующих, перед своей собственной, никогда не изменявшей Вам совестью сказал себе: "Да будет воля Божья и воля Вашего Императорского Величества". Не в моих руках, Государь, результаты моих трудов, не мне провидеть грядущее.

Знайте одно, Государь, что как до настоящей минуты во всю мою уже теперь долгую жизнь, так и впредь до моего последнего вздоха все силы моего разума принадлежат Вашему Императорскому Величеству, и я буду счастлив, говорю это без колебания, отдать жизнь Вам и родине.

Смущает мою душу то, что В[ашему] И[мператорскому] В[еличеству] благоугодно было сказать мне относительно замещения должности покойного Петра Аркадьевича, на посту министра внутренних дел. Про-

стите мне, Государь, все, что я сказал Вам по этому поводу. Не усмотрите в моих словах недостатка готовности сообразоваться с Вашими велениями или затруднять Вас в приведении в исполнение Ваших намерений. Мне больно думать, Государь, что в минуту Вашего отъезда я огорчил и, быть может, расстроил Вас. Таких намерений у меня не было, и тогда, как и сейчас, как и впредь я готов отдавать всю мою душу на то, чтобы облегчить Ваши заботы и принять на себя хоть частицу их.

Но, как в ту минуту, под первым впечатлением, так и сейчас, после упорного и честного раздумья в течение двух суток, я видел и вижу, что я не мог поступить иначе, и если бы я поступил иначе, под влиянием столь естественного желания не противоречить Вашему намерению, — я поступил бы просто нечестно.

Судьба поставила меня, Государь, в непосредственное сношение со многими людьми; она научила меня распознавать их, оценивать их не по словам и отзывам других, а по их собственным делам, по их личным способностям и внутреннему достоинству, и, руководствуясь этими основаниями, я должен был сказать Вашему И[мператорсксму] В[еличеству] с полным убеждением, как повергаю сейчас на Ваше благовоззрение спокойно, искренно и с упованием на Вашу милостливую снисходительность к моей смелости, что указанное мне Вашим И[мператорским] В[еличеством] лицо (нижегородский губернатор Хвостов) не отвечает ни одному из тех требований, которые должны быть предъявлены к министру внутренних дел, не только теперь, в переживаемую Вашей страной тяжелую и сложную минуту, но и при самых обыденных и нормальных условиях. У него нет никакого административного, а тем более государственного опыта; он никогда не прикасался ни к одному из элементов сложной административной машины, — вне чисто провинциальных исполнительных действий; он человек всем известных, самых крайних убеждений, находящихся в полном противоречии с тем строем государственной жизни, которой насажден державной волей Вашего И[мператорского] В[еличества]; он успел на второстепенном губернаторском посту обострить в самом нежелательном направлении целый ряд вопросов, чреватых своими последствиями; по своему возрасту и по всему своему прошлому он не может внушить к себе ни малейшего авторитета в столь обширном и далеко не устроенном ведомстве, как Министерство внутренних дел, и, наконец, что всего важнее, его назначение было бы принято всем общественным мнением, и в особенности нашими законодательными учреждениями с полным недоумением и даже недоверием, побороть которое у него не хватило бы ни умения, ни таланта, ни знаний, ни подготовленности.

Не судите меня, Государь, за эти слова. Ваше Величество изволите знать, что я никогда не искал популярности, не заискивал перед общественным мнением и открыто отстаивал свои взгляды перед законодатель-

ными учреждениями. Но я не хочу умолчать перед Вашим И[мператорским] В[еличеством], что лицам, окружающим престол, несущим перед Вами и перед страной ответственное бремя, заведования крупнейшими отраслями государственного управления, нельзя действовать с самой слабой надеждой на успех, если только к ним нет, на первом месте, доверия Вашего И[мператорского] В[еличества] и затем уважения общественно-го мнения.

Без этих двух условий все дело управления обращаться в безрезультатное, и государство и Ваше И[мператорское] В[еличество] неизбежно несут невознаградимый ущерб. Простите меня, Государь, эти слова, они идут из глубины безгранично преданного Вам сердца, для которого дорого только одно – не утаить перед Вами ничего, не может быть прямо или косвенно вредно для В[ашего] И[мператорского] В[еличества].

Я понимаю вполне, что Ваше В[еличество] не могли разом остановиться на том единственном имени, которое было произнесено мной. Недостаток времени лишил меня возможности шире доложить В[аше]му В[еличест]ву этот вопрос. Дозвольте же мне, Государь, теперь несколько восполнить этот пробел.

Как тогда в Киеве, так и теперь, после долгого и упорного размышления, я дерзаю довести до Вашего сведения, что назначение государственного секретаря Макарова отвечало бы многим из задач настоящей минуты. У него достаточный государственный опыт. Ему близко знакомо полицейское дело, и он издавно изучал борьбу с политическими преступлениями. Почти трехлетнее его сотрудничество Петру Аркадьевичу, именно по полицейской части, дало ему возможность близко изучить все частности этого дела и приступить к заведыванию им, не теряя времени на его изучение, для чего переживаемый Россией момент представляется особенно неблагоприятным, так как он требует от главного начальника Ведомства внутренних дел не методической подготовки, а неотложных распоряжений. Макаров – человек безусловно твердых убеждений, научившийся, однако, за свою продолжительную службу подчинять свои взгляды уважению к закону. Его выступления в Государственной Думе в бытность товарищем министра вн[утренних] дел, и притом по делам крайне щекотливого свойства, отличались всегда большим тактом, эрудицией и определенностью и снискали ему то уважение, без которого участие в работе законодательных учреждений для представителя правительственной власти просто невозможно. В Государственном Совете Макаров имеет совершенно исключительное благоприятное положение по занимаемой им должности государственного секретаря, и есть полное основание надеяться, что ему более чем кому-либо удастся восстановить то нормальное положение М[инистерст]ва Вн[утренних] дел, в верхней палате, которое было крайне осложнено за последнее время.

Таковы, Ваше И[мператорское] В[еличество], те истинные основания,

которые побуждали меня остановить Высочайшее Ваше внимание на этом должностном лице. Не дерзаю повергать на благовоззрение Вашего В[еличества] моих соображений о других лицах, не зная в какой мере на них могло бы остановиться избрание Ваше. Круг этих лиц чрезвычайно ограничен, а требования, предъявленные к должности м[инист]ра в[нутрен]них дел вообще и в настоящую минуту в особенности, столь сложны и многообразны, что сделать правильный и безошибочный выбор крайне трудно. В особенности затруднительно избежать самой большой опасности, избрания такого лица, предшествующая деятельность которого успела создать около него атмосферу более или менее справедливой предвзятости и враждебности. При этих свойствах спокойная работа неммыслима, производительность ее совершенно ничтожна.

Я позволил бы себе доложить Вашему И[мператорскому] В[еличеству] еще о двух молодых деятелях, черниговском губернаторе Маклакове и киевском, — ныне директор Департамента земледелия — гр[афе] П.И. Игнатеве, но опасаясь, что в лице первого из них Ваше Вел[ичество] не найдете достаточно подготовленного деятеля. Маклаков должен быть лично известен Вашему Вел[ичество] по недавнему посещению Черниговской губ[ернии]. Мне он известен по его службе по Министерству финансов. Это человек совсем молодой, по-видимому, энергичный, но еще совершенно неопытный; всего лишь второй год он занимает должность губернатора. Он вовсе не знаком со службой центральных управлений, недостаточно образован, мало уравновешен, легко поддается влияниям людей, не несущих ответственности, на полных предвзятых идей, и едва ли сумеет снискать себе уважение в ведомстве и законодательных учреждениях

Граф Игнатев мне мало известен, но он пользуется репутацией человека умного, осторожного, вдумчивого и в бытность свою киевским губернатором был признаваем покойным статс-секретарем Столыпиным, вместе с бывшим аратовским губернатором графом Татищевым, — одним из лучших губернаторов. Простите мне, Ваше Императорское Величество, столь длинное мое изложение. Взгляните милостиво на мои побуждения; в них нет и тени чего-либо личного. Руководит мной одно желание сказать перед Вами, по чистой совести, то, что подсказывает мне мой разум, и устранить на первых же шагах моей ответственной, тяжелой деятельности неудачу в выборе лица на самый трудный пост.

Ошибочность выбора не может не оставить после себя самых тягостных последствий, которых следует избегать всеми доступными способами”.

Ответ на мое письмо последовал очень быстро.

Вечером 14 сентября я получил от Государя шифрованную телеграмму от того же числа, из Ливадии такого содержания: ”Обдумав содержание Вашего письма, нахожу назначение государственного секретаря Макарова на должность министра внутренних дел вполне подходящим. Желая



его видеть до назначения, вызываю его сейчас по телеграфу в Ялту, прошу ему не сообщать о предположенном”.

На другое утро Макаров рано приехал ко мне, показал вызывную телеграмму и спросил меня, не знаю ли я причины вызова. Связанный полученным указанием, я ответил ему, что ничего не знаю, и просил немедленно по прибытии в Ливадию сообщить мне шифром причину вызова, который не может меня не интересовать живейшим образом, и в тот же вечер Макаров выехал в Крым, а Танеев доставил мне подписанный 12 сентября указ о моем назначении. Через 6 дней Макаров вернулся сияющий и довольный своим назначением министром внутренних дел. По-видимому, все испытывали большое чувство облегчения от миновавшего осложнения. Доволен был и Государь, написавший мне самое милое, ласковое письмо, к сожалению, не сохранившееся у меня, и всего вероятнее, не возвращенное мне в числе бумаг, взятых при обыске 30 июня 1918 года. Но я хорошо помню не только содержание, но даже и отдельные выражения этого письма.

В нем Государь писал мне, что остался очень доволен двукратной беседой с Макаровым, что нашел в нем человека совершенно подготовленного, очень здраво смотрящего на вещи и высказавшего ему все те взгляды на задачи м[инистерст]ва вн[утренних] дел, которые казались безусловно правильными и самому Государю, что он уверен, что при нем министерство войдет в ”свои рамки” и будет заниматься разрешением таких вопросов, которые давно запущены, и внесет больше ”делового спокойствия” туда, где слишком развилась ”политика и разгулялись страсти различных партий, борющихся, если не за захват власти, то, во всяком случае, — за влияние на министра внутренних Дел”.

В этих словах было явное неодобрение политики только что сошедшего столь трагическим образом со сцены Столыпина, которому уже не прощали ни его былого увлечения Гучковым и октябристами, ни последующего перехода его симпатий к националистам, к которым питали тоже, по-видимому, мало доверия и даже сочувствия и наверху.

Доволен был, конечно, и я первой, одержанной мной крупной победой и столь счастливым, казалось мне в ту пору, разрешением кризиса, и мог спокойно вступить в должность председателя Совета.

Действительно, кризис разрешился в ту пору совершенно благополучно, потому что без этого мое положение становилось сразу совершенно невыносимым, и я хорошо понимал, что при министре внутренних дел Хвостове мне не было бы никакой возможности показаться в Думе и пришлось бы волей или неволей уходить с места при первой представившейся возможности.

Довольна была даже и печать, встретившая назначение Макарова без всякой враждебности; даже ”Гражданин” Мещерского отзывался на первых порах довольно милостиво, пытаясь, однако, всячески взять нового

министра под свою опеку, и недвусмысленно предлагал свое "благоволение" за уступку ему таких корифеев того времени, как Белецкий и Харузин, для осуждения которых у Мещерского не было достаточно резкостей. Это отношение скоро, однако, сменилось на самое враждебное, когда Макаров не только не уволили Белецкого, но даже назначил его директором Департамента полиции, а Харузину приблизил к себе, поручив ему заведывание всем делом по подготовке выборов в Государственную Думу.

С разрешением этого критического вопроса наступила сравнительно спокойная пора. Пришлось спешить доканчивать бюджет на 1912 год и закончить массу текущих дел по Совету министров, накопившихся за время летнего затишья и отсутствия председателя из Петербурга. Город был пуст, членов Государственного Совета и Думы почти не было налицо, и работа имела характер совершенно спокойный и будничный, перемежающийся с довольно бесцельными и многочисленными беседами с постепенно возвращавшимися из поездок и отпусков министрами и наезжавшими в большом, чем обычно количестве, провинциальными деятелями. Из этого общего серого тона выделилась только резко враждебная позиция, сразу же занятая по отношению ко мне газетой "Новое Время". Уже в № от 10 сентября появилась телеграмма, посланная из Киева 9-го, в день похорон П.А. Столыпина, А.И. Гучковым, в которой отражалось выражение его личного взгляда на современное положение России и высказывалось, что "Россия попала в болото, вытащить из которого, конечно, не под силу В.Н. Коковцову".

Вскоре же появилась статья Меньшикова, с резким выпадом против меня за покровительство евреям, повторившая заметку "Киевлянина", что на выстрел Багрова я ответил защитой "киевских жидов".

Гучков также вернулся в Петербург, но ко мне не показывался и уже гораздо позже, около 10 декабря, написал мне письмо с просьбой принять его, а все время до этого до меня доходили только упорные слухи о том, что в редакции "Нового Времени", к совету которой Гучков принадлежал, велись собеседования о походе против меня. Несмотря на это меня посетили от этой газеты 2 лица: Михаил Суворин и правая рука редакции, типичный приказчик неважного магазина, — Мазаев. Беседа наша протекала совершенно дружелюбно, хотя я и указал им обоим, что не знаю основания их враждебного отношения ко мне и хотел бы выяснить, что именно им особенно не нравится и на какой почве могло бы последовать сближение со мной. Ответа я никакого не получил, если не считать совершенно бессвязного лепета того и другого, ссылки на невозможность для руководителей редакции следить за статьями отдельных сотрудников, и откровенного заявления об отсутствии солидарности и дисциплины среди их сотрудников. Характерны были, между прочим, слова Суворина по поводу Меньшикова. "С этим господином никакого сладу

нет; он и нас каждый день ругает, так что мы просто стараемся не показывать ему на глаза”.

Несколько дней после этих визитов газета как-то замолчала, а потом возобновила те же нападки, намеки, булавочные уколы или самое сухое упоминание о том, что было сделано, без всяких комментарий. Долгое время я так и не понимал, в чем заключается причина столь недружелюбного ко мне отношения, и лишь много времени спустя мне разъяснили мои прегрешения. Их оказалось два. Во-первых, я не сделал первым визита братьям Сувориным – Михаилу и Борису, и даже не поехал к ним после посещения меня Михаилом. Во-вторых, они знали мое отрицательное отношение к системе всякого рода льгот за счет средств казны и были уверены, что за ними трудно обращаться ко мне, как нет надежды и на мое воздействие на частные банки в смысле выдачи ссуд, как было сделано после меня.

Как только выяснилось назначение Макарова министром внутренних дел, Крыжановский, вызванный мной из заграницы и управлявший министерством, заявил мне, что он с Макаровым вместе служить не может, так как их отношения за время их совместной службы на должностях товарищей министра были очень натянуты, и просил меня устроить его судьбу ”хотя бы назначением в Сенат”, если не представится другой возможности.

Желая устранить на первых порах ведомственные трения и зная Крыжановского за человека очень ловкого, способного, могущего при известных условиях принести большую пользу, уговорил председателя государственного Совета Акимова взять его в государственные секретари и тем самым достигнуть двойную цель – дать видное назначение человеку, далеко не заурядному, и предупредить всякие посторонние влияния на случайное и притом нежелательное назначение в государственные секретари какого-нибудь неожиданного фаворита. Зная отношение Государя к Крыжановскому, я написал совершенно откровенный доклад, получил согласие Акимова на представление указа о назначении Крыжановского к подписи и очень быстро, менее чем через неделю, – получил этот указ подписанным.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup>В мае 1899 г. по инициативе А.М. Безобразова на средства Николая II у купца Бринера была приобретена концессия, полученная у корейского правительства на эксплуатацию лесных районов рек Тумень и Ялу с притоками. В 1903 г. было образовано "Русское лесопромышленное товарищество на Дальнем Востоке", в 1906 дела концессии были ликвидированы (см. *Романов Б.А.* Концессия на Ялу. К характеристике личной политики Николая II // Русское прошлое. Исторические сборники. Т.1/2. Пг.—М., 1923. С. 86—108; он же. Очерки дипломатической истории русско-японской войны. М., 1955. С. 110—113).

<sup>2</sup>Имеется в виду нападение в ночь на 27 января (9 февраля) 1904 г. без объявления войны японского флота на русскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура, в результате были выведены из строя броненосцы "Ретвизан", "Цесаревич", крейсер "Паллада".

<sup>3</sup>Императорским указом от 29 августа (11 сентября) 1897 г. в России была проведена денежная реформа, установившая в России золотое денежное обращение. Кредитный (бумажный) рубль приравнялся к  $66\frac{2}{3}$  копеек золота, т.е. к курсу кредитного рубля, который установился к тому времени в результате мероприятий правительства, что позволило сохранить прежний масштаб товарных цен. В обращение были выпущены золотые монеты, свободно обменивавшиеся на кредитные билеты Государственный банк в результате реформы стал эмиссионным учреждением, ему было предоставлено право выпуска банкнот. Был установлен жесткий эмиссионный закон, требовавший постоянного содержания запаса золота для обеспечения находившихся в обращении кредитных билетов; но обеспеченные золотом кредитки могли быть выпущены на сумму не более чем 300 млн. руб. Результатом реформы стала стабилизация валютного курса рубля и денежной системы в целом.

<sup>4</sup>5%-ный российский государственный заем 1906 г. был выпущен на нарицательный капитал 2,25 млрд. франков (843,75 млн. руб.) с паритетами на фунты стерлингов, германские марки, австро-венгерские кроны и голландские гульдены. Облигации и купоны займа освобождались от всяких русских налогов. Большая часть займа была размещена во Франции (1,2 млрд. фр.), Англии (0,33 млрд.), Австрии (0,165), Голландии (0,055), России (0,5) (см. подробнее: *Русские финансы и европейская биржа в 1904—1906 гг.* М.—Л., 1926; *Ананьич Б.В.* Россия и международный капитал. 1897—1914. Очерки истории финансовых отношений. Л., 1970. С. 149—177).

<sup>5</sup>Документы переписки В.Н. Коковцова с Эд. Нецлином, Э. Мендельсоном, И.П. Шиповым, С.Ю. Витте и другими по вопросам кредитно-финансовой политики русского правительства и заключению займов в 1905—1906 гг. неоднократно издавались (см. Переписка В.Н. Коковцова с Эд. Нецлиным // Красный архив. 1923. Т. 4. С. 129—156; К переговорам Коковцова о займе в 1905—1906 гг. // Красный Архив. 1925. Т. 3(10). С. 3—37; *Русские финансы и европейская биржа в 1904—1906 гг.*).

<sup>6</sup>5%-ные обязательства государственного казначейства были выпущены на нарицательный капитал 800 млн. франков (300 млн. руб.) на пятилетний срок (до 1(14) мая 1909 г.) и были освобождены от всех российских налогов. Обязательства были ре-

лизованы синдикатом французских банков (см. подробнее: *Ананьич Б.В.* Россия и международный капитал. С. 100—109).

<sup>7</sup>В 1904—1905 гг. российским правительством был выпущен ряд облигационных займов, размещенных на внутреннем рынке: 5%-ные обязательства Государственного казначейства 1904 г. на 300 млн. руб. нарицательного капитала, 4,5%-ный заем 1905 г. на 231,5 млн. руб. нарицательного капитала, два займа 1905 г. по 200 млн. руб. нарицательного капитала, 5%-ные краткосрочные обязательства на 150 млн. руб. нарицательного капитала.

<sup>8-9</sup>В результате боев с японской армией (командующий генерал Куроки) 11(22) августа 1904 г. в районе маньжурского города Ляояна (северный Китай) русская армия (командующий генерал Куропаткин), несмотря на меньшие потери (18 тыс. против 24 тыс. человек у японцев), оставила позиции и отступила к р. Шахэ.

<sup>10</sup>История концессии на Ялу была подробно исследована Б.А. Романовым еще при жизни В.Н. Коковцова (см. *Романов Б.А.* Концессия на Ялу. К характеристике личной политики Николая II // Русское прошлое. Исторические сборники. С. 86—108).

<sup>11</sup>На основе русско-китайского союзного договора от 22 мая (3 июня) 1896 г. Китаем в августе того же года была предоставлена российскому Русско-китайскому банку концессия на сооружение Китайско-Восточной железной дороги, для чего банком было создано акционерное общество КВЖД, все акции которого (на 5 млн. руб.) и выпуски облигаций приобретало русское правительство. По условиям договора в полосе отчуждения дороги действовали российские законы, Россия имела право содержать собственный штат управления, войсковую охрану и возводить оборонительные сооружения. Китайско-Восточная железная дорога была построена в 1897—1903 гг. через провинции Северо-восточного Китая, соединила напрямую Западно-сибирские губернии и русское Приморье. После русско-японской войны южное направление (Южно-Маньчжурская железная дорога, или ЮМЖД) отошла к Японии (см. Китайская восточная ж.д. Исторический очерк, составленный канцелярией правления Общества КВЖД. СПб., 1914).

<sup>12</sup>В России с 1882 г. в составе Министерства финансов, с 1905 г. — Министерства торговли и промышленности фабричная инспекция имела целью следить за выполнением заводоладельцами фабричного законодательства, проводила статистические обследования промышленных предприятий (территориальное деление — фабричный округ).

<sup>13</sup>Указ об образовании Министерства торговли и промышленности, представленный на утверждение царю председателем Совета министров С.Ю.Витте, был подписан Николаем II 27 октября (9 ноября) 1905 г. Закон об учреждении министерства был принят в экстраординарном порядке: он не был рассмотрен, как принято, Комитетом (или Советом) министров и Государственным советом, а получил форму царского указа Сенату. Новое министерство составили четыре комплекса учреждений: "все установления по части торговли и промышленности, за исключением ведающих дела о промысловом налоге и сборах, взимаемых с торговли и промыслов, а равно за исключением агентов Министерства финансов с границей"; "все установления по горной части"; Главное управление торгового мореплавания и портов, изъятые из Министерства путей сообщения; Совет по тарифным делам, Тарифный комитет и Департамент железнодорожных дел (см.: *Шепелев Л.Е.* Царизм и буржуазия в 1904—1914 гг. Л., 1987. С. 25—35).

<sup>14</sup>Пейзажный парк и дворец в Петергофе, загородная резиденция русских царей.

<sup>15</sup>Министр внутренних дел В.К. Плеве был убит 15 (28) июля 1904 г. в результате покушения, подготовленного боевой организацией партии эсеров и орудием Е.С. Сазоновым.

<sup>16</sup>Генерал Куропаткин в своем дневнике аналогично характеризует отношение к Витте министра внутренних дел Плеве. Последний указывал "государю, что Витте красный, что все недовольные элементы в своей противоразительной работе находят поддержку и опору в Витте" (см. Дневник А.Н. Куропаткина // Красный архив. 1922. Т. 2. С. 60). Противники Витте справа изображали его перед царем и претендентом на пост президента республики и подстрекателем "всех смут-от конституции до революции", стремящимся "довести дело до революции и затем явиться спасителем, захватив в свои руки всю власть" (см. 25 лет назад: Из дневников Л. Тихомирова // Красный архив. 1930. Т. 2. С. 66-67). А.А. Лопухин (прокурор харьковской судебной палаты, директор департамента полиции) в своих мемуарах сообщал, что через месяц после отставки Витте в Париже помышлял об убийстве Николая II и воцарении Михаила, у которого пользовался расположением, что в январе 1905 г. Витте высказался за созыв земского собора, где рассчитывал председательствовать (см. Лопухин А.А. Отрывки из воспоминаний (по поводу "Воспоминаний" гр.Витте)". М., 1923. С. 51,71). Подобные характеристики, свидетельствующие о репутации Витте в определенных кругах общества, в работах советских историков подтверждения не находят.

<sup>17</sup>Название "зубатовщины" получило предприятие по инициативе С.В. Зубатова насаждение легальных рабочих организаций под контролем полиции (в Москве, Петербурге, Киеве, Минске и других городах) с целью отвлечения рабочих от политической борьбы. Рост революционного движения и провал попыток его предотвращения привел к смещению Зубатова (см. Кризис самодержавия в России. 1895-1917. Л., 1984. С. 70-92.)

<sup>18</sup>Фраза "холостых залпов не давать и патронов не жалеть" — из приказа войскам гарнизона петербургского генерал-губернатора Д.Ф.Трепова, извещение о котором было расклеено по городу 14 октября.

<sup>19</sup>В исторической литературе указывается, что сутками ранее — вечером 7-го — у Святополк-Мирского состоялось еще одно совещание и тоже с участием Коковцова (Валк С.Н. Петербургское градоначальство и 9 января // Красная летопись 1925. № 1; Кризис самодержавия в России. 1895-1917, Л., 1984. С.169). Кроме того, вечером 6-го Коковцов на совещании с промышленниками поддержал их отказ удовлетворить требование бастующих, а 18 января на совещании у Витте, возможно в порядке самооправдания, он утверждал, что его министерство требовало "заранее принять меры", вплоть до ареста руководителей (см. Кризис самодержавия в России. С. 169).

<sup>20</sup>Возможно, имеется ввиду посещение Витте депутацией, избранной в редакции "Наших дней", вечером 8 января. Эта же депутация посетила перед тем резиденцию министра внутренних дел. В ответ на просьбу о вмешательстве в назревшие события Витте заявил, что в его компетенцию это не входит. Правда, он не преминул назвать ответственных за них лиц — Коковцова и Мирского, которые "уже приняли свои меры", и самого царя, который "должен быть осведомлен о положении и намерениях рабочих". В ответ на требование М.Горького "довес-

ти до сведения сфер, что если завтра прольется кровь — они дорого заплатят за это”, он по телефону просил Мирского принять депутацию. Тот ответил отказом, заявив, что знает о соображениях депутации, но что “их желание неисполнимо”.

О позиции Витте в связи с событиями 9 января см., например, Кризис самодержавия в России. 1895—1917. С. 174—176.

<sup>21</sup>В результате действий войск 9 января свыше 1 тыс. человек было убито, 2 тыс. ранено.

<sup>22</sup>Комиссия Н.В.Шидловского, учрежденная для “безотлагательного выяснения причин недовольства рабочих в г. Санкт-Петербурге и его пригородах и изыскания мер к устранению таковых в будущем” была распущена 20 февраля 1905 г. в виду отказа рабочих от участия в ней и провала таким образом расчетов правительства удержать рабочих от участия в политической борьбе.

<sup>23</sup>4 1/2%-ный российский государственный заем 1905 г. был выпущен на нарицательный капитал 231,5 млн руб. (500 млн. германских марок) и размещен главным образом в Германии (более 70%), облигации займа были освобождены от российских налогов. Об остоятельствах заключения займа см.: *Ананьич Б.В.* Россия и международный капитал. С. 95—128.

<sup>24</sup>О финансировании русским правительством французской прессы в связи с размещением во Франции российских государственных займов см.: *Русские финансы и европейская биржа в 1904-1906 гг.* М.—Л., 1926. С. 11—19 и др.; *Ананьич Б.В.* Россия и международный капитал. С. 134 и др.

<sup>25</sup>В данном случае Кокцов, видимо, не совсем точен. Оба акта, противоречившие друг другу по своему духу, были опубликованы в один день — 18 февраля (3 марта). Рескриптом (акт монарха в форме предписания конкретному лицу) о разработке законопроекта по вопросу о созыве законосовещательного учреждения министру внутренних дел А.Г. Булыгину предписывалось председательствовать в Особом совещании для разработки преобразования, направленного на привлечение “избранных от населения людей к участию в предварительной разработке законодательных предположений”, но с “непременным сохранением незыблемости основных законов империи”. Одновременно был обнародован манифест “О призыве властей и населения к содействию самодержавной власти в одолении врага внешнего и искоренении крамолы и противодействию смуте внутренней”. Кроме того, из воспоминаний Витте известно, что он узнал о существовании “манифеста о нестроении и смутах” 17 февраля, в поезде по дороге в Царское Село, куда он ехал вместе с некоторыми из министров.

Подробнее о версиях Витте и Кокцова относительно обстоятельств, связанных с появлением рескрипта Булыгину, см.: *Ананьич Б.В.* Россия и международный капитал. С. 131—132.

<sup>26</sup>Манифест 17 октября 1905 г. “Об усовершенствовании государственного порядка”, подписанный Николаем II в момент подъема октябрьской всероссийской политической стачки, провозглашал гражданские свободы, создание Государственной Думы с законодательными функциями.

<sup>27</sup>9 (22) октября 1904 г. русская эскадра, направлявшаяся на Дальний Восток, обстреляла рыбацьи суда на Доггер-банке (отмель в южной части Северного моря) в районе г. Гуллы. Инцидент послужил поводом для возникновения дипломатического конфликта (см. *Романов Б.А.* Очерки дипломатической истории русско-японской войны 1895—1907. Изд. 2-е М.—Л., 1955. С. 328—330).

<sup>28</sup>После разгрома русского флота в сражении в Цусимском проливе великий князь Алексей Александрович получил отставку, а должность генерал-адмирала

ла как главного начальника флота и морского ведомства была упразднена и заменена морским министром, возглавившим Морское министерство.

<sup>29</sup>Предложения Рузвельта о посредничестве в переговорах были еще в марте 1905 г. сделаны русскому послу в США. О принятии Россией предложения Рузвельта министр иностранных дел Ламсдорф сообщил в Вашингтон 10 (23) июня 1905 г. (см. *Кутаков Л.Н.* Портсмутский мирный договор: Из истории отношений Японии с Россией и СССР. 1905—1945 гг. М., 1961. С. 12—13, 17—19).

<sup>30</sup>Русская дипломатическая переписка февраля-сентября 1905 г., связанная с переговорами в Портсмуте, в том числе депеши от Коковцова к нему, были опубликованы Б.А. Романовым (Красный архив. 1924. Т. 6. С. 6—47; 1925. Т. 7. С. 3; *Романов Б.А.* Очерки дипломатической истории русско-японской войны. С. 525—529 и др.).

<sup>31</sup>Коковцов имеет в виду, видимо, свой отзыв, представленный в ответ на запрос Ламсдорфа, к которому были приложены некоторые телеграммы Витте. О своем отзыве Коковцов упоминает в телеграмме Витте от 8 (21) августа 1905 г. (см. Красный архив. 1924. Т. 6. С. 37-38; *Романов Б.А.* Очерки дипломатической истории русско-японской войны. С. 536 и др.).

<sup>32</sup>*Коростовец И.Я.* Мирные переговоры в Портсмуте в 1905 г. // Былое. 1918. № 2—3, 9.

<sup>33</sup>Мирные переговоры между Россией и Японией начались 27 июля (9 августа) 1905 г. в г. Портсмуте (США) и завершились подписанием 23 августа (5 сентября) Портсмутского мирного договора, ратифицированного русским и японским императорами 1 (14) октября 1905 г. Вскоре после завершения русско-японской войны в России были опубликованы документы, связанные с заключением мирного договора: Сборник дипломатических документов, касающихся переговоров между Россией и Японией о заключении мирного договора. Изд. МИД. СПб., 1906 (так называемая "Оранжевая книга"); Протоколы Портсмутской мирной конференции и текст договора между Россией и Японией, заключенного в Портсмуте 23 августа (5 сентября) 1905 г. СПб., 1906.

О мирных переговорах в Портсмуте см.: *Кутаков Л.Н.* Портсмутский мирный договор. С. 6—86; *Романов Б.А.* Очерки дипломатической истории русско-японской войны. С. 494—577.

<sup>34</sup>Forty years of diplomacy. New-York, 1922.

<sup>35</sup>Курляндия (нем. Kurland) — официальное название до 1917 г. Курземе, исторической области в западной части Латвии, в 1795—1917 гг. — Курляндская губ. Российской империи.

<sup>36</sup>Витте посетил Вильгельма II в Роминтене (охотничий домик кайзера) 13 (26) сентября на обратном пути из США после заключения Портсмутского мирного договора. Главной темой бесед Вильгельма II и Витте был предполагавшийся франко-русско-германский союз (см. *Астафьев И.И.* Русско-германские дипломатические отношения. 1905—1911 гг. (от Портсмутского мира до Потсдамского соглашения). М., 1972. С. 15—16; *Романов Б.А.* Очерки дипломатической истории русско-японской войны. С. 591—594.).

<sup>37</sup>По свидетельству Б.В. Ананьича, это письмо Коковцова Нецидну с приглашением французским банкирам посетить Петербург до сих пор в архивах не обнаружено и известно только в пересказе Коковцова (*Ананьич Б.В.* Россия и международный капитал. С. 146—147).

<sup>38</sup>См. *Бюлов Б.* Воспоминания. М.-Л., 1935.

<sup>39</sup>Документы, связанные с выработкой текста манифеста, опубликованы (см.



Красный архив. 1925. Т. 4—5 (11—12). С. 38—106). См. также: *Островский А.В., Сафонов М.М.* Манифест 17 октября 1905 г. // *Вспомогательные исторические дисциплины*. 1981. Вып. XII.

<sup>40</sup>В исторической литературе под влиянием мемуаров Коковцова бытовало мнение о том, что инициатива прекращения переговоров исходила от банкиров, испугавшихся революционного движения. И.И. Астафьев обратил внимание на то, что этим воспоминаниям противоречит письмо самого Коковцова делегатам консорциума ("Русские финансы...", № 88) и документы, опубликованные в "Documents diplomatiques français" (1871—1914)" (2-e serie, t. VIII, № 90, 110). См.: *Астафьев И.И.* Русско-германские дипломатические отношения 1905—1911 г. (от Портсмутского мира до Потсдамского соглашения). М., 1972. С. 23—24. См. также: *Ананьич Б.В.* Россия и международный капитал. С. 151—152.

<sup>42</sup>2 декабря восемь петербургских газет напечатали принятый Петербургским Советом 22 ноября и подписанный РСДРП и другими партиями и организациями так называемый финансовый манифест, содержащий призыв изымать вклады из сберегательных касс, требовать заработной платы в звонкой монете, не платить податей. Все газеты, напечатавшие манифест или поместившие сведения о нем, были конфискованы, издание газет приостановлено. 3(16) декабря был произведен арест членов Совета.

<sup>42</sup>В фонде Комитета финансов текст этого выступления Коковцева до сих пор не найден. А.Л. Сидоровым опубликован (Исторический архив. 1955. № 2) журнал заседания Комитета 14(27) декабря, специально посвященный обсуждению записки Коковцова, Шванебаха, Шипова, о котором в мемуарах Коковцов не говорит. Этот журнал им не был подписан, возможно, потому, что Коковцов не присутствовал на этом заседании. Таким образом, возможно записка комиссии обсуждалась в Комитете финансов дважды (9 (22)) и 14(27) декабря) (см. *Ананьич Б.В.* Россия и международный капитал. С. 157—158).

<sup>43</sup>Речь идет об Альжезираской (Альхесираской) международной конференции, созванной в Альхесирасе (Испания) 3(16) января — 25 марта (7 апреля) 1906 г. для урегулирования франко-германского конфликта из-за Марокко (см. *Астафьев И.И.* Русско-германские дипломатические отношения. С. 32—59).

<sup>44</sup>Министерство финансов содержало штат своих финансовых агентов за границей, одним из которых (в Париже) и был в 1894—1917 гг. А.Г. Рафалович.

Э. Нецлин, директор Парижско-Нидерландского банка, в переговорах с Коковцовым представлял интересы группы французских банков, принимавших участие в размещении русских займов во Франции (Парижско-Нидерландский банк, Лионский кредит, Национальная учетная контора, банкирский дом "Готтингер и К<sup>о</sup>", а также Главное общество содействия развитию торговли и промышленности во Франции) (см. *Русские финансы...* С. 16 и др; *Ананьич Б.В.* Россия и международный капитал. С. 129—132).

<sup>45</sup>Если тот или иной государственный заем был прямо рассчитан на иностранные рынки или находился там в значительных количествах, то правительство организовывало оплату таких займов у своих корреспондентов — иностранных банкиров, с которыми находилось в договорных отношениях и оплата услуг которых вносилась в ежегодный бюджет по смете государственного кредита под названием банкирской провизии.

<sup>46</sup>Б.В. Ананьич обратил внимание, что с этим рассказом Коковцова о содержании первой встречи с Рувье не вполне согласуется его телеграмма в Петербург Витте, отправленная в тот же день вечером (Русские финансы и европейская биржа. С. 239).

Возможно, Коковцов не вполне точно передал содержание первого разговора с Рувье (см. *Ананьич Б.В.* Россия и международный капитал. С. 160—161).

<sup>47</sup>11(24) июля 1905 г. в Бьерке, во время встречи русского и германского императоров, был подписан договор, предусматривавший взаимную помощь в Европе России и Германии в случае нападения на любого из союзников третьей державы. Заключенный непосредственно Николаем II договор противоречил русско-французскому союзному договору и в конце концов, формально продолжая существовать, был дезавуирован в ноябре 1905 г. русской стороной (см. подробнее: *Фейгина Л.* Бьеркское соглашение. М., 1928; *Острцова М.Л.* Бьеркский договор 1905 г. // Уч. зап. Моск. гор. пед. ин-та им. Потемкина. Т. 83. Вып. 4; *Астафьев И.И.* Русско-германские дипломатические отношения. С. 14—27).

<sup>48</sup>Подготовка законопроекта о принудительном отчуждении помещичьих земель велась Н.Н. Кутлером в период пребывания его на посту главноуправляющего землеустройством и земледелием и после отставки с этого поста. Проект предусматривал частичное отчуждение за вознаграждение казенных, удельных, частновладельческих и иных земель общей площадью около 25 млн. десятин. Проект был близок проекту проф. П.П. Мигулина, представленному Николаю II в октябре 1905 г., и аграрной программе кадетской партии. Проект, внесенный на рассмотрение царя в январе 1906 г., был отвергнут.

<sup>49</sup>Коковцов, видимо, имел в виду подготовленную и опубликованную Витте в 1913 г. в 40 экземплярах брошюру "Справка о том, как был заключен внешний заем 1906 г., спасший финансовое положение России (на правах рукописи. Конфиденциально)" (Пгр., 1913). В этой брошюре Коковцов был изображен техническим исполнителем подготовленной Витте финансовой операции (см. подробнее: *Ананьич Б.В.* и *Ганелин Р.Ш.* Опыт критики мемуаров С.Ю. Витте (в связи с его публицистической деятельностью в 1907—1915 гг.) // Вопросы историографии и источниковедения СССР. Тр. ЛО Инст. истории АН СССР. Вып. 5. М.-Л., 1963. С. 260—361). Отчет (записка) Коковцова Комитету финансов (не позднее 15 января 1906 г.) впервые была опубликована в кн.: Русские финансы и европейская биржа в 1904—1906 гг. С. 252—268.

<sup>50</sup>Военно-политический союз между Россией и Францией был заключен в 1891 г.; оформлен соглашением 1891 г. и секретной военной конвенцией 1892 г.

<sup>51</sup>Имеется в виду дополнительный избирательный закон от 11 декабря 1905 г., предоставивший ограниченные избирательные права рабочим (трехстепенные выборы) и расширивший таковые для мелкой буржуазии. Издание закона последовало в результате событий осени—зимы 1905 г. (сентябрьские стачки, Всероссийская политическая забастовка в октябре, начавшееся декабрьское вооруженное восстание в Москве) вслед за Манифестом 17 октября, в котором помимо демократических свобод декларировался созыв законодательной Думы с расширенным представительством. Ранее — 6 августа — Николаем II было утверждено "Учреждение Государственной думы" и "Положение о выборах в Государственную думу", устанавливавшие законосовещательный характер будущей думы ("булыгинской"), избирательных прав в которую были лишены широкие слои населения (рабочие, военные, учащиеся, женщины и прочие). Выборы по закону от 11 декабря 1905 г. дали преобладание в Думе фракции кадетской партии и примыкавших к ней (более 40% состава). В соответствии с этим законом прошли выборы и во II Государственную Думу, после роспуска I Думы императорским указом 9 июля 1906 г. В результате выборов значительно возросли левые фракции.

<sup>52</sup>1—3 июня в Белостоке произошел еврейский погром с большим числом жертв.

2 июня в связи с сообщениями газет в Думе был сделан запрос правительству, образована думская комиссия. Слушания по этому делу продолжались до 29 июня. Комиссия возложила ответственность за погром на власти, не предпринявшие мер к его предотвращению.

<sup>53</sup>9 июля был обнародован указ Николая II о роспуске I Думы и выборах во II.

<sup>54</sup>16 мая 1906 г. правительству был направлен думский запрос о предполагаемых мерах борьбы с голодом. 19 июня министры внутренних дел и финансов внесли в Думу представление: ассигновать чрезвычайным сверхсметным кредитом 50 млн руб. на выдачу пособий населению пострадавших от неурожая губерний. Дума требовала изыскать необходимые средства не за счет увеличения государственного долга (правительство предполагало выпустить государственные облигации), а за счет сокращения расходных статей бюджета. В конечном итоге, несмотря на возражения Кокорцова, Дума приняла законопроект, согласно которому в течение июля предполагалось ассигновать 15 млн. руб. сверхсметным кредитом и поручалось правительству пересмотреть расходную смету и изыскать остальную недостающую сумму. Это одно из немногих решений I Думы, поддержанное Государственным Советом и утвержденное царем.

<sup>55</sup>Шипов Д.Н. Воспоминания и думы о пережитом. М., 1918.

<sup>56</sup>Конституционно-демократическая : партия (кадетов) — партия либеральной интеллигенции и буржуазии.

<sup>57</sup>Часть членов I Думы (около 230 человек), главным образом кадеты и трудовики, не подчинилась указу от 9 июля 1906 г. о роспуске Думы, собралась в Выборге и провела два заседания 9 (22) и 10 (23) июня, депутаты обратились к населению России с воззванием, призывая его в знак протеста против разгона Думы не платить налоги и уклоняться от воинских наборов. Впоследствии членам Думы, подписавшим Выборгское воззвание, было предъявлено обвинение в возбуждении к неповиновению и противодействию законам (ст. 51 и 129 Уголовного уложения). Дело 167 членов Думы рассматривалось в Особом присутствии петербургской судебной палаты в 1907 г., приговор — 3 месяца тюрьмы. Протоколы заседаний в Выборге, текст проекта воззвания опубликованы (Красный архив. 1933. Т. 2(57). С. 85—99).

<sup>58</sup>23 апреля (6 мая) 1906 г. Николаем II была утверждена новая редакция "Основных государственных законов", регламентировавшая функции Государственной Думы и Государственного Совета. Ст. 87 предусматривала возможность в случае прекращения или перерыва деятельности Думы и Совета, "если чрезвычайные обстоятельства вызывают необходимость", проводить обсуждение законопроектов и в Совете министров с последующим утверждением их императором в форме "высочайших указов", которые сразу же вступали в силу. Действие каждого указа носило временный характер, и он подлежал утверждению в Думе и Совете в течение двух месяцев после возобновления их деятельности. Кроме того, законы могли проводиться по ст. 11 в форме единолично утверждаемых императором "актов верховного управления".

<sup>59</sup>Законопроект о применении военно-полевого суда был подготовлен Витте в период пребывания на посту председателя Совета министров в декабре 1905 г. Введен указом Николая II от 19 августа (1 сентября) 1906 г. в 82 из 87 губерний империи, объявленных на военном положении или на положении "чрезвычайной охраны". Официальных подсчетов о числе жертв этих судов нет. По частным подсчетам за 8 месяцев их существования (август 1906 — апрель 1907) было казнено не менее 1102 человек. Указ 19 августа (1 сентября) 1906 г. в отношении гражданского населения утратил силу 10 апреля (3 мая) 1907 г., в отношении армии и флота — сохранял

ся вплоть до февральской революции 1917 г. (см. Законодательные акты переходного времени / Под ред. Н.И. Лазаревского. СПб., 1907. С. 616—624; Ушерович С. Смертные казни в царской России. Харьков, 1933; Полянский Н.Н. Царские военные суды в борьбе с революцией 1905—1907 гг. М., 1958).

<sup>60</sup> Действовала с 1 (14) ноября 1907 по 9 (22 июня) 1912 г. Избрана на основе нового избирательного закона, опубликованного 3 (16) июня 1907 г. одновременно с манифестом и указом о роспуске II Думы и назначении выборов в третью. Утверждением нового избирательного закона, предусматривавшего многоступенчатые, неравноправные выборы (на долю помещиков и крупной буржуазии (менее 1% населения) приходилось 2/3 выборщиков), правительство фактически произвело государственный переворот, так как по "Основным государственным законам" (ст. 86) этот закон должен был рассматриваться Думой. Новый закон обеспечил преобладание в III и IV думах правых партий.

<sup>61</sup> А.В. Кривошеин возглавил Главное управление земледелия и землеустройства в мае 1908 г. Еще в 1905—1906 гг. он стремился сосредоточить в ведомстве земледелия все отрасли сельского хозяйства, включая аграрный кредит. Согласно разработанному под его руководством весной 1910 г. проекту реорганизации ГУЗиЗ предусматривалась передача в ведение образуемого вместо него Министерства руководства сельскохозяйственным кредитом и превращение Главного земельного комитета министерства в окончательную инстанцию при разрешении разногласий между ведомствами земледелия и финансов по вопросам политики Крестьянского банка. В сентябре Кривошеин и Столыпин прямо поставили вопрос в Совете министров о передаче Крестьянского банка в состав ГУЗиЗ и расширении его функций. Кокочов выступал противником расчленения заведывания государственным кредитом. Добившись отсрочки утверждения результатов обсуждения в Совете министров царем, Кокочов представил Николаю II специальный доклад, где утверждал, что передача банка в ГУЗиЗ направит его деятельность на "осужденные пути дополнительного наделения" крестьян землей за счет помещиков. Результатом стала новая отсрочка, и в конечном итоге вопрос остался нерешенным (Кризис самодержавия в России. С. 422—428; Дякин В.С. Деньги для сельского хозяйства: Выбор пути экономического развития России. 1892—1914 гг.) // История СССР. 1991. № 3. С. 72—75).

<sup>62</sup> Указ "о предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка", подписанный Николаем II 12 (25) декабря 1904 г., явился ответом на нарастание революционного кризиса в стране, в нем в общей форме упоминалось о разработке мер по "устроению крестьянской жизни" и изменению крестьянского законодательства, содержались обещания расширить права земских и городских учреждений в области местного благоустройства, ввести государственное страхование рабочих, устранить некоторые стеснения печати, ввести начала религиозной терпимости, обеспечить "самостоятельность" судов и равенство перед ними лиц различных сословий, подчеркивалось "непременное сохранение незыблемости Основных законов империи", т.е. неограниченной монархии.

<sup>63</sup> Согласно решению Сената (1899 г.) единственным основанием ограничения прав евреев являлось их вероисповедание; перешедшие в христианство освобождались от всех дискриминационных ограничений. Для проживания лиц иудейского вероисповедания была установлена так называемая черта еврейской оседлости, ограничивавшая место их постоянного проживания 15 юго-западными губерниями (правила 3 (16) мая 1892). В конце XIX в. повсеместное жительство в империи было разрешено лишь купцам 1-й гильдии, лицам с высшим образованием, некоторым другим категориям лиц, всем другим разрешалось кратковременное пребывание за пределами черты оседлости. Имелся также ряд ограничений в правах приобретения и аренды не-

движимости, участия в торгово-промышленной деятельности, занятия государственных должностей, существовали некоторые специальные налоги. Циркуляром МВД от 22 мая (4 июня) 1907 г. были отменены законы о черте еврейской оседлости, что вызвало два депутатских запроса в III Думе со стороны правых фракций (остались не рассмотрены).

<sup>64</sup> Имеется в виду разработанный под руководством Столыпина проект губернской реформы, ставший поводом для обвинений Столыпина со стороны крайне правых в ущемлении прерогатив верховной власти.

<sup>65</sup> Имеется в виду указ от 9 (22) ноября 1906 г. "О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования", предоставлявший крестьянам "право свободного выхода из общины с укреплением в собственность отдельных домохозяев, переходящих к личному владению, участков из мирского надела" (Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3-е. Т. XXVI. 1906. Отд. 1. СПб., 1909. С. 970—974). Коковлов ошибочно датирует этот закон 7 (20) ноября.

<sup>66</sup> "Трудовая группа" — демократическая фракция депутатов-крестьян и народнической интеллигенции в I—IV Государственных думах, выступала за демократические свободы, национализацию земли, кроме крестьянских наделов.

<sup>67</sup> Открытие II Думы состоялось 20 февраля (5 марта), выступление Столыпина в ней — 6 (19) марта 1907 г.

<sup>68</sup> Видимо, имеется в виду единогласное принятие Думой на заседании 17 (30) апреля законопроекта об отмене военно-полевых судов (хотя 20 апреля (3 мая) решение об их введении утрачивало силу автоматически). 7 (20) мая 1907 г. 33-мя правыми депутатами Думы был внесен запрос по поводу слухов о раскрытии заговора с целью покушения на жизнь императора. Левые фракции (социал-демократы, социалысты-революционеры, народные социалисты, трудовики) не явились к голосованию. В тот же день последовал запрос левых фракций правительству по поводу обыска и арестов на квартире депутата Думы И.П. Озола (см. также прим. 70).

<sup>69</sup> По-видимому, имеется в виду заявление Столыпина по аграрному вопросу, сделанное им в Думе 10 (23) мая вне порядка дня, в котором он остро полемизировал с оппозиционными правительству фракциями Думы по поводу аграрных законопроектов.

<sup>70</sup> Юридическая несостоятельность обвинений социал-демократической фракции в военном заговоре была установлена специальной комиссией, образованной Думой, под председательством кадета А.А. Кизеветтера (публикации документов по этому делу см.: *Валк С.* К истории ареста и суда над социал-демократической фракцией II Государственной думы // Красный архив. 1926. Т. 3(16). С. 76—117; *Татаров И.* Разгон II Государственной думы // Красный архив. 1930. Т. 6(43). С. 55—91).

<sup>71</sup> Словами "Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!" П.А. Столыпин завершил свою речь в Государственной думе об устройстве быта крестьян и о праве собственности 10 (23) мая 1907 г. под аплодисменты с правых скамей.

<sup>72</sup> Единая государственная роспись доходов и расходов — государственный бюджет дореволюционной России.

<sup>73</sup> Особые расходные статьи, вносившиеся в русский государственный бюджет в предположении, что соответствующие законопроекты, разрешающие их расходование, будут утверждены впоследствии законодательными учреждениями. Только после этого спланированные заранее расходы могли быть осуществлены на деле (введены в практику в 1895 г.). Бюджетной комиссией III Думы были установлены случаи незаконного израсходования условных кредитов и нецелесообразное загро-

можение бюджета ими (из 200 кредитов по росписи 1907 г. 104 пришлось на военное министерство, часто использовавшего их не по назначению). На 1908 г. пришлось на 109 млн. руб. условных кредитов (Третья Государственная Дума. Материалы для оценки ее деятельности. СПб., 1912. С. 265—267).

<sup>74</sup> III Дума открылась 1 (14) ноября 1907 г.

<sup>75</sup> Действовала 15 (28) ноября 1912—25 февраля (10 марта) 1917 г. Избрана после истечения полномочий членов Думы третьего созыва на основе избирательного закона 3 (16) июня 1907 г. В составе преобладали правые партии.

<sup>76</sup> Период бури и натиска (нем.).

<sup>77</sup> "Союз 17 октября" (1905 г.), партия крупных помещиков и торгово-промышленной буржуазии.

<sup>78</sup> Эксплуатация казенных железных дорог в 1900-х годах велась с перерасходом сметных предположений, к началу 1909 г. общая сумма перерасхода составила около 100 млн. руб. По предложению Министерства путей сообщения несколько более трети этой суммы (34 млн.) было покрыто дополнительными бюджетными ассигнованиями (Дума приняла специальные законопроекты для этого), остальная сумма в равных долях была либо попросту списана с железных дорог, либо погашена путем взаимного между ними зачета сумм (Обзор деятельности Государственной думы третьего созыва. 1907—1912 гг. Законодательная деятельность. СПб., 1912. Ч. 2. С. 500—501).

<sup>79</sup> Против сооружения Амурской дороги в Думе (март—апрель 1908 г.) выступали представители оппозиции (Шингарев, Родичев, Н.Н. Львов, Булат), по мнению которых, ее строительство не оправдывалось ни стратегическими, ни экономическими мотивами (см. Третья Государственная дума. Материалы для оценки ее деятельности. С. 355—356; Обзор деятельности Государственной Думы третьего созыва. Ч. 2. С. 492—495).

Амурская железная дорога — участок транссибирской магистрали Чита—Хабаровск, закончена в 1916 г.

<sup>80</sup> 1 (14) августа 1906 г. на русско-японских переговорах о торговом договоре и рыболовной конвенции японский уполномоченный выдвинул требования предоставить Японии "права рыбной ловли повсеместно в русских территориальных водах Тихого океана" и ряда других льгот. Многомесячные переговоры о рыбной конвенции привели в начале 1907 г. к обострению русско-японских отношений. Ее подписание состоялось лишь после того, как была заключена общеполитическая конвенция 17 (30) июля 1907 г. (см. подробнее: *Кутаков Л.Н.* Портсмутский мирный договор. С. 87—114).

<sup>81</sup> Построена в 1890-х гг. (Челябинск—Омск—Красноярск—Иркутск—Чита). По замыслу — часть транссибирской магистрали с конечным пунктом во Владивостоке ("Великий сибирский путь").

<sup>82</sup> 1/2%-ный государственный заем 1909 г. был выпущен на нарицательный капитал 525 млн. руб. (1,4 млрд. франков) с паритетами на фунты стерлингов, германские марки и голландские гульденy. Облигации и купоны займа навсегда освобождались от русских налогов, как настоящих, так и будущих. Реализация займа была произведена синдикатом французских (1,22 млрд. франков), английских (150 млн.), голландских (30 млн.) банкиров. Держатели 5%-ных облигаций Государственного казначейства 1904 г. получили преимущественное право подписки на облигации нового займа (Об условиях и обстоятельствах займа см. Русские финансы и европейская биржа. С. 380—382; *Ананьич Б.В.* Россия и международный капитал. С. 233—254).

<sup>83</sup> История боснийского кризиса и связанные с ним противоречия в правящих кругах России исследованы в работах: *Виноградов К.Б.* Боснийский кризис 1908—1909 гг. Л., 1964; *Бестужев И.В.* Борьба в России по вопросам внешней политики. 1906—1910.

М., 1961; *Нейман Л.А.* Франко-русские отношения во время боснийского кризиса // Французский ежегодник. Статьи и материалы по истории Франции (1958). М., 1959. С. 375—406; *Бестужев И.В.* Борьба в правящих кругах России по вопросам внешней политики во время боснийского кризиса // Исторический архив. 1962. № 5 и др.

<sup>84</sup> Заключен 13 июля державами — участниками Берлинского конгресса, созданного для пересмотра русско-турецкого Сан-Стефанского мирного договора по инициативе Великобритании и Австро-Венгрии, выступавших против усиления позиций России на Балканах. Трактатом подтверждена независимость Черногории, Сербии, Румынии. Северная Болгария стала автономным государством, Южная Болгария осталась в составе Османской империи, получив административную автономию. К России отошли устье Дуная, крепости Карс, Ардаган, Батум с округами. Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину.

<sup>85</sup> "Прогрессивная партия" крупной буржуазии в 1912—1917 гг., по программным установкам занимавшая промежуточное положение между октябристами и кадетами.

<sup>86</sup> Особенная канцелярия Министерства финансов по кредитной части вела кредитными учреждениями, иностранное ее отделение — операциями по внешним займам. Кадетской фракцией III Думы неоднократно критиковались неопределенность статуса этого учреждения, неподконтрольность его Государственному контролю и Думе, отсутствие ревизий, критиковались конкретные случаи неудачных операций, выдвигалось требование его реформирования (см. Третья Государственная Дума. Материалы для оценки ее деятельности. С. 235—238).

<sup>87</sup> Вопросы, связанные со строительством частных железных дорог, с выкупом в казну старых линий, с выпуском акционерными обществами дорог облигаций с правительственной гарантией не раз обсуждались бюджетной комиссией III Думы и ее общими собраниями. Кадетская оппозиция добивалась включения в сферу компетенции Думы вопросов выдачи разрешений частным железным дорогам на выпуск облигаций, гарантировавшихся правительством, поскольку выплата гарантий влекла за собой расходование средств бюджета, которые и должны были вноситься в государственную роспись (бюджет). На заседании Думы 25 февраля 1909 г. Кокцов доказывал, что ведению Думы подлежат лишь дела о постройке железных дорог непосредственно казной и за ее счет. Обсуждение было закончено 8 (21) мая 1909 г., когда была принята октябристская формулировка перехода к очередным делам, предусматривавшая внесение правительством законопроекта об изменении существующего порядка рассмотрения вопросов о постройке частных железных дорог. К этой формуле присоединился и Кокцов. В 1910 г. им был внесен проект, согласно которому вопрос о разрешении гарантии железнодорожных облигаций оставался практически неизменным. Финансовая комиссия проект отклонила, нового проекта правительством представлено не было, вопрос остался нерешенным (см. подробнее: Третья Государственная Дума. Материалы для оценки ее деятельности. С. 13—17, 243—249).

<sup>88</sup> Законопроект "О закрытии порто-франко по привозу иностранных товаров в Приамурское генерал-губернаторство и Забайкальскую область Иркутского генерал-губернаторства" был внесен в Думу по представлению Министерства торговли и промышленности (в феврале 1907 г.), обсуждался в финансовой комиссии Думы и ее общем собрании (ноябрь 1908 г.). Несмотря на возражения членов Думы от Дальнего Востока и оппозиции (кадеты) Дума проект одобрила (утвержден 16 (29) января 1909 г. Николаем II); порто-франко было отменено, установлены таможенные тарифы на иностранные товары, ввозимые в регион из-за границы.

<sup>89</sup> О визите маркиза Ито в Петербург 11 (24) ноября — 21 ноября (4 декабря)

1901 г. и его переговорах с Ламсдорфом и Витте, о заключении англо-японского союза 17 (30) января 1902 г. см.: *Романов Б.А.* Очерки дипломатической истории русско-японской войны. С. 146—168.

<sup>90</sup>В 1902 г. на случай войны с Германией было введено мобилизационное расписание № 18 с соответствующим планом стратегического развертывания войск (по проекту 1900 г.). В 1910 г. заменено последним предвоенным мобилизационным расписанием 1910 г. (№ 19) (см.: *Зайончковский А.М.* Подготовка России к империалистической войне. Очерки военной подготовки и первоначальных планов. По архивным документам. М., 1926. С. 41-48, 58-73, 113-114).

<sup>91</sup>Вопрос о бумагах Л.Полякова обсуждался также на заседании Комитета финансов 5 (18) марта 1908 г., где было отмечено, что несостоятельность Полякова была признана комитетом еще в 1901 г., но принятое решение не было реализовано. Коковцов заявил, что отказ от поддержки Полякова должен "повлечь за собой огромный крах всей России" (см. Дневник Половцова А.А. // *Красный архив.* 1923. Т. 4. С. 122).

<sup>92</sup>Ссуды из государственного Крестьянского поземельного банка (учрежден в 1882 г.) для покупки крестьянами земли, предварительно приобретаемой банком у помещиков, выдавались наличными деньгами, полученными банком за счет выпуска кредитных бумаг, приносивших 5,5% годового дохода, которые назывались закладными листами Крестьянского банка. Министр финансов имел право разрешить выпуск закладных листов на сумму не выше 3 млн. рублей. Закладные листы пользовались преимуществами, присвоенными государственным выкупным свидетельствам. Платежи процентов по закладным листам и возврат капиталов по ним обеспечивались принятыми банком в залог землями и гарантией правительства. Ссуды выдавались отдельным домохозяевам, сельским обществам или товариществам крестьян (последним — в случаях, если земля покупалась ими для выселения). Заемщики банка были обязаны вносить платежи в банк по ссуде сроком на 24,5 года — 8,5 % годовых, сроком на 34,5 года — 7,5 % годовых. Проведение столыпинского аграрного курса сопровождалось расширением операций Крестьянского банка.

<sup>93</sup>На 4-й сессии III Думы в связи с проектами реформы народного образования обсуждался и финансовый проект, предложенный бюджетной комиссией Думы. Суть его — в ежегодном увеличении кредита (начиная с 1912 г.) на нужды начального образования на 10 млн. руб. ежегодно в течение 10 лет. В ноябре 1910 г. Коковцов в специальном письме отверг фиксацию ежегодной прибавки, 24 января (6 февраля) 1911 г., выступая в Думе, он согласился на нее, но в размере 8 млн. руб. Ему резко возражал Шингарев (указывал на одобрение Коковцовым аналогичной фиксации на нужды обороны в размере 135 млн. в течение 10 лет ежегодно). Поправка Коковцова в Думе была отклонена. В Государственном совете проект был изменен, с тем чтобы часть общей суммы была истрачена и на нужды церковных школ (15 млн. из 100). Согласительная комиссия Думы и Государственного Совета к единому мнению не пришла, проект остался нереализован (см. Третья Государственная Дума. Материалы для оценки ее деятельности. С. 378—380).

<sup>94</sup>В декабре 1909 г. в III Думу был внесен запрос, подписанный 31 депутатом (социал-демократы и трудовики в основном) о неправильных действиях Крестьянского поземельного банка в деле приобретения при его содействии товариществом переселенцев земли от полковника Дурасова на Кавказе. Коковцов давал объяснения по этому делу 4 (17) февраля 1911 г. Депутат Покровский 2-й опроверг его объяснения. Дума, однако, перешла к очередным вопросам.



<sup>95</sup>Имеется в виду Положение об управлении земским хозяйством в девяти западных губерниях, утвержденное Николаем II 2 апреля 1903 г.; которое должно было быть введено в течение 1903 г. в трех губерниях (Витебской, Минской и Могилевской), сроки проведения реформы в остальных шести поручалось определить министру внутренних дел. (О борьбе внутри правительственного лагеря вокруг реформы см. подробнее: Кризис самодержавия в России. С. 93—120).

<sup>96</sup>По положению 2 (15) апреля 1903 г. в состав губернских комитетов, на которые возлагалось управление всем земским хозяйством, помимо губернского и уездных предводителей дворянства, управляющего казенной палатой, начальника управления земледелия и государственных имуществ, председателя и членов губернской управы, городского головы и некоторых других, должны были входить сроком на 3 года и с правом решающего голоса земские гласные по два от каждого уезда. Гласные назначались министром внутренних дел по представлению губернатора, согласованному с губернским и уездным предводителем дворянства.

<sup>97</sup>При выборах в Государственную Думу была установлена система куриЙ, т.е. распределения избирателей по сословным и имущественным признакам. Для каждой курии (землевладельческой, городской, крестьянской, рабочей) были установлены определенные нормы представительства.

<sup>98</sup>Coup d'état (фр.), государственный переворот.

<sup>99</sup>Ввиду отказа Государственного Совета 4 (17) марта 1911 г. одобрить правительственный законопроект о введении земства в шести западных губерниях, принятый Думой весной 1910 г., Николай II согласился прервать на три дня заседания Думы и Государственного Совета (распущены 12 (25) марта), чтобы провести закон о западном земстве по ст. 87 (см. Дякин В.С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907—1911 гг. Л., 1978 С. 213—218; Кризис самодержавия в России. С. 494—495; см. также прим. 95).

<sup>100</sup>По мнению ряда советских историков, Столыпин был убит при обстоятельствах, не исключающих содействие высокопоставленных чинов охраны (см., например, Аврех А.Я. Столыпин и третья Дума. М., 1968. С. 367—407. Кризис самодержавия в России. 1895—1917. С. 495).

<sup>101</sup>“Чрезвычайная следственная комиссия для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и других высших должностных лиц” была учреждена 4 (17) марта 1917 г. при Министерстве юстиции и просуществовала до Октябрьской революции 1917 года, возглавлялась московским адвокатом, членом кадетской партии Н.К. Муравьевым.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Вместо предисловия . . . . . 22

### *Часть первая*

#### НА ПОСТУ МИНИСТРА ФИНАНСОВ ДО МОЕГО ПЕРВОГО УВОЛЬНЕНИЯ 1903—1905 [годы]

Глава I. Отставка С.Ю. Витте и назначение Управляющим Министерством финансов Э.Д. Плесске. — Обстоятельства, при коих состоялась неожиданная для Витте его отставка. — Болезнь Э.Д. Плесске и мое участие в бюджетной работе 1903 года. — Первые слухи о порче отношений с Японией. — Нападение на Порт-Артур и начало войны. — Мое назначение управляющим Министерством финансов . . . . . 26

Глава II. Прием у Государя и Императрицы. — Обстоятельства, при которых состоялось мое назначение. — Встреча с Витте. — Необходимость быстро принять решение о том, каково должно быть направление нашей финансовой политики в связи с войной. — Мое решение было принято в тот же день и встретило полное сочувствие. — Первые мои действия по изысканию средств на ведение войны. — Чрезмерные требования кредитов со стороны главнокомандующего ген[ерала] Куропаткина. — Моя беседа с ген[ералом] Куропаткиным до отъезда его на театр военных действий. — Ликвидация лесопромышленных предприятий на Ялу. — Приспособление Китайской железной дороги к требованиям военного времени. — Мой конфликт с В.К. Плеве по поводу его проекта передачи фабричной инспекции в ведение Департамента полиции . . . . . 36

Глава III. Разрешение конфликта с В.К. Плеве. — Убийство Плеве. — Легенда о бумагах, находившихся в портфеле Плеве в момент его убийства. — Новый министр внутренних дел князь П.Д. Святополк-Мирский и его связь с С.Ю. Витте — Указ 12 декабря 1904 года. — Д.Ф. Трепов и рабочий вопрос. — Гапоновское движение. — Демонстрация 9 января 1905 г. — Мои возражения, сделанные Государю по поводу проекта Трепова о личном воздействии Государя на рабочих. — Прием Государем делегации рабочих Петроградского района. — Неудавшаяся попытка обследования положения рабочих Петроградского района . . . . . 55

- Глава IV. Влияние событий 9 января на переговоры о внешних займах. — Переговоры с домом Менделсона и заключение в Германии 4 1/2-процентного займа. — Переговоры о займе во Франции. — Приезд в Петербург главы русского синдиката в Париже г. Нетцлина. — Выставленные им требования. — Прием г. Нетцлина Государем. — Два рескрипта на имя нового министра внутренних дел Булыгина. — Подготовительное обсуждение проекта Думы законодательного характера. С.Е. Крыжановский и А.И. Путилов. — Моя беседа с адм[иралом] Рождественским перед отплытием эскадры. — Проект А.М. Абазы о приобретении военных судов в Чили и в Бразилии. — Первые известия о поражении при Цусиме. — Рассмотрение проекта учреждения Государственной Думы совещательного характера в совещании под председательством гр[афа] Сольского . . . . . 67
- Глава V. Мирная конференция в Портсмуте. — А.Н. Нелидов и Н.В. Муравьев — первые кандидаты на должность главного уполномоченного. — Назначение С.Ю. Витте и его отъезд в Портсмут. — Мои осведомительные телеграммы. — Направление, данное переговорам Государем. — Всеподданнейший доклад гр[афа] Ламсдорфа по основным вопросам возможного соглашения. — Резолюция Государя на этом докладе. — Составленное мной, по приказанию Государя, письменное мнение о допустимых уступках Японии. — Решительная депеша Государя о недопустимости контрибуции. — Возвращение Витте. — Резкая перемена в его отношении ко мне . . . . . 77
- Глава VI. Финансовая ликвидация войны. — Вызов в Петербург г. Нетцлина. — Имел ли гр[аф] Витте беседу о займе с гр[афом] Бюловым. — Приезд французских банкиров и мои с ними переговоры. — Спешный их выезд из России. — Инциденты, вызванные Витте на совещаниях по выработке проекта объединения деятельности отдельных министров и по проекту об амнистии. — Тайна, которой окружена была подготовка манифеста 17 октября 1905 года . . . . . 86
- Глава VII. Рескрипт 20 октября 1905 года о назначении гр[афа] Витте председателем Совета министров. — Мое прошение об отставке. — Мой последний доклад у Государя и прием у Императрицы. — Витте воспротивился моему назначению председателем Департамента государственной экономии Государственного Совета . . . . . 99

### *Часть вторая*

## ОТ МОЕЙ ОТСТАВКИ ДО НОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ МЕНЯ МИНИСТРОМ ФИНАНСОВ. 1905—1906 [годы]

- Глава I. Ухудшение финансового положения страны. — Обсуждение Финансовым комитетом представления И.П. Шипова о приостановлении золотого размена. — Мое отрицательное отношение к этому проекту и присоединение Финансового комитета к моему пред-

- ложению не торопиться с приостановкой размена и подкрепить золотой фонд небольшим внешним займом. — Данное мне Высочайшее поручение поехать во Францию и сделанное мне Государем заявление по вопросу об Альжезираской конференции. — Мои переговоры с банкирами в Париже. — Прием у Рувье и оказанная им поддержка. — Прием у Лубэ. — Заключение краткосрочного займа . . . . . 106
- Глава II. Приезд в Берлин и свидание с Императором Вильгельмом. — Возвращение в Петербург. — Кутлер и его проект принудительного отчуждения земли. — Беседа с гр[афом] Витте и прием Государем. — Улучшение финансового положения страны. — Первая беседа с гр[афом] Витте о ликвидационном займе. — Совещание по рассмотрению положения о Государственной Думе и по изменению Учреждения Государственного Совета. — Выступления гр[афа] Витте по вопросам о публичности заседаний и о прохождении законопроектов через Думу и Государственный Совет . . . . . 118
- Глава III. Высочайше возложенное на меня поручение по заключению ликвидационного займа. — Приезд в Петербург г. Нетцлина. — Вопросы о международном характере займа, о его условиях, о праве правительства заключить его в порядке управления, помимо Думы и Государственного Совета. — Мой приезд в Париж. — Оказанное мне Пуанкаре содействие. — Прием меня Сарреном, Клемансо, Фальером. — Неудавшаяся попытка помешать займу. — Переговоры с банкирами. — Биржевой синдик де Вернейль. — Вопрос о поддержке печати. — Заключение займа . . . . . 130
- Глава IV. Возвращение в Петербург. — Отставка гр[афа] Витте и назначение И.Л. Горемыкина. — Моя беседа с Горемыкиным и прием меня Государем. — Условия, при которых я был назначен министром финансов. — Открытие Государем в Зимнем Дворце Государственной Думы и Государственного Совета. — Прием меня Императрицами Александрой Федоровной и Марией Федоровной. — Открытие Думы в ее помещении . . . . . 147

### *Часть третья*

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ПЕРВОГО И ВТОРОГО СОЗЫВА 1906–1907 [годы]

- Глава I. Штурм власти, как лозунг деятельности первой Думы. — Ответный адрес Государю и отказ Государя принять думскую депутацию для вручения адреса. — Постепенное превращение первой Думы в очаг открытой революционной пропаганды. — Телеграммы губернаторов с мест о брожении, вызываемом этой пропагандой. — Солидарная оценка положения правительством. — Защита правительством трех основных положений, разрушения которых добивалась первая Дума. — Правительственная декларация. — Моя беседа о ней с Государем. — Прием, оказанный ей в Думе, и принятие Думой формулы перехода, закрепившей разрыв с

	правительством. — Выжидательная тактика Совета Министров. — Мои выступления в бюджетной комиссии и общем собрании Думы . . . . .	160
Глава II.	Искание выхода из создавшегося положения. — Вопрос о роспуске Думы. — Д.Ф. Трепов и Барон Фредерикс. — Беседа Государя со мной о проекте образования министерства с преобладанием кадетских деятелей. — Мысли Барона Фредерикса об обращении Государя к народным представителям. — Проект Столыпина об образовании министерства с привлечением общественных деятелей. — Назначение Столыпина председателем Совета министров и роспуск первой Государственной Думы . . . . .	172
Глава III.	Моя деятельность по Министерству финансов. — Влияние событий на курсы русских фондов за границей. — Репрессивные меры против революционных насилий. — Работа Совета Министров. — Аграрные реформы Столыпина и расширение деятельности Крестьянского Земельного Банка. — Взрыв на Апеткарском острове. — Вопрос об изменении избирательного закона, солидарность министров и тайна, который были окружены совещания Совета по этому вопросу. — Резолюция Государя на представлении Совета Министров о смягчении законодательства о евреях. — Мои разногласия со Столыпиным по вопросу об участии казны в расходах земств и городов. — Донесения с мест о ходе выборов . . . . .	193
Глава IV.	Открытие второй Думы. — Крайняя правая фракция. — Декларация Правительства и враждебный прием, оказанный ей оппозицией. — Непрерывающиеся резкие нападки на правительство. — Рассмотрение бюджета. — Моя бюджетная речь, выступление Н.Н. Кутлера и мой ответ на его выпады. — А.П. Извольский и вопрос о роспуске второй Думы. — Отношение П.А. Столыпина и Государя к вопросам о роспуске Думы и о новом избирательном законе. — Закрытое заседание 17 апреля по вопросу о контингенте новобранцев, предрешившее роспуск второй Думы. — Нападки оппозиции на армию. — Заседание 7 мая. — Запросы правой фракции по поводу слухов о готовившемся покушении на Государя и левой оппозиции по делу социал-демократической фракции Думы. — Последняя речь Столыпина во второй Думе. — Рассмотрение Советом Министров дела о предании суду военно-революционной организации. — Отказ Думы снять депутатскую неприкосновенность с замешанных в этом деле депутатов. — Подписание Государем указа о роспуске второй Думы и нового избирательного закона . . . . .	215
Глава V.	Успокоение, наступившее в стране. — Улучшение финансового положения. — Статья Хейдемана. — Удачная самостоятельная операция Министерства Финансов для поддержания русских Фондов на Парижской бирже. — Разработка законопроектов для внесения в третью Думу. — Подготовка проекта росписи на 1908 г[од] . . . . .	238

ОТ ОКРЫТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ДО УБИЙСТВА СТОЛЫПИНА

- Глава I. Установление нормального сотрудничества Думы с правительством. — Кадетская оппозиция. — Общие прения по росписи на 1908 год. — Моя бюджетная речь и ответ на критику П.Н. Милюкова. — Законодательное предположение о необходимости расширить бюджетные права Думы. — Выступление М.С. Аджемова и мой ответ ему. — Предложение об образовании, в законодательном порядке, комиссии для обследования железнодорожного хозяйства. — Произнесенные мной, в ответ на выступление П.Н. Милюкова, слова: "У нас, слава Богу, нет еще парламента". Смысл этих слов и вызванные ими инциденты . . . . . 254
- Глава II. Рассмотрение отдельных смет на 1908 г. — Председатель Бюджетной комиссии проф[ессор] Алексеенко. — Мои оппоненты: слева и справа. — Взаимоотношения отдельных групп в Государственном Совете. — Законопроект о постройке Амурской железной дороги. — Экономическое и стратегическое значение дороги. — Принятие законопроекта Думой и Государственным Советом при непримиримой оппозиции графа Витте. — Моя поездка в Гамбург. — Свидание с Нетцлином. — Смерть дочери Плеске . . . . . 275
- Глава III. Возвращение в Петербург. — А.П. Извольский и присоединение Австрией Боснии и Герцеговины. Впечатление, произведенное этим событием на Государя и на Совет министров. — Инциденты вызванные принятием Думой, при вотировании кредита на Морской генеральный штаб, самого проекта учреждения штаба. — Спокойная и дружная работа Бюджетной комиссии. Заключение во Франции 4 1/2% консолидационного займа. — Думские прения по бюджету на 1909 год. Доклад Алексеенко, обвинительная речь Шингарева и мой ответ ему. Неуспех непрекращавшихся враждебных выпадов оппозиции. — Инцидент по вопросу о напавлении дел о частном железнодорожном строительстве . . . . . 289
- Глава IV. Моя поездка на Дальний Восток. Причины ее вызвавшие. Разногласия с Сухомлиновым по вопросу об отношении к нам Японии и о кредитах на укрепление Владивостока. Аудиенция японского посла барона Мотоно у Государя. Данное мне Высочайшее поручение поездки на Дальний Восток для выяснения положения. — Отъезд и остановка в Москве. Прибытие на ст. "Маньчжурия" и получение известия о предстоящей встрече с князем Ито. Организация встречи. — Прибытие князя Ито в Харбин и мое свидание с ним. Убийство князя Ито. — Пребывание мое во Владивостоке. Беззащитность крепости, вследствие неиспользования отпущенных кредитов. Возвращение в Харбин. Рассмотрение вопросов, касающихся дороги. Положение Китая. — Мой Все-

подданнейший отчет о поездке и резолюции на нем Государя. Поездка Сухомлинова на Дальний Восток и направленный против меня отчет о ней . . . . .

311

Глава V. Бюджетная работа и прения в Думе по государственной росписи на 1910 г. — Сухомлиновский проект упразднения крепостей Привислянского края. — Поездка Столыпина в Сибирь. — Попытка Столыпина и Кривошеина изъять Крестьянский Банк из ведения Министерства финансов и вызванный этой попыткой конфликт со мной. — Мои аргументы против изъятия и доклад Государю по этому вопросу. — Моя поездка во Францию. — Инцидент с бумагами, гарантировавшими счет Лазаря Полякова в Государственном банке . . . . .

355

Глава VI. Чумная эпидемия на линии Китайской восточной жел[езной] дор[оги]. Борьба с ней. Запрос в Думе по этому вопросу. — Мои Думские выступления. Дурасовское дело. Благоприятное финансовое положение страны. Моя бюджетная речь по росписи на 1911 год. — Законопроект о введении земства в губерниях Северо- и Юго-Западного края. Особое значение, придаваемое этой мере Столыпиным. Принятие законопроекта Думой и отклонение его Государственным Советом. Ультиматум Столыпина: роспуск галат и опубликование закона в порядке статьи 87. Дисциплинарные взыскания против П.Н. Дурново и В.Ф. Трепова. Беседа со мной об этих событиях Императрицы Марии Федоровны. Удар, нанесенный ими престижу Столыпина. — Отказ Столыпина и Кривошеина от проекта изъятия Крестьянского банка из ведения Министерства финансов . . . . .

378

Глава VII Прибытие в Киев на открытие в Высочайшем Присутствии памятника Императору Александру II. — Парадный спектакль в городском театре. — Покушение на Столыпина. — Меры, принятые мной для предупреждения еврейского погрома. — Молебствие в Михайловском Соборе. — Возвращение Государя. — Посещение меня националистами. — Депутация от евреев. — Смерть Столыпина. — Назначение меня на пост председателя Совета. — Вопрос о Министерстве внутренних дел. — Мое письмо Государю о Макарове и других кандидатах. — Ответное письмо Государя . . . . .

405

Примечания . . . . .

427

КОКОВЦОВ Владимир Николаевич  
**ИЗ МОЕГО ПРОШЛОГО**  
**Воспоминания**  
**1903—1919 гг.**

*Книга первая*

Заведующая редакцией *В.С. Баковецкая*  
Редактор издательства *Т.Е. Филиппова*  
Художественный редактор *В.Н. Невзорова*  
Художник *И.Д. Богачев*  
Художественный редактор *Н.Н. Михайлова*  
Технический редактор *Г.И. Астахова*  
Корректоры *Л.М. Сахарова,*  
*З.Д. Алексеева*



Набор выполнен в издательстве  
на наборно-печатающих автоматах

ИБ № 50130

Подписано к печати 19.05.92. Формат 60 X 88 1/16  
Бумага типографская № 2. Гарнитура Пресс-Роман  
Печать офсетная. Усл.печ.л. 27,4. Усл.кр.-отт. 27,4  
Уч.-изд.л. 32,0. Тираж 15 000 экз. Тип.зак. 3027

Ордена Трудового Красного Знамени ВО "Наука"  
117864 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., д. 90

2-я типография ВО "Наука"  
121099, Москва Г-99, Шубинский пер., 6